В.А. Потто

КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА

Том 2. Ермоловское время

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ЕРМОЛОВ

Но се, восток подьемлет вой!..
Поникни снежной головой,
Смирись, Кавказ,— идет Ермолов!

А. Пушкин

...И ты, Ермолов незабвенный,
России слава, горцам страх,
Чье имя, как завет священный,
Штыками врезано в горах...

Домонтович

Тысяча восемьсот шестнадцатым годом, когда на Кавказе появляется Ермолов, начинается новый, обильный блестящими последствиями, период русского владычества в крае. Кавказские войска с восторгом узнали о назначении главою их Ермолова, героя Бородина и Кульма, любимца народной молвы, стяжавшего себе громкую славу и качествами опытного и талантливого вождя, обходимого официальными реляциями, но популярнейшего в войсках, и своей неподкупной честностью, и своей истинно русской душой, и меткими злыми остротами над господствовавшими тогда всюду в России “немцами”, народное нерасположение к которым усилилось недавней народной войной 1812 года. Даже в блестящей плеяде деятелей того недавнего прошлого нашей народной и государственной жизни Ермолов принадлежит к числу тех немногих, на которых во все грядущие века с удивленным вниманием и глубоким сочувствием остановится взор всякого русского, кому дорога русская национальная слава.

Природа, казалось, самой внешностью хотела отметить любимого витязя русских войск. “Из ряда людей, прославленных отечественной войною, из тесного круга деятелей государственных,— говорит о нем историк Ковалевский,— возвышается величавая фигура, выдающаяся из всех других. Мужественная голова со смелой и гордой посадкой на мощных плечах, привлекательные очертания лица, соразмерность членов и самые движения свидетельствуют о великой нравственной и физической силе Ермолова, этого необыкновенного человека”. И вдохновенный русский поэт с полным правом мог воскликнуть: “Смирись, Кавказ,— идет Ермолов!”

Личная судьба Ермолова, как известно, может служить разительным примером непостоянства и переменчивости земного счастья, но потомство ценит только заслуги перед отчизной, и в его глазах несправедливость судьбы только возвышает славного вождя, не всегда ценимого своими современниками.

Начало блистательного военного поприща Ермолова захватывает еще славные Екатерининские времена, и с первых же шагов он был замечен гениальным Суворовым, из рук которого получил Георгиевский крест. Родившись двадцать четвертого мая 1777 года в Москве, он, по тогдашнему обыкновению, еще в детстве записан был в гвардию. Князь Юрий Владимирович Долгоруков отвез его в Петербург в 1792 году, когда Ермолов имел пятнадцать лет и уже чин капитана гвардии. Зачисленный в Нижегородский драгунский полк, стоявший на Кавказе, он, однако, остался в Петербурге адъютантом при генерал-прокуроре графе Самойлове, у которого отец Ермолова был тогда правителем канцелярии.

Пытливый молодой ум не давал, однако, Ермолову погрузиться в чисто практическую службу, и постоянные занятия военными науками скоро привели его в Шляхетский артиллерийский корпус, выгоднее других тогдашних учебных заведений обставленный научными средствами. В 1793 году Ермолов выдержал требовавшийся тогда для перевода в артиллерию экзамен с особым отличием и, в составе корпуса Дерфельдена, уже артиллеристом, выступил в поход против Польши. Здесь-то он и имел случай обратить на себя особенное внимание Суворова, лично назначившего ему, после штурма Праги, орден св. Георгия 4-ой степени. Польский поход был для Ермолова началом целого ряда лет, проведенных среди бранных тревог и опасностей. Отправленный вскоре в Италию, он, с австрийской армией, сделал кампанию против французов, а по возвращении в Россию назначен был в корпус графа Валериана Зубова, шедший на Персию, участвовал во взятии Дербента и ходил к Ганже против аги Мохаммед-хана, двигавшегося навстречу русским с огромным войском и восемнадцатью слонами. Здесь в первый раз Ермолов познакомился с Кавказом, глубоко заинтересовался его судьбами и полюбил его всей душой, видя в то же время недостатки управления и политики в нем, грозившие стране столькими бедами. Впоследствии мысль сделаться начальником Кавказского края стала лучшей мечтой его жизни.

Ермолову было только девятнадцать лет, а он уже имел за персидский поход Владимирский крест и чин подполковника. Но, со вступлением на престол императора Павла, в его судьбе все вдруг круто изменилось. Войска, участвовавшие в походе в Персию, получили приказание немедленно возвратиться в Россию, и весь отряд отступил на Терек, где его ожидал, по выражению Давыдова, “своенравный граф Гудович, пылавший гневом за то, что не ему было вверено начальство над Экспедиционным корпусом”. Избегая встречи с ним, многие пробрались степью прямо в Астрахань; в числе их был и Ермолов.

Вскоре случилось новое обстоятельство, надолго совершенно устранившее Ермолова от военной деятельности. Между офицерами армейских полков, квартировавших в Смоленской губернии, развилось сильное неудовольствие из-за крутых мер и преобразований, вводимых новым императором, и особенно из-за опалы, постигшей тогда любимого фельдмаршала Суворова. По доносу смоленского губернатора было назначено следствие, и между скомпрометированными офицерами был родной брат Ермолова по матери, Коховский, а письма, найденные у него, замешали в дело также и Ермолова. Он очутился в Петропавловской крепости, но так как невиновность его была скоро обнаружена, то его выпустили, а вслед за тем внезапно арестовали опять и без объяснения причин сослали в город Кострому, где в то время жил в ссылке же знаменитый впоследствии граф Матвей Иванович Платов. Изгнанники часто проводили время вместе и, печальные, беседовали о подвигах своих соратников на Альпийских горах. Это было время бессмертного Италийского похода Суворова.

Ссылка помешала Ермолову участвовать в этом славном походе, но время бездействия не пропало для него даром. В своем уединении он изучал латинский язык и читал Цезаря, в то время как новый цезарь и наш славный Суворов, один после другого, оглашали громом побед те самые места, которые видели некогда предводимые Цезарем римские когорты.

По вступлении на престол Александра Павловича Ермолов был из ссылки возвращен. Но определение его снова на службу долго встречало большие затруднения. “С трудом,— говорится в записках Ермолова,— получил я роту конной артиллерии, которую колебались мне поверить, как неизвестному офицеру между людьми новой категории. Я имел за прежнюю службу Георгиевский и Владимирский ордена, был употреблен в Польше и против персиян, находился с австрийской армией в приморских Альпах, но все

сие ни к чему мне не послужило, ибо неизвестен я был в экзерциргаузах и чужд Смоленского поля, которое было школой многих знаменитых людей нашего времени”.

Испытания, посланные судьбой Ермолову, несомненно закалили его и без того сильный характер, укрепили в нем силу воли. Но самолюбие его от того не менее страдало при мысли, что многие из товарищей и сверстников далеко обошли его в службе и могли сделаться в недалеком будущем его начальниками. К тому же колкий язык Ермолова, его смелые и язвительные замечания приобрели ему сильного врага в лице инспектора всей артиллерии графа Аракчеева.

Всем был известен острый ответ его по поводу замечания Аракчеева о худобе казенных строевых лошадей. Аракчееву оставалось только притвориться тогда не понявшим ответа, но Ермолов скоро почувствовал на себе всю тяжесть начальнического гнева. В это-то время он писал: “Мне остается или выйти в отставку, или ожидать войны, чтобы с конца своей шпаги достать себе все мною потерянное”.

В этих гордых словах сказалось только сознание своей силы — Ермолов знал себе цену. И действительно, когда война началась, Ермолов явился на ратном поле одним из замечательнейших деятелей, учителем многих старших себя по службе и, несмотря на все недоброжелательство к себе сильных и влиятельных людей, проложил себе дорогу к отличиям и сделался лично известен императору Александру Павловичу.

Первые блистательные подвиги совершены были Ермоловым в кампанию 1805 года, где он заслужил дружбу знаменитого князя Петра Ивановича Багратиона, продолжавшуюся до смерти последнего. За Аустерлицкое сражение Ермолов был наконец произведен в полковники. Но, кажется, и эта награда была получена им только потому, что Кутузов выразил удивление, что отличный офицер, имевший два знака отличия времен Екатерины, девять лет сидит подполковником — почти небывалый случай при быстрых производствах тогдашнего времени.

Чин полковника был первой ступенью к быстрому служебному возвышению Ермолова, которому чрезвычайно много послужила кампания 1807 года. Ею начинается и эпоха необыкновенной популярности Ермолова в армии. После битвы при Прейсиш-Эйлау, где предводимая им конно-артиллерийская рота отстояла левый фланг русской армии, и Пален, и Бенигсен одновременно ходатайствовали о награждении его орденом св. Георгия 3-ей степени. Но Георгиевский крест был дан молодому графу Кутайсову, Ермолов же получил Владимира 3-ей степени. Князь Багратион почел несправедливость, нанесенную Ермолову, личным для себя оскорблением и жаловался цесаревичу. Ермолов, со своей стороны, тоже не считал нужным молча переносить обиду. И когда, по приказанию начальника артиллерии Резвого, Кутайсов потребовал от него списки отличившихся, он, представляя эти списки, написал ему: “Благодарю ваше сиятельство, что вам угодно известить меня, что вы были моим начальником во время битвы”.

Истинные заслуги и дарования не нуждались, однако, в покровителях: за Голымин Ермолов получил золотую саблю, за Гейльсберг — алмазные знаки ордена св. Анны 3-ей степени и наконец за дело при Гутштадте и Пассарге добился-таки Георгия на шею, в котором на этот раз уже никто не мог отказать ему. Известность, приобретенная им в течение этой войны, была так велика, что одного удостоверения его оказалось достаточно, чтобы получили Георгиевские кресты три штабс-офицера, отличившиеся на его глазах под Гейльсбергом. Когда солдаты наши замечали роту Ермолова, выезжавшую на позицию, и видели его колоссальную гигантскую фигуру, они ободрялись и громко выражали уверенность, что “Ермолов за себя постоит”.

Произведенный по окончании войны в генерал-майоры, Ермолов получил в командование гвардейскую артиллерийскую бригаду, а вслед за тем, по личному выбору государя, сделался начальником гвардейской пехотной дивизии. Попытку уклониться от этого почетного назначения с тем, чтобы ехать в. Дунайскую армию, император Александр принял за интригу против Ермолова и приказал передать ему, что впредь все назначения его по службе будут зависеть от самого государя и что он ни в ком нужды не имеет.

Приезд Ермолова в Петербург, однако же, замедлился; он сломал руку и должен был надолго слечь в Киеве. Внимание государя простерлось до того, что он прислал курьера узнать о его здоровье и приказал уведомлять себя каждые две недели о ходе лечения.

“Удивлен я был сим вниманием,—пишет Ермолов,—и стал сберегать руку, принадлежащую гвардии; до того же менее заботился я об армейской голове моей”.

Между тем наступил год, “памятный каждому россиянину, тяжкий несчастиями, знаменитый блистательной славою в роды родов” — год Отечественной войны, когда потребовались для спасения отчизны необычайные усилия и энергичные люди, и Ермолов назначается начальником главного штаба в армии Барклая-Де-Толли против желания влиятельного графа Аракчеева, рекомендовавшего на этот пост Тучкова. Своими распоряжениями в качестве начальника штаба Ермолов, по общим отзывам историков, не раз спасает русскую армию от опасности и непосредственно, частными письмами, доносит государю о положении дел, настоятельно прося его о назначении одного общего главнокомандующего. Высокий пост, занятый им по воле императора, создал ему в армии много сильных врагов, завидовавших быстрому его возвышению, тем более, что он, подобно князю Багратиону, держался открытым противником руководившей тогда всем немецкой партии, во главе которой стояли Барклай, Витгенштейн и другие. Рассказывают, что у Ермолова спросили однажды, какой он желает милости. “Пусть пожалуют меня в немцы,— ответил он,— а тогда я получу все уже сам”. В другой раз, войдя в залу перед внутренними покоями императора Александра, где ждало много военных генералов, он вдруг обратился к ним с вопросом: “Позвольте узнать, господа, не говорит ли кто-нибудь из вас по-русски?” О самом штабе Барклая он отзывался со своей обычной резкостью. “Здесь все немцы,— сказал он однажды,— один русский, да и тот Безродный”. Безродный — фамилия одного чиновника, служившего при штабе, впоследствии сенатора. Понятно, что Ермолов стоял в прямой оппозиции со многими сильными людьми, не упускавшими случая вредить ему.

С назначением Кутузова главнокомандующим русской армией положение Ермолова в главной квартире несколько стушевывается: на первый план выступают любимцы старого князя — Коновницын и Толь. Но Кутузов, не приближавший его к себе, тем не менее постоянно употребляет его во всех трудных случаях: и под Бородиным, где Ермолов вырвал из рук французов батарею Раевского, запечатлев геройский подвиг своей кровью (он был ранен картечью в шею), и под Тарутиным, и под Мало-Ярославцем, и под Вязьмой, и под Красным. Однажды Кутузов, окруженный своим штабом, смотрел на отступление французов. Когда мимо него на своем боевом коне пронесся Ермолов, старый фельдмаршал, указывая на него окружающим, сказал: Еще этому орлу я полета не даю”. И потом повторил несколько раз: “Он рожден командовать армиями”.

Произведенный в генерал-лейтенанты за сражение под Заболотьем, близ Смоленска, Ермолов за Бородинскую битву был представлен Барклаем Де Толли к ордену св. Георгия 2-ой степени. “Весьма справедливо сделали, что мне его не дали,— говорит Ермолов в своих записках,— ибо не должно уменьшать важности оного; но странно, что отказали

Александра, которого просил для меня светлейший, а дали Анненскую, наравне с чиновниками, бывшими у построения мостов”.

Могильное молчание реляций не могло уничтожить заслуг Ермолова и даже, напротив, придавало им особенный блеск. Подвиги его сделались достоянием устных рассказов, сообщавших им легендарный характер, и тем дороже был герой для всех обожавших его подчиненных, что ему не отдавалось должной справедливости. Устная молва сделала для Ермолова гораздо более, чем могли бы сделать самые пышные реляции главнокомандующих: имя его перешло в народ, и он занял одно из виднейших мест среди *народных* героев 1812 года.

“Ермолов,— говорит в своих записках Писарев,— напоминает собою людей Святославова века; он всегда при сабле, всегда спит на плаще. Ни гагачьи пуховые постели помпадурские, ни штофные занавесы Монтеспан не манят его к неге и ко сну, который и в столице, как равно и в кочевых станах, продолжается у него только до рассвета”.

Жуковский в знаменитом “Певце во стане русских воинов” так характеризует геройскую личность Ермолова:

Хвала сподвижникам — вождям;
Ермолов, витязь юный,
Ты ратным брат, ты жизнь полкам,
И страх твои перуны.

“Если мы,— говорит Давыдов,— современники и очевидцы магического действия, производимого в наших войсках одним именем Ермолова, были глубоко удивлены необычайной популярностью, которой он всегда пользовался, то наши потомки будут вправе думать, что известие о том если не вымышлено, то, по крайней мере, весьма преувеличено; а между тем самые враги его, бывшие не раз свидетелями необыкновенной любви и преданности, питаемых к нему войсками, не могут отрицать этого обстоятельства”.

При открытии заграничной кампании 1813 года Ермолов получает в командование артиллерию всех действующих армий. На этом посту он остается, впрочем, не долго. Главнокомандующий князь Витгенштейн, весьма не благоволивший к Ермолову, воспользовался неудачей Люцынского боя, чтобы свалить на него всю вину, несправедливо приписав его нераспорядительности недостаток артиллерийских снарядов. Ермолов сдает должность князю Яшвилю, опять впадает как бы в немилость и остается без команды до самого Кульмского боя. Только под Бауценом ему поручают ничтожный арьергард, с которым он борется, однако, на глазах государя, почти против всей французской армии, приводя в восторг даже самого Витгенштейна. “Я оставил на поле сражения,— писал этот последний государю,— на полтора часа Ермолова; но он удержался на нем, со свойственным ему упрямством, гораздо долее и сохранил тем Вашему Величеству около пятидесяти орудий”.

Под Кульмом Ермолов командует русской гвардией, и первый день этого великого по своим последствиям боя бесспорно составляет одно из лучших украшений военного поприща его. В самом начале сражения ядро оторвало графу Остерману руку, и боем до конца руководил один Ермолов.

Узнав об этом, император Александр сказал: “Ермолов укрепил за собою гвардию”,— и пожаловал ему Александровскую ленту.

Реляция об этом сражении была написана самим Ермоловым. Весь успех дела он отнес в ней непоколебимой стойкости войск и распорядительности графа Остермана, совершенно умолчав о своем командовании и о своих заслугах. Прочитав эту реляцию, Остерман, несмотря на жестокие страдания, собственноручно написал Ермолову:

“Довольно возблагодарить не могу ваше превосходительство; нахожу лишь только, что вы мало упомянули о генерале Ермолове, которому всю истинную справедливость отдавать привычен”.

Когда флигель-адъютант граф Голицын привез графу Остерману знаки св. Георгия 2-ой степени, мужественный генерал сказал ему: “Передайте государю, что этот орден должен принадлежать не мне, а Ермолову”. Впоследствии, когда Остерман удалился от дел и поселился в Женеве, он приобрел и повесил в своем кабинете портрет Ермолова, служивший ему живым напоминанием славного прошлого.

Наполеоновские войны Ермолов блистательно закончил под стенами Парижа, командуя при взятии его русской и прусской гвардией. Парижу обязан он Георгием 2-ой степени со звездою, который со своей груди надел на него цесаревич Константин Павлович. Пруссаки также спешили поздравить Ермолова и, намекая на несомненно предстоящую ему награду орденом Черного Орла, говорили: “Сегодня ваш Красный Орел почернеет”. Но прусский король, недовольный потерей, понесенной его гвардией, которую Ермолов, по собственному его выражению, “вывел в расход”, не пожаловал ему этого ордена.

По низложении Наполеона Ермолову поручен был восьмидесятитысячный обсервационный корпус на границах Австрии, и затем ему предоставлялась еще более широкая деятельность. Граф Аракчеев держал пари, что Ермолов будет военным министром, и, действительно, сказал однажды государю следующие памятные слова:

— Армия наша, изнуренная продолжительными войнами, нуждается в хорошем военном министре; я могу указать Вашему Величеству на двух генералов; это — граф Воронцов и Ермолов. Назначению первого, имеющего большие связи и богатства, всегда любезного и приятного в обществе, возрадовались бы многие; но Ваше Величество скоро усмотрели бы в нем недостаток энергии и бережливости, какие нам в настоящее время необходимы. Назначение Ермолова было бы для многих весьма неприятно, потому что он начнет с того, что перегрызется со всеми; но его деятельность, ум, твердость характера, бескорыстие и бережливость вполне бы его оправдали.

Характеристика эта была совершенно верна, но государь готовил Ермолову другое назначение. В то время как он находился в отпуске в орловском имении своего отца, высочайшим приказом от двадцать четвертого мая 1816 года он был назначен главнокомандующим в Грузию, а вместе с тем и чрезвычайным посланником в Персию. Заветная мечта Ермолова, зародившаяся, как сказано выше, еще в начале его военного поприща, таким образом исполнилась.

— Я бы не поверил,— сказал ему при свидании государь,— что ты можешь желать этого назначения, но меня уверили в том Волхонский и Аракчеев.

“Объяснением сим,— говорит Ермолов,— государь истолковал мне, какого он о Грузии мнения. Сего достаточно было, чтобы на месте моем устрашить многих, но я решился поверить себя моему счастью. Не с равным удовольствием принял я назначение меня послом в Персию. Меня устрашали дела, по роду своему совершенно мне незнакомые. Я наслышатся о хитрости и коварный свойствах персиян и отчаивался исполнить с успехом

поручение государя. Ничто так не оскорбляет самолюбия, как быть обманутым, а я никак не надеялся избежать того”.

И вот на тридцать девятом году от роду, в лучшую пору деятельности человека, Ермолов становится самостоятельным правителем обширного воинственного края, с правами почти неограниченными, которых до него не имел никто из его предместников. Вся предыдущая деятельность его обещала для Кавказа эпоху великих дел, и самая наружность Ермолова как бы соответствовала той силе и власти, которыми он был облечен: необыкновенная физическая сила, могучее телосложение, громадный рост и характерная круглая голова с седыми, в беспорядке лежавшими волосами, напоминавшая собою голову льва. Таким изображен он в портретной галерее Зимнего дворца. Величественная и грозная фигура его, одетая в косматую черкесскую бурку, опирается на обнаженную шашку; лицо дышит суровой энергией и непреклонной волей; на заднем плане — скалы, над головой нависли грозные тучи. Портрет этот писан известным художником Доу. Следующие стихи к этому портрету весьма удачно передают его характернейшие черты.

На снежном подножьи кавказских вершин,
Угрюм, одинокий стоит исполин;
Он буркой косматой картинно одет,
Вокруг его блещет румяный рассвет.
На шашке булатной покоится длань,
Могуч он и грозен, как смертная брань.
Свинцовая дума в морщинах чела
Всей тяжестью смело, глубоко легла.

Осенью 1816 года Ермолов приехал в Георгиевск, тогдашний центр управления Северного Кавказа, но пробыл там лишь несколько дней, спеша в Персию, чтобы прежде всего обеспечить границы со стороны этого беспокойного соседа. Но уже и в короткое время, знакомясь в самых общих чертах с положением дел на Кавказской линии, он успел вывести далеко не утешительные заключения. Он был уже в этих местах молодым артиллерийским капитаном с корпусом графа Зубова и теперь, двадцать лет спустя, был поражен, не найдя почти никакой перемены к лучшему. Реки крови русской, казалось, были пролиты здесь совершенно даром. Терские станицы и лежащие за ними русские поселения по-прежнему были ареной кровавых набегов и держались в постоянной осаде. Не только сообщения между ними сопряжены были с серьезными опасностями, но даже выйти за ворота укрепления уже значило рисковать свободой и жизнью. Население и войска держались в постоянном напряжении, и о мирном развитии края не могло быть и речи.

Сделав несколько общих распоряжений, Ермолов отправился далее и вечером десятого октября в простой рогожной кибитке въехал в заставу Тифлиса. Но и Закавказье поразило его незначительностью достигнутых русской властью результатов во внутреннем управлении. Пятнадцать лет минуло после присоединения к нам Грузии, Закавказские владения, особенно благодаря победам Цицианова и Котляревского, раздвинулись от моря до моря и в самую глубь вечно враждебных соседних земель, а между тем сделано было еще очень немногое, чтобы успокоить эту цветущую окраину Русского государства и поставить ее на путь мирного развития. Пограничные магометанские ханства, богатые дарами природы, но управляемые алчными азиатскими деспотами, могли служить особенно резким примером неустройства закавказских дел, оставаясь, как и в момент их завоевания, все теми же ненадежными владениями, всегда держащими сторону сильного и готовыми отложиться при первом удобном случае, при первых успехах Персии или Турции. И прежде чем отправиться в Тегеран, Ермолов почел необходимым ближе

ознакомиться с ханствами и объехал их, чтобы с большей ясностью понимать задачи политического разграничения России с Персией. Из осмотра их он вывел еще то заключение, что под русским управлением ханства могли приносить России в десять раз больше доходов и выгод, чем при автономном управлении ханами.

Весною 1817 года Ермолов уехал наконец в Персию для выполнения своей политической миссии. Положение его было в высшей степени трудное. Император Александр дал шаху обещание возвратить часть завоеванных земель, а между тем из осмотра ханств Ермолов успел вынести твердое убеждение, что всякие уступки невозможны и излишни и грозили бы только дальнейшими бедствиями войн. И перед ним теперь лежала нелегкая задача избежать исполнения обещаний императора. Но Ермолов с честью вышел из затруднений; он действовал с таким искусством, выказал так много энергии, что заставил шаха самого отказаться от притязаний, и все мусульманские закавказские земли остались за Россией. Мир России на границах Персии был обеспечен по крайней мере на несколько лет, и Ермолов мог сосредоточить все свое внимание и заботы на внутреннем устройстве Кавказского края.

Эпоха Ермолова была для Кавказа прежде всего эпохой полного изменения внутренней политики. Наши традиционные отношения к завоеванным ханствам и горским народам были фальшивы в самом своем основании, и это поняли из прежних начальников Закавказского края лишь князь Цицианов, ставший за то грозой для всех своих азиатских соседей, да маркиз Паулуччи, понявший всю правоту Цицианова, но не успевший сделать что-нибудь по кратковременности своего начальствования в крае. Все наши сношения с мелкими кавказскими владениями носили характер каких-то мирных переговоров и договоров, причем Россия всегда являлась как бы данницей. Большей части не только дагестанских и иных ханов, но даже чеченским старшинам, простым и грубым разбойникам, Россия платила жалованье, поддерживая тем в них алчность и возбуждая в других зависть и стремление набегами вынудить Россию платить *“дань”* и им. Какое-то совершенно ничтожное Анцуховское общество, обитавшее в трущобах Дагестана, уже во времена Ермолова считало себя обиженным, не получая от России денег. Анцуховцы писали Ермолову, что обещают жить в мире с русскими только в таком случае, , если будут получать дань, какую платили им грузинские цари.

С появлением Ермолова на Кавказе все это прекратилось. Он понимал, что если азиатские владельцы сами и не считают желание России откупиться от набегов за слабость и робость перед ними, то имеют прямую выгоду представлять дело в таком свете перед своими подданными, и уже в одном этом обстоятельстве лежала причина дерзости горских племен и вносимой ими в наши пределы вечной войны, конца которой, при принятой системе сношений с врагами, невозможно было предвидеть в самом далеком будущем. Из этого взгляда прямо вытекала замена пассивной политики, с паллиативным и не достигающим цели средством задаривания врагов, политикой деятельной, имеющей своей целью не временный непрочный мир, а полную победу, полное покорение враждебных земель. Принципом Ермолова было, что золото — не охрана от неприятеля, а приманка его, и он стал давать цену только железу, которое и заставил ценить более золота. “Хочу,— говорил он однажды,— чтобы имя мое стерегло страхом наши границы крепче цепей и укреплений, чтобы слово мое было для азиатов законом, вернее неизбежной смерти. Снисхождение в глазах азиатов — знак слабости, и я прямо из человеколюбия бываю строг неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены”.

В этих словах вся система Ермолова. Он смотрел на все мирные и немирные племена, населявшие Кавказские горы, если не как на подданных России, то рано или поздно

долженствующих сделаться ими, и во всяком случае требовал от них безусловного повиновения. И прежняя система подкупа и задариваний в его руках сменилась системой строгих наказаний, мер суровых, доходящих до жестокости, но всегда неизменно соединенных с правосудием и великодушием. "Великодушие, бескорыстная храбрость и правосудие — вот три орудия, которыми можно покорить весь Кавказ,— говорит известный мусульманский ученый Казем-Бек,— одно без другого не может иметь успеха. Имя Ермолова было страшно и особенно памятно для здешнего края: он был великодушен и строг, иногда до жестокости, но он был правосуден, и меры, принятые им для удержания Кавказа в повиновении, были тогда современны и разумны".

Система действий, положенная Ермоловым в основание русских отношений на Кавказе, вывела их на тот путь, на который они рано или поздно должны были стать. Россия не могла уже отказаться от своего влияния на племена, населявшие Кавказские горы. Она уже прочно утвердила тогда свое почти вынужденное, исторически создавшееся, под влиянием тяжкой судьбы христианских народов того края, господство в Закавказье. Но между коренной Россией и этой отдаленной окраиной лежал только один путь сообщений, через перешеек между двумя морями, занятый Кавказским хребтом, населенным непокорными племенами, которые всеми зависящими от них способами преграждали путь через Кавказские горы. Очевидно, чтобы власть России в Закавказье была прочна, необходимо было вынудить черезполосные земли Кавказа не мешать сношениям через них. И если система мира и подарков оказывалась не достигающей этой цели, для России оставался один путь, путь войны, каких бы жертв она ни потребовала, тем более что когда-нибудь ведь нужно же было прекратить унизительную для России политику, годившуюся еще разве во времена войн с Персией и Турцией и беспорядков в самом Закавказье, но теперь совершенно бесполезную.

Ермолов, постигая в полном объеме эту неизбежность грядущих событий, первый выступил на настоящий путь отношений к кавказским народам — путь военный, путь открытой борьбы, исход которой не мог для России подлежать сомнению. Он сознательно поставил себе задачу завоевания Кавказских гор и, прекрасно понимая характер театра предстоявших военных действий, создал и новую целесообразную программу их. "Кавказ,— говорил он, смотря на вздымавшиеся перед ним горы,— это огромная крепость, защищаемая многочисленным, полумиллионным гарнизоном. Надо штурмовать ее или овладеть траншеями. Штурм будет стоить дорого, так поведем же осаду". И в этих словах вся сущность руководящей деятельности Ермолова.

Частности этого великого дела, поднятого на свои плечи Ермоловым, определялись, как это всегда бывает у замечательных людей, самыми обстоятельствами. Все южные склоны Главного Кавказского хребта и весь Закавказский край, не только в его христианских странах, но даже и в магометанских ханствах, были покорны России, а мирный договор, заключенный с Персией, обеспечил Ермолову на несколько лет полную свободу действий для развития и укрепления русского влияния среди воинственных племен, населявших северные отроги и склоны Кавказа. Поэтому вся деятельность его и сосредоточилась именно там, в то время как за хребтом она ограничилась лишь мирным закреплением русского владычества в пограничных ханствах, да успокоением возникавших по временам среди христианских племен, именно: в Имеретии и Абхазии, волнений. Не лишнее прибавить, что и в последующие времена, до самых последних дней, вся политика России в Закавказье носила тот же мирный характер, за исключением острых моментов персидских и турецких войн, всегда вносивших в край некоторые волнения.

Но задачи, предстоявшие Ермолову на Северном Кавказе, требовали именно его энергии и ума. Военно-Грузинская дорога делит Кавказ на две полосы: к востоку от нее — Чечня и

Дагестан, к западу — Кабарда, простирающаяся до верховий Кубани, а далее — Закубанские земли, населенные черкесами. Чечня с Дагестаном, Кабарда и наконец Черкесия и составили три главнейших театра борьбы, и по отношению к каждому из них требовались особые меры.

Ермолов начал с Чечни, расположенной непосредственно к югу за средним течением Терека. Аулы чеченцев еще были в то время на самом Тереке и тем весьма облегчали соплеменникам своим кровавые набеги на русские станицы. Ермолов начал с того, что оттеснил чеченцев за Сунжу, а на ней, в 1818 году, поставил первую свою крепость, Грозную, связав ее рядом укреплений с Владикавказом, стоявшим у самого прохода в горы на страже Военно-Грузинской дороги. Это и была первая параллель к “крепости”, как Ермолов называл Кавказские горы. Чеченцам был прегражден свободный путь на Средний Терек, и бедствия прежних времен с тех пор там миновали.

Но на Нижний Терек открытый путь оставался еще через Кумыкские степи, и Ермолов в следующем же, 1819, году поставил близ Андреевского аула новую крепость, внезапную, разделившую чеченцев от кумыков и в то же время преграждавшую первым путь к дагестанцам через Салатавские горы. Внезапная была соединена с Грозной также рядом укреплений. А далее, за Кумыками, к морю, лежало дружественное нам шамхальство, и железный полукруг уже охватывал Чечню и часть Дагестана. Чеченцы присмирели.

Непрочно, однако, было это мирное настроение Чечни, пока сама природа стояла на страже ее границ, делая почти вовсе недоступными ее аулы. Прямо за Сунжой начинались огромные, непроходимые для русских войск леса, в которых каждое дерево было равнозначуще вооруженному человеку. Ермолов прекрасно понял, что действительнейшее средство борьбы с непокорной Чечней — это сделать доступными ее внутренние поселения, и время его было началом медленного, но прочного завоевания страны посредством завоевания природы. При Ермолове в первый раз возникла система рубки лесов. Широкие просеки легли от одного аула к другому и мало-помалу начали делать возможным доступ русским в самые недра чеченской земли, в тот очаг, где закалялась ненависть к сильным пришельцам и жили “преданья вольности”, волновавшие и взрослого мужа и юного джигита. И эта система до самых последних дней кавказской войны стала необходимой основой всех действий, главнейшим средством покорения Кавказа, и жестоко платились те, которые от нее отступали.

Народы Дагестана, между тем, видя в судьбе Чечни угрожающую и им опасность, уже с начала 1818 года подняли знамя восстания. В Дагестане возникло стремление составить обширный союз народов, чтобы разом и соединенными силами действовать против русских. К союзу примкнули внутренние ханства Аварское и Казикумыкское, вольное Акушинское общество и владения, примыкавшие к морю: Мехтула, Каракайтаг и Табасарань. В то же время дагестанцы старались привлечь к союзу на севере шамхальство, а на юге Кюринское владение, некогда отторгнутое Россией от Казикумыка и уже потому отличавшееся постоянной верностью ханов. Восстание охватило обширную площадь. Ермолов понимал опасность надвигавшейся грозы со стороны Дагестана и решился одновременно вести борьбу и с ним и с Чечней; летом войска действовали в Чечне и на Кумыкской плоскости, зимою — в Дагестане.

“Государь,— писал Ермолов в это время императору Александру,— внешней войны опасаться нельзя. Голова моя должна ответствовать, если вина будет с нашей стороны. Но внутренние беспокойства гораздо для нас опаснее. Горские народы примером независимости своей в самых подданных Вашего Императорского Величества порождают дух мятежный и любовь независимости...”

Он просил об усилении Кавказского корпуса и писал, что “прибавленные полки уничтожат злодейскую власть ханов, которых правление не соответствует славе царствования Вашего Величества, а жители ханств, стенающие под тяжестью сей власти, уразумеют счастье быть подданными Великого Государя...”

И действия Ермолова в Дагестане отличались еще большей решимостью и быстротой, нежели в Чечне. Он начал с того, что зимою 1818 года, пройдя через шамхальство, разгромил Мехтулу и, уничтожив самостоятельность этого ханства, обратил его в простое русское приставство. В следующем году генерал-майор князь Малахов, действуя с юга, со стороны Кубинской провинции, покорил Табасарань и весь Каракайтаг, докончив таким образом непрерывную приморскую полосу русских владений. В то же время Ермолов, со своей стороны, наступая с севера и соединившись с Мадатовым в шанхальстве, проник в самые недра гор, и битва под Лавашами, девятнадцатого декабря 1819 года, решила судьбу Северного Дагестана: сильная, воинственная Акума была занята войсками и присягнула на верность России. Еще год — и перестало существовать независимое Казикумыкское ханство. Так последовательно все теснее и теснее сжималось железное кольцо вокруг недоступных Дагестанских гор, и племена их, истощенные в непосильной борьбе, на долгое время замолкли.

С этих пор до самого расцвета в горах мюридизма, необыкновенно фанатизировавшего дух магометанского Кавказа, Дагестан не пытался ни разу возобновлять открыто враждебных действий против русских, и даже Персидская война 1826 года, начатая при самых неблагоприятных для нас условиях, не оказала на него влияния — горцы остались спокойными.

Обуздав Чечню и Дагестан, Ермолов в 1822 году решился окончательно обуздать и кабардинцев. Кабарда, расположенная между реками Кубанью, Малкой и Тереком, была сравнительно спокойна. Но время от времени волновались и ее племена, угрожая русским границам, селам и особенно сообщениям по Военно-Грузинской дороге. Ермолов, желая сразу и навсегда прекратить возможность кабардинских волнений и набегов, поставил, как и в Чечне, ряд укреплений, расположив их при выходах из горных ущелий, образуемых долинами рек Малки, Баксана, Чегема, Уруха и Нальчика. И с тех пор Кабарда при всех превратностях кавказской борьбы оставалась постоянно спокойной, разделяя собою во все последующее время воюющий Кавказ на два совершенно отдельных театра войны; Чечню и Дагестан на востоке и прикубанскую Черкесию — на западе.

Став твердой ногой в Кабарде, Ермолов нашел возможным значительно обезопасить сообщения с Закавказьем перенесением Военно-Грузинской дороги на левый берег Терека. Старая дорога от Моздока до Владикавказа, весьма неудобная, затруднительная для движения транспортов и подверженная частым нападениям хищников, была оставлена. Ермолов проложил новый путь к Владикавказу из Екатеринограда, прикрытый слева, со стороны чеченцев, Тереком, а справа — рядом укреплений, поставленных в Кабарде, и с тех пор оказии ходили уже в сравнительной безопасности.

Владычество русских в крае утверждено было прочно, и даже роковой 1825 год, когда Чечня и Кабарда кровавым бунтом пытались низложить преграды, положенные для них Ермоловым, уже ничего не мог изменить в судьбе этих стран Кавказа — усмирение было быстро и решительно.

Но Ермолов, сделавший на востоке все, что было в силах замечательного ума и характера, по историческим обстоятельствам не мог многого сделать на западе. Черкесские племена, жившие по ту сторону Кубани, считались турецкими подданными, и самая Кубань

служила рубежом с Турцией, опиравшейся в тех отдаленных от нее краях не на одну только веру, но и на сильные крепости Анапу и Сунджук-Кале, столько раз уже завоеванные и столько раз возвращаемые ей обратно. И турки, всегда с удовольствием смотревшие на разорение русских пределов, тайно поощрявшие горцев к набегам, ревниво оберегали их в их собственных землях, и появление одного казака за Кубанью вело к бесконечным протестам, спорам и дипломатической переписке. Напрасно с 1820 года Черноморское войско перешло в сильные руки Ермолова, напрасно целым рядом крутых энергичных мер, принятых на линии, и неоднократными большими доходами в Закубанские земли давались черкесам суровые уроки — корень зла лежал глубже; до тех пор, пока Турция стояла на прикавказском Черноморье, мир на Кубани был невозможен. И во все время командования Кавказом Ермолова Кубань была ареной борьбы, и смерть там грозила ежеминутно всякому, кто переступал этот заповедный порог.

Таковы военные дела Ермолова на Кавказе и результаты, им достигнутые. В русской военной литературе появлялись мнения, что военные действия во времена Ермолова были не трудны, что горцы, разобщенные между собою, питавшие страх к артиллерии, не могли оказывать упорного сопротивления и разбегались от одного гула пушечных выстрелов. Не трудно оценить и всю неправильность подобного вывода. Разве до Ермолова Гудович, Глазенап, Булгаков, Портнягин и Ртищев не имели дела с той же разрозненностью горцев и не громили их той же картечью и ядрами? Между тем результаты были иные.

Прозревая в будущее и зная, что война родит ненависть, родящую войну, Ермолов рассчитывал не на одну силу оружия, а пользовался и всеми представлявшимися ему мирными средствами для укрепления Кавказа за Россией и для развития в нем благосостояния. Первая из этих расчетливых мер была политическая система присоединения ханств. Систему эту, примененную, как мы видели, во время военных действий в некоторых странах Дагестана, он широко развил и в Закавказье. Воспользовавшись тем, что шекинский хан умер бездетным, он тотчас ввел в ханстве русское управление. Ханы Карабага и Ширвани, недовольные крутыми мерами, стеснявшими их деспотический произвол, бежали в Персию — и Карабаг и Ширвань стали простыми русскими провинциями. Только в далеком Та-лышинском владении Ермолов не без расчета оставил прежнего хана, полагая, что тот всегда останется верен России, боясь персиян, вечно стремившихся захватить его владения. В общем получилась картина полного и прочного присоединения к России всего Закавказья.

Трудная задача, выполненная Ермоловым, требовала конечно и соответствующих сил, и он нашел их в кавказском солдате. Но и кавказский солдат обязан ему именно той высотой нравственного духа, который отличает его. Как всякий замечательный полководец, Ермолов понимал, что победа бывает всегда результатом нравственного единения вождя с предводимыми, что любовь солдата к полководцу есть сила,— и много забот положено было им на то, чтобы воспитать солдата именно в духе войны и облегчить всегда сопряженное с тяжестями положение его; он смотрел на солдат не как на мертвую силу, хотел поднять до известной высоты личность каждого из них и в своих приказах называл их товарищами. Понятно, что он пользовался, как всякий замечательный полководец, глубокой любовью солдата.

Наличные военные силы, находившиеся в то время на Кавказе, были при всем том недостаточны для выполнения военных проектов Ермолова. Когда он вступил в командование корпусом, он нашел некомплект в кавказских полках до двадцати семи тысяч штыков, и по его настоятельным требованиям решено было наконец повести Грузинский корпус до полного боевого состава. Но вместо того, чтобы пополнить его рекрутами, которые не скоро бы свыклись и *с* климатом, и с тяжестями военной жизни,

император Александр повелел отправить туда шесть пехотных полков в полном трехбатальонном составе. С этой целью из армии и выбраны были полки: Тенгинский, Навагинский, Мингрельский, Апшеронский, Куринский и Ширванский, носившие названия по кавказским местностям и учреждение которых относилось еще ко временам существования Низового корпуса.

Затем те полки, которые уже находились на Кавказе, но носили русские названия — Вологодский, Суздальский, Казанский, Белевский, Троицкий и Севастопольский,— должны были отделить от себя столько офицеров и нижних чинов, сколько было нужно, чтобы довести прибывшие полки до полного боевого комплекта, и затем в кадровом составе возвратиться в Россию.

Та же самая мера принята была по отношению и к егерским полкам, из которых старые: девятый, пятнадцатый, шестнадцатый и семнадцатый отправлялись в Россию, а новые: сорок первый, сорок второй, сорок третий и сорок четвертый оставались на Кавказе.

Таким образом переменился почти весь состав Грузинского корпуса. Из старых частей в нем оставались только полки гренадерской бригады, Нижегородский драгунский и два пехотные: Тифлисский и Кабардинский, но последний должен был перейти из Грузии на Кавказскую линию.

Не надо, однако, думать, чтобы с переменой полков переменился и состав собственно людей Грузинского корпуса. Огромное большинство старых кавказских солдат и офицеров, участников прежних походов, осталось на Кавказе, слившись с пришедшими из России опытными же войсками, которым они и сообщили свой кавказский дух. В Россию же вернулись почти одни знамена тех полков, в которых они состояли до тех пор, и под эти знамена там должны были стать рекруты.

При этих переменах произошел эпизод, наделавший непостижимую путаницу в распоряжениях, приведшую к бесконечной переписке и поставившую в тупик три полка, не могших никак уяснить себе: что произошло с ними в 1819 году? Эпизод этот необходимо знать, чтобы ясно представлять себе последующее участие в военных действиях этих полков.

Дело в том, что Ермолов, желая оставить свой любимый Кабардинский полк в Грузии, распоряжением от четвертого ноября 1819 года взял да и переименовал его в Ширванский; но так как имя Кабардинского полка все же должно было остаться, то Казанскому полку, находившемуся на линии, приказано было именоваться Кабардинским, а все, что осталось от настоящего Ширванского полка, под именем Казанского отправлено обратно в Россию. И все это вместо самого простого представления разрешить Кабардинский полк оставить в двадцатой, а Ширванский в девятнадцатой дивизии, что даже следовало сделать, дабы избежать напрасного передвижения через горы штабов Кабардинского полка на Кавказскую линию, а Ширванского, прибывшего уже в Георгиевск, в Грузию.

Эта перетасовка, а также бумаги, писанные тяжелым неясным языком, до того затемнили дело, что когда делались, например, предписания одному из этих полков, они попадали в другой, носивший прежде то же имя, или наоборот, так как одни называли полки по-старому, другие по-новому. Сам Кавказский штаб наконец сбился с толку, в Петербурге же и вовсе не могли уяснить себе, что такое произошло с полками.

Чтобы яснее показать, какова была путаница, достаточно взглянуть на судьбу полковых знамен в этих трех полках. Мальтийские знамена, полученные Кабардинским полком за

поражение лезгин седьмого ноября 1800 года на Иоре, поступили в Казанский, который никогда за Кавказом не был; Георгиевские знамена, данные Ширванскому полку за сражения против французов, очутились в Кабардинском полку, который никогда ни одного француза не видел, а на долю ширванцев, героев Краона, достались простые знамена Казанского полка, с которыми они и ушли в Россию.

Правда, спустя несколько лет, в мае 1825 года, последовало высочайшее повеление: “Всем трем полкам именоваться прежними своими названиями”, но это нисколько не поправило дела. Чтобы в действительности возвратить каждому полку прежнее имя, которое он носил до 1819 года, пришлось бы: Ширванский полк опять назвать Кабардинским; Кабардинский — Казанским и отправить его в Россию, а из России Казанский полк, назвав его Ширванским, отослать на Кавказ. Но подобное передвижение, сопряженное с большими издержками, само собою не могло быть приведено в исполнение, и дело кончилось тем, что храбрый Кабардинский полк, в полном своем составе, продолжал и кончил так доблестно начатую им кавказскую войну уже под именем Ширванского, а казанцам, не имевшим прежде случая составить себе на Кавказе известности, пришлось приобретать себе новую славу, чтобы достойно носить славное и грозное врагам имя Кабардинцев. К счастью, семя упало на добрую почву, и, быть может, самое имя Кабардинского полка постояло за себя. Не прошло десяти-пятнадцати лет, как летописи кавказской войны уже опять были полны этим именем и за Кубанью, и за Сунжей, и в недрах Дагестана — везде, где наши войска вели ожесточенную борьбу с усиливавшимся тогда мюридизмом. Самые кровавые эпизоды, самые изумительные геройские подвиги связаны с именем кабардинцев. “Таково значение полкового имени и такова сила полкового предания”,— замечает Зиссерман в своей “Истории Кабардинского полка”.

Переформирование Грузинского корпуса завершилось в конце 1820 года, а вместе с тем изменилось и самое имя его, что имело свой смысл, свое весьма большое значение.

Владычество России распространилось в то время уже далеко за пределы Грузии, которая составляла лишь небольшую центральную часть наших владений за хребтом Кавказских гор. И чтобы убедить разнохарактерное и в высшей степени разнообразное население в том, что отныне все, что живет на Кавказе и в Закавказье, должно составлять одно целое с Русской империей, название Грузинского корпуса было упразднено, и войска, расположенные как в Грузии, так и на Кавказской линии и в Черномории, получили общее наименование — Кавказского корпуса.

Но посреди военных забот Ермолов не упускал из виду и других интересов отечества. Его внимание устремлялось и на восточный берег Каспийского моря, где он хотел завести торговую факторию. Его заботили также улучшение быта и жизни грузин посредством распространения среди них образования, украшение Тифлиса, начавшего мало-помалу принимать при нем вид европейского города, развитие отраслей местной промышленности, особенно мареноводства, шелкозаводства и виноделия. В этих же видах он поселил в Грузии до пятисот виртембергских семейств, которые образовали несколько колоний и могли служить местному населению образцом хозяйственного порядка и довольства, которого может достичь поселянин трудом и умением пользоваться богатыми дарами природы.

Так, во время пребывания своего на Кавказе, Ермолов отдавал ему всю свою жизнь, все силы своего ума и все свои помыслы. Но в 1821 году Кавказ едва не потерял его.

Революция в Италии потребовала значительных усилий для своего подавления, и император Александр, находившийся тогда в Лайбахе, назначил на помощь Австрии

стотысячную русскую армию. Ермолов был вызван в Петербург, а затем высочайшим рескриптом — в Лайбах. Было уже и секретное распоряжение о назначении его главнокомандующим, но революция потухла, и русские войска получили приказание остановиться.

“Таким образом,— говорит Ермолов,— сверх всякого ожидания моего, был я главнокомандующим армии, которой я не видел, и доселе не знаю, почему назначение мое должно было сопровождаемо быть тайною”.

Но Ермолов, если судить по его словам, и не был доволен готовившимся ему назначением. “Конечно,— говорит он,— не было доселе примера, чтобы начальник, предназначенный к командованию армией, был столько, как я, доволен, что война не имела места. Довольно сказать, что я очень хорошо понимал невыгоды явиться в Италии вскоре после Суворова и Бонапарта, которым века удивляться будут”.

Еще до поездки Ермолова в Лайбах граф Аракчеев, по приказанию государя, вручил ему Владимирскую ленту, а по возвращении в Петербург император назначил ему аренду в сорок тысяч рублей. Но Ермолов с редким бескорыстием отказался от последней награды; он убедил государя взять назад уже подписанный указ и употребить эту сумму на помощь бедным служащим, обремененным семействами. “Равно великодушен был Государь,— говорит он,— и награждая меня, и выслушивая отзыв мой, что я награды не приемлю. Могу признаться, что в отказ мой не вмешивалось самолюбие, но почитал я награду свыше заслуг моих и мне ни по каким причинам не принадлежащую. Средства существования, хотя не роскошные, доставляла мне служба, а вне оной не страшился бы я возвратиться к тому скудному состоянию, в котором я рожден”.

И высочайший рескрипт, уже заготовленный на имя Ермолова, был уничтожен. “Я знаю, что ты ничего не имеешь,— сказал ему государь,— и тем более благодарю тебя за твой деликатный и бескорыстный поступок”.

Враги Ермолова толковали, что это уловка, хитрость с его стороны и что в этом отказе крылась задняя мысль — желание получить со временем более. “Жаль,— замечает со справедливой иронией историк Ковалевский,— что они сами не прибегли к такой же уловке, от этого наши финансы конечно много бы выиграли”.

Таким образом вызов Ермолова в Лайбах и пребывание его при особе государя не принесли ему лично никаких существенных выгод; но это не отдалило от него неудовольствия тех, которые почитали себя вправе быть ему предпочтенными, и даже умножило число его врагов и завистников, “Немного оправдался я в глазах их,— говорит Ермолов,— оставшись тем же, как и прежде, корпусным командиром”.

Двадцать восьмого октября 1821 года Ермолов был уже снова на лелеемом им Кавказе, “чего,— как замечает он,— многие не ожидали”, и плодотворная, богатая результатами деятельность его в крае продолжалась еще пять лет.

1826 год сделался переломом и в жизни Кавказа и в жизни Ермолова. Обстоятельства вдруг неожиданно переменились, и “над неуязвимым до того Ермоловым начала собираться грозная туча”. В июне персияне внезапно вторглись в русские пределы, мусульманские провинции восстали. Опасность, угрожавшая Грузии, естественно заставила обратить все силы туда и оставить дела на Северном Кавказе до более благоприятного времени. Между тем и в горах уже становилось неспокойно; там зрел мюридизм, являлись признаки новой неведомой силы, и предвестники грядущей бури

становились все ярче и неудержимее. Быть может, никогда так не был нужен Кавказу Ермолов, как в это время, но судьба распорядилась иначе; Ермолов должен был оставить его. Несколько отдельных неудачных действий, сопровождавших первые моменты персидского вторжения,— действий, не зависевших непосредственно от самого Ермолова, но которые он все-таки мог бы предвидеть и предупредить, послужили поводом к назначению на Кавказ Паскевича.

Ермолов пал. Но седые вершины Кавказа и поныне хранят память о славном вожде,
Чье имя, как завет священный,
Штыками врезано в горах.

II. ПОСОЛЬСТВО В ПЕРСИЮ

В то время когда Ермолов получил назначение на Кавказ, одной из главнейших задач России в тамошних краях было установить прочные отношения с Персией, не оставлявшей своих притязаний на обширные земли, уступленные ею по Гюлистанскому миру, вынужденному беспримерными победами Котляревского. Настояния Персии, в которых немалое участие нужно приписать влиянию Англии, были настолько велики, что император Александр уже дал в принципе согласие возвратить Персии некоторые из ее бывших провинций. Чтобы уладить это неотложное дело и в то же время ослабить влияние англичан посредством установления с Персией постоянных дипломатических сношений, Ермолов, отправляясь на Кавказ, получил вместе с тем назначение полномочным императорским послом в Персию. Выбор был как нельзя более удачен. В сношениях с персиянами чрезвычайно много значила настойчивость, твердая воля, а она и составляла именно одно из главнейших качеств Ермолова. Руководимый самими обстоятельствами, он с большой твердостью, умом и достоинством сумел удержаться на высоте представителя великой державы, отклонить все требования Персии и отпарировать свойственное восточной политике постоянное стремление унизить чужеземного посла.

Понимая, как влияет на восточные народы внешний блеск, роскошь, без которых они не могут себе и представить могущества, Ермолов принял все меры, чтобы явиться в Персию со всевозможной пышностью. И из всех русских посольств, когда-либо отправленных в эту страну, посольство Ермолова было бесспорно самым блестящим, как по своему личному составу, так и по денежным на него затратам. Посольство выехало из Тифлиса семнадцатого апреля 1817 года. Около четырех часов пополудни в Сионском соборе торжественно и при большом стечении народа совершено было преосвященным митрополитом Грузии Варлаамом напутственное молебствие; отъезжающие прямо из-под сводов древнего храма сели на лошадей и при всевозможных добрых пожеланиях направились из города к персидским границам. Погода стояла ясная, теплая, и посольство, идя безостановочно, тридцатого апреля благополучно достигло уже Талыни — первого большого селения, лежавшего за пограничной чертой, как раз на половине пути между Гумри и Эриванью.

Талынь, опустошенная русскими войсками в последнюю перед тем персидскую войну, по рассказам старожилов армян, некогда была большим многолюдным городом, не уступавшим Эривани. Персияне выстроили здесь сильную крепость, внутри которой стоял древний, уже тогда полуразрушенный, с четырьмя высокими башнями замок, которому армяне насчитывают более тысячи лет. Народная молва облекла этот замок поэтической легендой, свидетельствующей о былой славе Талыни. Последней владетельницей города легенда называет какую-то армянскую княгиню Лютру, оставившую по себе в народе память баснословной красотой и еще более баснословными разбойничьими подвигами, которые она совершала с толпой своих обожателей-сподвижников. Персидский шах ага

Мохаммед-хан, подступив в 1795 году к Эривани, потребовал от нее покорности, но встретил презрительный отказ. Тогда замок был взят кровопролитным приступом и разрушен, но евнуху-победителю достался только труп прекрасной княгини.

История замка и несчастная кончина героини-красавицы поныне воспламеняют воображение восточных поэтов.

В Талыни Ермолова приветствовали родственник эриванского сардаря и назначенный состоять при посольстве главный пристав Аскир-хан, бывший послом в Париже при Наполеоне. Ермолов очаровал их своей любезностью, но при этом тонко заметил, что эриванскому сардарю будет прилично встретить его, когда он будет въезжать в Эривань.

Следующим за Талынью важным пунктом на пути посольства был Эчмиадзин, первопрестольный армянский монастырь. Здесь навстречу Ермолову выехал сам патриарх Ефрем на прекрасной лошади в золотой сбруе; остальное духовенство в полном облачении и с хоругвями ожидало его у монастырских ворот. При колокольном звоне, пении гимнов и стрельбе из фальконетов проследовало посольство до назначенного ему помещения. “Я с намерением,— говорит Ермолов,— не пошел прямо в церковь, дабы не привести с собою толпы встречавших меня персиян, которые в храмах наших обыкновенно не оказывают никакого уважения к святыне”. Этот такт, впрочем, не избавил Ермолова от предвиденного им унижения православной церкви. “С прискорбием увидел я (на следующий день, во время литургии),— рассказывает он далее,— что чиновники персидские требовали стулья и сидели, когда не могли не заметить они, что я не только не сел на предложенное мне кресло, ниже стал на ковер, нарочно для меня разостланный”. Для русского чувства Ермолова это было неприятно тем более, что “чиновники сии не смеют сидеть при сардаре эриванском или несколько раз заставят повторить приглашение, почитая то за редкую и величайшую милость”.

Но Ермолов был из тех людей, которых препятствия только закаляют, и тем решительнее становились его стремления заставить персиян уважать в нем русского посла.

Третьего мая, на половине пути между Эчмиадзином и Эриванью, Ермолов был встречен пятитысячным отрядом курганской конницы, под начальством брата сардаря, Гассан-хана, славившегося своей храбростью; а за версту от города выехал к нему навстречу и сам эриванский сардарь, Гуссейн-хан. К сожалению, проливной дождь много помешал торжественности вступления в город и усилил еще больше неудовольствие сардаря, гордость которого была задета необходимостью выехать навстречу русскому послу.

“В квартире, которую нам отвели в Эривани,— рассказывает Грибоедов, находившийся в свите Ермолова,— были стулья. Такое особенное предпочтение только нам, русским; и между тем, как англичане смиренно сгибают колени и садятся на пол, как Бог велит и разутые, мы на возвышенных седалищах беззаботно топчем нашими толстыми подошвами многоценные персидские ковры. Ермолову обязаны его соотчичи той степенью уважения, на которой они справедливо удерживаются в здешнем народе”.

Во время своего пребывания в Эривани Ермолов отмечает в путевом журнале своем только следующий любопытный факт. “До прибытия моего в Эривань,— говорит он,— разнесся в простом народе слух, что я веду с собою войско.

Глупому персидскому легковерию казалось возможным, что я везу скрытых в ящиках солдат, которые могут овладеть городом. Невидимые мои легионы состояли из двадцати четырех человек пехоты и стольких же казаков, а регулярная конница вся заключалась в

одном драгунском унтер-офицере, который присматривал за единственной моей верховой лошадью. Вот все силы, которые приводили в трепет пограничные провинции Персидской монархии. Казалось, что и в некоторых чиновниках гордость и притворство не скрыли страха, издавна вселенного в них русскими”.

От Эривани до самого Тавриза, где Ермолову предстояли переговоры с наследником персидского престола, посольство не сделало шагу без сопровождения войсками. “Весьма приметно было,— говорит Ермолов,— что персияне старались показать их сколько можно более и, сколько умели, в лучшем виде. В городах не оставалось ремесленника, на которого не нацепили бы ружья, хватали приезжавших на торг персиян и составляли из них конницу, дабы вразумить нас, какими страшными ополчениями ограждены пограничные области Персии. Из благопристойности я только смеялся сему, но не столько смешно было то персиянам”.

За пятнадцать верст до Тавриза, в городе Саглане, посольство остановилось, чтобы приготовиться к торжественному вступлению в резиденцию персидского наследника. Здесь Ермолову присланы были от Аббас-Мирзы фрукты с пышным приветствием, смысл которого заключался в желании, чтобы “столько же сладко было их знакомство, как сладки присланные фрукты”. Девятнадцатого мая посольство вступало в Тавриз. По мере приближения к городу, к свите Ермолова начали присоединяться персидские чины и разного звания люди, спешившие один перед другим приветствовать русского посла со счастливым прибытием в столицу Азербайджана. Далее стояло шестнадцать тысяч войска, выстроенного по обеим сторонам дороги до самого Тавриза. С приближением посольства началась пушечная пальба. Стечение народа было громадно. И в то самое время как Ермолов, предшествуемый хором русской музыки и окруженный свитой, проезжал посреди персидских войск, отдававших ему воинские почести, позади фронта, сквозь густую толпу любопытных пробирался на дорогом коне всадник, тщательно закрывавший лицо черной епанчей. Незнакомец, как было замечено, не сводил глаз с Ермолова и зорко следил за каждым его движением, как бы желая проникнуть ему в душу. Перед самым городом таинственный всадник скрылся. То был сам наследник персидского престола Аббас-Мирза.

На двадцать первое мая назначена была парадная аудиенция.

Обычаи и церемонии персидского двора при приеме дипломатических агентов отличались унизительным для последних характером. Сколько бы ни был шах Персии убежден в своем бессилии перед могущественным противником, в глазах своего народа он всегда должен был казаться властелином вселенной, и чужеземный посол принимался как данник, ищущий милости повелителя. Из этих обычаев придворного персидского этикета самым унизительным для европейцев, но строго соблюдавшимся, было снимание сапог и надевание красных чулок, без которых ни один из подданных шаха не дерзал являться ко двору. Французы и англичане беспрекословно подчинялись этому правилу. “А так как я,— говорит Ермолов в своем журнале,— не приехал ни с чувствами наполеонова шпиона, ни с прибыточными расчетами приказчика купечествующей нации, то и не согласился ни на красные чулки, ни на другие условия”. Склонить Ермолова на уступки оказалось невозможным. Тогда Аббас-Мирза, не желая нарушать установившегося при дворе этикета, решил принять Ермолова не в комнате, а перед домом, и не на коврах, которых не дерзал попирать ни один сапог, а на каменном помосте внутреннего двора, у самого окна, под портретом своего отца.

Аудиенция назначена была ровно в полдень. От самого дома, отведенного посольству, по тесным, кривым и неопрятным улицам Ермолов ехал на богато убранном коне,

присланном принцем, посреди двух рядов персидского войска. На большом дворе посол и вся свита сошли с лошадей. Темными и узкими переходами их провели во второй двор, наконец в третий, прекрасно вымощенный и украшенный несколькими бассейнами. В конце этого двора, под палаточным навесом, стоял Аббас-Мирза, одетый без всякой роскоши — поверх каба (род подрясника) из синей материи на нем был темно-красный плащ с длинными рукавами (джуббе), на голове — каджарская шапка, и только за шалевым поясом сверкал осыпанный алмазами кинжал. По левую сторону принца стояли три мальчика в богатейшем убранстве.

“Можно было не узнать, что то был наследник,— рассказывает Ермолов,— но шедшие впереди нас церемониймейстер и адъютанты его начали поспешно снимать свои туфли и кланяться почти до земли. Мы, не останавливаясь, продолжали идти далее; на середине двора они опять догнали нас, и опять начались поклоны, но уже не столь продолжительные, ибо, сняв прежде туфли, нет обыкновения снимать что-либо более. И так приближаемся мы к полотняному навесу и уже вблизи видим наследника. Мы в сию минуту похожи ж на военных людей, утомленных сильным в знойное время переходом, поспешающих на отдых под ставку маркитанта”.

От проницательности Ермолова не скрылось, почему Аббас-Мирза принял его на дворе, и он решился отплатить персиянам не меньшей невежливостью. Остановившись в шести шагах от принца и сделав вид, что его не знает, он обратился к провожавшим его персиянам и спросил: “Где же Его Высочество?” — и только после ответа снял шляпу, чему последовала и вся свита. Тогда Аббас-Мирза сделал три шага вперед и подал Ермолову руку. Свидание продолжалось с час. Раскланявшись при прощании с принцем, Ермолов повернулся, тут же надел шляпу, что сделала и свита его, и посольство тем же порядком возвратилось в отведенный ему дом. За аудиенцией следовали празднества в честь посольства. Из них Ермолов отмечает в своем журнале лишь смотр войска, на котором присутствовал и наследный принц. Персидская конница вызвала общее одобрение, но артиллерия оказалась плоха: из восемнадцати орудий, из которых каждое сделало по шести выстрелов, ни одно не попало в цель. Тем не менее Аббас-Мирза был о ней весьма высокого мнения и между прочим сказал, что завести артиллерию его научили русские. Ермолов не упустил при этом случая кольнуть самолюбие принца, сказав, что если русские были причиной того, что он завел артиллерию, то и принц, в свою очередь, вразумил других насчет ее необходимости, что народ самый непросвещенный, как туркмены, и те просят завести у них артиллерию. Для пояснения нужно прибавить, что туркмены были злейшими врагами персиян. “К кому же они отнеслись с этой просьбой?” — спросил Аббас-Мирза. “Я отвечал,— рассказывает Ермолов,— что за отсутствием моим в Грузии поручил заняться этим заступающему мое место начальнику”. Аббас-Мирза смутился; ему неприятно было слышать о прогрессе военного дела у непримиримых врагов Персии.

После смотра Ермолов приглашен был принцем на чай и шербет. Его приняли в салу, в беседке, из которой открывался превосходный вид на город и окрестности. Посольская свита была с ним, и это обстоятельство было опять крайне неприятно Аббас-Мирзе. Дело в том, что по закону своей земли он не мог есть и пить в присутствии неверных, исключение сделано было для одного Ермолова, а не для свиты его, и присутствие последней на званом шербете было унижением для принца. Таким образом он, искавший случая унизить русских в глазах своих будущих подданных и возвысить понятие о собственном величии и могуществе, встречал в Ермолове, слишком хорошо понимавшем персиян, постоянный отпор. На гордость и надменность принца в ущерб чести и достоинству русского посольства Ермолов отвечал почти открытым презрением. И когда принц, простившись, хотел выехать из сада один, Ермолов дал знак своему ординарцу, и

рядом с лошадью принца явилась и лошадь Ермолова — они выехали вместе. Все это, конечно, раздражало персиян, но Ермолов все устраивал как бы случайно, так что им приходилось скрывать свое неудовольствие.

Борьба с принцем из-за этикета была слишком неприятным делом, и Ермолов старался по возможности сократить свое пребывание в Тавризе. Известий о том, где и когда шаху угодно будет принять его, однако, не имелось. Но лишь только, двадцать четвертого мая, получено было письмо, приглашавшее посла в летнюю резиденцию шаха, Султаниэ, Ермолов немедленно собрался в путь. Накануне его выезда Аббас-Мирза пригласил его на загородную прогулку. Но Ермолов через каймакама ответил, что, выезжая на следующее утро и страдая глазами, он не может исполнить желание принца. "Я бы дождался облегчения от болезни,— прибавил Ермолов,— чтобы иметь у принца прощальную аудиенцию, но как я не был принят им приличным образом, а встретился с ним на дворе и за аудиенцию того почесть не могу, то и не полагаю себя в обязанности откланиваться ему; впрочем, как с человеком милым и любезным, с которым приятно было мне сделать знакомство, желал бы я еще где-нибудь встретиться".

Этот неожиданный и резкий ответ как громом поразил каймакама. Напрасно он старался доказывать, что прием на дворе есть доказательство величайшего к нему уважения, что до него все посланники, принимаемые в комнатах, были обязаны надевать красные чулки. Ермолов отвечал, что он "в сравнение с другими идти не намерен"; если же без красных чулков обойтись нельзя, то он просит каймакама заблаговременно предупредить шаха, что он их не наденет, а между тем, чтобы не делать бесполезно излишнего пути, он на дороге будет ожидать ответа: ехать ли ему далее, или возвратиться в Россию?" На следующее утро откланиваться принцу отправился только советник посольства. В городе, где готовились к торжественным проводам, поднялась суматоха, но с восходом солнца Ермолова уже не было в Тавризе.

Главный караванный путь из Тавриза в Тегеран, по которому следовало посольство, не представляет ничего замечательного. Только Султанийская долина и роскошные сапы, в которых утопает Казвин, нарушают утомительное однообразие, составляющее отличительный характер этой части Персии, в противоположность чудной природе по северную сторону Эльбурза в прикаспийских провинциях.

Двадцать восьмого мая Ермолов остановился в прекрасном замке, построенном Аббас-Мирзой для его царственного отца и называвшемся Уджан, что значит Царская Роза. Говорят, что постройка этого замка стоила до тридцати тысяч червонцев, но уже во времена пребывания в нем Ермолова он видимо клонился к упадку, и убранство его было очень бедно. В этом-то замке Ермолов и видел знаменитую картину, изображающую победу персиян над русскими. Картин было, собственно, две. На одной был изображен Аббас-Мирза, представляющий шаху регулярные войска и артиллерию; шах нарисован сидящим верхом во всем царском убранстве, Аббас-Мирза — лежащим на земле у передних ног его лошади, "как бы просящим,— по ироническому замечанию Ермолова,— помилования за введение в войсках европейского устройства, что в шахе могло возбудить подозрение на какие-нибудь замыслы". На другой картине изображены русские, обращенные в бегство. Ермолов так описывает представленную на ней сцену.

"Ни один (русский) не дерзает остановиться против непобедимых войск Аббас-Мирзы; многие увлекаемы в плен или с унижением просят помилования; головы дерзнувших противиться повергаются перед его лошадью. Нет в помощь несчастным русским ни единой преграды, могущей удержать стремление героев Персии. Как вихри несут кони ужасную артиллерию, уже рассевает она смерть между русскими, и гибель их

неотвратима. Со стороны русских одно орудие, около которого спасаются рассеянные, и оно уже готово впасть во власть победителя. Разрушается российская монархия, и день сей изглаживает имя русское с лица земли! Но кто виновник сих ужасных перемен на земном шаре?

Не сам ли шах, столько царствованием своим прославленный? Нет, он не оставлял гарема своего, населенного множеством красоты, и труды, во славу отечества им подъятые, обогатили его семью младенцами, в один день рожденными, в дополнение к сотне, которых имел он прежде. Не Аббас ли Мирзе, наследнику, предоставила судьба уничтожение сильнейшего в мире народа? Нет, никогда не провожал он войска к победам, никогда не видал он торжествующих, и слава на поле битвы всегда принадлежала резвому коню, спасавшему его быстрым бегом. Герой, венчавший себя бессмертной славою, есть англичанин Линдезей из войск Ост-Индской компании. Он изображен на картине, повелевающим артиллерией...”

Вопрос Ермолова: “Не Асландузское ли, или Ленкоранское это сражение?” — был очень кстати.

В Уджане посольство пробыло целую неделю и только пятого июня двинулось вперед. Но и дальнейший путь часто прерывался более или менее длинными остановками, так что только через месяц посольство прибыло наконец в урочище Саман-архи, лежащее верстах в десяти от Султаниэ, куда ожидали вскоре прибытия шаха. Ермолова встретил Мирза-Абдул-Вахаб, министр, пользовавшийся особенной доверенностью шаха. Он прислан был узнать, в чем именно будут состоять предложения посла. Но на все его домогательства Ермолов отвечал, что ни в какие официальные переговоры до личного свидания с шахом он вдаваться не может. Тем не менее между ними было несколько совещаний, сопровождавшихся горячими спорами. Абдул-Вахаб утверждал, что шах не перестанет рассчитывать на уступку ему земель, отторгнутых Россией, в особенности Карабага, и что за отказом может последовать война. Ермолов отвечал, что из земель он не уступит ни единой пяди, “если же,— прибавил он,— замечу я малейшую холодность в приеме шаха, то, охраняя достоинство моей родины, сам объявлю войну и потребую границ уже по Араксу, назначив день, когда русские войска возьмут Тавриз”.

Так прошло время до девятнадцатого июля — дня прибытия Фет-Али-шаха в Султаниэ. Ермолов и некоторые из его чиновников отправились посмотреть любопытное зрелище въезда шаха. Шествие показалось часов в девять утра. Впереди вели слона, на котором был утвержден великолепный балдахин; за ним следовали по порядку: пятьсот верблюдов с пушками и знаменами, азиатская музыка на верблюдах же и куртинский конвой, за которым вели шестнадцать богато убранных лошадей; затем шли скороходы и, наконец, на серой лошади, у которой ноги, живот, грива и хвост были выкрашены в оранжевый цвет, ехал сам Фет-Али-шах, с огромной бородой, спускавшейся ниже пояса. Перед самым въездом в Султаниэ был заколот верблюд, и голова его брошена под ноги шаха; это был обряд жертвоприношения. Толпы народа, собравшегося на зрелище, хранили глубокое молчание и, скрестив руки на груди, с невыразимой покорностью взирали на своего повелителя.

Через шесть дней был парадный въезд и русского посольства в Султаниэ, где для него устроен был особенный лагерь. Едва Ермолов подъехал к посольскому шатру, устланному коврами, над ним взвился флаг с Российским гербом, и один их шахских адъютантов явился с приветствием от лица своего повелителя. В тот же день Ермолов сделал визит великому визирю. Хитрый восьмидесятилетний старик, уже сорок лет занимавший эту должность, осыпал русского посла чрезвычайными любезностями. Ермолов в долгу не

остался и воспользовался всеми выгодами, какие ему могли представиться. “Из учтивости,— говорит он,— я платил ему тем же, и чтобы не быть совершенно неловким, я стал показывать удивление к его высоким качествам и добродетелям. Старик принял лесть за настоящую правду, и я, снискав доверие к своему простосердечию, свел с ним знакомство. Как мужа опытного и мудрого, просил я его наставления и уверял, что руководимый им, я не могу не сделать полезного. В знак большей к нему привязанности я дал ему название отца и, как покорный сын, обещал ему откровенность во всех поступках и делах. Итак, о чем невыгодно мне было трактовать с ним, как с верховным визирем, я обращался к нему, как к отцу, когда же надобно было возражать ему или даже постращать, то, храня почтение, как сын, я облекался в образ посла. Сей эгидой покрывал я себя, однако же, в одних крайних случаях и всегда выходил торжествующим”.

Несколько дней посвящено было прежде всего на составление церемониала шахской аудиенции. Шах оказался гораздо сговорчивее Аббас-Мирзы, и вопрос о красных чулках был порешен без особых затруднений; условлено было, чтобы, за сто шагов до палатки, один из служителей только отер пыль с сапог Ермолова, и то потому что кресло, приготовленное для посланника, стояло на том же ковре, на котором восседал и сам повелитель Персии. Торжественная аудиенция последовала тридцать первого июля. Внутри обширной площадки, обнесенной парусиновой оградой, стояла довольно большая палатка. В ней, на возвышении, устланном шалевыми коврами, поставлен был трон, на подножии которого был изображен отдыхающий лев. По правую сторону трона, на небольшом ковре, обшитом по краям жемчугом, лежали два круглых бархатных мутака, также украшенные большими жемчужинами; на четырех углах ковра стояли небольшие сосуды, вроде курильниц, а посередине помещался шахский кальян, осыпанный алмазами и другими драгоценными камнями.

За несколько минут до начала аудиенции в палатку вошел Фет-Али-шах и занял место на троне. Он был в золотой короне, блестевшей драгоценными камнями и богатейшим алмазным пером. От плеч по локтей на шахе были нарукавники, осыпанные рубинами, сапфирами, яхонтами, алмазами, сливавшими свет свой с ослепительным блеском двух знаменитейших в мире алмазов: “Горы света” и “Моря света”, из которых только один последний весил двести сорок три карата и ценился в шесть миллионов рублей.

В глубине палатки, около задней стены, поместились четырнадцать сыновей, а по сторонам трона стали лица, державшие шахские регалии: малую корону, щит, саблю, скипетр и государственную печать.

Ермолов приближался сопровождаемый Аллах-Яр-Ханом и двумя советниками, из которых один нес на золотом блюде императорскую грамоту. При самом входе на площадку он остановился и сделал первый поклон; на середине между входом на площадку и палаткой следовал второй поклон, и перед самой палаткой — третий. Тогда Аллах-Яр-хан громко сказал:

— Чрезвычайный и полномочный российско-императорский посол желает иметь счастье представиться Средоточию Вселенной и Убежищу Мира.

— Хош-гельды (Добро пожаловать)! — ответил шах и жестом руки пригласил посла в палатку.

Ермолов вошел, поклонился и, сказав короткую приветственную речь, передал императорскую грамоту. По приглашению шаха он сел на назначенное для него кресло. Следовавший затем разговор был вполне официального характера. При всяком обращении

к нему шаха посол вставал и беседовал стоя. Представляя затем чинов посольства, Ермолов обратил особенное внимание шаха на штабс-капитана Коцебу [Мориц Евстафьевич — родной брат известного варшавского генерал-губернатора Павла Евстафьевича Коцебу.], сказав, что тот совершил кругосветное плавание и явился с ним в Персию, ведомый желанием видеть великого Фет-Али-шаха. “Теперь он, конечно, все видел,— с видимым удовольствием произнес шах и, отпуская посла, выразил желание, чтобы все чиновники посольской свиты по возвращении в Россию были произведены в следующие чины.

За первой аудиенцией следовала вторая, сопровождавшаяся поднесением подарков шаху от императора. Тогда был магометанский праздник Байрама, и Ермолова предварительно пригласили в Диван-ханэ. Там он поздравил шаха с праздником и смотрел вместе с ним персидский увеселительный спектакль, во время которого Фет-Али-шах милостиво и дружелюбно разговаривал с послом. Спустя час шах намеревался посетить палатку с царскими дарами. Но в этот короткий промежуток времени поднялся сильный вихрь, едва не разметавший все дары, спасенные только благодаря величайшим усилиям целой сотни феррашей, успевших ухватиться за веревки и удержать на месте палатку. Когда ветер стих, шах прислал узнать, целы ли подарки, а вслед за тем и сам показался на дворцовой лестнице в сопровождении всех своих сыновей. Но едва только он дошел до палатки, в которой принимал посольство, как должен был в ней укрыться от страшной пыли, поднятой новым, более сильным порывом ветра. Но вот пыль улеглась, воздух по-прежнему стал чист и прозрачен, и шах перешел в близ стоявшую палатку, где ожидал его Ермолов вместе с верховным визирем. Богатство и изящество подарков с первого взгляда очаровали шаха; он невольно остановился у входа в палатку и только после изъявления Ермолову своего удовольствия стал переходить от одного предмета к другому, рассматривая каждую вещь до мельчайших подробностей. Особенное восхищение вызвали в шахе зеркала громаднейших размеров, каких ему еще не приходилось видеть. В первый раз в жизни увидел он себя так хорошо во весь рост. По рассказу Ермолова, он долго и неподвижно рассматривал самого себя и обливавшие его алмазы и бриллианты, в бесчисленных сияниях отражавшиеся в глубине волшебного трюмо. Все молчали, никто не смел нарушить очарования шаха, который хотел не раз отойти от зеркал и снова к ним возвращался. Осмотрев остальные подарки, состоявшие из драгоценных хрустальных сервизов, мехов, парчи и, наконец, бриллиантов, шах еще раз поблагодарил Ермолова и удалился во дворец, заметив на прощанье, что ему было бы несравненно легче приобрести миллионы, чем эти подарки русского венценосца, которых он не променяет ни на какие сокровища в мире. Впоследствии шах говорил своим придворным, что он чрезвычайно доволен Ермоловым, что перед ним, как государем, более Ермолова почтительным быть невозможно. Умение посла затронуть слабые стороны повелителя Персии более всего способствовало успешному и блестящему окончанию переговоров.

Уже наступил вечер, когда Ермолов, после этой аудиенции, возвратился в посольский лагерь. Здесь первой заботой его было немедленно отправить и к великому визирю назначенные ему от государя подарки: бриллиантовое перо с огромным изумрудом, золотую табакерку, осыпанную рубинами, парчу и собольи меха. Такое внимание русского царя необыкновенно польстило дряхлому премьеру, и он жалел о том, что ночь помешала народу быть свидетелем оказанной ему почести. А Ермолов, торопясь окончить возложенное на него поручение, пока еще не изгладилось приятное впечатление от подарков, при первом свидании с великим визирем настоятельно потребовал начатия переговоров. Не доверяя словесным объяснениям и обещаниям персиян, он условился вести переговоры не иначе как на бумаге. Не лишнее заметить, что всю возникшую затем переписку Ермолов вел собственноручно, чтобы, в случае каких-либо промахов, не

подвергать нареканиям или упрекам других, а за все быть ответственным самому. Характерная и редкая черта в начальнике!

А промахи могли быть, и Ермолов вполне сознавал их возможность и для самого себя. “Будучи военным человеком,— говорит он между прочим в своих записках,— не имел я в предмете подобных поручений, к ним не приуготовлял себя, и погрешности мои не стыдят меня, ибо происходят от новости предмета, отнюдь не от недостатка усердия или желания добра. Сим новым занятием, по счастью для меня временным, не сделаю я себе имени, не хочу скрывать моих ошибок, говорю о них, и охотно над собою смеяться буду”.

Перед Ермоловым главнейшей и весьма трудной задачей было, как выше сказано, удержать за Россией области, которых сильно домогалась Персия, но в то же время не только сохранить, но и упрочить дружественные связи с этой страной. И сначала Ермолов думал, что переговоры затянутся, что ему не скоро еще удастся выехать из Султаниэ. Но он напал на настоящий путь к дипломатической победе, путь “лести шаху” и энергичной настойчивости, напротив, с его министрами. Таким образом действий он отнял у последних всякую охоту длить переговоры, и все ограничилось несколькими свиданиями и одной конференцией двенадцатого августа, впрочем, довольно бурной. Верховный визирь и Мирза-Абдул-Вахаб истощили все свое красноречие, чтобы склонить Ермолова на уступку Карабага или по крайней мере хоть части Талышинского ханства,— Ермолов не уступил ничего. В пылу спора, здесь он вторично объявил персидским министрам, что если увидит хотя малейшую холодность или намерение перервать дружбу, то для достоинства России не потерпит, чтобы они первые объявили войну, и тотчас потребует земли уже по Аракс и назначит день, когда возьмет Тавриз. “Угрюмая рожа моя,— юмористически описывает он свои действия в письме к графу Арсению Андреевичу Закревскому,— всегда хорошо изображала чувства мои, и когда я говорил о войне, то она принимала выражение человека, готового схватить зубами за горло. Я заметил, что они (персидские министры) того не любят, и всякий раз, когда мне недоставало убедительных доказательств, я действовал зверской рожей, огромной своей фигурой, которая производила ужасное действие, и широким горлом, так что они убеждались, что не может же человек так громко кричать, не имея основательных и справедливых причин. Когда доходило до шаха, что я человек — зверь неприступный, то при первом свидании с ним я отравлял его лестью, так что уже не смели ему говорить против меня, и он готов был обвинять того, кто мне угодить не может”.

В другом письме Ермолов говорит: “Многие обыкновенно стараются все приписать своим способностям и талантам, я же признаюсь чистосердечно, что успеху более всего способствовала огромная фигура моя и приятное лицо, которое омрачил я ужасными усами, и очаровательный взгляд мой, и грудь высокая, в которую ударяя, производил звук, подобный громовым ударам. Когда говорил я, персияне думали, что с голосом моим соединяются голоса ста тысяч людей, согласных со мною в намерениях, единодушных в действии...”.

Изучив слабые стороны своих противников, Ермолов вообще широко пользовался всем, чем мог, не пренебрегал никакими средствами для внушения персиянам и их правительству должного к себе уважения. “Я всегда,— рассказывает он,— бестрепетно призывал во свидетели великого пророка Магомета и снискивал к обещаниям моим доверенность. Я уверил персиян, что предки мои были татары и выдал себя за потомка Чингисхана, удивляя их замечанием, что в той самой стране, где владычествовали мои предки, где все покорствовало страшному их оружию, я нахожусь послом, утверждающим мир и дружбу. О сем доведено было до сведения шаха, и он с уважением смотрел на потомка столь ужасного завоевателя. Доказательством неоспоримым происхождения

моего служил бывший в числе чиновников посольства двоюродный брат мой, полковник Ермолов, которому, к счастью моему, природа дала черные подслеповатые глаза и, выдвинув вперед скуластые щеки, расширила лицо наподобие калмыцкого. Шаху донесено было о сих явных признаках моей породы, и он приказал показать себе моего брата. Один из вельмож спросил у меня, сохранил ли я родословную; решительный ответ, что она хранится у старшего фамилии нашей, утвердил навсегда принадлежность мою Чингисхану. В случае войны потомок Чингисхана, начальствующий непобедимыми российскими войсками, будет иметь великое на народ влияние”.

Персидские сановники убедились наконец в непреклонности намерений Ермолова — не уступать им ничего — и прибегли к последней отчаянной уловке, заявив, что шах до того был уверен в уступке ему областей, что они страшатся одной мысли заявить ему о неудаче переговоров по этому предмету.

“В таком случае,— сказал им Ермолов,— я готов вывести вас из затруднения и лично объяснюсь с его величеством”.

Этот ответ отрезал министрам всякое отступление, и они должны были чистосердечно сознаться, что все предложения были деланы ими без предварительной на то воли шаха, но что, тем не менее; они сами рассчитывали на уступку, считая ее вполне справедливой. “Если я увижу во сне,— вскричал Ермолов,— что вам отдают земли, то, конечно, не пробужусь вовеки!”.

Тогда персидские вельможи попытались действовать иными средствами, попробовали смягчить Ермолова ценными подарками. Вот как он сам рассказывает об этом.

Однажды Ермолов был приглашен на парадный обед к низам-уд-доулэ, то есть к министру внутренних дел. Когда собрались приглашенные, хозяин взял Ермолова под руку, чтобы вести его к столу, и в это время весьма странным образом стал перебирать пальцы его левой руки. “Я позволил ему сию забаву,— говорит Ермолов,— думая, что в восточных обычаях значит то изъявление приязни, но вдруг почувствовал я на пальце необыкновенной величины перстень. Оторвав руку, я сказал ему, что подобных подарков и таким образом предложенных я не принимаю и скажу ему на то причину. Он обиделся отказом, и если бы за столом мог он сидеть со мною рядом, то конечно пустился бы на другое какое-либо предприятие, но меня спас высокий чин, ибо возле меня по приличию место занимаемо было знатнейшими. Однако же в продолжение стола объяснил он мне через переводчика, что если не принимаю я перстень, то предлагает он мне не оправленный камень, и я расстался с ним, не умея растолковать ему, что можно отказаться от приобретения драгоценного подарка”. На следующий день низам-уд-доулэ повторил свой маневр, предлагая в подарок Ермолову необычайной цены синий яхонт, но и на этот раз он потерпел неудачу, так же как и великий визирь, желавший наделить посла ниткой крупного жемчуга.

Наконец, шестнадцатого августа Ермолов получил официальное уведомление, что Фет-Али-шах приказал считать вопрос об областях, отошедших к России по Гюлистанскому трактату, поконченным, что “земли те впредь в возврат требованы не будут, так как приязнь государя императора шах предпочитает пользе, происходящей от приобретения земель”. Шах снова повторил это лично Ермолову при первом же с ним свидании. Но затем, обратившись к своему зятю, прибавил шутя: “Взгляни на посла,— как ему совестно, что не исполнил моего желания, когда я, со своей стороны, готов сделать все угодное его государю”. Произнеся это, шах спросил у Ермолова: “Скажи по правде, ты передашь разговор наш государю?”

“Непременно,— ответил Ермолов,— и присоединю к тому, что его высочество шах говорил мне о том самым благосклоннейшим образом, что в глазах его не только не было ни малейшего негодования, но, напротив, прочел я в них намерение шаха всегда быть истинным другом русских”. Шах остался ответом очень доволен и завел речь о своей власти, которую считал несравненно выше власти других венценосцев, уподобляя себя тени Аллаха на земле.

“Приятна,— сказал ему Ермолов,— тень от человека, под скипетром которого благоденствует несколько миллионов народа, считающего дни его благотворениями”,— и после этого, как бы мимоходом, он спросил у шаха, какова была тень дядюшки его, аги Мохаммед-хана, намекая тем на зверства этого последнего, нисколько не похожие на “благотворения”. Шах принял, однако, этот вопрос не только без неудовольствия, а даже усмехаясь.

Расположение шаха к Ермолову простерлось до того, что он приказал показать ему все свои сокровища, редко кому показываемые. Большую часть их шах имеет всегда при себе и на войне, и в дороге, не вверяя никому, кроме одного неразлучного с ним евнуха. Значение шахских сокровищ гораздо больше, чем простого богатства. Бывали примеры, что тот, кто овладевал шахскими сокровищами, становился тем самым и обладателем персидского престола, и сам Фет-Али-шах, получив весть о смерти дяди своего, аги Мохаммед-хана, прежде всего поспешил захватить все драгоценности, бывшие в Тегеране, зная им цену. Хранивший их был человек преданный ему; и тем не менее, опасаясь превратностей судьбы, шах взял лучших своих лошадей и в пять дней из Шираза прискакал верхом в Тегеран... “Шах,— замечает между прочим Ермолов,— и теперь удерживает породу быстрых лошадей, ибо не может быть уверен, чтобы не случилось с такой же скоростью спасаться, с каковой спешил к обладанию”.

В комнате, где хранились сокровища, Ермолов видел огромный алмаз, которому по величине нет даже подобного в целом свете, и несколько других, какими украшены лишь немногие из корон могущественных государей. Тут же, при осмотре драгоценностей, Аллах-Яр-Хан, зять Фет-Али-шаха, поднес Ермолову два больших портрета своего повелителя, из которых один предназначался государю императору, а другой ему. “Оба портрета,— говорит о них Ермолов,— написаны ужаснейшим образом, и, кажется, шах менее всего заботился о сходстве, но чтобы борода написана была длиннее даже обыкновенного, глаза самые черные, каковых у него нет, и чтобы одежда была богатой. В рассуждении драгоценных камней он великодушно позволяет изобразить их в большем виде, нежели они есть”. Портреты от дворца до палатки Ермолова отнесены были персидскими офицерами, но он почел необходимым сопровождать их, доставив этим большое удовольствие шаху.

Утром двадцать седьмого августа посольству присланы были шахские подарки. Ермолову назначены были: орден Льва и Солнца I степени с бриллиантами, сабля, принадлежавшая Измаил-шаху, с богатейшей портупеей, десять дорогих шалей и четырнадцать кусков золотой парчи. Принц Мамед-Мирза, со своей стороны, прислал ему четыре шали, несколько кусков парчи и две арабские лошади (кобылу и жеребца). От персидских сановников также получены были подарки, но Ермолов отправил их назад, оставив только девять лошадей персидской породы.

Вечером того же пня состоялась и прощальная аудиенция. Ермолов явился к шаху в персидской ленте, чем опять очень угодил ему. И, передавая Ермолову письмо к государю, шах сказал: “Ты до того расположил меня к себе, что язык мой не хочет произнесть, что я отпускаю тебя”. Милостиво простившись с посольской свитой, шах

отпустил Ермолова, пожелав ему “благополучного возвращения в Грузию и полного счастья в будущем”.

Посольство Ермолова окончилось. Главнейшая цель его — разрешить вопрос о пограничных ханствах — была достигнута. Осталось, однако, еще два нерешенных вопроса—об учреждении в некоторых пунктах Персии русских консульств и о возвращении тех из русских дезертиров, которые сами пожелали бы возвратиться в отечество. Но переговоры по этому поводу были отданы на решение Аббас-Мирзы, как лица, заведовавшего пограничными областями Персии, и Ермолов должен был снова обратиться к нему.

Двадцать девятого августа, в ясный и теплый день, посольство русское, оставив шахскую резиденцию, выступило в обратный путь. Ермолов, по его собственным словам, оставлял Султаниэ без сожаления, однако же уносил с собою немало и приятных воспоминаний, которые, впрочем, сосредотачивались почти исключительно на Фет-Али-шахе, с такой готовностью скрепившем узы доброго согласия и соседской дружбы между Персией и Россией. Но не мог он равнодушно думать об Аббас-Мирзе, к которому теперь направлял путь свой и по милости которого ему предстояло пережить еще несколько тревожных дней. Дорого заплатил бы Ермолов, чтобы миновать Тавриз и не встретиться более ни с наследником, ни, в особенности, с ненавистным ему каймакамом, но приходилось покориться обстоятельствам.

На одном из переходов посольство обогнали англичане, ехавшие из Султаниэ также в Тавриз, и передали Ермолову письмо от верховного визиря. Последний писал в нем, что полон отчаяния после разлуки и чувствует приближение к гробу, лишившись надежды видеться с Ермоловым. Посол отвечал ему в восточном вкусе: “Со дня разлуки солнце печально освещает природу; увяли розы и припахивают полынью. Померк свет в глазах моих, и как уже позади меня те места, которые украшает он своим присутствием, то глаза единым зрением его насыщаясь, желают переселиться в затылок”. “Я,— прибавляет Ермолов,— не оспаривал в нем чувство приближения к гробу, ибо казалось мне несколько неловким хвалить цветущую молодость в человеке девяноста лет...”

Девятого сентября посольство прибыло в Тавриз. Милостивый и ласковый прием, сделанный Ермолову Фет-Али-шахом, произвел свое действие и на принца. О прежних требованиях в соблюдении придворного этикета не могло теперь быть и речи, и посол каждый раз был принимаем в аудиенц-зале, где для него всегда стояло кресло и куда вместе с ним входила и вся его свита. На конференциях, начавшихся немедленно по прибытии посольства, скоро все вопросные пункты разрешены были удовлетворительно, за исключением, однако, самого щекотливого и трудного из них, касающегося возвращения наших беглых. Оказалось, что персияне “сплутовали”, как выражается Ермолов, заблаговременно отправив батальон русских дезертиров в поход, а тех, которые остались в Тавризе, держа под караулом и никуда не выпуская, пока посольство находилось в резиденции. Узнав об этом, Ермолов в глаза разругал каймакама, и в отмщение уклонился от официального признания за Аббас-Мирзой титула наследника, чего тот настойчиво домогался.

Двадцатого сентября, после прощальной аудиенции, посольство наконец оставило и Тавриз. Ермолов был утомлен борьбой с вероломством и хитростью персиян, и потому день этот, по собственному его признанию, был один из приятнейших в его жизни; он не иначе согласился бы снова увидеть Персию, как с оружием в руках.

Притом, вынесенные Ермоловым на пути, особенно обратном, впечатления от восточного растления нравов, подкупности властей и раболепия народа поражали его неприятно. Еще по пути в Тавриз, в Нахичевани, ему пришлось познакомиться с жертвой страшного шахского деспотизма. Хан, управлявший небольшой областью этой, был ослеплен во время обладания Персией агой Мохаммед-ханом, и возмущенный Ермолов отнесся к нему с особым участием и уважением. Хан был тронут, и у него вырвалась даже горькая жалоба на жестокость тирана. “Но странно смотрели на мое соболезнование провожавшие меня персияне,— говорит Ермолов в записках,— рабы сии из подобострастия готовы почитать глаза излишеством... И ничто не изгладит моего презрения, которое я почувствовал к персидскому правительству!”

Теперь, на обратном пути, Ермолов остановился опять в доме этого хана, который оставил в нем приятные воспоминания. “Он один,— говорится в записках Ермолова,— чувствует гнусность правления, которому крайность одна заставляет его повиноваться. Он имеет твердость смело рассуждать о нем и самим персиянам выхвалять преимущество правления российского. Действительно, старый и слепой хан, только недавно возвращенный на ханство, оставивший притом сына своего заложником в руках персидского двора, научился смотреть дальше своих соотечественников очами души.

“Здесь,— говорил он Ермолову,— сидя у окна, восхищался я некогда богатством прекраснейшей долины, простиравшейся к Араксу; она была покрыта обширными садами и лесом, и многолюдное население оживляло ее. Теперь, сказывают мне, она обращена в пустыню, и нет следов прежнего ее богатства. Мысль о сем уменьшает горесть, что я лишен зрения, и я нередко благодарю судьбу, что она закрыла мои глаза на разорения земли, которая в продолжение трех веков блаженствовала под управлением моих предков. Междоусобные войны и прохождения армий Надир-шаха вносили в мою несчастную землю опустошения, и каждый шаг сего завоевателя ознаменован был бедствиями народов. Не так давно здесь были и русские войска, но они не заставили проливать слез в земле нашей, и злом не вспоминают о них соотечественники мои. Теперь вы, посол сильнейшего государя в мире, удостаиваете меня вашей приязнью и, не пренебрегая бедным жилищем моим, позволяете принять себя как друга. Не измените тех же чувств благорасположения, господин посол, когда непреодолимые войска государя вашего войдут победителями в страну сию. Хотя приближаюсь я к старости, но еще не сокрушит она сил моих, и последние дни жизни моей успокою я под сильной защитой вашего оружия. Некоторое предчувствие меня в том уверяет... Я знаю персиян и потому не полагаюсь на прочность дружбы, которую вы утвердить столько старались. Я не сомневаюсь, что или они нарушат дружбу своим вероломством, или вас заставят нарушить ее, вызывая к отмщению вероломства...”

Возмущаясь на каждом шагу зрелищами, которые оскорбляли в нем его человеческие чувства, Ермолов нетерпеливо торопился оставить Персию, и второго октября посольство было уже на русской границе. Здесь его встретила команда донских казаков, высланная в конвой, а вскоре показалось на возвышении и развевающееся знамя храбрых русских войск. “Удовольствие мое,— говорит об этой минуте Ермолов,— было свыше всякого выражения, и теперь не вспоминаю о том равнодушно. Далеки были от меня горделивые помышления, что я начальствую в странах сих, что мне повинуются страшные сии войска. Я стал бы в рядах сих храбрых воинов, и товарищем их нашел бы я удовлетворение своей гордости. Никогда не разлучно со мною чувство, что я россиянин”.

Ермолов вынес из Персии ненависть к этой стране, столь чуждой ему по духу.

“Тебе, Персия,— обращается он к ней,— не дерзающая расторгнуть оковы поноснейшего рабства, которые налагает ненасытная власть, никаких пределов не признающая, где подлые свойства народа уничтожают достоинство человека и отъемлют познание прав его, где обязанности каждого истолковываются раболепным угождением властителю, где самая вера научает злодеяниям и дела добрые не получают возмездия,— тебе посвящаю я ненависть мою и отягчая проклятием прорицаю падение твое”.

Так заканчиваются записки Ермолова о Персии.

“Но думал ли тогда Ермолов,— говорит Берже в своей монографии о посольстве Ермолова в Персию,— что именно то государство, над которым он произносит суровый приговор свой, прежде чем распасться самому, подготовит его собственную гибель?..”

Ермолову, действительно, предстояло в туманном будущем роковое столкновение с Персией, тяжко отозвавшееся на его личной судьбе.

III. ПЛЕН ШВЕЦОВА

Едва вступил Ермолов на кавказскую почву, как ему представился случай рельефно выказать свой взгляд на то, каковые должны быть отношения русских начальников к горским народам. Проезжая через Георгиевск в Тифлис, он остановил свое внимание между прочим на одном обстоятельстве, не имевшем общегосударственного интереса и тем не менее заинтересовавшем тогда всю военную Россию. Дело шло именно о выкупе из плена русского офицера, и Ермолов дал сразу поразивший всех пример той твердости, которая не могла не повести к счастливым результатам. Шестого февраля 1816 года проезжал по дороге в Кизляр из Казиюрта майор Грузинского гренадерского полка Павел Швецов, один из лучших боевых офицеров Кавказского корпуса, любимый ученик Котляревского, сподвижник славных его дел под Мигри, Ахалкалаками, Асландузом и Ленкоранью. Швецов ехал из Шемахи в отпуск повидаться с родными и, чтобы сократить путь, направился не обыкновенной Военно-Грузинской дорогой, а на Кубу и в Дербент, рассчитывая через Дагестанские владения скорее пробраться на Терек, в Кизляр, где один из его старших братьев был полицмейстером. Приехав в Казиюрт вечером пятого февраля, Швецов просил начальника укрепления, штабс-капитана Прошкова, снабдить его конвоем. Прошков резонно ответил, что на посту находится только одна рота пехоты и двадцать пять казаков, что они не имеют назначения конвоировать проезжающих и что, наконец, за безопасность пути между Дербентом и Кизляром отвечают те горские владельцы, которым принадлежат попутные земли. Во всяком случае, по его мнению, было бы гораздо благоразумнее пробыть в Казиюрте день или два, чтобы дождаться оказии, которая пойдет отсюда до карантинной заставы. Швецов ответил, что ему нельзя терять времени, и обратился с просьбой о конвое к одному из кумыкских князей, Шефи-беку. Тот послал сына с четырьмя узденями, собралось еще несколько жителей, и составившийся таким образом отряд из девятнадцати человек верховых, не считая самого Швецова, выехал из Казиюрта.

До Лащуринского карантина доехали благополучно; миновали еще восемь-девять верст, и дорога пошла густым камышом, простирающимся до самого Терека. Уже до Кизляра оставалось верст шесть, когда из придорожного кустарника вдруг грянул залп, и партия, человек в пять-десять конных, сидевшая в засаде, с гиком ринулась на путников. Лошадь под Швецовым была убита; он упал вместе с нею и едва вскочил на ноги, как на него уже напала целая толпа чеченцев. Отчаяние, однако, придало ему и силы и мужества; он выхватил шашку и стал защищаться. Трое чеченцев были изрублены, остальные отпрянули. Только тогда, оглянувшись кругом, Швецов увидел, что остался один. Из

девятнадцати спутников его, трое, спасшиеся каким-то чудом, успели ускакать в Кизляр, одиннадцать лежали убитыми и трое — тяжело израненными; оба денщика Швецова были взяты в плен; вьюки — разграблены. Швецов не мог не сознавать отчаянности своего положения, и тем не менее, привычный к опасностям, он быстро составил план обороны, рассчитывая продержаться хоть с полчаса, чтобы дать время прискакать казакам из Кизляра. А на линии уже шла тревога, и глухие удары пушечных выстрелов доносились по ветру. Чеченцам также медлить было нельзя. И вот, пока они, столпившись в кучу, старались выманить последний выстрел со стороны Швецова, и когда все внимание последнего было обращено именно на то, что делалось у него перед глазами, один из чеченцев скрытно, как змея, прополз ему в тыл и внезапным ударом сзади по голове поверг Швецова на землю. Тогда чеченцы толпою набросились на раненого, скрутили его арканами и взбросили на лошадь. Теперь им оставалось только избежать погони, и партия, чтобы запутать свой след, пустилась не прямо к горам, а камышами к Каспийскому морю.

Погоня между тем уже неслась из Кизляра. Трое татар, прискакав в город, подняли там тревогу, и старший брат Швецова, быстро собрав по шестидесяти конных ногайцев, поспешил с ними на место происшествия, чтобы оттуда начать преследование. По дороге от раненых, уже подобранных жителями, Швецов узнал, что брат его жив, но в плену, а далее ему указали и направление партии. Он тотчас обрезал след и понесся наперерез хищникам.

Тогда уже и капитан Прошков со своими казаками, и сам владелец Шефи-бек, и соседние кумыкские князья также отправились в погоню за партией. Но пока они искали ее в камышах, по берегу моря, Швецов уже напал на след и преследовал партию до самой ночи. И она, наконец, была настигнута. Хищники, в свою очередь увидев, что им не уйти без боям остановились. С их стороны выехал парламентер, а между тем они вывели вперед и пленного Швецова, по бокам которого стали двое чеченцев с обнаженными кинжалами. Парламентер объявил, что если чеченцев не пропустят, они будут драться до последнего человека, но что первой жертвой неминуемо сделается пленный, которого зарежут, чтобы никто не осмелился после сказать, что татары отбили у них добычу. Несчастный пленник, хорошо сознавая свое положение, сам просил брата не домогаться его освобождения, положившись с полным упованием на милосердие Божие. Волей-неволей пришлось покориться обстоятельствам; условия были заключены, и чеченцы, отпустив одного из пленных денщиков, спокойно потянулись в горы.

Несколько дней путешествия — и горцы достигли наконец аула Большие Атаги. По обычаю своей родины они еще издали возвестили об удачном набеге ружейной пальбой и этим вызвали из саклей навстречу к себе все, что только могло участвовать в общей народной радости. И старые, и молодые теснились около смелых наездников и рассматривали пленного. Находились фанатики, подбегавшие к нему только за тем, чтобы нанести оскорбление, — плюнуть ему в лицо, ударить камнем или, вынув кинжал, показать, с каким удовольствием они, если бы можно, изрезали его на части. Их без церемонии, однако, отгоняли нагайками, и пленного бережно доставили в дом к одному из почтеннейших стариков аула. Здесь его посадили в какую-то тесную каморку, набили на него кандалы и, протянув тяжелую цепь сквозь стену в смежное отделение сакли, приставили караульных. Вероятно, чеченцы принимали Швецова за лицо весьма значительное; по крайней мере, вопреки обыкновению заменять одежду пленника рубищем, они оставили на Швецове мундир и даже не коснулись бывших на нем орденов. В таком положении пленный оставался около двух месяцев. Чеченцы, не видя со стороны его никаких попыток к побегу, ослабили цепь, стали его лучше кормить и, наконец, позволили писать родным и хлопотать о выкупе, назначив цену — десять арб серебряной монетой.

Случилось, что в это самое время родственники Швецова, кабардинские князья, собрали до полутораста человек отчаянных головорезов и скрытно отправились в Чечню с тем, чтобы или выкрасть пленного, или отбить его оружием. Попытка эта не имела успеха и лишь жестоко ухудшила положение узника. Чеченцы узнали, что в окрестных лесах скрывается партия кабардинцев, и догадались, в чем дело. Тогда они вырыли яму глубиной до четырех аршин, вкопали в нее толстый столб, и Швецова, скованного опять по рукам и ногам, спустили на веревках в это подземелье, там приковали его к столбу и бросили для подстилки ему пук гнилой соломы. Верх ямы они заделали толстыми досками, оставив одно небольшое отверстие для воздуха. В этом ужасном жилище страдалец должен был провести год и четыре месяца.

Письмо Швецова, посланное с его денщиком, между тем получено было на линии. Генерал Дельпоццо тотчас сообщил об этом матери Швецова, но просил ее ничего не писать сыну о намерении правительства выкупить его из плена, рассчитывая сбить чеченцев с требуемой суммы. Чеченцы, действительно, сбавили цену и, вместо десяти арб серебра, стали требовать двести пятьдесят тысяч рублей. Такой огромной суммы, конечно, взять было неоткуда. Тогда в судьбе несчастного принял горячее участие израненный герой Ленкорани, Петр Степанович Котляревский. Он написал письмо своему доброму приятелю, контр-адмиралу Головину, и два благородных товарища, знавшие Швецова с давних пор, сделали через газеты воззвание к русскому обществу. По всей России открыта была подписка для сбора посильных приношений, и Котляревский и Головин были первыми вкладчиками в эту священную сумму. Благородный призыв их нашел отголосок во всех слоях общества, и даже простые солдаты, не хотевшие отстать в этом общем единодушном движении, несли свои лепты; так, нижние чины бывшего корпуса графа Воронцова, стоявшего во Франции, сделали между собою постановление: отдавать на выкуп Швецова половину своего третного жалованья. Все пожертвования собирались в одну общую кассу и скоро постигли весьма значительной цифры.

В таком положении были дела, когда на Кавказ явился Ермолов. Торопясь в Тифлис и в Персию, он лично не мог хлопотать об освобождении пленного, и тем не менее он круто повернул дело к благополучному исходу. “Честью отвечаю вам,— писал он собственноручно матери Швецова,— что заступающему мое место поставлено будет в особую обязанность обратить внимание на участь сына вашего, и он столько же усердно будет о том заботиться, как и я сам. Нас всех должна побуждать к тому обязанность печься об участи товарищей по службе”. И, выезжая из Георгиевска, он, действительно, приказал генералу Дельпоццо вызвать всех кумыкских князей и владельцев, через земли которых провезен был Швецов, заключить их в кизлярскую крепость и объявить, что если через десять дней они не изыщут средства к освобождению Швецова, то все, в числе восемнадцати человек, будут повешены на крепостном бастионе.

Такая решительная мера заставила арестованных подумать о спасении уже собственной жизни, и они скоро успели склонить горцев понизить сумму выкупа до десяти тысяч рублей. Но Ермолов не хотел платить и этих денег от имени русского правительства; он вступил в секретные переговоры с аварским ханом, “с другом всех мошенников” — так называет его сам Ермолов, и устроил дело так, чтобы тот вел переговоры от собственного лица и предложил на выкуп собственные деньги. Пока дело улаживалось, Ермолов все время держался в стороне, и только тогда, когда Швецов уже был на свободе, он, как бы в виде особой милости, приказал возвратить аварскому хану истраченную им сумму. Таким образом, только энергии Ермолова и обязано было это тяжелое дело скорым окончанием.

Между тем несчастный узник томился, ничего не зная о мерах правительства к его освобождению. Прошло более года, как он не получал никаких известий, и надежда на

лучшие дни уже угасала в страдальческой душе его. Но вот однажды, когда в ауле только что пропели первые петухи, он был разбужен необычайным шумом и понял, что доски, которыми наглухо была заделана яма, срывают. Прилив свежего воздуха в невыносимый смрад темницы поверг несчастного в беспамятство. Потом его вытащили из ямы, сняли с него оковы, крепко завязали ему глаза, посадили на лошадь и отправились в путь. Ехали все в глубоком молчании. Швецову всего естественнее было предполагать, что наступают последние минуты его жизни и что скоро ему придется предстать на позорное место перед собравшимся чеченским народом. Конец был известен. По обычаю страны его привяжут к дереву, и каждый из присутствующих на этом суде будет наносить обреченной жертве не смертельные, но мучительные удары ножом, пока, наконец, не потухнет последняя искра жизни в несчастном мученике. Но вот послышался какой-то шум; поезд остановился. Швецова сняли с седла и поставили среди дороги, не развязывая глаз. Несчастный слышал только, как чеченцы вдруг поскакали назад и как постепенно вдали замирал топот их лошадей, но он был так измучен, что не мог сообразить причины их отъезда... И вот опять новый шум, новые восклицания!.. Со всех сторон бегут к нему люди, с глаз его срывают повязку — и он видит русских. Это был сильный отряд с орудиями, высланный на границу Чечни для принятия пленного. Впечатление неожиданной свободы было так сильно, что нервный припадок помутил ум несчастного. Искусство медиков, попечение родных и товарищей скоро возвратили ему рассудок, но глубокие следы от тяжких оков на опухших ногах всю жизнь напоминали ему о пережитых страданиях.

Возвратившись из Персии, Ермолов обратил на освобожденного пленника особенное внимание, и через два-три года Швецов, после ряда блистательных подвигов, показанных им в Чечне и Дагестане, уже получил в командование Куринский полк, расположенный тогда в Дербенте. Будущность улыбалась Швецову, но судьба судила иначе. В Дербенте он заболел горячкой и в 1822 году скончался, искренне оплаканный товарищами.

Передавая эту грустную повесть, родной брат Швецова, также служивший на Кавказе и известный своим сочинением “О горских народах”, говорит, между прочим, что и в последнем убежище праху брата его не суждено было спокойствие. Известный на Кавказе Амалат-бек, добивавшийся руки не менее известной Солтанеты, дочери аварского хана, по требованию последнего изменнически убил полковника Верховского, друга Швецова и его преемника по командованию Куринским полком. И Верховский и Швецов были похоронены рядом. Случилось, однако, что аварский хан потребовал от Амалата головы врага в доказательство, что тот действительно убит, и Амалат отправился за нею в Дербент. Татарин, живший близ города, взялся указать ему ночью на кладбище могилу Верховского, но второпях, несмотря на полный свет луны, они ошиблись местом, разрыли могилу Швецова и, вытащив труп, отрубили у него голову и руки. С этой кровавой добычей явился Амалат к аварскому хану, но нашел его на смертном одре. Хан умер, а кости Швецова были выброшены и остались навеки в чуждой земле лишенными места успокоения.

IV. ЧЕЧНЯ

Под именем Чечни известна обширная страна, расположенная в неопределенных границах, которые приблизительно совпадают на севере с Тереком и Качкалыковским горным кряжем, отделяющим ее от Кумыкской степи; на востоке — с рекой Акташем, за которой начинается уже собственно Дагестан; на юге — с Андийским и Главным Кавказским хребтами, и на западе — с верхним течением Терека и Малой Кабардой, представляющей собой по населению уже получеченский, полукабардинский край.

Эта малодоступная страна лежала первой на пути распространения русского владычества не потому только, что она приходилась ближайшей к русским владениям, с которыми не могла не сталкиваться постоянно. Главнейшее значение ее было в том, что она, со своими богатыми горными пастбищами, с дремучими лесами, посреди которых издавна раскидывались роскошные оазисы возделанных полей, с равнинами, орошенными множеством рек и покрытыми богатой растительностью всякого рода, была житницей бесплодного каменистого Дагестана. И только покорив Чечню, можно было рассчитывать принудить к покорности и мирной жизни горные народы восточной полосы Кавказа. Но ничего не было труднее, как подчинить какой-либо власти не столько полудикий чеченский народ, как дикую природу Чечни, в которой население находило себе непреодолимую защиту. И первые попытки русских посягнуть на нее и проникнуть внутрь страны — экспедиция Пьери при графе Павле Потемкине и булгаковский штурм Ханкальского ущелья — разрешились кровопролитнейшими эпизодами, а после Булгакова больше уже не возобновлялись. И природа и люди Чечни стояли крепко на страже своей независимости.

Топографически Чечня распадается на две весьма отличные друг от друга части: южную — нагорную и северную — плоскую, обе одинаково покрытые вековыми лесами.

Собственно настоящая лесистая Чечня начинается, впрочем, только за Сунжой; в пространстве же от Терека и вплоть до Сунжи, в обширном треугольнике, образуемом этими реками и перерезанном параллельно Тереку двумя невысокими горными кряжами, раскинулась степная глушь, все орошение которой ограничивается лишь несколькими минеральными, преимущественно теплыми ключами. Край этот почти необитаем, и чеченские аулы встречались, ко времени Ермолова, только по его окраинам: по правому берегу Терека и левому Сунжи.

Но за Сунжой уже прямо начинаются безгранично господствующие леса. Равнина, питающая их, слегка покатая от гор к северу, орошается многочисленными и многоводными, почти параллельными притоками Сунжи, из которых быстрая Гойта делит всю местность на две почти равные части, известные под именем Большой (восточной) и Малой (западной) Чечни. Здесь-то, среди лесов, в которых огромные чинары, дубы, клены и особенно орешник, перевитые диким виноградом и другими вьющимися и цепкими растениями, образуют непроходимые дебри, по преимуществу и лежат обширные, прекрасно обработанные поляны и тучные луга, делающие Чечню житницей восточного нагорного Кавказа. Но здесь же, главным образом, в этой лесистой Чечне, шла и суровая борьба свободных горских племен с северным колоссом; тут, что ни шаг, то след битвы, что ни река или аул, то историческое имя, связанное с кровавым эпизодом и памятное часто не одному Кавказу; тут лежат аулы Герменчуг, Шали, Маюртуп, Большие и Малые Атаги, Урус-Мартан, Алды, Чечен, Белготой и другие; тут несут свои волны Фортанга, Рошня, Гойта, Геха, и быстрый Аргун, и воспетый Лермонтовым Валерик, и много других, оставивших неизгладимые следы в памяти старых кавказцев.

Непрерывные усилия России ныне отняли у лесистой засунженской Чечни ее неприступный характер; широкие просеки дают возможность проникать повсюду, и нет боле недоступных аулов. Но южная, нагорная, Чечня, бывшая ареной борьбы гораздо позже, уже в последние времена кавказского завоевания, и теперь еще сохраняет свою вековую физиономию. По-прежнему вершины и склоны гор ее одинаково закутаны вековыми, корабельными, лиственными лесами, давшими этим чеченским возвышенностям имя Черных гор, в противоположность горам Главного Кавказского и Андийского хребтов, постоянно одетых белой пеленой снега. И горные леса эти, прорезываемые могучими горными потоками, почти до последних дней борьбы служили

для чеченцев естественной крепостью, из которой они делали свои буйные вылазки и куда запирались каждый раз, как русские войска выгоняли их из лесов Чеченской плоскости, составлявших для них как бы передовые укрепления.

Среди этой-то суровой природы жило оригинальное племя, воспитанное вековой борьбой с внешними врагами и закаленное внутренними междоусобиями.

Чеченцев обыкновенно делят на множество групп, или обществ, давая им имя от рек и гор, на которых они обитали, или от значительных аулов, обнаруживавших влияние на другие. Таковы алдинцы, атагинцы, назрановцы, карабулаки, джерахи, галгаевцы, мичиковцы, качкалыковцы, ичкеринцы, ауховцы и прочие, и прочие. Но это разделение чеченского народа на множество отдельных родов сделано, однако же, русскими и, в строгом смысле, имеет значение только для них же. Местным жителям оно совершенно неизвестно. Чеченцы сами себя называют нахче, то есть народ, и название это относится одинаково ко всем племенам и поколениям, говорящим на чеченском языке и его наречиях.

Происхождение и история чеченского народа, как и большей части кавказских племен, теряются в тумане прошлого. Достоверных исторических данных об этом нет, а народные предания поражают своей необычайной бедностью и ординарностью. Еще о происхождении народа сохранились кое-какие сказания, но о том, как народ этот рос и развивался, какова была его дальнейшая судьба до появления на Кавказе русских,— обо всем этом, вместо цельных легенд эпического характера, встречаемых у других народов, чеченцы сохранили лишь жалкие обрывки преданий без имен и без характерных особенностей места и времени, и притом все эти предания касаются только средней, засунженской Чечни.

Старики чеченцы расскажут вам, что в дремучих, непроходимых лесах богатой плоскости, простирающейся от северного склона дагестанских гор по Сунжи, еще не так давно рыскали только дикие звери и совершенно не встречалось следов человеческого существования. Лишь назад тому не более двухсот пятидесяти лет на эту плоскость спустилось с гор Ичкерии несколько горских семей и, следуя по течению вод, поселилось в нынешней лесистой Чечне, на плодородной почве по Аргуну, Гойте, Гехе и другим притокам Сунжи. Родоначальником этих выходцев одно из преданий называет некоего Али-Араба, уроженца Дамаска. Преступления, совершенные им на родине, заставили его бежать в кавказские горы; он поселился в верховьях Ассы, у галгаевцев, женился там, а ловкость, сметливость и восточное красноречие араба создали ему между жителями гор почетное положение. Сын его, Начхоо, отличался необыкновенной силой и неустрашимостью, за что и получил название Турпаль (Богатырь), а внуки, носившие уже одно общее имя Нахче и каким-то образом очутившиеся далеко от территории галгаевцев, на другом крае нагорной Чечни,— вследствие семейных раздоров, разделились между собой и, выйдя из Ичкерии, положили начало племени, которое, принимая к себе различных выходцев, постепенно размножилось до значительного народа. Чеченцы и поныне считают Ичкерию своей колыбелью и знают имя Начхоо, как имя своего родоначальника. Вот что говорит об этом старинная чеченская песня.

“Неохотно приближаемся к старости, неохотно удаляемся от молодости. Не хотите ли, добрые молодцы, храбрые потомки Турпаля Начхоо, я спою вам нашу родную песню. Как от удара шашки о кремень сыплются искры, так и мы явились от Турпаля Начхоо. Родились мы в ту ночь, когда щенилась волчица; имена нам даны были в то утро, когда голодный барс ревом своим будил уснувшие окрестности. Вот мы кто — потомки Турпаля Начхоо”.

Укрытые от хищных соседей вековыми лесами и быстрыми горными речками, чеченцы долго жили спокойно и мирно, пока хищные кумыки, начавшие распространяться по Сулаку и Аксаю, не встретились с ними на Мичике. Тогда и кумыки, а вслед за ними ногайцы и кабардинцы — народы искони воинственные, проведав о богатых соседях, сделали их предметом своих постоянных кровавых нападений и грабежей. Эти-то тяжкие обстоятельства, вечная необходимость защиты и отпора, по преданию, быстро изменили характер чеченцев и сделали пастушеское племя самым суровым и воинственным народом из всех племен, обитавших тогда на Кавказе.

В течение долгого времени чеченцы не умели находить мер и средств -для своей защиты, и долго набег в Чеченю был настоящим праздником для удалых наездников; добыча там была богатая и почти всегда верная, а опасности мало, потому что в Чечне жил народ не знавший ни единства, ни порядка. Бедствия заставили, наконец, чеченцев понять весь вред разъединения и подсказали им средство завести порядок; они решили сообща призвать к себе сильного, храброго князя и вручить ему власть над всею, разрозненной до того землей. Депутация от чеченцев отправилась в Гумбет, и вскоре явилась из гор славная семья дагестанских князей Турловых, многочисленная дружина которых была всегда готова столько же идти за ними в битву, сколько, по первому знаку их, заглушить семена бунта и неповиновения в самой Чечне. Власть Турловых скоро окрепла и принесла стране благодатные плоды. Чеченцы, подчиненные одному княжескому дому, тогда впервые осознали свое народное единство и сплотились на долгое время в нечто целое. Когда князья выезжали на тревогу, жители, ограничивавшиеся прежде защитой лишь своего родного аула, теперь должны были следовать за ними и принимать деятельное участие в защите общенародной. Страна отдохнула под управлением князей и разбогатела. Но возникшее сознание собственной силы вызвало уже среди самих чеченцев хищнические инстинкты, и, не довольствуясь обороной, партии смельчаков их стали вторгаться к соседям и опустошать их земли. И скоро кумыки и кабардинцы перестали презирать чеченцев, а калмыки и ногайцы стали их бояться.

К этому периоду чеченской истории относится сохранившееся в народе предание о нашествии на них тавлинцев, под именем которых разумелись жители соседней с ними Горной Чечни. Это бывшие одноплеменники, завидуя их благосостоянию, огромным скопищем спустились к ним за добычей. Они вышли на равнину из Аргунского ущелья, где ныне крепость Воздвиженская, и направились к ущелью Ханкальскому. Чеченцы не препятствовали их движению вперед, показывая вид, что спешат укрыть в леса семейства и имущество, но то была только хитрость, позволившая им обойти врага и занять позицию в тылу его, у входа в Аргунское ущелье. Тавлинцы, видя, что им заграждено отступление, пытались пробиться назад, но мгновенно были окружены и рассеяны, причем большая половина их истреблена. С тех пор у чеченцев сложилась поговорка, которая и поныне служит памятником этой кровопролитной битвы. Чтобы вызвать представление об огромном количестве ничего не стоящих вещей, они говорят: “Это дешевле, чем тавлинские папахи на Аргуне”. Предание, утратившее точность относительно времени, причисляет это событие к эпохе, когда минуло сто лет после выхода чеченцев из гор.

Имя князей Турловых долгое время пользовалось в стране общим уважением. Но по мере того как силы чеченцев росли, в них восставал и прежний дух необузданной вольности. Скоро княжеская власть стала казаться им уже тяжелым ярмом, и Турловы были изгнаны. Они удалились, впрочем, лишь в надтеречные чеченские аулы и там долго еще пользовались правами княжеской власти, а чеченцы, обитавшие за Сунжой, упрочив за собою занятые земли, возвратились к своему старинному быту.

На этой стадии развития политического и общественного быта застали чеченцев русские. Они нашли в них упорного, неукротимого врага, которого и физические силы, и чисто демократические обычаи, и весь образ жизни, словом, дышали войной и волей.

Чеченец красив и силен. Высокого роста, стройный, с резкими чертами лица и быстрым решительным взглядом, он поражает своей подвижностью, проворством, ловкостью. Одетый просто, без всяких затей, он щеголяет исключительно оружием, соревнуясь в этом отношении с кабардинцами, и носит его с тем особенным шиком, который сразу бросается в~ глаза казаку или горцу.

По характеру чеченец имеет много общего с другими горными племенами Кавказа; он также вспыльчив, неукротим и легко переходит от одного впечатления к другому; но в его характере нет той благородной открытости, которая составляет характерную черту, например, кровного кабардинца; они коварны, мстительны, вероломны и в минуты увлечения опасны даже для друга.

Собственно военные способности народа были невелики, но этот недостаток с лихвой вознаграждался у него необыкновенной личной храбростью, доходившей до полного забвения опасности. И в песнях чеченской женщины с особенной яркостью отражается этот дерзкий, предприимчивый, разбойничий дух чеченского наездника.

Я положу руку под голову моему молодцу-храбрецу.
Он среди ночи, на вороном коне, не разбирая броду,
переплывает Терек.
Вот он подъехал к казацкой станице, перепрыгнул ограду!
Вот он схватил курчавого мальчугана; вот он увозит
мальчугана.
Смотрите, подруги: вон толпа казаков гонится за моим
молодцом -храбрецом,
И пыль и дым от выстрелов затемняют звездочки,
ничего не видно.
Вот настигают моего молодца-храбреца. Вот он выхватил
из чехла свое крымское ружье;
Вот он повалил одного казака; вот другая казачья лошадь
скачет без всадника.
О, Аллах! Мой молодец-храбрец ранен, кровь течет
по его руке.
Ах, какая радость, какое счастье! Я буду ухаживать
за моим молодцом-храбрецом, перевязывать буду рану
моим шелковым рукавом.
Мой храбрец-молодец продаст мальчугана в Эндери,
в Дагестан, и привезет мне подарок.
То-то мы будем жить-поживать с ним!..
Такова чеченская народная песня.

Дерзкие при наступлении, чеченцы бывали еще отважнее при преследовании врага, но не имели ни стойкости, ни хладнокровия, чтобы выдержать правильную битву. В аулах чеченцы защищались редко, разве случайно удавалось захватить их врасплох; обыкновенно они бросали дома на произвол судьбы, мало дорожа своими постройками, которые всегда могли легко возобновить при изобилии лесного материала. Но там, где были дремучие леса, овраги и горные трущобы, они являлись поистине страшными противниками.

Русские войска, вступая в Чечню, в открытых местах обыкновенно совершенно не встречали сопротивления. Но только что начинался лес, как загоралась сильная перестрелка, редко в авангарде, чаще в боковых цепях и почти всегда в арьергарде. И чем пересеченнее была местность, чем гуще лес, тем сильнее шла и перестрелка. Вековые деревья, за которыми скрывался неприятель, окутывались дымом, и звучные перекаты ружейного огня далеко будили сонные окрестности. И так дело шло обыкновенно до тех пор, пока войска стойко сохраняли порядок. Но горе, если ослабевала или расстраивалась где-нибудь цепь; тогда сотни шашек и кинжалов мгновенно вырастали перед ней, как из земли, и чеченцы с гиком кидались в середину колонны. Начиналась ужасная резня, потому что чеченцы проворны и беспощадны, как тигры. Кровь опьяняла их, омрачала рассудок; глаза их загорались фосфорическим блеском, движения становились еще более ловки и быстры; из гортани вылетали звуки, напоминающие скорее рычание тигра, чем голос человека. Такими они были, по рассказам очевидцев, во время резни в Ичкерийских лесах и такими являлись всегда, когда имели дело со слабыми, расстроенными командами или с одиночными людьми.

Один из русских писателей, выражая характер военных экспедиций в Чечню, прекрасно сказал, что "в Чечне только то место наше, где стоит отряд, а сдвинулся он — и эти места тотчас же занимал неприятель. Наш отряд, как корабль, прорезывал волны везде, но нигде не оставлял после себя ни следа, ни воспоминания".

Таким образом, чеченцы являлись, в сущности, не воинами, в обыкновенном смысле этого слова, а просто разбойниками, варварами, действовавшими на войне с приемами жестоких и хищных дикарей. Кто-то справедливо заметил, что в типе чеченца, в его нравственном облике, есть нечто, напоминающее волка. И это верно уже потому, что чеченцы в своих легендах и песнях сами любят сравнивать своих героев именно с волками, которые им хорошо известны; волк — самый поэтический зверь по понятиям горца. "Лев и орел,— говорят они,— изображают силу: те идут на слабого; а волк идет и на более сильного, нежели сам, заменяя в последнем случае все безграничной дерзостью, отвагой и ловкостью. В темные ночи отправляется он за своей добычей и бродит вокруг аулов и стад, откуда ежеминутно грозит ему смерть... И раз попадет он в беду безысходную, то умирает уже молча, не выражая ни страха, ни боли". Не те же ли самые черты рисуют перед нами и образ настоящего чеченского героя, самое рождение которого как бы отмечается природой; в одной из лучших песен народа говорится, что "волк щетинится в ту ночь, когда мать рожает чеченца".

При таких типичных свойствах характера, понятно, что чеченец и в мирное время, у домашнего очага, выше всего ставил свою дикую, необузданную волю и потому никогда не мог достичь духа общественности и мирного развития.

Естественно, что быт чеченцев отличался обычной простой, патриархальностью самых первобытных обществ; родовое начало было в нем преобладающим элементом, и притом настолько сильным, что каждое общество, каждое селение жило своей особенной самостоятельной жизнью.

Это были отдельные независимые мирки, в которых адат (обычай) заменял закон, а старший в роду был в одно и то же время военным предводителем, судьей и первосвященником. Каждая деревня имела свои обычаи, сохраняла свои предания и старалась не иметь никаких общих интересов даже с соседними аулами. Но, конечно, столкновения были неизбежны, и прямым последствием их являлись ссоры, оканчивавшиеся нередко убийствами и грабежами, потому что пылкий чеченец никогда не прощал обиды. Тогда начинался длинный ряд кровомщений, канлы, ведший к

истреблению целых семей и даже аулов. Не лишнее сказать здесь, что обычай кровомщения, бывший причиной постоянных междоусобий в чеченской земле, был лучшим союзником русских, которые нередко прямо пользовались им, как средством бросить в страну семена розни и внутренней вражды. И это средство было тем действеннее, что канлы был обычаем священным, неисполнение которого набрасывало на виновного всеобщее презрение. Вот что говорится в одной народной чеченской песне.

Высохнет земля на могиле моей — и забудешь ты меня,
моя родная мать.
Порастет кладбище могильной травой — заглушит трава
твое горе, мой старый отец.
Слезы высохнут на глазах сестры моей — тогда улетит
и горе из сердца ее.
Но не забудешь ты меня, мой старший брат,— пока не
отомстишь моей смерти.
Не забудешь меня и ты, младший брат,— пока не ляжешь
в могилу рядом со мною.
Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть — но не ты ли была
моей верной рабою?
Земля черная, ты покроешь меня — но не я ли тебя
конем топтал?
Холодна ты, смерть, даже смерть храбреца — но ведь я
был твоим господином.

На почве именно обычая кровомщения выработался в Чечне, как и в других кавказских странах, особый, любопытнейший тип людей, называвшихся абреками. Название это обыкновенно присваивалось русскими всем отважным наездникам, пускавшимся в набеги небольшими партиями, но, в сущности, абрек есть нечто совершенно иное; это род принявшего на себя обет долгой мести и отчуждения от общества вследствие какого-нибудь сильного горя, обиды, позора или несчастья. И нигде абречество не принимало такого удручающего характера, как у чеченцев. Эти люди становились одинаково страшными и чужым и своим, отличаясь жестокой, беспощадной ненавистью ко всему человеческому. Уже по клятве, которую приносил чеченец, решившийся сделаться абреком, можно супить о безграничном человеконенавистничестве, на которое он обрекал себя. Вот эта клятва, записанная с возможной точностью.

“Я, сын такого-то, сын честного и славного джигита, клянусь святым, почитаемым мною местом, на котором стою, принять столько-то летний подвиг абречества, и во дни этих годов не щадить ни своей крови, ни крови всех людей, истребляя их, как зверя хищного. Клянусь отнимать у людей все, что дорого их сердцу, их совести, их храбрости. Отниму грудного младенца у матери, сожгу дом бедняка и там, где радость, принесу горе. Если же я не исполню клятвы моей, если сердце мое забьется для кого-нибудь любовью или жалостью — пусть не увижу гробов предков моих, пусть родная земля не примет меня, пусть вода не утолит моей жажды, хлеб не накормит меня, а на прах мой, брошенный на распутьи, пусть прольется кровь нечистого животного”.

Встреча с абреком — несчастье, и вот как описывает ее один из путешественников.

“Если вы,— говорит он,— завидели в горах кабардинку, опушенную белым шелком шерсти горного козла, и из-под этих прядей шелка, раскинутых ветром едва ли не по плечам наездника, мутный, окровавленный и безумно блуждающий взор, бегите от владетеля белой кабардинки — это абрек. Дитя ли, женщина ли, дряхлый ли, бессильный

старик — ему все равно, была бы жертва, была бы жизнь, которую он может отнять, хотя бы с опасностью потерять свою собственную. Жизнь, которой наслаждаются, для него смертельная обида. Любимое дело и удаль абрека, надвинув на глаза кабардинку, проскакать под сотней ружейных или винтовочных стволов И врезаться в самую середину врага.

Слово "абрек" значит заклятый. И никакое слово так резко не высказывает назначения человека, разорвавшего узы дружбы, кровного родства, отказавшегося от любви, чести, совести, сострадания, словом — от всех чувств, которые могут отличить человека от зверя. И абрек поистине есть самый страшный зверь гор, опасный для своих и чужих: кровь — его стихия, кинжал — неразлучный спутник, сам он — верный и неизменный слуга шайтана.

Абреки нередко составляли небольшие партии или шли во главе партий, перенося всю силу своей ненависти на русских. И встреча с ними войск неизбежно вела за собой кровопролитные схватки. Абреков можно было перебить, но не взять живыми.

Впоследствии мюридизм, несколько подчинивший свободные проявления воли воле и пользе общественной, значительно ослабил обычай кровомщения, а вместе с тем и абречество, но во времена Ермолова и тот и другое процветали еще во всей своей силе.

Такова была страна и таковы люди, трудная задача покорения которых лежала перед русскими. Но чтобы не ограничиться ничего не говорящими воображению определениями свойств чуждого народа, приводим рассказ, в котором, в картине набега, отражены бытовые черты чеченских племен, их взаимные междоусобия и недостаток внутренней племенной связи, мешавшие им направить всю силу своей непреклонной и дикой энергии против внешних врагов, уже стоявших на рубеже их родины. И это было до тех самых пор, пока, наконец, в горах Дагестана не появились, с мечом в одной руке и с Кораном в другой, грозные вожди газавата, известные в истории под именем кавказских имамов и слившие разрозненные общества в одно грозное политическое целое.

Чеченский набег

В той местности, которая теперь известна под именем Малой Чечни, в верховьях быстрого Шато-Аргуна, среди дремучих лесов стояло некогда богатое селение Шары. Века прошли над ним с бедствиями войны и разорения, многочисленные народы приходили один за другим искать его гибели, и реки крови своей и чужой были пролиты шарцами при защите родных лесов, за которыми они считали себя безопасными... И вот в одну бурную ночь цветущее селение погибло: остались только печальные развалины, стены рухнувших сакль, закоптелые, с провалившимися потолками, башни, да черные обугленные пни деревьев, по которым время от времени вспыхивали и пробегали тонкие зловещие огненные змейки.

Всю ночь бушевала страшная буря, и свирепый пожар быстро совершал свое разрушительное дело. Под утро набежала тучка, но было уже поздно. Огонь, правда, легко уступил враждебной стихии и, свившись в черные клубы дыма, прилег к пепелищу, но все уже было покончено с Шарами.

Во время пожара никто не приходил спасать имущество; не было обыкновенных в такое время явлений: суеты, криков, беготни, тревоги. Шары сгорели спокойно, как жертва на костре, заранее лишенная жизни. Людей, по крайней мере живых, в то время там уже не было. И гордый аул не увидел восходящего над собою солнца.

Шары были жертвой междуплеменной вражды.

Раздоры между ними и одним из аулов карабулакских были древни, как самое существование этих народов. Отцы заповедовали их детям, поколения — поколениям. И пробил, наконец, час возмездия — последний страшный час шарцев. Карабулаки, соединившись с ингушами [Ингуши (назрановцы) жили по рекам Камбилейке, Верхней Сунже и Назрановке, а карабулаки — по рекам Ассе, Сунже и Фортанге.], темною ночью прокрались через леса, в глубокой тишине, окружили Шары и, по условному знаку, напали на сонных жителей аула. Короток, но беспощаден был этот бой, в котором все шансы были на стороне нападавших. Когда окончил свое дело меч, начал огонь, его всегдашний преемник.

Наутро не было и следов богатого селения. Союзники, в ожидании ночи, которая должна была скрыть их отступление, расположились станом на ближней возвышенности. Они захватили с собою все, что могли: домашнюю утварь, скот, хлеб и прочее, а чтобы предохранить себя от всяких покушений со стороны неприятеля, так как часть шарцев могла избежать меча и огня, площадка холма была окружена окопом.

Набег был совершен буйной шайкой, составленной из разного сброда. Здесь были и ингуши-язычники, и ингуши-магометане, были, наконец, христиане, или, по крайней мере, считавшие себя христианами. На Кавказе всегда было обычным делом, что два врага подавали друг другу руки и общими силами губили третьего, чтобы после снова начать резню между собою. Так было и тут. Цель похода была достигнута — и миру не было уже места в таборе союзников. С последним выстрелом проснулись все замолчавшие на время распри; их старые племенные и фамильные ссоры, забытые на короткое время набега, снова зашевелились и подняли свои “сто голосов и сто языков”.

Главным предметом несогласий была, Как и следовало ожидать, захваченная добыча. Редкий был так счастлив, чтобы в грабеже захватить себе нужное; холостому досталось несколько пар женских туманов, христианскому священнику попал в руки богатый Коран; кто рассчитывал добыть коня — захватил корову или несколько баранов; один видел себя обладателем воза безупряжной скотины; другой, наоборот, владел скотом, а не было воза... Словом, меновая торговля сделалась неизбежной потребностью шайки.

Пока разбирались с добычей, пленницы, согнанные к одной стороне табора, сидели в углу, возле самого вала, и оглашали стан печальным причитанием над родными покойниками, тела которых остались в глубине долины, там, где курились свежие, облитые кровью развалины. Тяжела и печальна участь кавказской женщины, попавшейся в плен, в руки неистовых варваров!

В средине стана, где шел базар и менялась добыча, стояли три или четыре намета горских предводителей. При каждом из них развевались значки из красной или синей материи, и при каждом значке находился часовой, от бдительности которого зависела честь народа и войска, к которым он принадлежал. Один из этих часовых, усатый ингуш в огромной бараньей папахе, с накинутым на плечи нагольным тулупом, опершись о винтовку, стоял с ложкой в руке между кадушкой сливок и кадушкой меду, в нерешительности, чему отдать предпочтение. Прочие сипели вокруг костра, и один из них насаживал на рожон кусочки баранины, чтобы готовить шашлык. Но тут случилось обстоятельство, которое погубило и шашлык и кадушки. У одного из наметов стоял огромный рыжий бык, привязанный к колу, а возле развевалось раздражавшее его красное знамя. Бык трясся от ярости, бил и копал землю копытами и, наконец, бешеным прыжком оборвал свою привязь. Знамя первым сделалось жертвой его ярости, за ним пострадали кадушки, шашлык и, наконец,

часовой, который возился с вертелом. Бык устремился палее. В это время обладатель кадушек, не успевший ничего отведать ни из той, ни из другой, в припадке гнева приложился из винтовки; грянул выстрел — и “неприятель” был ранен. Почувствовав боль, разъяренный бык еще ужаснее заметался по табору, все опрокидывая и сокрушая вдребезги на своем пути. После нескольких выстрелов, из которых часть попала в людей, бык, весь израненный, вскочил в огромный костер и разбросал головни во все стороны. Одна из них упала на чье-то тряпье, которое мгновенно и вспыхнуло. Бывшие вокруг него, чтобы остановить пожар, разбросали впопыхах тряпье и такое, которое уже тлело, и подожгли остальную рухлядь. Пожар, раздуваемый сильным ветром, охватил весь стан. В суматохе не успели выхватить нескольких ящиков с порохом, и холм потрясся от страшного грохота взрыва.

Паника охватила весь стан. Ингуши и карабулаки с криком и проклятиями бросились в разные стороны, толкая друг друга и топча упавших. Вал, который должен был служить охраной, едва не сделался причиной их гибели. И пока удалось им выбраться из окопов, истребительная стихия много обожгла усов и бород. Крики боли, страха и проклятий, смешавшись с ревом перепуганного скота, составили поражающую музыку. Наконец преграда была разрушена,— и отлогие скаты холма покрылись толпами бегущих. Счастлив был тот, кто целым очутился внизу, потому что бывшие сзади валили передних, топтали их в бегстве, путались и сами падали. Однако же нашлись смельчаки, которые, презирая опасность, возвратились к вещам, чтобы по крайней мере спасти то, что было подрагоценнее.

Добыча подверглась новому грабежу. Право собственности, уже несколько установившееся, опять уничтожилось.

Усатый ингуш, который своим необдуманным мщением за опрокинутые кадушки был главной причиной несчастья, бросился к пленницам, о которых в суматохе совсем забыли. Схватив первую попавшуюся, он сдернул с нее чадру, взглянул в лицо, плюнул и столкнул ее в пропасть; другую, третью постигла та же участь. Наконец он попал на одну, которая ему понравилась. Но едва он сбежал со своей добычей вниз, к подножию холма, на него накинулись двое, с криком показывавших, что эта пленница их и принадлежит обоим по равной поле. Крик перешел в ссору, и ссора готова была уже разразиться рукопашной свалкой. Но в ту минуту, как новый обладатель пленницы готовился доказывать свои права кулаками, кто-то толкнул его в затылок, и он упал наземь. Два претендента, пользуясь счастливым моментом, уже схватили пленницу, один за одну, другой за другую руку, и намеревались скрыться с нею, но усатый ингуш, вскочив с земли, успел схватить несчастную за ноги. Все трое снова закричали, посылая друг другу угрозы и проклятия, а бедная жертва их спора едва слабым стоном изъявляла признаки жизни и неминуемо жестоко пострадала бы в этом распинании, если бы не явился четвертый и не вмешался в ссору. То был сам предводитель, поспешивший на шум, чтобы помешать начинавшемуся побоищу.

— Стойте! — сказал он.— Вы оба домогаетесь права на половину этой пленницы. Так?

— Так.

— Следовательно, вся-то она, как есть, никому не принадлежит из вас?

— Никому,— отвечали оба претендента.

— А ты, третий, спас ее от огня и теперь говоришь, что она твоя?

— Моя.

— Почему же?

— Потому что я спас ее от огня.

— Эта причина недостаточна,— сказал предводитель.— Например, если кто кому спасет жену — неужели же он может присвоить ее себе? Если бы ты спас меня самого, то неужели и я был бы твой? Каждый скажет, что нет. Следовательно, девушка и тебе не принадлежит, так же как и им.

Поднялся новый спор, и тогда порешили бросить жребий. По жребию девушка досталась усатому ингушу.

— Уступи мне ее за двадцать баранов,— сказал тогда предводитель.

— Да ты спроси прежде, кто она такая,— не без гордости возразил ингуш,— ведь она сестра здешних узденей, Лейля.

— Так что ж из того! Уздени лежат под пеплом своего аула, выкупа от них не дождешься.

— Но кто же видал, чтобы сестру узденей продавать за двадцать баранов! — сказал усач, соображая, сколько же он может попросить за пленницу.

— Ну, хорошо. Возьми за нее мою крымскую винтовку. Ингуш призадумался. Винтовка была хороша, лучше ее не найти... А все же девка может стоить дороже.

— Ну, так слушай же,— сказал предводитель,— бери винтовку и, в придачу, любого из моих жеребцов — на выбор.

На этом торг наконец состоялся, и Лейля перешла к новому владельцу.

Между тем наступила ночь, и партия направилась в обратный путь. Пискливые зурны открывали шествие.

Напрасно предводители старались их унять, убеждая, что отступление требует глубочайшей скрытности и тишины; но набег окончился, и никто больше не думал о повиновении. Партии приходилось прежде всего пройти густой лес, перерезанный множеством оврагов, без всякого следа торной дороги. Ночь была темная, дождь лил как из ведра, и земля, растворившись, образовала непролазную грязь. Конным труднее было держаться вместе, чем пешим, и потому они разбрелись по целому лесу: кто попал на тропинку, тот отправился сам по себе, а кто засел в овраге или застрял в кустах, тот выбирался, где и как ему было удобнее.

И вдруг посреди лесной тишины зловеще грянул ружейный выстрел, за ним другой... Двое раненых присели, схватившись один за голову, другой за ногу. В шайке пошла суматоха, и несколько винтовок ударили наудачу.

Брань и крики ингушей послышались с той стороны, куда направлен был залп карабулаков.

— Да там наша конница,— заговорили пешие.— Кто же это стреляет-то?..

Но снова грянул выстрел, за ним опять другой, и двое новых раненых опять опустились на землю.

— В шашки! В шашки! Живьем хватайте их! — кричали ингуши и карабулаки.

И хотя все гикали во всю мочь, однако же лишь немногие сунулись вперед, да и те воротились, потеряв одного убитым. После этого уже никто не счел себя обязанным рисковать жизнью, и на каждый выстрел шайка отзывалась только угрозами и криком. А тем временем два невидимых стрелка посылали пулю за пулей, и редкий выстрел их не приносил новой жертвы.

Заколдованный лес наконец окончился, шайка подошла к реке. Но вследствие сильного дождя, шедшего всю ночь, переправы не было. Одна конница с трудом перебралась вплавь, да и то потеряв несколько человек, унесенных течением воды. И вдруг из кустов выскочили два человека и кинулись рубить все, что ни попало под руку. Испуганная неожиданным нападением, шайка метнулась в сторону и пока опомнилась, пока пришла в себя и сообразила, что нападающих только двое, те уже снова скрылись в кусты, а на песчаном берегу лежали следы их нападения — несколько изрубленных трупов.

Утро наступившего дня было пасмурное, но не дождливое. Между развалинами сожженного аула чернела сумрачная башня, и из ее бойниц кое-где пробивался дымок как бы от разложенного внутри нее небольшого костра. Там, погруженные в мрачные думы, сидели два человека, два героя нынешней ночи. Они одни пережили родной аул и справили по нем кровавую тризну. Эти два человека были уздени, братья несчастной пленницы Лейли.

Не скоро оправились Шары от этого погрома, а когда оправились, то сотни других аулов уже лежали в развалинах, свидетельствуя все о том же непокорном и строптивом духе чеченской земли, вносившем рознь и смуту во все ее жизненные проявления и облегчавшем чуждым пришельцам овладение ее недоступными лесными дебрями и горными твердынями.

V. ГРОЗНАЯ

Настал один из важнейших моментов в истории Кавказской войны. Возвратившись из Персии, Ермолов приступил к выполнению обширного плана, имевшего конечной целью действительное покорение Кавказа, которое одно только и могло вывести богатый и плодоносный край на путь мирного развития. Чечне приходилось первой испытать на себе всю силу энергии нового главнокомандующего.

Грозная молва в горах предшествовала Ермолову. Говорили, что даже сам князь Цицианов, этот памятный всем бич кавказских гор, смиренный агнец перед свирепым и страшным Ярмулом. Молва имела свои основания. Первые распоряжения Ермолова уже внушали страх, показывая горцам, что кончилось время, когда от набегов их откупались, когда русские войска, если и вторгались в их земли и жгли их аулы, то и сами несли огромные потери, ничего не изменяя в сложившихся отношениях и ничего не приобретая для будущего. Всем было известно, как энергично распорядился Ермолов в деле освобождения Швецова, заключив в Кизлярскую крепость всех кумыкских князей, по землям которых проезжали хищники, и пригрозив им даже виселицей. Стоустая молва создавала, по обыкновению, множество преувеличенных слухов. В горах говорили, что Ермолов приказал из пленных чеченок отбирать красивейших и выдавать их замуж в далекую Имеретию, а некрасивых и старых распродавать лезгинам по рублю за каждую. И

чеченцы ожидали Ермолова с тревогой. Но в то же время они не прекращали и своих набегов, усилившихся особенно с тех пор, как русские поставили на Сунже новый редут, названный Преградным Станом.

Решив перенести передовую линию за Терек, Ермолов на первом шагу имел перед собою две ближайшие цели, составлявшие, впрочем, только начальные звенья в длинной цепи предстоявших действий: обуздание так называемых мирных чеченцев и заложение крепости, которая обеспечила бы устойчивость новой Сунженской линии. Но к исполнению своих предначертаний ему удалось приступить не без препятствий, которые он встретил вначале со стороны Петербурга. А между тем, в предначертаниях Ермолова сказалась именно только обычная его проницательность.

Мирные чеченцы, действительно, составляли одно из главных зол в наших отношениях к горцам. Еще в 1783 году, во время управления Кавказским краем Потемкина, чеченские выходцы, жившие до того в вассальной зависимости от кумыкских князей, сбросив с себя это иго, просили позволения поселиться на плоскости между реками Сунжой и Тереком, обещая составить передовые посты для Терской линии. Обещания этого они конечно не сдержали, а между тем весь правый берег Терека, издавна принадлежавший казакам, отошел под чеченские поселения. Таким образом явилось это особое сословие мирных чеченцев, самых злых и опасных соседей прилинейного жителя. Мирные аулы служили притоном для разбойников всех кавказских племен; в них укрывались партии перед тем, чтобы сделать набег на линию; здесь находили радушный прием все преступники; и нигде не было так много беглых русских солдат, как именно в этих надтеречных аулах. Приняв магометанство, многие из дезертиров женились, обзавелись хозяйством и при набегах бывали лучшими проводниками для чеченских партий. Ермолов видел зло, которое приносила нам близость этих аулов; он признавал необходимым возвратить казакам их древние затеречные владения и просил о дозволении желавшим из них переходить на Сунжу целыми станицами.

“С устройством крепостей,— писал он государю,— я предложу живущим между Тереком и Сунжой злодеям, мирными именующимися, правила для жизни и некоторые повинности, кои истолкуют им, что они подданные Вашего Величества, а не союзники, как до сего времени о том мечтают. Если будут они повиноваться по-надлежащему, то назначу по числу их нужное им количество земли, разделив остальную между казаками и караногаицами; если же нет — предложу им удалиться к прочим разбойникам, от которых различествуют они одним только именем, и в сем случае уже все земли останутся в распоряжении нашем”.

Отстаивая необходимость занятия Сунжи, Ермолов писал, что эта мысль принадлежала еще покойному князю Цицианову, которому только преждевременная смерть помешала привести ее в исполнение. Он не скрывал от государя, что предприятие небезопасно, что чеченцы не позволят спокойно возводить укреплений на своей земле, и, в обеспечение успеха, просил усилить войска на линии хотя одним егерским полком из числа расположенных в Крыму, “в местности, наиболее сходной по климату с Кавказом”.

“Рано или поздно, Государь, приступить к сему необходимо,— писал он императору,— но теперь повсюду мир и спокойствие тому благоприятствуют. Кавказская линия требует защиты, а я желаю, чтобы в Ваше царствование она воспользовалась спокойствием и безопасностью”.

Но в Петербурге смотрели на дело иначе. Там никак не могли себе уяснить, что такое затевается на Кавказе, почему там постоянные хищничества и к чему поведут

наступательные действия. Крутыми, энергичными мерами нового главнокомандующего также не были довольны — и это тем более, что они шли вразрез с мыслями самого государя, требовавшего кроткого обращения с соседями. В столице считали полудиких горцев чем-то вроде воюющей державы, с которой можно было заключить мирный договор и успокоиться. Но Ермолов, стоявший у самого дела, сознавал, что чеченцы совсем не держава, а просто шайка разбойников, и рядом представлений, разъясняя сущность дела, настойчиво добивался разрешения действовать наступательно.

“Если Вашему Величеству благоугодно будет утвердить мои предположения,— писал он государю,— то нужен на имя мое высочайший указ в руководство и непременную цель преемникам моим. В предположении моем нет собственной моей пользы; не могу я иметь в предмете составлять военную репутацию мою на счет разбойников, и потому в мой расчет входят не одни средства оружия. Не у всякого, однако же, на моем месте могут быть одинаковые виды”.

И наконец Ермолов добился утверждения своих предположений. Перед ним теперь оставались только те препятствия, которые ему могли противопоставить горцы и с которыми ему управиться уже было легче. С весны 1818 года и начинается на линии строгое проведение Ермоловской системы.

К этому времени на Сунже существовали уже два небольших укрепления. Генерал Дельпоццо, еще во времена командования Ртищева, поставил на ней Назрановский редут со специальной целью прикрыть Военно-Грузинскую дорогу, проходившую тогда от Моздока к Владикавказу через землю ингушей; а в 1817 году Ермолов, уезжая в Персию, приказал поставить и другое укрепление, Преградный Стан, в пятидесяти верстах от Назрана, близ нынешней Михайловской станицы. Этот новый редут был занят ротой Владикавказского гарнизонного полка с двумя орудиями и сотней казаков. Лес против него за Сунжой был вырублен, и мера эта сильно обеспокоила чеченцев своей неожиданностью. План главнокомандующего стал перед ними выясняться. Но чеченцы еще слишком надеялись на неприступность своих аулов, закрытых густыми лесами и топкими шавдонами, чтобы при первых признаках надвигавшейся грозы изъявить покорность; они колебались только в выборе системы борьбы: обороняться ли в случае движения русских на Сунжу, или самим нападать на них. И когда поставлен был Преградный Стан, они ответили рядом набегов, распространяя опустошения по Тереку, где стало опасно выходить за ворота станиц. По примеру прежних лет они надеялись вынудить тем и Ермолова войти с ними в соглашения и заключить договоры. При всем ужасе, возбуждаемом в них Ярмулом, они все еще не верили его угрозам, и даже сбор войск на Тереке мало беспокоил чеченцев, привыкших к мимолетным вторжениям русских и думавших, что, сделав два-три перехода, войска вернутся назад, и все останется по-прежнему. Только мирные чеченцы, обитавшие между Сунжой и Тереком, могли до некоторой степени оценивать значение совершавшихся событий.

Но чем беспокойнее и злее становились чеченцы, тем скорее должно было наступить возмездие, тем больше было поводов Ермолову перейти от угроз к решительному действию, и с ранней весны 1817 года на Тереке начал сосредоточиваться сильный отряд. К двум батальонам шестнадцатого полка, стоявшим здесь зимою, прибыл из Крыма восьмой егерский полк, пришел из Кубы батальон Троицкого полка и был передвинут из Грузии батальон кабардинцев. В станице Червленной в то же время сосредоточено шестнадцать орудий и по пятисот донских и линейных казаков. Вскоре на линию прибыл и сам Ермолов, чтобы лично руководить военными действиями. Он выехал из Тифлиса в апреле, когда дорога через горы еще была завалена глубокими снегами, и большую часть пути делал пешком. Объехав затем весь правый фланг Кавказской линии и Кабарду, он

прибыл наконец, в станицы Гребенского войска и восемнадцатого мая остановился в Червленной, откуда должно было начаться движение в чеченскую землю.

Здесь первым делом Ермолова было дать урок мирным чеченцам. Он вызвал к себе старшин и владельцев всех ближних аулов, раскинутых по Тереку, и объявил, что если они пропустят через свои земли хоть одну партию хищников, то находящиеся в Георгиевске аманаты их будут повешены, а сами они загнаны в горы, где истребят их голод и моровая язва. "Мне не нужны мирные мошенники,— сказал им Ермолов,— выбирайте любое:— покорность или истребление ужасное".

А двадцать пятого мая войска уже перешли за Терек. Батальон Кабардинцев и две отборные сотни Волжского казачьего полка, под общей командой майора Швецова, недавно возвращенного из плена, шли в авангарде. Дни стояли жаркие, и Ермолов разрешил войскам идти без мундиров, в одних рубахах, а для отдания чести ни перед кем не снимать фуражек.

В шести верстах от знаменитого Ханкальского ущелья, прославленного и древними, и новыми битвами, отряд остановился. Здесь должна была вырасти крепость, которой суждено было играть видную роль во всех дальнейших событиях Кавказской войны, до последнего выстрела, раздавшегося уже на вершинах Гуниба. Чеченцы издали следили за отрядом, не решаясь пока начать перестрелку. Те из жителей окрестных селений, которые чувствовали себя виноватыми, бежали в горы, остальные остались в домах, а Ермолов от всех аулов, сидевших над Сунжой, взял аманатов. В Чечне между тем держался упорный слух, что русские войска, пробыв некоторое время на Сунже, непременно возвратятся на линию; в возможность заложения крепости в здешних местах чеченцам как-то не верилось. Но тем сильнее были они поражены, когда десятого июня в русском лагере совершено было торжественное молебствие, а затем, при громе пушек, заложена была сильная крепость о шести бастионах, которую Ермолов назвал Грозной. Тогда чеченцы бросились укреплять и без того почти неприступное Ханкальское ущелье, чтобы заградить доступ внутрь чеченской земли. И с этих пор уже редкая ночь проходила для русских без тревоги. Но постройка крепости подвигалась быстро, солдаты работали неутомимо, а чеченцы, между тем, день ото дня становились отважнее и дерзче; выстрелы но ночам в секретах то и дело поднимали отряд и заставляли его становиться в ружье. Солдаты, проводившие дни на работах, а ночи без сна, изнурялись, и Ермолов решился наконец проучить чеченцев, чтобы отвадить их от русского лагеря.

"Однажды,— рассказывает Цылов, ближайший из ординарцев Ермолова,— когда привезли батарейные орудия для вооружения крепости, Ермолов приказал пятидесяти отборным казакам из своего конвоя ночью выехать за цепь на назначенное место и затем, подманив к себе чеченцев, бросить пушку, а самим уходить врассыпную... С вечера местность была осмотрена, расстояния измерены, орудия наведены, и как только наступила ночь и казаки вышли из лагеря, артиллеристы, с пальниками в руках, расположились ожидать появления горцев. Старым охотникам весь этот маневр не мог не напомнить хорошо знакомых с детства картин волчьих засад, которые часто устраиваются крестьянами в наших степных губерниях. Пушка была отличной приманкой — и горные волки попались в ловушку. Чеченские караулы, заметив беспечно стоявшую сотню, дали знать о том в соседние аулы. Горцы вообразили, что могут отрезать казакам отступление, и тысячная партия их на рассвете вынеслась из леса... Казаки, проворно обрубив гужи, бросили пушку и поскакали в лагерь. Чеченцы их даже не преследовали. Обрадованные редким трофеем, они столпились около пушки, спешились и стали прилаживаться, как бы ее увезти. В этот самый момент шесть батарейных орудий ударили по ним картечью, другие шесть — гранатами. Что произошло тогда в толпе чеченцев — описать

невозможно: ни одна картечь, ни один осколок гранаты не миновал цели, и сотни истерзанных трупов, и людских и конских, пали на землю. Чеченцы — оторопели; в первую минуту паники они потеряли даже способность бежать от страшного места и машинально стали поднимать убитых. Между тем орудия были заряжены вновь; опять грянул залп, и только тогда очнувшиеся чеченцы бросились бежать в равные стороны. Двести трупов и столько же раненых, оставшихся на месте катастрофы, послужили для горцев хорошим уроком и надолго отбили охоту к ночным нападениям".

Прошел уже целый месяц, как русские строили крепость, а в окрестностях Грозной не было еще ни одного сколько-нибудь серьезного пела. Чеченцы, ожидавшие, что войска, как прежде, пойдут напролом, будут гоняться за ними в лесах и штурмовать завалы, на этот раз жестоко ошиблись и теперь недоумевали, что им делать; Ермолов упорно не давал им ни единого случая к лишнему выстрелу. Такое бездействие нравственно утомляло чеченцев, поселяло в них уныние и подрывало последнюю дисциплину, которая, в наскоро собранных шайках, могла держаться только во время беспрерывных битв или набегов. Штурмовать же русский лагерь они не решались; им нужна была помощь. И вот в июле стал ходить слух о тайных сношениях между Чечней и Дагестаном. Чеченцы, действительно, ездили к аварскому хану и старались выставить перед ним постройку крепости на их земле как посягательство на вольность всех кавказских народов. Указывая ему на собственный пример, они предрекали и Дагестану горькую участь, если русские не будут остановлены общими силами. Посольство имело полный успех. Дагестанские владельцы и сами неприязненно смотрели на возведение Грозной, предвидя, что Ермолов на этом не остановится, но они еще не смели открыто перейти на сторону наших врагов и потому решили отправить в Чечню только партию охотников, под предводительством известного белада [Белад — вожак хищнических партий.] Нур-Магомета. Чеченцы ожидали прибытия лезгин с нетерпением, а между тем просили помощи от соседних с ними кумыков и от единокровных качкалыковцев.

В русском лагере известия день ото дня становились тревожнее. Мегти-Шамхаль из Тарков и Пестель из Кубы одинаково поносили, что в горах приметно рождается дух мятежа и что Дагестан накануне восстания. Но Ермолов, уже заранее предвидевший возможность подобных событий, принял свои меры. Пестелю приказано было немедленно вступить с войсками в южный Дагестан; к кумыкам отправлена прокламация, в которой объявлялось, что ежели качкалыковские чеченцы, живущие на аксаевских землях, осмелятся поднять оружие, то не только этот народ будет наказан совершенным истреблением, но и кумыкские князья поплатятся своими головами. Прокламация кончалась лаконично: "...для сего довольно вам знать, что я у вас буду".

Кумыки, перед тем несколько волновавшиеся, почли за лучшее остаться спокойными, а также не позволили восстать и качкалыковцам. Но дагестанцы пришли. С появлением Нур-Магомета в засунженских аулах среди чеченцев тотчас проявились необыкновенное оживление, деятельность и приготовление к чему-то решительному. Одна из наших колонн, высланная, под командой подполковника Верховского, в лес за дровами, была атакована так сильно, что из лагеря пришлось отправить в помощь к ней батальон Кабардинцев с двумя орудиями. Двадцать девятого июля нападение повторилось: чеченская конница, внезапно, среди белого дня, бросилась на наши отводные караулы и едва не ворвалась в лагерь, но сто пятьдесят казаков, выскочившие на тревогу, с донским генералом Сысоевым во главе, опрокинули и прогнали ее с уроном. Более же крупное дело должно было произойти четвертого августа.

В этот день ожидали в Грозную транспорт, следовавший с Кавказской линии под прикрытием роты пехоты, с одним орудием. Транспорт был большой; с ним ехало к

отряду много офицеров, чиновников и маркитантов с товарами. Чеченцы и лезгинцы, отчасти соблазненные добычей, отчасти рассчитавшие, что успех поднимет их нравственные силы, решились сделать на него нападение. Дерзкое предприятие обдумано было хорошо и держалось в таком секрете, что лазутчики дали знать о нем когда и без них в Грозной заметили неприятеля, двигавшегося в значительных силах по ту сторону Сунжи.

Ермолов немедленно выслал из крепости навстречу транспорту сильный отряд и послал вместе с ним своего начальника штаба, полковника Вельяминова, на которого полагался как на самого себя. В это время чеченцы уже перешли за Сунжу, и конница их первая понеслась на транспорт; за нею двинулись густые толпы пеших, оставив, однако, сзади себя, на переправе, сильные резервы. Внезапное появление Вельяминова расстроило нападение. Чеченцы, которым самим угрожали с тыла, повернули назад, и всеми силами пошли навстречу отряду. Разгорелась сильная перестрелка. Чеченцы в этот день, по словам самого Ермолова, дрались необычайно смело, но все порывы их бешеной храбрости сокрушились о ледяное хладнокровие Вельяминова, не хотевшего допустить ни рукопашного боя, ни даже ружейного огня в стрелковых цепях. Поставив отряд с ружьем у ноги и выдвинув вперед артиллерию, он принялся осыпать нестройные толпы врагов гранатами и ядрами. Напрасно несколько раз чеченцы с гиком бросались на пушки — картечь била их сотнями. Неприятель стал, наконец, колебаться. Конница его, потерпевшая наибольший урон, первая покинула поле сражения; пехота еще держалась некоторое время. Но когда Вельяминов неожиданно двинулся к деревне Ачаги, чтобы захватить переправу, тогда и чеченская пехота обратилась в полное и беспорядочное бегство. В тесных улицах деревни Ачаги столпились перепутанные массы пеших и конных людей; здесь русские войска могли бы нанести чеченцам громадный урон, но так как при этом неминуемо пострадали бы верные нам ачагинцы, то Вельяминов, снисходя к их просьбам, остановил преследование.

Потеря наша в этом деле сравнительно ничтожна. Но до какой степени было сильно нападение чеченцев, можно судить уже по тому, что несмотря на все выгоды нашего положения, мы все-таки потеряли двух штабс-офицеров и больше двадцати нижних чинов убитыми и ранеными.

Неудачный исход предприятия поссорил между собою союзников, и после взаимных пререканий, едва не окончившихся дракой, Нур-Магомет удалился восвояси. “Сим окончились все подвиги лезгин,— говорит Ермолов,— и чеченцы, знавшие их по молве как людей весьма храбрых, вразумились, что подобными трусами напрасно они нас устрашали”.

Любопытно, что, спустя несколько дней после этого происшествия, Ермолов получил письмо от аварского хана, извещавшее, что Нур-Магомет собирается на помощь к чеченцам и что он, аварский хан, как добрый приятель; торопится предупредить об этом Ермолова. Ясно было из этого письма только то, что хан, проведав о неудаче, торопился отклонить от себя подозрения. Ермолов отвечал ему, что не только знает о намерении Нур-Магомета, но давно уже прогнал его в горы. “Как новый в здешнем крае начальник, не зная хорошо лезгин, имел я к ним несколько еще уважения,— язвительно писал он аварскому хану, также лезгину,— но теперь достойный Нур-Магомет меня с ними познакомил, и я вижу, что более подлейших трусов нет на свете”. Ермолов вообще не скупился на резкие выражения относительно горцев. Так, описывая в приказе по войскам дело четвертого августа и говоря о полном поражении горцев, он прибавляет: “Невозможно описать ни страха, ни беспорядка, в каком они спасались, ни точно определить, кто величайшие и подлейшие трусы, чеченцы или лезгины”. Этот

презрительный тон был вызываем, впрочем, более политическим расчетом, чем действительными взглядами самого Ермолова на противников. Недаром же он был так осторожен в действиях против чеченцев; недаром и они заставляли его, главнокомандующего, выходить на встречу каждой оказии, если приходилось удаляться от крепости верст на десять, а на ближайшие расстояния посылать с колоннами начальника корпусного штаба. Ермолов, конечно, не делал бы этого, если бы не признавал за чеченцами известного рода силу, но каждая похвала их храбрости поощряла бы их дерзость.

Весьма любопытны также письма Ермолова, относящиеся к этой эпохе и показывающие, как сам он относился к совершаемому им делу. “Остается добавить,— писал он однажды в шутливом тоне Денису Давыдову,— что я приятное лицо мое омрачил густыми усами, ибо, не пленяя именем, не бесполезно страшить и наружностью. Я многих по необходимости придерживаюсь азиатских обычаев и вижу, что проконсул Кавказа жестокость здешних нравов не может укротить милосердием. И я ношу кинжал, без которого ни шагу. Тебе истолкует Раевский слово канлы, значащее взаимную нежность...”

Позже он писал Меллер-Закомельскому: “Теперь судьба позволила царям наслаждаться миром. Даже немецкие редакторы, имеющие способность все предвидеть, не грозят нам бурей вражды и несогласия. Спокойно стакан пива наливается мирным гражданином, к роскошному дыму кнастера не примешивается дым пороха, и картофель растет не для реквизиции. Один я, отчужденный миролюбивой системы, наполняю Кавказ звуком оружия. С чеченцами употреблял я кротость ангельскую шесть месяцев, пленял их простотой и невинностью лагерной жизни, но никак не мог внушить равнодушия к охранению их жилищ, когда приходил превращать их в бивуаки, столь удобно уравнивающие все состояния. Только успел приучить их к некоторой умеренности, отняв лучшую половину хлебородной земли, которую они не будут иметь труда возделывать. Они даже не постигают самого удобопонятного права — права сильного...”

Постройка Грозной между тем шла своим чередом, к первому октября крепость была готова настолько, что Ермолов мог уже отправиться на линию, куда призывали его спешные кабардинские дела. А в отсутствие его случились крупные происшествия на Сунже. Нужно сказать, что Ермолов с намерением ласкал и берег несколько ближайших мирных аулов, рассчитывая, что жители их, живя под охраной крепости, мало-помалу приучатся к русским, займутся хлебопашеством и будут доставлять гарнизону необходимые жизненные припасы. Случай испортил все расчеты Ермолова. Один из жителей деревни Суюнджи-Юрт выстрелил в команду, посланную за покупкой провианта. Что послужило поводом к выстрелу — осталось не разъясненным. Рассказывали, впрочем, что горец узнал своего вола, запряженного в казенную повозку, и потребовал его возвращения; когда же его отогнали, чеченец выхватил винтовку и выстрелил. Офицер приказал арестовать преступника, но чеченцы, сбежавшиеся на выстрел, сами бросились на офицера, схватили лошадь его за поводья, и тот едва избежал смерти. Команда принуждена была отступить. В тот же день чеченцы стали перегонять за Сунжу скот и перевозить имущество. Вельяминов послал успокоить жителей и сказать, что им нечего бояться мщения за вину одного человека, но требовал выдачи преступника. Чеченцы ответили, что, по обычаям родины, они виновного не выдадут, а если войска прейдут брать его, то они будут защищаться. Всякая поблажка после такого ответа была бы неуместна, и Вельяминов пошел к ним с отрядом. Семьи чеченцев, как оказалось, уже покинули в это время аул, и в нем остались одни мужчины. Они действительно встретили войска ружейным огнем, и тогда деревня, взятая штурмом, была истреблена до основания. Последствием этого было, что большая часть мирных окрестных аулов бежала в горы, и цветущие берега Сунжи с тех пор надолго опустели.

Возвратившись из Кабарды, Ермолов нашел все земляные работы в Грозной оконченными, землянки, устраиваемые для гарнизона на зиму, были готовы, крепость вооружена.

Окончание Грозной совпало как раз с тревожными слухами, что в Дагестане бунт, что русский отряд генерала Пестеля разбит в Каракайтаге, и опасность угрожает Кубинской провинции. Несмотря на суровую осень, Ермолов немедленно приказал войскам готовиться к далекому походу в горы. Но надо было прежде покончить дело в Чечне, и Ермолов сделал ряд целесообразных распоряжений. Для прикрытия сообщений Грозной со старой Терской линией поставлен был небольшой редут при Старо-Юртовском ауле, и в нем расположена рота пехоты. Всем владельцам чеченских деревень, лежавших по правому берегу Терека, объявлено, чтобы они, под страхом наказания, не терпели у себя вредных людей, не пропускали через свои земли хищников и содержали бы в известных местах караулы. В то же время составлены и разосланы были строгие инструкции и правила, по которым мирные чеченцы подчинялись русским военным начальникам и по первому требованию их должны были высылать на службу конных людей с собственным вооружением и на собственном содержании. “Еще не было примера,— говорил Ермолов по этому поводу,— чтобы кто-нибудь мог заставить чеченца драться со своими единоземцами, но уже сделан первый к тому шаг, и им внушено, что того и всегда от них требовать будут”. “Малейшее неповиновение, набег или грабеж на линии,— объявил он мирным чеченцам,— и ваши аулы будут разрушены, семейства распроданы в горы, аманаты повешены”. Даже в случае открытого прорыва через их аулы сильной неприятельской партии жители обязаны были защищаться; мало того, что защищаться, в таких случаях еще назначалось следствие и поверялось, как они защищались, что именно делали, были ли с их стороны убитые в сражении, или, напротив, дело кончалось ничтожной перестрелкой, и сопротивление было слабое. “В последнем случае,— гласила инструкция,— деревня истребляется огнем, жен и детей вырезают”. “Лучше от Терека до Сунжи оставлю пустынные степи,— говорил Ермолов,— нежели в тылу укреплений наших потерплю разбои”.

Грозная, энергичная военная система вынуждалась со стороны Ермолова лишь крайней необходимостью и глубоким пониманием пуха и характера народа, с которым ему приходилось иметь дело. Чеченцы, слишком далекие от гуманных воззрений европейских народов, умели ценить и уважать только физическую силу; гуманные действия с ними они неизбежно приписывали слабости, но зато прекрасно понимали строгие меры Ермолова.

Наконец, когда все распоряжения были окончены, девять рот егерей, шесть орудий и четыреста линейных казаков, под командой храброго полковника Грекова, заняли Грозную. И в то время как этот гарнизон спокойно устраивал себе зимовую стоянку в крепости, остальные войска уже переправлялись за Сунжу, откуда им предстоял далекий путь в неведомые Дагестанские горы.

Как славный памятник Ермоловской эпохи сохранялась долго, почти по наших времен, та скромная уединенная землянка, в которой во время возведения Грозной жил и трудился сам Алексей Петрович, перенося лишения наравне со своими товарищами-солдатами. И всякий путешественник, был ли то царственный муж, или простой человек, с одинаковым благоговейным чувством приходил видеть эту бедную землянку, из которой, по выражению Муравьева, “при малых средствах исходила та сила, которая положила основание крепости Грозной и покорению Чечни”. В углу двора обширного и пышного дворца, “как укоризна нашему времени, полстолетия стояла она, хранимая уважением к славной памяти героя-вождя. Но то, против чего бессильно было время, разрушено невежественным равнодушием к славе предков и памятникам ее. Один из позднейших

воинских начальников Грозной, по непонятным, ничем не объяснимым побуждениям, приказал снести эту ветхую землянку — и предмет гордости всякого истинно русского сердца, предмет благоговейного почитания старых кавказцев исчез. Но не исчезла память о нем, и не стереть ее ни времени, ни равнодушию к славным преданиям нашей седой старины.

VI. КРЕПОСТЬ ВНЕЗАПНАЯ

На северо-восток от Чечни, за Качкалыковским хребтом, на обширной плоскости, раскинувшейся между Нижним Тереком, Каспийским морем, Сулаком и последними отрогами Ауховских и Салатавских гор, живут андреевские, аксаевские и костековские племена татарской крови, известные под общим именем кумыков; в образе жизни они почти ничем не отличаются от чеченцев, но нравом значительно мягче и спокойнее.

Кумыкская плоскость орошается только четырьмя мелководными, вытекающими из горных ущелий речками (Аксай, Яман-Су, Ярык-Су и Акташ), из которых притом ни одна не достигает моря, теряясь в камышах и болотах, образуемых их водами, и потому население ее, по словам Ермолова, было ничтожно.

Сохранилось предание, что начало заселению этой плоскости кумыками положили выходцы из соседнего с нею шамхальства. У одного из тарковских шамхалов,— говорит оно, был сын Султан-Мут, рожденный от простой кабардинки и потому, по коренным обычаям страны, не имевший тех прав, какие получают дети от матерей княжеской крови. Изгнанный братьями, он поселился близ нынешнего Чир-Юрта и, терпя крайнюю бедность, своими руками обрабатывал поля. И по сих пор еще близ Болтугая, на тех полях, которые, по преданию, были возделаны им, существует курган, носящий название Султан-Мут-Тюбе.

Потеряв надежду получить от братьев удел с доброго согласия, Султан-Мут удалился в Кабарду, собрал, при помощи родных по матери, войско и вооруженной рукой овладел участком земли на правом берегу Сулака. Там он заложил деревню, на самом месте нынешнего Чир-Юрта, и поселился в ней со своей кабардинской дружиной.

Слава о его уме, храбрости и справедливости скоро привлекла к нему толпы выходцев, преимущественно из Мехтулы и шамхальства. Дружина князя стала так велика, что не могла уже свободно ужиться на занятом участке, и часть ее, перейдя за Сулак, основала у выхода из Салатовских гор знаменитую впоследствии деревню Эндери (Андреевский аул). Тогда и сам Султан-Мут, покинув Чир-Юрт, переселился туда же. Прилив переселенцев из шамхальских владений между тем не прекращался; народонаселение росло быстро и переносило сюда свой язык, нравы и обычаи, в которых скоро потонула кабардинская народность. Но, утратив язык и нравы, кабардинцы успели передать кумыкам народно-аристократическое общественное устройство своей родины.

Предание говорит далее, что Султан-Мут был убит при изгнании из Дагестана русских, приходивших туда с воеводой Бутурлиным в 1604 году. Дети его жили еще в Эндери, но внуки уже разделились и сделались родоначальниками отдельных княжеских фамилий: одни из них остались в Эндери, другие основали Аксай, на Акташе, близ нынешнего Герзель-Аула, а третьи — Костек и Кази-Юрт на Сулаке Это и были три главных поселения Кумыкской плоскости, возле которых группировались все остальные деревни. Так образовалось у кумыков сословие князей, потомков храброго Мута, которым все остальное население обязывалось известными повинностями и, по феодальному устройству кабардинцев, становились их узденями. Свободными остались только те,

которые еще при жизни самого Султан-Мута получили от него надел и теперь составили свободное сословие, известное под именем Сала-Узденей. Сословие это гордилось своей независимостью и, уступая первенство только князьям, отличалось удальством, а вместе с тем и наклонностью к буйству и беспорядкам.

Через Кумыкские земли лежал издавна чеченский путь набегов на Нижний Терек, и уже поэтому самому они не могли избежать гнета страшных, воинственных соседей, которые стали переходить и селиться в кумыкских владениях целыми аулами. Таким образом, на лучших кумыкских землях, у самого подножия лесистых Качкалыковских гор, образовалось обширное чеченское население, которое в отличие от других чеченских племен и стало называться качкалыковским.

Ермолов застал кумыков в таком стесненном положении от этих выходцев, что бедные кумыки даже на своей земле не могли считать себя безопасными иначе, как поддерживая связи и входя в родство с качкалыковскими чеченцами. Ни один из князей кумыкских, по словам Ермолова, не смел выезжать, не будучи сопровождаем чеченцем. Очутившись в полной зависимости от новых пришельцев, кумыки вынуждены были давать не только свободный пропуск их разбойничьим шайкам на Терек, но даже участвовать с ними в набегах, а в случае неудач или преследования их русскими войсками — укрывать преступников. Когда Грозная значительно затруднила чеченцам набеги с той стороны, и они перенесли свои действия преимущественно на Верхний Терек, тем больше опасности стали представлять ничем не обеспеченные границы со стороны Кумыкской плоскости. Ермолов потому и решил поставить на ней сильную крепость, выгнав в то же время всех чеченцев из кумыкских владений. Этим сразу достигались две цели: кумыки, отрезанные от чеченцев и освободившиеся от их влияния, переставали быть опасными, а перед чеченцами воздвигалась преграда.

Возвращаясь из Дагестана, куда он ходил громить Мехтулинское ханство, Ермолов, зимой с 1818 на 1819 год, посетил кумыкские владения и убедился, что Эндери, или Андреевская деревня, как ее называли русские [У русских существует предание, что название Андреевской деревни (по-татарски Эндери) произошло от имени какого-то казацкого атамана Андрея, но гораздо вероятнее другое объяснение, что Эндери — испорченное кумыкское слово “Индри”, означающее место, где молотят хлеб.], представляет по своему положению одно из самых важных мест на всем левом фланге Кавказской линии и может служить удобнейшим стратегическим пунктом. Расположенный при выходе из Салатавских гор, аул этот был главным рынком для всей Чечни и Дагестана; здесь сосредоточивались все связи и сношения горцев, и здесь же производился торг невольниками, которых вывозили из гор и за дорогую цену продавали в Константинополь. Этот пункт и избрал Ермолов для постройки сильного укрепления.

Весной 1819 года русский отряд, под командой начальника корпусного штаба генерала Вельяминова, собрался на Тереке, в станице Шелкозаводской, чтобы отсюда двинуться к Андреевскому аулу. Батальон Троицкого полка оставлен был по дороге для прикрытия сообщений с Кавказской линией) а остальные силы отряда — два батальона Кабардинцев, восьмой егерский полк, шестнадцать орудий и триста линейных казаков — вышли на постройку крепости.

Занятие Андреевского аула так встревожило весь Дагестан, что аварский хан решился наконец открыто стать во главе движения. Распуская слух, что русские, захватив в Андреевской деревне всех жен, распродали их на рынках и что подобная же участь грозит всем мусульманам, он призывал их стать под свои знамена и вместе с ним защищать свободу и веру. Следовавшая за ним толпа, наскоро собранная из дальних гор, большей

частью никогда не видала русских и верила ему на слово. Но почти и все жители Андреевской деревни вошли в заговор с лезгинами и клялись аварскому хану в повиновении.

Между тем русские войска стояли бивуаком, рубили лес, делали сырцовый кирпич из глины с соломенной трухой и вообще заготовляли исподволь строительные материалы. Второго июля в лагерь прибыл сам главнокомандующий. Работы пошли спорее, и восемнадцатого июля заложена была сильная крепость на целый батальон пехоты с блокгаузами в два яруса и названа *Внезапной.*

Волнения на Кумыкской плоскости усиливались, однако, со дня на день; аулы быстро пустели. Приезд Ермолова вызвал между тем еще большую лихорадочную деятельность со стороны дагестанских предводителей. Качкалыковские чеченцы также собирались в разных местах небольшими партиями и, ожидая прибытия из гор лезгин, скрывались в лесах. Носились слухи, что и засунженские чеченцы намерены напасть на Грозную и прервать наши сообщения с Тереком. Но там находился Греков, и Ермолов был спокоен. Он только торопился теперь как можно скорее окончить работы, чтобы иметь свободу действовать в поле, и под его напором постройка крепости действительно производилась с быстротой сказочной. Внезапная росла, как гриб. “Крепость такая,— писал Ермолов Мадатову,— что и не здешним дуракам взять ее невозможно. Скоро начнут приходить полки наши из России, и мы, поистине, будем ужасны. Недаром горцы нас потрушивают — все будет благополучно”.

Уверенность главнокомандующего с одной стороны вполне оправдалась. От полковника Грекова вскоре пришло донесение, что он был за Ханкальским ущельем и никого не встретил вплоть до Аргуна и Шавдона; все жители бежали в горы, деревни были пусты — точно все вымерло. За Грозную опасаться было, следовательно, нечего. Но тем тревожнее шли известия с другой стороны. Правда, появление князя Мадатова с войсками в Южном Дагестане отвлекло туда значительную часть дагестанцев, но это же самое обстоятельство заставило и аварского хана выйти из выжидательного положения, с тем чтобы атаковать самого Ермолова. В половине августа в шестнадцати верстах от русского лагеря, в тесных горных ущельях Салатавии, расположилось сильное лезгинское скопище, под личным предводительством Султана-Ахмет-хана. Здесь был назначен сборный пункт всем горским народам, которым хан обещал не только воспрепятствовать постройке крепости, но прогнать русский отряд за Терек и разорить Кизляр. С прибытием дагестанской силы чеченцы также вышли из гор и окружили лагерь своими мелкими партиями. Однажды ночью, кинувшись на отрядный табун, они угнали даже до четырехсот артиллерийских и полковых лошадей. Положение принимало серьезный характер. Сообщения с линией не могли производиться иначе, как под прикрытием сильных конвоев; для защиты Кизляра пришлось отправить в Кази-юрт две роты и два орудия, и в лагере осталось на более четырех батальонов [Из этих батальонов один, егерского полка, был весь составлен из рекрутов и не мог быть употреблен на боевую службу.], утомляемых притом непрерывными тяжелыми работами, производившимися даже и ночью при зажженных кострах и факелах. К счастью еще, больных в отряде было немного: Ермолов смотрел, чтобы солдаты были хорошо накормлены, и рабочие каждый день получали водку.

Других свободных войск не было. А между тем большая часть окрестных кумыкских селений, одно за другим, переходила на сторону аварского хана. Салатавцы также от нас отложились; отряд окружали измена и заговоры.

Но Ермолов не терял спокойствия духа и, чтобы поддержать его в войсках, часто ходил по лагерю и шутил с солдатами. Солдаты и сами любили пошутить “с батюшкой Алексеем

Петровичем”, как они называли его между собою. Он заботился о них сколько мог, они отвечали ему любовью и откровенностью; Цылов, ординарец Ермолова, рассказывает такой случай. Раз как-то два-три дня рабочим не давали водки. Кабардинцы решились заявить протест. Возвращаясь с работ, и как всегда с песнями, они на этот раз приноровились так, что перед самой ставкой главнокомандующего грянули слова:

Жомини да Жомини,

А об водке — ни полслова!...

Ермолов усмехнулся и вышел к ним навстречу.

— Здорово, ребята! — крикнул он своим звучным голосом.— Водка — перед кашицей!

И водка явилась.

Наконец стали прибывать подкрепления. Первым пришел сорок второй егерский полк из Таганрога, и его одного было уже довольно Ермолову, чтобы самому перейти в наступление. На рассвете двадцать девятого августа, оставив во Внезапной для прикрытия крепостных работ достаточный гарнизон, он с остальными войсками вышел из лагеря и, не доходя селения Болтугай, напротив Чир-Юрта, был встречен неприятелем. Две роты восьмого егерского полка, следовавшие в авангарде, подверглись горячему нападению горцев и стойко выдержали сильный огонь их, но когда лезгины бросились в кинжалы, егеря, незадолго прибывшие из Крыма, так были озадачены этим новым родом нападения, что совершенно смешались и побежали... К счастью, картечь удержала стремительное преследование горцев, а подоспевшие две роты Кабардинцев, с майором Ковалевым во главе, без выстрела ударили в штыки — и все опрокинули. По крутизне гор, однако же, было немыслимо преследовать бегущих врагов, и лезгины оправились, засели в утесах за крепкими завалами, в то время как наши войска заняли Болтугай и расположились по окружным высотам на ружейный выстрел от неприятеля. Зная, что между горцами не может долго сохраниться единодушие, и не желая бесполезно терять людей на приступе, Ермолов решил выждать и в продолжение четырех дней ограничивался одним бомбардированием неприятельских позиций. Ожидания его оправдались: уже на третий день между лезгинами, стесненными в окопах, начались взаимные ссоры, драки, убийства, а на четвертый — сам аварский хан бежал; вслед за ним побежало остальное скопище.

Пользуясь паникой, обуявшей неприятеля, Ермолов двинулся в горы. Сделав несколько переходов по местам столь трудным для движения, что войска едва могли провезти два легких орудия, он истребил несколько селений, сжег хлеба и, не встретив на пути ни одного человека, пятого сентября возвратился к Внезапной. Спокойствие водворилось на всей Кумыкской плоскости. Но успех этот куплен был дорогой ценой: из строя ермоловского отряда выбыло три офицера и сто двадцать семь нижних чинов убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Героями дня были две Кабардинские роты, и им пожаловано было двенадцать георгиевских крестов; майор Ковалев произведен в подполковники, штабс-капитан Греков и прапорщики Марков и Барабанов получили Владимирские кресты, Юдин и Вениер — произведены в штабс-капитаны, все остальные офицеры награждены орденами св. Анны 3-ей и 4-ой степени. При скупости Ермолова на награды, случай был не совсем обыкновенен.

Шестого сентября войска снова принялись за работы. Между тем, в это самое время стали подходить на линию и остальные полки, направленные сюда из России. Куринский полк до времени оставлен был на линии, а Апшеронский направился прямо в главную квартиру Ермолова.

С Апшеронским полком прибыл некто Ван-Гален, испанский уроженец [Подробнее об этом замечательном человеке будет сказано позднее.], оставивший чрезвычайно интересные записки о службе своей на Кавказе. От него мы узнаем об образе жизни Ермолова при постройке Внезапной и о нескольких любопытных событиях, которых он был свидетелем во время трехдневного пребывания в главной квартире. Вот что рассказывает он.

“Миновав редут близ деревушки Аксай, который незадолго перед тем был самым крайним укрепленным пунктом, мы через сутки приблизились к Андреевскому аулу, около которого находилась главная квартира Ермолова. Сам главнокомандующий вышел к нам навстречу пешком, без всякой свиты. Лагерь раскинут был в поле, под самыми стенами аула, а потому и прибывший полк расположился тут же со своим обозом.

На следующее утро пушечный выстрел возвестил приближение зари. Я вышел из палатки и с высоты, на которой был раскинут лагерь, увидел одно из самых величественных зрелищ, которое когда-либо представлялось моим глазам: с одной стороны был живописно раскинут аул, с другой — тянулись на широком пространстве плодоносные долины, окруженные высокими горами причудливых очертаний. Когда пробило шесть часов, я отправился вместе с офицерами Апшеронского полка к главнокомандующему, жившему в войлочной кибитке с одним окном, все убранство которой состояло из походной кровати, стола и двух стульев.

Из кибитки вышел адъютант и ввел нас. Ермолов, дружески поздоровавшись с нами, обнял по очереди офицеров, с которыми познакомился во время последней кампании против Наполеона. Затем, обращаясь ко всем присутствующим, подробно распространился о положении дел на Кавказе, провел юмористическую параллель между французской и кавказской кампаниями и указал на цели каждой из них. Ермолову было на вид около сорока лет. Он очень высок ростом, пропорционально и крепко сложен, с живым и умным лицом. На нем был военный сюртук с красным воротником и орденской ленточкой Георгия в петлице; на его постели лежали сабля и фуражка, которые служили дополнением его обычного походного костюма.

На следующий день после нашего прибытия отдан был приказ занять Андреевский аул, а главная квартира была перенесена в укрепленную башню, стоявшую рядом с мечетью, на самом высоком пункте аула. Перед башней поставлено было несколько полевых орудий — больше для устрашения, чем с враждебными намерениями.

Когда Ермолов вернулся от Болтугая, русские нашли Андреевский аул совершенно покинутым; из него разбежались даже и те немногие князья и уздени, которые еще там находились; остались в нем только священнослужитель да несколько беспомощных и хилых стариков. Ермолов приказал войскам стать лагерем за стенами аула и, запретив солдатам входить в него, дал знать бежавшим, что они в течение трех дней могут без опасений возвратиться в свои дома. Мера эта оказала свое действие — андреевцы возвратились, но между вернувшимися не было почти ни одного мужчины.

Так как приемы у Ермолова во время походов были совершенно бесцеремонные, и гости часто не знали точного часа его обеда, то мы решили предварительно сделать прогулку,

чтобы осмотреть аул. По дороге нам попалось навстречу несколько возвращавшихся семей, и мы заметили необыкновенно красивых женщин, полузакрытых чадрами. Андреевский аул — единственный промышленный пункт в Чечне и сравнительно очень богат, потому-то жители, из боязни, чтобы дома их не были разграблены, и сочли за лучшее вернуть свои семьи. И хотя русские сами по себе составляют предмет ненависти магометан, но тем не менее доверие к ним так велико, что мужское население безбоязненно отправило вперед своих жен и детей. Но сами мужчины медлили еще возвращаться до последней возможности: они опасались заслуженного наказания за все убийства, грабежи и всякого рода насилия, которые позволяли себе против русских в те немногие дни, когда в горах Салатавии стояла грозная сила аварцев.

В башне, где находилась главная квартира, нам сказали, что обед давно готов. Но ввиду того, что Ермолов в этот день отправлял депеши императору, в которых давал подробный отчет о действиях отряда, нам пришлось ожидать его еще целый час. Я вышел с некоторыми офицерами в сад, из которого открывался превосходный вид на весь аул и его окрестности. Отсюда мы прошли в мечеть, смежную с башней; я нашел в ней несколько пергаментов, написанных на незнакомом мне языке, и взял их, чтобы подарить иезуиту в Моздоке.

По возвращении в столовую я увидел, что гостей больше, чем мест — обстоятельство, повторявшееся довольно часто, потому что всякий имел право являться без приглашения к столу Алексея Петровича, как называли все главнокомандующего. Слуги в подобных случаях приставляли к столу деревянные скамьи работы русских солдат. По принятому обычаю мы все ожидали прихода генерала, чтобы занять свои места. Наконец он вошел, поздоровался со всеми со своим обычным добродушием, не делая никаких различий, и сел у середины стола, пригласив некоторых начальников сесть рядом с ним, а меня и одного прибывшего со мною майора усадил на почетные места в конце стола.

Обыкновенно Ермолов перед обедом усиленно занимается делами со своими молодыми адъютантами, не отдавая предпочтения ни одному из них. Как словесные, так и письменные приказы он поручает тому, кто первый попадется под руку. Я слышал от людей, знавших Ермолова в молодости, что он всегда любил серьезное чтение и хорошо знаком с классиками. При этом он не терпел пьянства и картежничества; последнее он строго преследовал, хотя страсть эту очень трудно вывести между его соотечественниками. Это единственная вещь, где он выказывал нетерпимость, особенно если чувствовал некоторое уважение к лицу, имевшему этот порок.

Вечером, по уходе приближенных, которые почти ежедневно собираются у него за чаем, Ермолов пишет и читает; а так как он никогда не употребляет ни стенных, ни карманных часов, то не ложится спать до тех пор, пока не сменится караул у его окна. Однако, несмотря на это, прежде чем пушечный выстрел возвестит приближение зари, он уже на ногах и производит осмотр лагеря. Таков неизменный образ жизни этого человека, который несет такую тяжелую ответственность и которому приходится переносить столько трудов по обширному и сложному управлению отдаленным краем. С солдатами он обращается, как с братьями, дорожит каждой каплей их крови и во время экспедиций употребляет все меры, чтобы обеспечить успех с наименьшей потерей. Благодаря этому он пользуется общей любовью и уважением своих подчиненных”.

Так описал этот человек поразившего его кавказского героя.

В половине сентября месяца Внезапная была окончена, вооружена и занята гарнизоном. Настала очередь расплаты с чеченцами. Вся Салатавия, принимавшая участие в замыслах

аварского хана, была обложена данью, которой до сих пор никогда никому не платила; андреевские, аксаевские и костековские селения подвергнуты большой контрибуции, и всем князьям приказано было собрать и доставить в лагерь такое же число лошадей, какое было отбито чеченцами.

Было между прочим дознано, что чеченцы, угнавшие табун, принадлежали к качкалыковскому племени, издавна, как мы уже видели, поселившемуся на кумыкской земле. Чтобы раз и навсегда отделаться от этих беспокойных соседей, равно наносивших вред и русским и кумыкам, Ермолов решил очистить всю кумыкскую плоскость от наносного сброда, заставив чеченцев уйти отсюда за горный Качкалыковский хребет. Деревни качкалыковцев лежали, однако же, в твердых и лесистых местах; с ними были их семьи, а защищая семьи, чеченцы дерутся упорно, и победа над ними не обходится дешево. Нужно было добиться того, чтобы чеченцы сами удалили свои семейства, а к этому понудить их можно было только примером ужаса. И вот искупительной жертвой был избран богатый надтеречный аул Дады-Юрт, жители которого были поголовно разбойники, умевшие весьма искусно хоронить концы, а между тем более всех тревожившие казачьи станицы. Донскому генералу Сысоеву приказано было скрытно подойти к аулу, окружить его и предложить жителям добровольно перебраться за Сунжу; в случае отказа — взять аул штурмом и никому не давать пощады.

Пятнадцатого сентября, на рассвете, Сысоев подошел к аулу. Шесть Кабардинских рот, семьсот казаков и пять орудий развернулись в боевой порядок и стали в ожидании ответа. Дады-юртовцы отказались, однако, принять предложенные условия, и Кабардинским ротам приказано было идти на приступ. Чеченцы приготовились к защите. Начался отчаянный, кровопролитный бой, какого русским войскам еще не случалось до того времени испытывать на Кавказе, не исключая даже известных Булгаковских штурмов. Каждый двор, окруженный высоким каменным забором и представлявший собою род небольшой крепости, приходилось сперва обстрелять артиллерией и потом уже брать приступом. Солдаты на руках перетаскивали орудия от одного дома к другому и устанавливали их под сильнейшим ружейным огнем неприятеля, стрелявшего почти в упор, и большая часть артиллеристов действительно была перебита или переранена, но их заменяли солдаты и казаки, и огонь не прекращался. И едва только пробивалась хоть малейшая брешь, едва осыпалась хоть небольшая часть стенки, солдаты бросались в проломы, и там, в темных и душных саклях, шла невидимая кровавая резня штыками и кинжалами. Ни один солдат, попавший в лабиринты саклей, не мог уже и думать об отступлении; еще менее думали о нем чеченцы, в первый раз атакованные русскими в ауле, из которого не успели вывести семейств. Ожесточение с обеих сторон росло с каждой новой жертвой. Некоторые чеченцы, видя, что им не устоять, на глазах солдат резали жен и детей; многие из женщин сами бросались на солдат с кинжалами или, напротив, кидались от них в горевшие дома и живыми гибли в пламени. Потери с обеих сторон быстро увеличивались. Пришлось наконец спешить большую часть казаков, чтобы послать их на помощь к Кабардинским ротам, и, несмотря на то, ужасное побоище длилось еще несколько смертных часов. Аул был взят окончательно только тогда, когда истреблены были поголовно все его защитники, когда из многочисленного дады-юртовского населения осталось в живых только четырнадцать человек, да и то тяжело израненных. В плен взяты сто сорок женщин и детей, которых солдаты пощадили из сожаления, после того как они остались уже безо всякой защиты и просили помилования. Многие женщины и даже дети были ранены, но вдвое большее число их было вырезано или погибло в пожаре, охватившем селение. Солдатам досталась богатая добыча, так как дады-юртовцы, жившие по преимуществу разбоем и не пропускавшие ни одного случая принять участие в набеге на русские станицы, были богаты. Аул в буквальном смысле слова был уничтожен до основания.

Потеря с русской стороны была также весьма значительная; сам генерал-майор Сысоев был ранен пулей в ногу, из строя выбыло десять офицеров и около двухсот двадцати нижних чинов, то есть более четверти всего отряда.

Прошло две недели. Ермолов все еще стоял у Внезапной, а слух о жестокой судьбе Дады-Юрта между тем облетел уже горы и, разумеется, ранее всех достиг качкалыковских селений. Качкалыковцы встревожились, особенно когда, на второй или на третий день, распространился слух, что показались русские. Слух оказался верен, но к удивлению чеченцев, отряд остановился на самой границе качкалыковской земли и спокойно расположился лагерем. Куда он направится — никто не знал. Качкалыковцы находились в томительном ожидании.

“С ними,— говорит Ермолов в одном из своих частных писем,— определил я систему медления и, как римский император Август, могу сказать: “Я медленно спешу”.

Действительно, отряд полковника Базилевского был выслан Ермоловым только для того, чтобы привлечь на себя внимание качкалыковцев и этим дать возможность Сысоеву пройти без потерь от разоренного аула Дады-Юрт ближайшей, но опаснейшей дорогой в Грозную. В свою очередь, Сысоев, достигнув Грозной, должен был ночью тридцатого сентября сделать быстрый набег за Хан-Кале и этим отвлечь засунженских чеченцев от помощи качкалыковцам. Так медленно, но верно подготовлял Ермолов успех над качкалыковскими аулами, от которых ожидал сильного сопротивления.

И вот, первого октября, пронеслась среди качкалыковцев весть: “Идет Ермолов”. Со стороны Внезапной, извиваясь длинной лентой и сверкая штыками, действительно двигались шесть батальонов и шестнадцать орудий — прямо на качкалыковские деревни. В аулах поднялась ужасная суматоха. Напуганные примером дады-юртовцев, чеченцы спешили сделать то, чего именно и желал Ермолов, то есть отправляли в дремучие леса свои семьи, сами же они давали друг другу клятвы умереть на развалинах своих аулов.

По мере приближения русских войск решимость чеченцев умереть должна была, однако же, значительно ослабевать; в этом теперь не было и нужды: семьи их были в безопасности, следовательно защищать им было некого, а деревянные сакли в местности, богатой лесом, не стоили того, чтобы за них терять хоть каплю крови. Эта логика должна была наконец восторжествовать; и когда войска второго октября подошли к Исти-Су (Горячая вода), главной качкалыковской деревне, населенной, как выражается Ермолов, “величайшими из разбойников”, то сопротивление оказалось сравнительно уже незначительным. Чеченцы встретили русских, правда, ружейным огнем из окопов. Но две роты Кабардинцев быстро заняли сильный завал, устроенный на кладбище, за которым скрывался неприятель, а третий батальон апшеронцев был двинут на штурм аула. Это был дебют, первый кавказский бой полка, которому суждено было впоследствии уже в бесчисленных боях стяжать себе громкую и заслуженную известность. Апшеронцы исполнили задачу молодцами. Пренебрегая огнем неприятеля, они без выстрела пошли в штыки, ворвались в аул и предали его пламени. В мечети да в некоторых саклях произошли упорные кровавые схватки, но через полчаса аул находился уже в нашей власти, а чеченцы рассеялись по окрестным лесам. День этот тем не менее стоил русским шести офицеров и шестидесяти трех нижних чинов выбывшими из строя — обстоятельство, показывающее, как много жертв предотвратили мудрые распоряжения Ермолова.

На следующий день той же участи подверглись Ноим-Берды и Аллаяр-Аул. Из первого чеченцы были выгнаны сильной канонадой, второй они оставили сами, потому что легко могли быть окруженными, и обе деревни были совершенно разорены.

Аул Хош-Гельды встретил Ермолова хлебом-солью и был пощажен. Аксаевские владельцы поручились за мирные намерения жителей, которым и дозволено было оставаться на местах и возделывать поля. Остальные аулы были пусты — жители их бежали за горы. Таким образом, Кумыкская плоскость в несколько дней была совершенно очищена от хищных чеченцев.

Четвертого октября Ермолов вернулся к Внезапной, а через месяц с теми же самыми войсками он был уже в Дагестане и громил акушинцев.

Решительные действия Ермолова укрепили у горцев обычай при приближении русских отправлять свои семьи и имущества в леса. Лет тридцать-сорок назад на Кавказе в устах солдат еще можно было слышать следующую старинную песню, относящуюся к ермоловской эпохе.

В леса беги, моя семья!
Беги жена, бегите дети!
А здесь один останусь я.
Нам русский враг готовит сети:
Ермолов рать свою ведет,
Но он в лесу вас не найдет.
“К чему же ты их станешь ждать?
Беги скорей, беги ты с нами!
Опасней грома русских рать —
Они убьют тебя штыками;
Тебя отвага не спасет,
Когда Ермолов их ведет.
Спасенья нет родному краю...
Бегите, близок уж рассвет.
Меня убьют, я это знаю.
Ермолову преграды нет.
Но я никак моим врагам
Без боя сакли не отдам.

Уверяют, что это — дословный перевод чеченской песни, переложенной кем-то в русские стихи. Легко быть может, что впечатлительные чеченцы и создали ее именно в то время, когда грозою по их землям проходил Ермолов.

С построением крепости Внезапной направление передовой линии определилось точно. Для большего же прикрытия Нижнего Терека Ермолов заложил на Кумыкской плоскости еще два небольших укрепления: на месте бывшего аула Исти-Су — Неотступный стан, обеспечивавший путь к Кизляру, и Герзель-Аул, у самого Аксая, стоявший на пути сообщения с Грозной. Впоследствии к ним прибавились еще Амир-Аджи-Юрт, прикрывавший паромную переправу через Терек, и Умахань-Юрт, обеспечивавший переправу через Сунжу на пути между Внезапной и Грозной.

Затем по Сунже, начиная от Грозной, также протянулся ряд небольших укреплений, связывавших ее с Владикавказом, а для сообщения всех их, как между собою, так с задними линиями и с Чечней, приступлено было к разработке широких лесных просек, по

которым можно бы было войскам беспрепятственно подходить к аулам. В этом состояло действительное средство — держать чеченцев в постоянном страхе.

Так выросла крепкая Сунженская линия. Недоставало на ней только казачьих станиц, но довершить это дело уже выпало на долю князя Воронцова, когда, после двадцатилетних напрасных и кровавых усилий покорить Кавказ иным путем, пришлось возвратиться к победоносной ермоловской системе.

VII. В ЛЕСАХ И АУЛАХ ЧЕЧНИ (Генерал Греков)

В числе даровитых людей, прибывших на Кавказ с Ермоловым, был начальник его штаба полковник Алексей Александрович Вельяминов — личность, впоследствии приобретшая громадное значение в истории кавказской войны. Вельяминову обыкновенно и приписывают замечательную мысль о необходимости просек в Чечне с целью отнять у ее разбойничьего населения возможность делать набеги и безнаказанно скрываться в своих аулах за неприступными лесами от заслуженной кары. Ермолов оценил вполне значение этой мысли в общем плане умиротворения Кавказа, и рубка лесов заняла виднейшее место в ермоловской системе.

С перенесением линии на Сунжу Ермолов принял Кабардинскую равнину за центр Кавказской линии и отмежевал отсюда по Кубани правый, а по Тереку и его притокам левый фланг линии — разделение, сохранившееся почти до последних дней покорения Кавказа. Центром управления левого фланга служила Грозная, как по своему положению, так и по силе своих укреплений. Здесь помещались начальник левого фланга, полковник Греков, и чеченский пристав, есаул Чернов, на которых и лежал ближайший надзор за спокойствием между мирными чеченскими аулами.

Николаи Васильевич Греков был человеком, обладавшим замечательной энергией и незаурядными военными способностями. Дворянин Слободско-Украинской губернии, он родился в стране, где все дышало волей порубежной жизни, и с малолетства сумел воспитать в себе лучшие стороны казачества, которые, как славный памятник прошлого, оставила по себе в том крае Запорожская Сечь. Приехав на Кавказ, он поступил на службу в 1805 году в Кабардинский полк вместе с пятью своими братьями, такими же героями, как сам, и рядом боевых отличий, сказанных им в то легендарно-героическое время, скоро успел добиться перевода в гвардию. Но, воспользовавшись гвардейскими преимуществами, Греков остался на Кавказе — и это послужило началом его быстрой военной карьеры. Спустя одиннадцать лет он был уже полковником и командовал на линии шестнадцатым егерским полком, пользовавшимся громкой славой еще со времен Лихачева. Это были “зеленые егеря” — когда-то страх и гроза прикубанских народов [С прибытием в 1819 году полков из России шестнадцатый егерский полк почти в полном составе поступил на укомплектование нового сорок третьего егерского полка, который расположился в Грозной. Греков, по распоряжению Ермолова, принял сорок третий полк, а прежний командир его с кадрами шестнадцатого егерского полка возвратился в Россию.].

Ермолов, обладавший замечательной способностью выбирать людей, остановил свое внимание на Грекове и, отъезжая в Дагестан, поручил ему важный военный пост начальника левого фланга. На обязанности Грекова лежало делать движения за Сунжу, подробно исследовать местность на всем пространстве лесистой Чечни вплоть до подножия Черных гор, прокладывать на сообщениях между главнейшими пунктами широкие просеки, устраивать пороги, а в случае нужды истреблять аулы, которые будут

служить обычным притоном для хищников. Греков принялся за выполнение этой сложной задачи с замечательной настойчивостью и последовательностью.

Как только тыл его был прикрыт небольшим Горячеводским редутом (при Старом-Юрте), обеспечившим ему безопасные сообщения с Тереком, он не замедлил перенести военные действия на ту сторону Сунжи. Первые удары русской силы и должны были направиться на знаменитое Ханкальское ущелье — ворота в Чечню, видевшие перед собой ряд племен и народов, приходивших померяться там силами с людьми и с природой гор. Ханкальское ущелье тем и было сильно, что, представляя удобный путь из Чечни, оно своими вековыми лесами делало, напротив, путь в Чечню чрезвычайно трудным, если вступавший в страну был враг ее. Весь лес оживал тогда, и, казалось, каждое дерево сыпало смертоносными пулями на дерзкого пришельца. Вырубить этот лес — значило сделать путь в чеченскую землю открытым. Но овладеть Ханкальским ущельем открытой силой было бы трудно. Здесь нужна была хитрость, и Греков прекрасно обдумал план своего нападения. Ничего не предпринимая в течение первых месяцев после занятия Грозной, он исподволь приучил чеченцев к беспечности и к мысли, что слабый гарнизон не может угрожать им серьезными набегами. И вот, когда в аулах все успокоилось, когда суровые зимние холода разогнали чеченские караулы к очагам их саклей, Греков скрытно притянул войска, стоявшие за Тереком, и темной ночью на двадцать девятое января 1819 года внезапным движением разом захватил в свои руки все Ханкальское ущелье.

Еще заря не успела заняться на южном ночном небе, как шестьсот топоров дружно застучали по корням деревьев, и с громом и треском стали валиться лесные исполины. В два дня прорублена была широкая просека, и вековой неприступный оплот грозной Чечни, стоивший стольких жертв и крови Булгакову, пал под топорами русских солдат без единого ружейного выстрела. Деревья, сложенные в кучи, запылали огромными чудовищными кострами. И только тогда, когда густой дым гигантскими столбами стал подниматься над лесом, оплошавшие чеченцы бросились смотреть, что такое творится в ущелье... Но там, где некогда были дремучие леса, защищавшие их родину, теперь была широкая просека, и, как муравьиные кучки, копошились на ней серые солдатские шинели. Ворота в Чечню стояли отворенными настежь.

Непосредственно за Ханкальским ущельем простиралась обширная возделанная равнина; здесь были чеченские поля, засеянные хлебом; здесь паслись стада; вокруг группировались богатейшие селения. Теперь она лежала незащищенной перед русскими войсками, неожиданно, без всякого боя, тихо и незаметно овладевшими ключом к ней. Было о чем подумать чеченцам. Благоразумие, однако же, удержало их от неприязненных действий. Бой за Ханкальское ущелье теперь, когда оно лишилось своей естественной защиты — неприступного леса, не имел более смысла; оставалось хотя бы наружно покориться, потому что другого выбора не было. И с раннего утра со всех сторон потянулись к русскому стану чеченские депутации с хлебом и солью. Греков, принимая эти выражения покорности, понимал, как мало в них искренности; чеченцы старались только удалить на время неожиданно нависшую над ними тучу, чтобы заручиться помощью со стороны дагестанцев, и Греков зорко смотрел за чеченцами. Скоро сделалось известным, что жители Куллара, селения, расположенного почти при самом впадении в Сунжу притока ее, Гойты, вошли в сношения с чеченцами, живущими в дальних горах, и не только снабжают их хлебом и принимают у себя их людей, но мало-помалу сами перевозят свое имущество в горы. Последнее обстоятельство издавна служило признаком, что чеченцы готовятся к неприязненным действиям; за имуществом обыкновенно следовал скот, потом отправлялись семейства, и мужское население поднимало оружие.

Быстрым движением нагрянул Греков на Куллары и разрушил их до основания; в то же время соседним деревням было объявлено, что всякая попытка к восстанию будет строго наказана. Жители обложены были новой податью — поставкой бревен для укреплений.

Наступила весна 1819 года. Начавшаяся в то время постройка крепости Внезапной чрезвычайно усложнила задачи Грекова. С ничтожными силами он должен был препятствовать засунженским чеченцам подать помощь мичиковцам и качкалыковцам, находившимся тогда в полном восстании, и в то же время заботиться об устройстве безопасных путей сообщения по направлению к новой крепости. По счастью, угрожающее положение, занятое Грековым у входа в Ханкальское ущелье, уже само по себе оказывало ему огромную услугу; чеченцам приходилось думать о собственной защите, и большая часть враждебных аулов постепенно уходила в горы. Ермолова, однако, тревожило положение Грекова, и как только из России стали подходить полки, он приказал одному из них, Куринскому, остановиться на Тереке, чтобы служить резервом для Грозной; вслед за тем туда не прибыл из-под Внезапной отряд генерала Сысоева, которому приказано было сделать поиск за Сунжу. Тридцатого сентября 1819 года войска ходили двумя колоннами: Сысоев — через Ханкальское ущелье, Греков — вверх по течению Сунжи. Оба отряда, встречая аулы пустыми, топтали посевы и жгли хлеба и сено, покинутые жителями. Все эти действия в совокупности имели результатом то, что ни один чеченец из-за Сунжи не явился на поддержку качкалыковцев в те дни, когда Ермолов громил их аулы.

Не лишнее заметить, что в экспедиции Сысоева в первый раз является на сцене кавказской войны Куринский полк, и именно в тех самых местах, в которых впоследствии слава была его неразлучной спутницей в течение почти полувека. На этот раз ему пришлось оказать братскую помощь своим артиллеристам в критический момент, когда молодецкая горсть их, спасая честь и славу своего оружия, уже готовилась лечь в неравной борьбе с врагами.

Пока отряд Сысоева двигался вперед, неприятель издали следил за его движением, ограничивая бой лишь слабой перестрелкой, но когда началось отступление, чеченцы, пропустив мимо себя отряд за Амир-Хан-Кичу, кинулись на него с такой стремительностью, что едва не захватили двух орудий (батарейное и казачье). Личное мужество командовавшего взводом прапорщика Грамотина, впоследствии известного кавказского генерала, увлекло своим примером артиллерийскую прислугу, смело схватившуюся с неприятелем врукопашную и отстоявшую пушки. Сотник Назаров, находившийся с казачьим орудием и раненый уже перед тем под Болтугаем, в Салатавских горах, вновь получил тяжелую рану шашкой, и, вероятно, был бы изрублен совсем, если бы молодцы-артиллеристы не выручили его, отбиваясь банниками. Командир конно-артиллерийской роты есаул Алпатов, заметив новые густые толпы пеших чеченцев, бежавших к батарее, вынесся навстречу к ним с одним конным орудием и почти в упор сделал в них выстрел гранатой. Граната, попав в передние ряды, пошла рикошетом, разорвалась и разметала чеченцев. Ошеломленные, они остановились, и в это-то мгновение бегом подоспели куринцы... Ермолов, сам артиллерист, вполне оценил подвиг своих товарищей по оружию, и урядник Андреев, наводивший орудие, выпустившее гранату, получил из его рук Георгиевский крест; Алпатов и Грамотин стали пользоваться с тех пор его особым расположением.

Весною 1820 года военные действия возобновились с новой силой. Одним из опаснейших пунктов в Чечне считался в то время богатый аул Герменчуг на Джалке, населенный почти поголовно разбойниками, принимавшими между прочим деятельное участие и в нападении при Амир-Хан-Кичу, вопиявшем об отмщении.

Ближайший путь к ним шел в обход Ханкальского ущелья, на селение Топли, охранявшее переправу через Аргун и служившее как бы передовым редантом для герменчугцев. За Топли, от самого Аргуна до Джалки, тянулся знаменитый сплошной дремучий лес, служивший преградой для уничтожения герменчугских полей и пастбищ. С этого-то леса Греков и решил начать свои действия, двигаясь на Герменчуг с ружьем в одной руке и с топором в другой. Опытный в войне с чеченцами, он опять скрытно сосредоточил в Грозной отряд и в ночь на шестое марта осторожно и тихо переправил его за Сунжу. Было темно, туманно и холодно; войска соблюдали глубокую тишину; колеса и цепи у орудий, обмотанные соломой и рогожами, ни разу не брякнули; конь не заржал; горящие фитили, спрятанные под бурками, ни разу не сбросили искры, которая предательски могла бы осветить отряд. Благодаря этим предосторожностям войска совершенно неожиданно появились перед селением Топли, захватив врасплох даже самые чеченские караулы. Гребенской казачий полк, посланный вперед с майором Ефимовичем, мгновенно и без сопротивления ворвался в аул, погруженный еще в глубокий сон. Не теряя пороху, гребенцы кинулись по саклям с кинжалами. Дикие крики, вопль и стоны внезапно огласили безмолвные дотоле окрестности. На помощь к казакам скоро подоспели три роты егерей. Часть жителей была перерезана прежде, чем успела подняться с постелей; другая просила пощады. Греков остановил кровопролитие, собрал старшин окрестных деревень и приказал им немедленно выслать рабочих с топорами для вырубки леса. Курящиеся развалины деревни, смотревшие угрозой и красноречиво говорившие о судьбе, которая постигнет сопротивляющихся, заставили чеченцев повиноваться. Рабочие явились; в вековых чеченских лесах зазвенели чеченские топоры, и каждый удар их по упругим стволам расчищал путь в страну грозным пришельцам. Войска между тем, выдвинувшись вперед, прикрыли рабочих.

Отрывочные выстрелы в цепи свидетельствовали, однако, что новый враг стоял перед отрядом, и только пушки, снятые с передков, держали его в почтительном расстоянии. Но топоры звучали от того только быстрее и чаще — чеченцы должны были торопиться окончить работу, чтобы не попасть в перекрест между своими и русскими.

Через три дня была готова широкая просека, открывавшая большую поляну, на которой стоял Герменчуг и множество аулов. Но аулы были пусты, и лишь вдали, на задней опушке леса, можно было видеть группы верховых и слышать оттуда нечастые выстрелы. Войска продвинулись вперед, сожгли Герменчуг и потянулись назад в Грозную.

Все лето 1820 года продолжались работы по обеспечению левого фланга. Едва войска покончили с герменчугской просекой, как Греков приступил к вырубке леса по Сунже и к постройке на расчищенных полянах двух новых укреплений: Усть-Мартанского редута и Злобного Окопа, одновременно с тем, как со стороны Внезапной велись работы по направлению к Сунженской линии.

Там также поставлены были три укрепления: небольшой Амир-Аджи-Юртовский редут — на переправе через Терек, между Шелкозаводской и Щедринской станицами; Герзель-Аул на Акташе, в кумыкских владениях; и Неотступный Стан при Исти-Су, в земле качкалыковских чеченцев. Все работы производились под личным наблюдением командующего Кавказской линией генерал-майора Сталя, и в помощь войскам левого фланга приходил небольшой отряд из Дагестана, под начальством полковника Верховского. Неотступный Стан, запиравший вход в земли аксаевцев и преграждавший путь к Кизляру, особенно беспокоил чеченцев и заставлял их настойчиво препятствовать работам. Они собирались в значительных силах и, изо дня в день, то тревожили русские передовые посты, то угрожали табунам, то нападали на сенокосы. Нередко происходили

при этом и горячие ошибки. Между ними выдается одна, в которой линейные казаки, несравненно меньшие числом, оказали необыкновенную неустрашимость.

Русский лагерь стоял тогда на последнем уступе Качкадыковских гор. Перед ним простиралась в необозримую даль, по самого Терека, обширная равнина, вся изрезанная оврагами и балками, которыми чеченцы искусно пользовались для своих засад и внезапных нападений. Командир Гребенского полка, майор Ефимович, каждое утро лично объезжал с разъездами эту опасную местность, и только по возвращении его в лагерь высылались рабочие, выгонялся скот и выходили фуражиры. Однажды, когда обычный разъезд уже был готов, лошадь, подведенная Ефимовичу, заупрямилась, стала на дыбы, и он, садясь в седло, оборвал шашку; нужно было спешить, и Ефимович поехал в разъезд с одним кинжалом да пистолетами в кобурах.

Пропустив вперед казаков и заметив, что они уже спустились в овраги, Ефимович повернул в сторону, поднялся с двумя гребенцами на высокий курган и, сойдя с лошади, по обыкновению стал осматривать в бинокль ближайшие окрестности. Вдруг сильная конная партия чеченцев вынеслась из оврага между ним и его казаками. Не успел Ефимович вскочить на коня, как чеченцы напали на разъезд. Внезапно охваченные с тылу, гребенцы не устояли под ударом пятисот чеченских наездников и, выскочив с противоположного конца оврага, пустились кратчайшей дорогой в лагерь. Ефимович со своими ординарцами был от них отрезан. Горцы заметили трех всадников, скакавших в густой траве, припав на гривы своих лошадей, и понеслись за ними в погоню. Обе стороны напрягли последние силы: казаки— чтобы уйти от погони, горцы — чтобы настигнуть. Но вот несколько отчаянных чеченских наездников, сидевших на лучших скакунах, пересекли им путь. Гребенцы круто метнулись в сторону. Но в это время лошадь казака, скакавшего впереди, запуталась в траве и упала вместе с всадником; Ефимович, не успевший сдержать своего коня, также вместе с ним полетел через голову, а в довершении несчастья упал вместе с лошадью и третий казак, споткнувшись, на Ефимовича. Чеченцы уже были тут. Оба казака, не успев выбиться из-под лошадей, были изрублены; Ефимович вскочил на ноги, но лошадь его ушла вместе с пистолетами. И вот он, вооруженный только кинжалом, очутился лицом к лицу с целой сотней чеченцев. Положение его было поистине безвыходное; горцы, заметив по одежде, что перед ними не простой казак, окружили его со всех сторон, и жестокий удар прикладом по голове сбил Ефимовича с ног; он упал без чувств. Но в тот момент, когда большинство чеченцев, увлеченное добычей и не обращавшие уже больше ни на что внимания, спешилось, чтобы связать пленника арканами, в толпе их вдруг произошло смятение: все с копыта шарахнулось и понеслось назад, бросив Ефимовича, лежавшего, как труп, без всякого движения, посреди чистого поля.

Случилось вот что: увидев полковничью лошадь, скакавшую по полю без всадника, с растрепанным седлом, уходивший разъезд мигом сообразил в чем дело, и, повернув назад, отчаянно кинулся в шашки... Старые гребенцы не могли примириться с мыслью, что они, хотя и невольно, оставили своего командира и решили искупить его жизнь или тело своими головами. Минутное колебание чеченцев под внезапным и бесстрашным натиском людей, обрекших себя почти на верную смерть, спасло Ефимовича. Казаки мигом схватили его на седло и понеслись домой. Восемь человек из них, однако же, были изрублены — это были жертвы честного исполнения долга, святых казачьих обычаев и привязанности к любимому начальнику. Опомнившиеся чеченцы понеслись в погоню. С террасы, на которой раскинут был лагерь, видели всю эту сцену. Две сотни гребенцев, вскочив на коней, пустились на выручку станичников; в полуверсте от лагеря они столкнулись с пяти-сотенной чеченской партией, врезались в нее — и через мгновение

чеченцы скакали назад, а гребенцы настигали и рубили бегущих. Из лагеря этот лихой кавалерийский бой виден был как на ладони.

“Мы насчитали,— говорит один участник этого похода,— более пятидесяти чеченцев, сбитых с лошадей ударами казацких шашек. Были ли они убиты, или ранены — не знаю, но во всяком случае чеченцы порядочно поплатились за кратковременное торжество свое над казаками”.

Наступил 1821 год. Ермолов был тогда в Петербурге; тем не менее войска левого фланга продолжали настойчиво исполнять начертанную им программу. С четвертого февраля Греков приступил к разработке путей в глубь чеченской земли со стороны Злобного Окопа. Широкие просеки пролегли через Гехинские, Гойтинские, Шалинские и Герменчугские леса до самого Маюртупа, лежавшего за Хулкулау, на Гудермесе, там, где уже начинались земли мичиковцев. Отсюда отряд повернул назад и старыми просеками воротился в Грозную. В продолжение этой экспедиции неприятель нигде не оказал сопротивления. Зная по опыту, что с Грековым шутить невозможно, что всякое нападение на отряд неминуемо повлечет за собою смертную казнь или ссылку в Сибирь аманатов, чеченцы волей-неволей мирились с тем, что падали и исчезали леса — их вековая защита. Лишь немногие, не желавшие покориться, бежали в горы, где Ахмет-хан собирал толпы для нападения на укрепления, строящиеся в Дагестане; остальные встречали Грекова с наружной покорностью. Войска оставляли их аулы неприкосновенными, и только близ Гельдигена, хутор знаменитого Бей-Булата, за прежние грехи этого старого разбойника, давно укрывшегося в горы, был разорен до основания.

В Грозной войска простояли неделю-другую. А там Греков снова повел их разрабатывать дороги в Чечню, уже с противоположной стороны, от гор Качкалыковских. Чтобы разгадать, кто за нас и кто против нас, от всех чеченских и качкалыковских деревень потребованы были рабочие с топорами. Их набралось до одиннадцати тысяч человек, и все безмолвно исполняли даваемые им приказания. Громадное скопище в самом русском лагере людей, питавших к русским затаенную ненависть и все-таки повиновавшихся, представляло любопытный факт, объясняемый только необычайным нравственным влиянием, которое Греков имел на окружающие племена. Жители сами привозили даже провиант, пригоняли скот и доставляли все нужное для работ. Качкалыковцы высылали людей с топорами и рубили лес; кумыки содержали караулы и разъезды. Совершенно упавшие духом засунженские чеченцы не могли не понимать, что меры, принятые Ермоловым, скоро поставят их в полную зависимость от русских, что их разгульной жизни набегов и разбоя близится конец.

Экспедиция достигла всех своих целей. Войска, собранные при Амир-Аджи-Юрте, первого марта быстро пошли вперед, окружили селение Ойсунгур, лежавшее на северном склоне Качкалыковского хребта, и в наказание жителей, бежавших перед их приходом, совершенно его разрушили. В это время чеченцы вырубили лес в одну сторону до Исти-Су, в другую — до Мичика. Когда войска появились в этой местности, еще ни разу не посещенной русскими, качкалыковцы попробовали остановить их оружием, и в лесной перестрелке нанесли русским урон из трех офицеров и тридцати человек нижних чинов, выбывших из строя. Но нападение не могло повлиять на работы. Просека была довершена, и войска шестого марта возвратились на линию. Дальнейшие просеки от Амир-Аджи-Юрта до Ойсунгура, Исти-Су и Герзель-Аула, через узкую лесистую полосу, разрабатывали сами туземцы, под наблюдением аксаевских князей.

Едва войска расположились на отдых, как Греков стал уже получать тревожные известия. В Чечне что-то затевалось, хотя обстоятельно объяснить, что именно, не мог ни один

лазутчик. Даже чеченский пристав Чернов, известный своим пониманием характера народа и ловкостью, не мог добиться никаких положительных сведений. Ясно было одно, что население глухо волновалось и что причиной этих волнений было турецкое правительство, распустившее слух о близкой войне своей с Россией. Имя султана, как государя, сильнейшего в свете, естественного покровителя всех мусульман, обаятельно действовало на легковерные умы. Чеченцы вообразили, что борьба с султаном отвлечет все силы России, не оставив свободных средств для действий против них, и что наступает время опять безнаказанно хозяйничать в станицах и селах по Кавказской линии. Мечта была так привлекательна, а характер впечатлительного народа так необуздан, что катастрофа разразилась даже гораздо ранее, чем можно было ожидать. В апреле те самые чеченцы, которые за несколько недель служили Грекову с таким усердием при вырубке просек, теперь в значительных силах бросились на Амир-Аджи-Юртовский редут. Это был слабейший пункт русской позиции; в редуте было только двадцать пять солдат, под командой унтер-офицера. Но то были солдаты старого Кабардинского полка (теперь ширванцы), испытанные в битвах, закаленные в опасностях, и чеченцы потерпели неудачу. К сожалению, геройский подвиг унтер-офицера Махонина, целый день защищавшего ничтожный редут против громадного скопища чеченцев, не известен во всех его подробностях, сделавшихся жертвой забвения, подобно многим другим славным делам Кавказского корпуса, умевшего делать дело молча и не заботившегося о прославлении и передаче своих подвигов потомству. Известно только, что в бою за обладание редутом, продолжавшемся с утра до позднего вечера, Кабардинцы положили на месте до сорока человек чеченцев, потеряв и сами большую половину людей. К вечеру озлобленный неприятель бешено кинулся на вал, ворвался внутрь укрепления и резался врукопашную; сам Махонин был изрублен в куски. Но чеченцы все-таки не могли удержаться в редуте и были отбиты, а подоспевшая помощь окончательно заставила их рассеяться.

Взрыв, всегда возможный в таком народе, как чеченцы, не имел на этот раз никаких серьезных последствий. Как быстро началось волнение, так быстро оно и упало. Понятно, что теперь, когда русские войска приобрели возможность проходить беспрепятственно по Чечне с одной стороны до Хулкулау и Гудермеса, а с другой — до Мичика, подобные вспышки в этих местах и не могли быть особенно опасными. Но между этими двумя реками, на пространстве в двадцать верст, оставался еще мрачный Маюртупский лес, где и сосредоточилось теперь все, что только было враждебного русским. Греков признал необходимым вырубить его и нашел более удобным вести просеку от Мичика, чтобы заодно наказать мятежных качкалыковцев. Но чтобы беспрепятственно пройти на Мичик, нужно было уничтожить зорко оберегавшие дороги близ Ойсунгура и Исти-Су чеченские караулы, нарочно и за большую плату нанятые для этого качкалыковцами. Успех задуманного предприятия зависел, следовательно, от нечаянности и быстроты нападения. И вот Греков распустил слух, что идет к Внезапной. Действительно, войска от Амир-Аджи-Юрта пошли окружной дорогой на Таш-Кичу и восемнадцатого июля расположились здесь на ночлег со всеми обозами. От обремененного тяжестями отряда чеченцы не могли ожидать никаких энергичных, внезапных движений, а между тем Греков в самую полночь тихо поднял отряд, свернул вправо и быстро повел его к Ойсунгуру. Линейные казаки с конными орудиями понеслись вперед напрямик через просеки и кустарники, чтобы отрезать неприятельские посты от Мичика. Главный караул в восемьдесят человек был окружен и уничтожен без выстрела. Через день, двадцатого июля, Греков столь же удачно снял караул, стоявший при Ости-Су, и войска, перевалившись через лесистый Качкалыковский хребет, уже спокойно заняли Мичик. Маюртупский лес был затем вырублен, все находившиеся в нем аулы и хутора — уничтожены. Сопротивление неприятеля, захваченного совершенно врасплох, было настолько слабо, что в два дня войска израсходовали только шесть ядер и три картечных

заряда. Успех экспедиции Греков приписывал блистательному поведению в бою моздокских и гребенских казаков. “Все казаки без изъятия,— доносил он Ермолову,— заслуживают полнейшей благодарности; никакие преграды и опасности их не останавливают; казачьи орудия не отстают от конных полков, и решительный удар моздокцев и гребенцов под Ойсунгуром и Исти-Су достоин величайшей похвалы”. Сам Греков за отличия в этих делах произведен был в генерал-майоры на шестнадцатом году своей службы; он остался начальником левого фланга и вместе с тем командовал второй бригадой двадцать второй пехотной дивизии, а сорок третий егерский полк принял от него подполковник Сорочан.

Несмотря на энергичные действия Грекова, волнения в Чечне к началу 1822 года снова приняли довольно серьезные размеры. Турецкие прокламации, призывавшие Кавказ к оружию и имевшие большой успех среди кабардинцев, передавались через них в Чечню. В Герменчуге появился даже проповедник, бывший тамошний кадий Абдул-Кадыр, под знаменем которого и стали собираться толпы правоверных. Он обещал убитым рай Магомета, предсказывал гибель русским и с клятвой уверял, что через четыре месяца турецкие войска появятся на Сунже. Под влиянием его проповедей и новых известий, что большая часть войск, расположенных по Тереку, ушла в Кабарду, чеченцы простерли до того свою дерзость, что покусились напасть на Неотступный Стан. Их конница, пренебрегая выстрелами крепостного орудия, смело приблизилась к стенам укрепления, но, принятая картечью в перекрест из двух полевых орудий, поспешно повернулась назад и укрылась в балках. Многие аулы стали переселяться в горы; даже жители Старого-Юрта, лежавшего верстах в десяти от Терека, сохранявшие доселе неизменную верность, покусились бежать. Греков успел, однако, принять свои меры и, возвратив беглецов на прежние места, четвертого февраля сам с небольшим отрядом двинулся к Аргуну, чтобы возобновить старые, уже начавшие зарастать просеки от Топли к Герменчугу и Шали. Чеченцы, под предводительством Абдул-Кадыра, встретили его на Аргуне с оружием. Два часа длился бой за лесную опушку, но наконец наши войска ворвались в лес, и в то же время пушечное ядро оторвало Абдул-Кадыру ногу. Он не пережил этой раны и на третий день умер. Смерть проповедника, так много обещавшего и первого поплатившегося за восстание, образумила чеченцев; волнение опять затихло. Тем не менее Греков двинулся далее, сжег селения Шали и Малые Атаги, расчистил просеки и уже только тогда возвратился в Грозную.

Здесь ожидало его известие о необычайной смертности, открывшейся в укреплении Неотступный Стан вследствие скученности войск и дурных климатических условий. Ермолов приказал его бросить, и гарнизон перевели в Амир-Аджи-Юрт, где наскоро и были возведены окопы.

Таким образом, к исходу 1822 года передовая линия по Сунже и Кумыкской плоскости до берегов Каспийского моря была окончательно устроена, насколько то было возможно при тогдашних средствах и условиях.

Мирно протекли на Сунже 1823 и 1824 годы, в продолжение которых утихла Кабарда и покорился Дагестан. Небольшие экспедиции генерала Грекова, предпринимавшиеся время от времени для наказания за мелкие хищничества, например, уничтожение аула Большой Чечен, стоявшего у выхода из Ханкальского ущелья, не изменяли общего мирного положения дел. Сам знаменитый Бей-Булат, глава чеченских хищников, вышел из гор и явился к Ермолову с повинной.

Но тишина бывает перед бурей. В 1825 году грозой разразилось общее, единодушное восстание чеченцев.

VIII. ДВА ТИПА (Чернов и Бей-Булат)

На почве постоянных войн и опасностей, внезапных набегов и отражений, естественно было закалиться бесстрашию и воинственной отваге. Но в крайнем своем развитии типы русского отважного казака и неустрашимого горского джигита должны были породить необычайный сорт людей, для которых тревоги войны, битвы, кровь, опасности — делались потребностью, страстью. Это были артисты войны, любившие ее, как искусство, наслаждавшиеся ею, находившие в ней душевное удовлетворение. Они не только не страшились опасностей, но искали их. И их увлекательная беззаветная храбрость, полная своеобразных и дико воинственной поэзии, действовала заразительно на массы. Мирные времена были для них лишением и толкали их на действия, с точки зрения гуманных принципов становившиеся у них одним безотчетным и необузданным, не имевшим ни границ, ни удержу стремлением развернуться во всю ширь своей молодецкой удали.

Чтобы удовлетворить этой своей страсти к опасностям, русский казак мог пойти с чеченцами в набег на русскую сторону, чеченцы могли враждовать с чеченцами. И кавказские предания, действительно говорят, что бывали казаки, которые с кунаками горцами пробирались ночью в свою же станицу, чтобы увезти лошадь, барана или вообще что-нибудь украсть, лишь бы испытать сильные ощущения, ловко обмануть секреты, обойти засаду, проделать весь этот процесс увода, ползанья среди глухой ночи, хитрых, увертливых движений, — и все это с тем, чтобы после в грош не ценить трофей всех этих проделок. На Кавказе известен был даже один офицер, который в ночной экспедиции с кунаками чеченцами нарвался на свой же секрет и был ранен в ногу, о чем все после рассказывали с хохотом; и сам он при этом смеялся, радуясь, что его выходка окончилась благополучно, и простреленная нога не была отрезана.

Этот удивительный тип успел получить отражение и в русской литературе в отважном казаке Брошке в повести графа Л. Н. Толстого “Казаки”. Этот герой — попрошайка, вор и забияка, контрабандист и перевозчик на русский берег чумы, это изумительное смешение добра и зла, искреннейший слуга царев и кунак храброго чеченского джигита в одно и то же время — представляет собою именно один из замечательнейших типов кавказского искателя приключений, тип, отраженный в грубых чертах простого, невежественного казака. И “дядя Брошка” не лицо только из русской повести, а действительная быль. На Кавказе и до сих пор помнят людей, подобных Семену Атарщикову и Бпишке Сехину, из которых последний послужил прототипом “дяди Брошки”. Друзья и товарищи по службе и жизни, они за свои деяния не раз сидели в острогах, не раз прогуливались по “зеленой улице” и даже не раз бывали в петле виселицы. В таких казусных случаях они свои головы выручали уже головами известных разбойников, за которыми ездили в горы. И кресты и медали, украшавшие их грудь, то снимались, то опять появлялись на них...

Влияние этих людей на молодые поколения было сильно и, бесспорно, имело свои хорошие стороны. Жадно слушая былины отчаянных подвигов, свидетели которых были перед ними налицо, молодежь ценила их заслуги и не заботилась о их недостатках. Отвага и удаль, как завет предков, глубоко западавший в пушу, вызывали и среди нее молодецкие дела, и грозный тип добродушного кавказского удальца, но уже в лучших его проявлениях, переходил из поколения в поколение.

Во времена Ермолова, в двадцатых годах, на фоне общих кавказских дел выдвинулись две крупные фигуры таких искателей опасных приключений, имевшие на самый ход событий существенное влияние. Это были: на русской стороне — чеченский пристав Чернов, на чеченской — отважный наездник Бей-Булат.

Артамон Лазаревич Чернов вышел из простых казаков Калиновской станицы, Моздокского полка. Участвуя в многочисленных делах на Кавказе и за Кавказом с 1791 года, он уже давно сделался известен своей беспримерной храбростью, получил три золотые медали, потом офицерский чин и, дослужившись по есаула, с Владимирским и Анненским крестами в петлице, командовал второй конно-артиллерийской казачьей ротой. Ранен он был между тем только один раз в жизни, и то легко, в левую руку, пулей. При тех чрезвычайных опасностях, которым он всюду и постоянно, как бы шутя, подвергал свою жизнь, последнее обстоятельство казалось непонятным, и про Чернова втихомолку говорили, что он — знахарь и с помощью "черной силы" умеет заговаривать вражеские пули.

Но особенно замечательным свойством его характера, испестрившим и его послужной список, была страсть — выручать из плена русских; вероятно необычайная трудность подобных предприятий именно и привлекала его отважную душу. Чтобы добиться своего, он пускал в ход и открытую силу, и хитрость, и наконец золото, нередко не щадя последних остатков своего достояния. К сожалению, все его подвиги остаются и вероятно навсегда останутся достоянием лишь тех изустных рассказов про стародавнее, дедовское время, которые еще хранятся в немногих казачьих семействах, год от году становясь все реже и реже. Умирают старые люди, и с ними исчезают бесследно драгоценные исторические материалы. Как не пожалеть вместе с Лермонтовым о том, что "у нас так мало записывают". Но достаточно взглянуть только на одни сухие официальные выписки из послужного списка Чернова, чтобы разгадать, сколько тяжких драм пережито им или, по крайней мере, прошло перед его глазами.

"В 1804 году он пробирается в горы и доставляет способ свергнуть с себя оковы майору Каскамбе и подпоручику Полетаеву.

С 1807 по 1810 год он в разное время освобождает из плена сорок три человека, жертвуя на то свою собственность и подвергая свою жизнь очевидной опасности.

В 1810 году он выселяет из неприступных гор на равнину триста осетинских семейств и удерживает через верных конфидентов семисотенную партию чеченцев, следовавшую в секурс к возмутившимся кабардинцам..."

И так далее и далее — ряд совершенно необычайных заслуг и подвигов окружают имя Чернова.

При всем том, не подлежит ни малейшему сомнению, что наряду с прекрасными, истинно героическими делами, в деятельности Чернова было немало и темных сторон. Подобно героическому Бульбе, хотевшему где бы ни воевать, лишь бы воевать, он очевидно держался мнения, что где бы ни совершать необыкновенные дела, лишь бы их совершать, и с одинаковой охотой он подвергал себя смертельной опасности и среди русских и среди чеченцев, смотря по обстоятельствам, лишь бы не быть без того "спинного холода", который вызывается близостью смерти. Он, как и "дядя Брошка" Толстого, был действительно и герой, и вор, и конокрад в одно и то же время: он и чуму распространял посредством контрабандного перетаскивания зачумленных бурок из-за Терека, он и табуны отбивал у ногайцев, перегоняя их за Терек, а если верить преданиям, передаваемым шепотом, то из одного удальства пускался в набеги, как с русскими на мирных чеченцев, так и с немирными чеченцами на русских. Правда ли то, или нет — тайна Чернова, спящая с ним в могиле. Достоверно, однако, что в Чечне он был свой человек, и все овраги, балки и лесные тропы чеченской земли знал не хуже своей станичной улицы. Как и все подобные люди, Чернов гремел по Кавказу своими делами,

представлявшими такое странное сплетение доброго и злого. В Чечне он был и знаменит, и страшен, и ненавистен в одно и то же время; но особенную ненависть к нему чеченцы обнаруживают в бытность его при Ермолове чеченским приставом.

По своему знанию земли, быта и характера чеченцев, Чернов был незаменимым приставом, и мысль о назначении его на эту должность была вполне естественна. Когда гребенской атаман Зачетов и начальник фланга Греков рекомендовали его в этом смысле Ермолову, а Алексей Петрович без обиняков отвечал им, что ведь Чернов — мошенник, они возразили, что для таких мошенников, как чеченцы, и нужен именно такой мошенник, как Чернов, изведавший до тонкости все их проделки, владевший их языком едва ли не лучше, чем собственным, и имевший за Тереком множество и кунаков, и кровомстителей.

Назначенный приставом уже в преклонных летах (ему было тогда пятьдесят два года), Чернов не выказал большой гуманности по отношению к своим бывшим затеречным приятелям, а между тем, надо сказать, должность пристава, уже и сама по себе, была ненавистна чеченцам, так как вносила к ним нарушение их традиционных судебных обычаев, освященных веками. Пристав, при всей нелюбви к бумажным делам, конечно не мог не придерживаться существовавших тогда русских порядков и формальностей, и в производстве чеченских дел явилась и неизбежная письменность, и несколько инстанций, из которых пристав составлял лишь низшую; далее шли: начальник левого фланга, за ним — начальник Кавказской линии, потом — корпусной командир и так далее, до самых высших учреждений столицы. Чеченцы не могли мириться с такими порядками; они совсем иначе вершили свои дела в былое время, когда не стояло над ними никакого пристава. Всякий спор решался у мечети, суд был словесный, гласный и контролируемый общественным мнением; если тут и возможны были какие-либо злоупотребления, они все же были сноснее народу, чем волокита и формалистика русских судов. Грозные речи Ермолова, его обещания истреблять аулы, вешать аманатов, вырезать жен и детей были чеченцам понятны, и они им подчинялись, но всякое вмешательство чуждой для них власти в область обыденных, домашних и семейных дел их оскорбляло. А чеченцы нетерпеливы, горды и чрезмерно самолюбивы. Истинные дети природы, они многое, пожалуй, перенесут с ложным сознанием своего превосходства или с затаенной мыслью о раннем или позднем мщении, но не перенесет чеченец одного — обидного или презрительного к нему отношения. Как ребенок обидчивый и самолюбивый, он, как ребенок, любит и похвалы и комплименты. Эту черту их характера подметить было нетрудно, и нужно сказать, что власть Ермолова, а позднее — дагестанских имамов, была тем и сильна, что они умели играть на их душевных струнах. Но, к сожалению, эта сторона дела игнорировалась людьми ермоловской эпохи, подобными Чернову и Грекову; они слишком натягивали струны и, может быть, служили не последней причиной мятежей, подобных разразившемуся в 1825 году. Все знавшие Чернова говорят, что он был непомерно строг: за одну попытку к хищничеству он накладывал на чеченцев громадные штрафы, вконец разорявшие семьи, а сопротивлявшихся закапывал в землю по пояс. Особенно замечателен случай исчезновения одного из членов влиятельнейшей фамилии Турловых — кадия Магомы, наделавший на Кавказе в свое время большого шуму. Куда он девался — неизвестно, но чеченцы рассказывали, что Чернов приказал зарыть его живого в могилу за одну попытку сказать в мечети возмутительную речь. Магома Турлов был знаменит укрывательством и покровительством всякому хищничеству, но слухи и говор, вызванные расправой с ним Чернова, выставляли его, разумеется, невиннейшей жертвой и мучеником. Слухи эти держались так долго и упорно, что даже дошли до императора Николая, вызвав переписку, весьма неприятную для Ермолова.

С другой стороны, Чернов, со своей точки зрения, отлично понимал, за кого первого нужно было браться, чтобы ослабить неудобное единодушие чеченцев, и его неумолимому преследованию подвергалось все, что имело в народе какой-нибудь вес и значение. От его проницательности не укрывались даже старые грешки, всеми давно забытые, и он выводил их на чистую воду, если только они касались лица влиятельного или сильного. Замечательно особенно одно из таких дел, в котором Чернов обрисовывается всей своеобразной своей фигурой.

На правом берегу Терека, как раз напротив Щедринской станицы, стоял мирный аул Брагуны, управляемый в то время князем Адиль-Гиреем. Основанный здесь лет триста тому назад крымскими выходцами, аул этот получил свое название от имени своего первого князя. Адиль-Гирей, наследовавший власть от своего отца, убитого в 1809 году, сохранял все признаки наружной покорности русским властям, но участие его в некоторых набегах на линию и грабежах, вообще сношения с немирными единоверцами и темное прошлое не скрылись от зоркого глаза пристава. Между тем князь пользовался большим влиянием и уважением в народе. Этих обстоятельств было достаточно Чернову, чтобы попытаться раскопать всю подноготную Адиль-Гирея и погубить его. И старания его увенчались успехом.

Нужно сказать, что задолго перед тем, именно: летом 1809 года, когда еще был жив старый владелец аула Брагунов, майор Каучук Тайманов, два его сына — средний, Минбулат, и младший, Адиль-Гирей, согласились между собою убить отца и старшего брата, Ислама, чтобы скорее овладеть наследством. Минбулат, находившийся в то время в бегах в засунженских аулах, подговорил на убийство шесть чеченцев и восемнадцатого июля 1809 года в темную дождливую ночь подъехал с ними к сакле отца. Адиль-гирей давно уже поджидал их у калитки. Оставив чеченцев на улице, он отправился в комнату старшего брата и под каким-то предлогом вызвал его на улицу. Ислам, ничего не подозревавший, вышел. Но едва он наклонился, чтобы пройти в калитку, как удар шашки по голове положил его на месте. Оттащив труп в сторону, Адиль-Гирей отправился к отцу. “К Исламу,— сказал он ему, — приехали какие-то чеченцы, они толкуют с ним на улице и прислали меня сказать, чтобы ты вышел — дело очень нужное”. Старик отправился и, подобно старшему сыну, был поражен кинжалом в роковой калитке. На утро огласилась смерть владельца; Минбулат тотчас вернулся домой и вместе с Адиль-Гиреем вступил в управление аулом.

Командовавший тогда линией генерал Булгаков приказал произвести о смерти майора Тайманова строжайшее следствие, и подозрение прямо пало на сыновей покойного. Следствие обнаружило, что и прежде, за год перед тем, уже было с их стороны покушение на жизнь отца. В самой деревне дело доходило тогда до ружейной перестрелки, и один узден был убит Адиль-Гиреем. И Адиль-Гирей, и Минбулат были арестованы, судимы — и прощены только благодаря просьбам старого Тайманова. Несмотря на то, Булгаков писал главнокомандующему, что полагал бы и теперь оставить дело без последствия, так как в Брагунах все спокойно, а вмешательство во внутреннюю жизнь аула может только вызвать неудовольствие населения. Генерал Тормасов согласился с этим мнением, и дело, казавшееся даже самим чеченцам ужасным и диким, было замято.

Но преступления на этом не кончились. Не прошло и года, как Минбулат был найден задушенным в своей постели, и молва прямо называла убийцей Адиль-Гирея, который ночью один входил в комнату брата. Но так или иначе, Адиль-Гирей, и на этот раз избежав наказания, остался с тех пор единовластным правителем Брагунов и скоро приобрел на народ большое влияние. Эту-то старую историю и поднял Чернов во имя правосудия.

Ермолов, получив донесение об этих происшествиях, долго не хотел поверить в возможность такого зверского отцеубийства и братоубийства, почитая все простыми сплетнями, вызванными враждой или мщением, столь обыкновенными среди азиатов. Чернов нашел необходимые улики, и Адиль-Гирей, преданный суду, был сослан в Сибирь.

Этот случай приобрел Чернову больше влияния над умами чеченцев, но в то же время и усилил их ненависть. Страх перед ним был так велик, что он свободно разъезжал по Чечне в сопровождении только одного, такого же отпетого, как сам, казака-вестового. Чеченцы, видевшие в нем что-то сверхъестественное, считали его ведуном, знавшимся с нечистой силой, и не только боялись его тронуть, но даже избегали с ним встречи.

До какой степени была сильна, однако, их ненависть — свидетельствует месть, обошедшая его самого, но обрушившаяся, после его смерти, на брата его, казака Тихона. Чеченцы подстерегали этого последнего целых семнадцать лет и уже в 1842 году убили старика на работе, в садах Калиновской станицы, а сына его, внука Чернова, взяли в плен и подвергли жестоким истязаниям, объясняя ему, что мстят за деда, бывшего у них когда-то приставом.

Заболел и умер Чернов внезапно, в самом начале 1825 года. Богатыря, скованного как бы из железа, сломила скоротечная простудная чахотка, полученная им, вероятно, во время одной из отважных поездок по Чечне. Смерть его была большой потерей для русских. Наступали тогда смутные времена, в которых могли бы сослужить добрую службу его опытность и короткое знание чеченцев. При всем раздражении, которое поселяли среди необузданных азиатов строгие и, быть может, не всегда справедливые действия людей, подобных Чернову, они, эти люди, при существовавшей тогда русской системе — с одной стороны, и при постоянном лукавом вероломстве чеченцев — с другой, были необходимы. Они составляли прямой противовес таким же беззаветно отважным, энергичным людям, как они сами, существовавшим и во вражеской земле, типичным представителем которых был Бей-Булат. Умирая, Чернов, недаром бывший правой рукой Грекова, в своем лице лишал русских столь необходимого на время поднимавшего голову мятежа грозного противника хищному чеченскому наезднику, которому с тем вместе открывалась возможность большей свободы действий.

Бей-Булат представлял собою тип, отличительные черты которого имели много общего с Черновым; только среда, воспитавшая его, была другая. Это был один из искуснейших и храбрейших предводителей чеченских шаек.

Так как у чеченцев нет высших сословий, как у кумыков или кабардинцев, и все они равны между собою, то правом всеобщего уважения пользуются у них только отличнейшие разбойники и воры. Эти люди приобретают скоро народное доверие и, подобно князьям в Кабарде, всегда могут собирать под свое предводительство значительные партии хищников. Таков именно был Бей-Булат, уже самой природой отличенный от других,— среднего роста, плотный, широкоплечий, с резкими, энергичными движениями и с хитрыми, налитыми кровью глазами, которые прятались под тучей густых нависших черных бровей. Родина его была Гельдиген, и там он имел свои хутора, нажитые долговременным разбойным промыслом около русских дорог и станиц. Этот человек постоянно был главной пружиной всех возмущений и убийств в Чечне.

Прежние главнокомандующие обходились с Бей-Булатом почтительно; они дарили его пешкешами и ласкали, удерживая тем от открытых разбоев. Хотя Ермолов и был полным противником системы подарков, имевших вид некоторой дани, вносимой за временное

спокойствие, однако же и он не мог не видеть в Бей-Булате, по его значению среди чеченцев, такую силу, с которой надо было считаться. Он объявил желание видеть у себя знаменитого разбойника—и они свиделись. Обласканный и одаренный Бей-Булат дал слово прекратить разбои, был зачислен в русскую службу поручиком и получил позволение спокойно жить у себя на родине.

Со времени возведения Грозной Бей-Булат исчез из сферы наблюдения русских властей. Говорили, что он в числе недовольных укрылся в горы; известно было также, что он принялся опять за свое любимое ремесло и разбойничал по Моздокской дороге. Напрасно Ермолов настойчиво требовал головы изменника, напрасно Греков употреблял все меры выманить его из берлоги, подсылал к нему наемных убийц, пускал в ход яд, порох — Бей-Булат, как хитрый зверь, был всегда настороже.

Однажды Греков подговорил двух чеченцев отправиться в горы и обещал большую плату тому, кто привезет к нему голову Бей-Булата. В случае неудачи убийцы должны были бросить через трубу в его саклю мешок с порохом и взорвать ее вместе с ним и его семьей. И вот раз, в темный вечер, кто-то тихонько постучался в саклю Бей-Булата. Бей-Булат отозвался. "Выйди,— сказал ему незнакомый голос,— мы из Гельдигена, пришли сообщить тебе важную новость". Но Бей-Булат был слишком опытный разбойник, чтобы поддаться на такую нехитрую уловку. Он подошел к двери и старался сквозь, маленькую щель рассмотреть лица пришедших, но те были закутаны башлыками. На дворе было темно и поздно; в соседних саклях кое-где еще мелькали огоньки, но на улице не видно было ни души. Бей-Булат тихо отошел от двери и выслал своего племянника. Чеченцы между тем притаились за дверьми, и едва юноша переступил за порог, как, принятый в темноте за Бей-Булата, был поражен двумя кинжалами. На крик его из сакли, как бешеный выскочил сам Бей-Булат, ударом шашки положил одного чеченца на месте, а другой был схвачен сбежавшимся народом и на допросе, под мучительной пыткой сознался, что подослан Грековым. Его посадили в яму, обрекши на голодную смерть. Чтобы спасти себе жизнь, несчастный, томимый голодом, вынужден был наконец дать клятву отправиться в Грозную и убить самого ненавистного Грекова. В залог же, что клятва будет исполнена, он вызвал сына и оставил его аманатом. Отпуская чеченца, Бей-Булат сказал ему: "Жизнь твоего сына теперь в моих руках; помни, ты можешь выкупить ее только головою Грекова, но если это не удастся, привези мне в такой-то срок триста рублей серебряными монетами, иначе твой сын умрет".

Назначая последнее условие, Бей-Булат отлично знал, что его пленник беден и не в состоянии добыть такой крупной для него суммы. Но на этот раз он ошибся. Чеченец отправился прямо к Грекову. Когда его впустили в комнату, он объявил генералу, что с ними случилось несчастье: товарищ его убит, а сам он был схвачен Бей-Булатом и должен был взамен себя оставить сына, за которого требуют выкуп в триста рублей серебром. Греков окинул его проницательным взглядом. "Я вижу по твоим глазам,— сказал он ему,— что ты не все говоришь: тебе велено убить меня". Чеченец изменился в лице и, упав на колени, признался, что за жизнь своего сына он обещал Бей-Булату или выкуп, или голову Грекова. Греков дал ему триста рублей, и чеченец, выкупив сына, остался навсегда верным слугой генерала.

Случай этот, однако же, убедил Бей-Булата в необходимости искать хотя бы наружного примирения с русскими. Он понимал, что Греков не оставит его в покое и рано или поздно доберется по его головы, что наемных убийц в Чечне разыскать было не трудно, но не все же убийцы будут так неловки, как первые. Под этим впечатлением он обратился с письмом к одному из кумыкских князей, Мусе Хасаеву, с которым когда-то водил хлеб-соль и ходил в наезды, прося его быть посредником между ним и Грековым. Муса

посоветовал ему отправиться прямо к Ермолову, бывшему тогда в Дагестане. Бей-Булат поехал. Его смирение и раскаяние казались на этот раз так искренни, что обманули даже проницательность самого Ермолова. Если бы он мог предвидеть кровавые события 1825 года, то конечно приказал бы повесить Бей-Булата на первом попавшемся дереве! Но Бей-Булат явился к нему с пальмовой ветвью мира и с заманчивым предложением употребить свое влияние, чтобы подчинить русской власти все непокоренное чеченское население. Ермолов объявил ему забвение всех старых счетов и, отправляя его в Грозную, просил Грекова обходиться с ним ласково.

Этого только и добивался Бей-Булат. В Грозной он уже повысил тон и заговорил с Грековым об условиях, на которых желает покориться. Греков знал Бей-Булата лучше, нежели Ермолов, видел в нем непримиримого и опасного врага и потому принял его очень холодно. Тем не менее, исполняя волю главнокомандующего, он выразил готовность выслушать его условия. Бей-Булат потребовал подчинения ему всех вообще чеченцев, с правом налагать на каждого из них денежные штрафы, говоря, что только в таком случае он отвечает за спокойствие Чечни и не позволит ни одному чеченцу разбойничать в русских пределах. Кроме того, он требовал жалованья за все прошедшее время, когда он скрывался. Греков ответил, что надо сперва заслужить, а потом требовать или ожидать награды; что, впрочем, жалованье ему будет выдано, не прежде, однако же, как он доставит аманатов от покорившихся чеченцев. Они расстались врагами. Но Бей-Булат достиг главного — личной своей безопасности. Он удалился в горы и, уже не помышляя более о жалованье, принялся под рукою возмущать чеченцев. Греков донес об этом Ермолову. Ермолов опять предписал захватить изменника, но было уже поздно. Бей-Булат, со своей стороны, не дремал, и русским предстояло выпить до дна горькую чашу борьбы с возмущением всей Чечни от гор Дагестана до пределов Военно-Грузинской дороги.

IX. ЧЕЧЕНСКИЙ МЯТЕЖ

Был сентябрь 1824 года. По всей Чечне, за Тереком и Сунжой рыскали всадники, распространявшие в народе слух, что появился Имам, который избавит его от власти неверных. Существуют данные предполагать, что то были приверженцы знаменитого народного чеченского героя Бей-Булата.

Нужно сказать, что незадолго перед тем возникло и стало было распространяться в горах Дагестана новое религиозное учение, впоследствии известное под именем мюридизма, возводившего священную войну против неверных, газават, в один из важнейших догматов мусульманской религии. Сильной рукой Ермолова ученье это было задавлено в Дагестане почти в колыбели, но тем свободнее отголоски его могли проникнуть в Чечню, где на него почти не обращали внимания, между тем как оно смутно волновало массы и делало их восприимчивыми ко всякой мятежной пропаганде.

Такое настроение Чечни грозило опасностями. В продолжение всего восьмидесятилетнего владычества нашего на Кавказе все сколько-нибудь значительные перевороты в жизни горских племен постоянно были вызываемы именно религиозным фанатизмом. Под влиянием его изменялись не только добрые отношения их к русским и вновь исчезали все хорошие начала, которые с большими усилиями вводились в их быт, но и самый характер жителей, стирались вековые обычаи и сгибался тот дух вольности и необузданной свободы, который был всегда присущ горцу, Нужно было явиться только смелому проповеднику, нужно было, чтобы только один обнажил шашку — и тогда тысячи шашек обнажались вслед за нею, и тысячи людей шли на смерть, думая, что они умирают за свою веру. В то время все, кому не нравился существующий порядок вещей, все, жалевшие о

добрых старых временах широкого, безграничного разгула наезднической жизни, охотно становились поборниками нового учения, не имея ни малейшего понятия и нисколько не заботясь ни о каких догматах мусульманской религии, и переводили это новое учение из области туманного мистицизма на простую и реальную почву воинственных предприятий.

Чтобы достигнуть своих целей и возмутить Чечню, Бей-Булат и направил все свои силы на возбуждение именно этой стороны народного духа и характера. Ему удалось раздуть фанатизм в народной массе до такой силы, так хорошо воспользоваться принципом нетерпимости, проповедуемой Кораном, что было время, когда самая русская власть в Чечне колебалась и готова была, казалось, рушиться. К счастью, в Ермолове и его системе чеченцы встретили такие преграды, которых они преодолеть не могли.

Слухи о появлении имама, о разных чудесах и небесных знамениях принимались суеверной Чечней за непреложные истины. Греков видел, что все они клонятся исключительно к тому, чтобы возмутить народ, и поспешил принять свои меры. Узнав, что наибольшее участие в проповедях к народу принимают вышедший из гор маюртупский мулла Махома и мичиковский чеченец Явка, он решился захватить их в свои руки. Явка действительно был схвачен, отправлен в Тифлис и в пути умер, как полагают, отравленный ядом. Но Махома успел избежать опасности, и скоро действия его приняли весьма серьезный характер. Однажды, войдя в мечеть, он громогласно заявил народу, что в ночь его посетило необычайное видение: явился муж в светлых одеждах и сказал ему: “Собери сорок пять правоверных в лесу, близ Маюртупа, и пусть они приведут с собою взятого у мусульманина красного быка, а у другого мусульманина — двух черных баранов. Я явлюсь сам, и от меня узнают, что нужно делать”.

Все было в точности исполнено. Народ собрался — и вот у дерева явился имам; он благословил правоверных — и стал невидим. Что такое тут произошло — объяснить мудрено, но народ был убежден, что видел страшное чудо собственными глазами. Два дня чеченцы не выходили из леса, пока не съели быка и двух баранов, а потом, разойдясь по домам, рассказывали всем, что видели пророка и удостоились вкусить от яств, благословленных его рукою.

Роль пророка сыграл, как оказалось впоследствии, герменчугский чеченец Яух, или Гаука, юродивый, которого одни считали сумасшедшим, а другие — вдохновенным благодатью Аллаха. О воле Аллаха на этот раз не было сказано им ни слова, тем не менее кто-то распустил слух, что имам явится, лишь только лес оденется свежей листвой. Греков, извещенный обо всем немедленно, не придал никакого значения этой, как он думал, комедии, слишком глупой, чтобы можно было ожидать от нее каких-либо серьезных последствий.

Зима между тем прошла во всеобщей молве между чеченцами о появлении имама. Наступила весна 1825 года; приблизился, наконец, и последний срок, в который обещанный народу пророк должен был явиться. К этому времени сам Бей-Булат и Махома, сделав три знамени, вышли из Маюртупа и расположились в лесу, на поляне. Сюда собралось к ним множество народа. Все с напряженным нетерпением ожидали какого-то чуда, но чудо не являлось; не было и имама. Яух, назначенный для этой роли, куда-то пропал, и его не могли нигде разыскать, а чеченцы между тем требовали и чуда, и имама. В толпе начинался ропот, медлить больше было невозможно. Тогда мулла Махома с редкой находчивостью решился выкинуть отчаянную штуку. Как бы одержимый религиозным экстазом, он долго катался по земле и вдруг заревел необыкновенным голосом: “Правоверные, знайте: имам — это я! Я видел пророка, я слышал голос Аллаха, я послан избавить вас от неверных!”..

Как ни были легковерны чеченцы, но неожиданный пассаж этот привел всех в недоумение. Найдись веселый человек, и, очень может быть, толпа, разразившись смехом, разошлась бы по домам. Но Бей-Булат не дал установиться неблагоприятному впечатлению. Понимая, что наступила решительная минута, он схватил Коран и, бросившись к ногам Махомы, воскликнул громовым голосом: “Народ! Я, Бей-Булат, свидетельствую Богом живым, что видел собственными глазами ангела, сходящего с неба в огненном образе, когда святой муж молился в мечети! “Приверженцы Бей-Булата поддержали его громкими криками. Народ, сбитый с толку, быстро перешел к вере в новоявленного имама и требовал чуда.

Но Махома спокойно сказал им: “За ваши грехи время чудес еще не пришло. Вы увидите много чудес, но не всем из вас будет дано понять, что это чудеса, явленные небом”. Народ остался доволен и таким объяснением. Очевидно, струны были туго натянуты, и удары умелой рукой могли уже вызвать какие угодно звуки.

И вот по всем аулам Чечни пронеслась молва, что имам уже явился, что он летает на бурке, совещается с пророком и творит чудеса. Никто, однако, не мог в ту пору сказать, кто именно этот имам, творящий чудеса и поселявший в народе такие надежды на помощь свыше; даже и теперь чеченцы не знают хорошенько, кто из двух — Махома или Яук — был настоящим пророком.

Так или иначе, а пророк был найден. На минарете маюртупской мечети развевались знамена, что ясно свидетельствовало о присутствии здесь имама; по всей Чечне скакали гонцы, кричавшие: “Идите, правоверные, поклонитесь святому пророку!”

Религиозный фанатизм был возбужден; народ волновался и со всех сторон валил к Маюртупу. Здесь, после молитвы, отважный Бей-Булат объявил о скором прибытии к ним на помощь из Аварии славного Амалат-Бека. Народ верил и этому. В самом Аксае, у кумыков, явились также фанатики, усердно желавшие, чтобы маюртупский пророк избавил и их от власти русских,— и давние связи аксаевцев с качкалыковскими чеченцами возобновились. Греков внимательно следил за поведением молодых аксаевских князей, кадия и всего духовенства.

Двадцать второго июня в Ичкерию действительно пришли двести конных и сто пеших дагестанцев, под начальством гумбетовского кадия, но Амалат-бека с ними не было. Как только они явились, Бей-Булат послал гонцов к мичиковцам созывать с каждого двора по одному человеку для великого общего дела; мичиковцы собрались и пошли к Маюртупу. К ним пристала часть ичкеринцев, ауховцы, качкалыковцы и жители Большой Чечни. Так совершилось первое чудо имама — сбор весьма значительного войска, что сделать было не совсем легко под зорким глазом недремлющего Грекова.

Вооруженное скопище двинулось через Шалинскую поляну и заняло аул Атаги, расположенный против Грозной за Ханкальским ушельем. Чеченцы ликовали, потому что нигде не видели русского войска. Мало-помалу они уверовали даже в истину слов проповедника, что имам Махома вовсе и не будет драться с русскими, а только скажет слово — и они убегут за Терек.

Греков понял, что дела начинают принимать нешуточный оборот; тогда он уведомил чеченцев, что через три дня сам придет к ним за Хан-Кале, приказав объявить об этом по всем аулам, чтобы никто не смел впоследствии сказать, что о движении его не было известно. Он писал при этом, что если тридцатого июля вся их сволочь удержит его в Хан-Кале, он позволит всякому верить в святость имама и поклоняться ему.

Наступило тридцатое число. Ночью Греков стянул свою конницу к Грозной, усилив ее двумя слабыми егерскими ротами. И чуть забрезжил свет, он, верный своему слову, уже вел отряд к Ханкальскому ущелью. День выдался весьма ненастный: черные тучи висели над землей, шел дождь, гремела гроза, со свистом и воем налетали порывы ветра. Орудия и пехота вязли в грязи, замедляя движение всего отряда. Но Греков не думал оставить предприятия и, молча, завернувшись в бурку, ехал впереди. Ханкальское ущелье отряд прошел без выстрела. Приблизились к Атаги — и увидели толпы мятежников, в страшном беспорядке бегущие за Гойту. Дело в том, что как только всадник прискакал с известием, что Греков идет, Махом, по совету Бей-Булата, вышел к волновавшемуся народу и сказал: "Теперь начинать бой не время! Укройтесь за Гойту, в леса, и ожидайте совершения чуда!" Послушные слову имама, толпы не заставили дважды повторять приказания и пустились бежать с такой поспешностью, что менее нежели в полчаса атагинские поля опустели. Только растерянная провизия, папахи и даже бурки свидетельствовали, что еще недавно здесь стояло значительное скопище. Предусмотрительность Бей-Булата была весьма благоразумна; он понимал, что если на этот раз толпы его будут разбиты Грековым, то все предприятие, устраиваемое с таким трудом, разрушится разом, и самая вера в святость имама исчезнет.

Заняв Атаги, Греков между тем остановился. И немедленно из всех деревень, лежавших вокруг атагинской долины, явились к нему депутаты с заявлением, что они — верные слуги русского правительства и никогда не пойдут за имамом. Нужно сказать, однако, что многие из депутатов только что от него возвратились. "Если хотите разрушить свое благосостояние, испытать нищету и разорение,— сказал им Греков,— то соединяйтесь с мятежниками. Вам известно, что я всегда и везде бил чеченцев, надеюсь и теперь строго наказать вероломных". Страх близкой опасности несколько охладил многих приверженцев пророка. Качкалыковцы и ауховцы также прислали уверение в своей непоколебимой преданности. И хотя, конечно, это была только преданность на словах, однако все эти обстоятельства показывают, что угроза оружия еще могла разрушить очарование, каким старались ослепить народ Бей-Булат и его сообщники. К сожалению, Греков не имел достаточно сил, чтобы действовать с той быстротой и решимостью, какие требовались важностью минуты. Вся линия по Тереку и Сунже охранялась тогда лишь слабым сорок третьим егерским полком, разбросанным в нескольких укреплениях, а в самой Грозной между тем болезненность была так велика, что недоставало людей даже для караулов. Греков перед тем убедительно просил прислать к нему с минеральных вод хоть сорок человек при офицере; команда эта была к нему отправлена, а вместе с тем Грекову разрешено было остановить батальон сорок первого егерского полка, проходивший из Дагестана в Кабарду. Но затем больших подкреплений даже и ожидать было нельзя: одновременный бунт в Кабарде, происшествия на правом фланге и разгром русских селений между Кубанью и Тереком поглощали все русские силы. Кавказская линия вся переживала чрезвычайно трудное время.

Таким образом, достигнув Атаги и полагая, что одного смелого движения его через Ханкальское ущелье ввиду главного скопища мятежников достаточно, чтобы образумить чеченцев, Греков в тот же день возвратился в Грозную. Но обычная предусмотрительность на этот раз изменила ему. Бей-Булат именно и воспользовался его отступлением, разгласив, что русские, не сделав вреда ни одному чеченцу, бежали от одного взгляда святого имама. Это было второе чудо, совершенное последним перед целым народом.

После торжественных молитв, произнесенных имамом, благодарившим небо за дарованную ему победу, скопище покинуло Гойтинские леса и стало на Гехинской поляне, правее Грозной, в земле карабулаков, как в местности совершенно безопасной от

нападения русских. Только тогда понял Греков, насколько было бы лучше, если бы он, не вдаваясь в пустые переговоры, внезапно, ночью, как делывал прежде, напал на атагинское скопище и разбил бы его наголову. Но поправлять ошибки было уже поздно; весь левый фланг, от Аксая и Судака до Владикавказа, снова был в возмущении.

Кумыки, именно: аксаевцы, и качкалыковские чеченцы особенно озабочивали Грекова. Близость их к Дагестану, возможность получать оттуда помощь, наконец опасность, чтобы пламя восстания, перекинувшись через горы, не охватило бы собою и всего Дагестана, заставили Грекова начать усмирение с Кумыкской плоскости.

Седьмого июля три роты егерей с двумя орудиями и триста линейных казаков форсированным маршем подошли к Аксаю. Внезапное появление войск наружно усмирило волнение в городе. Греков собрал туда кумыкских старшин и долго уговаривал их не вдаваться в обман и сохранить свою вековую верность русскому государству. Кое-кто послушался. Но большинство в тот же день бежало в стан мятежников, расположившийся выше Аксая на полугорё, окруженной лесом. Говорят, что здесь находился сам Бей-Булат; другие, впрочем, утверждают, что скопищем начальствовали гумбетовский кадий и один из аварских старшин, Чанка-Андаль. Около полудня неприятель начал спускаться с гор и перестреливаться с жителями. Греков тотчас вышел с отрядом в долину, чтобы завязать бой. Но неприятель поспешно стал отходить к Качкалыковским горам. К сожалению, преследовать его утомленному форсированным маршем отряду было невозможно, и Греков на время должен был остановиться в Аксае. Мятежники между тем пошли на Амир-Аджи-Юрт, на Тереке, отстоявший от Аксая по прямому пути не более как верст на двадцать пять. Это было небольшое укрепленьице, состоявшее из плетневой ограды, окопанной рвом, через который можно было легко перепрыгнуть. Гарнизон его состоял из роты сорок третьего егерского полка, под командой капитана Осипова — человека храброго, но, к сожалению, как говорят предания, чересчур придерживавшегося чарочки, Греков, зная все это и оставаясь сам перед Аксаем для удержания в повиновении кумыков, немедленно послал ему приказание быть осторожным; в сумерках того же дня к Осипову опять прискакал один из аксаевских жителей с запиской, в которой Греков уже положительно извещал его, что сильные толпы чеченцев взяли направление к посту и, вероятно, ночью его атакуют. Но капитан, получивший в этот день орден св. Анны 3-ей степени с бантом, находился в таком расположении духа, что не боялся никаких чеченцев. Когда принесли ему последнюю записку от Грекова, он, лежа на постели, сунул ее под подушку и на вопрос фельдфебеля: “Какое будет приказание?” — велел сделать расчет на случай тревоги и распустить людей по казармам. Он даже не усилил обыкновенного ночного караула перед воротами. Трагична была развязка истории, завязанной этой беспечностью!

Была глухая, мрачная ночь. Ветер гудел по ущельям и под его шум чеченцы тихо и незаметно подошли к укреплению со стороны леса. Едва часовой, стоявший на валу, успел выстрелить, как был уже изрублен, а вслед за тем рухнул плетень, и чеченцы с гиком вскочили в укрепление. Только тогда на дежурном посту забили тревогу. Сонные солдаты поодиночке стали выскакивать из казармы и попадали прямо в руки чеченцев, успевших уже захватить часть ружей и осадить казармы. Караул из девяти человек, под командой унтер-офицера, занимавший пост у выходных ворот на противоположной стороне укрепления, стал в ружье. К нему прибежал капитан Осипов с несколькими солдатами. Отсюда открыли по чеченцам ружейный огонь и успели повернуть против них десятифунтовый единорог. Грянул картечный выстрел, чеченцы смешались. Но уже некому было воспользоваться этим благоприятным моментом; разрозненный гарнизон потерял единодушие, и поздняя храбрость осталась бесполезной. Чеченцы заняли казармы, офицерские квартиры и прочие строения. Скоро загорелся какой-то сарай; пожар

быстро распространился на дощатый навес с камышовой крышей, под которым хранились чугунные пушки, свезенные сюда из уничтоженного укрепления Неотступный Стан. Там же стояло несколько бочонков с порохом; последовал взрыв — и все окрестные здания, патронные ящики, лафеты, пушки и толпившиеся здесь чеченцы и солдаты разлетелись на огромном расстоянии по окрестностям. Взрыв был так силен, что несколько изуродованных трупов перекинуло через Терек. Тогда капитан Осипов, в отчаянии и уже раненный ружейной пулей, бросился в реку. Два офицера и уцелевшие солдаты последовали за ним. Некоторым удалось переплыть на русскую сторону; другие, и в числе их сам Осипов, погибли в волнах. Впоследствии, при разборке обрушившихся стен, в укреплении найдено было под мусором двадцать пять тел, но все они были так изуродованы, что нельзя даже было различить: чеченцы ли то, или русские.

Разгромив укрепление, чеченцы вывезли из него одну уцелевшую пушку и взяли в плен гарнизонной артиллерии подпоручика Димитриева и тринадцать солдат. Из гарнизона спаслось, по официальным данным, семь унтер-офицеров и семьдесят рядовых, в том числе четырнадцать раненых; следовательно, большая половина гарнизона погибла. Чеченцы при взрыве понесли также значительные потери, но это утешение было слишком слабым вознаграждением за потерю укрепления и семидесяти солдат. “Взбешен я был,— говорит Ермолов в своих записках,— происшествием сим, единственно от оплошности нашей случившимся. Еще досаднее мне было, что успех сей мог усилить партию мятежников, умножив верующих в лжепророка”.

Ермолов не обманулся: мятежники торжествовали. Упоенные успехом, они двинулись по Сунже, атаковали в десяти верстах от Грозной укрепление Злобный Окоп, заставили гарнизон его отступить на Терек и, перейдя к Преградному Стану, выжгли в нем несколько строений, забрали пленных и увезли два единорога. Мятежники уже мечтали добраться до Грозной, но их удержала молва о приближении Грекова.

Получив в Аксае известие о падении Амир-Аджи-Юрта, Греков поспешно притянул к себе батальон сорок первого егерского полка и, оставив две роты для усиления гарнизонов в Герзель-Ауле и Внезапной, которым угрожала явная опасность, поспешно возвратился в Грозную, где присутствие его казалось необходимым.

Но едва он появился на линии, как Бей-Булат с мятежниками быстро перенесся опять на Кумыкскую плоскость и стал на правом берегу Гудермеса, близ нынешнего Умахан-Юртовского укрепления. Ему удалось отсюда опять возмутить аксаевцев и аул Брагуны, стоявший над Тереком; он угрожал даже овладеть Старым Юртом и окончательно прервать сообщения Терека с Грозной.

Положение дел становилось все серьезнее и серьезнее; Греков просил подкреплений. Из Кабарды немедленно отправили к нему на помощь Ширванский пехотный полк: первый батальон — в Грозную, второй — на Терек, и оба на подводах. Сам областной начальник генерал-лейтенант Лисаневич прискакал в Наур и вызвал Грекова к себе на совещание.

А между тем мятежники устремили все свои силы на то, чтобы завладеть Герзель-аулом, как укреплением, прикрывавшим путь от Внезапной к Грозной и составлявшим постоянную угрозу аксаевцам. Неприятель попытался сначала взять его хитростью. Так, Герзель-аульский комендант доносил Грекову, что девятого июля неприятель устроил ему “сюрприз”. К укреплению подъехал офицер, в эполетах, с большой свитой, и требовал, чтобы отворили ворота, уверяя, что он прислан на помощь; непрошеного гостя, однако, попросили убираться подобру-поздорову, пригрозив, что будут стрелять, а двенадцатого июля огромное скопище уже обложило укрепление. Гарнизон геройски оборонялся пять

дней, пока на помощь к нему не пришли генералы Греков и Лисаневич. Мятежники, пораженные неудачей и гонимые страхом встречи со сравнительно большими силами русских, отступили. Несчастная случайность испортила все дело: Греков и Лисаневич пали от руки фанатика. Снова загорелся мятеж с удвоенной силой.

Тогда на линии появился Ермолов.

X. ГЕРЗЕЛЬ-АУЛ (Гибель Грекова и Лисаневича)

В кровавой борьбе, вызванной чеченским мятежом 1825 года, геройская защита Герзель-аула, небольшого укрепления в кумыкских землях, представляет собою самый светлый, блестящий эпизод.

Тогда наступил самый критический момент борьбы. Греков, отвлеченный из Аксая движением мятежников к Грозной, был на линии, собирая возможную помощь, а кумыкские земли, оберегаемые лишь небольшими гарнизонами в укреплениях, волновались и тянули в сторону восстания. В Костеке и Эндери кумыки еще оставались спокойными, но в Аксае жители вышли из всякого повиновения своему старшине Мусе Хасаеву и сговаривались не только не драться с Бей-Булатом, но и не давать никакой помощи русским в укреплении. Напрасно Муса Хасаев уговаривал их опомниться и не навлекать на себя мщения Ермолова — его никто не слушал, и, напротив, ему самому становилось небезопасно оставаться в ауле. Он уже подумывал бежать в Герзель-Аул, как вдруг узнал, что все выходы из города заперты, и его не выпустят. Тогда с горстью своих сторонников он заперся в башне, предоставив жителям поступать, как знают. Большая часть из них тотчас же и перешла к Бей-Булату.

Измена аксаевцев поставила Герзель-аул в весьма опасное положение — он очутился в самом центре восстания. Укрепление было, правда, вооружено весьма хорошо и могло с успехом держаться против мятежников, но ему угрожал недостаток воды, и если бы река Аксай была отведена в старое высохшее русло, которое жители легко могли обстреливать из своего аула, то добывание воды для гарнизона каждый раз стоило бы доброй вылазки.

Ночью одиннадцатого июля имам благословил нападение. Распущен был слух, что русские пули и ядра не будут вредить чеченцам, и — чеченцы ринулись потоком. В крепости их ждали; с валов ее грянул пушечный залп, и пророчество имама едва не сбылось с буквальной точностью, потому что рассохшиеся от сильной жары лафеты гарнизонных пушек не выдержали залпа и разлетелись — пушки попадали на землю. Гарнизон, состоявший всего из четырехсот егерей, под командой храброго майора Пантелеева, не потерял, однако, присутствие духа, и первое бешеное нападение чеченцев было отражено штыками. Наступивший пень открыл гарнизону, что число осаждавших простиралось за шесть тысяч и что к ним пристали аксаевцы и большая часть жителей Андреевского аула. Мятеж угрожал разлиться даже и на Дагестан. Неприятель между тем, отрезав гарнизон от воды, прикрылся окопами, в виде траншей, и повел осаду.

Наделав огромных тур-мантелетов, чеченцы подкатывали их на колесах туземных арб под самую крепость и, укрываясь за ними, день и ночь вели перестрелку. Одни толпы чеченцев, уходя на отдых, сменялись другими, а гарнизон все время оставался без смены и без отдыха. Люди не только не имели времени заснуть, но даже сварить себе пищу, и изнемогали. Ко всему этому чеченцы зажгли сухой терновник, которым был обложен эскарп укрепления, и засели во рву; солдаты с тех пор уже не смели отходить от вала, ежеминутно ожидая приступа. Действительно, каждый раз после вечернего и утреннего намаза чеченцы бешено бросались изо рва на вал, но, к счастью, постоянно были

сбиваемы штыками; пули крестили укрепление по всем направлениям; показаться на площади значило почти наверное быть раненым или убитым. Иногда офицеры нарочно выставляли на палках свои шапки в виде приманки, и пули тотчас их сбрасывали. Пробовали было выбить чеченцев изо рва ручными гранатами, но гранаты были так плохи, что одна из них разорвавшись в руках унтер-офицера, положила на месте его самого.

— Прощайте, братцы,— сказал он людям, бросившимся его поднимать,— я умираю спокойно, зная, что вы будете спасены.

Надежды на спасение, однако, было не много. Уже пятые сутки продолжалась осада. В первые три дня силы людей поддерживались еще запасом льда, сохранившегося в ледниках, но запас его скоро истощился, и воды не стало. Четвертый день продержались кое-как, но на пятый все страшно мучились жаждой и ослабели до такой степени, что многие падали, моментально засыпая глубоким сном, из которого вывести их было почти невозможно. Напрасно, однако же, чеченцы, думая поколебать стойкость гарнизона напоминанием о гибели их товарищей, как бы в насмешку выходили в мундирах и портупеях через плечо, захваченных в Амир-Аджи-Юрте,— раздраженные солдаты только осыпали их ругательствами. Напрасно чеченцы требовали сдачи, обещая гарнизону пощаду, хлеб и даже деньги; в ответ на это солдаты кричали из крепости, что у них вдоволь всего, и в доказательство бросали им последние остатки черствых сухарей и куски драгоценного льда. Храбрый Пантелеев и офицеры, переносившие все лишения наравне с солдатами, не допускали мысли о сдаче и своим примером поддерживали мужество нижних чинов. Истощая всю силу солдатского красноречия, Пантелеев уговаривал своих егерей держаться до последней капли крови. Ежеминутно ждали помощи, обращая взоры к Тереку, но там пока все было пусто и безмолвно. Пронесется ли по степи сорвавшийся, Бог весть откуда, вихрь — и всем представляется, что скачет на выручку конница; зачернеет стадо — и разгоряченное воображение рисует уже колонны идущей пехоты. Но есть предел и силе человеческого духа. Может быть, сохраняя честь русского оружия, солдаты не сдались бы живыми, но еще день — и все они, без всякого сомнения, были бы перерезаны чеченцами.

Но вот наступил темный вечер пятого дня, и осажденные увидели на горизонте яркое зарево костров; то был верный знак, что к ним идут подкрепления.

Получив известие о тяжком положении Герзель-аульского гарнизона, генералы Лисаневич и Греков решились не ждать ширванцев, а воспользоваться всем тем, что только можно было собрать на линии. Это все состояло из трех рот пехоты, шести орудий и четырехсот линейных казаков. Отряд, ничтожный по силам, но имевший во главе двух генералов, не признававших никаких опасностей, бодро и весело двинулся на шеститысячное скопище, рассчитывая впереди на неминуемые кровавые битвы.

Но успех обошелся гораздо дешевле, чем можно было предполагать. Внезапное появление отряда совершенно смутило чеченцев, и конница их, увидев линию бивуачных огней, первая обратилась в бегство. Это обстоятельство произвело невообразимую путаницу в пешем стане мятежников. Греков, воспользовавшись минутным смятением, без выстрела проскакал с казаками мимо врагов и в нетерпении, не дождавшись, пока перед ним откроют ворота, перескочил в укрепление через вал. Громкое “ура!” приветствовало храброго генерала. Поздравив егерей с лихой обороной, он тотчас же приказал Пантелееву сделать сильную вылазку. Солдаты построились. В эту минуту подскакал Лисаневич с пикой в руке. “Ребята,— крикнул он,— дружно помогать друг другу! “Ура! В штыки!” Солдаты бросились вперед. Храбрейшие из чеченцев встретили вылазку залпом и

бросились было на нее с кинжалами и шашками, но горсть их не могла оказать долгого и решительного сопротивления. Имам и сам Бей-Булат бежали одними из первых, в сопровождении небольшого числа сообщников, прочие рассеялись по домам и ожидали теперь жестокого наказания [Чеченское скопище бежало, оставив на месте двести тел. С нашей стороны потеря на вылазке была небольшая, но пятидневная осада стоила ста пятидесяти человек, то есть целой трети гарнизона.].

Обстоятельства сложились, таким образом, необыкновенно благоприятно, и мятеж, волновавший так долго Чечню, готов был потухнуть. Но один неосторожный шаг испортил все. Шаг этот был сделан Лисаневичем.

Рассеяв чеченцев, вновь прибывшие роты расположились вокруг укрепления бивуаком, а оба генерала, в сопровождении всех офицеров, отправились внутрь укрепления приветствовать храбрый гарнизон. Там их встретили кумыкский пристав Филатов и аксаевский старшина Муса Хасаев, все время осады просидевший в башне. Они заявили, что жители Аксая просят пощады, но Лисаневич, желая устрашить мятежников примером строгости, потребовал выдачи виновных. На следующий день, восемнадцатого июля, в Герзель-ауле собрано было триста восемнадцать кумыков. Тут были и наиболее замеченные в сношениях с мятежниками, и старшины, и наконец люди, сохранявшие все время безусловную преданность России. При этом не было принято никаких предосторожностей, аксаевцы не обезоружены. С утра были разосланы обычные команды за фуражом, за дровами и по другим хозяйственным надобностям, так что солдат в укреплении оставалось меньше, чем кумыков. Говорят, что Греков намерен был обезоружить последних и приказал нарядить двадцать солдат, но нетерпеливый Лисаневич вышел из занимаемого им домика, не дождавшись исполнения этого приказания. Его сопровождали генерал-майор Греков, Муса Хасаев, пристав Филатов, переводчик Соколов и адъютант поручик Трони. Надо заметить, что Лисаневич, проведший большую часть своей жизни на Кавказе, в фаталистической самоуверенности и прежде никогда не обезоруживал перед собою азиатов, чтобы не дать им повода думать, что их опасаются. Подойдя теперь к кумыкам, он в сильных выражениях стал упрекать их в гнусной измене и вероломстве. Зная отлично татарский язык, он объяснялся свободно, без переводчика, и не щадил угроз. Затем он вынул список и стал вызывать виновных. Первые двое вышли без сопротивления, но третий, мулла Учар-Хаджи, в зеленом бешмете и белой чалме, с голыми до колен ногами и с большим кинжалом на поясе, стоял в толпе с диким, блуждающим взором и не хотел выходить. Лисаневич повторил вызов. Но едва переводчик подошел к Учару и взял его за руку, как тот одним прыжком очутился возле Лисаневича и, прежде чем генерал успел уклониться, нанес ему кинжалом смертельную рану в грудь. Лисаневич упал на руки своего адъютанта. Пораженний, Греков бросился к нему на помощь, но в то же мгновение пал от руки Учара, получив две раны, из которых последняя, в грудь, была безусловно смертельна. Опьяненный кровью, убийца бросился на Мусу Хасаева, который спасся, успев присесть. Учар споткнулся об него, и кумыкский пристав Филатов, человек уже не молодой, воспользовавшись этим моментом, схватил его за руки. Между ними завязалась борьба грудь на грудь, но злодей был сильнее и уже одолевал Филатова, когда подскочивший Муса Хасаев ударил его шашкой по голове, а другой кумык в упор выстрелил в него из ружья. Прочие кумыки, объятые ужасом, бросились бежать. Лисаневич, держа рукою рану, стоял прислонившись к забору, но сохраняя полное присутствие духа. И только тогда, когда ему сказали о смерти Грекова, у него вырвалось роковое: “Коли!” Солдаты поспешно заперли ворота, и началось истребление всех, кто был в укреплении. Многие из кумыков, видя беду, схватили из сошек солдатские ружья, другие защищались кинжалами, переранили восемнадцать солдат, однако же все они полегли на месте. В числе погибших были люди и ни в чем не повинные, отличавшиеся испытанной преданностью русским, и даже несколько

андреевских жителей. Озлобленные солдаты не давали пощады никому, кто попадался им на глаза в азиатской одежде. Убиты были даже трое грузин, находившихся при генерале, и несколько гребенских казаков. Немногие кумыки успели выскочить из укрепления, но и тех, видя тревогу, переколола команда, возвращавшаяся из лесу. А между тем, по словам Ермолова, "если бы аксаевцами не овладел совершенный испуг, они сами могли бы без труда завладеть всем укреплением и артиллерией, при которой не было ни одного канонира".

Ожесточенные солдаты хотели даже идти разорять Аксай, и полковнику Сорочану, принявшему начальство после смерти Грекова, стоило большого труда удержать их ярость.

Лисаневич, зажимая левой рукой рану, между тем машинально шел к воротам за кумыками, которых кололи. Поручик Трони и Соколов, опасаясь чрезмерной потери крови, его удерживали.

— Что вы? Мне ничего! — сказал ям генерал.— Он меня только ткнул немного.

— Однако надо перевязать рану,— возразил Трони и повел его в комнату.

На пороге Лисаневич лишился чувств; его отнесли в постель и раздели. Осмотр раны показал, что, пробив два ребра, кинжал прошел сквозь легкое, ниже правого соска.

Греков лежал бездыханный. Через несколько дней в Грозной умер и Лисаневич. Линия осиротела, и мятеж снова поднял голову.

Так погиб в цветущих летах, когда ему не было и тридцати пяти лет, храбрый и даровитый генерал Греков, "гроза чеченцев", которому все предвещало блестящую военную карьеру. К счастью, он не оставил по себе горького плача — он был одинок — и отошел в вечность, сопровождаемый только сожалением товарищей-подчиненных.

В гибели его было нечто роковое. В те дни, когда руководимые им геройские войска проникали в самые недра чеченской земли, поражая неприязненную природу и враждебные племена силой своего духа, в те дни, всего какой-нибудь год назад, мог ли он предугадать свою судьбу — гибель не среди боевых кликов и звона оружия, а среди своих победоносных войск от совершенной и неожиданной случайности. Мог ли он предвидеть, что все плоды его долгих и геройских усилий не избавят край от смут, измены и потрясений; что один ничтожный мулла, прикрытый епанчей пророка, будет причиной всеобщего гибельного восстания охраняемой им страны; что другой фанатик, побежденный и униженный, пришедший только затем, чтобы понести заслуженное наказание, поразить его изменническим ударом; что, наконец, третий фанатик, глава и предводитель чеченских разбойников, жизнь которого была помехой благосостоянию и миру страны, не только восторжествует над всеми стараниями погубить его, но еще раз, погубив его самого, станет снова почетным гостем тех, кому он сделал так много неисправимого зла.

В лице генерала Дмитрия Тихоновича Лисаневича Кавказская линия и весь Кавказский край понесли также, быть может, еще большую и незаменимую утрату. Лисаневич принадлежал к весьма замечательным военным деятелям славной цициановской эпохи, и в те времена, когда в боях Закавказья "с дерзостным челом явился пылкий Цицианов", не много было крупных событий, в которых не встречалось бы и имени Лисаневича. Ему, правда, не представилось случая быть во главе самостоятельных отрядов и играть в

событиях первенствующую роль, но всюду, где он был и действовал, он был одной из крупнейших величин.

Лисаневич происходил из небогатой дворянской семьи, Воронежской губернии, и его военная карьера была сделана без связей и протекций, взята в боях исключительно личным мужеством и военными дарованиями. Он начал службу в 1793 году на Кавказе в Кубанском корпусе рядовым, и первый поход свой сделал с армией графа Зубова к персидским пределам. Там, под стенами Дербента, Лисаневич, тогда еще восемнадцатилетний юноша, на глазах главнокомандующего штурмовал крепостные башни, а в кровавом бою под Алпанами, памятном гибелью целого батальона, с подполковником Бауниным, заслужил офицерские эполеты. Когда Кубанский корпус был расформирован, Лисаневич поступил в славный семнадцатый егерский полк и перешел с ним в Грузию. Там, в боевой школе Цицианова, Лазарева и Карягина, в течение двенадцати лет из него выработался замечательный боевой генерал. Уже через два года по прибытии в Грузию он, командуя ротой, обратил на себя особенное внимание в Осетинском походе, и на двадцать четвертом году от роду был штаб-офицером. Еще год — и Ганжинский штурм сделал имя Лисаневича известным всему Грузинскому корпусу. Здесь, командуя батальоном, он первый вошел на крепостную стену и во главе своих егерей ворвался в укрепленную башню, где защищался и погиб сам Джават-хан ганжинский. За этот блестящий подвиг Лисаневич получил Георгия.

При графе Гудовиче, во время персидской войны, на долю Лисаневича выпал ряд новых подвигов, между которыми особенно замечателен бой двадцать восьмого сентября 1808 года, при Кара-Бабе, где он, выдержав с батальоном пехоты нападение целой персидской армии, блистательной победой открыл отряду путь к Нахичевани. И не далее как через месяц, третьего декабря, ему же обязаны были снова поражением персидской армии, пытавшейся заградить отряду обратный путь у той же Кара-Бабы.

Назначенный за эти славные дела шефом девятого егерского полка, Лисаневич принимал видное участие в покорении Имеретинского царства и в пленении мятежного царя Соломона. В 1810 году он был одним из главных виновников знаменитой победы под Ахалкалаками, и подвиг, совершенный здесь, распространил известность Лисаневича далеко за пределы Кавказа, по всей русской армии, так как император Александр повелел сообщить о нем в приказе по войскам “в назидание современникам и потомству, что истинная храбрость заменяет численность, побеждает природу и торжествует над многочисленностью неприятеля”. В этом бою два русские батальона, предводимые Паулуччи и Лисаневичем, буквально истребили десятитысячный персидско-турецкий союзный корпус. В октябре того же года герой Ахалкалаков усмиряет Кубинское ханство, находившееся в восстании благодаря нерешительным действиям генерала Гурьева. С двумя егерскими ротами Лисаневич напал тогда на грозные силы мятежников, державшие в блокаде целый пехотный полк, разбил их наголову, выручил Кубу вместе с запершимися в ней батальонами и, перейдя в Дагестан, преследовал Шейх-Али-хана вплоть до снеговых гор, укрывших, наконец, неприятеля от его ударов.

Орден св. Владимира 3-й степени за Имеретию, чин генерал-майора за Ахалкалаки и золотая, осыпанная бриллиантами сабля за усмирение Кубинского ханства — таковы были царские награды за славные подвиги.

Бдительная охрана русских границ со стороны Бомбака и Шурагеля, дело под Паргитом, в Карском пашалыке, набеги в Эриванское ханство и особенно замечательный ночной переход от Мигри до Керчевани по горам, в которых не существовало никаких тропинок,

в 1812 году — достойно завершили собою славное боевое кавказское поприще Лисаневича.

На Кавказе Лисаневич успел, однако, выдвинуться не одной боевой отвагой, но и своими политическими и административными способностями. Еще при Цнцианове, когда ему поручено было вести переговоры о принятии Карабага в русское подданство, Лисаневич, научившись в короткое время в совершенстве говорить по-татарски, приобрел в ханстве большое народное доверие, и его влиянию главным образом должно быть приписано то, что Россия удержала за собою Карабаг при нашествии персиян в 1805 году. Его присутствие в Шуше удержало жителей в повиновении даже в то время, когда часть Карабага передалась персиянам. Ему же обязана была заселением обширная Лорийская степь, еще со времен грузинских царей обращенная в пустыню частыми нашествиями персиян и турок. Лисаневич первый обратил внимание на привольные места, вызвал сюда заграничных армян, устроил для них дома, помог завести хозяйство и вообще позаботился об устройстве быта новых поселенцев. С его легкой руки мертвая степь снова была призвана к жизни и мало-помалу постигла цветущего состояния.

Тринадцатого августа 1815 года Лисаневич простился с Кавказом; он был назначен командиром одной из егерских бригад, расположенных внутри России, но еще на пути к месту своего назначения получил высочайшее повеление вступить в командование седьмой пехотной дивизией. С этой последней он пробыл несколько лет во Франции, в составе корпуса графа Воронцова, и получил от французского короля орден Почетного Легиона большого креста со звездою. Возвратившись из Франции, Лисаневич продолжал командовать той же дивизией до пятого сентября 1824 года, когда назначен был командующим войсками на Кавказской линии на место умершего генерала Сталя. Назначение это состоялось по личной воле государя, одновременно с тем пожаловавшего Лисаневичу и чин генерал-лейтенанта. Несколько лет, проведенных вне Кавказа, не охладили в старом генерале прежнего воинственного пыла — он был огонь и отвага, и новое назначение его было ему по сердцу, Двенадцатого марта 1825 года он был уже в Георгиевске.

Но невесело встретил Кавказ на этот раз Лисаневича. Не много нашел он в войсках старинных сослуживцев, деливших с ним былые походы по Закавказью. Многие, конечно, знали его, но знали понаслышке, и он не мог не чувствовать себя одиноким. К тому же и отношения между ним и Ермоловым сложились сразу нехорошо. Ермолов недоволен был назначением Лисаневича, состоявшимся помимо его желания, а Лисаневич, справедливо гордившийся именно своей кавказской службой, обижался оказываемыми ему недоверием и холодностью.

Кавказскую линию Лисаневич застал между тем в смятении. Черкесы, врывавшиеся из-за Кубани, громили русские села; Кабарда была объята восстанием; в Чечне зрел бунт, “слухи о появлении пророка собирали чеченцев в буйные шайки. По самому ходу событий Лисаневич должен был прежде всего обратить внимание на Кабарду, центральное положение которой сообщало ей первостепенное значение; здесь было управление главного начальника Кавказской линии; здесь сосредоточивались все запасы, магазины и парки; здесь проходила Военно-Грузинская дорога — единственный путь, по которому могло производиться безостановочное сообщение с Грузией. Заботы о Чечне стояли на втором плане. Но не успел Лисаневич осмотреться среди этого хаоса событий, как взятие чеченцами Амир-Аджи-Юрта и происшествия на Сунже заставили его покинуть Кабарду и скакать в Наур, чтобы на месте измерить степень опасности. От Грекова он узнал здесь, что войск свободных нет, и для действия в поле необходимо ждать прибытие ширванских батальонов. События между тем не ждали. Отчаянное положение осажденного Герзель-

аула заставило генералов принять геройское решение, увенчавшееся блестящим успехом, но, как мы видели, оба они пали жертвой простой неосторожности и несчастного случая.

Кончина Лисаневича была трогательна. Когда ему нанесена была смертельная рана, он обратился к полковнику Сорочану и сказал ему: “Передайте генералу Ермолову — я человек бедный, служил государю тридцать лет и в продолжение своей службы не нажил ничего; пусть он не оставит сирот детей моих и жену, тогда умру спокойно”. Его перевезли в Грозную. Медики старались поддержать угасавшую жизнь, но нить ее была прервана. Некогда грозный персиянам герой до последних минут своих сохранял присутствие духа; он не хотел лежать и надеялся выздороветь. На шестой день, перед самой кончиной, когда он, сидя в кресле, хотел подняться, и доктор, с трудом поддерживая его, согнулся под тяжестью, Лисаневич шутя сказал ему: “Видишь, братец, хотя мне остается жить пять минут, но я все-таки сильнее тебя”. О своей семье, о жене и детях вспоминал он часто, но они были далеко, в Ставрополе, и не могли поспеть ко времени его кончины. Рассказывают, что малютка, любимый сын его, узнав о смерти отца, плача, говорил: “Ну зачем он поехал?.. Ведь я говорил ему: “Эй, папа, не езди!”

Лисаневич умер на сорок восьмом году от роду. С ним сошел в могилу уже один из последних представителей славной на Кавказе цициановской эпохи.

Судьба Лисаневича тем печальнее, что и самая смерть послужила поводом к укору его памяти. Ермолов, быть может, под влиянием нерасположения к покойному генералу, приписал трагические события в Чечне “неспособности Лисаневича”. Но государь лучше ценил последнего и в рескрипте на имя Ермолова написал следующие памятные строки: “Разделяя мнение ваше, что причиною несчастья при Амир-Аджи-Юрте была оплошность капитана Осипова и что смерть генерала Лисаневича последовала от собственной его неосторожности, не могу, однако же, согласиться, чтобы сей генерал был неспособен к командованию, ибо, доказав в продолжение долговременной службы много опытов своего усердия, он и в настоящем случае первоначально успел рассеять превосходные силы неприятеля и тем освободить Герзель-аул”.

Память о Лисаневиче живет и поныне в Грузии. На Кавказской линии собственно он был слишком недолго, только четыре месяца, но и здесь небольшой обелиск, на бульваре в крепости Грозной, поддерживает в молодом кавказском поколении память об изменнической смерти двух славных кавказских вождей. К сожалению, мы даже не знаем, где лежит прах Лисаневича; одни говорят, что он похоронен в Грозной, другие — в Георгиевске. Могила его еще ожидает памятника, и нельзя не пожалеть, что у нас, даже среди военной семьи, так много равнодушия к славным могилам.

XI. ЕРМОЛОВ В ЧЕЧНЕ (1825—1826)

Чеченский мятеж 1825 года застал Ермолова в Тифлисе. Уверенный в генерале Грекове, командовавшем на Сунженской линии, он был, однако, спокоен, как вдруг в июле м пришло громовое известие о гибели в Герзель-ауле и Грекова и Лисаневича. На линии не оставалось ни одного генерала. Ермолов немедленно послал приказание вступить в командование ею начальнику своего штаба генералу Вельяминову, находившемуся тогда в экспедиции далеко за Кубанью, а на место Грекова вызвал генерал-майора Лаптева.

Но положение дел на линии было настолько серьезно, что он считал необходимым там свое личное присутствие, и хотя известие о смерти Грекова и Лисаневича застало его больным, но двадцать четвертого июля, спустя всего шесть дней после герзель-аульской катастрофы, он был уже в дороге. Стояла страшная, томительная жара, и под влиянием ее

болезнь Ермолова усилилась. Во Владикавказе он слег окончательно, и были минуты, когда доктора отчаивались за самую жизнь его, что вероятно не осталось без влияния и на пух мятежников. Действительно, в это самое время в лесах Малой Чечни, за Гойтой, предприимчивый Бей-Булат снова соединял под знамена пророка Махомы рассеянные силы мятежников, искусно волнуя и подстрекая в то же время на Кумыкской плоскости андреевцев указанием на кровь лучших людей их, напрасно пролитую русскими в Герзель-ауле.

Только третьего августа Ермолов мог подняться с постели и тотчас же поспешил в Чечню. От Владикавказа до Грозной он прошел с одним батальоном Ширванского полка, при двух орудиях, и тремя неполными сотнями донских казаков, нигде не встретив помехи от чеченцев. По пути он приказал уничтожить Преградный Стан, стоявший в таком расстоянии от Сунжи, что легко мог быть отрезан от воды, и несколько малых редутов, которые за отдаленностью от Грозной и Владикавказа не могли рассчитывать на своевременную помощь.

В Грозной Ермолов получил известие о беспорядках в Кабарде. Но вынужденный обстоятельствами оставить тамошние дела на Вельяминова, он спешил прежде всего укрепить и обеспечить за собой Кумыкскую плоскость. Присоединив к Ширванцам две роты сорок первого егерского полка, с двумя орудиями, он вышел к Амир-Аджи-Юрту через станицу Червленную, где отряд его усилился еще тремястами линейными казаками и пятью конными орудиями. Уже один слух о движении Ермолова к Анпреевской деревне произвел на кумыков потрясающее действие. Несколько дней назад сильная партия андреевцев требовала, чтобы чеченцы были впущены в город, и непременно добилась бы цели; теперь вожаки ее первые предались поспешному бегству, остальные ожидали Ермолова с повинной головою.

В Андрееве Ермолов застал батальон Апшеронцев, прибывший поспешно из Бурной, и роту сорок первого егерского полка. Это дало ему возможность немедленно приступить к перестройке крепости Внезапной, с тем чтобы уменьшить ее оборонительные верки. С этой целью нижнее, весьма обширное укрепление было совсем уничтожено и заменено одной каменной башней с пристройками, позволявшими всегда иметь в своем распоряжении воду; внутреннее пространство укрепления таким образом значительно уменьшилось, а профиль его, напротив, значительно был усилен, и теперь, при несравненно меньшем гарнизоне, оно становилось неодолимым для горцев. Пока производились эти работы, на высотах в окрестностях города показались четыре тысячи чеченцев. Они, видимо, рассчитывали встретить сочувствие в жителях, но так как присутствие отряда удерживало всех в покорности, то Бей-Булат, погарцевав со своей конницей за линией выстрелов, ушел обратно за Сунжу.

Опасаясь, однако, чтобы чеченское скопище не бросилось на Грозную, где заселенный недавно форштадт не был еще укреплен, Ермолов отправил туда две роты сорок первого егерского полка. И расчет его оказался верен. Бей-Булат, действительно, появился перед Грозной, занял Ханкальское ущелье и принялся за его укрепление, рассчитывая, с одной стороны, преградить свободный доступ в Чечню, с другой — угрозой внезапного нападения держать грозненский гарнизон в постоянной тревоге. К счастью, командир сорок третьего егерского полка подполковник Сорочан не был расположен равнодушно смотреть на дерзкую попытку Бей-Булата. С небольшим гарнизоном он смело вышел навстречу чеченцам и двадцать шестого октября у самого входа в Ханкальское ущелье вступил с ними в битву. Конница его, набранная из мирных чеченцев, жителей надтеречных аулов, не выдержала бешеной атаки врагов, была опрокинута, и в беспорядочном бегстве смяв горсть линейцев, скакавших к ней на выручку, налетела на

батальон пехоты, едва успевшей свернуться в каре. К счастью, дружный батальный залп и картечь шестиорудийной батареи отбросили неприятеля. Расстроенная конница наша укрылась между тем за пехоту, которой и пришлось вынести на себе одной всю силу неприятельского натиска. Однако же самый факт бешеной храбрости чеченцев послужил только в пользу отряда Сорочана; чем более чеченцы теряли хладнокровие, тем больше становились потери их, и сотни тел, скошенных картечью, ложились на кровавое поле давно не виданной в Чечне кавалерийской схватки. Но экзальтация обыкновенно сменяется быстрым упадком энергии — и скоро чеченцы обратились в бегство. Сорочан их не преследовал и возвратился в крепость; занимать Ханкальское ущелье ему теперь не было надобности, так как чеченцы сами покинули начатые работы и удалились за Гойту. В окрестностях Грозной пока водворилось спокойствие.

А Ермолов между тем перешел к Аксаю. С самой смерти Лисаневича город этот находился в совершенном запустении, и жители его, за исключением нескольких князей, скитались по лесам и горным трущобам, не смея возвратиться в дома. Ермолов объявил им амнистию, но приказал старый город Аксай разрушить и перенести его на другое место, на речку Таш-Кичу, куда он решил перевести Герзель-аульское укрепление. Жителям волей-неволей пришлось покориться. Новый Аксай разбит был уже по плану, с правильными улицами и площадями, и, в противоположность старому, поставлен в полную зависимость от укрепления; кругом его не было ни гор, ни лесов, которые могли бы доставлять приют мятежникам и поддерживать в населении дух своевольства и неповиновения; напротив, его окружили теперь обширные поля, и жители, под охраной укрепления, должны были приняться за хлебопашество и скотоводство.

Постройка двух больших укреплений у Таш-Кичу и в Амир-Аджи-Юрте задержала войска у кумыков до глубокой осени, но время это не было потеряно даром в смысле успокоения всего края. Новые опорные пункты и присутствие в них Ермолова обнаружили решительное влияние на Дагестан. Сильные акушинцы остались спокойными и своим примером удержали от мятежа и другие дагестанские народы.

Семнадцатого ноября работы в укреплениях были окончены, и войска расположились по гребенским станицам на отдых. Между тем Ермолов делал подготовительные распоряжения к зимнему походу, намереваясь теперь расплатиться с чеченцами за их кровавый мятеж. Но прежде он хотел лично познакомиться с положением дел в Кабарде и отправился в Екатериноград.

На пути ему грозила страшная опасность, и только Божий Промысел спас ему жизнь. Это было двадцатого ноября на проезде из Червленной станицы. День был мрачный, по земле расстилался густой туман; ходили слухи, что партия чеченцев намерена переправиться на левый берег Терека. Действительно, в этот самый день конная чеченская партия в тысячу человек, подойдя к Козиорскому шанцу, отрядила на русскую сторону четыреста наездников, чтобы захватить Ермолова. Туман помешал им видеть приближающийся поезд, и хищники ударили из-под обрывистого берега Терека на большую дорогу, едва полчаса спустя, как проехал главнокомандующий. “В ясную погоду,— рассказывает сам Ермолов,— я был бы усмотрен с дальнего расстояния, и надлежало бы драться за свободу. Слабому конвою трудно было бы противостоять врагу, впятеро сильнейшему; но не думаю, однако же, что для того только, дабы схватить меня, решились они на большую потерю, без чего нельзя было преодолеть казаков”.

Опоздав набегом, партия захватила нескольких проезжавших и бросилась грабить казачьи хутора. Едва Ермолов прибыл в Калиновскую станицу, как туда дали знать о появлении чеченцев. Сто двадцать храбрых гребенских казаков, сопровождавших Ермолова, первые

понеслись назад, к Казиорскому шанцу, а вслед за ними подоспели туда и казаки Калиновской станицы с конным орудием. Атакованные в шашки, чеченцы бросили пленных и скрылись за Тереком. Вся добыча, захваченная на хуторах, была отбита.

В Екатеринограде Ермолов получил стороннее известие о кончине императора Александра с такими подробностями, которые не оставляли места сомнению в печальной истине, и поспешил в Червленную, где была его штаб-квартира. Но едва войска присягнули на верность Константину Павловичу, как двадцать четвертого декабря прискакал новый фельдъегерь с манифестом о воцарении императора Николая. “Войска,— говорит Ермолов,— приняли присягу в величайшем порядке и тишине”.

А в Грозной между тем сосредоточивался сильный отряд и делались приготовления к большой экспедиции, которой суждено было занять одну из важнейших страниц в военной истории Кавказа. Ермолов откладывал наказание чеченцев до конца зимы или до начала весны недаром. В это время нашествие русских могло быть для них наиболее пагубным. Не смея держаться в открытых местах, они должны были оставить свои поля невозделанными, а притом с весною семьи их, укрывавшиеся в лесах, подвергались болезням и смертности, которые должны были усилиться неизбежным голодом.

И вот, только двадцать шестого января 1826 года, Ермолов вышел наконец из Грозной, лично предводительствуя отрядом. Войска перешли через Ханкальское ущелье и заняли аул Большие Атаги. “В первый раз,— говорит Ермолов в своих записках,— был я в этих местах и видел труды покойного генерала Грекова; едва оставались признаки леса, прежде непроходимого, где генерал Булгаков понес весьма чувствительный урон, много ободривший чеченцев. Теперь обширная и прекрасная долина представляет свободный доступ в середину земли их, и уже нет оплота, на который они столько надеялись”.

Войска, расположившиеся лагерем вокруг аула, два дня вели перестрелку с неприятелем. Казаки дрались с ним при обозрении переправы через реку Аргун, пехота перестреливалась на аванпостах и в караульных цепях. Чеченцы подходили не раз так близко к селению, что могли обстреливать даже квартиру самого Ермолова, находившуюся на краю деревни. “Со мною,— пишет он по этому поводу в одном из своих писем,— было забавное приключение: когда пули стали долетать до моего дома, повар отказался готовить мне обед, говоря, что он не создан быть под пулями чеченскими; кажется, он желал заставить думать, что он менее гнушается пуль народов просвещеннейших”. На третий день обстоятельства несколько выяснились: в Малой Атаге, лежащей на противоположном берегу, замечены были большие огни, слышны были выстрелы и крики радости, вызванные прибытием на помощь соседей. К атагинцам, действительно, подошли мичиковцы, ичкеринцы и даже часть лезгин; приехал, наконец, и сам пророк Махома, вместе с Бей-Булатом. Нужно было ожидать решительных действий.

Тридцатого января был выслан из лагеря сильный отряд из двух батальонов Ширванского полка, роты егерей и пятисот линейных казаков, под начальством подполковника Ковалева, с поручением истребить аул Чах-Кери, служивший чеченцам опорным пунктом на нашем берегу Аргуна. Ермолов знал, что посылает отряд на опасное дело, и составил его из лучших боевых войск Кавказского корпуса. Неприятель, вопреки ожиданиям, не мешал, однако же, движению; аул был взят и сожжен без боя. Но едва отряд тронулся назад, как густой туман, смешавшись с дымом от зажженной деревни, опустился на землю; наступила такая мгла, что уже за несколько шагов ничего нельзя было видеть.

В это самое время приспел неприятель из-за Аргуна. Ни русские не видели чеченцев, ни чеченцы не могли различить наши силы — и бой завязался наудачу. Русские стреляли

туда, откуда слышался угрожающий гик чеченцев; чеченцы стреляли на огоньки русских выстрелов и вообще туда, где только могли предполагать присутствие войска. Несмотря на кромешную тьму, чеченская конница понеслась в атаку. Она уже обскакала нашу стрелковую цепь, когда линейцы, заметив неприятеля, со своей стороны ринулись в шашки. Сила столкновения была так велика, что несколько чеченцев и казаков были опрокинуты вместе со своими лошадьми. “Редко видят сие кавалеристы,— замечает по этому поводу Ермолов, участник великих наполеоновских войн,— хотя нередко и говорят о шоке”. Обе стороны дрались с одинаковой храбростью. Но вот чеченцы мало-помалу стали подаваться назад и дали тыл. Линейцы насели на бегущих.

В эту минуту вся чеченская сила обрушилась на Ширванские батальоны. Бой завязался отчаянный. Сам пророк Махома находился среди атакующих, муллы пели священные молитвы, ободряя чеченцев. Два раза отбитый, неприятель бросился в третий раз — и это нападение, по свидетельству Ермолова, было сильнейшее и длилось долее прочих. Орудиям приходилось действовать почти в упор, на расстоянии каких-нибудь десяти-пятнадцати саженей, и действие картечи было поистине ужасно. Сотни истерзанных трупов валились под самые жерла пушек, и те, которые бросались поднимать их, напрасно увеличивали собою потери. Кровавые жертвы не останавливали, однако же, чеченцев, находившихся в религиозном экстазе; они прорвались за цепь, и батальонам пришлось вступить в штыковую схватку. Все офицеры, находившиеся в цепи, по словам Ермолова, должны были драться наравне с солдатами. Сами чеченцы говорили потом, что не помнят такой ожесточенной свалки. Но вот стал подниматься туман, и неприятель, увидев грозные силы отряда, в страшном беспорядке бросился бежать за Аргун. В этом бою с русской стороны пало семь офицеров и до шестидесяти нижних чинов — потеря редкая в тех войсках, которыми предводительствовал сам Ермолов.

Простояв несколько дней бивуаком, отряд пятого Февраля внезапно двинулся к Аргуну и, захватив переправу у селения Большой Чечен, занял аул Бельготой. Посланные отсюда по разным направлениям партии казаков нигде не нашли значительных вооруженных скопищ. Герменчуг и Шали — два главные и богатейшие селения — просили пощады. Ермолов потребовал аманатов, и аманаты в тот же день были доставлены. Восьмого февраля, после ничтожной перестрелки, покорились Алды, один из самых буйных и мятежных аулов. Отсюда Ермолов прошел дремучие леса, лежавшие по Гойте и Гехе. Здесь все ожидали битвы, но к общему удивлению, чеченцы защищались слабо. Только Моздокские казаки, под командой подполковника Петрова, имели довольно горячую схватку под аулом Белакай, взяли его и сожгли. Аулы Урус-Мартан, Рошня и Гехи были уничтожены; та же участь постигла большое селение Даут-Мартан — вечный приют кабардинских абреков. За Гойтой и Гехой отряд прошел обширными прекрасными полями, принадлежавшими карабулакам, и вышел у Казак-Кичу на Сунжу. Жители везде изъявляли покорность и просили помилования.

Между тем наступила ненастная погода; началась весенняя распутица, передвижение обозов и пушек затруднилось, лошади падали от бескормицы. Ермолов счел необходимым приостановить экспедицию до более благоприятного времени, и войска, возвратившись за Терек, были расположены на отдых по казачьим станицам.

Грозная экспедиция Ермолова оказала свое действие. Мятеж в Чечне, правда, еще держался, но от пророка многие уже отступились. Посланные к лезгинам просить помощи привезли одни обещания. Так прошло с лишком два месяца. Войска отдыхали в привольных станицах; чеченцы находились в крайнем напряжении, изо дня в день ожидая внезапного вторжения русских,— и падали духом. И когда в апреле, перед страстной неделей, Ермолов перешел за Сунжу, чтобы проложить за ней кратчайшие дороги и

вырубить леса, с которыми не успел еще покончить Греков, он уже не встретил препятствия. Посреди работ тихо и незаметно наступило Светлое Христово Воскресенье. Войска встретили его в Алхан-Юрте, среди боевой обстановки; все поднялись с полночи, но каждый помолился сам по себе. Днем в лагерь приезжала депутация от дворян Кизлярского уезда вместе со своим предводителем и, в знак уважения к храбрым войскам, предложила офицерам обед; солдатам же еще накануне доставлены были из Кизляра обильные порции вина и мяса.

Окончился праздник, и Ермолов снова приступил к работам, вызвавшим в чеченцах уже последние попытки к сопротивлению. Широкие просеки проложены были за Сунжой от Алхан-Юрта, одна — до Гехи, другая — до Урус-Мартана. В последнем жители вздумали было защищаться, но рота тифлисских гренадер и три роты апшеронцев взяли его приступом. Угус-Мартан истреблен был вторично, и на этот раз не были даже пощажены великолепные сады его и самые деревья срублены под корень. Гул пушечных выстрелов вызвал окрестных жителей на помощь к аулу, но казаки и мирные чеченцы заняли дороги, и шайки, пробиравшиеся густыми лесами, везде натыкались на заставы. Тем не менее, когда отряд, покончив работу, отошел назад, вся конница, под начальством Петрова, отправлена была опять к развалинам Урус-Мартана, так как до Ермолова дошел слух, что в нем намерен был собраться неприятель. Казаки, действительно, застали здесь значительные силы, и двадцать седьмого апреля выдержали жаркое дело. При отступлении чеченцы несколько раз преграждали им путь, но ничто, по словам самого Ермолова, не могло превзойти в храбрости казаков Моздокского полка и Семейного войска: они то спешивались, то дрались на конях, смело бросаясь в шашки,— и повсюду сбивали горцев. Главный отряд между тем без выстрела пошел до Алхан-Юрта, и отсюда конницу из мирных чеченцев Ермолов распустил по домам для празднования Байрама. “Она служила отлично,— говорит он,— и загладила свою вину, когда в экспедиции полковника Сорочана бежала из боя, покинув наших казаков”.

Небольшой отдых — и затем опять усиленные работы. Со второго мая приступлено было к расчистке старых просек на Герменчугскую, Теплинскую и Шалинскую поляны. Последняя досталась нам, однако, не без упорного боя. Когда, при сильной перестрелке, лес был пройден, чеченцы бросились в шапки на егерскую роту; к счастью, на помощь к ней подоспели линейцы, и часть казаков, спешившись, дралась наравне с пехотой. Герменчугцы также готовились к сопротивлению и разослали гонцов просить у соседей помощи. Старшины их, впрочем, явились к Ермолову и настойчиво старались отклонить его от приложения дороги, говоря, что без этого не могут ручаться за спокойствие жителей. Но Ермолов знал, что всякая уступка и даже колебание будут приняты за робость или недостаток сил — и работа закипела с еще большей энергией. Войска рубили просеку, а герменчугцы, успевшие укрыть свои семьи, стояли в числе шести- или семисот человек под ружьем у самого входа в селение. Перестрелки, однако же, не было. В ужасном беспокойстве находились чеченцы, когда увидели, что направление дороги пошло через те самые места, где укрыты были их семьи. “Не был покоен и я,— рассказывает Ермолов,— в лесу трудно было следить за солдатами, а между тем малейший беспорядок — и чеченцы ринулись бы в бой на защиту семей”. По счастью, войска вели себя безукоризненно; не было ни одного случая насилия, обиды или грабежа. Рассыпанные по лесу солдаты смотрели друг за другом и, находя женщин, детей и имущество, приставляли к ним караулы. Великодушие сломило наконец упорство чеченцев. На следующий день все семьи возвратились в дома, и жители сами просили, чтобы войска охраняли их от показавшихся в окрестностях мичиковцев, которых они же сами призвали на помощь. Еще два дня продолжались работы при беспрерывной перестрелке, но уже с мичиковцами; ширванская рота ходила даже в штыки и имела упорную рукопашную схватку. Восемнадцатого мая были окончены все работы,

предположенные Ермоловым, и войска возвратились в Грозную. Военные действия затихли, только пятьсот гребенских и моздокских казаков еще раз скрытно собрались в Науре и, под командой своих командиров Петрова и Ефимовича, сделали весьма удачный набег за Сунжу к Даут-Мартану, откуда возвратились с добычей. Это было последнее наказание чеченцев. Бунт, державшийся так долго, угас окончательно, и пока не заросли просеки, изрезавшие Чечню по всем направлениям, общий мятеж ее был уже невозможен.

Ермолов отдал полную справедливость всем войскам, участвовавшим в этих походах.

“Труды их,— говорит он в приказе,— были постоянны, ибо надлежало ежедневно или быть с топором на работе, или с ружьем для охраны рабочих. К подобным усилиям, без ропота, может возбуждать одна привязанность к своим начальникам, и сия справедливость принадлежит господам офицерам”.

Мысль замечательная, показывающая, с какой глубиной Ермолов понимал значение солдатской любви и как много он на ней основывал.

Но особенное уважение его в этих походах приобрели линейные казаки, о которых он некогда отзывался с такой резкостью. “Прежде,— говорит он,— видал я их небольшими частями и не так близко, но теперь могу судить и о храбрости их, и о их предприимчивости. Конечно, из всех многоразличных казаков в России — нет им подобных”.

“Я не видал,— говорит он в другом месте,— ни одного казака, стрелявшего попусту; ни одного, едущего под сильным огнем неприятеля иначе, как малым шагом. Смею думать, что это не самое легкое и в регулярной коннице...”

Солдаты, со своей стороны, отметили этот поход, как отмечали все крупнейшие события кавказской жизни, простой солдатской песней, навсегда закрепившей в сердцах их память и о любимом вожде и о его походах. Вот эта песня, которую и поныне можно услышать от старых кавказцев.

Не орел гуляет в ясных небесах,
Богатырь наш потешается в лесах.
Он охотится с дружиной молодцов,
С крепким строем закавказских удальцов.
Что буран крутит песок в степях,
Он громит и топчет горцев в прах.
С ним стрелою, громовой мы упадем,
Все разрушим, сокрушим и в прах сотрем.
С ним препятствий не встречаем мы ни в чем,
С ним нам жизнь-шутиха нипочем.
Лес — сожжем, гора — снесем, река — запрем,
И в скале мечом дорогу просечем.
Где пройдем, там разольем мы смерть и страх.
След наш — памятник в потомстве и веках.
О, да здравствует наш батюшка — сардарь,
Для побед его дал Бог и Государь!

Роль Ермолова в Чечне была окончена. Он возвратился в Тифлис, а вскоре ему суждено было оставить Кавказ навсегда.

Сошли со сцены и главные действующие лица чеченского мятежа. Пророк Махома исчез бесследно, Бей-Булат скрылся в горы. Но переменились времена, ермоловская система была забыта, и Бей-Булат, при Паскевиче, снова выступает на сцену в качестве лица, заслуживающего внимания и милостей. Его осыпают подарками и он втихомолку принимается вновь за свой старый разбойничий промысел. Конечно, он не отказался бы, в благодарность за оказанные ему благодеяния, принять горячее и не совсем безопасное для русских участие в кровавых событиях 1831 года, но, к счастью, сама судьба освободила Кавказ от этого беспокойного человека. Переломив в последний год своей жизни обе ноги, он уже не мог лично водить партии в набеги, и потому влияние его на соотечественников стало ослабевать. А вслед за тем одна случайная встреча сделалась для него роковой.

Четырнадцатого июля 1831 года в восьми верстах от Таш-Кичу Бей-Булат встретился с аксаевским князем Салат-Гиреем, возвращавшимся из кумыкских деревень, расположенных по Тереку. По обычаям страны он был обязан съехать с дороги, чтобы пропустить старшего. Но гордый Бей-Булат не сделал этого, и сам преградил ему путь.

Нужно сказать, что за девять лет перед тем, когда на Кумыкской плоскости было восстание, Бей-Булат убил отца Салат-Гирея, князя Мехти, и с тех пор они не встречались. Но кровь отца, лежавшая на сыне, требовала мщения. На Бей-Булате теперь, как бы нарочно, было надето оружие, некогда снятое им с убитого Мехти, и это еще более распалило Салат-Гирея. На требование посторониться Бей-Булат насмешливо сказал ему: “Я убил отца твоего, но и тебе грозит то же самое”. Тогда Салат-Гирей моментально выхватил пистолет из-за пояса и выстрелил в упор в Бей-Булата; пуля пробила сердце, и когда тот падал с седла, Салат успел еще разрубить ему голову шашкой. Оставив тело на месте, он прискакал в Таш-Кичу, заявил о случившемся и был арестован.

Салат-Гирея "судили как простого убийцу, и от ссылки в Сибирь спасло его только горячее заступничество командовавшего тогда войсками на левом фланге генерал-майора князя Бековича-Черкасского, любимца и сослуживца Ермолова.

XII. ДАГЕСТАН

За горами горы хмарою повиты,
Засеяны горем, кровию политы...

Шевченко

Дагестан — значит страна гор. Под этим именем разумеется обширная площадь, загроможденная огромными горными кряжами, хаотически переплетенными между собою, и террасами, спадающими к Каспийскому морю. К востоку от Казбека, в земле Хевсуров, там, где возвышаются вершины Барбало — третьего высочайшего пункта на всем Кавказе,— от главного Кавказского хребта отделяется, направляясь к северо-востоку, колоссальный Андийский (Сулако-Терский) кряж, который хотя уступает высотою своих снеговых вершин Главному Кавказу, но сохраняет вполне тот же суровый, дикий и неприступный характер. Составляя водораздел бассейнов Терека ч Сунжи — с одной стороны и Сулака — с другой, он, постепенно понижаясь, оканчивается в Салатавии гигантскими округлыми зелеными высотами, господствующими над Кумыкской равниной и упирающимися в долину Сулака.

И вот, если провести линии: с одной стороны — по Главному Кавказскому хребту, с другой — по Андийским горам и Сулаку; а затем по берегу Каспийского моря, то

получится огромный прямой треугольник, в котором Главный Кавказский хребет будет гипотенузой. Это и есть Дагестан.

Дагестан, как по самой природе местности, так и по населению, распадается на две главные части. Из них отдаленнейшая от Каспийского моря, та, которая вся сплошь наполнена высочайшими горами, есть Нагорный, или Внутренний, Дагестан, а по самому берегу Каспийского моря широкой полосой раскинулся Дагестан Прикаспийский, Прибрежный. Последний состоит из целого ряда независимых друг от друга владений: шамхальство и Мехтула составляют Северный Дагестан; Даргинский союз, Казикумыкское ханство, уцмийство Каракайтагское и мейсумство Табасаранское образуют Средний: а ханство Кюринское и Кубинская провинция, вместе с городами Дербентом и Баку, известны под именем Дагестана Южного.

Быть может, в целом мире нет страны, которая была бы угрюмее, дичее, суровее и мрачнее и в то же время величавее, чем Нагорный Дагестан или гористые местности Дагестана Приморского. Бесплодные, каменистые, заоблачные горы, окрашенные то в бурый цвет с фиолетовыми оттенками, то подернутые сизоватой дымкой; мшистые скалы; утесы, нависшие над безднами; шумные каскады, низвергающиеся в пропасти; бешеные потоки и неистово ревущие горные реки — поражают своим грозным и пустынным величием. Чем выше поднимаешься на горы, тем впечатления становятся суровей и могучей. Растительность постепенно бледнеет и наконец только ярко-зеленые и красноватые мхи да ягели оживляют пустынные скалы; воздух редеет, ускоряя дыхание и мучительно сжимая сердце. Если появляются облака и скрывают солнце, сырость и холод пронизывают насквозь, несмотря ни на какую одежду; разорванными клочьями носятся облака над головою, обращаясь мало-помалу в сплошную черную массу, скрывающую самые близкие предметы, и чувство одиночества овладевает человеком. Разыгрывается буря. За ослепительным блеском молнии следуют непрерывные удары грома, бурно раскатывающиеся по ущельям бесчисленным эхом; их заглушает рев падения на каменные громады проливного дождя, вдруг сменяющегося то снегом, то градом; внезапно налетевший вихрь срывает снега с горных вершин и производит метель, среди которой непрестанно гремят громы и блистают молнии. И эта грозная и вместе очаровательная картина продолжается до тех пор, пока снова не выглянет солнце и не обольет миллионами искр снеговые вершины...

В то время как приморские страны были ареной постоянных столкновений народов, большой дорогой, по которой проникали из Азии наводнявшие Европу воинственные племена, Дагестан Нагорный, закрытый и укрепленный своими вечными горами, стоял недоступный и грозный. Там жило доисторическое аварское племя, едва ли имеющее что-либо общее с историческими аварами Европы, само себя называвшее общим именем маарулал, но соседям известное под чуждыми ему самому именами то тавлинцев, то — на юге; по ту сторону гор, в Грузии,— лезгин,— слова, на разных языках имеющие одно и то же значение жителей гор, горцев. Племя это, широкой полосою простираясь через весь Нагорный Дагестан, с севера на юг, оставляет лишь по бокам место обломкам каких-то других неведомых племен, с давних пор, впрочем, подчинившихся его влиянию.

Горы, по известному закону, разделяют страны и людей, в противоположность соединяющим их морям. В Дагестане каждая местность отделялась одна от другой труднодоступными горами, и естественно, что население этой страны с незапамятных времен распадалось на множество независимых общин, маленьких племен, из которых многие, впрочем, впоследствии соединялись между собою, на чисто федеральных основаниях, в сильные союзы. Центром политической жизни Нагорного Дагестана издавна служила Авария, лежавшая в самом центре каменных громад,— некогда могучее

ханство, располагавшее судьбами целого Дагестана и даже ко временам Ермолова еще удержавшее: часть своего влияния. На север от Аварии лежали Салатавия с ее дремучими лесами и знаменитым Теренгульским оврагом, Гумбет и Андия — одно из богатейших промышленных обществ, славившееся производством превосходных дагестанских бурок; на восток — земля Кайсубулинцев с голыми бесплодными утесами и со знаменитым селением Гимры — родиной Кази-муллы и колыбелью мюридизма; на западе по обоим берегам Аварского Койсу лежали Буни, Тлох, Технуцал, Карата, Ункратль и некоторые другие. Это — самая глухая, страшная часть Дагестана, представляющая взору лишь обнаженные, дикие, нагроможденные одни на другие, бесплодные скалы. К югу — общества Гидатль, Кель — знаменитый производством дорогих шалевых сукон, потом Тилитли, Куяда и, наконец, Андалял с неприступным аулом Чох и знаменитой в истории кавказской войны горой Гуниб-Даг. Еще южнее, по самому северному склону главного хребта, лежат Дидо и Анткратльский союз, составленный из девяти вольных обществ; Джурмута, Анцуха и других. Это были уже ближайшие соседи Грузии; за ними, по ту сторону гор, начиналась Кахетия и лежали земли лезгин джаро-белоканских.

Рассеянные в своих горах и ущельях общины и союзы Дагестана, принадлежавшие даже к одному и тому же племени, нередко отличались друг от друга не только наречиями и обычаями, но даже исповеданием ислама, господствовавшего надо всем, но получившего чуть не в каждой деревне резкие особенности и оттенки, сообразно с глубоко вкоренившимися в тамошнего человека предрассудками.

Суровая природа гор наложила, однако же, на всех одинаковый, роковой отпечаток, создав оригинальный и яркий тип дагестанского горца и отразившись на всей его жизни. В тяжкой, но привычной борьбе с природой, в стремлении покорить ее своей власти, дагестанцы в своем домашнем быту не ушли дальше первобытных форм. Их аулы, как вороньи гнезда, лепятся на скалистых утесах, часто на такой высоте, что глядя на них не хочется верить, чтобы это было жилье человека; лениво, в крайнем неряшестве и бедности проводит там свою жизнь дагестанский горец, довольствуясь скудной пищей и плохой одеждой. Впрочем, и сама природа каменистых гор приучает его к умеренности, потому что пашни в Нагорном Дагестане встречаются редко, да и то небольшими клочками, разбросанными на самых высотах неприступных гор, куда лезгину приходилось взбираться с помощью веревок и крючьев, чтобы засеять горсть ячменя или проса.

В виде анекдота, отлично характеризующего величину этих пашен, рассказывают, что один дагестанский горец, работавший на подобной скале, прилег отдохнуть на раскинутой бурке, а когда проснулся, то с удивлением и страхом увидел, что его драгоценная поляна куда-то пропала. Не зная, что подумать о совершившемся чуде, и помянув недобрым словом шайтана, суеверный горец поспешно стал собираться домой, и когда с азартом и бранью поднял с земли свою бурку, тогда только заметил, что она-то именно и прикрывала его пахотную землю.

Горец, впрочем, презирал мирный труд, и все работы не только домашние, но и полевые, лежали большей частью на женщине, судьба которой в Дагестане, как и на всем Востоке, была жалка и печальна. Одетая в неловкий и неудобный костюм, скрывавший ее красоту и стройность, женщина в Дагестане являлась существом презираемым до того, что в глазах ленивого горца жена и шпак имели почти одинаковую цену. Один лезгин говорил серьезно, что женщина должна работать больше ишака, потому что ест чистый хлеб, тогда как ишак питается мякиной.

Понятно, что при такой первобытной грубости отношений к женщине и всеобщей суровости нравов, жизнь горца была лишена элементов мирной поэзии. Горская

молодежь, правда, любила повеселиться, но танцы Дагестана совершенно не похожи на бойкую лезгинку жителей равнин, лишенные характерных черт ее — живости и какой-то беззаветной отваги. Не блестят богатством содержания и поэзии также мирные песни лезгин, хотя, впрочем, их унылые и монотонные припевы и не лишены оригинальной прелести.

Не в домашнем быту и не в мирных занятиях лежала поэзия жизни горного дагестанца. Обреченный бесплодной природой своих гор на лишения и скудную бедность, он ею же часто вынуждался покидать свои скалистые трущобы с тем, чтобы силою взять у соседних народов то, в чем ему отказывала родная природа, и он сумел развить в себе в течение многих поколений необыкновенный воинственный дух и наклонности. Грузия и окрестные страны часто видали на своих землях этих горных воителей, проникавших до отдаленных пределов Турции и Персии и пользовавшихся славою грозных наездников. Страны Приморского Дагестана, особенно владения шамхала тарковского, не раз трепетали перед грозным именем соседних горцев, и даже сам непобедимый завоеватель Надир-шах испытал на себе всю силу их отваги.

Один вид дагестанского горца уже выдавал его воинственные наклонности. Богатый горец был всегда обвешан оружием, блестевшим серебром и золотой кубачинской насечкой, одет в дорогой лезгинский наряд, приближавшийся более к персидскому, нежели к черкесскому: чоха с длинными откидными рукавами, обложенная по краям широким серебряным галуном, шелковый архалук, такие же шаровары, сапоги с большими загнутыми носками, на голове — черная остроконечная баранья шапка, за спиной — косматая белая бурка работы андийских мастеров. Если ко всему этому он сидел на добром коне персидской породы, то поистине нельзя было не любоваться его воинственной фигурой. Многие лезгины надевали при этом кольчуги со стальными поручами и шишаки с красными лепестками сукна вместо перьев, и тогда они напоминали собою средневековых рыцарей. Но этот костюм носился ими только в торжественных случаях; собираясь же в поход или в домашнем быту лезгины одевали просто черкеску, общую для всех обитателей Кавказа, а многие племена совсем не носили шашек, заменяя их кинжалами громадной величины, известными под именем тавлинских.

Суровый, воспитанный среди опасностей, горец знал себе цену, и потому во всех его движениях проглядывала гордость и глубокое сознание собственного достоинства. Все, чем красна была жизнь, слагалось для него в одни военные тревоги, и если наступали совсем мирные времена, он целые дни проводил в совершенном бездействии, и скука одолевала его тогда до одурения. Но лишь повеет войной — и он встрепенется, как расправляющий крылья орел. Приготовления к набегам были для горской молодежи минутами, полными поэтических увлечений, радужных мечтаний, ярких надежд, таинственной заманчивости неизвестного будущего. И в самом деле, два-три дня набега — и до того безвестный юноша мог воротиться героем, богачом, человеком влиятельным, идолом красавиц горянок... И вот, при одном слове “сбор”, извилистые, кривые улицы лезгинского селения мгновенно наполнялись толпами вооруженного народа. На открытом воздухе жарился шашлык, приготовлялись хинкали, другие чистили оружие, иные уже были верхом или бродили вокруг своих оседланных коней. Боевая одежда их не отличалась ни красотою, ни опрятностью, но зато каждый оборванный горец, сложив накрест руки, или взявшись за рукоять кинжала, или, наконец, опершись на винтовку, смотрел так величаво и гордо, как будто бы был властелином вселенной, попираемой его сафьянными чувяками.

Эти преисполненные душевных треволнений приготовления к набегу описываются в песнях с величайшими подробностями. “Снял,— говорится в одной из них,— с жерди

овчинный полушубок, отряхнул от пыли и надел на себя, снял с гвоздя хоросанскую шапку, два-три раза встряхнул ее и надел на голову...” Потом следует подробное перечисление оружия: “... египетский меч с написанным приветствием пророку: крымская или можарская винтовка с голубым прикладом; конь, как невеста, убранная к свадьбе...

Хлопнув ладонью по коню, садится на него молодец и пускается в путь. Дай Бог тебе счастья!..” Далее певец так рассказывает о подвигах своих соотечественников: “... где коснулась рука наша — там плач поднялся, куда ступила нога — там пламя разлилося: захвачены прекрасные девы и пойманы мальчики, цветущие здоровьем...”

Справедливость требует, однако, сказать, что по самым условиям местности, среди которой они росли, горцы должны были уступать собственно в наездничестве остальным племенам Кавказа. Какое наездничество возможно было там, где справа терлось плечо об отвесную скалу, а слева под самым стременем зияла бездонная пропасть! Зато военные соображения лезгин были всегда дальновидны, здравы и основаны на знании местности и обстоятельств. В этом отношении они далеко превосходили своих соседей чеченцев. Все крупные исторические события Кавказа начинались в горах, и лучшие предводители горцев — Кази-мулла, Гамзат-бек, Шамиль, Сурхай, Ахверды-Магома, Шуаип-мулла, Хаджи-Мурат, Кибит-Магома — были уроженцами Нагорного Дагестана. И если чеченцы умели также искусно пользоваться местностью, то лезгины неизмеримо превосходили их в искусстве укрепляться, которое доведено было у них до совершенства. Насколько чеченцы были отважны и дерзки, настолько же лезгины были решительны и стойки — качества, не достававшие первым. Чеченцы были склонны преимущественно к войне наезднической; дагестанцы, наоборот, если вели войну, то имели всегда положительные и верные цели; набеги же, о которых сказано выше, служили только забавой и военной школой для молодежи, оселком, на котором пробовалась храбрость каждого из них, но они никогда не приобретали серьезного значения. Народ поднимался только тогда, когда предстояла нужда завоеваний и особенно когда ему угрожало вражеское нашествие. В этом последнем случае природа являлась грозной союзницей горцев, и самые аулы их представляли непреодолимые твердыни, брать которые с бою было делом отчаянным, допускавшимся лишь в исключительных и особенно важных для края обстоятельствах. Аулы лезгин строились всегда на труднодоступной местности, и, чтобы добраться до них, надо было или карабкаться по отвесным тропам под градом пуль и огромных каменьев, сбрасываемых со скал, или, напротив, спускаться в бездонные пропасти, лепясь по карнизам или по ступеням, высеченным в скале, висевшей над бездной в тысячи футов глубиной.

Впоследствии, чтобы открыть свободный доступ к некоторым селениям горцев и проложить военные пороги, русским приходилось взрывать целые утесы в таких местах, которые не представляли даже точки опоры для ноги человека. Самые сакли в аулах помещались тесно, бок о бок одна с другою, чтобы в случае надобности через пролом в стене можно было переходить из одного помещения в другое. Для удобства защиты сакли нередко располагались притом амфитеатром, в несколько ярусов, доставлявших друг другу взаимную оборону. Таким образом, даже ворвавшись в аул, приходилось брать штурмом каждую отдельную саклю, а каменная сакля лезгина представляла вид небольшой крепости, обнесенной стенами с бойницами и башнями. Понятно, что потери при взятии дагестанских аулов должны были быть громадны. Зато, впрочем, и взятый с бою аул, преданный огню и превращенный в груду мусора, делал обитателей его нищими в полном значении этого слова.

Как у всех истинно воинственных народов, павшие в бою джигиты приобретали в глазах правоверных священное значение, и над их могилами водружались шагиды, знамена,—

такие же, как и в Чечне, и в Кабарде, и в Закубанье. И здесь их было не меньше, потому что дагестанские горцы ничего не страшились так, как смерти без погребения, и потому во время сражений оказывали чудеса храбрости, чтобы вынести из боя тела своих павших товарищей. Ничто не огорчало их так, как обезглавленный труп горца, и они решались на всякие жертвы, чтобы только выручить голову земляка и предать ее честному погребению на родном кладбище.

Все поэтические предания, все мечты горца сосредоточены на его военных подвигах. Сверх песен, подобных приведенной выше о приготовлениях к набегу, существует еще целый цикл их, посвященный рассказам о неисчислимых набегах за Алазан, в Кахетию, или на плоскость — в шамхальство. Это собственно песни о вождях, предводительствовавших набегами. Некоторые из них, восходя к отдаленнейшим временам, служат единственным средством для передачи славных имен предков в назидание подрастающим поколениям.

Рядом с этими песнями в Дагестане есть много легенд, свидетельствующих не только о богатстве народной фантазии, но и о пламенной любви дагестанцев к их бедной и суровой родине. Народ помнит, как на его свободу посягал великий завоеватель Надир-шах, и с понятной гордостью занес в свои легенды победу над этим непобедимым властителем Ирана. И в долгие зимние вечера, когда глубокий снег и вьюга не выпускают горца из сакли, молодое поколение, слушая перед домашним очагом рассказы старины, воспринимает память о доблестной защите отечества как лучшее наследие предков. С одной из легенд о вторжении в Дагестан Надир-шаха связывается, между прочим, предание о злополучном шах-Мане, которое отразило на себе следы страшной и упорной борьбы народа за старину против попыток новаторства. Легенда эта заслуживает нашего полного внимания.

Долгое время,— говорит предание,— среди дагестанцев не было человека, который бы силой своего ума, энергии и воли сплотил народ воедино, обуздал его дикий характер и водворил бы в стране порядок и устройство. Наконец, в половине минувшего века, такой человек явился в лице шах-Мана, одного из владельцев, пылкого, предприимчивого, одаренного всеми качествами, чтобы осчастливить свою родину благодетельными реформами. Но какая-то неблагоприятная звезда взошла над колыбелью этого владельца в самый час его рождения; какие-то темные, враждебные силы противодействовали всем его добрым намерениям и, заставляя делать зло, отравляли жизнь его всевозможными бедствиями. Весь преданный мысли составить счастье своему народу, он задался несбыточными мечтами пересоздать общественный строй Дагестана, смягчить неукротимые нравы своих одноземцев и обратить их силы и энергию на мирный труд земледелия, в котором видел залог благоденствия, оседлости и гражданского устройства. Но мирная жизнь не могла удовлетворить дагестанцев. Началась глухая подпольная борьба между ним и подданными, и эта борьба разрешилась наконец открытым возмущением, во главе которого стали собственные его сыновья.

Однажды, в праздник Байрама, когда шах-Ман сидел со своими нукерами за трапезой, толпа бунтовщиков ворвалась в его дом и потребовала, чтобы он оставил страну, угрожая в противном случае “судом кинжалов”.

Несчастный преобразователь встал из-за стола, надел полное вооружение и приказал подать себе боевого коня. Мрачные чувства наполняли его душу, и грозный и суровый явился он перед толпою, осудившей его на изгнание.

— Неблагодарные! — сказал он народу, и взор его блеснул негодованием.— Не я ли хотел устроить ваше благоденствие? Не я ли указал вам на лучшую жизнь? Чем же вы отблагодарили меня? Мое сердце и душа чисты перед Аллахом и святым судом его; но вы какой ответ дадите ему в страшный час смерти?

Взор шах-Мана остановился на сыновьях, виновниках постигшего его несчастья.

— Не укроетесь вы от моего мщения,— сказал он им,— как не укроетесь от праведного суда Божия! Прощай, страна неблагодарных! Ты вооружила сыновей против отца, и раздраженный отец удаляется, с тем чтобы вернее отомстить тебе!

Проезжая чужие владения, шах-Ман всюду встречал привет и радушие. Соседи, уважая ум и храбрость его, предлагали ему свою помощь, и сотни отважных наездников окружали дагестанского витязя. Но шах-Ман не довольствовался этим: он ехал искать покровительства Персии.

Тихо прошли три года со времени изгнания шах-Мана. Дагестанцы забыли уже об его угрозах, как вдруг пронеслась громовая весть, что в Дагестан вошли персияне. То были передовые полки грозного завоевателя Надир-шаха; с ними был и шах-Ман.

В Чир-Виниате произошла первая битва. Персияне, предводимые братом шаха, Курбаном, были разбиты наголову; при втором поражении сам Курбан захвачен был в плен, и озлобленные дагестанцы сожгли его живым, а прах через пленного персиянина отослали к шаху. Тогда Надир-шах поклялся выстроить на месте сожжения Курбана памятник из дагестанских голов — и сдержал свою клятву.

Три дня бились дагестанцы с персиянами, и победа долго не склонялась ни на ту, ни на другую сторону; на четвертый дагестанцы были побеждены, и едва только третья часть их спаслась бегством. Над могилой брата Надир-шах действительно воздвиг курган из камней и человеческих голов. И этот курган, развалины которого существуют еще и поныне, служит немым историческим памятником, свидетельствующим о жестокой мстительности шаха над побежденными народами.

Но ни честолюбие Надира, ни мщение шах-Мана не могли довольствоваться только одним поражением дагестанцев. Шаху нужна была покорность страны, шах-Ману — ее разорение.

И вот, дождавшись новых несметных подкреплений, прибывших из Персии, Надир, не встречая уже нигде сопротивления, двинулся дальше, дошел до Казикумыкского ханства, разбил его защитников, и теперь ему оставалось только покорить небольшое племя андаляльцев, чтобы считать себя повелителем всего Дагестана. Но горсть отважных андаляльцев укрепилась в непроходимых горах Обохских и смело ожидала к себе неприятеля. Враги встретились в глубокой долине, омываемой пенистым Орда-Ором.

На Чохском спуске,— рассказывает одна дагестанская народная песня — Надир-шах, увидев подходивших андаляльцев, воскликнул: “Что это за мыши лезут на моих котов?” Тогда предводитель андаляльцев Муртазали ответил покорителю Индустана: “Подлый шиит! Разгляди хорошенько своих куропаток и моих орлов, твоих голубей и моих соколов!” Завязалась страшная битва. На стороне персиян была громадная численная сила, на стороне андаляльцев — правда и мужество. Шах выдвигал все новые и новые полки, а андаляльцам нечем было сменить своих уставших воинов — и мужество уступало силе. Андаляльцы уже колебались, уже персияне торжествовали победу, когда

внезапно в стороне, заглушая шум битвы, раздался исступленный крик, заставивший смутиться победителей. Это было последнее подкрепление андаляльцев, состоявшее из женщин и стариков, остававшихся дома. С дикой яростью устремились робкие жены на пришельцев, и на их обнаженных шашках ярко отразились последние лучи заходящего солнца. Орда-Ор кровавыми пенистыми волнами катился в утесистых своих берегах и разносил по окрестным горам весть о гибели храбрых мусульманок. Отчаянно бились андаляльцы и жены их и дети, отстаивая свободу родины. Ночь разлучила врагов. Но андаляльцы остались при твердом решении или пасть всем до последнего человека, или выгнать персиян из Дагестана. В наступившее утро, чтобы лучше обмануть неприятеля, мужчины оделись в женское платье, а женщины — в мужское, в том расчете, что персияне прежде всего устремятся на женщин. Впереди всех шли двое мулл; один нес Коран, другой — знамя Суни. И когда обе стороны сблизились, андаляльский мулла открыл Коран и прочел стих: "Двери рая открыты для падших за родину". Андаляльцы с яростью бросились на персиян — и на этот раз сила уступила перед мужеством. Началось нещадное истребление ненавистных иранцев. Напрасно набожный мулла просил своих единоверцев щадить побежденного неприятеля; его никто не слушал: смерть, и смерть самая страшная, постигла большую часть незваных гостей. Надир-шах лишь с несколькими телохранителями ускакал в Дербент, шах-Ман скрылся в соседние горы.

История говорит, что эта кровавая битва произошла в 1742 году под андаляльским аулом Чохом.

Тяжело было состояние души шах-Мана, убитого горестью, терзаемого угрызениями совести. Смотря на разорение несчастной родины, он сознавал, что виновником вражеского нашествия был он один, и жизнь стала для него тягостной. Видя в роковых совершившихся событиях предопределение судьбы, он решил окончить жизнь свою там, где ее начал, и сам отдался в руки своих соотечественников.

Был праздник. Дагестанцы толпою выходили из мечети, когда шах-Ман верхом и в полном вооружении явился перед ними.

— Правоверные! — сказал он им.— Вы были несправедливы ко мне, и я дал клятву отомстить вам. Но Аллаху не угодно было, чтобы я ее исполнил. Я пришел умереть от ваших рук. Но если в сердцах ваших есть еще чувство справедливости, если вы еще боитесь гнева Аллаха, то его именем повелеваю вам казнить на моей могиле этих чудовищ! — он указал рукою на своих сыновей.

Взволнованный народ бросился на него с кинжалами.

Он пал. Но дагестенцы исполнили также и последнюю волю злосчастного хана: неблагодарные сыновья были заколоты на его могиле.

На почве дикой воинственности возникали и в мирном быту дагестанцев суровые, страшные нравы и отношения. Как все кавказские народы, лезгины признавали священным обычай кровомщения, но у них он принимал исключительные, чудовищные размеры. Вот что рассказывал по этому поводу сам Шамиль уже в то время, когда, после полного покорения Кавказа, он жил в Калуге.

Лет за триста до нашего времени житель мехтулинского аула Кадор, по имени Омар, украл у соседа своего, Юсуфа, курицу — и поплатился за нее бараном. Находя, что сосед взял слишком большие проценты, и не желая оставаться в долгу, Омар отнял у него для уравнения счетов двух баранов. Тогда Юсуф, в свою очередь, счел нужным соблюсти

справедливость и отбил у Омара корову. Корова стоила ему пары добрых быков. В возмездие за это олицетворение богатства горских народов Юсуф подкараулил Омарова жеребца и обратил его в собственность. Хороший конь ценится горцами Восточного Кавказа несравненно дороже, чем горцы Кавказа Западного ценят своих дочерей, а потому, для возмещения своих убытков, Омар убил самого Юсуфа, вскочил на милого своего жеребца и скрылся с родины.

Тогда ближайшие родственники Юсуфа, обязанные по обычаю отомстить за кровь его, явились к дому Омара и общими силами разрушили его до основания. Убедившись, однако, что сам хозяин дома неизвестно куда бежал, они подкараулили какого-то дальнего родственника Омара, попавшегося им на глаза прежде других, и убили его. Родственники этого родственника, находя, что в убийстве Юсуфа он был лицом совсем постороннего ведомства, убили одного из родственников Юсуфа. Эти последние убили двух родственников Омара, и вот кровомщение, или, как русские привыкли называть его, канлы, проявилось во всей своей силе. В этом, впрочем, нет ничего удивительного — кровомщение в Дагестане дело слишком обычное. Но невозможно не ужаснуться, узнав, что кровомщение за Юсуфа, начавшееся триста лет назад, продолжалось еще при Шамиле. Триста лет людская кровь лилась из-за курицы.

Такой порядок дел обещал продолжаться бесконечно. Поколения, возросшие в таких понятиях и при такой окружающей жизни, где кровь считалась ни во что и жизнь человеческая ценилась дешевле цыпленка, сменялись такими же поколениями, пока в лице русских не появилась цивилизующая посторонняя сила, опрокинувшая их кровавый быт. Но даже и теперь, долго спустя после покорения Кавказа, среди гор можно встретить старого джигита, который с презрением смотрит на новых людей и на новые порядки и вздыхает по старым временам, когда “совесть была, и потому соблюдался обычай мести”. “У вас, русских,— скажет вам этот представитель отживающих поколений,— руки сильные, да души воробьиные... Разве подобает мужу крови бояться?.. Эх, было время!..”

При таких воззрениях грабеж и разбой, доставлявшие горцу нередко обильные средства для жизни, становились тем же, чем была торговля для образованных народов, и отважный джигит, как почтенный купец средних веков, пользовался всеобщим уважением.

Украсть, отнять — им все равно:
Чихирь и мед кинжалом просят
И пулей платят за пшено...

Единственное исключение, которое допускали воинственный быт и презрение к торговле и вообще ко всякому мирному занятию, было в пользу некоторых ремесел, которыми славились многие местности. Но и эти ремесла, впрочем, стояли в теснейшей связи с характером народным и устремлялись на предметы воинственного щегольства и на оружие. Так, целому Кавказу известны знаменитые базалаевские кинжалы, кубачинская отделка оружия, андийские бурки, особенно белые, доступные, однако, по ценам только людям очень богатым, наконец кельские шали — особый род мягких превосходных сукон, выделкой которых занимаются, впрочем, исключительно женщины.

Естественно, что племена горного Дагестана, гордые и воинственные, опираясь на неодолимую преграду своего края, долго сохраняли свою независимость и противились всякой попытке ограничить их своевольную, разбойничью дерзость. Да и не могли они отказаться от своих набегов на соседние страны, как скоро те уходили из-под их влияния и не делились с ними дарами богатой природы мирным образом.

Отсюда и возникали те странные отношения между Нагорным Дагестаном и русскими властями на Кавказе, которые поражают на первый взгляд своей неестественностью. Собственно, Нагорный Дагестан никогда не был и не мог быть театром борьбы его жителей с северными пришельцами. В самые острые моменты борьбы, даже в последние дни окончательного покорения страны, русские войска не проникали далеко внутрь ее гор, где совершенно не было путей, и ограничивались почти только окраинами ее. Но где бы ни появлялись русские силы, они всюду сталкивались с лезгинами: Грузия веками служила для последних ареной побед и обогащающего грабежа; Чечня была житницей Дагестана; приморские страны всегда были под их влиянием, и русское владычество в этих странах было равнозначаще с поставлением и самого Дагестана в зависимость от России по отношению к самым существенным интересам бедной нагорной страны.

Таким образом, еще задолго до Ермолова, русское влияние уже было сильно в горах Дагестана. Правда, дагестанцы ненавидели русских и не помышляли о настоящем, действительном подданстве России. “У нас,— говорил один койсубулинец,— не много места для того, чтобы посеять хлеб, но его весьма довольно, чтобы засеять русскими головами. Гяуры задумали удержать нашу Койсу решетом, так пусть же берегут и решето и руки! Пока светит солнце и блестит на солнце железо, никто не будет указывать койсубулинцам, куда не ездить и чего не делать!” Но это были слова и чувства, а фактические, фатальные обстоятельства делали свое дело, и сильнейший властитель самого центра Нагорного Дагестана, аварский хан, уже давно считался русским подданным, как и некоторые другие соседние горские племена и народы.

Но, конечно, это был только внешний вид подданства, не гарантировавший России ни будущего, ни настоящего. Ко времени Ермолова аварским ханом был Султан-Ахмет, старавшийся уверить, что только его влиянию русские и были обязаны спокойствием внутри Дагестана. “Многие из моих предшественников,— говорит Ермолов,— этому верили и исходатайствовали ему чин генерал-майора и пять тысяч рублей ежегодного содержания. Исправным получением этого жалованья, впрочем, и ограничивались все его отношения к России”. В душе он ненавидел русских и не терял удобных случаев вредить им, где только было можно. Гордый и честолюбивый, полный воспоминаниями о победах своего предместника, знаменитого в горах Омар-хана, не раз приводившего в трепет Грузию, он-то, в сущности, и группировал около себя все, что было враждебно русскому влиянию в Дагестане. Ермолов своим пытливым и проницательным умом скоро разгадал ту роль, которую играл аварский хан, выставлявший себя другом России, и открытой политикой вынудил его к откровенным действиям. Последовавшая затем неизбежная борьба принесла свои великие плоды, обнаружив перед народами Нагорного Дагестана всю силу России и водворив в этой стране полное спокойствие, по крайней мере до тех пор, пока мусульманский фанатизм снова не взволновал все горы Кавказа от края до края.

Несколько иную картину представляет собою Прибрежный, Приморский, Прикаспийский Дагестан. Правда, вся западная, большая половина его все еще загромождена горными отрогами Кавказского хребта и во многих отношениях составляет прямое продолжение Нагорного Дагестана, но здесь уже переходные формы гор. Суровые и неприступные на западе, они, по мере приближения к морю, одевались роскошной зеленью, богатыми пастбищами и густыми лесами чинар и орешника. А дальше, за исключением незначительной местности у самого Дербента, где горы упираются в море, все каспийское побережье, особенно на севере и юге, представляет равнину. На севере эта равнина песчана и солонцевата, но орошается многоводным Сулаком, образующимся из слияния четырех бешеных горных рек. На юге, на пространстве более ста восьмидесяти верст, по значительному склону мчится быстрый и необычно глубокий — достигающий местами до

двух с половиной саженей глубины — могучий Самур, орошающий обширную долину, отличающуюся необыкновенным плодородием.

И жители этого края — иные. Здесь аварцы представляют уже исключение, а преобладающими племенами являются: на севере — кумыки, на юге — татары и, наконец, в самом центре Приморского Дагестана — лаки, известные под именем казикумыкцев. Кроме того, в окрестностях Кубы, в Кюринском ханстве, в Каракайтаге и Табасарани много потомков древних евреев, проникших, по преданию, даже и в самые горы, в землю андийцев. С течением времени племенные отличия их сгладились, и они слились с другими племенами Дагестана.

Приморскому Дагестану досталась на долю вековая борьба с многочисленными народами, мимоходом или с целью завоеваний приходившими сюда. Приморская долина была открытыми воротами для азиатов, вторгавшихся в южно-европейские степи. Позже, со времен Ивана Грозного, русские настойчиво стремятся утвердить свое господство в северной части его, в шамхальстве Тарковском, чтобы открыть через него свободные сообщения с Грузией. И когда, в начале нынешнего века, Россия твердой ногою стала в Закавказье, Приморский Дагестан очутился в середине русских владений. Судьба его была предрешена. И север, где лежало шамхальство Тарковское, и юг, где были древние ханства Дербентское, Бакинское, Кубинское и, наконец, Кюринское, отторгнутое русским оружием из-под власти казикумыкского хана, скоро стали в теснейшую зависимость от русских и частью обратились даже в простые русские провинции.

Но Средний Дагестан все еще оставался относительно независим. Правда, там, за исключением Даргинских обществ, все остальные земли не раз присягали на верность русскому государству, но эта присяга образовывала чисто фиктивную зависимость, подобную той, в какой находились народы Нагорного Дагестана, и только на них, расположенных в более доступных местах, у русских руки были, так сказать, длиннее. Каракайтаг, Казикумык, Табасаран и даже ничтожная Мехтула, лежавшая на севере, не только не принимали на себя никаких обязательств, не только не платили дани, а напротив, сами домогались получать некоторую дань в виде даруемых владетелям их чинов, отличий и содержаний. Сильнейшими из этих соседних владетелей считались в то время казикумыкский хан Сурхай и каракайтагский уцмий Адиль-Гирей. Обоим им предместники Ермолова и предлагали чины генерал-майор и по две тысячи жалованья, но оба они с негодованием отвергли предложение, требуя, чтобы их сравняли с шамхалом, имевшим чин генерал-лейтенанта и получавшим шесть тысяч содержания. Подобные переговоры и предложения, делаемые людям, явно враждебным России, поселяли в них только мысль, что их ласкают из боязни, и дерзость их возрастала по мере русской уступчивости. Ермолову приходилось, таким образом, исправлять старые, закоренелые ошибки. И вот как поступает он, например, в деле с мехтулинским ханом.

Нужно сказать, что хан мехтулинский представлял собою в некотором роде исключение: он никогда не присягал на подданство России и за то не пользовался от нее никакими прерогативами. Но перед самым началом мятежа 1818 года, даже и он, через посредство аварского хана, родного своего брата, обратился к Ермолову с просьбой о принятии его в подданство. Передавая эту просьбу, аварский хан вкрадчиво спрашивал Ермолова: “Какие же будут за это милости новому подданному от императора?”

Ермолов ответил, что русский государь не покупает подданных милостями и наградами, а щедро дает их тому, в ком видит усердие и верность. “И брату вашему,— писал он аварскому хану,— должно те милости прежде заслужить, нежели просить их”. “Впрочем,— добавлял Ермолов,— должен сказать вам, что я брата вашего и других,

подобных ему, беков не разумею иначе, как или подданными моего государя, или как неприятелями России. Я и в том и в другом случае знаю, как мне поступать надлежит”. Естественно, что политика Ермолова, не поощряя дерзостей ханов, несомненно увеличивала их раздражение. Если прибавить к этому, что в Дагестане укрывались постоянно беглый грузинский царевич Александр и изгнанный владелец Дербента шейх-Али-хан — оба закаленные в ненависти и интригах против России, то будет понятно, что именно в Среднем Дагестане, да в Мехтулинском ханстве, на севере, скопились ко временам Ермолова многочисленные горючие материалы восстания. Здесь, следовательно, и должен был образоваться театр борьбы.

Энергичная, прямая и неуступчивая политика Ермолова должна была скоро воспламенить все эти горючие материалы и привести к покорению всех независимых стран Приморского Дагестана, охватившего и Дагестан Нагорный железным кольцом русской власти. С тем вместе должны были окончиться и времена как бы шуточных, двусмысленных зависимостей. Настает эпоха действительного покорения разбойничьих племен мошной рукою Ермолова.

XIII. БЕГСТВО ЦАРЕВИЧА АЛЕКСАНДРА

Одной из первых забот, встретивших Ермолова на Кавказе, была забота о том, чтобы изыскать какие-либо средства воспрепятствовать грузинскому царевичу Александру, бывшему тогда в Дагестане, вносить вечные смуты в Грузию и в смежные с нею земли. Задача, уже сама по себе представлявшая многие затруднения, усложнялась предыдущей системой русских отношений к царевичу, приведшей к результатам как раз противоположным тем, которые были желательны.

После грузинского возмущения 1812 года царевич, загнанный рядом неудач в Хевсурию, а оттуда блестящим походом генерала Симановича выбитый в Дагестан, некоторое время жил тревожной жизнью бесприютного скитальца и раз был даже ограблен одним из дагестанских народов, отнявшим у него трех русских пленных, лошадей и все вещи. Но значение его и в Дагестане постепенно росло, и в 1816 году он является уже значительным лицом, обнаруживающим веское влияние на умы народов Дагестана. Этим он был обязан, с одной стороны, стремлению персидского двора сделать его орудием своих целей по отношению к России, а с другой — ряду ошибочных в политическом смысле действий по отношению к нему русских властей. Ввиду растущего влияния царевича предшественник Ермолова, Ртищев, мог опасаться, что царственный авантюрист снова может явиться с лезгинской силой в отечестве своем и встретить там приверженцев среди дворянства, еще склонного ко всяким смутам, еще колеблемого сомнениями насчет будущих судеб родины. И снова на глазах у всех лезгины обогащались бы добычей, толпами отгоняли пленных и продавали их в рабство, а ослепленные приверженцы старых порядков, не замечая разорения родины, стремились бы возвратить царевичу невозвратимо утраченный престол.

Чтобы предотвратить междоусобия в Грузии, и Ртищев, и вообще предместники Ермолова старались склонить царевича примириться с русской властью в его наследственном царстве, обещая ему всевозможные милости русского государя. Но чем больше они ухаживали за царевичем, этим самым фактом они тем значительнее придавали ему роль: он мог открыто и показательно похвастать перед персидским двором, как важен он в глазах русских. По словам Ермолова, об одном только маркизе Паулуччи можно сказать, что он не делал царевичу никаких предложений. Перед самым приездом Ермолова на Кавказ с царевичем велись переговоры при посредстве известного армянина Ивана Карганова, и шли, казалось, настолько успешно, что генерал Дельпоццо, командовавший

тогда Кавказской линией, отправил к нему богатые дары и был так уверен в его согласии выехать из гор на линию, что готовил ему в Кизляре пышную встречу. Царевич, конечно, не ехал и старался только выманить как можно больше денег.

Теперь Ермолову предстояли действия в двух направлениях, которые он тотчас же и наметил. Ряд действий его имел, во-первых, целью показать и персидскому правительству, и народам Дагестана и Грузии, что он не придает ровно никакого важного значения царевичу; с другой стороны, он принял все меры к тому, чтобы, если то будет возможно, захватить его в свои руки и тем сразу покончить весь вопрос.

Прежде всего Ермолов, еще проездом через Кавказскую линию в Тифлис, приказал Дельпоццо прекратить с царевичем сношения. Царевич всего менее ожидал подобной невзгоды. “Иссякли вдруг новые источники его доходов,— говорит Ермолов,— и он во гневе своем прислал ко мне письмо, упрекая за происки лишить его жизни. Я ответил ему, что человек, знаменитый, как он (царевич), развратной жизнью, подлостью и трусостью, опасен быть не может и что я ни гроша не дам ни за жизнь, ни за смерть подобного подлеца. Письмо это было одно, которым он, конечно, не похвастался персидскому правительству”.

В то же время, перед отъездом в Персию, Ермолов предъявил к анцуховцам, у которых тогда скрывался царевич, следующее категоричное и безусловное требование: “Итак, анцуховцы, я теперь требую и повелеваю вам в течение трех недель непременно выдать мне царевича Александра как явного изменника против России. Если же вы сего не исполните, то...” — и Ермолов угрожал им напустить на них джарцев и белоканцев. В этом требовании сказалась, между прочим, забота Ермолова поскорее захватить царевича в свои руки, так как ему было известно от анцуховских старшин, что приглашение царевича к побегу в Персию шло от самого Аббас-Мирзы и что “от сего шахского сына выслано ему и денежное пособие”, о чем Ермолов уведомил тогда же и министра иностранных дел графа Нессельроде.

Анцуховцы, впрочем, царевича не выдали, но, чтобы смягчить гнев Ермолова, они объясняли впоследствии свой поступок тем, что “приняли к себе царевича не с вредными какими-либо намерениями, а как гостя, коему, по их обычаю, не могли отказать в гостеприимстве, и были уверены, что он выехал от них в Кизляр”,— обстоятельства, давшие и Ермолову благовидный предлог освободиться от исполнения данной анцуховцам угрозы. Так или иначе, но царевич должен был оставить Анцух. В ночь на тринадцатое июня 1817 года он бежал в селение Гукхали, а оттуда — в вольное общество. Каралал, с намерением пробраться в Персию в армянском платье под видом торгующего купца, а иногда и простого крестьянина.

В Каралале царевичу грозила опасность выдачи. Нужно сказать, что еще в то время, когда, летом 1813 года, беглый царевич переходил из Митхо в Дичих, из Дичиха — к вершинам Шаро и так далее, аварский хан, как было дано знать царевичу из Хунзаха, вел переговоры с русскими о выдаче его за шесть тысяч рублей серебром. Теперь эта попытка была возобновлена. Аварская ханша писала Дельпоццо следующее: “... царевич говорит, что “буду в России” — это только мягкие слова его для того, чтобы провести; но человек, имеющий рассудок, этим словам не поверит. Если вы отъезда его не желаете, то приезжайте скорее сюда не теряя минуты и привозите с собою денег”. Чтобы обольстить каралальцев, необходимо было десять тысяч рублей, и Дельпоццо уверяли, что “блеск серебра и золота может убедить наверное тот народ изменить царевичу”.

Но принимаемые меры не привели, однако, ни к чему. Год спустя царевич успел пробраться в Персию, чему, впрочем, помогла невероятная оплошность русских пограничных кордонов.

Дело было так.

В июле 1818 года стало известным, что царевич нанял за тысячу рублей в проводники известного лезгинского белада, вожака хищнических партий, Нур-Магомета. Еще было у всех в памяти, что в 1812 году царевич проехал из Ахалцыха в Кахетию, переправившись через Куру недалеко от Мцхета, в Демурчасалах; знали также, что Нургмагомет разбойничал по большей части со стороны Картли и нередко пробирался в Ахалцых через места, лежавшие между Тионетами и Эрцо, и что, следовательно, ему всего удобнее было избрать именно эти дороги как наиболее известные. Таким образом путь бегства царевича был угадан, и всем сторожевым постам, лежащим на этом пути, предписано было принять соответствующие меры.

Но все предосторожности и предписания помогли очень мало, и именно потому, что царевич на этот раз повел все дело побега с необыкновенной смелостью. Переправясь через Куру, действительно, в Демурчасалах, шестнадцатого августа, он отпустил лезгин и с одной свитой, состоявшей из двенадцати человек грузин, поехал большой дорогой прямо через казачьи посты, на которых нередко останавливался и даже разговаривал с казаками. Это были донские казаки полка войскового старшины Табунщикова, занимавшего тогда кордонную линию по всей турецкой границе. Ни одному казаку не пришло на мысль, что это царевич, хотя и нетрудно было догадаться о том по запыленным костюмам всадников, видимо, ехавших издалека, и по дорожным вьюкам, сопровождавшим их. Через десять дней, двадцать шестого августа, царевич уже был на Хуссейн-ханском посту, последнем к стороне турецкой границы, верстах в семи от полковой штаб-квартиры. Табунщиков накануне получил приказание обратить особенное внимание именно на этот пост и стеречь царевича, уже выехавшего из места своего пребывания с двенадцатью вооруженными всадниками. И тем не менее царевич переправился через пограничную речку в виду постового начальника, который даже разговаривал с некоторыми людьми из его свиты. Оплошность была так велика, что царевич, как оказалось впоследствии, среди белого дня проехал через самую штаб-квартиру полка, между домом, где жил сам Табунщиков, и его огородами, на глазах казаков, смотревших на него и забавлявшихся песнями. О его проезде узнали только на следующий день из слов принадлежавшего к свите царевича, князя Агата-Швили, который, неосторожно замешкавшись где-то в Картли, проезжал позже и был схвачен казаками почти у самой границы. “Жаль мне,— писал Ермолов,— что оплошность донских казаков уничтожила все меры благоразумной осторожности, принятые начальством”. Однако же он оставил виновных без всякого взыскания, желая тем показать грузинам полнейшее равнодушие к судьбе царевича.

Царевич был уже в турецких землях, в Хертвисе. Но к захвату его, хотя бы и в турецких владениях, была сделана новая попытка. Предприимчивый полковник Ладинский предполагал составить сильный конный отряд из татар и казаков, поддержанный частью пехоты, посаженной на лошадей, и захватить царевича при переезде его из Турции в Персию. Храбрый и распорядительный майор Белецкий брался командовать партией. “Не надобно затрудняться,— писал по этому поводу Ермолов управляющему Грузией генералу Вельяминову,— ежели схватят его (царевича) на землях турецких. Необходимо соблюсти только, чтобы употреблены были одни татары без наших войск; майор Белецкий может начальствовать ими только переменив одежду. Царевича щадить и лишить его жизни только в случае крайности. Если удастся предприятие, то царевича живого или

мертвого поставить в Тифлис, чтобы впоследствии неблагонамеренные люди не могли разгласить, что он жив, и волновать этим легковерных грузин". Предполагалось даже, что погребение царевича в Тифлисе с некоторой почестью отнимет поводы ко всяким вымыслам. "Ободрите татар,— писал при этом Ермолов Вельяминову,— которые нам служат с большой пользой, нежели донские казаки, а за сими последними учредите строжайшее наблюдение, ибо лучше не иметь их, нежели терпеть бесчестную их службу".

Сообразно с приказанием Ермолова и Вельяминов писал Ладинскому: "Жизнь царевича старайтесь сохранить, но с персиянами, которые будут в свите его, не затрудняйтесь; если не уйдут они и не сдадутся, то их истребите, ибо сие не только не будет нарушением трактата с нашей стороны, а напротив, оно будет нарушением доброй приязни со стороны самих персиян". Позднее распоряжение об отправке царевича в Тифлис было отменено, и приказано провезти его через Ананур прямо в Моздок.

Но с одними татарами, как предполагал Ермолов, действовать, однако, оказалось крайне рискованным, так как слух о сборе их неминуемо дошел бы до царевича и послужил бы ему предостережением. Тем не менее Ладинский принялся под рукой собирать охотников, а между тем послал в Хертвис одного из местных татар, некоего Али-бека, чтобы узнать, кто будет сопутствовать царевичу. Было дознано, что царевич поедет под прикрытием персидского конвоя в сто пятьдесят человек и в сопровождении трех братьев, известных в крае разбойников,— Джелиля, Халиля и Ахмеда. Али-бек уговорил их повидаться с Ладинским, и в то время как старший брат остался при царевиче, двое младших ночью были у Ладинского и дали клятву повести царевича по такой дороге, где бы русским удобно было сделать засаду и напасть нечаянно. Условленно было, что они дадут знать за три дня до выезда царевича из Хертвиса и что при нападении русских они убьют под царевичем лошадь, схватят его и передадут русскому отряду. Братьям обещано было за то тысяча червонцев и пожизненные пенсионы, "ибо,— по мнению Ермолова,— лучше дать награды тем, кто истребит изменника, двадцать лет проливающего кровь христиан, чем дать пенсион самому изменнику".

Но все эти надежды и приготовления рушились сами собою. Турки задержали царевича в Хертвисе помимо его воли, и он переправился в Персию лишь в январе 1819 года.

В Персии его встретили приветливо, рассчитывая, что он по-прежнему будет играть беспокойную роль по отношению к России. И с этой целью, по настоянию Аббас-Мирзы, ему отведена была во владение лежащая на самой Карабагской границе богатая область Даралагези, населенная по большей части вышедшими прежде из Карабага жителями. Ему отпущены были даже деньги на устроение крепости на русской границе. Надеялись, что он, имея в Грузии еще связи, сумеет производить возмущения в ней и Дагестане и даже привлечет в свои владения жителей из татарских дистанций. Заботы Аббас-Мирзы о царевиче шли так далеко, что он намеревался даже женить его, "дабы имел он детей мужского пола"...

Но политическая роль царевича, несмотря на все ухищрения Персии, быть может, благодаря именно твердости и политическому такту Ермолова, была окончена. Во время персидской войны 1826 года имя его уже не производит на народ никакого обаяния — он просто был позабыт. Царевич понял это и, удалившись в Тавриз, дожил свой долгий и мятежный век частным человеком. Он умер в 1844 году на семьдесят третьем году от рождения, и могила его поныне видна в Шах-Абдул-Амазском квартале Тавриза.

XIV. РАЗГРОМ МЕХТУЛЫ

В самые первые годы ермоловского управления Кавказом лезгины не тревожили русских владений ни со стороны Грузии, ни со стороны Терской линии. Уроки, неоднократно данные им в Джарах, Белоканах и на Алазани, не прошли даром, и Дагестан, постоянно раздражаемый растущей русской властью, тем не менее оставался спокойным, несмотря на присутствие в нем грузинского царевича Александра, а с ним и персидских сумм, назначавшихся главнейшим образом именно на возбуждение в стране волнений и восстаний против России. Но порядок был непрочен. Поддерживаемый только системой фиктивного подданства и русскими жалованьями, он не обещал полного мира и мог быть ежеминутно нарушен. Действительно, хотя Ермолов, слишком хорошо знавший слабые стороны системы подарков, имевшей в глазах народов вид дани, не мог отказаться от нее совершенно и не выдавать, например, пятитысячного жалованья аварскому хану, считавшемуся генерал-майором русской службы, однако же его твердость и забота об истинной, а не внешней, кажущейся только покорности в этих странах скоро должна была вызвать волнения.

Ермолову удалось прежде всего устранить одну из причин беспорядков в горах Кавказа, искусно лишив грузинского царевича Александра его прежнего влияния. С царевичем было покончено без нарушения спокойствия в Дагестане. Но когда начата была постройка Грозной, когда встревоженные чеченцы, выставляя возведение крепости на их землях угрозой свободе всех кавказских народов, приглашали дагестанцев соединенными силами отвратить грозящую опасность, в горах Дагестана вспыхнул мятеж. Горцы собрались на совет и положили отправить пока на помощь к чеченцам белада Нур-Магомета с толпой конных и пеших аварцев. В то же время между ними возникает мысль образовать союз из всех дагестанских племен для совокупной борьбы с Россией. Аварский хан со своими сообщниками Хасаном дженгутайским и Сурхаем казикумыкским замыслили напасть на владения шамхала тарковского, а при удаче — и на богатую Кубинскую провинцию, прикрываемую незначительным отрядом генерала Пестеля, чтобы и их вынудить присоединиться к союзу. Авария, Мехтула и Казикумык действовали единодушно; к ним скоро пристала Табасарань, где Абдулл-бек ерсинский, зять Шейх-Али-хана, успел сформировать вооруженные скопища; в то же время сам Ших-Али при помощи персидского золота успел привлечь на сторону союза акушинского кадия и поднял воинственный, сильный и в высшей степени свободолюбивый народ акушинский. От шамхала потребовали, чтобы он отказался повиноваться русским, и часть его владений тогда же занята была мехтулинцами. Такое же требование предъявлено было и к уцмию каракайтагскому.

Ермолов, внимательно следивший за ходом событий, видел, что решающее значение в этом движении будут иметь акушинцы, а потому немедленно приказал генералу Пестелю с двумя батальонами пехоты и кюринской конницей занять пограничный с Акушой Каракайтаг, а от акушинцев потребовал присяги и аманатов.

Это внезапное требование смутило аварского хана, понявшего, что Ермолов проникает во все тайные замыслы Дагестана. Напрасно хан, под личиной дружбы, старался отклонить Ермолова от его намерения, обещаясь употребить все меры, чтобы удержать акушинцев спокойными и без аманатов. Ермолов, еще не имевший в руках очевидных доказательств измены аварского хана, показывал вид, что верит его словам, письменно благодарил его, но прибавлял, что так как он, аварский хан, упоминает о существующих в Дагестане обычаях, то должен сказать ему и о своем обыкновении: “Я, когда чего требую,— писал ему Ермолов,— то никогда уже того не переменю. Аманаты от даргинского народа мне надобны, и я их иметь буду, и присягу они дать должны. Может быть, хотят они иметь войска Великого Государя свидетелями оной, то и в этой чести я им не откажу”.

Двуличное поведение аварского хана, уже стоявшего тогда во главе вооруженной силы и в то же время писавшего приятельские письма Ермолову, побудило главнокомандующего к энергичным мерам. “Аманатов надо дать теперь, или будет поздно, — писал ему Ермолов вторично.— Если нет — постигнет мошенников наказание, а вашему превосходительству, как другу их, доставлю я удовольствие дать им у себя в горах убежище. Аманатов — или разорение!”

Названный “другом мошенников”, аварский хан понял, что ему не удалось обмануть главнокомандующего. Тогда он сбросил с себя личину покорности, призвал акушинцев и двинул их к Каракайтагу.

В октябре 1818 года до русского лагеря уже дошли тревожные слухи. Говорили, что дагестанцы в значительных силах сделали нападение на Пестеля, что бой длился два дня. Результаты сражения, однако же, еще известны не были, и только из Казиюртовского укрепления, на Сулаке, писали, что часть мятежников идет в Кубинскую провинцию, что сообщения с Дербентом прерваны и что последние предписания главнокомандующего Пестелю не могли быть отправлены.

Положение Ермолова было затруднительное. Приходилось действовать разом в Чечне и Дагестане, а между тем все войска, какими он располагал, до последней роты необходимы были под Грозной. Не имея возможности, по самому расчету времени, подать своевременную помощь Пестелю, Ермолов решился сделать диверсию в шамхальские владения, чтобы угрожать оттуда мехтулинскому хану, брату хана аварского, и этим отвлечь большую часть дагестанцев от преследования Пестеля. Он хорошо понимал, что образумить горцев можно только быстрыми, решительными действиями и поучительным уроком, какого они еще никогда не испытывали — и поход в Дагестан был решен безотлагательно, несмотря ни на малочисленность войск, ни на позднюю осень, ни на всю затруднительность действий в незнакомых горах, куда еще ни разу не проникало русское войско.

И двадцать пятого октября пять батальонов пехоты, триста казаков и четырнадцать орудий уже выступали из Грозной. Стояла грязная и сырая осень. Слякоть и дождь предвещали большие затруднения в походе, но привычные к лишениям всякого рода кавказские войска весело переправлялись вброд через Сунжу.

На берегу реки, нахмурив брови и скрестив на груди руки, стоял сам главнокомандующий, следивший за переходом на противоположный берег товарищей, как он называл всегда своих подчиненных, не исключая солдат. На нем надет был архалук, на голове папаха, через плечо на простом ремне висела шашка, сверху накинута бурка. Следуя примеру начальника, войска также не придерживались строго формы одежды; каждый солдат, каждый офицер был одет, как находил для себя удобнее: у одного на голове была папаха, у другого черкесская шапка; кто был в архалуке, кто в чекмене. Солдаты шли вольно, смотрели весело...

Главнокомандующий пристально следил за переправой. Сосредоточенное, задумчивое лицо и атлетическое телосложение придавали ему грозный и величественный вид. Неподалеку от него, почти рядом, стоял Мазарович, впоследствии поверенный при персидском дворе, описавший эту переправу. Посмотрев на Ермолова, он улыбнулся.

— Чему ты смеешься? — спросил главнокомандующий, быстро обернувшись к нему.

— Мне пришла смешная мысль,— ответил Мазарович.— Смотря на вас, мне представилось, что вы не генерал, а атаман разбойников.

— А знаешь ли ты, о чем я думал в эту минуту? — возразил Ермолов.— Что сказал бы государь, если бы приехал сюда и увидел этих фигурантов?

Ермолов показал на отряд, спускавшийся к броду в пестрой и разнообразной одежде, мало напоминавшей форму.

— Но я ручаюсь тебе,— прибавил он,— что если бы только за два дня я узнал о приезде государя, то берусь этих самых солдат представить ему. Правда, они не будут такими, какие в Петербурге, но бьюсь об заклад, что, взглянув на них, государь остался бы доволен.

Сунжу перешли у самых Брагунов и повернули к кумыкам. На пути, в Андреевской деревне, слухи о деле, бывшем у Пестеля, подтвердились. Говорили, что русские понесли большой урон, что у них взяты даже пушки. “В последнем я мог усомниться,— говорит Ермолов,— ибо число пушек показывали более того, какое было у Пестеля”. Утверждали также, что аварский хан сам предводительствует возмутившимися дагестанцами. Чем далее подвигался отряд, тем слухи становились тревожнее. Не было уже сомнения, что Пестель потерпел поражение. Впоследствии дело разъяснилось, и оказалось вот что.

Вступив в Каракайтаг с двумя батальонами пехоты и шестью орудиями, Пестель, вопреки приказаниям Ермолова расположиться на реке Дарбах, впереди Дербента, занял город Башлы, столицу каракайтагского уцмийства, всегда служившую примером для других городов и отличавшуюся мятежным настроением своих жителей, не повиновавшихся даже своему законному владетелю. Это было важной ошибкой со стороны Пестеля. Он очутился посреди многолюдного города, окруженного густыми лесами, и должен был расположиться в тесных улицах, загромоздив их так, что артиллерии нашей нельзя было действовать. Башлынцы, озлобленные занятием их города, тайно вошли в сношения с аварским ханом и пригласили его на помощь. Горцы поспешили воспользоваться невыгодным расположением русских в городе, и скоро грозные силы их появились уже в пределах Каракайтага.

И вот двадцать третьего октября перед двухтысячным русским отрядом, занимавшим Башлы, уже стояло скопище горцев в целых двадцать тысяч человек. Здесь можно было видеть все племена и народы Дагестана. Здесь находились и аварский хан, и брат его, Хассан дженгутайский, и акушинский кадий, и Сурхай со своими сыновьями, и Шейх-Али-хан со своим зятем Абдуллой, беком табасаранским. Между ними недоставало только обычного спутника всяких возмущений, царевича Александра, но его уже не было в Дагестане.

В два часа пополудни неприятель атаковал передовые укрепления русских. Пестель не принял никаких мер против нечаянного нападения и был застигнут врасплох. Жители присоединились к мятежникам. Солдаты, разбросанные по целому городу, не успели сбежаться на тревогу и, окруженные в улицах, дрались в одиночку без связи и порядка. Сам Пестель и командир Севастопольского полка подполковник Рябинин заперлись в замке и при войсках во время сражения не были. Только распорядительность артиллерийского подполковника Мищенки и Севастопольского полка майора Износкова, из которых первый был ранен ружейной пулей, спасла войска от конечной гибели: они успели собрать возле себя кое-какие части отряда, стянули всю артиллерию и, проложив себе дорогу штыками, заняли позицию также около замка, по ту сторону канала,

разделявшего город на две половины. Отсюда никакие атаки неприятеля уже не могли их выбить. Не раз горцы пробовали бросаться на приступ, доходили до самых орудий, и падали под картечными залпами. Некоторые, надеясь на свои панцири, врывались в ряды солдат, но гибли под штыками. Храбрый Износков каждый раз выдвигал своих стрелков и закрывал батареи валом из неприятельских тел.

Видя безуспешность атак, направленных с фронта, неприятель обратил свои силы на левый фланг и повел траншеи против замка уцмия, который занимали две роты с одной пушкой. Скоро пушка не могла уже действовать, и положение гарнизона сделалось отчаянным. Между тем, с падением замка неприятель овладевал единственной дорогой, по которой отряд мог отступить к Дербенту. Двадцать пятого числа две роты Троицкого полка, под командой капитана Индутного, сделали смелую вылазку и овладели траншеями. Индутный пал, простреленный в грудь навылет ружейной пулей; солдаты отступили, но траншеи все-таки были разрушены, и это хотя на некоторое время отдалило неизбежную гибель. Трое суток отряд выдерживал беспрерывный бой, оставаясь без крова и сна. Солдаты изнемогали, сухари были на исходе, а помощи ожидать было неоткуда. На четвертый день получено было известие, что Шейх-Али-хан, отделившись со своими толпами, двинулся к Кубе, чтобы овладеть этим городом и запереть отряду выход из гор. Тогда решено было наконец оставить Башлы. Но едва, с наступившей ночью, войска стали выходить из города, как жители с остервенением напали на отряд, чтобы отбить своих аманатов. Их отразили с уроном, а между тем солдаты успели зажечь дома, и быстро распространившийся пожар, отвлекший внимание жителей, дал возможность отряду выбраться из города. Но и на пути отступления многие каракайтагские деревни были заняты вооруженными шайками, дороги перекопаны или завалены, мосты истреблены — и отряду всюду грозила гибель. К счастью, слабо преследуемый неприятелем, он мог обойти препятствия береговой дорогой и успел отступить к Дербенту. Башлынская экспедиция стоила русским двенадцати офицеров и до пятисот нижних чинов. Взятые отрядом аманаты, в числе семнадцати человек, были повешены.

Отступление Пестеля, как и следовало ожидать, было принято горцами с победным торжеством. Дагестан ликовал, и гонцы его появлялись даже в мусульманских провинциях, разглашая всюду радостную весть об изгнании русских.

И не один Дагестан праздновал поражение Пестеля. В Тавризе, в резиденции наследного персидского принца, следовал по этому случаю также целый рад празднеств. Едва отгремела Башлынская битва, как Шейх-Али-хан с нарочным прислал туда целый мешок ушей и рук, отрезанных лезгинами на поле их победы. Нарочный имел секретную аудиенцию у Аббас-Мирзы, и едва он вышел, город огласился пушечной пальбой, и торжество продолжалось три дня. Между тем прибыли в Тавриз и посланцы от аварского хана, от Казикумыка и других вольных обществ. На всех них сыпались подарки и деньги. Сам Аббас-Мирза благосклонно принимая их, объявляя, что готовит большие субсидии для поддержания Дагестана в его решительной борьбе с русскими.

В таком положении были дела, когда Ермолов третьего ноября подошел к Таркам. Жители города находились в большом унынии, и даже прибытие русских войск успокоило их немного. Тарковцы уже знали о поражении Пестеля, и так как шамхал находился при его отраде, то они считали и его погибшим в Башлах. Жены шамхала отправили уже все лучшее имущество свое за Сулак и сами были готовы к выезду при первом известии о приближении неприятеля. Многие из жителей бежали, опасаясь возмущения в самом шамхальстве, так как в это самое время аварский хан возвращался от города Башлы и собирал войска для защиты Мехтулинского ханства, принадлежавшего его родному брату.

В окрестные села свозились раненные в сражениях с Пестелем, а также и тела убитых, которые погребались с необычайной торжественностью.

Успокоив, насколько было возможно, тарковских жителей, Ермолов послал Пестелю приказание воспользоваться тем, что внимание лезгин обращено на главный отряд, и наказать Башлы за вероломство. А сам он двинулся на Мехтулу — роковой час для нее пробил.

Мехтулинское ханство лежало к югу от шамхальских владений, между землями койсубулинцев и Даргинским союзом. По преданию, сохранившемуся в народе, оно возникло лет за двести перед тем, когда один из членов казикумыкского владетельного дома, носивший имя Кара-Мехти, поссорился с тамошним ханом и, покинув Кумух, поселился в деревнях, живших вольными, самостоятельными обществами. Кара-Мехти скоро сделался известен не только как гроза соседей, нападавших на эти вольные общества, но и как человек, способный предохранить население от междоусобий и неурядиц. Сперва аймякинцы, а потом жители деревни Оглы провозгласили его своим правителем. Вскоре примеру их последовали другие селения, и таким образом мало-помалу сложилось Мехтулинское ханство.

По смерти Кара-Мехти власть и права его перешли к потомкам. Кто именно наследовал ему и кто были его дальнейшими преемниками, пока наконец достоинство владетеля не досталось Хассан-хану, сведений не сохранилось. Известно только, что современник Ермолова, Хассан-хан, был сыном Али-Султан-бека, добровольно отказавшегося от звания хана в пользу младшего брата своего. Этот брат умер в 1797 году бездетным, и ханство снова перешло в род Али-бека, к старшему сыну его Хассану. У Хассана был также младший брат по имени Султан-Ахмед-бек, женатый на единственной дочери знаменитого Омара, хана аварского. И вот когда в 1800 году со смертью Омара пресеклась мужская линия тамошних владельцев, Султан-Ахмед-бек, как зять покойного хана, был призван народом на аварское ханство. Таким образом еще при жизни старого Али-бека оба его сына сделались ханами: Хассан — в Мехтуле, а Султан-Ахмед — в Аварии.

Оба они издавна были непримиримыми врагами шамхалов тарковских, и Хассан, как ближайший сосед их, рад был воспользоваться наставшими смутами, чтобы за счет их усилить свои владения. Собственные средства его были уничтожены, но он опирался, с одной стороны, на родственную ему Аварию, а с другой — на вольный союз даргинских народов, известных у нас под одним общим именем акушинцев. Все эти обстоятельства, выдвигавшие Мехтулинское ханство на первый план в возникшем движении Дагестана, вместе с тем быстро привели и к его уничтожению железной волей Ермолова.

Оставив Тарки, отрад одиннадцатого ноября двинулся на Параул, лежавший за горным перевалом, в черте мехтулинских владений. Короткие дни и невылазная грязь по дорогам, замедлявшая движение пушек, сделали то, что войска только к вечеру достигли подошвы высокого, довольно крутого хребта, называемого Аскорай, за которым начинались мехтулинские земли. Здесь, на самой границе, ожидал неприятель. Все возвышения, лежавшие кругом, были заняты лезгинами, число которых, как говорили лазутчики, простиралось до пятнадцати тысяч. Некоторые из свиты Ермолова заметили на вершине горы самого аварского хана, делавшего какие-то распоряжения. Едва войска подошли к подошве хребта, как горцы открыли огонь, и с вершины Талгинской горы посыпались на Ермолова самые дерзкие ругательства.

— Анасым сыхым (дитя собаки) Ярмул! — кричали ему горцы.

Солдаты, раздраженные дерзостью лезгин, рвались в бой, но Ермолов, обогнав отряд и окинув взором расположение горцев, приказал остановиться и варить кашу.

Незначительная перестрелка закончила день. Погода была ужасная. Солдаты, офицеры и даже многие из приближенных Ермолова роптали, осуждая его за бездействие. Главнокомандующий все слышал и молчал. Нужно сказать, что Ермолов постоянно употреблял все средства, чтобы ближе и короче узнавать своих офицеров. Он держал на походе всегда открытый стол, к которому каждый мог приходить и званый и незваный, и сам не стеснялся посещать офицерские кружки, вступая в фамильярные и дружеские разговоры со своими подчиненными. “И в этот самый вечер,— как рассказывает Граматин, впоследствии известный кавказский генерал, тогда в экспедиции бывший еще молодым офицером,— Ермолов, закутавшись в бурку, по обыкновению направился было к одному из офицерских костров. Вокруг огня сидели кабардинцы. Это был бивуак храбрейшего полка, который сам Ермолов называл “десятым легионом” (десятый легион войск римских славился, как известно, своими доблестями). Ермолов знал в этом полку поименно не только всех офицеров, но и большую часть унтер-офицеров и даже солдат. Подходя к костру, он услышал густой бас штабс-капитана Гогниева, который самыми неприличными, отборными словами ругал его за медленность. Большая часть офицеров соглашалась с мнением Гогниева. Ермолов постоял, послушал и, незамеченный, вернулся, не сказав ни слова”.

Между тем горцы, уверенные, что отряд не решался атаковать их сильную позицию, еще с большей наглостью стали посылать в русский лагерь и брань и пули, которые долетали по временам до палатки самого Ермолова. Но он приказал не отвечать на выстрелы. Лежа на бурке, главнокомандующий хладнокровно угощал офицеров походной закуской, и когда ему напоминали о горцах, он небрежно говорил: “Пусть себе тешатся!”...

А ночь спустилась на окрестность темная, холодная, ненастная. Все горы осветились неприятельскими кострами, и долго еще оттуда невнятно доносились по ветру до русского стана ликования и песни неприятеля. Но мало-помалу в обоих лагерях все стихло и заснуло. Не спал только Ермолов.

Он говорит в своих записках, что предвидел возможность огромной потери при штурме этой, действительно сильной позиции, так как и без того трудные всходы на гору были все перекопаны и заняты многочисленным неприятелем. Об отступлении не могло быть и речи. В первый раз появились в этой стране русские войска и притом с главнокомандующим на челе: весь Дагестан с напряженным вниманием следил за событиями, и малейшая неудача повлекла бы для русских неисчислимые бедствия. Тогда все дагестанские народы встали бы как один человек, даже шамхальство могло быть увлечено общим потоком, и русские войска очутились бы окруженными...

Оставалось единственное средство — обойти неприятеля с фланга. Один из проводников, старый туземец, отлично знавший окрестные места, объяснил Ермолову, что в четырех верстах от русского лагеря есть дорога на горы, но такая трудная, что ее забросили даже сами туземцы, почему вероятно она и теперь совершенно не охраняется горцами. “Если русские солдаты могут пройти по такой дороге,— говорил проводник,— то я берусь вывести их незаметно прямо в тыл неприятелю”. Был уже одиннадцатый час ночи. Ермолов потребовал к себе известного майора Швецова, незадолго перед тем выручённого им из плена, приказал ему взять второй батальон Кабардинского полка, с двумя орудиями, и подняться обходными тропами на гору по указанию проводника, на верность которого Ермолов полагался. Весь скат горы и самая вершина ее были покрыты

дремучим лесом. Этот-то лес должен был занять Швецов со своими Кабардинцами, и отсюда, на самом рассвете, ударить неприятелю во фланг или в тыл.

— Только смотри, брат,— сказал ему Ермолов,— чтобы не было ни единого выстрела; встретишь где неприятельский караул — уложи его штыками, а когда будешь на вершине горы — дай сигнал, мы тебя поддержим.

Швецов готовился было уйти, но Ермолов остановил его.

— Да помни,— прибавил он,— оттуда тебе нет дороги назад. Я должен найти тебя на горе живым или мертвым.

Швецов поднял и вывел из лагеря свой батальон так тихо, что даже солдаты соседних частей не заметили движения Кабардинцев. Штабс-капитан Гогниев повел свою роту в авангарде.

В ночном безмолвии разыгралась буря, и страшный вой ветра, заглушавший всякий звук, покровительствовал скрытному движению отряда. На горах догорали костры, то вспыхивавшие, то снова потухавшие, и люди спали. Но Ермолов, желая еще более отвлечь внимание неприятеля, приказал сторожевой цепи завязать перестрелку. Выстрелы всполошили горцев, они принялись отвечать, и ружейный огонь не прекращался уже до самого утра. А Швецов между тем поднялся на гору и, незаметно пробравшись по густому лесу, подошел с наветренной стороны вплоть к неприятельским караулам. Солдаты могли видеть, как лезгины, под охраной дремавшей стражи, беспечно спали у своих потухавших костров. Батальон приготовился к нападению. И вот вдруг в предрассветной мгле грянула пушка, загрохотали барабаны, загремело “Ура!”, и Кабардинцы стремительно ударили на неприятеля. Нападение было так неожиданно, что многие из горцев погибли под штыками прежде, чем успели проснуться; остальные в ужасе бежали врассыпную, кто в чем был: кто спал в одежде, тот бежал без оружия; кто захватил оружие, тот бежал без одежды. Дорогу охранял брат аварского хана, Хассан дженгутайский, и солдаты видели его впереди бегущих. В самое короткое время неприятель исчез, и батальон твердой ногою стал на вершине горы.

При первом выстреле Швецова весь русский лагерь поднялся на ноги. Свободный батальон из рот Троицкого и восьмого егерского полков бегом был двинут на поддержку Швецова. Но помощь оказалась уже излишней: гора занята была одними Кабардинцами.

Весь день войска поднимались на гору, таща за собою обозы и пушки. Только к вечеру выбрались они на плато и заняли позицию, на которой за день перед тем стояли лезгины. Ермолов благодарил солдат и приказал дать им двойную порцию водки. Около него собрался обычный кружок офицеров.

— Вот вам, господа, урок, как должно беречь русскую кровь,— сказал Ермолов.— По-вашему, надо бы было вчера положить здесь несколько сот русских солдат... А для чего?

Для того, чтобы занять эту гору?.. Но вот мы достигли того же самого и не потеряли ни одного человека.

Ермолов вызвал вперед штабс-капитана Гогниева.

— Спасибо, Гогниев! — сказал он.— Ты с ротой первый вошел на завалы, могу тебя поздравить с Владимирским крестом. Только смотри, брат, не ругайся так, как вчера ночью меня ругал.

Понятно, что офицеры и солдаты боготворили Ермолова.

На следующий день войска спустились в Параул — большое селение, где жил аварский хан, когда еще был простым мехтулинским беком. Селение было пусто, жители разбежались, и потому все имущество их отдано было войскам на разграбление. Отдохнув в Парауле, отряд двинулся дальше, к Большому Дженгутаю — резиденции мехтулинских ханов. Тогдашний хан по имени Хассан был человек уже не молодой, отличавшийся суровой ненавистью к русским и пользовавшийся за то особым уважением населения. Столица его чрезвычайно живописно раскидывалась на крутом возвышении, по самой середине которого стоял ханский дворец, имевший вид рыцарского замка и отличавшийся от прочих строений величиною и узкими стрельчатыми окнами, пробитыми в наружную сторону; это был первый шаг к цивилизации в этих странах, где окна всегда выходили на двор.

В Дженгутае ожидали русских главные силы мятежников. Их позиция тянулась по высокой горе, защищаемой окопами и засеками; на левом фланге был Дженгутай, на правом — река, к которой примыкали обширные сады, занятые также лезгинами. Эта позиция была еще сильнее, нежели первая, а между тем откладывать атаку на этот раз было невозможно: в шести верстах стоял акушинский кадий с четырехтысячным скопищем, и всякое промедление дало бы ему возможность зайти русскому отряду в тыл и поставить его под перекрестный огонь.

Приказав двум Кабардинским ротам, под начальством храброго капитана Кацырева, следить за акушинцами, Ермолов выдвинул вперед артиллерию, и скоро картечь заставила неприятеля очистить передовые завалы; в то же время стрелки выбили его из крайних домов селения. Тогда орудия подвинулись ближе. И между тем как снаряды громили город, производя страшное опустошение в тесных улицах, донской есаул Чикалев с казаками обскакал Дженгутай и рубил тех, которые пытались бежать из него. Одновременно с этим шло жаркое дело на правом фланге, в колонне подполковника Верховского. Там были уже акушинцы и с ними, как полагали, аварский хан. Кацырев вынужден был подкрепить сражавшихся. Но в ту минуту, как бой разгорался по целой линии, из бокового ущелья вдруг нахлынул туман, и густые волны его скрыли сражавшихся. Ермолов тотчас решил воспользоваться мглой; он приказал начальнику штаба полковнику Вельяминову штурмовать главную позицию — и в одну минуту русская пехота, штыками выбив лезгин, заняла окопы. Часть неприятеля, будучи отрезана, кинулась в город и засела в мечети. Солдаты ворвались за ними и перекололи защитников. Тогда аварский хан, брат его, мехтулинский владелец, и знаменитый в горах своей ученостью мулла Сеид-эфенди, проповедовавший восстание, бежали в горы. Большой Дженгутай был отдан войскам на разграбление. Та же участь постигла на следующий день и Малый Дженгутай, заблаговременно покинутый жителями.

Бой стоил русским трех офицеров и пятидесяти нижних чинов убитыми и ранеными.

В Дженгутае получено было известие, что и отряд Пестеля исправил первую свою неудачу: он снова занял Башлы и за измену жителей истребил город по основания.

Впрочем, и этой удачей в Башлах русские войска обязаны были собственно не Пестелю. Нужно сказать, что Пестель только что был назначен военно-окружным начальником в

Дагестане на место генерал-майора Тихановского, слабым управлением которого не был доволен Ермолов. Но боевые заслуги Тихановского были известны целому краю, и если административная деятельность его не была настолько же блестяща, как военные подвиги, то во всяком случае замена его генералом Пестелем оказалась весьма неудачной. Сам Ермолов говорит, что во время первого пребывания в Башлах Пестель раздражал жителей самым оскорбительным распутством и постоянно был пьян; вот почему он и не видел, что жители находятся в явных сношениях с мятежниками и вывозят из города имущество. Старший же по нем командир Севастопольского полка подполковник Рябинин "во всех упражнениях был лучшим ему товарищем".

Слабость и неспособность Пестеля были таковы, что он и на этот раз едва не погубил дела. Получив предписание Ермолова снова занять Башлы, он медлил выступлением, ссылаясь на недостаток продовольствия, и повиновался только вторичному строгому напоминанию.

"Двигаясь к Башлам,— как рассказывает в своих воспоминаниях Карягин,— отряд в одной лесистой местности наткнулся на неприятеля. Этого было довольно, чтобы Пестель приказал отступить. Тогда командир артиллерийской роты подполковник Мищенко доложил генералу, что если войска сделают шаг назад, то понесут такое же поражение, как и в Башлах. Но когда доводы его не были уважены, Мищенко твердо сказал ему: "Генерал! Если вы не надеетесь разбить неприятеля или опасаетесь за собственную жизнь, в таком случае не угодно ли вам остаться при вагенбурге, под прикрытием одного батальона, а остальными предоставьте распорядиться мне"... И Пестель был настолько малодушен, что сложил с себя команду. Тогда Мищенко смело пошел на завалы, разбил неприятеля, и последствием этой победы было то, что Башлы, покинутые жителями, взяты были без боя. Храбрый Мищенко получил впоследствии крест св. Георгия, был произведен в полковники и получил в командование Апшеронский пехотный полк. Пестель же отчислен был по армейской пехоте и выслан Ермоловым в Россию".

"Пестелю и подполковнику Рябинину,— писал в то же время Ермолов князю Волконскому, бывшему тогда начальником главного штаба,— дал я назначения по наилучшим о них свидетельствам, и таковыми обманут будучи, представил я их обоих к награждению за сражение при Башлах, в котором они не были"...

С занятием Башлов и Дженгутая на обоих пунктах борьбы торжество Ермолова было полное.

Слух о поражении дагестанцев мгновенно облетел все горы до отдаленнейших ущелий. Горцы, никогда не видевшие в своих селениях русских войск, были в страхе; идея о неприступности их жилищ исчезла. Окрестности были пусты на далекое расстояние, но русские остановились и дальше Дженгутая не шли. Это мало-помалу ободрило население, и старшины окрестных деревень стали являться с просьбой о помиловании. Ермолов встречал их грозной речью.

— Знаете ли,— говорил он,— против кого вы осмелились поднять оружие? Знаете ли вы все могущество русского императора?

На горцев обнаруживали влияние и самая фигура главнокомандующего, грозная и величественная, и суровый взгляд его, пронизывавший присутствующих. "Невольно,— говорит один из участников этого похода,— глядя на эти черты, отлитые в исполинскую форму старины, воображение переносилось ко временам римского величия. Это был настоящий проконсул Кавказа. Недаром про него сказал поэт:

Беги, лезгинец,— блещет меч
Карателя Кубани,
Его дыханье — град картечь,
Глагол — перуны брани;
Окрест угрюмого чела
Толпятся роки боя,
Взглянул — и гибель протекла
За манием героя.

Однако же Ермолов снисходительно принимал горцев. “Мне,— говорит он в записках,— приличествовало даровать пощаду”. И тем не менее мехтулинцам было объявлено, что хан их лишается владения и что никто из народа не должен повиноваться ему, как изменнику.

Все, что составляло в Мехтуле удел аварского хана, было конфисковано; его богатый дом в Парауле был разрушен до основания, его деревни: Кака-Шура, Парауль, Дургели и Урма переданы во владение шамхала тарковского. Из остальных селений Мехтулинского ханства образовано особое приставство, под управлением русского офицера, войскового старшины Якова Батырева. Самостоятельность Мехтулинского ханства исчезла навсегда, и знаменитый дворец ханов в Дженгутае сравнен с землею.

“Возмутившиеся,— писал Ермолов со своей обычной иронией одному из приятелей,— наказаны, и вознаграждены сохранившие нам верность. Одному из сих последних (шамхалу) дал я в управление шестнадцать тысяч душ с обширной и прекрасной страной. Так награждает проконсул Кавказа”.

В селении Карабудаг-Кенте впервые представился Ермолову прибывший из Дербента шамхал тарковский. Привыкнув слышать о пышности главнокомандующих Кавказа, он удивлялся неприхотливой жизни и простой одежде Ермолова. Короче познакомившись с ним, он сам говорил ему, что сначала не почитал его даже настоящим начальником, думая, что под своим именем Ермолов прислал другого генерала. “Всякие нелепости находят место в головах здешних жителей”,— замечает Ермолов.

С этих пор влияние аварского хана в горах значительно падает. Он поспешил написать письмо главнокомандующему, стараясь оправдать свое поведение и прося прощения. “Нет прощения подлым изменникам”,— ответил Ермолов и именем государя лишил его генеральского чина и получаемого содержания.

Ермолов знал цену одержанных им побед и понимал беспристрастно значение средств, на них употребленных. “Ты не удивишься,— писал он в одном из своих частных писем,— когда скажу тебе об употребленных средствах. В местах, где я был, в первый раз слышен был звук пушек. Такое убедительное доказательство прав наших не могло не оставить выгод на моей стороне. Весьма любопытно видеть первое действие сего невинного средства над сердцем человека, и я уразумел, сколько полезно владеть первым, если не вдруг можно приобрести последнее”.

В горах все еще ждали, что Ермолов двинется дальше, но он остановился в Тарках и после короткого отдыха возвратился на линию. Окончательный расчет с акушинцами был отложен до следующего года.

Так окончился знаменитый дагестанский поход 1818 года.

XV. ПОКОРЕНИЕ КАРАКАЙТАГА В 1819 ГОДУ

Год 1819 в Дагестане начался при неблагоприятных предзнаменованиях. Погром Мехтулы и снятие ее с карты независимых дагестанских стран не образумили дагестанцев, и всю зиму волнение в горах не прекращалось. Персия искусно поддерживала восстание и, как было известно, отправила Шейх-Али-хану четыре тысячи туманов золота, около двадцати тысяч рублей серебром на наши деньги, для найма войска. Но ведя между собою деятельные переговоры о предстоящей войне, хитрые дагестанские ханы в то же время осаждали Ермолова дружескими письмами, жалуясь на то, что их “непоколебимая верность русским остается без воздаяния”. “Со всеми ими,— говорит Ермолов,— я был в приязненной переписке в ожидании удобного случая воздать каждому из них по заслугам”.

Так наступило лето 1819 года. И вот, в то время как русские войска воздвигали на Кумыкской плоскости крепость Внезапную, дагестанцы собрались в значительных силах, чтобы препятствовать постройке ее и вообще напасть на русские владения. Между ними было условлено, что Хассан дженгутайский пойдет на Казиюрт, аварский хан — к Андреевской деревне, а Шейх-Али-хан и Абдулл-бек ерсинский овладеют Кюрой и Кубинской провинцией. Сильные акушинцы, со своей стороны, угрожали тем, которые хотели оставаться верными русским. Преданный Ермолову кадий табасаранский был убит заговорщиками. Аслан-хан кюринский и шамхал тарковский готовились к обороне. Сообщения Кавказской линии с Дербентом между тем прекратились, и торговля совершенно остановилась. “Так было и прежде,— доносил Ермолов,— и конечно ничего не будет хуже того, что было при последних моих предшественниках, но не в моих правилах терпеть, чтобы власть государя моего была не уважаема разбойниками”. И он приготовлялся наказать их.

Опасность угрожала всего более югу Приморского Дагестана — богатой Кубинской провинции, на которую должны были пасть первые удары мятежников. Среди кубинцев, собственно, нельзя было ожидать волнений; напротив, сами они образовали из себя конную пограничную стражу, служить в которой считалось большим и не для всех доступным почетом. Но о защите провинции от внешних врагов приходилось подумать серьезно. И малочисленность войск, которыми русские могли располагать для прикрытия границ со стороны Дагестана, была не единственным затруднением: нужно было еще отыскать надежного вождя, который своей опытностью, отвагой и предприимчивостью мог бы сделать нечувствительной малочисленность этого войска. Прошлогоднее назначение Пестеля показало Ермолову, какая нужна осторожность в выборе такого начальника. Сменивший Пестеля генерал Вреде, человек достойный, с замечательными административными способностями, также не был удобен для этого назначения, как не имевший за собою боевой репутации. Выбор Ермолова остановился на генерал-майоре князе Мадатове, военно-окружном начальнике ханств Шекинского, Ширванского и Карабахского.

Малахов был сам уроженец Карабага. Он вступил в русскую службу с молодых лет и теперь был и апогее своей боевой известности. Командуя в наполеоновских войнах славным Александрийским гусарским полком, он уже в чине полковника носил Георгия на шее и бриллиантовую саблю. Это был один из выдающихся деятелей той громкой военной эпохи. Самое назначение его на Кавказ состоялось по личной просьбе Ермолова, который и поручил ему в управление мусульманские ханства. Знание языков и обычаев страны рядом с необычайной храбростью, предприимчивостью и представительной наружностью делали его незаменимым в сношениях с горцами. Лучшего выбора, как показали последствия, сделать было невозможно.

В начале августа в селении Исталяре Малахов принял начальство над экспедиционным отрядом, назначенным для охраны Кубинской провинции. Весь этот отряд состоял всего из двух батальонов пехоты Севастопольского и Троицкого полков, трехсот линейных казаков и шести орудий пешей и двух конной артиллерии. Зная, как недостаточно этих сил для предстоящей борьбы с Дагестаном, Мадатов решил воспользоваться своим влиянием на жителей мусульманских провинций, порученных его управлению, и успел склонить их выставить из каждого ханства конные дружины охотников. И скоро из Карабага, Ширвани и Шеки действительно прибыли к нему несколько сотен превосходной азиатской конницы. Это был первый, неслыханный дотоле пример, что мусульмане русских провинций шли в рядах русского войска против Дагестана, то есть против своих же единоверцев, и притом шли не по найму, а добровольно, на собственный счет, ничего не прося и ничего не стоя нашему правительству. Ермолов в шутку называл их иностранными легионами.

Несмотря на это увеличение, экспедиционный отряд оставался настолько мал, что Ермолов не считал возможным вести с ним наступательные действия. “Ты, верно, уже пришел с иностранными твоими легионами,— писал он Мадатову.— Теперь надо ограничиться наблюдением за Табасаранью. Ежели акушинцы, которые по глупости своей думают себя вправе во все мешаться, обратятся к тебе со своими бумагами и посланцами, то отвечай им, что без приказания моего не можешь вступить с ними ни в какие объяснения, но только знаешь, что будешь истреблять всех, которые осмелятся делать вред подданым Государя”.

Мадатов, однако, понимал свое положение и свою задачу иначе. Он видел необходимость перенести военные действия на вражескую землю и, как только собрались войска, он ночью внезапным форсированным движением проник в Табасарань и занял крепкую позицию в селении Мараге.

Табасарань, длинная, примыкающая к морю полоса земли, расположившаяся около Дербента между Каракайтагом и Кюринским ханством, уже со времени занятия русскими войсками Дербента подпала под влияние и зависимость от России, которая, однако, не коснулась внутреннего распорядка этой провинции. Но именно это обстоятельство и повлекло за собою сначала междоусобия, а потом и необходимость уничтожения ее самостоятельности. Управление Табасаранью прежде, в течение долгого периода времени, сосредоточивалось в лице майсума — титул, переходивший наследственно в одной известной фамилии. Это важное в Дагестане достоинство, вместе с достоинством шамхалов и уцмиев, составляет памятник могущества в этом крае аравитян. Существует предание, что арабы, обратив в магометанство жителей Табасарани, большая часть которых были потомки древних евреев, назначили правителем этой страны одного добродетельного и набожного человека из арабского войска, по имени Махмед-Майсум, а в помощь ему дали двух кадиев, подчинив, однако же, его, также как уцмия каракайтагского, Шахбалу — правителю казикумыков. От имени Махмед-Майсума и производится титул майсумов. В течение многих веков после арабов порядок этот оставался без изменения, впоследствии же кадии воспользовались слабостью некоторых майсумов и стали от них независимы. Табасарань разделилась: Южная осталась под управлением майсумов, Северная стала управляться кадиями, которые становились все сильнее и сильнее майсумов и, вероятно, совершенно поглотили бы древнее могущество и права последних, если бы страна скоро не перешла под власть России. Волнения 1819 года частью даже и стояли в зависимости от вражды членов династии майсумов с представителями фамилии кадиев.

В этой-то стране, и главным образом в Северной Табасарани, где мятежники, как сказано, убили кадия, теперь и приходилось действовать Мадатову. Испуганные внезапным появлением русского войска, жители, уже готовые к восстанию, очутились в нерешительности, не знали, что предпринять. Их старшины и выборные от селений поскакали для общего совещания в Хошни, принадлежавшие зятю беглого Шейх-Али-хана, Абдулл-беку ерсинскому, и там собралось по этому случаю несколько тысяч мятежников. Мадатов решил немедленно напасть на сборище и, захватив в свои руки коноводов мятежа, одним ударом покончить с Северной Табасаранью. В ночь с тринадцатого на четырнадцатое августа он выступил с отборной частью конницы и пехоты, расположив остальные войска в укрепленном вагенбурге, составленном из обозов.

До селения Хошни было тридцать верст. Это пространство нужно было пройти в течение ночи, иначе неприятель сам мог запереть отряд в теснине, где Мадатову уже пришлось бы драться за собственную свободу. В минувшем столетии подобный случай уже был с отрядом храброго Криднера, едва не погибшего в горах Каракайтага и спасшегося только тем, что неприятель почему-то не осмелился его преследовать, но пушки тогда были брошены и составили трофей неприятеля. Мадатов знал из рассказов туземцев, в какой неприступной местности лежат аулы ерсинского бека, и потому-то именно он и взял не целый отряд, а только отборных людей, на железные силы которых, на волю и безусловную храбрость мог вполне положиться. Ночь была темная, дороги неизвестные; узкие ущелья, в которых отряд растягивался в нитку, и бездонные каменистые овраги чередовались с крутыми заоблачными подъемами и отвесными спусками, покрытыми вековым дремучим лесом. Войска шли быстро, без отдыха и в глубоком молчании на руках перетаскивали пушки там, где им нельзя было проехать. Где начинались камни, колеса обертывались солдатскими шинелями, а конница разъезжалась врозь, чтобы шум движения не мог предупредить неприятеля о приближении этой горсти отважных.

На рассвете отряд уже стоял на вершине высокой горы, окутанной облаками; крутой и лесистый спуск вел отсюда прямо к селению Хошни, где в густой предрассветной мгле осевшего в долине тумана мерцало множество потухавших огней. Это и был неприятельский бивуак, до которого еще оставалось версты четыре. Нетерпение начинало овладевать войсками; татарская конница и казаки пошли вперед на рысях; пехота, забывая усталость, не отставала от конницы. Но вот татары пустились марш-марш и быстро обскакали и бивуак и селение.

Пальба, стоны и дикие крики раздались со всех сторон. Конница стремительным ударом ворвалась в неприятельский стан и произвела в нем полное смятение. Горцы, устрашенные внезапным нападением, бросились бежать через единственное ущелье, которое еще не успели захватить русские. Убитых и раненых у неприятеля было не много, так как все дело окончилось первым натиском конницы, но в числе пострадавших был сам Абдулл-бек ерейнский: под ним была убита лошадь, сам он был ранен пикой, и хотя успел спастись, но конвой его был изрублен и знамя его захвачено. Мадатов приказал оставить селение Хошни в целости, и только один дом Абдулл-бека был сожжен и сад его истреблен до основания — наказание, которому по обычаю края подвергаются изменники. Отряд расположился бивуаком, готовый по первой тревоге двинуться туда, где показались бы вооруженные скопища. Но вместо них на другой день старшины шести табасаранских магалов явились с повинной головою. Мадатов торжественно, именем императора, объявил им прощение и назначил на место убитого кадия правителем зятя шамхала тарковскосо, Абдулл-Разах-бека. Вольная Табасарань при громе пушек приведена была к присяге на верность русскому государю.

Здесь же, у селения Хошни, Мадатов получил известие, что и другая часть его отряда, оставленная им в вагенбурге в деревне Мараге, имела удачное дело с неприятелем. Храбрый майор Износков — герой Башлынского сражения — сделал весьма удачный набег на селение Туруф, где жил один из главных коноводов движения, Гирей-бек казанищский, который и бежал в горы. С бегством Гирея потухла последняя искра готовившегося восстания.

Так одним решительным и смелым ударом и почти без пролития крови усмирена была вся Табасарань.

Ермолов был чрезвычайно доволен действиями Мадатова. "Целую тебя, любезный мой Мадатов, и поздравляю с успехом,— писал он ему.— Ты предпринял дело смелое и кончил его славно".

Но в то же время Ермолов, видимо, страшился за слишком рискованные действия, боялся увлечений со стороны Мадатова и, намекая ему на необходимость держаться более оборонительного образа действий, писал ему между прочим:

"Некоторое время должен я, любезный князь Валериан Григорьевич, стеснить твою деятельность, но сего требуют обстоятельства. Потерпи немного, не далеки случаи, где службе Царя нашего полезна будет храбрость твоя и усердие".

Но Мадатову виднее было положение края, и в его уме уже созрел план покорения Каракайтага.

Первого сентября 1819 года он перешел из Мараги в Дербент и расположился впереди него лагерем при речке Дарбах, на большой дороге, ведущей к Таркам. Правый фланг его примыкал к берегу Каспийского моря, и таким образом отряд в одно и то же время прикрывал Табасарань и угрожал селениям буйных каракайтагцев.

На север от Дербента, занимая большую часть Каспийского побережья вплоть до владений шамхала тарковского, лежало Каракайтагское уцмийство. Оно состояло собственно из двух частей: Нижнего Каракайтага, или Терекеме, лежащего по берегу Каспийского моря, и Верхнего, или Горного, примыкавшего к владениям народов Даргинского союза и Казикмыкского ханства. В то время Каракайтаг, в сущности, еще был совершенно независим и сохранял политическое устройство, оставленное ему арабами. Предания говорят, что в исходе VIII столетия, после того как Казикумык покорился арабам и принял ислам, аравийское войско вошло в Каракайтаг. Здесь оно встретило упорное сопротивление, но после многих кровавых битв часть жителей была истреблена, а остальная искала спасения в покорности и также обратилась в ислам. Арабы поставили в стране своего правителя Эмир-Гамзу с титулом уцмия, и с тех пор титул этот считался в Дагестане по старшинству вторым после шамхалов.

В самом начале нынешнего столетия каракайтагским уцмием сделался некто Адиль-Гирей-хан, человек беспокойный, коварный, подозрительный и осторожный. Когда Дербент подпал под власть России, вынужден был признать зависимость свою и Каракайтаг. Но, в сущности, зависимость эта долго оставалась чисто номинальной. Уцмий не только не платил дани, но даже не отвечал за безопасность путей через его владения, и ни один русский не мог переступить границ Каракайтага иначе, как под прикрытием сильного конвоя. Адиль-хан сам почти открыто содержал на жаловании шайки хищников, грабивших русские пределы, и помогал Шейх-Али-хану поддерживать старинные связи в Кубинской провинции.

Скрывая непримиримую ненависть к русским, уцмий тяготился, однако же, и тенью зависимости. Из политических видов он избегал сношений с русскими, и если решался видеться с кем-либо из генералов, то непременно на таких условиях, чтобы свидание происходило в поле и в присутствии многочисленных его телохранителей. Странное поведение свое он объяснял тем, что связан страшной клятвой, данной еще в лета своей юности, никогда не въезжать ни в один из русских городов — не только в Кизляр или в Тифлис, но даже в соседний мусульманский Дербент.

Действительно, всему Каракайтагу известна была эта клятва, но происхождение ее объясняли весьма различно. По рассказам самого уцмия, правивший Каракайтагом старший брат его, Али-хан, желая удержать наследственные права на уцмийство за своим потомством, заключил с русскими тайное условие, по которому он, Адиль-Гирей, при первом же удобном случае был бы выдан русским и заключен в крепость. Эти-то обстоятельства будто бы и побудили его тогда дать всенародную клятву — не ездить ни в один из городов, находившихся под властью России. Другие объясняли, однако, дело иначе. Говорили, что старый уцмий Али-хан, также скрывавший под личиною преданности непримиримую вражду к России и бывший весьма деятельным участником в разбоях на русской границе, опасался, чтобы брат его, посещая Дербент, не выдал его тайных дел, почему и заставил его всенародно, в мечети, произнести клятву никогда не видеться с русскими. Так или иначе, но клятва эта стала находкою для самого Адиль-Гирея, когда он сделался уцмием. Прикрываясь ею, он искусно маскировал многие из своих поступков и, ненавидя русских нисколько не меньше своего предместника, уклонялся от сношения с русскими властями там, где это было ему выгодно.

До Ермолова, особенно при слабом управлении Ртищева, уцмию многое сходило с рук безнаказанно, но когда явился Ермолов, и Дагестан почувствовал на себе его железную власть, уцмий понял, что старые приемы политики больше неуместны, и начал искать самого, по-видимому, искреннего сближения с главнокомандующим, стараясь, конечно, извлечь отсюда возможные выгоды.

Нужно сказать, что по смерти брата своего, уцмия Али-хана, Адиль-Гирей истребил весь его род и приверженцев с целью завладеть их богатствами. Гонения, воздвигнутые тогда на семью покойного брата, заставили и других его племянников, детей его родной сестры, бывшей в замужестве за Муртазали-беком в Казикумыке, бежать и отдаться под покровительство аварского хана. Это была старшая линия Каракайтагского дома, имевшая теперь, после ссылки Бала-хана в Сибирь, представителем своим талантливого семнадцатилетнего брата его Эмир-Гамзу, пользовавшегося большой любовью в народе. И уже поэтому самому он не мог не казаться опасным подозрительному Адиль-Гирею, тем более что после смерти последнего достоинство уцмия должно было перейти именно к Эмир-Гамзе, как старшему в роде.

Тогда Адиль-хан, отказавшись от открыто враждебных действий против русских, задумал попытаться путем сближения с ними устроить так, чтобы еще при жизни упрочить власть за своими сыновьями.

И вот, ссылаясь все на ту же будто бы тягостную клятву, которая затрудняла его добрые сношения с русскими, Адил-Гирей обратился к Ермолову с просьбой сложить с него звание уцмий и уволить в Мекку, где он намерен посвятить остаток своих дней молитве, достоинство же уцмия передать его сыну Мамед-беку, незадолго перед тем женившемуся на дочери шамхала. План, искусно задуманный, поставил многих в недоумение. Но Ермолов проник в истинные намерения уцмия и не только отказал ему в просьбе, но сделал распоряжение, ежели бы уцмий самовольно задумал, отправиться в Мекку,

задержать его в Бакинской крепости. В то же время двуличное поведение Адиль-Гирея в событиях 1818 года, когда он допустил акушинцев напасть на русский отряд в Башлах, вынудило Ермолова принять против него более решительные меры, и сын его Мамед-бек, взятый в аманаты, был отправлен в Дербент.

Наступил тревожный 1819 год, и роль уцмия становилась все труднее и труднее. С одной стороны, Дагестан требовал присоединения его к союзу, с другой — Ермолов зорко следил за его поведением. Но уцмий, по-видимому, надеялся избежать представившихся ему подводных камней хитростью, и, ведя деятельные переговоры с мятежниками, он в то же время старался поставить себя паже вне всяких подозрений, извещая Ермолова о замыслах аварского хана, будто бы домогавшегося истребить Каракайтагский дом. Но Ермолов совершенно понимал двойную игру уцмия. “Благодарю за письмо ваше,— писал он ему,— в котором уведомляете меня о делах дагестанских. Знаю, что подлый изменник аварский хан возмущает народы, но не вижу, какую причину могут иметь сии народы желать истребить вас, ибо они в подвластных ваших имеют верных товарищей в злых намерениях противу русских”.

Уцмий старался прежде всего выручить сына и, уверяя в своей верности, просил Ермолова назначить ему в помощники старшего сына, ручаясь в этом случае удержать спокойствие в Каракайтаге. Ермолов ответил: “В прошлом году сын ваш был при вас, и народ каракайтагский весь возмутился против своего государя. Не сын ваш, как человек молодой, а ваше высокостепенство должны управлять народом”.

Всеобщее возмущение и погром Мадатовым Табасарани сделали невозможными нерешительные положения и двойную игру. В самом Каракайтаге, именно: в Каракайтаге Нижнем, в селениях, подвластных Эмир-Гамзе, Ибах-беку и другим, собирались шайки, и уцмию приходилось стать на ту или на другую сторону, тем более что Ермолов писал ему, что “не таким, как его, поведением доказывается верность государю” и что “того не довольно, чтобы явно не участвовать в намерениях неприятеля, но должно верноподданному быть явно против оных”. Разгаданный Ермоловым, уцмий, однако же, не мог стать и прямо на сторону восстания: князь Мадатов стоял уже на границе Каракайтага, а сын уцмия был аманатом в Дербенте, и, таким образом, страх близкой грозы и страх за участь сына связывали действия уцмия.

Обстоятельства между тем не ждали. Усилившись табасаранской конницей, добровольно ставшей теперь под русские знамена, Мадатов в ночь с третьего на четвертое сентября форсированным маршем прошел через улу-терекемские селения и на свету был уже в аулах Ибах-бека. Подполковник Мищенко с пехотой и казаками атаковал селение Бекерей, Мадатов с татарской конницей — Улу-Терекеме. И здесь и там мятежники, не ожидавшие удара, были разбиты наголову. Сам Ибах-бек, преследуемый казаками, был ранен пикою в бок, и только благодаря лесистой местности успел скрыться. Между тем карабагская конница и часть кюринцев преследовали семейства жителей, уходивших к Башлам, и после упорной борьбы, почти под стенами города, отбили до пятисот арб, наполненных детьми и женщинами.

“Из последних действий ваших,— писал по этому поводу Ермолов князю Мадатову,— сужу я, что должен быть большой страх между врагами нашими, ибо и добыча досталась войскам богатая, и, что всего более, захвачены жены и дети. Здесь редки весьма подобные случаи, и потому должны производить полезное впечатление. Потеря имущества не легко и не скоро вознаграждается”.

В этих крайних обстоятельствах уцмий уговорил сына бежать из Дербента. Молодой бек создал самый простой план побега: он стал прорубать стену дома, в котором жил, чтобы уйти, не встретясь со стражею. Но хозяин этого дома, человек верный, да притом понимавший, что может поплатиться за аманата своей головою, известил обо всем коменданта, и замыслы Мамед-бека рушились. Он был арестован и предан суду.

Уцмий, по сих пор упрямо отказывавшийся от свидания с русскими начальниками, теперь, узнав о тяжком наказании, ожидавшем его сына за попытку к побегу, сам просил князя Мадатова дать ему свидание, выговорив только, чтобы оно происходило вне городской черты, в дербентских садах. Мадатов воспользовался этими обстоятельствами с тонким расчетом и знанием азиатских нравов. Он принял уцмия с восточной пышностью, показывал ему войска, ласкал его, а за обедом, при громе пушек, русские пили за здоровье Адиль-хана. Чтобы победить недоверчивость уцмия, Мадатов поднес ему богатые подарки и не только простил сына, но даже позволил тому возвратиться к отцу. Уцмий, со своей стороны, обещал содействие в усмирении мятежа и, действительно, выслал часть своих войск в русский лагерь.

Мадатов, конечно, не рассчитывал на верность уцмия и своим великодушием хотел только обнаружить совершенно двойственные действия его перед его же подданными; по отношению же к этим последним приняты были им меры, которые могли бы обезоружить самых непримиримых врагов; ни одно из улу-терекемских селений не было разрушено, женщины и дети, захваченные татарской конницей, возвращены их семьям, пленные освобождены. Только двадцать четыре человека бекских нукеров отправлены были в Дербент на крепостные работы, но и тем обещали свободу, как только владельцы их изъявят покорность. Следствия расчетливых действий Мадатова не замедлили обнаружиться. Как только уцмий достиг своей цели — возвращения сына, он тотчас, со всем своим семейством, удалился в Верхний Каракайтаг и написал оттуда Мадатову: “Я к тебе являлся только для освобождения сына; теперь возьми мои земли; жертвую ими, потому что не хочу иметь над собой старшего”.

Но черная неблагодарность и измена уцмия отразились на улу-терекемских селениях совершенно особенным образом: они сами отказались от подчинения уцмию и, явившись в русский лагерь, просили князя Мадатова привести их к присяге на верноподданство русскому государю; весь Нижний Каракайтаг покорился добровольно. Мадатов поручил управление Эмир-Гамзе-беку и как старшему в роде, и как кровному врагу уцмия — обстоятельства, оба одинаково полезные для русских целей.

Тогда уцмий, обманутый в своих ожиданиях и надеждах, снова просил у Мадатова свидания, и оно состоялось около селения Иран-Хараба. По своему обычаю уцмий явился в кольчуге, вооруженный с головы до ног, и в сопровождении тысячи конных панцирников. Мадатов приехал один. Он никогда не страшился коварства горцев и являлся на свидания с ними всегда безоружный, желая тем показать, что не допускает даже мысли об измене. Он твердо был убежден, что, переменив свой образ действий, потерял бы то влияние, которое успел приобрести на Кавказе. Но свидание это не могло привести ни к чему. Ермолов, со своей стороны, не одобрил его и писал Мадатову: “Я должен заметить вам, господин генерал, что вы поступили не совсем благоразумно, приняв приглашение уцмия видеться с ним в Иран-Харабе, ибо сей злодей готов решиться на всякое преступление”. И Ермолов потребовал, чтобы все сношения с уцмием были прерваны.

Между тем уцмий укрепился в Башлах, где собрано было до трех тысяч горцев, под начальством Абдулл-бека ерсинского. Мадатов решился уничтожить Башлы — вечное

гнездо измены, и четвертого октября войска уже шли по направлению к этому городу. Башлы находятся в конце ущелья, оберегавшегося сильным сторожевым караулом, и внезапное нападение здесь не могло иметь места. Отряд ночевал в шестнадцати верстах от города, при самом входе в горное ущелье. Огни неприятельского караула виднелись из русского лагеря в расстоянии нескольких верст, и потому предприняты были все предосторожности против нечаянного нападения, хотя они вообще не в обыкновении горских народов.

На следующий день едва развиднелось, как отряд двинулся дальше. Передовая конница, быстро опрокинув караул, не дала горцам времени воспользоваться скалистыми горами, облегающими дорогу, и сама заняла их, обезопасив таким образом следование отряду.

Ущелье мало-помалу расширялось и переходило в обширную долину. До города оставалось не более двух верст. Тогда войска перестроились в боевой порядок и остановились, а сам Мадатов с небольшой свитой выехал вперед на рекогносцировку. Вдали виднелись Башлы, расположенные амфитеатром по отлогости горы, на которую можно было взобраться только по тропам, пробитым в скалистых утесах. Дома и улицы казались пусты, но вершина горы, командующая городом, и каменный вал, проложенный по нижней террасе, были заняты толпами вооруженных башлынцев, готовых отразить нападение. По другую сторону города протекала речка, за которой опять тянулись горы, покрытые лесом, и на одной из них, над самой рекою, стоял древний замок — свидетель недавнего поражения русских. И замок, и горы были также заняты толпами. Разноцветные знамена во множестве развевавшиеся и на опушке леса, и на бастионах замка, обнаруживали ясно, что в предстоящей битве примут участие не одни башлынцы, а и все жители соседних обществ. Неприятель вел слабую перестрелку, и несколько человек из татарской конницы, в конвое князя Мадатова, оказались ранеными.

Рекогносцировка дала между тем результаты неутешительные. Позиция неприятеля была крепка, силы его значительны, и штурм при таких условиях являлся средством слишком рискованным. Если бы даже русские войска и овладели городом, то, конечно, с такими потерями, которые могли бы сделать дальнейшие военные операции невозможными. И в то время как неприятель все еще располагал бы огромными, еще не тронутыми подкреплениями, у нас в тылу не осталось бы ни одного человека — граница русская стояла бы открытой.

Взять Башлы между тем приходилось во что бы то ни стало, и Мадатов приказал ударить подъем. Войска двинулись; артиллерии приказано было подойти на ружейный выстрел к городу и усиленным бомбардированием принудить неприятеля к отступлению на гору; в случае сопротивления три колонны пехоты должны были вытеснить его из-за вала штыками. В то же время две роты и два орудия направлены были против замка, а еще два орудия поставлены отдельно на возвышенности, чтобы обстреливать толпы, занимавшие гору. Артиллерийский огонь начался одновременно на всех назначенных пунктах. Неприятель, занимавший нижние уступы города, отвечал живым ружейным огнем, но картечь скоро заставила его умолкнуть, и мало-помалу люди начали скрываться в домах, представлявших лучшие укрытия От артиллерийских снарядов. Тогда Мадатов двинул пехоту. Глухо зарокотали барабаны наступление, и батальон с ружьем наперевес двинулся на приступ. Но неприятель не выдержал удара и поспешно стал по скалистым тропам убираться на вершину горы. Покинутый город был занят, но замок оборонялся упорно, и толстые стены его несокрушимо противостояли действию артиллерийских снарядов. Тогда Мадатов послал батальон пехоты с четырьмя орудиями обойти замок с тыла, и обложить осажденных. Башлынцы, храбро оборонявшиеся, пока была возможность к отступлению, теперь, едва увидели батальон, угрожавший запереть им выход, обратились

в бегство. И город, и замок были заняты. Неприятель сосредоточился на вершине горы. Но положение его оказалось крайне невыгодным. Сверху вниз по крутизне горы стрелять было не удобно, а наши гранаты между тем свободно ложились на самой горе и осколками наносили неприятелю огромные потери. Войска рвались вперед, чтобы покончить дело штыками, но Мадатов предпочитал менее блестящий, но зато более дешевый и верный успех. “В Грузии солдат дорог,— повторял он тем, которые хотели приступа,— даром его не трать”.

Действительно, неприятель скоро скрылся в лесах и ущельях гор, где трудно и бесполезно было его преследовать. Важный успех этот стоил русским всего трех убитых и двадцати раненых.

Дом уцмия в Башлах был разрушен. Мадатов угрожал истреблением и городу, если жители не явятся с покорностью. И старшины явились. От лица народа они присягнули на подданство русскому государю, дали аманатов из лучших фамилий и уплатили дань. Мадатов вывел войска из города, чтобы успокоить семейства башлынцев, которые, скрываясь в лесах, много терпели от страха, стужи и голода. Как велико было влияние Малахова на умы покоренных народов, можно судить по тому, что и здесь часть каракайтагцев тотчас же примкнула к русскому отряду и вместе с ним двинулась в Горный Каракайтаг, который еще повиновался уцмию.

Разбитый в Башлах, уцмий укрепился между тем в местечке Сумей, известном своей неприступностью. Чтобы вызвать его из этой крепкой позиции, Мадатов двинулся прямо к его резиденции Янги-Кенду, и двадцатого октября первые лучи восходящего солнца озарили отряд уже в быстром движении к этому городу. Храбрые янгикендцы приготовились к обороне, но, увидев в наших рядах своих единоземцев, поколебались. В эту минуту прибыл Адиль-хан со всеми своими силами из Сумей, но было уже поздно. Батальон Троицкого полка штыками взял укрепленные высоты, и войска заняли город. Тогда народ и здесь отказался от власти уцмия и присягнул на подданство России. Так, в два месяца, с горстью отважных, в местах неизвестных и большей частью неприступных, князь Мадатов покорил всю Табасарань и весь Каракайтаг.

Алиль-хан бежал к акушинцам, увеличив собою число скитавшихся беглых владельцев. Ермолов объявил достоинство уцмия навсегда упраздненным, а управление Каракайтагом временно поручил племяннику Адиль-Гирея Эмир-Гамза-беку, но без титула уцмия и с подчинением его дербентскому коменданту. Впоследствии выработаны были особые правила для управления Каракайтагом, и селение Великент назначено местопребыванием русского пристава.

Семейная вражда и месть, обостренная историческими обстоятельствами, скоро привели к гибели почти всего дома некогда славных уцмиев Каракайтага.

Бежавший уцмий укрылся в Аварию. Было ясно, что пока он будет переезжать из одного владения в другое, находя пристанище даже в самом Каракайтаге, где он проживал по целым месяцам, спокойствие в Дагестане будет постоянно нарушаемо. Поэтому к поимке его были приняты деятельные меры, и особенная забота об этом возложена на пристава капитана Якубовского. Но уцмий был осторожен, и долго все меры к захвату его были безуспешны. Наконец Якубовский успел заручиться содействием Эмир-Гамзы-бека и сделал его соучастником заговора.

Нужно припомнить, что уцмий с давних пор ненавидел детей своей старшей сестры, которых было четверо: Бала-хан, Эмир-Гамза-бек, Бей-Бала-бек и Элдар-бек. Самая

попытка его сблизиться с русскими имела, как мы видели, связь с этой фамильной враждой. Он начал с того, что успел очернить перед русскими старшого племянника, казавшегося ему наиболее опасным, и молодой Бала-хан, по его настояниям, был сослан в Сибирь. По изгнании уцмия, когда положение Эмир-Гамзы-бека в Каракайтаге упрочнилось, и слух об этом дошел до изгнанника, несчастный Бала-хан нашел случай переслать брату с одним из бежавших лезгин письмо и два ружейные кремня, умоляя его о мщении. Эмир-Гамза, ненавидевший дядю, дал обет мести, так совпадавший с намерениями русских властей, и потому охотно принял предложение пристава.

Благоприятный случай к исполнению обета представился очень скоро.

Есть сведения, что Адиль-хан, испытав превратность судьбы и терпя крайнюю бедность, сам начал искать примирения с русскими, домогаясь получить свои родовые имения, и просил Эмир-Гамзу быть в этом случае посредником. Гамза тотчас уведомил его, что русское правительство принимает его предложение и поручило ему, Эмир-Гамзе, заключить с ним условия.

Назначено было место и время свидания и условлено, чтобы при каждом было не более двух нукеров. Вечером с третьего на четвертое октября 1822 года Эмир-Гамза прибыл к условленному месту свидания в сопровождении, по-видимому, только двух человек, но пятьдесят вооруженных всадников остались невдалеке в засаде. Обычная осторожность уцмия на этот раз изменила ему. Он прибыл только с сыном Мамед-ханом и одним прислужником.

Разменявшись приветствиями, племянник и дядя сели друг против друга на разостланной бурке и сняли ружья, положив их, однако, из предосторожности, на колени. Ружье Эмира заряжено было двумя пулями, и в курок был ввинчен кремень, присланный Бала-ханом.

Беседа продолжалась довольно долго. Гамза льстил надеждам дяди и наконец сказал ему: “Вели отойти сыну и нукеру, мне нужно передать тебе кое-что по секрету”. Уцмий приказал всем удалиться. Мамед-хан, все время не спускавший глаз с Гамзы-бека, исполнил приказание с видимым неудовольствием и только после строго повторенного отцом приказания. Впрочем, он скоро успокоился, так как видел, что отец и брат его прощаются самым дружеским образом. Но едва Адиль-хан, повернувшись, сделал несколько шагов, как Гамза прицелился и выстрелил в дядю сзади. Уцмий упал, пораженный навылет двумя ружейными пулями. Он был убит наповал. Мамед-бек, выхватив шашку, бросился на убийцу; Гамза и два его нукера побежали. Становилось темно. Два раза Мамед-бек выстрелил на бегу из ружья, видел, как двое упали, один за другим, но третий еще бежал. Пылкий Мамед, бросив ружье, преследовал его по пятам с обнаженной шашкой и наскочил на засаду. Пятьдесят винтовок выстрелили в него залпом, пятьдесят человек кинулись на него с кинжалами и шашками... Уцелевшему непонятным чудом, Мамеду удалось спрятаться в лесу, отделавшись легкой раной в ногу. Он утешал себя мыслью, что все-таки успел убить Гамза-бека, но впоследствии ему стало известно, что Эмир избежал смерти, убиты же были его нукеры.

В современных русских донесениях дело излагается, впрочем, несколько иначе, вероятно, по показаниям самого Эмир-Гамзы-бека. Они говорят, что Адиль-хан, давно старавшийся погубить племянника, составил заговор на жизнь его вместе с Мамед-ханом и, прощаясь с Гамзой, намеревался убить его, но что Гамза предупредил их замысел и выстрелом из пистолета положил Адиль-хана на месте, а Мамед-бека ранил в ногу.

На другой день останки покойного уцмия перевезены были в селение Янги-Кенд в Верхнем Каракайтаге и там погребены со всеми почестями и пышностью, приличествовавшими его высокому званию.

Убийство уцмия было началом целого ряда катастроф. В конце 1826 года Эмир-Гамза был убит во время экспедиции в Табасарань, и Каракайтагом последовательно управляли младшие его братья — Бей-Балла и потом Элдар-бек. Старший их брат, Бала-хан, был возвращен из Сибири только в 1831 году, но он через год умер скоропостижно. Вслед за ним умер и Мамед-бек — некогда наследник Каракайтагского уцмийства. Затем случайное обстоятельство послужило поводом к кровавому эпизоду, в котором погибли новые члены Каракайтагского дома.

В это время, то есть в тридцатых годах нынешнего столетия, первой красавицей в Дагестане слыла Фатимат, дочь одного простого горца по имени Ибаха. Элдар, еще в то время, когда Каракайтагом управлял его брат Бей-Балла, влюбился в нее и стал просить руки, но родители долго не соглашались на этот неравный брак, так как, по обычаям страны, сыновья от такого брака не пользуются ни званием, ни правами беков; чтобы иметь наследников законных от жены простого происхождения, в Дагестане нужно было не иметь других жен. И влюбленный Элдар присягнул тогда на Коране, что он на другой не женится и что дети от Фатимат получат таким образом звание и все права беков. Но когда, после смерти Бей-Баллы, Кайтаг подчинен был Элдару, последний, несмотря на свою клятву, женился на вдове брата, женщине умной и прекрасной. Фатимат не избежала горькой участи покинутых жен; Элдар ее бросил, и она возвратилась к братьям. Тогда, раздраженная этим поступком, семья старого Ибаха поклялась мщением. Но, не смея действовать явно против владетеля, братья Фатимат решились направить смертельный удар посторонней рукою.

В Кайтаге в это время жил Устар-хан, семнадцатилетний юноша, третий сын покойного уцмия [Уцмий имел трех сыновей: Мамед-хана, Джамов-бека и У стар-хана.]. Неоднократно и явно высказывал он ненависть свою к Элдару за убийство отца. Долго мучила Устара мысль, что это убийство останется без отмщения, и он не раз насмехался над старшими братьями, укоряя их в нерешительности взяться за святое дело.

— Будь мне тогда, когда убили отца, хоть пятнадцать лет,— говорил он,— я не замедлил бы в ту же минуту успокоить его тень. Но я и теперь найду средство исполнить сыновний долг.

Братья считали эти слова просто хвастливостью ребенка и не обращали на него внимания. Но Устар, верный своему обещанию и обладавший смелым и упорным характером, выжидал только удобного времени. Он со злобной радостью принял братьев Фатимат в надежде, что найдет в них верных товарищей для мщения Элдару и за себя, и за других.

Была Пасха 1836 года. По принятому обычаю владетель Кайтага поехал в селение Великент, чтобы поздравить с праздником русского пристава. В Великенте уже ожидал его Устар-бек вместе с братьями Фатимат и четырьмя нукерами испытанной храбрости. Встретились они весьма дружелюбно и все вместе отправились к приставу. Принятые с почетом, Элдар и Устар-бек сели рядом на диван и за завтраком пили даже за здоровье друг друга. Товарищи и нукеры их почтительно стояли по обеим сторонам комнаты. Случилось, что вскоре после завтрака пристав за чем-то отлучился из комнаты. В это самое время один из нукеров Устара подал условный сигнал; Устар встал и вдруг, выхватив из-за пояса пистолет, заряженный двумя пулями, в упор выстрелил в Элдара. Элдар упал, обливаясь кровью. На мгновение в комнате водворилась страшная тишина,

все оцепенели от ужаса. Тогда один из братьев Фатимат, видя, что Элдар в предсмертных судорогах старается вынуть кинжал, крикнул зловещим голосом: “Устар, руби его!” Слова эти заставили Устара опомниться; он выхватил шашку и в остервенении нанес до двадцати ударов по голове уже умершему Элдару. Тогда только друзья и нукеры владетеля схватились за оружие и бросились на противников. Устар первым пал под ударами шашек. Нукер его, Бахам, желая спасти его тело, проворно подсунул его под диван и заслонил собою. После нескольких выстрелов с обеих сторон началась страшная резня кинжалами. В дыму, которым наполнилась небольшая комната, сражавшиеся едва могли различать друг друга. Выстрелы, шум и дикие крики подняли на ноги весь Великен. Прислуга пристава в ужасе разбежалась. Сам пристав бросился на гауптвахту и приказал ударить тревогу. Команда солдат прибежала к его дому, но никто не посмел войти, и скоро комната была завалена телами убитых и умирающих. Погибло тринадцать человек, и только Бахам, защитник трупа Устара, покрытый тяжкими ранами, еще стоял на ногах. В эту минуту, растолкав столпившихся в сенях солдат, в комнату вскочил конюший Элдара и, увидев бездушное тело своего господина, бросился на Бахама. Но Бахам имел еще достаточно сил, чтобы насмерть поразить его кинжалом, а затем с криком: “Прощай, Устар! Довольно я послужил тебе!” — кинулся к выходу. Острый кинжал, брошенный вдогонку ему умиравшим конюшим, просвистел мимо, и Бахам выскочил на двор, где его схватили солдаты.

В живых еще оставался в комнате один молодой Искандер-бек, друг и товарищ Элдара. “Умираю! — крикнул он.— Но умираю с гордостью: я честно защищал труп моего друга Элдара!” — и с этими словами он бросил свой кинжал с такой силой вверх, что тот глубоко врезался в потолок... Команда русских солдат нашла, впрочем, и его уже мертвым.

И поныне путнику, проезжающему из Дербента в Кизляр или в Темир-Хан-Шуру, укажут в Великенте дом, в одной из комнат которого, на потолке, еще остается глубокий след от кинжала Али-Искандер-бека.

Так погибла вся фамилия бывшего уцмия каракайтагского за исключением среднего сына Адиль-хана — Джамов-бека, случайно не попавшего тогда в Великент. К нему, как к единственному представителю рода, и перешло управление Каракайтагом.

XVI. ПАДЕНИЕ АКУШИ

На реке Койсу-Казикумык, в глубине Среднего Дагестана, лежит обширное лезгинское селение Акуши. Селение это было центром могучего Акушинского, или, правильнее, Даргинского союза, знаменитого в горах любовью к независимости и гордым воинственным духом.

Даргинский союз состоял из шести автономных магалов — обществ, из которых каждое управлялось своим кадием; но акушинский кадий считался главою союза, и акушинское общество преобладало над другими.

В истории Дагестана был момент, когда свободе горских народов грозила опасность: великий завоеватель Надир-шах стоял перед ними. Тогда, в кровавой битве под Иран-Хараба, что значит “Гибель Персии”, акушинский народ нанес ему страшное поражение. Бегство персов было так поспешно, что шах потерял на поле сражения корону и драгоценное седло. Эти единственные в мире трофеи ныне, к сожалению, кажется, совершенно утеряны; но они долго переходили в Дагестане из рук в руки до последнего имама Чечни и Дагестана, Шамиля, утратившего их только на Гунибе. Акушинцы после

этой блестящей победы слыли в горах непобедимыми и, как сильнейший народ, привыкли с давних пор вмешиваться в посторонние распри и играть в событиях первенствующую роль.

Территория Даргинского союза, лежавшая по рекам Кара-Койсу и Казикумык-Койсу граничила с шамхальством, Мехтулой, Каракайтагом, Казикумыком и Андалялом. Таким образом, в 1819 году, когда Каракайтаг пал перед русским оружием и вековое значение в горах уцмия было стерто одним росчерком пера сурового сардаря, когда, с падением Каракайтага, запаялось грозное кольцо из русских штыков вокруг гор Дагестана, гордому акушинскому народу, ставшему теперь лицом к лицу с северными пришельцами, выпало на долю явиться во главе движения и на себе самом испытать силу русского оружия.

Покорение русскими всего Каспийского побережья волновало тогда весь Дагестан. Опасность потерять независимость и возможность своеобразной полуразбойничьей жизни, веками взлелеянной, угрожала в равной мере всем древнейшим дагестанским владениям. Изгнанные из своих земель уцмий каракайтагский, Хассан мехтулинский, Шейх-Али дербентский, наконец лишенный генеральского чина хан аварский стояли перед всеми живым свидетельством грозящих горам опасностей. И мысль соединиться Дагестану в один общий союз, чтобы общими силами противодействовать дальнейшим завоеваниям русских, становилась более твердой и распространенной. С этой именно целью изгнанные владельцы съехались вместе, чтобы общими усилиями поднять весь Дагестан против врагов. В Дагестане жило всего более опасение, чтобы Ермолов не основал и в горах такие же опорные пункты, какие уже были основаны им в Чечне и на Кумыкской плоскости; и мысль о союзе крепла все более и более. Скоро Казикумык и многие вольные лезгинские общества поднялись на защиту общего дела вековой свободы и независимости, гордые акушинцы стали во главе движения, и акушинская земля должна была сделаться ареной кровавого столкновения.

Теперь перед русскими готовились стать не толпы бродячего сброда, которыми обыкновенно кишел Дагестан, а правильный военный союз владетельных лиц, союзов и обществ, поставивших себе целью отстоять общую независимость и, принудив к союзу отпадших, восстановить весь политический строй Дагестана в том виде, как он сложился веками и существовал по появления русских. Акушинский кадий принял на себя главное руководство; ему помогали аварский хан, уцмий, Сурхай казикумыкский и Шейх-Али, располагавший значительными денежными суммами, которые он получал из Персии. Войско мятежников росло по часам. Предполагалось напасть на владения шамхала, чтобы заставить его отложиться от русских и примкнуть к союзу; одновременно с тем дагестанцы должны были атаковать Чирагский пост, чтобы открыть дорогу в Кубу и разорить владения преданного России Ассан-хана кюринского. Успехи на этих пунктах сулили мятежникам возможность предписать русским условия мира и заставить их возвратить Дербент, Кубу, Каракайтаг и Дженгутай прежним владельцам. Стремление горских народов образовать из себя федерацию должно было вынудить русских употребить все силы на то, чтобы, напротив, разобщить горцев между собою, и новый поход в Дагестан являлся неизбежным уже просто с целями защиты подданных.

Пока военные действия происходили в Южном Дагестане, где Сурхай собирал войска, чтобы взять небольшое и слабое Чирагское укрепление, стоявшее на границе Кюринского ханства,— на севере Дагестан поднялся против шамхала тарковского. Мехтула, забыв прошлогодний погром, стала также на сторону мятежников, Гассан-хан вновь овладел правлением, а русский пристав должен был покинуть Дженгутай, который первым поднял знамя восстания. Волновались даже Тарки. До какого ожесточения доходила в горах ненависть к шамхалу, можно судить по тому, что мать аварского хана, имевшая за ним в

замужестве двух своих дочерей, писали в это время к акушинскому кадию, чтобы тот старался захватить шамхала живым и “доставил бы ей удовольствие напиться его крови”. “Какие нежные чувства женщины и великодушная попечительность о зяте! — замечает по этому поводу Ермолов. Впрочем, необходимо сказать, что подобные отношения между родными в Дагестане не были случаями слишком исключительными. Жена Ахмет-хана аварского, жестокосердная Гихили-Бике, некогда злодейски умертвившая одного из своих женихов, присылала к Ермолову муллу с предложением отравить и мужа за известную сумму денег, но Ермолов ответил ей, что жизнь презренного негодяя ничего не стоит. Владетельный князь аула Брагуны умертвил самым варварским образом отца и двух братьев, чтобы только захватить их имущество; Сурхай погубил родного сына Муртазали-бека. Да вряд ли и у каждого из владетельных особ кавказских гор не было кровавого пятна на совести.

Угрожаемый со всех сторон, шамхал оставил Тарки и удалился в свой небольшой загородный замок, где решился лучше погибнуть, нежели перейти на сторону восстания. Военные действия против него поручены были Гассану дженгутайскому, который со своими мехтулинцами и приступил к осаде замка. Шамхал защищался отчаянно и отразил приступ с большим уроном для нападающих. Положение шамкала становилось, однако, все более и более критическим, как вдруг внезапная смерть Гассана, найденного в одно прекрасное утро мертвым в собственной постели, развязало ему руки. Подозревают, что Гассан был отравлен молодой женой, которая давно искала случая извести ненавистного старого мужа, но отрава — прием не совсем обычный для женщин мусульманского мира, а потому можно было подозревать здесь и другую, чью-нибудь более вескую руку. На ком бы ни тяготело это преступление, загадочная смерть мехтулинского хана, пользовавшегося в горах большим влиянием, несколько расстроила планы союзников, так как дженгутайцы, лишившись вождя, отложились от сборища.

Ермолов, громивший тогда Чечню, поспешил приступить к решительным действиям. В отряд князя Малахова, все еще стоявший в Каракайтаге, послано было приказание идти форсированным маршем к границам Акуши; вслед за тем, одиннадцатого ноября, в холодную, буранную погоду пошел к Таркам и сам Ермолов с девятью батальонами пехоты и сильной артиллерией.

Начало экспедиции ознаменовалось одним весьма печальным эпизодом, о котором рассказывает участник этого похода, Цылов.

На первом переходе, когда отряд расположился на ночлег, Ермолов приказал принять все меры военной предосторожности, чтобы не подвергать войска в этой лесистой местности внезапному нападению. Пикеты и секреты были расставлены. Но Ермолов, не довольствуясь общим распоряжением, ночью отправился вместе с начальником штаба Вельяминовым сам осматривать местность и нашел одного солдата восьмого егерского полка, незадолго прибывшего из Крыма, заснувшим в секретной цепи. В подобных случаях Ермолов шутить не любил. Он потребовал к себе полкового командира полковника Шульца, которого знал еще со времен наполеоновских войн, когда этот отличный офицер был адъютантом у графа Ланжерона, и сделал ему перед всеми суровый выговор.

На следующем ночлеге, верстах в двадцати от Андреевской деревни, Шульц, не полагаясь более на своих подчиненных, сам отправился в цепь вместе с батальонным командиром майором Ганеманом. Пробираясь верхом по густому орешнику и разговаривая между собою по-немецки, ни тот ни другой не слыхали секретного лозунга, подаваемого им из цепи. Сильный ветер относил оклик в сторону, и оба всадника продолжали ехать прямо на

заложенный перед ним секрет. Из цепи был послан выстрел — и Шульц, смертельно раненный пулей в живот, упал с лошади. Выстрел поднял на ноги весь отряд и тотчас же обнаружил несчастную ошибку.

Молодой, подававший большие надежды, любимый и уважаемый всеми товарищами, Шульц не пережил тяжкой раны и на третий день умер. На смертном одре, за несколько минут до кончины, он призвал к себе того солдата, который поразил его выстрелом, и отдал ему все свои наличные деньги. Печальны были похороны его. Сколотили четыре доски, тут же вытесанные из срубленного чинара, уложили в этот простой, бедный гроб тело, и ночью товарищи на руках отнесли его в могилу, вырытую на высоком придорожном кургане. Ермолов почтил погребение своим присутствием. Ни музыки, ни ружейных залпов — ничего не было, чтобы не привлечь внимания неприятеля и охранить могилу от алчности полудиких горцев.

Не бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили,
И труп не с ружейным прощальным огнем
Мы в недра земли опустили.
И бедная почесть в ночи отдана,
Штыками могилу копали...

Присутствовавшие не думали, чтобы печальный обряд похорон имел посторонних свидетелей, а между тем неприятель, окруживший отряд незримыми мелкими шайками, следил, как оказалось потом, за каждым движением русских. И на возвратном пути, когда отряд шел той же дорогой, солдаты и офицеры просили остановиться у кургана, где был похоронен их любимый товарищ, чтобы отслужить по нем панихиду. Но тела покойного не оказалось в могиле; его украли горцы, предполагая получить за выкуп большие деньги. Отряд грустно помолился над разбитым выброшенным гробом и двинулся дальше.

Но возвратимся к рассказу.

Четырнадцатого ноября Ермолов вступил в Тарки. Сильные метели, какие не часто бывают даже и в степных полосах, задержали его здесь более чем на две недели. Довольно сказать, что не только артиллерийский парк, но даже высокие фуры, стоявшие под городом, по ночам заметались сугробами так, что только концы приподнятых вверх оглобель торчали из-под снега. Более двух тысяч людей ежедневно высылались на расчистку дорог. Воочию сбывалось старинное поверье, что русские приносят с собою зиму.

Пользуясь досугом, Ермолов совещался с Малаховым, прибывшим уже в Карабудакент, и писал к акушинцам прокламации, в которых требовал от них аманатов и выдачи пленных, обещая в противном случае наказать их оружием и истребить главное селение их, Акушу. Жителям Мехтулинского ханства объявлено было также, что если они не останутся спокойными, то будут разорены, и все пленные, сколько бы их ни случилось, будут отправлены в Россию. Акушинцы пренебрегали угрозами: “Знай,— писали они Ермолову,— что мы люди вольные, у нас нет эмира и нет могущественных владельцев в наших деревнях, мы только племя, называющееся узденями Мехти-шамхала...” Сильные отряды акушинцев уже двигались к границам шамхальства, и их передовые разъезды стали показываться на высокой горе Калантау, через которую лежала единственная дорога в даргинские земли.

Нужно сказать, что горный хребет, отделяющий Акушу от владений шамхала тарковского, один из неприступнейших хребтов на целом Кавказе. Дикие гранитные скалы его лишь в немногих местах прорезываются горными ручьями, русла которых и должны были служить дорогами для русской пехоты. Пути сообщения там — тесные коридоры между скалами, шириною в одно горное орудие; пятьдесят человек не вооруженных, только бросая камни с высот, могли бы остановить здесь многие батальоны. Существует один только более удобный перевал, и успей занять его акушинцы всею своей двадцатипятитысячной массой, русским была бы преграждена дорога: обойти — невозможно, а лезть на горы с одними штыками было бы бесполезно. Более чем на шесть верст тянулся крутой подъем, на котором всякий шаг нужно было отвоевать оружием, а на это никакой гигантской силы недостало бы. Ермолов все видел и мастерскими переговорами, то льстя, то угрожая акушинцам, задерживал их движение, усыплял их внимание; а между тем отряд князя Мадатова, быстро двигавшийся от Карабудакента, успел предупредить их и занял перевал без выстрела. Теперь дорога в Акушу была открыта.

Чтобы судить, какие трудности пришлось тем не менее преодолеть войскам князя Мадатова, довольно сказать, что для перевозки артиллерии на расстоянии шести верст потребовалось три дня и громадное количество волов, так как лошади оказались для того недостаточно сильными. Последний ночлег был на самой вершине, покрытой густыми туманами; с трудом собрали люди хворост и бурьян для разведения бивуачных огней, около которых, при пронзительном ветре и стуже, солдаты провели всю ночь без сна, ожидая с нетерпением первых солнечных лучей — холод никому не дозволял сомкнуть глаз.

Двенадцатого декабря русский авангард спустился с гор. Проводники из местных жителей охотно указывали дорогу, не веря успеху предприятия и, быть может, желая именно заманить русских дальше в глубь горной страны. Как бы в насмешку показывали они места, где были разбиты войска Надир-шаха, дороги, по которым они бежали. "Таково было мнение о могуществе акушинского народа,— говорил Ермолов,— и немало удивляло всех появление наше в сей стране". Авангард, однако же, спустился благополучно и, оттеснив неприятельские передовые посты, занял первую акушинскую деревню, Уруму. Верстах в десяти отсюда виден был высокий хребет, расположенный амфитеатром, тремя уступами, постепенно возвышающимися от стороны селения. Горы эти были усеяны массами народа, толпившегося возле небольшого укрепления, в котором развевались сотнями разноцветные значки. Это была первая укрепленная позиция двадцатипятитысячного акушинского ополчения.

Шестнадцатого числа подошли сюда главные силы Ермолова. Несколько дней прошло, однако же, в бездействии. Главнокомандующий то и дело ездил сам осматривать местность, делались съемки. Акушинские старшины приезжали в русский лагерь, их угощали, а о военных действиях не было и помину.

— Что это затевает наш Петрович? — говорили солдаты, искоса поглядывая на грозную неприятельскую позицию.

А дело было просто. Ермолов видел, что взять неприступную позицию неприятеля с фронта было невозможно. Он основательно страшился потерять на штурме не сотни, а, может быть, тысячи людей — и все-таки не взять позиции. А между тем для опытного глаза не было ни малейшего сомнения, что овладеть ею очень легко, если бы только найти какую-нибудь тропинку, по которой можно было бы взобраться на горы в обход правого неприятельского фланга. Фланг этот упирался в неприступный утес, у подошвы которого,

в диком ущелье, пенилась речка Манас и пролегала дорога в Акушу. На третий день, в сумерках, несколько линейных казаков и татар, ездивших на обычные поиски, прискакали в лагерь с известием, что тропинка есть, и притом такая, что по ней можно втащить артиллерию.

В лагере в это время были акушинские старшины, в последний раз приезжавшие для переговоров. Самонадеянность неприятеля росла с каждым днем бездействия русских, и самые умеренные предложения Ермолова, клонившиеся к тому, чтобы предупредить напрасное пролитие крови, были отвергнуты ими с высокомерием. Тем не менее главнокомандующий приказал принять старшин с предупредительной вежливостью, угощать как можно лучше, расточать перед ними перлы восточного красноречия, но отпустить домой не прежде, как около полуночи. Так это и было сделано. Вернувшись домой поздно, старшины тотчас собрали джамат и передали ему свои впечатления. По их рассказам выходило так, что у русских войск мало, солдаты изнурены и вообще находятся в таком состоянии, что против них “едва ли достойно употребить оружие”. Приятная весть мгновенно пронеслась по стану, и гордые акушинцы, в сознании собственного могущества, заснули спокойно. Никому из них не приходило в голову, что ожидало их завтра, а грозное завтра между тем уже начиналось.

Как только старшины оставили лагерь, войска тихо стали в ружье и осторожно, без шума двинулись к неприятельской позиции. Пройти нужно было семь или восемь верст. Ночь была месячная и чрезвычайно ясная, но войска прошли незамеченные неприятелем. Огни в акушинском стане уже угасали, когда весь отряд остановился на пушечный выстрел от его укреплений. Вдали виднелась большая деревня Лаваши, а впереди нее — ряд крутых возвышений, занятых окопами; левый фланг позиции оканчивался укрепленным холмом, правый — упирался в обрыв, по дну которого бежала речка Манас. В этот-то обрыв спустился ночью отряд князя Мадатова, вброд перебрался через речку и по тропинке, открытой казаками, вошел на противоположный гребень гор, откуда мог открыть огонь вдоль всей неприятельской линии. Путь к Акуше и даже сообщение с деревней Лаваши, были акушинцам отрезаны. Между тем главные силы, при которых находился Ермолов, развернулись против фронта неприятельской позиции; правее стала милиция шамхала, набранная им в Тарках и в Мехтулинском ханстве по расчету чисто политическому. “Не имел я ни малейшей надобности в сей сволочи, — говорит Ермолов,— но потому приказал набрать оную, чтобы возродить вражду к ним акушинцев и возбудить раздор, полезный на предбудущее время”.

Девятнадцатого декабря, с рассветом, начался памятный бой под Лавашами. Едва густой предрассветный туман рассеялся, неприятель с ужасом увидел отряд князя Мадатова, который успел уже развернуть свои силы на горах, по ту сторону оврага, где протекал Манас, и уже начинал обходить оконечность правого фланга. В смятении бросились толпы акушинцев со своей укрепленной позиции, чтобы защищать другие высоты, лежавшие на пути к Лавашам, где были собраны их жены, дети и имущество. В отряде Мадатова скоро загорелся сильный ружейный и орудийный огонь. Ермолов воспользовался этой минутой и приказал войскам штурмовать окопы. Пук Георгиевских крестов, сжатых в руке его, был красноречивей слов. Войска ринулись вперед. Неприятель, поражаемый перекрестным пушечным огнем с фронта и с фланга, скоро обратился в бегство. Татарская конница (жители закавказских ханств и Южного Дагестана) первая вскочила в покинутое укрепление; за нею прибежал батальон ширванцев. Поставленные здесь батарейные орудия жестоко били в тыл бегущих акушинцев, а стрелки Куринского, Троицкого и сорок второго егерского полков, овладев утесами, нависшими над самой дорогой, по которой теснился неприятель, провожали его фланговым огнем и били на выбор. Триста линейных казаков Моздокского полка с

храбрым командиром майором Петровым, опрокинув слабую конницу, пронеслись далеко вперед, обскакали толпу и рубили бежавших. В то же время татарская конница, желавшая отличиться на глазах главнокомандующего, преследовала неприятеля по таким местам, “куда — по словам Ермолова — приводить может одна добрая воля и никогда решимость начальника”.

Потеря акушинцев при таких условиях не могла не быть громадной. В довершение всего Мадатов двигался вперед форсированным маршем и занял Лаваши. Все это произошло так быстро, что неприятель не успел развернуть против русских и четвертой части своих сил,— все рассыпалось и разбежалось. “Многие, опасаясь быть отрезанными, бросались вниз с такой крутизны,— рассказывает Ермолов,— что едва мы верили глазам, чтобы с них спуститься было возможно”. Бой продолжался не более двух часов — и полный разгром акушинцев, столь гордых победою над Надир-шахом, стоил победителям только двух офицеров и двадцати восьми нижних чинов убитыми и ранеными.

Отряд ночевал в Лавашах. Здесь, собственно, стало вполне известным, что в бою были не одни акушинцы, что в помощь к ним приходили койсубилинские народы, казикумыкцы со старшим сыном Сурхай-сана и многие другие вольные общества Дагестана и что всобще силы неприятеля простирались до двадцатипяти тысяч. Из вождей, кроме акушинского кадия, замечены были уцмий каракайтагский, Амалат-бек, родной племянник и зять шамхала тарковского, и Ших-Алихан дербентский. “Уцмий каракайтагский,— говорил Ермолов в своих записках,— известный между здешними народами за человека отличной храбрости, находился в бою против войск нашего левого крыла, и жители Лавашей видели его бежавшим ранее прочь. Шейх-Али-хан дербентский составлял главнейшую в совещаниях особу, но в опасности не вдавался и в бегстве не был из последних. Аварский хан не был, из его подданных приходили немногие”.

Впечатление, произведенное на акушинцев внезапным, неожиданным погромом, было так сильно, что на следующий день русские войска нигде не встречали неприятеля. Посланные в разъезд, казаки открыли, что жители окрестных деревень вывозят даже в горы свои семейства и угоняют стада. Конница русская взяла несколько пленных, отбила обозы и множество скота. Из многих деревень неприятель бежал с такой поспешностью, что были брошены даже грудные дети.

Войска шли грозою, и все, что встречалось на пути непокорного, предавалось огню и разрушению. “Разорение,— говорит Ермолов,— нужно было как памятник наказания гордого и никому еще доселе не покорствующего народа”.

С удивлением смотрели русские на прекрасные жилища поселян, попадавшиеся им на пути. Большая часть домов, выстроенная из необожженного кирпича, была обширна, чиста и опрятна. Но что особенно поражало — это обработка земли в гористой и неудобной местности. Здесь-то именно, на самых страшных крутизнах, и попадались площадки посевов, расчищенные со страшными усилиями и искусно поддерживаемые контрфорсами. Обработка земли у дагестанцев могла бы сделать честь самому просвещенному культурному народу.

По словам Ермолова, отличительными чертами акушинского народа служат добронравие, кротость и трудолюбие, несмотря на прирожденную им воинственность и гордость. Праздность почитается у них пороком, и, может быть, эти-то именно качества и поставили их выше соседей, которым они уступают в силе, но которых превосходят умственным и нравственным развитием. “Но начинает уже, замечает Ермолов,— и у них вселяться разврат от употребления горячих напитков. Доселе роскошнейшим служит наше казенное

вино, и разве спасет их то,— иронично прибавляет он,— что вице-губернаторы продают вместо водки воду”.

Двадцать первого декабря войска подошли к Акуше и заняли его без боя: город был пуст. Жители, бежавшие из него, укрывались в соседних горах. Но Ермолов приказал не преследовать их, хотя, рассеянные и объятые ужасом, они легко могли бы сделаться добычей русских. Войскам запрещено было касаться имущества жителей, и все покинутые дома остались целы и неприкосновенны; разрушены были до основания только те, которые принадлежали друзьям беглого Ших-Али-хана, участвовавшим с ним в действиях против русских. Великодушная пощада, которой никто не ожидал, произвела на жителей поражающее впечатление. Мало-помалу они стали стекаться в город с уверенностью, что найдут снисхождение; женщины приходили в самый лагерь и отыскивали там грудных детей своих, которых солдаты сберегали; одному из знатнейших старшин возвратили молодую дочь его, которую во время плена содержали с предупредительным уважением. Все это быстро изменило настроение акушинцев. Почетнейшие из них, в числе ста пятидесяти человек, явились к Ермолову, чтобы изъявить ему от лица народа покорность.

Торжество победы омрачено было лишь одним незначительным, в сущности, но неприятным эпизодом. В числе депутатов находился седой старый кадий селения Макачу. Что привлекло его сюда — трудно сказать. Но в ту минуту, когда все пало ниц перед Ермоловым, он вышел вперед и, остановившись в нескольких шагах, в самых дерзких выражениях стал говорить о том, что победа русских ничтожна, что акушинцы сильны, как прежде, и что Аллах пошлет им победу. “Взгляни,— сказал он,— на эти горные тропы и утесы и вспомни, что это те самые места, в которых была разбита и уничтожена нашими предками многочисленная армия государя, в десять раз сильнейшего против русского царя. Так можешь ли ты, после Надир-шаха, с горстью твоих солдат предписать нам законы...” Глаза его, как глаза дикого зверя, наливались кровью, рука судорожно дрожала, хватаясь за рукоять кинжала. “Я стоял ближе всех к генералу,— рассказывает Бегичев,— и опасаясь, чтобы фанатик в исступлении не бросился на него с кинжалом, вынул пистолет и держал его со взведенным курком наготове; многие также невольно положили руки на шашки. Ужас и недоумение выразились на лицах акушинских депутатов, не ожидавших ничего подобного. Но Ермолов остался спокойным и, опершись на саблю, слушал дерзкую речь изувера. Когда тот закончил, Ермолов грозно сдвинул брови и крикнул: “Взять его под арест!” Акушинцы схватили старого кадия. “Судите и накажите его сами,”— сказал Ермолов. Народный суд был недолог: озлобленные старшины тут же повалили кадия на землю и избили нагайками. Говорят, что кадий через несколько дней умер.

Когда в городе водворился порядок, акушинские жители и собранные сюда главнейшие из старейшин от всех селений вольного Даргинского общества приведены были к присяге на подданство русскому императору. Церемония происходила в великолепной городской мечети. Войска стояли в ружье, и, с последним словом присяги, сто один пушечный выстрел возвестил соседним горам о совершившемся факте. Жители Акуши поднесли Ермолову в память пребывания его в горах драгоценную шашку.

— Труды ваши, храбрые товарищи,— говорил Ермолов в приказе по корпусу,— проложили нам путь в середину акушинского народа, воинственного и сильнейшего в Дагестане. Страшными явились вы перед лицом неприятеля, и многие тысячи не противостали вам, рассеялись и бегством снискали спасение. Область покорена, и новые подданные великого нашего Государя благодарны за великодушную пощаду.

Вижу, храбрые товарищи, что не вам могут предлежать горы неприступные, пути непроходимые. Скажу волю Императора — и препятствия исчезают перед вами. Заслуги ваши смело свидетельствуют перед Государем Императором, и кто достойнейший из вас не одарен его милостью?

Главным кадием Ермолов назначил старого Зухума, уже бывшего в этом звании и известного спокойным характером и умом. От знатнейших фамилий взяты аманаты и отправлены в Дербернт; на Акушинский союз наложена дань, ничтожная в материальном смысле — две тысячи баранов ежегодно,— но важная по нравственному значению как доказательство их зависимости.

Иным характером отличались распоряжения Ермолова в отношении к мехтулинцам. Многие из них, приставшие к мятежу, отправлены были в Кизляр и там повешены, “дабы — по выражению Ермолова — беспокойные соседи кавказской линии знали, что и в Дагестан простирается власть наша и тщетна их на него надежда”. Значительная часть Мехтулинского ханства — та, которая после смерти Гассан-хана должна была, по разделу наследства, перейти к аварскому хану,— была закреплена за шамхальством; остальная часть оставлена за малолетними детьми умершего владельца. Ермолов принял их под покровительство государя императора и отправил в Россию вместе с бабкой, той злой и гнусной старухой, переписка которой с акушинским кадием по поводу шамхала была захвачена в Акуше.

В числе пленных, содержавшихся в русском лагере, находился в то время и молодой Амалат-бек, родной племянник шамхала тарковского. Как житель Мехтулы, он подлежал смертной казни и был спасен от виселицы только благодаря заступничеству полковника Верховского, тронутого молодостью преступника. Таким образом здесь, под Акушой, начался пролог той романической драмы, которая, спустя три года, окончилась трагической смертью одного из достойнейших кавказских офицеров, полковника Верховского, и послужила темой известному роману Марлинского “Амалат-бек”.

Двадцать шестого декабря войска оставили Акушинские владения, с тем чтобы возвратиться на линию. Но по пути, в Мехтулинском ханстве, оставлен был зимовать особый отряд, под командой Верховского, на которого возложено было и гражданское управление как в Мехтуле, так и в других мирных обществах Северного Дагестана.

В земле, где никогда доселе не располагались войска, солдаты, квартируя среди мусульман и даже вместе с ними в домах, снискали полное доверие жителей. “Они уразумели,— говорит Ермолов про дагестанцев,— что войско, бывающее ужасом врагам, украшает снисходительное и великодушное поведение, последствием чего было то, что из гор выведено было по семидесяти русских пленных”.

Кацырев рассказывает, что один акушинец привел старого русского солдата и, прощаясь с ним со слезами, давал ему две тысячи рублей, двадцать коров и пятьдесят баранов. Он пояснял всем бывшим при этом, что восемнадцать лет назад, будучи в крайней бедности, принял к себе в дом этого солдата, который, женившись на его дочери, своим прилежанием, трудолюбием и добрым поведением приобрел ему все настоящее богатство. Но солдат взял только сто рублей.

Память о славном походе Ермолова и поныне осталась в горах Дагестана в народных песнях и рассказах горцев. Вот одна из этих песен, записанная в Кубачах, но которая поется не только в Акуше и в других селениях Даргинского союза, а и в Горном Кайтаге.

Ермолов и шамхал,— говорит она, — сходились на границе
Дарги и совещались, как бы покорить его.
И там, где ни лисица, ни курица во всю свою жизнь не
могли бы отыскать тропинки, Ермолов нашел для себя
большую дорогу.
Ермолов, в присутствии государя, ел очень мало, как
ручной ястреб, а на врага бросался, как голодный и
разъяренный лев.
Руками он действовал, подобно железному молоту,
ломающему камни.
Когда Ермолов сидел, то все беки стояли перед ним, как
солдаты.
Ермолов, ты внезапно появился в Дарге с повозками,
наполненными серебром, и с лошадьми, навьюченными
сумками с золотом.
Как два противные ветра сталкиваются в одном месте
и потом разлетаются, так точно и акушинцы, страшась
сильного и храброго Ермолова, узнав о его приближении,
собрались в одну кучу, а едва увидели его — разбежались
в разные стороны.
Как только Ермолов пришел в Акушу, постарели и поседели
от страха акушинские старшины и кадии.
Ермолов, не употребляя ни пороху, ни ружей, ни пушек,
покорил нашу Даргу одной острой саблей.
Ермолов! Разве тебе не жаль было разорять нашу Даргу,
видя слезы и слыша плач и рыдания наших бедных жен и
детей?
Ты приобрел в Дарге и на всем Кавказе столь великую
славу, как турецкий султан.
Ты так разорил нас и навел такой великий и сильный страх
на народ наш, как персидский шах.
Но бедных ты наградил деньгами, а голодных накормил
хлебом.
И народная память сохранит среди нас славу Ермолова до
тех пор, пока мир не разрушится.

Даргинский вольный союз был покорен, действительно, так прочно, что в 1823 году, когда волнение и мятежи опять возникли в Дагестане, даргинцы не только не приняли никакого участия в беспорядках, но даже побудили некоторые непокорные селения выдать аманатов. То же повторилось в 1825 году во время чеченского бунта, когда акушинцы своим влиянием удержали в спокойствии весь Дагестан, уже готовый идти на помощь к Чечне тем с большей охотой, что восстание было во имя религии. Через год после этого, когда персияне внезапно вторглись в русские пределы и разослали свои прокламации, чтобы поднять против России горские народы, когда даже и закавказские мусульманские провинции склонились к измене, акушинцы остались верными и не только не участвовали в мятеже, но переслали к Ермолову все письма персиян, в которых те обещали им богатые подарки и большие суммы денег. Ермолов достойно оценил верность даргинского народа и именем государя сложил с него дань.

Государь не остановился, однако же, на этой милости и приказал спросить Ермолова, не считает ли он нужным даровать даргинскому народу знамя или какой-либо клейнод для хранения в потомстве, по примеру регалий, жалуемых казачьим войскам. И спустя год,

уже при Паскевиче, акушинцам, действительно, пожалована была хоругвь, на которой арабскими буквами изображена следующая надпись:

“Николай I, Император Всероссийский, Государь христианских народов разных наименований, повелитель многочисленных племен и орд мусульманских, вольному Акушинскому обществу за соблюдение долга верности даровал хоругвь сию в управление Мохаммед-кадия”.

Одиннадцатого января 1820 года Ермолов через Мехтулинское ханство прибыл в Дербент, чтобы отсюда прямою дорогой проехать в Тифлис, куда призывали его спешные дела по случаю возникших тогда волнений и беспорядков в Имеретии. “В Дербенте,— говорится в его записках,— я с удовольствием взглянул на развалины одной батареи, где двадцать четыре года тому назад устроена была брешь-батарея, которой командовал я, будучи артиллерийским капитаном: Здесь же, в Дербенте, к Ермолову явился Муравьев, только что возвратившийся тогда из своей поездки в Хиву, и получены были успокоительные известия из Имеретии и Южного Дагестана, где попытка Сурхая казику-мыкского пробиться в Кубинскую провинцию разбилась о геройскую, достойную вечной памяти оборону Чирагского укрепления.

Таким образом, повсюду в Дагестане восстанавливались спокойствие и покорность. Но, будучи свидетельством непреодолимой силы русского оружия, они не ручались за будущность и мирное развитие страны, в которой все мечты народной поэзии сосредоточивались на битвах с блеском и звоном оружия и с доблестным бесстрашием перед грозными очами смерти. Достаточно было случая, чтобы разрушить мирное настроение даже акушинцев, хотя оно основывалось на лучшем ручательстве, на уважении к нравственной силе русской. В то же время в горах возникало и росло брожение религиозной идеи, восстанавливающей против гяуров. Нужно было позаботиться о том, чтобы не встретить возможных опасностей с пустыми руками и неосновательными надеждами, и Ермолов, пользуясь временным затишьем, снова принялся за выполнение своего плана — возможно прочного покорения Дагестана. На очереди лежало наказание казикумыкского хана.

XVII. ЗАЩИТА ЧИРАГСКОГО УКРЕПЛЕНИЯ

На границе между Казикумыком и Кюрою, в горном проходе, составляющем ключ пограничных позиций, стояло небольшое укрепление Чираг, устроенное еще до Ермолова.

В 1819 году, в холодное зимнее время, когда в Дагестане был всеобщий мятеж и Ермолов шел походом на Акушу, пять или шесть тысяч мятежников, по заранее обдуманному плану военных действий, направлялись в Кюринское ханство, чтобы вынудить и его отложиться от русских. Сам Сурхай-хан казикумыкский вел это скопище. На пути лежало Чирагское укрепление. Мятежники, очевидно, побоялись оставить удобнейший горный проход не занятым, и Чирагу, таким образом пришлось вынести на своих плечах всю силу мятежнического нападения и прославиться доблестной защитой.

В то время в укреплении стояли две роты Троицкого пехотного полка. К сожалению, не все они помещались в самой крепости, а некоторая часть их обыкновенно располагалась по обывательским саклям. Это обстоятельство трагически отразилось на судьбе защитников укрепления.

Однажды, когда тишина холодной декабрьской ночи прерывалась только окликом часовых да топотом конных разъездов, окрестности Чирага внезапно огласились смутным

гамом битвы, раздались выстрелы, гики, стоны... Это лезгины, тихо спустившись с гор, неожиданно ворвались в селение. Из восьмидесяти гренадеров, бывших в саклях, одни были перерезаны, другие бежали в крепость. Прапорщик же Щербина, молодой офицер, незадолго перед тем приехавший на Кавказ из Кадетского корпуса, успел с четырьмя стрелками пробиться сквозь толпу лезгин к высокому каменному минарету, стоявшему перед крепостью, и засел там с твердой решимостью защищаться насмерть. Лезгины окружили башню и открыли по ней ружейный огонь. Минарет был ветх, его старые стены испещрены трещинами, и десятки пуль, пронизывая как эти отверстия, так и деревянные ставни окон и дверей, крестили в башне по всем направлениям. Штабс-капитан Овечкин, оставшийся главным начальником укрепления, сделал две вылазки, желая выручить товарищей, но Щербина каждый раз кричал ему: “Воротись и береги людей для охраны крепости: они нужнее меня! Я уже обрек себя на смерть — и умру не даром. Если не станет свинцу, то я своим падением раздавлю неприятеля!”

Выстрелы осажденных, у которых, по счастью, случилось большое количество патронов, наносили горцам чувствительный вред и не позволяли приблизиться к крепости. Не раз, но напрасно лезгины предлагали героям сдаться; наконец, озлобленные, они вломились внутрь минарета, изрубили стрелков и по узкой винтообразной лестнице устремились вверх, куда скрылся Щербина. С мрачной решимостью, облокотясь на шашку, стоял он наверху лестницы над самым отверстием, и лишь просовывалась в него голова лезгина, как обезглавленный труп с грохотом уже катился вниз, поливая кровью каменные ступени. С десяток вражьих голов уже валялось у ног отважного юноши. Лезгины, убедившись, что силой им ничего не поделать, решили подкопать и свалить башню. Целый день тянулась работа, а к вечеру минарет рухнул. К несчастью, Щербина не погиб под развалинами, и горцы, вытащив полураздавленного юношу, предали его страшным мучениям: они нанесли ему множество несмертельных ран и, постепенно выматывая жилы, замучили до смерти.

Так погиб доблестный юноша, отличавшийся образованием, умом и необыкновенной твердостью духа.

С падением башни лезгины обратили все свои силы против крепости, где защищалось четыреста человек Троицкого полка. Обложив крепость и спустившись в ров под убийственным картечным огнем, неприятель залег под самыми ее стенами. Два раза ходили горцы на приступ и два раза были отбиты с огромным уроном. Но и со стороны

осажденных потери были велики. Офицеры были перебиты все, и под конец остался один только заслуженный штабс-капитан Овечкин, с простреленной ногой, и при нем человек сто нижних чинов, которые притом наполовину были переранены.

Положение гарнизона становилось с каждой минутой отчаяннее и отчаяннее. Осада длилась уже три дня, в крепости не было ни капли воды, чтобы обмыть раны и промочить губы, запекшиеся от крови и жажды. Удальцы спускались ночью со стены и прокрадывались к источнику, но немногим из них удавалось возвращаться — великодушные люди платили собственной кровью и жизнью за воду, добытую для товарищей. Солдаты грызли пули и глотали порох, чтобы тем освежить себя, но внутренний жар, усталость и бессонница усугубляли их страдания.

Между тем лезгины настойчиво требовали сдачи.

— Товарищи! — сказал Овечкин изнемогавшим солдатам, уже начинавшим отчаиваться в спасении.— Я делил с вами раны, не раз водил вас против врага и никогда не видал в

побеге. Не дайте же мне, при конце моей жизни, увидеть вас, как трусов, без оружия, а себя — в постыдном плену. Не опозорим имени кавказского солдата. Коли не так, то прежде пристрелите меня, и тогда делайте, что хотите, если не можете сделать того, что обязаны”.

Воодушевленные этой речью, с криком “Ура”, солдаты клялись умереть на стенах крепости и на новое предложение сдаться, ответили дружным залпом из ружей и пушек.

Был полдень четвертого дня осады. Храбрый Овечкин, истекая кровью, изнемогая от судорог, впал в глубокий продолжительный обморок. Тогда фельдфебель одной из рот стал уговаривать солдат сдаться. “Надежды на помощь нет,— говорил он,— порох на исходе, а мы — как тени от ран, жажды и истомы. Слышите ли, как они предлагают нам честный полон? Если не воспользуемся этим теперь, то будет уже поздно: через час лезгины без выстрела возьмут нашу крепость и нас передавят, как мух”.

Слова эти поразили пришедшего в себя Овечкина. Полный негодования, он подозвал к себе фельдфебеля и неожиданным ударом поверг его на землю. “Свяжите! Бросьте со стены этого изменника! — кричал он.— Я застрелю первого, кто упомянет о сдаче!”

Он приказал поднять себя к пушке, схватил дрожащей рукою фитиль и скомандовал: “Отнимай доску!”

Амбразуры, за которыми стояли орудия, наглухо закрывались досками, предохранявшими артиллеристов от неприятельского огня. Доска была отнята, пушка грянула. Но в то же время сотни пуль влетели в открытое отверстие, и Овечкин, простреленный в бок и в ухо, замертво скатился с платформы. Солдаты, воспламененные храбростью начальника, поклялись умереть без ропота.

Лезгины готовились, между тем, к новому приступу. Гибель храбрых, казалось, была неизбежна. Но вот вдали засверкали русские штыки; на помощь осажденным с окрестных гор спускался отряд. Это был сам окружной начальник генерал-майор Вреде, спешивший из Кюры с ротой пехоты, и капитан Севастопольского полка Агеев с пятьюдесятью солдатами.

В это же самое время Сурхай-хан получил известие, что Акуша пала перед русскими войсками. Смущенный, он не решился продолжать борьбу и обратился в бегство, послав в Казикумык приказание, чтобы семейство его спешило в горы. Он ожидал, что измена его не будет оставлена без наказания. Его примеру последовали и предводимые им толпы. Чираг был освобожден.

Помощь подоспела вовремя. Из целого гарнизона в укреплении оставалось в живых только семьдесят человек, и из них не раненых — восемь.

Главнокомандующий представил Овечкина к награде орденом св. равноапостольного князя Владимира 4-ой степени с бантом, но императору Александру угодно было увеличить награду храброго офицера и следующим чином.

“В сем примере особенной награды,— писал Ермолов в своем приказе по Кавказскому корпусу от двенадцатого мая 1820 года,— каждый из служащих должен видеть сильнейшее одобрение и что Император, в случаях, отличного внимания достойных, не ограничивает милостей своих ходатайством начальников об их подчиненных”.

Через полгода Овечкин выздоровел и находился уже в строю: Ермолов, в награду за оборону Чирага, назначил его в передовые на приступ аула Хозрек, где решалась судьба Сурхая казикумыкского. Впоследствии Овечкин командовал Тифлисским пехотным полком.

Геройским подвигом Чирагской защиты заканчивается летопись Троицкого полка на Кавказе. Спустя несколько месяцев он, в кадровом составе, отправлен был в Россию. Но капитан Овечкин и геройские защитники Чирава не оставили Кавказа — они поступили в рады Апшеронского полка.

На старом кладбище в Царских Колодцах поныне можно найти простой камень с лаконичной надписью: “Полковник Овечкин”. Под этим камнем и покоится прах героя — одного из тех, чья память не должна умирать в потомстве.

Защита Чирага принадлежит к фактам незначительным по размерам, к тем, которые не могут влиять на судьбы народов и государств. Но если смотреть на нее с точки зрения личного подвига, поучительного примера преданности отчизне и беззаветного исполнения долга, значение его возрастает до великого. Пусть тут не было сотен тысяч против сотен тысяч, и не было спора за обладание столицей обширнейшей страны. Но здесь один офицер с помощью четырех рядовых удерживал целый день многочисленные толпы неприятеля, видя перед собою неизбежную смерть, но и перед лицом смерти исполненный одного желания, чтобы гибель его послужила к славе и к пользе родины; здесь сотни боролись против тысяч, стояли до конца и спасли лежавший за крепостью обширный край от бедствий вражеского вторжения. Важен тот пух доблести, который жил в защитниках Чирага, как и во всех кавказских войсках. Защита Чирага есть один из проблесков того великого пламени любви к отчизне и беззаветной преданности долгу, который горел в сердцах сынов России, давших ей Кавказ. И пусть подвиги, подобные подвигам Щербины и Овечкина, не умирают вовеки.

XVIII. ПОХОД В КАЗИ-КУМЫК В 1820 ГОДУ

Существует в Дагестане стародавнее предание, что в числе населявших его народов арабы застали многочисленное племя лаков, обитавшее на обширной территории с главным городом Кумухом. Племя это не оказало арабам большого сопротивления: оно первым в Дагестане приняло магометанство и, следуя обычаям новой веры, двинулось за своими победителями покорять учению пророка новых прозелитов. За то оно получило почетное название Гази, что значит “воюющие за веру”. От слияния двух слов Гази-Кумух, что можно бы было перевести выражением “кумухские воины за веру”, и произошло, как полагают, испорченное название “кази-кумыки”, под которым с тех пор известны своим соседям воинственные лаки.

Арабы поставили правителем лаков некоего Шах-Бала. Покорив другие племена Кавказа и дав каждому своих правителей под различными титулами (уцмии, мейсумы, кадии и т.п.), всех их они подчинили верховной власти Шах-Бала с его потомством. Оттуда, как полагают, и произошел впоследствии знаменитый верховный дагестанский титул шамхала, который до самых последних времен носил название валия Дагестана. Шамхалы имели резиденцию в Кумухе и отсюда управляли всей страной.

Так прошли века. По какой-то неизвестной причине шамхалы перенесли свою резиденцию из гор в приморские Тарки, но Казикумык долго еще считался их наследственным владением. Нужно думать, что лаки нелегко мирились с происшедшей переменой. Присутствие в их земле шамхала давало им первенствующее положение между народами

Дагестана, теперь они обратились в обыкновенный народ, ставший к шамхалу в вассальные отношения, и между ними, естественно, возникло стремление к полной независимости. Этим настроением племени воспользовался, во времена Петра Великого, знаменитый в горах Чолак-Сурхай, провозгласивший себя независимым ханом племени лаков.

С тех пор Казикумыкское ханство заключилось в тесные пределы на верховьях реки, известной под именем Казикумык-Койсу, отделенное высокими непроходимыми снеговыми горами как от долины Самура и Кюры, так и от соседних владений акушинцев, аварцев и андаляльцев. Из Акуши, Андаляла и Кюры существовали только три тропы, ведущие внутрь Казикумыка, которые притом на каждом шагу представляли удобнейшие позиции для упорной защиты от наступающего врага. Страну изрезывают к тому же вдоль и поперек крутые каменные горы и глубокие пропасти и ущелья. Естественно, что Казикумык уже по своему географическому строю всегда был малодоступен для проходивших одно за другим по Прибрежному Дагестану воинственных племен и развил в себе гордое чувство независимости.

С другой стороны, суровая, безлесная, каменная страна, не дававшая возможности населению жить дарами родной природы, развила в населении Казикумыка страсть к войне и к жизни разбойничьих набегов. Воинственные свойства народа повели к тому, что казикумыки стремились подчинить себе соседей, а в смутные, беспокойные времена вражеских нашествий и домашних междоусобий за ничтожную плату шли сражаться с кем и против кого угодно.

Казикумык и поныне хранит память о мудром основателе своей независимости. И не один Казикумык — весь Дагестан знает славное имя Чолака, давшего своей стране такое веское значение, что все владетели, союзы и общества Дагестана искали дружбы и покровительства его. Чолак-Сурхай — любимый герой дагестанских легенд. Самое достижение им власти облечено в легендарные формы. Вот как рассказывают об этом народные предания.

В конце XVII или в самом начале XVIII века умер правитель Казикумыка по имени Али-бек. У него было два сына, но оба они умерли еще при жизни отца, оставив после себя: старший — вдову и семь сыновей, а младший, Гирей,— вдову и одного сына, Сурхая. Дети старшего брата не пользовались доброй славой и симпатиями народа, однако же казикумыкцы считали их старшими наследниками власти и потому отправили к их матери, женщине, по преданию, надменной и злобной, своих старшин с просьбой отпустить одного из сыновей для управления страною. Рассказывают, что вдова даже не приняла старшин, а только приказала служанке вынести к ним свой старый башмак и сказать: “Довольно будет с вас, дураков, подчиняться и этому башмаку, а сына я вам не дам ни одного”. Предание, сохранившее слова надменной дагестанки, к сожалению, не объясняет их смысла, оставляя широкое поле догадкам и предположениям.

Оскорбленные таким приемом, старшины обратились тогда к вдове Гирея. Та приняла их с почетом и в их же присутствии дала Сурхаю наставление, как должен поступать он тогда, когда сделается правителем. “Со старшим тебя,— сказала она ему,— обращайся, как с отцом, с ровесником — как с братом, с младшим — как с сыном”.

Узнав оба ответа, казикумыкский народ тотчас же провозгласил Сурхая своим правителем, а для старшей семьи, оказавшей ему такое неуважение, потребовал немедленного изгнания из Казикумыка. Боясь народного мщения, она бежала поспешно в Акушу, нр успев захватить с собою даже самых необходимых вещей.

Между тем, когда настало время собирать обычную подать на содержание правителя, семеро братьев старшей линии все явились в селение Ашти с требованием уплаты подати им, а не Сурхаю. Старшина дал знать об этом в Кумух. Сурхай с несколькими нукерами сам приехал в Ашти, но, не въезжая в селение, вступил со своими двоюродными братьями в переговоры, склоняя их отказаться от незаконного требования и обещая обеспечить им содержание. Но те ничего не хотели слушать. Тогда Сурхай предложил им кончить дело поединком, объявив, что готов драться один против семерых, лишь бы не подвергать своих подданных опасности междоусобия. Семь братьев, наверное рассчитывая уничтожить ненавистного им Сурхая, с радостью приняли вызов. В назначенное время Сурхай, отдав приказание своим нукерам отнюдь не вмешиваться в дело, пока он будет жив, вышел навстречу своим противникам к аштинской поляне, и здесь завязалась неестественная битва на кинжалах одного против семерых. Сурхай, обладавший богатырской силой и необыкновенной ловкостью и смелостью, бился отчаянно. Трое из его противников были убиты; остальные четверо один за другим присоединились к братьям, покрытые тяжкими смертельными ранами. Но и Сурхай был также тяжело изранен, а кисть левой руки его висела почти совсем отрубленная — обстоятельство, давшее ему прозвище Чолак, что значит по-татарски “безрукий”. Но он выздоровел на счастье народу и создал эпоху процветания в жизни казикумыкцев.

Во время персидского похода графа Зубова Казикумыкским ханством владел внук Чолака, именем также Сурхай, наследовавший власть в 1789 году, уже в преклонных летах, после смерти своего сына Мохаммет-хана. Это был энергичный человек, начавший свое управление тем, что завладел страною кюринцев и деятельно распространял свое влияние на всю долину Самура. Но здесь он столкнулся с интересами России, которая, по взятии Дербента и Кубы, также стремилась распространить и утвердить свою власть во всем Южном Дагестане. Сурхай тогда же, во время зубовского похода, внезапно напал на русский батальон Бакунина под селением Алпаны и поголовно истребил его, но вслед за тем наголову разбит был и сам пришедшим на помощь Углицким пехотным полком. Когда же генерал Булгаков приказал истребить владения хана, и массы русских войск уже двинулись в горы, Сурхай понял невозможность открытой борьбы и наружно смирился. Он дал аманатов и тогда в первый раз торжественно присягнул на подданство России. Эта присяга была началом целого ряда измен.

С окончанием персидской войны, когда русские войска вышли из Дагестана, Сурхай не оставил своих притязаний на Кубу — предмет его постоянных, упорных честолюбивых замыслов, и берега Самура, Куба и Дербент становятся ареной кровавых междоусобий. Прошло десять лет, Грузия, а за нею Дербент и Куба присоединились к России, и Казикумык окончательно стал пограничным русским владением. Тогда, угрожаемый сильным соседством Сурхай вторично смиряется и присягает на подданство, но с этих же пор он усваивает по отношению к России коварную, мстительную политику, пользуясь каждым удобным моментом вредить ей.

Осенью 1811 года, когда восстание охватило почти все Закавказье, Сурхай внезапно вторгся в русские владения и едва-едва не овладел Кубою. Последствием этого была экспедиция генерала Хотунцова в горы и отторжение от Казикумыка Кюринского ханства. Наказанный за явную измену лишением части своих владений и боясь за самый Кумух, Сурхай вынужден был опять покориться и снова, в третий раз, присягнул на верность России. Но в самый момент этой присяги он уже лелеял коварный план новых вторжений и через Ших-Али-хана дербентского вел переговоры с персидским правительством, прося в то же время помощи у акушинцев и аварцев. Желание Сурхая возвратить Кюру было так сильно, что он, даже не дождавшись уже обещанной ему помощи, в мае 1813 года, с одними казикумыкцами вторгся в Кюринское ханство. Русский батальон, стоявший в

Курахе, разбил его наголову. Сурхай бежал в Тавриз искать защиты и покровительства Персии; Казикумык остался без правителя. Тогда Аслан-хан кюринский переехал в Кумух и овладел управлением страны, несмотря на присутствие в ней Муртазали-бека, одного из сыновей бежавшего хана.

Около года скитался Сурхай на чужбине. Он успел в это время убедиться, что на помощь Персии, руководимой исключительно желанием вредить России, сея в ней смуты, собственно ему рассчитывать нечего, и решился вернуться в Казикумык. На русской границе он выдержал сильную стычку с казачьим отрядом, однако же пробился и через владения султана елисуйского пробрался к Хозреку. Народ, подготовленный Муртазали-беком, принял его сторону. Аслан-хан бежал. К сожалению, русские не воспользовались тогда благоприятным моментом и не поддержали Аслан-хана.

Сурхай возвратился в свою страну подозрительный и суровый, и ряд деспотичных действий с тех пор лишает его в Казикумыке и последней популярности. Первые удары подозрительности пали на старшего сына его Муртазали-бека.

Обязанный именно ему своим возвращением в Казикумык, Сурхай тем не менее стал опасаться влияния его на народ, и старческая подозрительность подсказала средство избавиться от него. И вот, в первых числах марта 1816 года, внук Сурхая, Магомет-бек, внезапным выстрелом из пистолета смертельно ранил Муртазали, а когда тот упал, племянник хана, Гарун-бек, дорубил его шашкой. Этот кровавый эпизод, подготовленный Сурхаем, вызвал негодование в народе и дал возможность Аслан-хану кюринскому, доводившемуся Муртазали-беку сводным братом (они были от одной матери), действовать против Сурхая уже во имя священного обычая мести. Убийцы оставались в Казикумыке не долго. Когда Сурхай впоследствии вторично бежал из отечества, Магомет-бек разделил его участь, а Гарун, спасая свою голову, укрылся в далеких рутульских селениях.

Прошло почти двадцать лет. Умер Аслан-хан, умер его преемник Нуцал-хан, и Казикумыкским ханством владел уже младший сын его, Магомет-Мирза, человек слабохарактерный, больной и потому мало способный к управлению таким народом, как казикумыки. Однако же одно происшествие вдруг возвысило его в глазах народа и заставило враждебные партии быть осторожнее в своих замыслах против него. Полагая, что в двадцать лет, протекших со времени убийства Муртазали, страсти успели уже улечься, Гарун, давно наскучивший добровольным изгнанием, вернулся в Казикумык как раз в то время, когда там справлялись поминки по Нуцал-хану. Но едва он вошел во дворец, чтобы выразить хану свое сожаление о смерти его брата, как Магомет-Мирза, обедавший в то время с мехтулинским ханом, приказал нукерам тут же отрубить ему голову. Так отомщена была кровь несчастного Муртазали-бека.

Но возвратимся к рассказу.

Утвердившись в Казикумыке, Сурхай немедленно отправил главнокомандующему, генералу Ртищеву, письмо, изъявляя раскаяние в своих неоднократных изменах. Главнокомандующий не отвечал, зная, что Сурхай желает только выиграть время, собирая, между тем, войска, чтобы овладеть Кюрою. И действительно, в августе 1815 года в окрестностях Кураха уже произошло жаркое дело; Сурхай вторгся в Кюру, но был разбит батальоном майора Поздревского. Эта неудача и убийство Муртазали, вызвавшее внутренние волнения в ханстве, заставили, однако, Сурхая серьезно искать покровительства русских. Он отправил в Тифлис одного из своих сыновей с письмом, в котором обещал загладить прежние вины ревностной службой на пользу России и даже

предлагал свои услуги к поимке беглого грузинского царевича Александра. Ртищев принял эти условия, и Сурхай торжественно, в четвертый раз, был приведен к присяге на вечное верноподданство России. Нечего и говорить, что ни одного из своих обещаний он не исполнил.

“Если генерала Ртищева отвлекали важнейшие занятия,— говорит Ермолов по этому поводу в своих записках,— то мог он по крайней мере не входить в сношения с явным изменником, сношения, которые не иначе он должен разуметь, как прощение его преступлений”.

При Ермолове роль Сурхай-хана, более всех страшившегося появления в горах русских войск, приобретает особое значение, как роль одного из главных двигателей событий 1818 и 1819 годов в Дагестане. Он вместе с акушинцами нападает на Пестеля, посылает свои войска на помощь к мехтулинскому хану, поддерживает уцмия каракайтагского и, наконец, вместе с аварским ханом сражается при Бол-тугае. Уже вскоре после этого сражения Ермолов решил предпринять серьезное движение в Казикумык, и его задержали только дела с акушинцами. Нападение Сурхая на Чирагское укрепление в декабре 1819 года окончательно утвердило главнокомандующего в необходимости изгнать Сурхая из его владений. Сурхай знал это и, втайне готовясь к обороне, собирал большие силы в Хозреке.

Девятнадцатого января 1820 года короткая прокламация Ермолова возвестила Дагестану, что в наказание гнусной измены Сурхая Казикумык присоединяется к Кюринскому владению, и Аслан-хан кюринский, священным именем государя императора, возводится в достоинство казикумыкского хана.

Еще прежде того одного из сыновей Сурхая, содержавшегося аманатом в Тифлисе, Ермолов приказал заточить в Темнолесскую крепость, а всю прислугу и свиту его отправить в Сибирь. Жребий войны был брошен.

Дагестан, со своей стороны, принимал все меры к защите Сурхая. Аварский хан, Ших-Али дербентский, уцмий, Шан-Гирей и все враги России отправили в Персию своих посланцев с просьбой о помощи, распуская в то же время слух, что не только Персия, но даже и Турция обещали и денег и войск. Посланцы, как говорят, пробрались в Персию и на этот раз через владения султана елисуйского. Ермолов на всякий случай приказал поспешно укрепить посты Рычинский и Чирагский. “Для защиты Чирага,— писал он генералу Вреде, окружному начальнику в Дагестане,— употребите того же капитана Овечкина, на службу коего Государь Император изъявил милостивое внимание”. В то же время князю Мадатову предписано было с сильным отрядом вступить в Казикумык и выгнать Сурхая.

В начале июня 1820 года в Ширванском ханстве Ма-датов собрал отряд из пяти батальонов пехоты от полков Куринского, Апшеронского и сорок первого егерского. При них находилось четырнадцать орудий, казачья сотня и до тысячи человек татарской конницы, которую Мадатов, проезжая через Карабаг и Шеку, приказал собрать в своем присутствии. Осмотрев эту конницу, бодрую, храбрую, сидевшую на прекрасных конях, он отправил ее в Южный Дагестан приморской дорогой, а сам с пехотой пошел туда же кратчайшим путем прямо через Кавказский хребет.

Знаменитый поход этот нашел в лице иностранца Ван-Галена любопытного наблюдателя. Из его описания и заимствуются все приведенные здесь подробности.

В военной истории найдется не много горных походов, которые по трудности могли бы равняться с мадатовским, а между тем многим ли из нас, русских, известен этот поход даже по названию?..

Дорога из Ширвани в Южный Дагестан считается действительно, одним из труднейших путей на Кавказе. Узкие мрачные ущелья, загроможденные обломками скал, почти отвесные каменистые горы, уходящие своими вершинами в заоблачное пространство, вековые леса и бурные потоки — вот препятствия, с которыми солдатам приходилось бороться на каждом шагу. Когда все эти препятствия по-видимому уже были пройдены, на самой высокой точке перевала русскому отряду преградила путь ужасная пропасть саженей в шесть шириною и более чем в двести саженей глубиною. Через нее переброшены были три старых полусгнивших дуба, которые и представляли собою мост без перил, шириною около полутора шагов. Князь Мадатов, ехавший по обыкновению впереди отряда, не остановился перед пропастью и, как бы не замечая опасности, бесстрашно въехал на своей маленькой горной лошадке на воздушные, страшно качавшиеся бревна. Все остановились в недоумении и с ужасом следили за переправой смелого всадника, ежеминутно рисковавшего низвергнуться в бездонную пропасть. Но князь Мадатов проехал благополучно. “Волей-неволей,— рассказывает Ван-Гален,— должны были последовать за ним и остальные. Когда все, затаив дыхание, перебрались на другую сторону, кто-то спросил у Мадатова, как называется этот мост. “Чертовский,— ответил Мадатов.— И не думаю, чтобы он был достоин другого названия”.

За пропастью начинался спуск по горному ущелью. Утесы по краям дороги были так круты, сближаясь один с другим, и дикий лес, покрывавший ущелье, так густ, что свита Мадатова принуждена была сойти с лошадей и пробираться пешком. Был полдень. Ярко светило знойное кавказское солнце, но под тенью деревьев, сплетшихся ветвями в непроницаемый свод, было темно и сыро, как в пещере. У подошвы этих исполинских гор дорога сделалась несколько шире. Это был уже Дагестан; начиналась Кубинская провинция, производившая впечатление нескончаемого сада. К вечеру другого дня отряд достиг наконец и Кубы. Город этот — некогда резиденция кубинских ханов, а тогда административный центр русского управления Дагестаном,— далеко не производил собою приятного впечатления: обветшалые городские стены его были разрушены, дома неопрятны, улицы грязны, кривы и так узки, что движение по ним в экипажах было невозможно.

В Кубе русский отряд нашел полковника Аслан-хана кюринского с восьмьюстами отличных наездников. Мадатов сделал смотр этой блестящей коннице. Выстроившись на обширной поляне, она приветствовала появление князя шумными радостными криками; на всех лицах отражался восторг, вызываемый и ожиданием близких сражений, и звуками военной музыки, так сильно действовавшей на пылкое воображение азиатов. Красота места, где был смотр, и ясная погода увеличивала великолепие зрелища. Азиаты начинали уже понимать преимущества регулярного строя и старались подражать русским казакам: они стояли в непривычном для них порядке, стройными линиями, но затем, когда Мадатов объехал фронт, всадники перестроились в лаву и посотенно пронеслись перед ним в карьер со своим диким гиком, пальбой и джигитовкой...

Особенно выдавались кюринцы Аслан-хана — рослые, видные, отличавшиеся от других своей осанкой и рыцарским вооружением. Их длинные копья, блестящие панцири, шлемы, щиты и шашки, на которых старые надписи свидетельствовали о принадлежности их ко временам крестовых походов, уносили воображение в далекую эпоху средневекового рыцарства.

Среди этих наездников внимание всех привлекали особенно два лица, которым суждено было сыграть видную роль в предстоящем походе. Это были сам Аслан-хан кюринский, дородный человек лет сорока пяти, и брат его Гассан-ага, необыкновенно красивый, еще молодой человек, считавшийся одним из храбрейших наездников Кавказа. Пламенный, гордый характер, заносчивость и жажда битв составляли отличительные черты Гассана. Он был такого высокого мнения о себе, что однажды, рассказывая про свои боевые подвиги, в восторженной заносчивости воскликнул, обращаясь к Мадатову: “Если бы Аллах сказал мне, что есть в мире человек храбрее меня, я бы убил себя от стыда!”

Мадатов принял обоих братьев с почетом, так как они много раз оказывали важные услуги правительству. В русских войсках они пользовались также доброй памятью, особенно после кровавого башлынского боя, где в самые трудные минуты братья не довольствовались действиями вместе со своей конницей, а участвовали также во всех атаках с русской пехотой. Гассан-аге тогда же пожалован был чин майора, а Аслан-хану — золотая сабля, богато украшенная алмазами, по образцу турецких.

Неукротимый, заносчивый характер Гассана едва не наделал, однако же, хлопот Мадатову почти накануне выступления отряда в поход. Мадатов назначил Аслан-хана командующим всей татарской конницей. Гассан обиделся, так как считал одного себя достойным такого почетного назначения. В бешенстве бросился он в палатку брата и, осыпая его оскорбительной бранью, вызвал на поединок. Все усилия присутствовавших при этом русских офицеров удержать Гассана были напрасны. По счастью, брат его, человек уже более цивилизованный, отказался от поединка. Тогда Гассан разорвал одежду и обнажил свою грудь, крича Аслан-хану: “Трус! Трус! Достанет ли у тебя по крайней мере смелости заколоть меня?” Глаза Аслан-хана загорелись недобрым блеском; дело могло окончиться кровью. Дали знать Мадатову. Князь прибыл немедленно, но и он успокоил Гассана только тем, что назначил его командовать авангардом мусульманской конницы. “Нужно было видеть,— говорит очевидец,— каким огнем загорелись черные глаза кюринского наездника, какая радость отразилась на смуглом и суровом его лице”. “Теперь,— сказал он брату,— я докажу тебе, кто я!” — и, бросив на него взгляд, полный презрения, гордо вышел из палатки”.

Утром пятого июня получены были известия о большом скопище горцев в Хозреке; подошли и обозы, которых дожидался князь Мадатов, а потому медлить было нечего, и отряд на следующий же день выступил из Кубы к Чирагу. На пути, у деревни Зиахуры, предстояла переправа через Самур, находившийся в то время в полном разливе. Русло Самура чрезвычайно наклонно, и потому широкая река, усиленная таянием горных снегов, летела грозным непрерывным водопадом, унося не только вековые деревья, сорванные с берегов, но даже огромные камни и обломки скал, подмытые и отторгнутые волнами от окрестных гор. Опасная переправа продолжалась пять часов, а к вечеру войска уже вступили в Кюринское ханство и стали лагерем на горе Кабир, в очаровательном месте, откуда ясно видны Дербент и берег Каспийского моря. Князь Мадатов собрал начальников разных ополчений и, сидя под тенью развесистого каштанового дерева, беседовал с ними о предстоящей экспедиции. Еще ни разу в прежние походы русское войско не проникало до Хозрека. Дороги к нему были неизвестны, а о самом Хозреке даже в татарском ополчении некоторые знали только как о позиции крепкой, почти неприступной.

Десятого июня, поутру, весь русский лагерь передвинулся к Чирагу. Небольшое укрепление это, недавно выдержавшее сильное нападение горцев, стояло на самой границе казикумыкских владений. Ночью русский авангард вступил на неприятельскую землю и стал верстах в двадцати шести от Хозрека. Это было поле предстоящей битвы, а

Мадатов не имел никаких данных, по которым мог бы составить план для своих действий. О карте не могло быть и речи, и даже, как нарочно, никто из татар, находившихся в русском лагере, не бывал в Хозреке, так что сведения ограничивались сбивчивыми и легендарными показаниями местных жителей.

Лазутчики, то и дело являвшиеся к Мадатову, сообщали, что Сурхай собрал у Хозрека поголовное казикумыкское ополчение и что с вольными лезгинскими обществами, пришедшими к нему на помощь, силы его простирались свыше двадцати тысяч человек. На этот раз слухи не были преувеличены вестовщиками. Мадатов знал то же самое из других, более верных источников. Несмотря на это, он решил атаковать неприятеля.

Двенадцатого июня, в густом предрассветном тумане, отряд приближался к Хозреку. Дорога шла по ущелью, левый берег которого, постепенно понижаясь, становился все отложе и отложе, тогда как правый, напротив, вздымался обрывистой громадной стеною до самого Хозрека.

Было шесть часов утра. Сырой туман, облегавший местность, внезапно рассеялся, и русские ясно увидели на правых горах сильную неприятельскую конницу с развевающимися разноцветными значками. По-видимому, это была оконечность левого крыла неприятеля. До Хозрека оставалось еще семь верст, а дорога отряда пролегала как раз у подошвы той горы, где стоял неприятель и откуда он мог безнаказанно поражать русских метким ружейным огнем. Тогда Мадатов, подозвав к себе Гассан-агу, приказал ему с авангардной конницей двинуться вправо, на горы, сбить неприятеля с высот и открыть дорогу. Ван-Гален, как единственный кавалерист из русских офицеров (он числился в Нижегородском драгунском полку), находившихся при князе Мадатове, должен был присоединиться к Гассан-Аге, чтобы принять деятельное участие в этом смелом и опасном движении. Храбрый штабс-капитан Якубович с частью татарской конницы также получил приказание участвовать в атаке.

Неприятель, стоявший на высоте, встретил несшуюся на него конницу громким криком и ружейными выстрелами. Два раза врывалась она в ряды врагов и два раза, опрокинутая, обращалась в бегство. “При этом,— рассказывает Ван-Гален,— я был невольным свидетелем нескольких сцен, обрисовывающих свирепую ярость, до которой доходили азиатские бойцы, и эти сцены были тем чаще, что в этой гористой местности не было никакого единства действий, и все зависело от личной храбрости. Я видел одного кюринского всадника, который боролся с лезгином в предсмертной агонии; они рвали друг друга зубами и, наконец, обнявшись, покатились в скалистую пропасть, увлекая за собою и своих лошадей, которых держали в поводу. Я видел другого лезгина, который, поручив свою лошадь товарищу, сполз вниз по страшной крутизне под нашими выстрелами только для того, чтобы отрезать голову неприятеля, сто раз рискуя при этом своею собственной головою”...

Гассан-ага, отбитый два раза, не терял, однако же, ни мужества, ни энергии; он в третий раз понесся в атаку, и конница его с налета врезалась в ряды неприятеля. Бой пошел одиночный. Противник защищал, однако, каждую пядь земли с отчаянной храбростью, и только тогда, когда боевая линия его была окончательно прорвана и смята, он обратился в бегство и был преследуем до самых окопов.

Во время этой бешеной погони Гассан-ага, скакавший впереди всех, вдруг пошатнулся в седле и грянулся оземь. Пуля поразила его в самое сердце. Он жил мгновение, но последним словом, брошенным им к окружающим, была просьба отомстить за его смерть. Потеря начальника парализовала татарскую конницу в критическую минуту, когда нужна

была вся энергия, чтобы довершить победу. Благодаря обычаю азиатов оплакивать убитого вождя тут же, на месте боя, казикумыкцы успели собрать свои силы и, в свою очередь, окружили конный авангард со всех сторон. Часть кубинской милиции обратилась в бегство. По счастью, князь Мадатов, следивший издали за ходом дела, вовремя заметил смятение, произведенное смертью Гассан-аги, и сам прискакал на место боя. Вслед за ним прибыли сюда же три апшеронские роты, с майором Мартиненко. Ободренные присутствием князя, не желая перенести позор в глазах любимого начальника, татары с новым рвением устремились на неприятеля и на этот раз окончательно сбили его с позиции. Лезгинская конница рассыпалась по окрестным горам. В это самое время удачный выстрел из орудия взорвал в самом селении неприятельские пороховые ящики, и смятение быстро охватило ряды и казикумыкской пехоты. Мартиненко, воспользовавшись этой минутой, бросился в штыки и взял передовые окопы. Таким образом русские утвердились на высотах и могли угрожать левому крылу неприятельского расположения.

С гор,— рассказывает Ван-Гален,— перед нами открылась вся линия неприятельских завалов и весь лагерь Сурхая казикумыкского. Его пестрая ставка была украшена знаменами, кругом были палатки его приближенных, также покрытые шелковыми разноцветными материями. Тут же стояло множество оседланных лошадей и несколько отрядов пехоты, составлявших неприятельский резерв. Все это представляло чрезвычайно оживленное зрелище, указывая вместе с тем на ресурсы неприятеля и способы его защиты, что имело большое значение в данный момент”.

Поправив дела на правом фланге, Мадатов поскакал к пехоте, приказав следовать за собою Ван-Галену и Якубовичу с частью татарской конницы. Отряд, между тем, весь миновал опасное ущелье и вышел в лощину, полого расстилавшуюся до самого Хозрека. Вся конница Аслан-хана кюринского, как туча, шла стороною, заходя во фланг неприятелю, чтобы занять деревню Гулули и отрезать ему дорогу в Кумух. Пехота с барабанным боем продолжала наступление на Хозрек. Мадатов, как всегда спокойный и веселый, ехал впереди и сам руководил атакой. Напрасно окружающие просили его отъехать, чтобы не подвергаться опасности.

— А если я уеду, то кто же возьмет Хозрек? — возразил он, обращаясь к офицерам.

— Мы возьмем его, ваше сиятельство! — ответил за всех подполковник Сагинов и с батальоном Апшеронского полка кинулся на приступ. Он и майор Ван-Гален первыми взошли на городскую стену — и оба были ранены. Солдаты ворвались в город и продолжали бой в тесных улицах, в домах, башнях и укреплениях. Неприятель везде защищался отчаянно, но русские овладели в короткое время мечетью, последним редюитом защитников, и знамя Апшеронского полка, утвержденное на минарете, возвестило падение Хозрека.

Выбитый из города и отрезанный от большой Кумухской дороги татарской конницей, неприятель вынужден был бежать по единственному узкому ущелью, анфилируемому нашей артиллерией. Действие картечи в этом узком горном проходе было ужасно. Сурхай со своей конницей скакал впереди, опрокидывая все, что задерживало его на пути. Якубович с татарами преследовал и рубил бегущих. На расстоянии шести верст земля была усеяна телами убитых, шестьсот человек взято в плен. Трофеями победы был также весь лагерь с богатой ставкой Сурхая, одиннадцать знамен и две тысячи ружей. Блистательный штурм стоил, однако же, и русским трех штабс-офицеров и более двухсот нижних чинов убитыми и ранеными.

Уже темнело. Мадатов остановил преследование, а вслед за тем отдал приказ — вывести войска из Хозрека и расположиться лагерем под его стенами. Раненые гонцы были поручены муллам под надзором одного из русских врачей, который был оставлен в селении. В полночь все пленные, готовившиеся к смерти или тяжкой неволе, получили свободу. Изумленные таким великодушием победителя, жители Хозрека мало-помалу стали выходить из подземелий, в которых укрывались. Они являлись в лагерь, где Мадатов принимал их приветливо, стараясь разъяснить, что русские воюют не с ними, а с их вероломным ханом.

Сурхай прискакал с поля сражения около полуночи к воротам Кумуха в сопровождении лишь небольшого числа своих нукеров. Но слух о поражении горцев уже опередил его, и он нашел городские ворота запертыми. Старшины города появились на крепостной стене и от имени всего народа посоветовали ему удалиться, если он не хочет быть принят, как неприятель. Сурхаю приходилось бежать, не успев ничего спасти из своего имущества. Напрасно, не решаясь лишить себя жизни, он просил возвратить ему власть, предлагая самые унизительные условия,— они были отвергнуты благодаря общей ненависти, какую Сурхай в последнее время возбудил против себя подозрительной жестокостью и постоянными интригами. Наконец городские старшины выслали ему, в виде милости, жен и детей под прикрытием отряда, который должен был проводить его до границ казикумыкских владений.

Вслед за тем временное правление старшин отправило из своей среды трех человек к Аслан-хану, чтобы через посредство его просить мира и изъявить покорность русскому правительству. Депутаты явились в лагерь в три часа пополудни и были немедленно введены в палатку князя Мадатова. Это были люди пожилые, со степенными манерами и воинственной осанкой, одетые очень богато, с оружием тонкой кубачинской работы. Между ними и Мадатовым было условлено, что присяга русскому императору, провозглашение Аслан-хана владетелем Кази-кумыка и некоторые другие условия мира будут совершены в самой резиденции ханов. С вечера тринадцатого июня Мадатов сделал все распоряжения к походу, а четырнадцатого утром войска уже двигались к Кумуху. Все ожидали, что это путешествие будет одним из самых тяжелых, потому что Кумух со всех сторон ограждают недоступные горы, ущелья и пропасти. Но старшины Казикумыка постарались сами облегчить поход: по их приказанию жители соседних деревень в течение ночи не только соорудили и исправили дорогу, где это было возможно, но и явились помогать солдатам перетаскивать в горах орудия и тяжести. Удивление жителей при виде громоздких лафетов и четырехколесных фур ясно показывало, что прежде в этой стране ничего подобного не видывали; находившиеся у них пушки, некогда отбитые у персиян на границах Казикумыка, были, по словам стариков, привезены на санях.

У самых ворот Кумуха Мадатова ожидала депутация со знаменами и высокими шестами, перевитыми зеленью. Почетнейшие жители поднесли ему городские ключи на богатом блюде, наполненном вареным рисом. По обычаю страны князь Мадатов должен был его отведать. Тогда старшины просили его принять от города дары: это была красивая, богато оседланная лошадь и полное вооружение — ружье, пистолет, шашка и кинжал высокого достоинства и превосходной работы. Свободно владея казикумыкским наречием, князь Мадатов обратился к народу с цветистой речью в восточном вкусе; он говорил о миролюбивых намерениях императора Александра, приславшего свои войска с единственной целью водворить у них нового хана, которого ниспослало им Провидение, располагающее судьбами царств и народов.

Сопровождаемый толпами народа, Мадатов вступил в город и проехал в ханский дворец. “Мы вошли туда,— рассказывает Ван-Гален,— по лестнице, устланной богатыми

персидскими коврами и золотыми тканями”. Но, проводив Аслан-хана до главной залы, сам Мадатов вернулся назад и приказал разбить для себя палатку за городскими стенами, запретив кому-либо из военных оставаться в городе.

Вначале слух о прибытии русских войск вызвал всеобщее негодование в окрестном населении. Это чувство было понятно: с незапамятных времен никакие иноземные войска не появлялись внутри Казикумыка, и персияне, которые так долго владели Южным Дагестаном, никогда не могли прочно утвердиться в горах. Теперь прибытие русских являлось фактом непонятным и возмущающим гордость свободного народа. Но речь Мадатова, быстро облетевшая весь Казикумык, успокоила всех. Через сутки и остальные казикумыкские войска сложили оружие, а жители со всех сторон толпами начали стекаться с гор и из долин, чтобы увидеть своего нового повелителя.

Церемония возведения Аслана в достоинство казикумыкских ханов обставлена была всевозможной пышностью и торжественностью.

Шестнадцатого июня с десяти часов утра двери большой мечети растворены были настежь. Аслан вошел в нее, сопровождаемый блестящей и многочисленной свитой. Посреди мечети на барабане лежал Коран, осененный распущенным знаменем второго батальона Апшеронского полка. Старшины всех восьми магалов Казикумыка, собранные присутствовать при возведении хана, поочередно подходили к Корану, клали на него правую руку и произносили слова присяги на верность русскому императору и на повиновение новому хану.

Лишь одна рота Апшеронского полка стояла у дверей мечети, прочие русские войска были выстроены под ружьем на некотором расстоянии от укреплений. По окончании обряда присяги, когда Аслан-хан появился на крепостной стене в пурпуровой одежде, в которую облекаются ханы в исключительно торжественных случаях, гром русских пушек, далеко отдавшийся в горах, и крики народа слились в один привет новому повелителю. Вечером Мадатов устроил в городе иллюминацию.

Князь Мадатов не считал приличным присутствовать при церемонии и оставался в своей палатке, показывая тем, что все должно происходить по обычаям страны и доброму желанию народа, без всякого на него постороннего влияния. Когда обряд и вся церемония окончились, Аслан-хан с многочисленной свитой сам прибыл к князю и был торжественно встречен им у входа в палатку. В речи своей Аслан-хан ясно и точно изложил те обязательства, которые принимает на себя Казикумыкское ханство по отношению к Русской империи, упомянул о разоренном состоянии страны и просил о выводе русского отряда. Князь Мадатов ответил на это, что считает необходимым принять меры к полному умиротворению края, так как ответственен в этом перед генералом Ермоловым, и добавил, что русские войска немедленно удалятся, как только ему будут даны прочные гарантии миролюбивых намерений жителей. Аслан-хан указал на русский орден, висевший на его груди, и, схватив князя Мадатова за руку, сказал горячо, что ручается за верность и прямодушие своего народа. Мадатов объявил тогда, что окончательный ответ даст после. Он тайно виделся затем с Асланом и уже после того объявил собравшимся старшинам, что, зная добрые намерения хана, он не потребует от них никакого залога в верности и удалится, как только будет приведена к присяге остальная часть горного населения, не участвовавшая в церемонии.

На следующее утро казикумыкцы привели в лагерь всех русских пленных, захваченных или купленных ими в разное время, и, сверх того, выдали князю Мадатову, как военный

трофей, десять медных пушек, отнятых некогда у Надир-шаха и хранившихся в башнях ханского дворца.

Существенное содержание договора, заключенного Мадатовым с Казикумыком, состояло в том, что хан обязался: 1) охранять свои границы и идти с войсками, куда прикажут русские власти; 2) не препятствовать постройке укреплений и проложению дорог через его владения; 3) платить ежегодную дань в три тысячи рублей серебром и 4) назначить в Кюринское ханство особого наиба, кого заблагорассудит, но отнюдь не соединять обоих ханств вместе, а каждым управлять особо.

Последнее условие включено было в тех видах, чтобы иметь Аслан-хана в руках и, в случае измены его, разделить силы обоих владений.

Когда договор был подписан, Мадатов объявил Аслан-хану о пожаловании ему чина генерал-майора и вручил ему императорскую грамоту, знамя с русским гербом и драгоценную саблю [Помимо того, за особые отличия, оказанные Аслан-ханом при покорении Табасарани, Каракайтага и Казикумыка, ему пожалован был орден св. Георгия 4-ой степени.].

Так совершилось покорение Казикумыкского ханства.

Вечером девятнадцатого июня войска, сопровождаемые Аслан-ханом, оставили Казикумык. На пути к князю Мадатову явились старшины от вольного Кубачинского общества и также принесли присягу на подданство России.

Кубачинцы — удивительный народ загадочного происхождения. В горах Кайтага, на высоте около пяти тысяч футов над уровнем моря, на крутом склоне к узкому ущелью речки Сулекова повис аул Кубачи. На противоположной стороне ущелья разбросаны еще три меньших аула. Все вместе они и составляли вольное Кубачинское общество, славившееся по всему Кавказу своими превосходными оружейниками. Некоторые ориенталисты приписывают кубачинцам европейское происхождение. Они, быть может, и правы, тем более что и в самом народе существует предание, имеющее большое вероятие. Говорят, что один из ширванских ханов выписал откуда-то в Дербент партию искусных оружейников, которых все называли френгами. Смелые и хорошо вооруженные люди эти составили отличный гарнизон города и не раз имели случай выказать свое мужество при оборонах и вылазках, но беспокойный и строптивый характер их сильно тревожил дербентцев. И вот, чтобы избавиться от них раз навсегда, горожане однажды сделали ложную тревогу, а когда френги выскочили из города в поле, заперли за ними ворота и предложили им убираться куда угодно. Изгнанные не упали духом; они вытребовали из города свои семейства и сначала поселились в предгорьях Табасарани, а потом заняли самое возвышенное место в горном Кайтаге и несколько веков умели отстаивать свою независимость. Приготовление оружия и сбыт его по целому Кавказу скоро приобрели кубачинцам всеобщую известность и дали средства не только к безбедному существованию, но даже к некоторому богатству и роскоши в сравнении с соседями. Нужно заметить, однако же, что если кубачинское оружие и имело огромный сбыт, то причиной тому было не столько внутреннее, боевое достоинство, сколько внешняя отделка его. Кубачинская работа под чернь и особенно золотая насечка по слоновой кости и доныне могут служить образцом чистоты и изящества, но сами горцы, особенно горцы Западного Кавказа, имеют к кубачинским изделиям весьма небольшое доверие. Между ними самое название “кубачинское оружие” обратилось в эмблему обмана внешностью на счет внутренних достоинств и даже создало пословицу: “Он лжет, как кубачинец”.

Вот этот-то народ и стал теперь подданным России.

Война в Казикумыке была окончена в две недели, в то время как сам Ермолов предполагал, что она продолжится несколько месяцев и будет стоить войскам Кавказского корпуса больших потерь, трудов и упорной борьбы с народом, известным своею воинственностью. Он благодарил Мадатова в письме за способ, каким ведена была экспедиция, и поручал передать его благодарность отличившимся офицерам и солдатам.

“Еще наказуя противных,— писал Ермолов в приказе по корпусу,— надлежало вам, храбрые воины, вознести знамена наши на вершины Кавказа и войти с победою в ханство Казикумыков. Сильный мужеством вашим, дал я вам это приказание, и вы, неприятеля в числе превосходного, в местах и окопах твердых упорно защищавшегося, ужасным поражением наказали. Бежит коварный Сурхай-хан, и владения его вступили в подданство великого нашего Государя. Нет более противящихся нам народов в Дагестане...”

В то же время Ермолов доносил государю: “Довершено начатое в прошлом году покорение Дагестана, и страна сия, гордая, воинственная, и в первый раз покорствующая, пала к священным стопам Вашего Императорского Величества”.

Изгнанный из своих владений, Сурхай бежал в Согратль, где надеялся выждать удобного случая для возвращения себе Казикумыка. Но он скоро убедился, что надежды его напрасны. Аслан-хан зорко следил за всеми его действиями и жестоко преследовал его приверженцев. Тогда он снова решился искать покровительства Персии, а джарские лезгины взялись проводить его за Куру скрытыми дорогами. В скором времени он с сыном своим Нух-беком и несколькими нукерами ехал уже Шекинским владением. Комендант Нухи, узнав о бегстве Сурхая, выслал татарскую конницу захватить его. Казалось, Сурхаю не было возможности спастись. Но так как и сам он, и вся его малочисленная свита были одеты в бедное и простое платье, а на их лошадях были переметные сумы, дававшие им вид обыкновенных обывателей, переезжавших с вещами из деревни в деревню, то встречные татары не узнавали их. К этому присоединилась еще и измена. Шекинские беки, высланные с ханской конницею, точно зная, по каким дорогам поедет Сурхай-хан, отправились по совершенно другим и, разумеется, его там не встретили. Так Сурхаю удалось благополучно добраться до границ ханства Ширванского. Тут путники остановились в лесу близ селения Ал малы. Есть сведения, что алмалынцы сначала не хотели пустить его к себе, но им пригрозили джарцы, и тогда они покорились. Сурхай послал между тем к некоему Азан-Султану, известному коноводу разбойников, своего человека с просьбой переправить его секретно за Куру. Азан-Султан довел об этом до сведения ширванского хана, который приказал ему строго хранить тайну и всякого ширванца, который случайно узнал бы о ней, немедленно убить. Для переправы же Сурхая через Куру обещано было прислать особого человека. Действительно, через несколько дней прибыл с этой целью некто Али-Гассан, живший при реке Куре, который привез с собою Сурхаю также разные припасы и вещи от дочери его, ширванской ханши. Но переправить ему удалось, и то почти в виду русского казачьего разъезда, только внука Сурхая с шестьюдесятью всадниками. Сам же Сурхай с сыном и женой, скрытно наблюдавший за его переправой, заметив какое-то движение в русском разъезде, не решился переезжать Куру в этом же самом месте и поспешил вернуться в Алмалы, не надеясь на свои старческие силы в случае преследования. В Алмалах он опять скрывался два дня, но затем, оставив жену у джарцев, переправился в Ширванское ханство и, встреченный близ Шемахи высланными к нему беками, с их помощью проехал в Персию.

История, однако, этим не кончилась. Ермолов не хотел оставить без наказания помощи в побеге, оказанной Сурхаю алмалийцами, и приказал нухинскому коменданту подбить

возможно секретнее нухинских татар сжечь и истребить селение Алмалы, разграбить имущество и забрать жен и детей в свою пользу.

Первого августа 1820 года комендант выехал в селение Тамбулах, верстах в двадцати от Нухи, и приказал собрать шекинских татар, К вечеру их собрано было до двух тысяч конных и пеших, на которых и возложено было дело возмездия, под командой нухинского полицмейстера Мелик-Аслан-бека. Отряд подошел к Алмалам ночью, часа за три до света, и тихо окружил селение. Дело, однако же, было испорчено неумеренной жадностью шекинцев к добыче. Вместо того чтобы нечаянным нападением произвести смятение, татары бросились грабить дома. Жители воспользовались этим и успели вывести свои семьи в окружавший Алмалы беспредельный лес, а сами, засев в сады, наносили большой урон зажигавшим дома пешим шекинцам. Тем не менее селение, состоявшее из двухсот домов и нескольких купеческих лавок, почти все было предано пламени, имущество забрано, а скот, в количестве двух тысяч голов, отогнан. Между тем в окрестных трех деревнях Джарекой области узнали о нападении на алмалинцев, и скоро на помощь к ним подошли лезгины. Роли переменились. Теперь уже алмалинцы напали на рассеянных по садам и улицам татар. Шекинцы поспешно стали убираться из Алмалов с захваченной добычей и скоро обратились в совершенное бегство, объятые паникой. К счастью, человек триста армянской конницы сохранили еще кое-какой порядок и прикрыли бегущих. Им шекинцы и обязаны были тем, что успели сохранить добычу и отделались сравнительно ничтожной потерей (двадцать пять человек убитыми и ранеными). Ожесточенные лезгины преследовали их верст десять, до самой переправы через реку Агра. Но преследование это, конечно, не возвратило алмалинцам их сожженных домов и имущества, и урок, данный им, должен был предохранить других от помощи русским изменникам. О потере алмалинцев нет никаких официальных сведений, но материальные убытки их высчитывались более чем в триста тысяч рублей серебром.

Ермолов был чрезвычайно доволен действиями шекинцев. “Хотя чапаул сей,— писал по этому поводу Вельяминов нухинскому коменданту,— сделан был для собственной пользы участвовавших в нем, и, следовательно, одна добыча, полученная ими, должна бы служить им и наградой, а правительство таковую давать не обязано, но главнокомандующий, единственно для поощрения шекинцев на будущее время являться с такой же готовностью на службу по требованию начальства, соизволяет на представление наиболее отличившихся к наградам, с тем, однако же, чтобы не более трех человек были представлены к чинам и не более трех человек — к медалям, остальные же отличившиеся могут быть награждены при похвальных листах экстраординарными вещами”.

Дорога Сурхай-хану обратно в Дагестан была затруднена, и с тех пор его роль становится ничтожной. Проживая в Персии, он не переставал просить помощи войсками и деньгами для возвращения утраченного владения, но безуспешно. Наконец в июле 1826 года его мечтания, казалось, начали сбываться. Персияне вторглись в Грузию, и Сурхай, воспользовавшись этим, пробрался через Шемаху в Аварию, откуда с наемным войском напал на Казикумык. Разбитый Аслан-ханом, он должен был бежать и скрылся в горах, утратив уже всякие надежды после неудач, постигших в этой войне персидское оружие. Не прошло года, как он сошел в могилу, по одним — от раны, полученной в сражении, по другим — от болезни и нравственных потрясений.

Сурхай умер в глубокой старости. Еще в то время, когда он управлял Казикумыком, он уже был известен всему Дагестану под прозвищем Кун-Бутай, что значит “дедушка”. Не лишнее сказать, что прозвище это послужило к забавному недоразумению; русские власти приняли его за один из наследственных ханских титулов, и в официальных бумагах Сурхай писался хан-Бугаем, ханом Казикумык-ским. Незнакомое слово варьировалось на

разные лады, и Сурхай становился то хан-Бутаем, то Хамбутаем, то, наконец, Хомутаем и так далее.

По свидетельству знавших близко Сурхая, это был человек примечательный даже по наружности. Он был высокого роста и вид имел, особенно под старость, грозный. В горах он славился обширной ученостью в мусульманском духе, а по древности рода и большим связям во всем Дагестане пользовался уважением у всех соседних народов.

Среди участников казикумыкского похода выдвигаются две личности, с различных точек зрения, но в равной мере заслуживающие внимания, обе игравшие деятельную роль при взятии Хозрека, обе отмеченные Ермоловым и удостоенные высокой по тогдашнему времени награды — ордена св. Владимира, именно: Якубович и Ван-Гален. О первом из них, сосланном на Кавказ за дуэль, Ермолов писал тогдашнему начальнику Главного штаба князю Волконскому: “Заглаживая вину своей безрассудной молодости, он командовал у Мадатова мусульманской конницей и в бою, при овладении высотами, отличил себя поистине блистательной храбростью. Если не достоин он воспользоваться милосердием Императора для перевода в гвардию, то прошу для него орден св. Владимира 4-ой степени, ибо он по справедливости офицер отличный”. Но “блистательная храбрость” Якубовича в Казикумыке была только началом громкой известности, которую он вскоре приобрел в Кабарде и за Кубанью. А затем ему предстояло выпить горькую чашу каторги и дальней ссылки за участие в известном деле декабристов.

В то время как для одного еще только начиналось прекрасное утро жизни, сменившееся таким тяжелым, пасмурным днем, другой, испанский эмигрант Ван-Гален, доживал на Кавказе свою эпоху тяжелых испытаний, которыми судьба не поскупилась на его долю.

Действительно, вся предыдущая жизнь Ван-Галена, доставившая ему в свое время большую известность, была доказательством непостоянства счастья. Сын переменчивой эпохи владычества Наполеона и Реставрации, он вынес на себе весь гнет переворотов, происходивших в его отечестве в начале нынешнего века: он вместе с гверильясами сражался против французов, защищал Мадрид против Наполеона, присягал королю Иосифу Бонапарте, с которым потом и разделял изгнание; возвратясь на родину, он стал в ряды Каталонской армии, сражавшейся за независимость. Падение Наполеона и возвращение в Испанию короля Фердинанда VII были для Ван-Галена началом тяжелых личных испытаний. Как известно, Фердинанд VII обманул самые скромные ожидания испанских патриотов: он изменил данному слову присягнуть конституции 1812 года и создал взамен нее эпоху правительственного террора. Ван-Гален, как человек, близкий к королю Иосифу, был одной из первых жертв начавшихся гонений. Уже в 1815 году он был арестован и пережил много тяжелых дней, зная, что король подписал указ о его расстреле. И если Ван-Гален не был расстрелян, то лишь благодаря заступничеству гренадского правителя графа Монтихо, имевшего смелость остановить приказ и разъяснить королю неосновательность приговора. Тем не менее все пережитое самим Ван-Галеном и страдания родины заставили его присоединиться к одному из многочисленных в те времена тайных обществ в Испании. Но в следующем году, выданный правосудию одним из своих мнимых друзей, оказавшимся шпионом, он снова был арестован и снова прошел через инквизиционные тюрьмы Мурсии и потом Мадрида. Несмотря не некоторое сочувствие к себе самого короля, у которого он добился аудиенции, Ван-Галену не удалось на этот раз избежать всех ужасов инквизиции и даже пытки, оставившей неизгладимые следы на его здоровье. Наконец, с помощью одной великодушной девушки, приемной дочери простого тюремщика, рискнувшей, из сожаления к узнику, испортить

всю свою будущность, ему удалось бежать и, при содействии нескольких верных друзей, пробраться в Англию.

Самый способ, употребленный им для бегства, был весьма оригинален. Каждый день тюремщики обходили заключенных, и Ван-Гален решился воспользоваться именно этим обстоятельством. В день и час, назначенный им для побега, он стал у двери своей комнаты, и едва тюремщик вошел, как Ван-Гален, моментально потушив свечу, толкнул его в дальний угол и, выскочив из дверей, запер их на ключ. Крик нового узника только придал Ван-Галену силы: он смело прошел тюремные коридоры и, встретив поджидавшую его девушку, выбрался наконец при помощи ее на улицу, где его ожидали друзья.

Не лишнее сказать, что эта девушка, игравшая такую важную роль в жизни Ван-Галена, сослана была в монастырь на вечное заключение и в течение двух лет покорно выносила свою участь, пока события 1820 года не возвратили ей свободу. Впоследствии она вышла замуж за одного солдата, которого любила задолго до того времени, когда решилась пожертвовать всем для человека, к которому ничего не чувствовала, кроме сострадания.

Выброшенный судьбой на чужбину без всяких средств к жизни, Ван-Гален видел для себя один исход — искать военной службы в такой стране, интересы которой не могли бы столкнуться с интересами Испании. И мысли его, естественно, обратились к далекой России. С большим трудом и лишениями, но снабженный советами русского посланника и рекомендательными письмами к нескольким важным лицам в Петербурге, добрался он наконец до России. Для поступления на службу встретились, однако, препятствия и здесь: тоща только что последовало высочайшее повеление, воспрещавшее прием иностранцев в русскую службу. Кроме того, граф Нессельроде, министр иностранных дел, прямо заявил Ван-Галену, что император не согласится на просьбу его, потому что испанский посланник может почесть это оскорблением для своего государя. Тогда Ван-Гален отправился к посланнику. Тот долго старался отговорить его от принятого намерения. “Вы этим дадите огласку нашим домашним несогласиям,— говорил он,— и, сверх того, вы должны знать, что неприлично и не принято, чтобы испанцы, подобно швейцарцам, служили под чужими знаменами то в одной стране, то в другой в качестве авантюристов. Если вам будет угодно, то я похлопочу, чтобы вас приняли в отряд Абисбаля, который отправляется в Южную Америку...” Но Ван-Гален отказался наотрез и просил одного — не препятствовать его поступлению в русскую армию. Посланник наконец согласился. Тогда друзья Ван-Галена дали ему добрый совет — проситься на Кавказ, “где генерал Ермолов заслужил общее уважение не только со стороны солдат и офицеров, но и со стороны покоренных народов”.

“Русские,— замечает Ван-Гален,— называют Грузию “теплой Сибирью, потому что туда ссылают офицеров, которых политические убеждения считаются неблагонадежными”, но тем не менее там шла война, там нужны были храбрые офицеры, и то обстоятельство наконец устранило препятствия: как подполковник испанской кавалерии, Ван-Гален был зачислен майором в Нижегородский драгунский полк.

Первое знакомство с Кавказом он свел осенью 1819 года в лагере под крепостью Внезапной, где тогда находился Ермолов. Отсюда он проехал в Тифлис, а зиму с 1819 на 1820 год провел в Кара-Агаче, где стояли тогда нижегородцы. И хотя симпатичный характер Ван-Галена доставил ему на Кавказе много добрых друзей, однако же жизнь среди чуждых для него условий, вдали от родины, как сознается он сам, была для него тяжелой ссылкой.

Естественно, что образованного, пытливого иностранца, стремившегося видеть и величественную природу горного Кавказа, и его обитателей, не могла удовлетворять стоянка в одном из мирных уголков Кахетии, и он просился в Дагестан, куда готовилась большая экспедиция. Ермолов назначил его состоять при Бадатове, и таким образом Ван-Гален сделался деятельным участником описанного им казикумыкского похода. Раненный при штурме Хозрека, он обратил на себя внимание Ермолова, который, свидетельствуя о заслугах его, писал князю Волконскому: “Ван-Гален служил примером неустрашимости и усердия, которые видел в нем каждый с особенным уважением. Я прошу исходатайствовать ему орден св. Владимира 4-ой степени с бантом. Иноземец в стране отдаленной гордиться будет служением в храбрых войсках Государя Великого”.

Экспедиция кончилась, и Ван-Гален вместе с двумя офицерами отправился в Тифлис. “На следующий день по моем приезде,— рассказывает он,— мы представились генералу Ермолову, который принял нас самым лестным образом и, указывая на знамена Хозрека, стоявшие в углу его залы, отозвался с похвалой о храбрости офицеров и солдат, находившихся в отряде князя Мадатова. Расспросив о некоторых неизвестных ему подробностях, он любезно пригласил нас располагать его домом, обедом и библиотекой”. Но Ван-Гален уже стремился на родину. Еще проездом в Тифлис он получил известие о полном успехе испанской революции и теперь, выждав удобную минуту, переговорил с Ермоловым о причинах, побуждающих его оставить русскую службу. Ермолов разделял его взгляды. Но тут случилось обстоятельство, которое должно было горько отозваться в сердце Ван-Галена. Дело в том, что вместе с изъявлением милостей императора участникам казикумыкского похода Ермолов получил предписание исключить Ван-Галена из службы и выслать его за границу. Никто не знал причин подобного распоряжения, но есть основание думать, что в Петербурге считали Ван-Галена одним из агентов испанской революции, по крайней мере так объясняли тогда внезапную немилость государя. Ермолов, насколько возможно, откладывал неприятное объяснение, стараясь всячески смягчить суровость распоряжения, и сначала передал о нем Ван-Галену стороной. Наконец он потребовал его к себе, чтобы переговорить с ним “об очень важном деле”. В сцене этого свидания, рассказанной самим Ван-Галеном, Ермолов выразился весь своими лучшими сторонами. Вот как описывает ее Ван-Гален.

“Я пришел к Ермолову,— говорит он,— в назначенный час; он принял меня в своем кабинете и, сделав несколько общих замечаний относительно превратности моей судьбы, сообщил мне высочайшую волю. Но при этом заметил, что не намерен исполнять полученный приказ во всей строгости, потому что знает характер императора Александра и убежден, что подобное распоряжение исходит не от самого императора. По моему мнению,— продолжает он,— вы должны написать государю и изложить в короткий словах все те несчастья, которые вы испытали в жизни, не исключая и последнего распоряжения.

Я, со своей стороны, объясню, почему я позволил себе отступить от повеления, которое могло дать повод обвинять его величество в несправедливости. Я настолько дорожу честью и достоинством его имени, что не допущу, чтобы офицер, на услуги которого я хотел обратить его высочайшее внимание, уехал от нас с неприятным впечатлением. Ввиду этого я не стану торопить вас с отъездом и не считаю нужным приставлять к вам стражи, советую даже по-прежнему носить ваш мундир, чтобы никто не догадался о настоящей причине вашего отъезда”.

Через сутки письмо Ван-Галена было отправлено в Петербург. Тем не менее он не желал увеличивать ответственности Ермолова перед государем и решил по возможности ускорить свой отъезд из Тифлиса. Ему не удалось скопить денег на русской службе, так

что он принужден был продать свою лошадь и книги, но и тут вырученная сумма не могла покрыть расходов путешествия с одного конца Европы на другой. Это, впрочем, не особенно беспокоило Ван-Галена. Окончив свои дорожные сборы, он явился к главнокомандующему, чтобы получить от него последние приказания.

Ермолов назначил ему маршрут до Дубно, где он должен был ожидать окончательной резолюции государя, и тут же передал Ван-Галену письменный документ за своей подписью о заслугах его в Грузии и особенно во время последней экспедиции против казикумыкского хана. Затем, узнав о желании одного из штабных офицеров, молодого Рененкампфа, с которым Ван-Гален жил на одной квартире, проводить его до Моздока, Ермолов охотно дал на это позволение, но только просил обоих друзей отложить свой отъезд до вечера, чтобы еще раз пообедать с ним.

“Когда мы встали из-за стола,— говорит Ван-Гален,— и я должен был окончательно проститься с Ермоловым, он пригласил меня и Рененкампфа в своей кабинет и, обращаясь ко мне, спросил с самым сердечным участием, имею ли я достаточно денег, чтобы совершить путешествие от азиатской границы до самого крайнего конца Европы. Я ответил на это, что помимо тех денег, которые имеются у меня, я получил прогоны и надеюсь доехать до Дубно.

— А затем на какие средства вы будете продолжать свое путешествие? — спросил он.

— Я думал обратиться к помощи испанского посланника в первой столице, какая попадется на пути, и надеюсь, что он даст мне средства доехать до Испании.

Ермолов добродушно усмехнулся и сказал:

— У вас довольно странное представление о посланниках! Но ведь это ребячество!.. Я хочу устроить таким образом, чтобы вы могли вернуться домой, не подвергая себя напрасным унижениям... Примите это от меня... не смейте отказываться... Когда поправятся ваши дела, вы можете возвратить мне эти деньги.

С этими словами он всунул в мою руку кошелек с тремястами голландских дукатов. Это было все его достояние в этот момент, как я узнал потом от Рененкампфа, в чем вряд ли кто мог сомневаться, зная полное равнодушие Ермолова к деньгам и его беспримерную щедрость. Кроме того, он подарил мне отличную белую бурку и просил сохранить ее на память как произведение страны, в которой я находился на службе.

Затем он крепко обнял меня с отеческой нежностью и сказал:

— Прощайте, мой дорогой друг! Господь да благословит вас.

Из Дубно Ван-Галена передали австрийцам. Там еще не было решено, что с ним делать, а потому приставили к нему гренадера, который с такой точностью исполнял свои обязанности, что был даже на обеде у австрийского коменданта. “Он, к моему удивлению, сопровождал меня в залу,— рассказывает Ван-Гален,— как тень ходил за мной, когда я двигался, и стоял у моего стула, когда я садился. Во все время обеда он не пошевельнулся, и его суровый, серьезный вид был в высшей степени комичен при его неподвижной позе”...

Наконец в январе 1821 года Ван-Галену позволили оставить Австрию, а двадцать седьмого февраля 1821 года он, без дальнейших приключений, прибыл на родину.

Впоследствии, в тридцатых годах, Ван-Гален по приглашению королевы Христины, опять вступил в военную службу, был генералом и командовал дивизией.

В самом начале тридцатых годов в Лондоне появились его замечательные записки, в которых так много отведено места Кавказу.

К книге был приложен и портрет Ермолова. Это было первое живое слово, сказанное о Кавказе иностранцем, которого судьба сделала очевидцем значительных там событий, и Ван-Гален представил Европе эту страну и русское в ней влияние в их настоящем свете и значении.

Такова замечательная личность Ван-Галена. Его значение собственно для Кавказа не исчерпывается его записками, оно заключается также и в том, что он был из первых иностранцев, которые, служа на Кавказе, разделили богатырские труды с кавказским солдатом и многому от него научились... Его пример, как известно, не остался без подражания. Довольно заметить, что славные вожди Германской империи генералы Гиллер, Герздорф, Вердер — герои Кенигсгреца, Седана и Парижа — получили свое первое боевое крещение также в рядах славной кавказской армии...

XIX. ДАГЕСТАН В 1821—1826 ГОДУ

Год 1820 был для Дагестана годом перелома. Испытав на себе поочередно силу русского оружия и в то же время отчасти поняв мирные цели северных пришельцев, народы его затихли, и весь остальной период управления Ермолова Кавказом, по самого конца 1826 года, может считаться периодом сравнительного мира и добрых отношений между русскими властями и Дагестаном.

Но само собою разумеется, что страна, веками сложившая в себе полуразбойничий воинственный быт, не могла сразу перейти к мирным занятиям культурного порядка, и среди ее населения должна была еще долго существовать энергичная партия, враждебная завоевателям страны, стремящаяся постоянно нарушить спокойствие. Мирные времена поэтому прерываются там эпизодами местных смут, быстро возникавших и быстро исчезавших, потому что массы населения были пока на стороне мира с русскими.

Первым поводом к беспокойным попыткам в горах послужило основание русскими внутри самого Дагестана, в шамхальстве, прочного опорного пункта, чего так боялись горцы, но что было уже неизбежно по самому ходу событий.

В апреле 1821 года сильный русский отряд из четырех батальонов пехоты, двухсот линейных казаков и четырнадцати орудий, переправившись через Сулак в Казиюрте, занял Тарки. С отрядом прибыл сам начальник корпусного штаба генерал-майор Вельяминов и немедленно заложил новую крепость, названную Отрадной. Ермолов переименовал ее впоследствии в Бурную.

Местность, выбранная для крепости, находилась на западном берегу Каспийского моря на крутой горе, стоявшей над узкой и низменной полосой Каспийского побережья, расстилавшейся перед самым селением Тарки. Крепкий опорный пункт указан был здесь самими шамхалами.

Основанием Бурной — колыбели нынешнего Петров-ска — достигались две цели. Ею заканчивалась, во-первых, предположенная Ермоловым передовая русская линия, начатая на берегах Сунжи, прорезавшая Кумыкскую плоскость и теперь переброшенная через

Сулак к берегам Каспийского моря, и во-вторых, завершалось окончательное и крепкое подчинение шамхальства, бывшего во все время дагестанских войн предметом нападений горцев, стремившихся оторвать его от России. Заложением русской крепости под стенами столицы шамхала навсегда оканчивалась некогда знаменательная историческая роль шамхальства.

Угрюмые Тарки гнездятся в сумрачном ущельи Тарковских гор, составляющих последние отрасли Койсубулинского хребта, который здесь подходит близко к морю. Со своими каменными стенами, башнями, мечетями и цветущими садами Тарки издали довольно живописны, но вблизи очарование исчезает, и перед вами грязный аул с кривыми, тесными, перепутанными улицами и с темными бескровельными саклями, построенными кое-как из глины и рубленной соломы. Когда-то в старину, по преданиям, на месте этого аула стоял большой и богатый город, называвшийся Семендер, иначе Терреколь, то есть "Покрывало долины", о котором говорят арабские историки. Даже в самом имени Тарки хотят видеть испорченное Терреколь. Но ибн Гаукал, описавший этот город в X столетии, говорит, что он был богат виноградниками, и это обстоятельство заставляет многих отыскивать Семендер не здесь, а южнее Тарков, в полосе винограда. По словам ибн Гаукала, Семендер был богат и многолюден; множество мечетей, церквей и синагог указывали на разноплеменность воинственного населения, ведшего беспрерывные войны с Дербентом. Но какие-то суровые пришельцы с далекого севера (быть может, Святослав с его дружиной, ходивший в южные страны на Хазар) разграбили и разрушили до основания богатый Семендер вместе с соседними городами Хозераном и Ишилью. И ныне лишь множество обширных кладбищ, окружающих город Тарки, говорят о былом многолюдстве захудалой страны; бесчисленные могилы — вот все, что сохранили столетия. Удивительно, между прочим, что вблизи Дербента, в каких-нибудь ста двадцати верстах от места, где строительное искусство проявилось в таких грандиозных сооружениях, как знаменитые гигантские стены Дербента, сложенные из огромных камней, ни в Тарках, ни в целой стране шамхалов не сохранилось ни одной развалины, никакого памятника древности. Остается предположить, что Семендер, также как теперешние Тарки, построен был из землебитного кирпича или из камня на глине. Всякий, кто посетил бы теперь Тарки, невольно вспомнил бы стихи Полежаева:

Я был в горах —
Какая радость
Я был в Тарках —
Какая гадость!
Скажу не в смех:
Аул шамхала
Похож немало
На русский хлев,
Большой и длинный,
Обмазан глиной;
Нечист внутри,
Нечист снаружи,
Мечети с три,
Ручьи да лужи...

Единственная достопримечательность Тарков — это дворец шамхала, большое каменное здание, построенное на полугоре над самым обрывом отвесной скалы, а еще выше его — белой лентой взбегают к облакам какие-то стены, скрывающиеся на самой высшей неприступной точке горы. Это и есть остатки Бурной. Дорога к ней, пробитая в

известковых скалах, вела по крутой горе, которую около полугода обрабатывали четыре батальона посредством взрывов, чтобы только сделать ее проезжей.

Пустота и безжизненность современных Тарков тем поразительнее, что кругом раскинулась величественнейшая картина природы: горы, покрытые зеленью, деревьями и кустарниками, перемежаются грозными голыми нависшими скалами, как бы готовыми низринуться в долину, а от самой подошвы горы расстилается равнина, медленно спускающаяся к морю. Особенно прекрасен вид со стен Бурной в лунные ночи, когда волшебный свет озаряет и окрестные горы, живописно встающие одна за другой, и мрачные Тарки, представляющиеся с высоты разбросанными в очаровательном беспорядке, и длинный ряд высоких стройных тополей, стоящих над обрывами гор, и эту далекую расстилающуюся желтую песчаную равнину, за которой начинается вечно неспокойное, бурное Каспийское море, откуда доносится грохот прибоя.

Тарки, с окружающей их вековой природой, видавшей стародавние, лучшие времена, служат как бы отражением судьбы своих властителей, шамхалов. Седой стариной отзываются предания о том времени, когда потомки шах-Бала, представителя священного арабского рода Корейшидов, владели из Казикумыка всем Дагестаном. И давно уже, по мере того как шамхалы, валии Дагестана, удаляли свою резиденцию из гор к побережью моря, власть их и влияние слабели. Постепенно, одно за другим отпали от них сильная Авария, Казикумыкское ханство и уцмийство Каракайтагское; из разных обществ, признававших власть шамхалов, образовались особое Мехтулинское ханство и сильные независимые союзы Даргинский, Койсубулинский и другие; наконец многие вольные общества: Эрпели, Каранай, Ишкарты, Чиркей, Чир-Юрт и прочие стали управляться каждое своими старшинами. Владения шамхалов становились все меньше и меньше, а вместе с тем утрачивалось и уважение к их родовому имени. В таком положении застали их столкновения с русскими. Расположенное на равнинной местности, шамхальство не могло оказать серьезного сопротивления Московскому государству, но и Московское государство не было тогда настолько сильно, чтобы прочно удерживать в своих руках далекие завоевания. И взятые Тарки приходилось уступать обратно. Много лет пронеслось с тех пор, как, опутанный кровавой изменой, погиб отряд Бутурлина под Тарками; немало протекло их и со времени погрома, который внесли в эту местность удалые сподвижники Стеньки Разина; однако ничто не изменялось на ближнем Каспийском побережье, и шамхалы по-прежнему властвовали, поддаваясь то персидскому, то турецкому влиянию, а Россия, занятая своими делами, казалось, забыла о существовании укромного уголка и не высылала к его негостеприимным горам своих ратных людей. Но настал XVIII век, и обстоятельства изменились. С XVIII века шамхалы нередко уже сами обращались к помощи и к покровительству России. Был даже момент, когда со страниц истории исчезло самое имя шамхалов, одного из них, Адиль-Гирея, император Петр приказал “за измену” сослать в Колу, а в его владениях ввести русское управление. Но исторические события снова все изменили: русские покидают Дагестан, по их следам идут персияне, и Надир-шах восстанавливает снова достоинство шамхалов в лице прямых наследников умершего Адиль-Гирея. Но и Надир-шах уже не мог придать этому званию ни прежней силы, веками утраченной, ни прежнего блеска. К тому же в прошедшем столетии между дагестанскими ханами являются такие замечательные личности, как Чолак казикумыкский, Фет-Али-хан кубинский, Омар аварский, которые своей славой совершенно затмили родовое значение шамхалов в глазах дагестанского населения. Угрожаемые и сильными соседями и внутренними раздорами, шамхалы, вероятно, пали бы в неравной борьбе, если бы обстоятельства не привели их к сознанию, что спасение их лежит исключительно в полной покорности России. Неизменно следуя этому правилу в течение целого века, шамхалы, действительно, не только сохранили

права владетелей до позднейшего времени, но и оградили свой народ от тех разорений и ужасов, которые постигли остальные дагестанские народы.

Ермолов застал в шамхальстве Мехти-хана, человека безусловно преданного России, оказавшего ей большие услуги при покорении Баку, Кубы и Дербента; он был генерал-лейтенант, имел саблю, украшенную драгоценными каменьями, с надписью: “За усердие и верность”, знамя с императорским гербом, бриллиантовое перо, которое носил на шапке, как знак своей власти, и получал шесть тысяч жалованья.

При всей преданности России, шахмалы, однако, боялись за свою независимость и берегли ее. Столица шамхальства, Тарки, расположена была на самой коммуникационной линии от Кизляра к Дербенту, и предместники Ермолова не раз просили шамхала принять к себе наши войска, прикрывая их титулом почетного караула; шамхалы не соглашались на это, но Ермолов добился своего со свойственным ему тактом и простотой. Объехав Кавказ и сообщая государю план своих действий, состоявший в том, чтобы протянуть цепь укреплений от Сунжи до Сулака, он писал между прочим:

“Таким образом со стороны Кавказской линии приблизимся мы к Дагестану, и учредится сообщение с богатейшей Кубинской провинцией, а оттуда в Грузию, с которой доселе лежит один путь — через горы, каждый год на некоторое время, а иногда и весьма надолго пересекаемый. Мимоходом в Дагестан через владения шамхала тарковского овладеем мы соляными богатыми озерами, довольствующими все горские народы. До сего времени шамхал не помышлял отдать их в пользу нашу и уклонялся принять войска в свою землю, теперь предлагает взять соль, и войска расположу я у него как особенную милость Вашего Императорского Величества за его верность, которые нужны нам для обеспечения нашей в Дагестан дороги”.

Появление русских в шамхальстве с тем, чтобы больше не покидать его, и заложение крепости не могли не встревожить горцев и тем более самих шамхальцев. Глухой ропот пошел по горам. Аварский хан думал воспользоваться этим случаем, чтобы собрать по-прежнему толпы дагестанцев, но в памяти горцев еще свежи были погромы Мехтулы, Акуши, Каракайтага, Табасарани и Казикумыка, и на воззвание хана явилось не более тысячи всадников. С этой горстью людей Султан-Ахмет внезапно появился в шамхальстве, успел произвести волнение не только в дальних селениях, но и в самых Тарках, и обложил Большие Казанищи, где тогда находилось семейство шамхала. Однако первый слух о движении Вельяминова от Бурной заставил аварскую шайку поспешно оставить шамхальские владения. Она отошла в Мехтулу и заняла селение Аймяки, лежавшее на самой границе с вольным Койсубулинским обществом. Двадцать девятого августа подошел сюда и Вельяминов. Передовое укрепление, расположенное на высокой горе, командовавшей зулом, было взято штыками храбрых апшеронцев, и Вельяминов, втащив на гору шесть батарейных орудий, принялся громить селение, обнесенное каменной стеной. Артиллерийский огонь озадачил аймякинцев. С ужасом смотрели они, как русские ядра быстро обращали крепкие дома их в развалины, уничтожали каменные башни и разметывали стены, которые они считали до сих пор непроницаемыми для огнестрельных снарядов. В смятении горцы бросили аул и врассыпную спасались по горным тропинкам, ведущим к Гергебилю. Наступившая ночь не позволила преследовать бегущих, на утро же Вельянинов узнал, что поражение, нанесенное горцам, и ужас, объявший их, были так велики, что и жители Гергебиля, опасаясь пришествия русских, покинули свой поистине неприступный аул и бежали в горы. Сам Ахмет-хан аварский был ранен; лошадь, убитая под ним, найдена в Гергебильском ущельи вместе с седлом, которое не успели снять,— так поспешно и беспорядочно было бегство.

Аймяки были разрушены до основания.

Порядок был восстановлен, и Вельяминов с частью отряда возвратился на линию, оставив в Бурной командира восьмого пионерного батальона подполковника Евреинова с двумя батальонами пехоты (Куримского и Апшеронского полков), с ротой пионеров и четырьмя орудиями.

1822 год прошел в Дагестане мирно, и Ермолов воспользовался этим, чтобы произвести некоторые административные перемены. Командующим войсками и военно-окружным начальником Дагестана вместо барона Вреде назначен был генерал-майор Краббе. Самое управление его было перенесено из Кубы в урочище Кусары, где поместилась также и штаб-квартира Апшеронского полка. Куринский полк расположился в Дербенте, и на командира его, полковника Верховского, возложено было управление Табасаранью и Каракайтагом.

Несколько обстоятельств способствовали к тому, чтобы этот мир не нарушился, и между ними не последнее место занимала смерть двух наиболее выдающихся и беспокойных коноводов восстаний. В октябре 1822 года сошел в могилу уцмий каракайтагский. Еще раньше, в мае того же года, умер Шейх-Али-хан бесславным изгнанником, далеко от родного Дербента, уже не имея там ни друзей, ни сообщников, деятельно раскрытых и уничтоженных Ермоловым. Еще в Акуше главнокомандующему удалось захватить в свои руки документы, свидетельствовавшие о тайных сношениях дербентцев со своим старым ханом, а один из жителей города, некто Истафали-бек, вызвался указать всех тех лиц, которые помогали ему деньгами и вещами. Доносчик знал обстоятельно все, так как долгое время сам был их товарищем и даже получал субсидии от наследного персидского принца в вознаграждение издержек на содержание хана. Необходимо заметить, что все эти лица были не уроженцы дербентской земли, а пришельцы из разных стран, занимавшиеся в городе торговлей. Ермолов решился разрушить гнездо, через которое Персия имела верные сношения с Дагестаном, и нарядил военный суд, под председательством полковника Мищенко (известного героя Башлов). “Вас избрал я,— писал ему Ермолов,— зная ваши строгие правила чести и что вы дадите пример правосудия, которого, к сожалению, здешние жители весьма мало имели в глазах своих”. Виновные были уличены в присутствии Ермолова и подвергнуты строгой каре; те, кто еще мог мечтать об измене, должны были теперь прекратить с ханом сношения.

Не имея более пристанища в Приморском Дагестане, Шейх-Али нашел себе приют в горах Койсубулинского общества. Явившись туда с многочисленной свитой, чтобы поддержать свое достоинство в глазах дагестанцев, он скоро истощил последние средства, а пособия из Персии становились между тем все меньше и меньше, так что ему не хватало их даже для содержания своего семейства. Хан принужден был войти в долги, и его положение было тем бедственнее, что скоро он потерял всякую надежду на согласие Персии заплатить их. И он умер в бедности, оставив семью свою без всяких средств к жизни. Койсубулинцы так теснили ее и так настойчиво требовали уплаты долгов, что, опасаясь быть ограбленной, она бежала в Акушу и просила позволения переехать в Дербент. Ермолов приказал отправить ее назад к койсубулинцам.

Так один за другим сходили со сцены исконные враги России, источники вечных смут в Дагестане. Оставался теперь один аварский хан, который, однако, был тем непримиримее, что имел личные поводы ненавидеть Ермолова.

Нужно сказать, что еще в конце 1818 года главнокомандующий, желая создать аварскому хану вечную угрозу низложения, нашел между его родственниками молодого человека,

которому по мусульманскому закону могли принадлежать права на управление Аварским ханством. Это был сын Гебека, Сурхай, остававшийся в безызвестности только вследствие коварных происков старой ханши.

Дело в том, что после смерти знаменитого Омара правление должно было перейти к его брату Гебеку. Гебек, чтобы лучше упрочить за собою Аварию, решил жениться на вдове Омара — Гехили, и ханша, ненавидевшая его всей душой, сделала вид, что согласна. Но когда Гебек, объявленный женихом, вошел в ее комнаты, она хладнокровно приказала умертвить его самым варварским образом. Аварским ханом сделался Султан-Ахмет-бек мехтулинский, который вскоре за тем и женился на Гехили.

После Гебека остался сын Сурхай, но этот юноша, красивый и даровитый, не был опасным претендентом для нового хана, мало и обращавшего на него внимания. Рожденный от неравного брака и, следовательно, имевший только спорные права на наследие, Сурхай и сам понимал невозможность борьбы, а потому, удалившись с родины, жил в Кюре, не мечтая получить какое-нибудь политическое значение.

Его-то Ермолов и задумал выдвинуть соперником аварскому хану. С этой целью еще в конце 1818 года он через посредство шамхала предложил ему создать в Аварии партию из людей влиятельных, чтобы с помощью их низложить Султан-Ахмета, и в случае успеха обещал предоставить ему все те права, которыми пользовались аварские ханы от русского правительства, то есть чин генерал-майора, пятитысячное жалованье и так далее. Сурхай согласился. Теперь вопрос шел о том, чтобы сделать его популярным среди аварцев, и Ермолов придумал следующую комбинацию. Он запретил аварцам всякие сношения с русскими подданными и тех, кто осмеливался переходить границу, хватали и ссылали в крепостные работы. Аварцы лишены были торговли и не могли этим путем добывать себе предметы первой необходимости. Но запрещение это было не безусловно. Ермолов выдал Сурхаю, как признанному русским правительством, наследнику Аварского ханства, особую печать, и тот, кто имел билет за этой печатью, допускался повсюду и мог торговать свободно. Средство это оказалось необыкновенно действенным: Сурхай стал и известен, и необходим аварскому народу. Партия его росла, крепла, и Ермолов выжидал только благоприятного случая, чтобы объявить его ханом. Вот это-то обстоятельство, державшее Султан-Ахмета в постоянной тревоге, и устраняло для него всякую возможность примирения с русскими.

Под влиянием именно аварского хана в Дагестане в 1823 году и возникает целый ряд смут, получивших громкую известность всего более по главному действующему в них лицу — Амалат-беку.

Нужно сказать, что интриги Султан-Ахмет-хана, направленные преимущественно против шамхала за его согласие на постройку крепости Бурной, успели составить ему довольно значительную партию среди мехтулинцев, особенно в тех деревнях, которые еще недавно были присоединены Ермоловым к шамхальству. Эти новые подданные шамхала наотрез отказались участвовать в крепостных работах. Тогда мехтулинский пристав Батырев и переводчик Мещеринов (оба офицеры Кизлярского казачьего войска) отправились в Аймяки, надеясь без труда восстановить порядок. К сожалению, они ошиблись в расчете. Жители, ненавидевшие грубого пристава, встретили его враждебно, а когда Мещеринов попробовал пустить в ход нагайки, озлобленные аймякинцы сами напали на конвой, забросали его каменьями и, перевязав казаков, нанесли жестокие побои и Батыреву, и Меще-ринову. Спасением жизни своей они обязаны были только дженгутаевцам, успевшим уговорить народ выпустить их из плена. Из Аймяков мятеж быстро охватил соседние деревни. Испуганный шамхал требовал помощи и писал, что в противном случае

бунт охватит все его владения. В Мехтулу тотчас двинуты были два отряда: подполковника Евреинова, из Бурной, и полковника Верховского, из Дербента. Оба отряда должны были соединиться в Парауле и отсюда действовать смотря по обстоятельствам Но пока войска шли, восстание, вызванное главнейшим образом только жестокостью и грубостью пристава, погасло само собою, и лишь некоторые деревни, напуганные движением русских, бежали в горы. Таким образом, тревога оказалась ложной, и аварский хан, тотчас же прискакавший в Гергебиль с пятьюдесятью всадниками, уже не встретил сочувствия в народе. Но он не отказался от замысла и нашел другой путь к смутам и интригам, выдвинув на первый план Амалат-бека, родственника шамхала, находившегося тогда при отряде Верховского.

И предания, и официальные документы одинаково свидетельствуют о том что именно этот претендент на шамхальские владения был действительным виновником хотя кратковременной, но серьезной опасности, в которой очутились русские войска в Дагестане. Известная повесть Марлинского, в которой описаны эти события, сделала имя Амалат-бека с тех пор известным всей читающей России, но не всем известно, что в судьбе Амалата, действительно, было много романического.

Амалат-бек был племянник и зять шамхала тарковского. Отец его, Шаббас, приходившийся шамхалу двоюродным братом, был старшим в роду и должен бы был наследовать шамхальские владения. Он и был, действительно, правителем деревни Буйнаки — тем, кого в старину называли крым-шавкалами. Титул этот образовался после того, как шамхалы окончательно перенесли резиденцию в Тарки, и с тех пор звание правителя Буйнаков предоставлялось обыкновенно старшему в роду, наследнику титула и власти шамхала. Он считался как бы вице, полушамхалом, что на местном кумыкском языке выражалось словом крым-шамхал. От этих-то слов, по-видимому, и произошло русское испорченное название крым-шавкал.

Крым-шамхалы, как показывает история, нередко заводили интриги против настоящих шамхалов и иногда успевали отнимать у них владения.

Одаренный замечательной красотою, умом и военными способностями, Амалат с детства уже мечтал об обладании богатой Дагестанской областью. Но этим надеждам не суждено было сбыться, и он остался только буйнакским владетелем, потому что русская политика поддерживала власть и значение в роде Мехти-Шамхала, человека преданного, и если менее способного, то своей непритязательностью и миролюбием внушавшего больше доверия, чем пылкий Амалат, честолюбивые виды которого могли быть источником смут в Дагестане.

Вынужденный довольствоваться скромным титулом буйнакского бека, Амалат удалился в свой живописный аул. Там до сих пор еще жители указывают дом, стоящий на полугоре и как бы выглядывающий из-за лезгинских саклей, в котором жил Амалат. Буйнакцы помнят славного наездника, вспоминают его отвагу и ловкость и охотно рассказывают о его набегах, при которых только одно удальство помогало ему прятать концы и выходить из воды сухим по отношению к русским. Между тем к причинам, вызывавшим его затаенную ненависть к дяде, скоро прибавилась еще и семейная вражда: дочь шамхала, бывшая в замужестве за Амалатом, ослепла, и Амалат, отправив ее к отцу, взял с нею развод, что между родовой мусульманской аристократией почитается величайшим оскорблением. Порвав таким образом все связи с шамхальским домом, Амалат влюбился в дочь аварского хана, известную Салтанета, славившуюся красотой во всем Нагорном Дагестане, и полюбил ее со всей пылкостью, на которую только была способна его дикая, энергичная натура. Понятно, что он искал сближения с аварским ханом, а хан

воспользовался этим и сделал его орудием своих политических замыслов. Откладывая свадьбу с года на год, он держал Амалата в руках и, указывая ему в будущем возможность овладеть шамхальством, вооружал против русских. Во времена дагестанских волнений Амалат-бек действительно стал на сторону мятежников и вместе с ними участвовал во многих битвах. Когда же бой по Лавашами решил судьбу акушинцев, Амалат был выдан русскому главнокомандующему. Как уроженцу шамхальства ему угрожала позорная казнь, и если он не был повешен, то только благодаря заступничеству Верховского и необыкновенному присутствию духа и презрению к жизни, выказанным им перед главнокомандующим. Когда тот, грозно упрекая его за измену, объявил, что он будет повешен, Амалат,— рассказывает Цылов,— продолжал хладнокровно гладить собаку Ермолова и потом, вежливо поклонившись ему, молча и гордо отошел к ожидавшим его солдатам. Говорят, что Ермолов, пораженный этим спокойствием, сказал: “Да сохранит меня Бог лишить жизни человека с таким возвышенным духом!” — и Амалат-бек был прощен. Евстафий Иванович Верховский взял его на поруки. Этот Верховский, тогда обер-квартирмейстер Грузинского корпуса, был один из талантливейших боевых офицеров, перед которым лежала широкая будущность. Ермолов знал его с Кульмского боя, когда тот был еще молодым офицером, и очень дорожил им. Рассказывают, что, отдавая ему Амалата, он сказал: “Я своей слабостью сделал уже много неблагодарных, но так и быть, прощаю Амалата; возьми его, но помни: не доверяйся ему, будь осторожен”.

С тех пор в течение почти четырех лет Амалат и Верховский были неразлучны. Вместе жили они в Тифлисе и вместе переехали в Дербент, когда Верховский, после смерти Швецова, назначен был командиром Куринского полка. Видя в Амалате недюжинные способности, Верховский задался мыслью образовать его ум и укротить в нем разнузданность азиатских страстей — словом, перевоспитать его и со временем сделать человеком истинно полезным для России. Амалат, со своей стороны, казалось, охотно подчинялся влиянию Верховского и питал самые горячие дружеские чувства к своему благодетелю. Но то была только лишь лицевая сторона медали. Честолюбивый азиат рассчитывал, что Верховский, по своему влиянию в Дагестане, может помочь ему низвергнуть дядю с шамхальства и овладеть законным наследством. Но годы шли за годами, а Амалат оставался все тем же ничего незначащим беком, каким был и прежде; он видел, что Верховский совсем не расположен содействовать его политическим замыслам. И неприязнь к нему мало-помалу стала закрадываться в сердце Амалата. Козни аварского хана подоспели кстати.

Нужно сказать, что, живя в Дербенте, Амалат не переставал мечтать о Салтанете, с которой сношения были прерваны с тех пор, как он поселился у русских. Вместе с тем он зорко следил за дагестанскими событиями, с которыми связывал собственную участь. Он знал, что неудовольствие народа против Мехти-шамхала росло; росли и надежды в душе Амалата добиться тем или другим путем шамхальского престола. Руководимый этими надеждами, он вызвался сопровождать Верховского и в его походе против аймякинцев.

Но едва отряд дошел до Карабукента, как получены были успокоительные известия, и Верховский должен был вернуться в Дербент. Благоприятный момент ускользал из рук аварского хана, бывшего уже в Гергебиле со своими пятьюдесятью всадниками, но он понимал, что аймякинский пожар может снова вспыхнуть, и послал сказать Амалату, что желает с ним видеться. Свидание, как говорят, состоялось ночью за чертой русского лагеря, и этому можно дать веру, так как сам Ермолов в своих записках подтверждает о сношениях, установившихся в то время между Амалатом и аварским ханом.

Зная, чем можно подействовать на сердце Амалата, хан прямо объявил ему, что Салтанета просватана, что жених ее — Абдул-Мусселим, второй сын шамхала, который, после

Амалата, по своей высокой крови более других горских князей имеет право на родство с древним аварским домом. Удар был направлен искусной рукой. Заметив смущение Амалата, хан стал в заманчивых картинах рисовать перед ним будущность, которая могла бы ожидать его в том случае, если бы он отказался от русских.

— Слушай! — говорил он ему.— Я еще могу взять свое слово назад. Салтанета будет твоя, но первое условие для этого — смерть Верховского. Его голова будет калымом за невесту. И не одна месть за прошлое, но и самая здравая расчетливость с твоей стороны требуют смерти русского полковника. Без него весь Дагестан останется без головы и оцепенеет на несколько дней от страха. В это время мы налетим на рассеянных по квартирам солдат. Я сажусь на коня с двадцатью тысячами аварцев и акушинцев, и мы падем с гор на Тарки как снежная лавина. Тогда Амалат — шамхал дагестанский!

Подогревая честолюбивые мечты Амалата, хан распространял под рукою слухи о кознях против него шамхала тарковского. Мамка Амалата, жившая в Буйнаках и подкупленная ханом, со слезами говорила своему питомцу, будто бы подслушала разговор шамхала, предлагавшего Верховскому пять тысяч червонцев за смерть Амалата, но что Верховский, отвергнув это предложение, согласился однако же взять его с собою в Россию и отправить в Сибирь.

Интрига велась чрезвычайно искусно; Верховский действительно ожидал только окончания похода, чтобы отправиться в отпуск в Россию, где его ожидала невеста — молодая вдова известного полковника Пузыревского, за два года перед тем изменнически убитого в Гурии. Накануне выступления из Карабудакента, разговаривая с Амалатом, он предложил ему поехать вместе в Россию. Это предложение, как раз совпавшее со зловещим пророчеством мамки, было последней каплей, переполнившей чашу; подозрения, еще неясно таившиеся в душе Амалата, теперь получили уверенность. Судьба Верховского была решена.

С восходом солнца, девятнадцатого июля отряд Верховского выступил из Карабудакента. Утро было свежее и ясное, туманы еще лежали в удолиях, и Верховский, въезжая на вершины, каждый раз останавливался, чтобы полюбоваться окрестными видами. Его сопровождали штаб-лекарь Апшеронского полка Амарантов и переводчик, а шагах в пяти сзади ехал Амалат со своими двумя нукерами. Амалат был, видимо, в волнении; он несколько раз пускал своего коня вскачь, как бы стараясь заглушить в себе кипевшее чувство мщения, и опять подъезжал к Верховскому, мучимый сомнениями и нерешимостью. А тот спокойно ехал, грустный и задумчивый. Быть может, и его сердце томилось тайным и горьким предчувствием. Наконец, между селениями Губден и Атемиш, Амалат-бек в последний раз пустил своего коня во весь опор и вдруг, обернувшись в седле, выстрелил в Верховского. Пуля поразила его прямо в сердце, и он молча, медленно свалился с седла. Пользуясь замешательством, Амалат указал своим изумленным нукерам на ущелье и как стрела, ринулся в горы.

Тревога поднялась в отряде. Донские казаки понеслись на выстрел, но убийца успел скрыться, и погоня за ним была бесполезна. Через пять минут окровавленный труп изменнически убитого полковника был окружен толпами солдат и офицеров. Недоумение, негодование, жалость были на всех лицах... Верховского любили все, и когда тело его отправляли в Дербент, солдаты горько и непритворно плакали. Подполковник Мищенко как старший тотчас принял команду и в ожидании дальнейших приказаний остановил отряд около селения Кай-Кенда.

Говоря о внезапной трагической смерти Верховского, нельзя не вспомнить и о судьбе его несчастной невесты. Первый ее муж, командир сорок четвертого егерского полка полковник Пузыревский, изменнически был убит в Гурии; через год молодой вдове сделал предложение Верховский, был объявлен женихом и за два месяца до свадьбы изменнически убит в Дагестане. Сколько радостей отнял Кавказ у этой несчастной женщины... Но невозможно не упрекнуть и самого Верховского за легковерие и непростительную беспечность; долго живя с азиатами, зная их не по одной наслышке, он должен был понимать, что человек, которого одной рукой спасали от смерти, а другой лишали свободы и достояния, не мог сделаться другом.

Трое суток скитался Амалат по горам Дагестана, мучимый совестью. Ничто не оправдывало кровавого поступка, и образ падающего с коня Верховского неотступно преследовал убийцу. Завет хана, не являться без головы врага, заставил его, однако же, опомниться; он решился ехать в Дербент, пробрался ночью с помощью одного татарина на русское кладбище и, добыв голову, пустился в Хунзах... Есть известие, будто бы татарин ошибся могилой, и в руки Амалат-бека попала голова не Верховского. Так или иначе, но Амалат-бек ехал теперь к аварскому хану со своей кровавой добычей — калымом за Салтанету.

Но в Хунзахе его ожидал страшный удар, которого он не предвидел: аварского хана не было в живых. Собирая в горах узденей, отважный Султан-Ахмет ехал ночью; привычный конь его оборвался с кручи, хан расшибся, и тридцатого июля, через одиннадцать дней после смерти Верховского, его самого не стало. С ужасом услышал эту весть Амалат-бек, лишившийся в хане единственного союзника и руководителя. Убийство Верховского оказывалось теперь не только бесцельным, но и возбудившим в Хунзахе презрение и ненависть к убийце. Вдова Султан-Ахмет-хана выгнала Амалата из своего дома. Салтанета была потеряна для него навеки.

Не все, однако, осудили Амалата за вероломное убийство. Весть о смерти Верховского, быстро разнесшаяся по горам, напротив, вызвала повсюду волнения. Генерал-майор Краббе сам поспешно прибыл к отряду, притянул сюда же отряд подполковника Евреинова из Бурной и, чтобы не дать усилиться возмущению, двинулся на вольные общества Каранай и Эрцели, лежавшие на запад от шамхальства. Двадцать девятого июля Каранай был взят и разорен до основания. На следующий день войска подошли к Эрчели, но здесь, благодаря лесистой местности, бой был упорный; местоположение лишало русских важного преимущества — возможности поражать неприятеля артиллерийским огнем, и они успели овладеть только половиной деревни. Войска ночевали на месте боя и на следующий день отошли в крепостную позицию к Куфыр-Кумыку.

Отсюда Краббе отправился в Кубу, поручив отряд подполковнику Евреинову. Подробности этого похода мало известны, но нужно думать, что сражение при Эрцели было не совсем удачно. По крайней мере, Ермолов, по получении рапорта Краббе, писал ему между прочим: “Жаль трудов храбрых войск в пользу шамхала, который управлять народом не умеет, нам не содействует и еще робостью своею может ободрить неприятеля”. Про самое сражение он замечает коротко, что оно “многих удержало от восстания, но поднявшие оружие не довольно были наказаны”.

Мятеж, действительно, подавлен не был; напротив, он угрожал разгореться с большой силой. По дорогам повсюду стали появляться вооруженные толпы аварцев, койсубулинцев, приезжих чеченцев и даже хищников из южных татарских областей. Возмутились снова и жители Мехтулы, нашедшие сочувствие к себе среди шамхальцев. Пристав Батырев явился в Дженгутай и, собрав старшин, стал грозить им саблею; они

выхватили свои — и Батырев с двумя казаками были изрублены. Амалат в это время уже был среди койсубулинцев, которые приняли его с торжеством в Унцукульской мечети, отвели ему помещение и назначили содержание. Положение становилось все серьезнее и серьезнее.

Первым действием неприятеля было нападение на роту Апшеронского полка капитана Овечкина, сопровождавшую транспорт из Бурной в Параул, где стоял тогда отряд Евреинова. Около Куфыр-Кумыка транспорт был атакован двухтысячной конной толпой. Командир роты, храбрый Овечкин, знаменитый защитник Чирага, устроил из повозок каре и с помощью орудия удерживал неприятеля. Сообщения, однако же, были отрезаны, и ему невозможно было дать знать в Параул о случившемся. По счастью, беспокоясь за долгое отсутствие Овечкина, Евреинов сам выступил к нему навстречу. Отряды соединились, но неприятель, усилившись в это время до шести тысяч человек, обложил их, оставив свободной одну только дорогу к Таркам. Горцы, вероятно, думали, что русские поспешат воспользоваться ею для своего отступления, и приготовились напасть на них во время похода. Но Евреинов отлично понял желание горцев, и потому, устроив вагенбург на открытой равнине, стал выжидать нападения. Целый день шла перестрелка, а четырнадцатого августа ночью лезгины повели траншею и, укрываясь в ней от выстрелов, постепенно приблизились почти к самому лагерю. Было около полуночи, когда секреты, высланные за нашу передовую цепь, открыли неприятельские работы, и едва успели они известить об этом посты, как те уже были атакованы. Вовремя поддержанные из лагеря, посты устояли, и дело до самого рассвета ограничивалось сильной перестрелкой. Но едва забрезжил свет, пехота с барабанным боем пошла на неприятельские окопы. Траншея взята была приступом, и горцы, стесненные во рву, понесли большие потери. Войска преследовали их до самого селения Куфыр-Кумык, которое немедленно очищено было горцами. Триста неприятельских тел осталось на месте сражения. Евреинов приказал тотчас же, на глазах неприятеля, повесить четырех пленных койсубулинцев, а тела убитых мятежников оставить без погребения. Целый день пятнадцатого августа длилась из-за них перестрелка, так как горцы, по обычаю, пытались поднять тела, но к вечеру перестрелка стихла, неприятель отступил и скрылся в Койсубулинские горы. “В тот день,— доносил после того Евреинов окружному инженерному генералу,— как ваше превосходительство сделали мне замечание за не присылку инспекторских бумаг, в день Успения Пресвятой Богородицы, я поражал врагов, и земля стонала от их воплей”. Из фронта у русских выбыло в эти три дня три офицера и сорок пять нижних чинов.

Получив известие о всех этих происшествиях, Ермолов счел нужным лично отправиться в Дагестан. Его беспокоило малое число войск, занимавших страну,— обстоятельство, которое могло ободрить горцев к новым предприятиям, тем более что между ними распущены были настойчивые слухи о войне, будто бы начатой Россией с Турцией и Персией. Даже на акушинцев он не полагался вполне, а присоединение их к мятежникам могло сделаться весьма опасным. Третьего октября Ермолов уже был в Бурной и, немедленно введя свой отряд в Мехтулинский округ, занял селение Большие Казанищи. Одного появления русского главнокомандующего было достаточно, чтобы остановить горцев от слишком смелых попыток к нападениям. “Два некомплектные батальона (Херсонского и Ширванского полков), прибывшие со мною,— говорит Ермолов,— показались силами ужасными, ибо никого здесь не уверишь, чтобы могло их быть мало при главном начальнике”.

Впрочем, прибытие главнокомандующего и не представлялось необходимым при сложившихся тогда обстоятельствах. Уже после куфыр-кумыкского боя Мехтула притихла. Правда, бедный бездомный и буйный люд еще требовал исполнения данной Амалату клятвы — провести его в шамхалы, но сильная партия людей степенных и

зажиточных желала спокойствия. К тому же и все надежды воинственной партии мехтулинцев возлагались только на помощь соседей, а этой помощи ожидать уже было нельзя, так как и у соседей появлялись партии, склонявшиеся к миру. И прежде всего такое разделение возникло среди самих койсубулинцев, на которых надежды могли казаться всего основательнее. Одни из них, правда, еще продолжали покровительствовать Амалату, но зато другие указывали на него, как на источник вечных смут, и категорически требовали его изгнания; они, наконец, добились своего, и Амалат должен был удалиться. Правда, койсубулинцы не желали делать русским новых заявлений о своей покорности, но можно было довольствоваться уже и тем, что они оставались спокойными. Волнения, начавшиеся было одновременно в Табасарани и Каракайтаге, также легко были прекращены Аслан-ханом казикумыкским с его милицией.

Ермолов, однако же, не думал оставить без наказания дерзкие попытки койсубулинцев и решил предпринять поход внутрь их страны, в самый Нагорный Дагестан, куда еще ни разу не проникали русские. Войска уже были собраны в Дженгутай и даже перешли в Эрцели, но поздняя осень с ненастной погодой заставила отложить предприятие и ограничиться только рекогносцировкой горных путей в селения Араканы, Гимры и Ирганау. Тут были небольшие перестрелки, но вообще неприятель защищался слабо и даже тотчас покинул горный хребет Аракас, как только войска показали серьезное намерение продолжать наступление. Тогда Ермолов вернулся назад, а между тем, зная, что с наступлением осени койсубулинцы должны спустить свои стада на равнины, приказал тщательно разведать, где они пасутся, и захватить их. Мехтулинцам было объявлено, что всякий, кто примет или укроет койсубулинский скот, лишится всей своей собственности. Напрасно койсубулинцы старались выиграть время и затянуть переговоры, Ермолов требовал аманатов тотчас — и койсубулинцы уступили: аманаты были даны.

Таким образом, воевать было не с кем, и Ермолов, поселившись сам в Казанищах, расположил свои войска на зимовые квартиры по мехтулинским селениям. Зимовка эта, вопреки ожиданиям, оказалась удобной и веселой. Многие холостые офицеры, а в том числе и сам Ермолов, пользуясь свободой мехтулинских нравов и заплатив калым, требуемый законами страны, поженились на мехтулинках так называемым кебинным браком и — по замечанию Ермолова — “скучную стоянку обратили в рай Магометов”. Перезимовав в Казанищах, Ермолов возвратился в Тифлис. И с этого времени до самой персидской войны 1826 года во всем Дагестане хоть сколько-нибудь крупные беспорядки уже не повторялись.

Именно к этому времени, к зимовке в Казанищах, относится целый ряд мер, предпринятых с целью всеобщего успокоения края. Понимая, что, привязав к себе духовное сословие горцев, можно приобрести большое влияние на весь Дагестан, Ермолов склонил шамхала пригласить к нему в Казанищи известного в горах своей ученостью муллу Сеид-Эфенди, который, принадлежа к числу главнейших священных особ, мог быть очень полезен при сношениях с горцами. Ермолов несколько раз виделся с ним, но не иначе как по ночам, и притом у шамхала, чтобы не возбудить подозрений в народе и оставить его в том мнении, что Сеид-эфенди никогда не угождал ни одному из русских начальников. О свиданиях этих не знал никто даже из приближенных главнокомандующего. Ермолов встретил в мулле человека рассудительного, искренне желавшего спокойствия страны, и легко успел склонить его на русскую сторону. И это было тем более важно, что в это самое время росла и расширялась религиозная идея, которой, под именем мюридизма, предстояла в скором времени огромная роль в истории Кавказа. Ермолов не упустил из виду вредного влияния новой секты; он поручил Аслан-хану казикумыкскому следить за ее развитием, и если это учение не было подавлено, то все же, несмотря на тайные попытки многих фанатиков открыть мюридизму широкое

поприще, при Ермолове оно не могло иметь успеха, потому что покорные горцы, по свидетельству ученого Казым-бека, были более или менее довольны им и его боялись.

В то же время Ермолов обдуманно и систематически подчинял себе владельцев, действуя на них мерами то строгости, то щедрости.

Так, в Казанищах же явился к нему скрывавшийся в горах сын Гассан-хана мехтулинского Ахмет-хан, испрашивая прощение. Восстановление на прочных основаниях русского управления в Мехтуле после бывшего бунта представляло много затруднений, и Ермолов, “даровав прощение” Ахмет-хану, привел его к присяге на верность и отдал ему Мехтулинское ханство за исключением тех деревень, которые еще раньше были присоединены к шамхальству. Эта мера, по мнению Ермолова, могла дать народу спокойствие по привязанности жителей к новому хану.

В то же время, узнав, что осиротевшее семейство Адиль-Гирея осталось в крайней нищете, Ермолов, как бы снисходя на просьбы шамхала, позволил ему возвратиться в Кайтаг и дал на его содержание одно из имений, некогда принадлежавших уцмию,— великодушие, оказавшееся очень кстати и приведшее к весьма важным результатам. Естественно, что дохода от одного селения оказывалось слишком недостаточно для удовлетворения потребностей семьи некогда владетельного дома, и вот, чтобы выйти из такого затруднительного положения, Мамед-хан, как старший в роду, начал искать случая оказать русским какую-нибудь услугу и тем улучшить свое материальное положение.

Случай к этому скоро представился. В Кайтаге проживал тогда известный Абдулл-бек ерсинский, сын табасаранского кадия и зять Шейх-Али-хана, пользовавшийся немалым влиянием в народе. В населении Табасарани и Каракайтага всегда находилось довольно элементов, годных для разбоя, и он пользовался ими, чтобы держать край в постоянной тревоге. За стенами Дербента уже нельзя было считать себя безопасным. Был случай, что в 1822 году в пяти верстах от этого города команда рабочих, под прикрытием десяти куринских солдат, подверглась нападению; два солдата были изрублены шашками, один убит пулей и один ранен. Теперь, когда герои дагестанских возмущений один за другим сходили со сцены, тем опаснее становился Абдул-бек, как последний представитель былых времен необузданной свободы. Все меры, принятые к его поимке, оставались без успеха, а между тем Южный Дагестан более и более терпел от его разбоев. Краббе принужден был оценить его голову, обещая большую награду тому, кто доставит его живого или мертвого. Вот эту-то задачу и принял на себя Мамед-хан, ставя условием, чтобы ему возвращены были имения его отца.

Мамед стал изыскивать средства для достижения своей цели, но все старания его захватить Абдуллу во время разъездов его в Каракайтаге были напрасны. Тогда Мамед подговорил жившего в деревне Падур старого разбойника Науруз-бека, и они вместе решили извести Абдуллу другим способом. Мамед съездил в Дербент и привез оттуда целый бочонок пороха. В то же время Науруз-бек, рыская по окрестностям, узнал о местопребывании ерсинского бека. И вот вечером двадцать седьмого апреля 1824 года оба они с несколькими нукерами скрытно пробрались к небольшой деревушке, окруженной лесом, где жил тогда Абдулл-бек. Бела темная ночь, когда партия подошла к самому селению; там все было тихо; жители спали, и только в доме самого Абдуллы светился огонек. Пока партия стояла на опушке леса, сын Науруз-бека, молодой Гюль-Мамед, и Орудж — старый опытный разбойник, вдвоем, как ночные воры, пробрались в нижний этаж дома, где в Дагестане обыкновенно помещаются конюшни и кладовые, и заложили там мину силой в два пуда пороха.

Прошло с четверть часа, а взрыва не было. Мамед уже хотел отправиться сам, чтобы узнать о причине, как вдруг в тишине ночи громовой удар всколыхнул землю, и высокий столб пламени поднялся к небу. Картина взрыва была ужасна. Большой двухэтажный каменный дом был разбросан по частям; между развалинами его виднелись изувеченные, растерзанные тела Абдуллы с его сыновьями, женами и всей прислугою. Всего погибло при взрыве семнадцать человек, и в том числе сам Абдулла и две жены его, из которых одна была известная Чимнас-Ханум — дочь Фет-Али-хана, только грудной ребенок, младший сын Адбуллы, спасся каким-то непостижимым чудом. Таким образом, из всего семейства Абдуллы остался на свободе только старший сын его, Зоал, уезжавший в роковую ночь в соседнюю деревню. Но Мамед-хан и Науруз дали слово доставить и его в Дербент живого или мертвого.

Пострадал при взрыве сильно и Орудж, не успевший заблаговременно отойти в безопасное место: ему вышибло в плече правую руку, обожгло лицо и повредило ребра. Не спасся бы он от разъяренных жителей деревни, если бы отважный Гюль-Мамед, несмотря на угрожавшую самому ему гибель, не вынес его на своих плечах.

“Известие о взрыве дома, в котором за одного виновного погибло шестнадцать невинных,— писал Ермолову император Александр,— для меня весьма неприятно”. Гуманные чувства императора никак не могли примириться с жестокой необходимостью, на которую указывал Ермолов, отвечавший, что “другого средства к истреблению разбойника не было и что нельзя считать совершенно невинными тех, которые скрывали Абдуллу и помогали ему в разбойничьих подвигах”.

Дальнейшая история Зоала неизвестна. Но бегство его было причиной следующего характерного для дагестанских нравов происшествия. Один из табасаранских беков, Ахмед-Паша, обвинил двадцатилетнего сына своего Али-Бури в невыполнении отцовского приказания поймать или убить Зоала и как изменника выдал его русским. Нужно думать, однако, что в этом поступке замешалась семейная вражда. По крайней мере, Али-Бури заявил на следствии, что отец донес на него в отмщение за укоры, которые делал ему сын, ибо старик прогнал жену, зарезал дочь и тем же угрожал самому Али. Очевидно, что здесь разыгрывалась целая семейная драма, и тем не менее Али, по настоянию отца, был сослан рядовым в батальоны Финляндского корпуса.

В числе мер, принятых Ермоловым к умиротворению вечно мятежного края, необходимо отметить и попытку повлиять на дагестанские народы зрелищем величия русского государства. Ермолов знал, что мятежи горских народов поддерживались, между прочим, совершенно ложным представлением о могуществе России, которую они склонны были считать неизмеримо слабее, чем единоверные для них могущественные мусульманские царства Турцию и Персию. И вот, чтобы поколебать в их глазах ложный престиж исконных врагов России и познакомить с великой державой русских царей, предложено было отправить в Москву в 1826 году на коронацию нового императора Николая Павловича депутатов от всех мусульманских провинций Кавказа, и в том числе от Дагестана. “Удостоясь видеть Императора,— писал Ермолов,— окружающую его славу и великолепие, они передадут своим единоземцам понятие, которое неминуемо произведет большое впечатление и немалую пользу”.

Первенствующими лицами в этой депутации являлись: сам мехтулинский владетель Ахмет-хан, сын шамхала тарковского Гайдар-бек, сын акушинского кадия, затем Эмир-Гамза-бек — потомок древнего рода каракайтагских уцмиев, зять казикумыкского хана, и, наконец, Исса-бек — сын главного кубинского первосвященника, человек замечательной

храбрости, израненный в боях, член многочисленной семьи, в которой все, от старого деда до юного внука, служили русскому государю.

Выбор был сделан умелой рукой, но, к сожалению, все это предприятие не состоялось. Депутаты уже собраны были на Кавказской линии, в Екатериноград, и им оставалось только несколько дней до выезда, как вдруг получены были известия о вторжении персиян в Грузию. Можно было опасаться волнений и среди дагестанцев. При таких условиях Ермолов не счел возможным посылать депутатов, а приказал, напротив, поспешнее разослать их по домам, где они, как люди испытанной верности, могли оказаться необходимыми. Но мир и тишина нигде не нарушились. “При всех обстоятельствах, сопровождавших вторжение неприятеля в наши пределы, при общем возмущении в мусульманских провинциях, Дагестан, многолюднейший, воинственный и помнящий прежнее свое могущество, пребыл в совершенном спокойствии, отзываясь, что новых властелинов он не желает”. Так писал Ермолов.

Остается сказать о дальнейшей судьбе героя и героини событий 1823 года, об Амалат-беке и Салтанете. Куда укрылся Амалат, вечно тревожимый своей совестью, никто наверное не знает. В Дагестане долго ходили слухи, что он скитался между чеченцами, утратив красоту, здоровье и самую отвагу. Но мало-помалу молва об Амалате запала, и только злодейская измена его жила в преданиях Дагестана, где и до сих пор имя его никем не произносится без укора. Так говорит Марлинский. Но есть другое свидетельство. Один буйнакский житель рассказывает следующее: “Я был товарищем Амалата, бывал с ним всюду, делил с ним и горе и радость, и сколько раз эта рука останавливала смерть, висевшую над головою пылкого юноши! Но ничто не сильно перед определением судьбы. Мы пробрались к черкесам и были в Анапе, когда русские брали эту крепость. Здесь Амалат был ранен, и мы бежали с ним под защиту вольного, непокорного русским народа. Променяв бурную жизнь на мирное пристанище, я пас стада у богатых князей, стриг овец и добывал скудный хлеб, которым и делился с Амалатом. Но Аллах не хотел, чтобы мы жили вместе, и бедный Амалат умер на моих руках от оспы...”

Участь Салтанеты была иная. Она вышла замуж за Абдулл-Муселим-хана, сделавшегося впоследствии шамха-лом тарковским, и сын ее, князь Шамсудин, был последним шамхальским владетелем. Салтанета нередко приезжала в Темир-Хан-Шуру и умерла в 1845 году в Дербенте. Холм, на котором амфитеатром раскинуто обширное татарское кладбище, возвышается над самым морем и весь усеян надгробными памятниками, обращенными к востоку. Посреди этого леса могильных камней есть один, причудливо раскрашенный розовой и зеленой красками. Это и есть могила Салтанеты.

Восточные женщины стареют скоро. Салтанета умерла, не достигнув даже сорокалетнего возраста, но современники, встречавшие ее в последние годы ее жизни, говорили, что она была уже совершенная старушка. Черты лица ее, однако, были чрезвычайно правильны и сохраняли следы замечательной красоты.

XX. ПОЕЗДКА МУРАВЬЕВА В ХИВУ

Восточный неведомый берег Каспийского моря, представлявший в туманной перспективе за обширными степями Татарии путь в Индию и по меньшей мере выгодные торговые сношения с богатыми азиатскими странами, откуда шли в Европу шелк и богатые ткани, был постоянным предметом стремлений русского государства, Естественно, такой энергичный и оригинальный человек, как Ермолов, не мог со своей стороны не попытаться проникнуть своим влиянием в эти желанные страны, тем более что весь западный берег Каспийского моря, с Дербентом и Баку, был уже в руках России.

Помнились еще и несчастный поход Бековича, погибшего под Хивой со всеми своими войсками, и попытка времен Екатерины Великой, окончившаяся пленением Войновича. Но плодотворная мысль, которой предстояла великая будущность, несмотря на препятствия, жила и проявлялась, как только открывалась возможность к тому. Даже прежние, по-видимому неудачные попытки не остались без результата, познакомив с русской страной туземцев восточного Каспийского побережья, и с начала нынешнего столетия туркмены уже сами начинают домогаться заведения у них русской торговой фактории. Князь Цицианов, несмотря на ничтожные средства, которыми русские располагали тогда в Грузии, нашел, однако, возможным осмотреть восточные берега Каспийского моря и указал три пункта, выгодные для устройства укреплений, именно: урочище Гедик, устье Эмбы и Тюп-Караганский угол. Дело, правда, при тогдашних обстоятельствах тем и ограничилось; Цицианов погиб, и все предположения его по этому вопросу оставлены были "до удобнейшего времени", как того желал преемник князя, граф Гудович. Ртищев, со своей стороны, пытался возобновить переговоры с туркменами при посредстве дербентского купца, армянина Ивана Муратова, который прежде вел торговлю с Астрабадом и имел в тех странах большое знакомство. Муратов ездил в туркменскую страну и возвратился с туркменскими депутатами, прибывшими заявить, что и они восстали против Персии и опустошили все места близ Астрабада (это было во время русской войны с Фет-Али-шахом). Но послы застали главнокомандующего уже в гюлистанском лагере заключающим с Персией мир. Персияне отлично понимали, насколько туркмены, поддержанные Россией, могли сделаться для них опасными, и потребовали, чтобы русское правительство не входило с ними ни в какие сношения. Ртищев принял это условие и, прилично одарив послов, отправил их обратно. Народ туркменский был очень огорчен этой неудачей.

Ермолов вполне оценил всю пользу, какую можно было извлечь из приязненных отношений к нам туркмен.

Крепкий опорный русский пункт на восточном берегу Каспийского моря должен был иметь своим результатом и еще одно важное преимущество. Им создавалась бы Россией новая серьезная угроза Персии со стороны Мазандерана и Хорассана, которая в случае войны могла бы до значительной степени удержать ее от вторжения в Закавказские пределы. Ермолов, понимавший Персию и ее политику, как не многие, естественно не мог упустить из виду этих важных последствий, хотя и старался, по-видимому, не вызвать подозрений со стороны персидского правительства. "Место, выбранное на берегу моря для построения крепостей,— говорит он в своем предписании,— не должно быть слишком близко к персидским владениям, дабы не возбудить опасений против нас, не слишком близко к Хорассану, дабы караваны с товарами не подвергнуть нападению хищных народов".

И в 1819 году, в то самое время как русские войска покоряли Приморский Дагестан, он уже решил отправить на восточный берег Каспия экспедицию, с тем чтобы войти в сношение с туркменами и собрать подробные сведения о жизни, торговле и промышленности этих кочевников, а если окажется возможным, то и основать там складской пункт с надежной гаванью, где русские корабли могли бы безопасно разгружаться на якоре. Но так как заведение какого бы то ни было торгового пункта по ту сторону Каспийского моря неизбежно приводило Россию в столкновение с Хивой и так как, в сущности, в руках русских не было хоть сколько-нибудь основательных сведений о земле, на которой намеревались завести торговую колонию, то Ермолов поручил елизаветпольскому окружному начальнику майору Пономареву отправиться в приморские кочевья туркмен для осмотра местности, а капитана Муравьева (Николая Николаевича, впоследствии — Карского) послал к хивинскому хану с письмом, в котором цветистыми

восточными фразами выражал желание “из цветов сада дружбы сплести приятный узел соединения с ним неразрывной приязнью” и просил его “отпереть русским ворота дружбы и любезных сношений”. “В письмах этих,— говорит Ермолов,— употреблены мною сверх того скромные выражения и собственно на счет мой, например: “великий и могущественный главнокомандующий” и тому подобные. Долго писал я обыкновенным образом, но приметил, что здравое суждение не столько понятно здешним народам, сколько пышная глупость”.

“Не смотрите, как европеец, на средства лести,— писал он, между прочим, и в предписании к Муравьеву,— между народами азиатскими употребление лести обыкновенно, и вы имеете выгоду не страшиться быть расточительным в оном”.

Поручение, данное Муравьеву, заключалось главнейшим образом в том, чтобы склонить хивинского хана направлять торговые караваны не на Мангышлак, куда они приезжали после тридцатидневного пути по безводным и песчаным степям, а по новому пути, дававшему возможность в семнадцать дней достигнуть Красноводска, лежащего при Балаханском заливе; в Красноводске же ко времени прибытия караванов должны были приходить и русские купеческие суда из Астрахани для взаимной мены товаров.

Восемнадцатого июня 1819 года Муравьев отслушал в Тифлисе в Сионском соборе напутственный молебен и отправился в дорогу, почти не надеясь на возвращение. Несчастный пример Бековича, так ужасно окончившего свое полувоенное, полудипломатическое поручение, известная жестокость тогдашнего хивинского хана Магомет-Рахима, наконец трудное степное путешествие не обещали новому посланнику ничего утешительного.

В Баку Муравьеву пришлось прожить несколько дней, пока снаряжалась команда, назначенная сопровождать Пономарева. Тут же на рейде стоял уже совершенно готовый к отплытию восемнадцатипушечный корвет “Казань”, на котором путешественникам предстояло совершить переезд через море, и при нем купеческий шкоут “Св. Поликарп”, предназначавшийся для перевозки тяжестей. В ожидании отплытия офицеры корвета устраивали морские прогулки; компания отправлялась обыкновенно к домику, стоящему на берегу и называемому морскими банями. Муравьев отмечает в своем путевом дневнике, что туда приходилось плыть мимо развалин большого караван-сарая, скрытого теперь под водою в полуверсте от берега; из-под воды показываются только одни верхушки его башен. Неизвестно, когда и вследствие какой катастрофы здание это погрузилось в море, но о нем упоминает в своем описании Каспийского моря и Соймонов, участник экспедиции Петровского времени.

Восемнадцатого июля корвет вышел, наконец, в открытое море, и после десятидневного плавания путешественники увидели туркменский берег. Двадцать девятого числа Муравьев с Пономаревым в сопровождении шести матросов отправились к берегу на двенадцативесельном баркасе, вооруженном коронадой и двумя Фальконетами. И здесь, в самом начале экспедиции, Муравьеву пришлось уже встретить суровые испытания. Так как предполагалось возвратиться в тот же вечер на корвет, то не позаботились взять с собою воды и продовольствия. А рекогносцировка берега не привела между тем ни к каким результатам; нигде не было даже признаков близкого туркменского кочевья. Муравьев отправился было в обратный путь, как вдруг поднялась сильная буря; волны, гонимые ветром, высоко вздымаясь, затопляли баркас и вынудили наконец снова высадиться и ночевать на берегу. Обстоятельство это немало встревожило маленькую партию. Бури в тех местах продолжаются иногда по неделям, а наши путники не имели с собою ни воды, ни хлеба; к тому же ежечасно можно было ждать нападения хищных

туркмен, которые в те времена пользовались бурями, чтобы захватывать прибиваемые к берегам суда промышленников.

Приближалась ночь. Фальконеты были сняты на берег, и команда расположилась ночевать на бугре, приняв строгие меры военной предосторожности. В то же время, чтобы дать о себе весть на корвет, разложили огромный костер, благо отличное топливо — прибрежный камыш — был под рукой в неистощимых размерах. К утру положение команды стало еще тяжелее; буруны не уменьшались, а последние сухари были съедены, и воды не осталось ни капли. Томимые жаждой, люди глотали морскую воду, но от нее тошнило и появлялись боли в желудке. Вдруг огромная волна совершенно затопила баркас. И хотя матросы тотчас кинулись спасать его и, успев сбросить в море коронаду, вытащили судно на берег, но оно оказалось поврежденным. Тогда попытались еще раз найти кочевье или пресную воду, но безрезультатные поиски только напрасно утомили людей. Муравьеву оставалось, по его собственному выражению, “сидеть у моря и ждать погоды”. В случае крайности решено было бросить баркас и фальконеты и пешком пробраться в Астрабад. К счастью, на третий день погода утихла, баркас был исправлен, и тридцать первого июля команда возвратилась на корвет.

При отсутствии карт не было никакой возможности определить хотя приблизительно даже место, где находились путешественники. К счастью, на следующее утро увидели несколько туркменских киржимов, лодок, плывших около берега. Надо было остановить хоть одну из них, чтобы добыть языка, и с этой целью с корвета был сделан холостой пушечный выстрел. Но туркмены не поняли сигнала, напротив, перепуганные выстрелом, налегли на весла. Тогда по ним пустили два ядра и отправили в погоню шестерку с вооруженной командой. Одна из лодок была отрезана; туркмены, бывшие на ней, бросились на берег, но хозяин лодки, Девлет-Али, был захвачен и привезен на корвет. Это был шестидесятилетний старик из почетного сословия. От него узнали, что место, где была сделана высадка, носит название Белый бугор, или Ак-Тепе, что южнее лежит Серебряный бугор, а между ними стоит большое кочевье туркмен рода Гассан-Кули, где живет и старшина Киат, один из ездивших к генералу Ртищеву депутатов от туркменского народа.

Благодаря этим указаниям явилась возможность ориентироваться. Третьего августа путешественники подплыли к Серебряному бугру и послали старика известить ближайшие кочевья о прибытии к их берегам русского корвета. Туркмены не замедлили явиться, а вслед за ними прибыл и сам Киат-ага — лицо весьма значительное, которому повиновались несколько старшин вместе с их родами. Принятые как гости, со всевозможной предупредительностью, туркмены скоро освоились с русскими настолько, что просили Муравьева показать им, “как русские солдаты играют ружьями”. “Мы слышали от стариков,— говорили они,— что ваши солдаты так выучены, что если один топнет ногою, то, сколько их ни есть, все топнут разом”. Им показали учение с пальбою, и они чрезвычайно дивились ему. Киат отвел Муравьева в сторону и предупредил его, чтобы солдаты, ездившие на берег за водою, были осторожны и не расходились поодиночке. “Персияне,— сказал он,— подкупили туркмен, не наших, а других аулов, и по вам будут стрелять из камышей”. Лучшей мерой в сношениях с азиатами, впрочем, всегда была собственная осторожность, и благодаря строгому порядку, заведенному Муравьевым, в продолжение всей долгой стоянки у Серебряного бугра не было ни одного несчастного или неприятного случая. А стояли здесь долго; около месяца потребовалось на то, чтобы обозреть берега и составить описание и карты. Лишь десятого сентября корвет прибыл наконец к Красноводску, и здесь начались приготовления Муравьева к поездке в Хиву.

“Решаясь на это путешествие,— говорит сам Муравьев в своих записках,— я имел весьма мало надежды возвратиться назад, но шаг уже был сделан, и я был довольно спокоен, совершенно положившись на благость Провидения”.

Девятнадцатого сентября, простившись со своими спутниками, Муравьев выехал в степь. Весь конвой его состоял из одного солдата, переводчика, армянина Петровича и проводника туркмена по имени Сеид. Все четверо ехали верхами; солдат вел вьючных верблюдов и смотрел за подарками, предназначавшимися хану и его сановникам. Небезопасно было ехать через степь с ничтожным конвоем, но “недостаток людей,— говорит Муравьев,— я заменил добрым ружьем, пистолетами, большим кинжалом и шашкой, которые не снимал с себя целую дорогу”.

Поднявшись на высокие скалы, окаймлявшие берега Балаканского залива, Муравьев в последний раз увидел корвет, высадивший его на этот пустынный берег и спокойно стоявший в заливе на якоре. Перед ним лежала теперь безграничная степь, безбрежное песчаное море, лишенная всякой зелени мертвая пустыня, где лишь изредка пробивался тощий репейник и глаз человека не встречал ни животного, ни перелетной птицы. Мысль об удалении из отечества, быть может, для того, чтобы впасть в вечную неволю или умереть под варварскими истязаниями свирепого хана, невольно западала Муравьеву в душу. Редкие кочевья, попадавшиеся на пути, не успокаивали взволнованного воображения; чувствовалось по простому отсутствию пашен, что ленивые и беззаботные полудикари, добывавшие хлеб не иначе, как на базарах Хивы и Астрабада, должны жить на счет своих соседей. Действительно, встреча с такими кочевьями была не всегда безопасна: промысел их — воровство людей, которых они и продавали в Хиву за большие деньги; одно ожидание такой встречи приводило трусливого Петровича в отчаяние, и страх его был так комичен, что заставлял Муравьева смеяться в- самые тяжелые минуты. Совсем другой человек был Сеид, сам известный наездник, прославившийся разбоями в Персии. Когда Сеиду было еще только шестнадцать лет, он ездил однажды со своим престарелым отцом в степь. Там они нечаянно наткнулись на шайку текинцев; отец сидел на добром коне, а Сеидова лошадь была не из лучших. Не имея надежды спастись, старик соскочил с седла и, отдавая сыну своего коня, сказал ему: “Сеид! Я уже стар и довольно пожил на свете; ты молод и можешь поддержать наше семейство. Прощай, спасай себя, пока есть еще время!” Сеид выхватил саблю и ответил: “Отец! Если ты не хочешь бежать, то я не покину тебя и буду защищаться, тогда мы погибнем оба, и семейство наше осиротеет”... Спорить было некогда, они решились спасаться каждый на своем коне, и наступившая ночь укрыла их от разбойников. Старый отец повсюду рассказывал после этого, что сын превзошел его в храбрости. На Сеида Муравьев мог, следовательно, понадеяться.

Но один в поле все-таки не воин, и потому все наши путники были рады, догнав караван, шедший в Хиву. И чем дальше уходил караван от морского берега, тем становился более и более, увеличиваемый разным людом, съезжавшимся с окрестных кочевок. На третий день, когда он вступал в совершенно безлюдную степь, в нем было уже до двухсот верблюдов и до сорока вооруженных людей. Все это отправлялось в Хиву за покупкой хлеба.

Для наших путников это сообщество было и хорошо и дурно; удобнее было защищаться в случае открытого нападения, но зато надо было беречься и своих случайных спутников. “Как бы то ни было,— говорит Муравьев,— а я всегда брал предосторожность и во все шестнадцать дней и ночей нашей поездки не снимал оружия”.

Зная подозрительность всех вообще азиатов к людям, что-либо срисовывающим или записывающим, Муравьев был очень затруднен в ведении своего дневника, основательно опасаясь прослыть за шпиона. Поэтому он записывал все виденное только по ночам, когда все засыпали, и притом разными знаками, для того, чтобы никто не мог разобрать их, если бы эти записки, паче чаяния, попали в руки хана. Стараясь как можно меньше обращать на себя внимание, Муравьев оделся в туркменское платье и назвался Мурад-беем. Это представляло своего рода выгоду; хотя в караване все знали, кто он, но при встрече с чужими он не возбуждал уже опасного любопытства и избавлялся от вопросов, иногда весьма щекотливого свойства. Только однажды при встрече с большим караваном сопровождавшие его туркмены заподозрили наших путешественников и стали добиваться, что это за люди. Начальник каравана ответил: "Это пленные русские; нынче пришли их суда к берегу, мы поймали троих и везем в Хиву на продажу".— "Везите, везите неверных собак,— ответили туркмены,— мы сами только что продали русских и взяли хорошие деньги. Нынче этот товар в цене". Второго октября путники достигли пределов Хивы. Но именно в эту ночь случилось большое лунное затмение, встревожившее весь караван, так как, по понятиям туркмен, оно предзнаменовало ему дурной прием в Хиве. "Со стесненным сердцем,— говорит Муравьев,— переехали мы границу. Картина природы резко изменилась — повсюду возделанные поля, сады и арыки".

— Отчего вы не обрабатываете свои земли таким же образом? — спросил Муравьев своих спутников.

— Наши земли ничего не производят,— ответили ему.

— А если земли ваши ничего не производят, то отчего же вы не переселитесь в Хиву?

— Посол,— ответили ему туркмены с гордостью,— мы господа, а это наши работники. Они боятся своего владельца, а мы, кроме Бога, никого не боимся.

Нужно сказать, что, несмотря на эти гордые слова, туркмены охотно служили хивинскому хану. Муравьев высказал это.

Туркмены обиделись.

— Господин посланник! — сказал ему один из них, ударив рукою по эфесу сабли.— Мы, туркмены, люди простые; нам такие вещи прощают, но уважают за храбрость нашу и за острие кривой сабли, которая всегда предстоит к услугам хана.

— Она также будет предстоять и к услугам Белого Царя,— сказал Муравьев,— с той минуты, как при моем посредничестве установится мир и доброе согласие между двумя державами.

С дороги Муравьев послал между тем двух гонцов; одного в Хиву, с известием к хану о своем прибытии, а другого — в ближайшую ханскую крепость, Ак-Сарай, для извещения о том же тамошнего хивинского чиновника. Из Хивы в тот же день прибыл навстречу Муравьеву туркменский старшина Берди-хан, личность весьма примечательная: в 1812 году он служил у персиян, ранен в Асландузеком деле и был одним из немногих, спасшихся в этот страшный день от истребления; вылечившись от раны, он служил некоторое время у генерала Лисаневича, потом возвратился на родину и, наконец, бежал в Хиву.

Последнюю ночь перед въездом в столицу хивинского хана Муравьев провел в какой-то бедной деревушке. Утром он хотел выехать рано, но один из туркменских старшин пригласил его на завтрак, и отказаться было бы весьма неполитично. Обстоятельство это, заставившее его промедлить часа два, оказалось весьма важным в этой деспотической стране: только что наши путники выехали из деревни, как с ними встретился конный чапар и просил от имени хана остановиться, чтобы подождать двух чиновников, посланных к нему навстречу. Те, действительно, скоро приехали и объявили Муравьеву ханское приказание — ехать в деревню Иль-Гельды и там ожидать. "Таким образом,— говорит Муравьев,— не случись нашего завтрака, обстоятельства могли принять совершенно другой оборот. Я в тот же день был бы в Хиве, и хан, удивленный моим внезапным прибытием, может быть, принял бы меня хорошо; а с другой стороны, могло быть и то, что народ растерзал бы меня до въезда в город по повелению того же хана, до которого бы вдруг дошли слухи, что русские пришли в Хиву для отмщения за кровь Бековича. Такие слухи в Хиве распространить легко, и владелец, никогда ничего не видевший, кроме своего маленького ханства и степей, его окружающих, мог легко этому поверить".

В деревне Иль-Гельды была небольшая крепость, принадлежавшая Хаджат-Мегрему, одному из ханских любимцев. Въезд в нее был только один, через большие ворота, запиравшиеся огромным висячим замком. Муравьев понял, что он арестован. Действительно, Магмет-Рахим под разными предлогами день ото дня откладывал прием, а между тем обращение с Муравьевым становилось с каждым днем грубее, пища отпускалась умереннее, а чай перестали давать ему и вовсе. Так прошло двенадцать пней. По слухам, хану было доложено, что Муравьев во время пути вел какие-то записки, и явилось сомнение, не лазутчик ли он. Хан приказал Хаджат-Мегрему еще более стеснить свободу заключенных и учредить за ними строгий надзор, а сам находился в большой нерешительности. Наконец он собрал совет.

— Туркмены, проводившие сюда Муравьева,— сказал хан собранию,— не должны были допустить его до моих владений; они должны были убить его и представить мне только письма и подарки, которые он вез. Но так как он уже здесь, то делать нечего, и я желаю знать, что посоветует мне кази.

— Этого нечестивого,— ответил кази,— следует вывести в поле и зарыть живым.

— Кази,— сказал хан,— я предполагал у тебя больше ума, чем у себя самого, но теперь вижу, что у тебя его совсем нет. Если я его убью, то на будущий же год Белый Царь придет и полонит всех жен моего гарема. Лучше будет принять посла и отправить его обратно, а между тем пускай он посидит; нужно разведать, за каким он делом приехал сюда. А ты уйди вон!

Голоса в совете разделились: одни полагали, что Муравьев приехал, чтобы выручить русских невольников; другие — требовать удовлетворения за сожжение двух русских судов в Балаканском заливе, случившееся лет десять назад; иные же упорно стояли на том, что он приехал требовать возмездия за кровь князя Бековича. Говорили также, что к берегам Туркмении пришел русский флот, что там заложена большая крепость и что Муравьев, узнав дорогу, на будущий год непременно приведет в Хиву русское войско. И несмотря на изгнание кази, все разнородные мнения сводились к одному знаменателю: посла надо казнить, а на худой конец, тайно убить или взять в невольники.

Слухи об этом мнении совета и о тайных намерениях хана, доходя до Муравьева, не могли не тревожить его. С первого шага в Хиву он был уже пленником. Врожденная свирепость

хана и без совета приближенных уже побуждала его умертвить иноплеменника, и только страх перед Белым Царем еще удерживал его. Проведав о худом обороте дела, туркмены, сопровождавшие Муравьева в пути, стали опасаться, чтобы и им не пришлось пострадать из-за него, и перестали оказывать ему уважение. Даже лучший из них, Сеид, и тот своим изменившимся поведением доставил много скорбных минут Муравьеву. Поневоле приходилось ему более и более убеждаться, что мрачные предчувствия, тревожившие его перед поездкой, должны сбыться.

“Я не знал,— говорит Муравьев,— на что мне решиться; мне предстояли неминуемо или томительная неволя, или позорная и мучительная казнь; я помышлял о побеге и лучше желал, чтобы меня настигли в степи, где я мог умереть на свободе с оружием в руках, а не на плахе под ножом хивинского палача. Однако же мысль о неисполнении своей обязанности, когда еще могла быть на это сомнительная и малая надежда, меня останавливала. Я решился остаться, привел в порядок свое орудие и приготовился к защите, если бы на меня внезапно напали. К счастью, со мною была книга Попа — перевод “Илиады”; я всякое утро выходил в сад и занимался чтением, которое меня развлекало”.

Размышляя о своем бедственном положении, Муравьев думал, что если его не лишат жизни, то конечно обратят в невольника; и мысль эта даже улыбалась ему, в сравнении с тем одиночным заключением, в котором он томился. “Будучи в неволе,— говорит Муравьев,— я утешался бы тем, что буду иметь возможность по крайней мере видеть моих соотечественников; я имел в виду при первом удобном случае взбунтовать их противу хивинцев и избавить от тяжелого рабства”.

Между тем быстро приблизилась зима. Лист уже падал, утренники становились свежее. Сорок восемь дней прожил Муравьев между страхом смерти и надеждой. Но вот семнадцатого ноября хан, долго колебавшийся, решился, наконец, принять посланника. В Иль-Гельды поскакал гонец, и Муравьев в тот же день выехал из крепости. “Очутившись в поле,— говорит он в записках,— я почти не верил, что освобожден от жестокого заточения, в котором ежеминутно ожидал себе смерти”. Но вот и Хива. Высокая каменная стена окружала город, над которым возвышался огромный купол мечети бирюзового цвета с золотым шаром наверху; пошли древние могилы, арыки с прекрасными каменными перекидными мостами и, наконец, громадные сады. Многочисленная толпа любопытных встретила посланника при въезде в город и сопровождала его до самого дома, принадлежащего первому ханскому визирю. Так как обыкновенно хан Магмед-Рахим спал в течение дня, а занимался делами ночью, то письма и подарки отправлены были к нему еще с вечера. В числе подарков видное место занимали девять хрустальных стаканов — именно девять, потому что число это считается хивинцами счастливым,— и огромный поднос, на котором стояли две головы сахара и лежали десять фунтов свинца, такое же количество пороха и десять кремней. Число десять, нужно сказать, у хивинцев одно из самых несчастных. Оригинальный подарок этот хивинцы сами растолковали себе следующим образом: две головы сахара обозначают предложение мира и сладкой дружбы; порох, свинец и кремни — войну, если они не согласятся на дружбу.

На следующий день, перед вечером, верховный визирь вошел к Муравьеву и торжественно объявил ему, что хан желает видеть посланника. Муравьев оделся в полный мундир, к которому пришил из предосторожности вместо черного красный воротник, опасаясь, чтобы кто-нибудь из русских, находившихся в Хиве, не узнал по мундиру офицера генерального штаба и не растолковал бы хану, что специальность этого рода службы заключается именно в снятии планов, в описании дорог и в обозрении страны в

военном отношении. Во время пути Муравьев потерял свой головной убор и потому заменил его теперь высокой персидской шапкой; оружие у него отобрали.

Пройдя несколько дворов, в предшествии юз-баши и приставов, Муравьев остановился наконец перед кибиткой, в глубине которой увидел колоссальную, поражающую своей громадностью фигуру хана в красном халате, сшитом уже из сукна, привезенного ему Муравьевым в подарок; небольшая серебряная петлица застегивалась на груди; на голове была чалма с белой как снег повязкой. Он сидел неподвижно на дорогом хорассанском ковре, имея по сторонам себя двух важнейших хивинских сановников. Хан, по словам Муравьева, был в сажень ростом, очень широкоплеч и так массивен, что ни одна лошадь не могла возить его два часа кряду; лицо его, опущенное короткой светло-русой бородой, вовсе не имело на себе отпечатка известной всем его свирепости; он говорил величественно, громким, но приятным голосом.

Остановившись против него, Муравьев поклонился, не снимая шапки, и, соблюдая этикет, ожидал молча, что скажет хан. После минутного молчания один из ханских приближенных произнес молитву: “Да сохранит Бог владение сие для пользы и славы владельца”. Тогда хан, погладив себя по бороде, приветствовал Муравьева:

— Добро пожаловать, посланник! Зачем приехал и какую имеешь просьбу?

— Главнокомандующий наш,— ответил Муравьев,— желает войти в тесные сношения с вами и хочет утвердить торговлю на пользу обеих держав.

Затем он изложил подробно причины этого посольства. Но несмотря на все красноречие, ему не удалось убедить Магмет-Рахима в выгодах, которые произойдут от перемены торгового пути. Хан отвечал на все решительным отказом и в заключение сказал:

— Жители Мангышлака мне покорны. Для чего же я соглашусь переменить путь и отниму у них выгоды, которые они теперь имеют?

Как ни уговаривал хана Муравьев, обещая даже, что в случае согласия и дружбы враги его будут и русскими врагами,— все было напрасно: хан не переменил решения. Аудиенция была окончена.

Пока шли переговоры, двое ханских служителей принесли халат из золотой парчи с богатым к нему кушаком из дорогой ткани, на котором висел кинжал в серебряной оправе. Это были ханские подарки Муравьеву. По обычаю страны он тут же надел халат поверх своего мундира и в этом уборе отошел от кибитки. У ворот дворца его ожидал прекрасный серый жеребец туркменской породы. Едва Муравьев сел в седло, как двое туркмен повели коня под уздцы, двое поместились возле стремян, и торжественное шествие посланника направилось по улицам Хивы к дому верховного визиря.

Собираясь в обратный путь, Муравьев послал к оружейнику поправить свое двуствольное ружье. Его возвратили за два дня до отъезда починенным очень дурно, но зато оно оказало Муравьеву другого рода услугу. Когда он хотел зарядить его, оказалось, что левый ствол чем-то засорен; его осмотрели и вытащили из него свернутую бумажку: это было коллективное письмо русских пленных; они извещали, что их три тысячи человек, и просили довести о их судьбе до сведений государя.

Двадцать первого ноября Муравьев покинул Хиву. Он пустился теперь по новой, пролегавшей мимо текинских владений дороге, которая была значительно короче, хотя и

гораздо опасней. Сильная стужа очень замедляла поход, а между тем явилось опасение, что корвет при наступлении зимы возвратится назад в Баку, не дождавшись посла. Нетерпение Муравьева скорее достигнуть берега и узнать свою участь было так сильно, что он бросил наконец караван и уехал в сопровождении только трех туркмен. Тринадцатого ноября он был уже на берегу, корвет его еще ждал, и легко представить, с какой радостью он встречен был офицерами, уже терявшими надежду увидеть его в этой жизни. Муравьев прибыл вовремя. Не полагая, чтобы пребывание Муравьева в Хиве было так продолжительно, корвет не запасся продовольствием и потому все это время бедствовал: целый месяц люди держались на половинной порции; из ста сорока матросов пять уже умерло, а из остальных только двадцать были здоровы. С половины ноября в заливе стал показываться лед, и опоздай Муравьев еще на день-два, корвет неминуемо ушел бы назад.

Обратное плавание длилось шесть дней. Двадцать четвертого декабря корвет вошел уже в Бакинский рейд, а семнадцатого января 1820 года Муравьев приехал в Дербент, где представился Ермолову и отдал ему отчет в своем путешествии. С ним вместе представились Ермолову два хивинские посланника, которые торжественно и вручили ему письмо от своего повелителя.

“Отец победы Абул-Гази-Магмед-Рахим-хан,— сказано было в этом письме,— приветствует высокостепенного и высокопочтенного главнокомандующего Ермолова, который да будет нашей монаршей милостью отличен и да ведает:

Усердное письмо об обращении по дружбе и знакомству, присланное с И. Н. Муравьевым, предстоящие при дворе нашем чиновники получили, и содержание оного стало известно. Что касается до писания твоего, чтобы основание дружбы было возобновлено и утверждено через продолжение между нами сношений, и старанием обеих сторон купцы имели бы открытые пути и спокойно пользовались бы торговлей, то по сему делу будь известен, что ныне караваны и купцы безопасно и спокойно ездят в сторону Яика и Астраханского владения. А как ямудские и гокланские народы некоторые служат нам, а другие Каджару, то когда по воле Божией поступят и они под власть нашу, тогда может исполниться то, что угодно будет Богу”.

“Передав пышное письмо,— говорит Ермолов,— послы передали мне и ничтожные подарки: две хорошие шали, десять бухарских мерлушек, два простых седла и несколько фунтов изюма”.

Впрочем, нужно сказать, что два жеребца, присланные в подарок Ермолову, остались за морем по невозможности перевезти их с собою. Хивинских посланников отдарили перстнями и отправили в Тифлис, где они должны были провести зиму, чтобы весной возвратиться на родину.

Ермолов очень ценил совершенное Муравьевым путешествие. “С почтением смотрю на ваши труды и на твердость, с которой вы превозмогли и затруднения и самую опасность, противоставшие исполнению возложенного на вас поручения,— писал он Муравьеву по поводу его экспедиции.— Вы собственно мне сделали честь, оправдав выбор мой исполнением столь трудного поручения, и я почитаю себя обязанным представить Государю Императору об отличном усердии вашем к пользе его службы”.

Действительно, хотя попытка открыть сношения с Хивой и не увенчалась полным успехом, однако же посольство не осталось без результата: Муравьев собрал положительные сведения о стране, до тех пор совершенно неизвестной, и убедился в

возможности с большим успехом действовать против Хивы даже оружием. “Безбрежные и горючие степи, окружающие эту страну,— говорит он в своих записках, составляют ее главную силу. Это препятствие, положенное самой природой, может устрашить другой народ, но не русский. Трехтысячного отряда достаточно, чтобы покорить и удержать за Россией ханство, столь важное для нас при открытии торговых сношений с Азией”. Таково мнение, которое вынес из знакомства с Хивой Муравьев, этот истинно мужественный и непоколебимый русский человек, который в тяжелом заточении, среди свирепых дикарей, лицом к лицу с мучительной смертью, беспрерывно ему угрожавшей, помышлял только о благе своей родной страны.

Обстоятельный журнал Муравьева, его записки и донесение Ермолова имели своим последствием то, что в Петербурге решено было снарядить еще раз экспедицию к восточным берегам Каспийского моря и окончательно выбрать места под русские укрепления.

Новая экспедиция отправлена была в 1821 году опять под начальством Муравьева, и результатом ее было обстоятельное обозрение Балаханского залива, а главное — осмотр Балаханских гор, вернее — отрасли их, где есть леса, хорошая пресная вода и пастбища. Горы эти, считавшиеся богатейшим местом по всему восточному берегу Каспийского моря и соединявшие всевозможные выгоды с хорошим климатом, могли бы, при построении на них укреплений, как полагал Муравьев, привлечь в окрестности многолюдные кочевья рассеянных ямудов, из которых было бы можно составить впоследствии отличную конницу исключительно для препровождения наших степных караванов. Некоторое устройство, введенное в эту конницу, конечно дало бы ей решительное превосходство над прочими племенами туркмен, зависевшими от хана, а это повело бы их к соединению между собой так, что от берегов Каспийского моря до владений хивинских вся дорога пролегала бы среди народа, расположенного к России, и, таким образом, открылся бы кратчайший и безопаснейший путь, который поставил бы торговле большие выгоды.

Занятия Муравьева в Балаханских горах продлились до самой осени. Приближались неразлучные с нею в Каспийском море опасные бури, а провиант между тем истощился, между людьми открылись болезни. Муравьев вынужден был возвратиться назад, не успев закончить обозрение Карабугазского и Киндерлинского заливов.

Донося о результатах новой экспедиции и развивая мысль о пользе устройства на восточном берегу Каспия укреплений, Ермолов, однако же, не скрывал всех трудностей предприятия.

“Но так как,— замечает он в донесении,— нельзя не согласиться, что торговые сношения с Хивою, а паче посредством оной с Бухарией, могут представить большие выгоды, и, оными еще не ограничиваясь, можно сильному государству иметь в предмете распространение их и до севера Индии, то в таком смысле нет затруднений, кои не достойны бы были испытания”.

На этом донесении, к сожалению, все дело и кончилось. Со стороны министерства не последовало никаких дальнейших распоряжений, и вопрос об утверждении русского владычества на восточном берегу Каспийского моря снова отодвинулся на целое десятилетие, до тех пор, пока талантливый и энергичный начальник Оренбургского края генерал-адъютант граф Сухтелен вновь не поставил его на очередь и не начал действовать, но уже со стороны оренбургских степей.

XXI. АДЫГСКИЙ НАРОД

От берегов Черного моря далеко на восток, до лесистой Чечни, в границах, очерчиваемых с севера Кубанью и Малкой, с незапамятных времен, живут черкесские племена, широкой полосою занимая северные склоны Кавказского хребта, то плотно примыкая к ним, то оттесняемые от них на прилежащие равнины другими народностями: абазинами — между Лабой и Урупом, карачаевцами, расположившимися вокруг величавого Эльбруса, осетинами — в верховьях Терека, в землях, прорезываемых Военно-Грузинской дорогой.

Из множества племен черкесского народа на сцену истории рано выдвинулось племя кабардинское, обнаружившее и большее развитие сравнительно со своими соотчичами, и большую предприимчивость. Есть предание, что некогда оно пыталось выйти из круга своих уединяющих гор далеко к северу, оставило занимаемые им места на Кубани, потянулось к Дону и скоро появилось даже в Крыму, где поныне равнина между реками Кач и Бельбек именуется Черкесской. Но изменчивые судьбы юга нынешней России, представлявшей тогда беспредельные степи с бродячим волнующимся кочевым и разбойничьим населением, не дали утвердиться там воинственным пришельцам. Кабардинцы воротились к родным горам и укрепились на Предкавказской равнине, по обе стороны Терека, разбросав свои поселения к востоку от Кубани до Сунжи, и от горной Осетии до верховий реки Кумы — на север. И с тех пор вся история черкесского народа совершалась в указанных выше пределах — в Закубанье да на Кабардинской равнине.

Черкесы называют сами себя именем Адыге. Есть мнение, что слово это представляет собою только множественное число древнего слова “ант” значащего, вероятно, “человек” и в некоторых местностях оно поныне выговаривается “антихе”.

Живя по восточному берегу Черного моря, в соседстве с таинственной страной, служившей приманкой для смелых авантюристов древности, искавших там золота, черкесы рано стали известны цивилизованному миру. Задолго до нашей эры, заселяя берега Черного моря, греки уже нашли адыгский народ на тех же самых местах, и между другими названиями дали ему имя керкетов, принадлежавшее, вероятно, одному из тогдашних черкесских племен. Это-то имя и считается многими прародителем слова “черкесы”.

В языке адыгов остались ясные свидетельства о знакомстве их с многочисленными народами. Они помнят греков под именем гирке, или аллиг (эллин), и римлян — под именем рум. Хазары, турки, маджары, сарматы и какая-то русь оставили там свои имена; обломки этих народностей, заброшенные в чуждые для них черкесские горы, поныне отражаются в именах некоторых древних дворянских фамилий — каковы Шермат, Хазар,— и в названиях местностей — как, например, Маджар-Юрт,— развалины которых и ныне лежат на реке Куме.

Сношения с образованными народами древности, естественно, не могли не отразиться на быте и характере черкесского народа, и помимо исторических свидетельств в самой стране их остались многочисленные следы зачатков цивилизации и христианства. В горах сохранилось много развалин каменных церквей, крестообразная форма которых говорит о греческом происхождении.

Уединенно стоят некоторые из них на вершинах угрюмых скал, среди лесных недоступных дебрей, вдали от всякого жилья человеческого. Трудно разгадать, что влекло благочестивых строителей в эти пустынные и дикие места. Искали ли они там безопасности от ежечасно грозящих нападений, были ли то чуждые прелестей

человеческого мира смиренные поборники креста, среди невозмутимого уединения и подвижнической жизни искавшие созерцания великих дел Творца в величавой природе, открывавшейся в далеких горных перспективах.

Иные храмы, напротив, теснятся к людным торговым путям, с глубокой древности прорезывавшим черкесскую землю от Черного моря, через ущелья Кавказских гор, к верховьям Кумы и Кубани. При этих храмах обыкновенно встречаются и развалины каменных зданий, называемых черкесами вообще домами эллинов. Быть может, то были греческие монастырские подворья с устроенными при них караван-сараями, так как в те стародавние времена распространение христианства обыкновенно шло об руку с развитием торговли — и купец и священник, каждый по своему, служили общему делу истинной веры и цивилизации.

Примечательнейшим памятником христианской древности в Черкесии служат между прочим живописные развалины на правом берегу Подкумка, где еще недавно находили в земле церковную утварь, выкованную из серебра, а также большие железные кресты, какими обыкновенно украшают главы русских церквей. Предание помещает здесь древний город черкесской земли Бергусант — имя, значащее “собрание многих антов”, быть может, “собрание верующих”, “церковь антов”. Русские переделали это название в Бургустан, и носителем имени этого древнего города является ныне скромная казацкая станица.

Появление христианства в Черкесии восходит ко временам глубочайшей древности, к первым векам его. С особенной любовью народные предания останавливаются на Юстиниане Великом, как на распространителе истинной веры, и имя его поныне в таком уважении между адыгами, что стало символом клятвы.

С принятием черкесами христианства рассадником и проводником цивилизации между ними является греческое духовенство. Предание, облекшееся в форму песни, сохранило даже название места, где жил их первый шехник, епископ. Это лесистый курган, лежащий верстах в четырех за крепостью Нальчик. В этой песне поется:

“Шехник — наш защитник и воспитатель, Шехник — наш свет.
Воспитатель рассуждал о законе Божием с вершины
лесистого кургана.
И на лесистом кургане сковал Ему дом из жести, с дверями
из литого серебра, и там-то обитал светлый
Божий Дух.
И ангелы беседовали с мудрым старцем. Свет от бороды его
уподоблялся свету факела.
Он парит в воздухе, как земная птица, подымается под облака
и видит творящих беззакония.
Ребро его — не простая кость, но кость слоновая,
и благородный золотой крест сияет
на его груди”.

От священников и епископов ведут свое начало многие дворянские роды Черкесии, поныне хранящие о том память и с гордостью говорящие, что они происходят от шогеня (священника) гирге или от шогеня рум.

Под влиянием исторических обстоятельств христианство, правда, должно было скоро уступить место другим влияниям, но в горах в памяти народной еще живут некогда

бывшие предметом его почитания Ауз гирге, то есть греческий Иисус, и пророки Яллия (Илья) и Аймыс (Моисей). Поныне народ клянется именем божественной Матери Бога, Марии, и святым Георгием — покровителем соседней Иверии, поныне хранит обычаи, основывавшиеся на христианских праздниках и постах, удержал греческое деление годов и месяцев. Георгий Интериано, посетивший Черкесию уже в половине XVI века, не усомнился причислить ее население к христианам, хотя в то время черкесы были ими разве только по имени, сохранив от веры предков лишь несколько внешних обрядов.

Да и трудно было удержаться цивилизации и христианству в стране, скоро ставшей ареной постоянных воинственных столкновений, укрепивших в народе рядом с чувством независимости и свойственную ему первобытную грубость нравов.

Первый удар греческому влиянию в Черкесии нанесен был нашествием аваров. Предание говорит, что в VI веке аварский хан Байкан, опустошив многие земли и самый Аллиг, потребовал через своих послов подданства и от черкесов. Среди черкесских вождей того времени особенно был славен князь Лавристан, и под его влиянием адыгейские вожди ответили ханским послам гордым отказом. “Кто может лишить нас вольности? — сказали они.— Мы привыкли отнимать земли, а не свои уступать врагам. Так будет всегда, доколе есть война и мечи на свете”. Возникла ссора, и послы были убиты. Тогда Байкан с шестьюдесятью тысячами отборных латников вступил в землю адыгов и от берегов Черного моря до вершин Кубани опустошил ее огнем и мечом, разграбил селения, сжег поля, истребил жителей. Сам Лавристан, по сказаниям, погиб в этой борьбе, и могилу его указывают под горою Бештау. Бедный народ, облитый кровью, без хлеба и пристанища, лишенный лучших из своих вождей, искал спасения в горах, в пещерах, в дремучих лесах. Страна запустела, и там, где были селения и пашни, разросся дикий лес и бродили лишь дикие звери. Началась эпоха упадка адыгского народа.

Кровавое нашествие и грозный образ жестокого хана на белом коне неизгладимыми чертами залегли в народной памяти.

“Спаситель и помощник наш, могущественный Илья! — поется в одной песне.— Из огромных туч неотразимой дланью уничтожь коня Байканова, белизной подобного нетающим снегам горных хребтов наших”.

И поныне народ некоторые дороги, ведущие от берегов Черного моря через горные ущелья до реки Кубань, называет смертоносными Байкановыми путями. И ныне при виде красивой белой лошади говорят: “Байканов белый конь”.

Пораженному суеверным страхом воображению народа долго повсюду чудился этот грозный конь, и белый каменный бугор между крепостями Анапой и Сунджук-Кале, напоминающий в туманной дали фигуру лошади, в суеверных устах народа получил название Байканова коня.

Разбитый и униженный адыгский народ стал мало-помалу забывать задатки цивилизации и вышел на путь исключительного воинственного быта. На границах земли его вновь появляется какой-то Китай-хан, приходили сюда калмыки, хазары, татары, наконец славяне — и все отнимало из рук черкеса плуг и вкладывало меч и щит. Не миновал страны и “бич Божий, молот вселенной”, Аттила. В одной черкесской песне имя грозного завоевателя прямо так и упоминается с этими эпитетами. “Господь Бог помиловал и нас, и горы, и ущелья наши,— говорится в ней.— Бич небесный отступил от нас благополучно”, Нашествие Аттилы оставило не меньшие следы в народном воображении, чем и вторжение Байкана. Он помнит, что Аттила, дойдя до Шат-горы, внезапно повернул назад,

и с тех пор Шат-гора носит название Счастливой. Предания намекают, однако, что Аттила покорил страну и заставил сынов ее присоединиться к своему войску. В песнях говорится: "По большим горам, как блестящие звезды, стекаются к Аттиле воины наши, наносящие удары, подобные ударам грома... Отборная конница наша отправляется вслед за Аттилой с охотою; если же этого недостаточно, то приготовимся ехать и мы..."

Исторические обстоятельства неотразимым ходом своим изменили и самый характер адыгского народа. По преданиям, дошедшим от старинных времен, древние адыге одарены были благородной, возвышенной душою, большим умом и славились деятельностью и трудолюбием. "Трудолюбивый ант" вошел в пословицу среди окружающих народов. Но во времена грозных нашествий, среди переселений, побегов в горы, в скудные пустынные местности, где каждый действовал на свой страх и риск, общественные нравы черкесов пошатнулись. Вечно тревожимый, не знавший, будет ли он завтра пользоваться плодами сегодняшнего труда, народ впал в беспечность, в презрение к мирным занятиям, и в результате явилась бедность, доходящая до нищеты. Черкес довольствовался уже скудной пищей и неприветливым жилищем, в котором простое стекло составляло уже в наши времена величайшую роскошь.

Такой характер народный сказался и на общественном устройстве, сложившемся чрезвычайно оригинально, в котором независимость и произвол личности стояли выше общественной власти и даже общественных интересов. Адыгский народ имел князей, но в то же время он не терпел неограниченных властителей в своей земле, полагая, что - лучшее благо для человека есть дикая, необузданная воля; и она, действительно, только и смягчалась, что исконным для всех народов родовым бытом, основывавшемся на самой природе вещей и создавшем неограниченную власть старшего в семействе. Правда, была и еще общественная сила и связь — древний обычай. Во всей важных случаях дело решалось при участии всего народа: с общего согласия предпринимались походы, общим же голосом избирались вожди. Но привязанность к независимости ограничивала власть вождя даже посреди самой битвы — и дерзкая заносчивость вносила раздор в ряды воинственной дружины. Совершив же общее дело и возвратясь домой, всякий уже считал себя господином и владыкой в своей хижине. Князья имели в своих руках как бы исполнительную власть, повелевали вассалами, уорками, но они не имели собственности, и все принадлежало народу. Единственно, что делало князей не бесполезной и влиятельной силой в стране, это то, что по старине, по исконным обычаям, княжеское достоинство почиталось столь священным в народе, что всякий подданный был обязан жертвовать за князя всем своим имуществом и самой жизнью. "За кровь князя сам Бог каратель и мститель",— так гласит древняя истина.

И в то же время народ никогда не потерпел бы надменности со стороны князя; сильнейший и богатейший владелец жил в такой же хижине, как и самый простой уорк, и каждый подданный имел право всегда войти к нему и разделить его трапезу. Оригинальны и странны были имущественные отношения князя: он имел право взять у каждого все безо всякого вознаграждения, но, в свою очередь, он ни в чем не смел отказать любому подданному, которому вздумалось бы попросить хотя бы его шапку. Эти строгие обычаи могли бы при иных обстоятельствах стать залогом равенства и справедливости, но они извращались злоупотреблениями, которые вместе с обычаем родовой мести в последние века уже сильно разложили весь черкесский общественный быт.

Казалось бы, суровая страна, где каждый мог по своему произволу распорядиться с пришельцем, должна была впасть в полное уединение, изолироваться от других народов, но ее спасло симпатичнейшее явление всего восточного мира — гостеприимство. Для черкеса всякий путник, переступивший порог его сакли,— лицо священное.

“Благословение на дом твой,— говорит пришелец, входя.— Во имя славных дел твоих, джигит, требую гостеприимства, седла и бурки”. “Ты гость мой и, стало быть, властелин мой”,— отвечает хозяин. Он перед всем народом отвечал за безопасность чужеземца, который, вступая в саклю, снимал и отдавал хозяину оружие, показывая тем, что не нуждается в нем под его кровлей. Гостеприимство было единственной мирной чертой черкеса, пережившей века бедствий и политических переворотов.

Утратив свойства мирного быта, адыге взамен их, рядом с непреоборимым стремлением к независимости, успели развить в себе необыкновенную воинственность и стали грозою соседей. Строгое воспитание приучало их сносить и сильный зной и горный холод и безропотно испытывать суровые лишения. Умение владеть оружием стало главной обязанностью человека, и все, кому приходилось сталкиваться с черкесами, не могли не удивляться им. На лихом коне, в стальной кольчуге, нередко оборванный и грязный, но всегда щегольски вооруженный, ловкий и неутомимый, он покидал семью и пускался в набег, как на праздник. Все развивало в нем буйный дух наездничества. В дерзком удальстве, в опасностях, в самом презрении к жизни энергичный народ искал исхода для своих сил, готовых погрузиться в дремоту векового умственного застоя и неподвижности. Слава воинских дел спасла его, волнуя кровь юноши и возрождая юность в сердце старика. В народе вечно жил тот дух, который создал гордый Лавристанов ответ аварскому хану: “Не дадим дани, доколе останется у нас хоть один меч, доколе останется хоть один из нас в живых”.

Не смерти, но бесславной жизни боялся черкес и смело шел на врага. Зато останки погибших на поле битвы были священны для адыгского народа. Могилы предков, вообще, составляли предмет его почитания и забот.

На открытых, далеко отовсюду видных местах, чаще всего при устьях ущелий, хоронили черкесы отошедших в иной лучший мир своих героев, под грудами камней, под высокими курганами — хранителями стольких преданий, восходящих до глубокой древности. Века, проходившие над страной, украшали их роскошной растительностью. Одна ли могила, или их несколько — всегда на них разрастаются или непролазные рощи, перевитые диким виноградником, или плодовые деревья. Нередко побеги молодого леса скрывают за собою целые сотни древних могил, свидетельствующих о некогда густой населенности страны, над которыми высятся с незапамятных времен вековые кряжистые клены, дубы и ясени.

Иной, но не менее внушительный вид имеют многочисленные кладбища позднейшего происхождения, расположившиеся около воинственных аулов. Множество украшающих могилы надгробных флагов, обыкновенно белого, красного или голубого цвета, трепещущих на высоких шестах, напоминают собою фаланги рыцарей, вооруженных копьями с висящими на них разноцветными флюгерами. Но эти могильные копья, так очаровывающие издали глаз и придающие стране какой-то грустно-величавый характер, говорят вам о том, что здесь схоронены лучшие и самые храбрейшие люди Черкесии, погибшие в долгой, отчаянной борьбе с христианами, что они — свидетели пролитой крови и множества павших жертв газавата.

Жизненные идеалы черкесов, отразившиеся в поэзии, носят на себе отпечаток все той же дикой воинственности. Черкесы имели своих бардов, гекуоков, и обширный цикл сказаний и песен, созданных ими, сохраняет в памяти народной все выдающиеся моменты вековой его жизни. Большинство этих сказаний и песен воспевают героев (мартов), игравших в событиях первенствующую роль, на которых поэтому народ сосредоточил свою любовь, свои идеальные представления. Одно из этих сказаний, именно: о Баксане, сыне Даувове, переносит нас в седую старину.

В половине четвертого века в Кабарде, на речке Альтуде, теперь носящей имя героя сказания, жил некто князь Дауо, имевший восемь сыновей и одну дочь. Старший сын его, Баксан, был знаменитый нарт, наполнявший горы своей славой. И вот он был убит готфским царем вместе со всеми братьями и восьмьюдесятью знаменитейшими нартами. При известии об этом народ предался отчаянию: мужчины били себя в грудь, женщины рвали волосы на голове, восклицая: “Убиты, убиты Дауовы восемь сыновей! Увы! Дауовы восемь сыновей!” И с тех пор в Кабарде ведется обычай: весною, когда столетние чинары покрываются листвой, молодые девушки с распущенными волосами поют эти слова, составляя хороводы. Предание говорит, что сестра убитых Дауовых сыновей собрала их тела, предала честному погребению на берегах Этока, одного из притоков Подкумка, и над могилой Баксана воздвигла памятник. И еще недавно на высоком кургане стоял там древний камень, изображающий бюст молодого человека в шитой шапочке и в одежде, похожей по покрою на нынешний черкесский бешмет; на пьедестале, имеющем форму низкой колонки, выбиты: на лицевой стороне — греческая надпись и множество фигур, изображающих охоту и воинские игры пеших и конных людей; с правой стороны — колчан со стрелами; с левой — сабля с рукоятью на манер грузинской и лук в футляре. В надписи можно еще разобрать имя Баксана и год, показывающий, что памятник воздвигнут в четвертом столетии. Народ поныне называет его “Дауов сын, Баксан”, и поныне поет песню, сложенную по преданию самой героиней сказания.

“Геройство Баксана,— говорится в ней,— освещает антский народ своими доблестями.

Весь народ почитал его за благого духа. И когда началось сражение, когда удары блистали как молнии, его присутствие поселяло в антах уверенность в победе.

Но готфы не прекращают битвы. Весь антский народ пришел в отчаяние, потому что восемь пар волов привезли тело Баксана на родину.

Собрав греков, я предложила им сделать памятник. И хотя каменный образ ниже его, но сходство с ним уязвило мое сердце. Народ не покидает траура и, чтобы увековечить имя его, реку Альтуд назвал Баксаном”.

В 1849 году памятник этот, конечно, носящий на себе яркие следы всеразрушающего времени, перевезен в Пятигорск и поставлен на тамошнем бульваре. И ныне, лишенный дикой и величавой природы, окружавшей его, и духа легенды, витавшего над ним, он стоит забытый, не возбуждая даже праздного любопытства чуждого народа.

В сказании о сватовстве Лавристана мы встречаем другой постоянный элемент поэтических сказаний — любовь. Предание говорит, что когда герой аварской борьбы Лавристан задумал жениться на дочери одного из кабардинских князей, его невеста сказала ему: “Знаменитый князь Лавристан! Если ты хочешь взять меня в замужество, то позволь мне самой назначить за себя уасса (калым). Если ты его внесешь — я буду твоей женою, если же не пожелаешь выполнить мое предложение — не ищи и моего согласия: Лавристан согласился. Она сказала: “Сто человек индийского и дакского племени, сто одежд из светло-синего сукна, сто сирийских налокотников, сто кольчуг с золотыми гвоздиками — вот мой уасса”. И герой принял это безмерное условие, требовавшее многочисленных побед и подвигов, выполнил его и взял княжну в жены.

Но любовь не играет и в этом сказании первенствующей роли, она — только награда поблести. Черкесская женщина знала цену славных пел и их ставила условием своей любви; в ней также жил дух своеобразного рыцарства.

Мифическо-героическим колоритом оттеняются в черкесских преданиях и личности позднейших времен, уже исторически достоверные. Народ помнит и идеализирует подвиги Инала, история которого записана в известной турецкой книге Табори “О княжеском родословии”.

Предания говорят, что один из вавилонских князей, Ларун, вследствие гонений на родине переселился в Египет; там он умер, там же погибли его сыновья во время восстания коптов, и спасся один только родственник по имени Араб-хан, успевший отдаться под покровительство греческого императора. Внук этого Араб-хана, знаменитый Кес, уже является в Черкесии и оставляет здесь огромное имя тем, что он, чужеземец, не только добился княжеского звания, но и неограниченной власти почти над всей страной. Инал был прямым потомком славного Кеса. Своими подвигами он заслужил необыкновенную любовь в народе и, в свою очередь, сделался родоначальником кабардинских, темиргоевских и бесленеевских князей. Черкесы именуют его великим и мудрым, он назван был даже святым, и народ поныне, желая счастья, говорит: “Дай, Боже, Иналов день”. В Абхазии, по ту сторону гор, и теперь есть место, носящее название Иналовой могилы. Народ ревниво оберегает ее спокойствие: там не пасется скот, туда не заходит охотник; выстрел, нарушающий тишину священной могилы, давним обычаем возведен в преступление.

Таким же почетом окружают темиргоевцы имя Безруко-Болотокова, “князя из князей”, представителя народной доблести и мудрости. Его выдвинули и увековечили его имя войны с хазарами. Песни рассказывают о геройских битвах, о пленении брата его Алегико в далекий Азов, о взятии Азова самим отважным Болотоком и об освобождении им Алегико.

С этими именами мы наполовину уже в достоверной истории. В туманной неопределенности преданий мы различаем здесь точные события, записанные между прочим и русскими летописцами.

Славянские племена с первых дней своей исторической жизни в своем стремлении к южным большим морям естественно должны были прийти в соприкосновение с черкесскими племенами. Сношения эти прерывались все новыми и новыми волнами народов, проходивших по открытым степям южно-русским, и вновь возникали, как только в этих местах, хотя бы на время, появлялась возможность оседлой жизни — до новой волны. Возникавшая Москва и Кавказ представляли собой два постоянных крепких пункта, то сближавшихся, то вновь разделяемых. Этим прерывчатым характером и запечатлены сношения между ними.

Уже в русских летописях рассказываются походы великого князя Святослава, ходившего в союзе с хазарами на яссов и коссогов (нынешних абадзин, по Карамзину — осетин) и на чепсугов (шапсугов). Затем выступает на сцену борьба с черкесскими племенами Тмутаракани, по вернейшим предположениям — нынешнего Таманского полуострова. С этой борьбой, самым выдающимся эпизодом которой было единоборство Мстислава Удалого с Ридадей, связаны многочисленные предания и в адыгском народе. Там княжил в то время внук Иналов — Идар, славный покорением многих соседних народов. В войске его славился могучий великан, “многосчастливый” богатырь Ридадя. Когда князь Идар пошел войною на Тамтаракай (Тмутаракань) и тамтаракайцы вышли к нему навстречу, Ридадя, по обычаю тогдашних времен, предложил решить участь войны единоборством. Он стал просить у тмутараканского князя бойца и говорил ему: “Чтобы не терять с обеих сторон войска, не проливать напрасно крови и не разрывать дружбы, одолей меня и возьми все, что имею”. Князь тмутараканский согласился, но не стал искать единоборца в

войске, а пошел на вызов великана сам. Битва продолжалась несколько часов, и Ридадя пал. Так, по свидетельству историка адыгского народа, говорят об этом событии черкесские песни, совершенно согласные и со сказаниями русского летописца.

На Кубани живет и теперь предание, что Мстислав, изнемогая в борьбе, воскликнул: “Пресвятая Богородица, помоги мне! Если я одолею, то построю церковь во имя твое”. Неизвестно, была ли Мстиставом построена церковь, но при заселении черноморцами Тамани в 1792 году найдены были развалины древнего монастыря на горе, вдавшейся полукругом в Ахтанызовский лиман, а среди развалин — камень с древней надписью из времен Тмутараканского княжества. Камень этот, как говорят, был кем-то увезен и, быть может, ныне хранится в каком-нибудь музее. А набожные черноморцы из набранных в развалинах камней выстроили церковь в курене Ахтанызовском.

В истории русской не сохранилось известий о дальнейшей судьбе Тмутаракани, но адыгейские песни и сказания помнят еще о гибели ее. Они говорят, что спустя несколько лет после победы Мстислава адыгейцы собрали большое войско и пошли на Тамтаракай, чтобы отомстить за свое поражение. Они просили помощи у оссов, и те прислали им шесть тысяч отборных людей. Завязалась упорная война; много было кровопролитных сражений, гибли люди, жилища, имущества — и Тамтаракай был опустошен тогда в корень. С того времени в адыгском народе есть пословица: “Да постигнет тебя участь Тамтаракая”, или: “Будь ты Тамтаракаем”.

Нашествие монголов надолго прервало всякую возможность непосредственных сношений древней Руси с черкесской землей; на долю каждой из них досталось испытать напор и влияние воинственных орд. Но лишь только усиливавшаяся Русь свергла чуждое иго, возобновились и сношения ее с черкесской землей.

Во времена грозного царя жил в Кабарде знаменитый князь Темрюк, потомок Идара. Предприимчивый и славолюбивый, это был истинный рыцарственный представитель черкесского народа. Он никогда не имел палатки, спал под открытым небом на войлоке, под изголовье клал седло и питался конским мясом, сам жаря его на угольях. Народные барды сохранили для потомства прекрасную черту его характера, напоминающую русского витязя Святослава. “Князь Темрюк Идаров,— говорят они,— никогда не пользовался выгодами нечаянного нападения и всегда заранее объявлял войну, посылая сказать своим неприятелям: “Иду на вас!”

И вот, в то время когда кабардинским племенем управлял старший брат его князь Кемиргоко, Темрюк задумал восстановить древнюю славу адыгского народа, а себя прославить воинственными подвигами. Он воевал на берегах Волги и Дона, громил старинных врагов Кабарды калмыков и татар и, наконец, смело поднял оружие против сильного крымского хана, претендовавшего властвовать над Кабардой. В это-то время Темрюк и вступил в союз с Московским государством. Сам он и многие кабардинские князья дали тогда присягу в верности царю Ивану Васильевичу и обязались помогать ему в войнах с султаном и Крымом. Скоро Кемиргоко умер и, как один из представителей доблестнейших кабардинских вождей, был зарыт в землю на коне и в полном вооружении. Высокий курган между реками Чегем и Баксан и поныне указывает место его могилы. Темрюк остался один, и с тех пор дружба России с Кабардой стала еще теснее. Темрюк даже своих детей отправил на воспитание в Москву, а впоследствии, как известно, княжна Мария Темрюковна сделалась женою Ивана Васильевича.

К сожалению, исторические обстоятельства слагались неблагоприятно для союза между Московским царством и Кабардой. Недовольный этой дружбой, крымский хан Девлет-

Гирей вторгся в землю шапсугов, наголову разбил Темрюка на Кубани, затем повернул на самую Москву и, как известно, предал ее совершенному опустошению. Москва оказалась недостаточно сильной не только для того, чтобы защитить своих отдаленных союзников, но и обезопасить собственную столицу. Такая неудача, жестокие раны, полученные в последнем бою на Кубани, и потеря двух сыновей, плененных Девлет-Гиреем, не охладили, однако, дружеских чувств Темрюка к Москве, и скоро мы видим его пришедшим со своими войсками под Азов на помощь к московским воеводам. Царь весьма благодарил Темрюка за верность и щедро наградил кабардинцев, а для защиты их на будущее время заложена была тогда Терская крепость на Сунже, и царь, отдавая ее казакам, приказал им “беречи свою вотчину” кабардинскую. По смерти Темрюка внуки его старались сохранять те же отношения к Москве, и в царствование Федора Ивановича к титулу русских царей был присоединен уже титул Государя земли Кабардинской. Но скоро для России вновь настали тяжелые времена, и смуты междуцарствия, войны со Швецией и Польшей опять отвлекли ее внимание от далеких южных пределов. Кабарда со всей Черкесией не выстояла в непосильной борьбе за независимость и подпала под власть Крыма, из-под которой уже не могла освободиться вплоть по XVIII века, несмотря на неоднократные попытки. Но тяготение ее к России не прекращалось. Во времена Петра мы уже видим на русской службе одного из черкесских князей, Девлета (Александра) Бековича, заплатившего в Хиве своей кровью за преданность Русскому государству; а когда сам Петр появился под стенами Дербента, два кабардинские владельца — князь эль-Мурза Черкасский, младший брат Девлета, и Ассан-бек Кеметов — добровольно явились к государю со своими дружинами и приняли ближайшее участие в делах похода. С этих пор история отношений кабардинской и вообще черкесской земли к России становится только частью общей истории распространения русской власти на Кавказе. Кабардинцы и черкесы в ряде последовавших событий хотя и были нередко крепкими союзниками русской земли, однако же отношения их к ней стали радикально изменяться.

Дело в том, что последний век внес в жизнь Черкесии и Кабарды новый элемент — магометанство, отдавшее их под более или менее сильное влияние Турции и ставшее для страны источником неисчислимых бедствий. Вначале оно внесло рознь в самые черкесские племена. По преданию, первые приняли ислам шапсуги, построили мечети и стали молиться на юг. Натухайцы остались при прежней вере, продолжали поклоняться распятию и молились на восток. В самом конце прошлого века шапсуги в большом числе напали на натухайцев, собрали все кресты и сожгли их. Натухайцы отплатили им разрушением мечетей. Двадцать лет продолжалось междоусобие. “Вы,— говорили натухайцы шапсугам,— изменили закону отцов, и мы требуем, чтобы вы возвратились к нему”. Те и другие обратились с жалобами к анапскому паше, требуя удовлетворения, одни — за истребление крестов, другие — за разрушение мечетей. Напрасно паша старался склонить натухайцев к исламу; они были непреклонны, говоря, что “поклонение распятию старее магометанства”. Наконец, в начале нынешнего века анапский паша покорил натухайцев исламу — силою оружия.

С подобными перипетиями борьбы магометанство водворилось во всей Черкесии, не исключая Кабарды, и стало сильным орудием в руках турецкого духовенства, особенно после мира 1739 года, по которому Черкесия вошла в состав Турецкой империи. Правда, она принадлежала ей только номинально, а Кабарда и вовсе считалась от нее независимой и ко временам Ермолова даже состояла уже в русском подданстве, но враждебные отношения к России и Кабарды и Черкесии являлись уже неизбежным следствием религиозного фанатизма. Магометанская вера, отдалявшая черкесов от России, была тем опаснее, что соединялась с невежеством народа, по сокращенной географии которого Русское государство не простиралось далее Дона, а владения наместника Пророка, турецкого султана, чуть не обнимали собою весь мир.

Действительно, умственные силы черкесов, от природы далеко не бедные, были устремлены так исключительно на развитие военного дела, что не оставляли места никаким другим интересам жизни. Застой и неподвижность царили в понятиях черкесов, чему много способствовало то весьма характерное обстоятельство, что адыгский язык до самых последних времен не имел письменности, так что алфавит его создан уже в последние годы чисто научным путем одним из русских академиков.

Надо сказать, что нелегко передать все оттенки звуков черкесского языка посредством какого бы то ни было алфавита. И хотя находились в стране передовые личности, стремившиеся создать для народа письменность, но все попытки их оставались безуспешны.

Особенно любопытна попытка, уже в нашем веке, одного природного шапсуга, жившего в верховьях речки Богундыр среди населения в превосходной степени разбойнического.

Дворянин Хаджи-Нотаук Шеретлуков (так звали этого замечательного шапсуга) был старый человек, с обширной и белой, как крыло богундырского лебедя, бородою, с добрым и задумчивым взглядом и — что всего замечательнее и исключительнее среди буйного и страстного народа — с миролюбивыми идеями, за которые, как сам сознавался, не был он любим в своем околотке. В ранней молодости совершил он путешествие в Мекку со своим отцом, который, лишившись двух ребер и одного глаза на долголетнем промысле около русских дорог, удостоился скончаться под сенью колыбели ислама. Оставшись сиротою, молодой Хаджи-Нотаук поступил в медрессе (школу) и, проведя пять лет в книжном ученьи, наконец вернулся на родину. Война, слава, добыча не имели уже для него прелести. Оставив свою наследственную винтовку ржаветь в чехле, Хаджи зарылся в книги и сделался муллой к удивлению всех ближних и дальних уорков. “Клянусь, что во всю мою жизнь,— говорил впоследствии Нотаук,— я не выпустил против русских ни одного заряда и не похитил у них ни одного барашка”. Под старость Хаджи-Нотаук завел на Богундыре свое медрессе, но с прискорбием он увидел, что адыгские питомцы его, прочитывая нараспев арабские книги, не выносят из них ни одной мысли по той простой причине, что книги те писаны на чужом для них языке. Тогда сеятель просвещения в богундырском терновнике задумал перевести арабские книги на адыгский язык и стал составлять адыгский букварь. Но его долгий и упорный труд был прерван, все его результаты уничтожены одним странным событием. Вот как сам он рассказывает о нем.

“Долго ломал я свою грешную голову над сочинением букваря для моего родного языка, лучшие звуки которого, звуки песней и преданий богатырских, льются и исчезают по глухим лесам и ущельям, не попадая в сосуд книги. Не так ли гремучие ключи наших гор, не уловленные фонтаном и водоемом, льются и исчезают в камыше и тине прикубанских болот? Но я не ожидал, чтобы мой труд, приветливо улыбавшийся мне в замысле, был так тяжел и неподатлив в исполнении. Сознаюсь, что не раз я ворочался назад, пройдя уже большую половину пути, и искал новой дороги, трогал другие струны и искал других ключей к дверям сокровищницы знаков и начертаний для этих неуловимых, не осязаемых ухом отзвуков. В минуты отчаянного недоумения я молился. И потом мне чудилось, что мне пособляли и подсказывали и утреннее щебетанье ласточки, и вечерний шум старого дуба у порога моей уны (хижины), и ночное фырканье коня, увозящего наездника в набег. Мне уже оставалось уловить один только звук, на один только артачливый звук оставалось мне наложить бразды буквы, но здесь-то, на этом препятствии, я упал, чтобы больше не подняться. В один ненастный осенний вечер тоска меня гнела, тоска ума — это не то что сердечная кручина, эта жгучей и злей. Я уединился в свою уну, крепко запер за собою дверь и стал молиться. Буря врывалась в трубу очага и возмущала разложенный на

нем огонь. Я молился и плакал, вся душа выходила из меня в молитве, молился я до последнего остатка телесных сил и там же, на ветхом килиме молитвенном, заснул. И вот посетило меня видение грозное. Дух ли света, дух ли тьмы стал прямо передо мною и, вонзив в меня две молнии страшных очей, вещал громовым словом:

— Нотаук, дерзкий сын праха! Кто призвал тебя, кто подал тебе млат на скование цепей вольному языку вольного народа адыгов? Где твой смысл, о человек, возмечтавший уловить и удержать в тенетах клекот горного потока, свист стрелы, топот бранного скакуна? Ведай, Хаджи, что на твой труд нет благословения там, где твоя молитва и твой плач, в нынешний вечер, услышаны. Знай, что мрак морщин не падает на ясное чело народа, доколе не заключил он своих поколений в высокоминаретных городах, а мыслей и чувств, и песней, и сказаний своих — в многолиственных книгах. Есть на земле одна книга — это "книга книг", и довольно. Повелеваю тебе: встань и предай пламени нечистивые твои начертания и пеплом их посыпь осужденную твою голову, чтобы не быть преданным неугасающему пламени джехеннема"...

Я почувствовал толчок и вскочил, объятый ужасом. Холод и темнота могилы наполняли мою уну. Дверь ее была отворена, качалась на петлях и уныло скрипела... и мне чудились шаги, поспешно от нее удаляющиеся. Буря выла на крыше. На очаге ни искры. Дрожа всеми членами, я развел огонь, устроил костер и возложил на него мои дорогие свитки. Я приготовил к закланию моего Исхака, но не имел ни веры, ни твердости Ибрагима. Что за тревога, что за борьба бушевала в моей душе? То хотел я бежать вон, то порывался к очагу, чтобы спасти мое умственное сокровище, и еще было время. И между тем я оставался на одном месте, как придавленный невидимой рукою. Я уподоблялся безумцу, который из своих рук зажег собственный дом и не имел больше сил ни остановить пожара, ни оторвать глаз от потрясающего зрелища. Вот огонь уже коснулся, уже вкусил моей жертвы. В мое сердце вонзился раскаленный гвоздь; я упал на колени и вне себя вскрикнул: "Джехеннем мне, но только пощади, злая и добрая стихия, отпусти трудно рожденное детище моей мысли... Но буря, врываясь с грохотом, в широкую трубу очага, волновала пламя и ускоряла горение моего полночного жертвоприношения. Я долго оставался в одном и том же положении, рыдал и ломал себе руки"...

Так создалась легенда, возводившая для черкеса в непреложный закон невозможность уловить начертаниями его вольный язык. Но под нею скрывается более простой, реальный факт. Есть одно достоверное свидетельство, что не чудесный сон и не небесное повеление, а простое противодействие местного магометанского духовенства положило предел плодотворным стремлениям мудрого старца.

XXII. ЧЕРКЕССКИЕ НАБЕГИ

Русское казачество, приведенное историческим предопределением на берега Кубани, встретило здесь в черкесах необыкновенных противников, и границы двух земель скоро стали ареною, которая вся от края до края залилась кровью, усеялась костями.

На обширной закубанской равнине, простирающейся на четыреста верст в длину, был полный разгул для конных черкесов и для русских линейных казаков. Первые искали добычи, вторые оберегали линию. И те и другие отличались мужеством и, встретившись, не отступали и не просили пощады. Завязалась борьба упорная и грозная.

Черкес весь был поэтическое создание войны и вместе творец ее. И если справедливо, что по достоинству оружия безошибочно можно заключить о военном достоинстве народа, то всего справедливее это было по отношению к черкесам, потому что все восточные

наездники стояли настолько же ниже закубанских горцев в храбрости, насколько и в вооружении. Самому курду, так славному на Востоке удальством, закубанский горец не доверил бы даже почистить свою винтовку или шашку. Доброе оружие для храброго человека — кумир, которому приносит он в дар и серебро, и золото, и все, что мог бы только сложить к ногам любимейшего существа. Потомок Чингисхана, татарин, украшает жену запястьями и ожерельями; черкес покрывал блестящей оправой винтовку, а жене оставлял труд и нищету боевой жизни. Чтобы достать булатный клинок, он тревожил прах умерших, разрывал могилы крестовых рыцарей, сложивших свои кости и доспехи в его земле. Чтоб иметь добрую винтовку, он не жалел дочерей-красавиц — продавал их за море, туркам. И добытое такой ценой оружие становилось семейной святыней. Сберечь отцовское оружие считалось несравненно большей обязанностью, чем считается у нас сберечь знаменитое отцовское имя. “Смерть наездника в бою — плач в его дому, а потеря его оружия — плач в целом народе”,— говорит народная черкесская поговорка.

Несмотря на то что черкес с ног до головы обвешан оружием, оно пригонялось так, что одно не мешало другому, ничто не бренчало, не болталось... Его шашка, упрятанная вместе с рукояткой в сафьянные ножны, не издает ни малейшего звука; винтовка, скрытая в черном косматом нагалище, как молния в туче, не блеснет до тех пор, пока не грянет громом выстрела; его чувяк, мягкий и гибкий, как лапа тигра, ступает неслышно, и нет чуткого уха, которое издали могло бы услыхать шелест приближающегося горца: его конь, охлажденный ножом легчителя, не ржет на засаде; самый язык его, скудный гласными и созданный из односложий, не имеет звуков при сговоре на ночное нападение...

Все незатейливое походное хозяйство черкеса было при нем: на поясе висела жирница и отвертка, служившая вместе с тем и огнивом; кремень и трут помещались в боковом кармане черкески вместе с натруской для пороха; серные нитки и куски смолистого дерева для быстрого разведения огня находили приют в одном из газырей, освобожденном от пороха. Рукоять его плети и конец его шашки обматывались зеленой бумажной материей, напитанной воском, чтобы, скрутив ее, мгновенно сделать фитиль или длинную походную свечку.

Седло черкеса было легко, покойно и не портило лошадь даже тогда, когда по целым неделям оставалось на ее спине. Для побуждения коня черкесы вместо шпор употребляли тонкую, изящно сплетенную нагайку, на конце которой навязывалась плоская кожаная лопасть для того, чтобы при ударе не столько причинять лошади боль, сколько пугать ее.

Встречая часто неприятеля в засаде, спешенный, он возил еще с собою присошки, а за седлом — небольшой запас продовольствия и треногу, без которой ни один наездник не выезжал из дому.

Разборчивый вкус черкеса, не терпевший ничего тяжелого и неуклюжего, положил свою печать даже на такой простой вещи, как ружейная присошка. Это — два тонкие калиновые прута, обделанные по концам костью и связанные наверху ремешком. Место их — при ружейном чехле, к которому они пристегиваются очень просто и не мешают ни пешему, ни всаднику.

Будучи прирожденными наездниками, черкесы обращали особое внимание на развитие у себя коневодства. Черкесская порода лошадей, известная у нас под именем кабардинской, представляла благородную смесь арабской и персидской крови. Она отличалась необыкновенной легкостью в скачке, выносливостью, добронравием и смелостью; впрочем, последнее качество было не столько врожденное, сколько составляло результат

ее отличной выездки. Черкес в седле не спускал рукавов и не оставлял нагайки без дела ни на одну минуту, но зато, как скоро вынул ногу из стремени, он делался рабом и нянькой своего усталого скакуна. После арабов никто не школил лошадей так жестоко и вместе не ухаживал за ними с такой заботливостью и нежностью, как черкесы. У лучших рубак на Кавказе, шапсугов, развитием смелости в коне занимались столько же, как и развитием ловкости в самом наезднике. В числе других видов джигитовки там был такой, в котором конь приучался толкать грудью супротивного коня, чтобы сбить его вбок и доставить седоку профиль противника.

К особенностям черкесского содержания лошади надо отнести еще то, что конюшни их устраивались непременно темные. “Пусть лошадь привыкнет к темноте,— говорил черкес,— она, как кошка, должна видеть ночью лучше, чем днем, потому что человек видит лучше днем, нежели ночью”. И в быстрых ночных налетах, когда горец не отличал дня от ночи, это условие становилось для него необходимостью.

Страсть к набегам была у черкесов повсеместная, но желание добычи стояло при этом далеко не на первом плане; чаще увлекала их жажда известности, желание прославить свое имя каким-либо подвигом, чтобы стать героем былины, песни, предметом длинных вечерних рассказов у очага его бедной сакли.

В черкесской земле, действительно, существует ряд рассказов и легенд, отличающихся захватывающим поэтизированием кровавых приключений.

Таков, например, следующий рассказ из тех стародавних времен, когда в Азове сидел турецкий паша и все азовское побережье занято было турками.

“Молва о красоте черкешенок разносилась далеко, но между всеми черкесскими девушками, “как полная луна среди звезд”, сияла в ту пору прекрасная Гюль, а между наездниками “как молния сверкал” знаменитый Кунчук, весь “созданный из дерзости и удальства и готовый на хвосте черта переплыть через Азовское море”.

Гюль часто засматривалась на удалого Кунчука, Кунчук был влюблен в прелестную Гюль, и все ожидали дня их свадьбы. Однажды азовскому паше случилось быть в гостях за Кубанью. На одном празднике он увидал прекрасную Гюль и был поражен ее красотой.

— Чья она? — спросил паша.

— Невеста Кунчука,— ответили ему.

— Что стоит? — спросил опять паша.

Покупка черкешенок турецкими сановниками была в то время не в редкость. Но на этот раз все засмеялись, а паша, ухмыльнувшись в седую бороду, порешил во что бы то ни стало завладеть красавицей. Золото скоро открыло ему доступ к сердцу одного из друзей Кунчука, и тот, как Иуда, решился продать своего благодетеля.

Однажды, выбрав время, когда отца Гюли не было дома, он вошел в ее саклю и сказал:

— Кунчук требует скорейшего соединения с тобою; отец твой скряга и рад будет, если ты избавишь его от издержек на свадьбу. Решайся!

Гюль согласилась. В ту же ночь к терновой ограде дома, где жила красавица, подъехало десять всадников. Гюль доверчиво вышла к ним навстречу — и через минуту свадебный поезд уже мчался по степи. Сердце красавицы билось от радости. “Но не Кунчуковы то были посланные,— говорит легенда,— а ногаи, подкупленные пашой, и с ними был тот черкес, который утром приходил обмануть ее. Вместо объятий Кунчука Гюль очутилась за крепкими запорами азовского гарема.

Отважный Кунчук не долго обдумывал план кровавого мщения. Сто человек вызвались сопровождать его в Азов, обрекая огнем и мечом “гнездо разврата и бесчестия”. И тот, кто был виною несчастья красавицы, должен был стать орудием ее освобождения. Кунчук завел переговоры с черкесом, похитившим прекрасную Гюль, и на его вторичной измене основал весь успех дерзкого предприятия.

Черные тучи висели над Азовом; порою вырывались из них пламенные молнии, небо вспыхивало и снова темнело, гром грохотал, свирепела буря. Но город тихо засыпал, и только оклик часовых на стенах крепости перерывал ночное безмолвие. Наконец замолкла и стража.

Сверкнула молния и озарила человека, который спускался в ров по приставленной лестнице. Осторожно, как змея, пополз он к небольшой кучке панцирников, притаившихся на мокрой земле неподалеку от крепости. “Яд змеи,— говорит в этом месте черкрсская легенда,— в миллион крат менее гибелен и менее гнусен, нежели измена”. Подползший человек между тем дал условный сигнал, шепнул Кунчуку что-то на ухо, и сто броней заскользило по траве так тихо, что сама трава не слышала шелеста и звука кольчуг.

Взобраться по лестнице на стену, изрубить сонную стражу, разбить двери гарема и поджечь со всех сторон город было делом мгновения для отважной шайки. Прелестная Гюль очутилась в объятиях Кунчука, но смелому джигиту было недостаточно возвратить невесту, ему нужно было еще идти отомстить паше за поругание его чести, и черкес, изменивший по очереди тому и другому, указывал дорогу. Паша и Кунчук встретились.

— Ты не умел ценить мою дружбу,— с яростью вскричал Кунчук, выхватывая саблю,— узнай же мое мщение.

Но в это мгновение грянул выстрел, и вероломный черкес, сопровождавший Кунчука, упал мертвым.

— Мне прежде нужно было заплатить за дружбу этому изменнику,— сказал паша,— а теперь разочтемся с тобою!

Другой пистолет сверкнул в его руке, но сабля Кунчука, блеснувшая как молния, лишила его жизни прежде, чем он успел спустить курок. Гюль была отомщена.

Азов пылал. В подожженном городе кипела тревога. Партия Кунчука, захватив невесту, пленниц гарема и богатую добычу, спустилась по лестницам из крепости и скрылась в степи. Один Кунчук долго еще стоял на кургане и любовался делом рук своих, смотря на гибель ненавистного ему Азова.

Волны пламени, гонимые порывами ветра, разбегались шире и шире по городу; они охватывали строение за строением, вились и исчезали в клубах черного дыма. Взрывы пороховых погребов потрясали землю и взбрасывали под пылавшее заревом небо вместе с

грудой камней сотни истерзанных человеческих трупов. Но вот уже догорают последние строения... Кунчук повернул коня и быстрее вихря помчался в степь, куда ушла его удалая шайка.

Достигнув берегов Кубани, партия расположилась на отдых. Наездники, стреножив лошадей, разместились вокруг бивуачных огней, а в стороне разбиты были два шатра: один для красавицы Поль, другой — для Кунчука. Весело и шумно пировала шайка, праздную удачный набег, и никто не думал принять мер предосторожности. Только один седой бывалый наездник, прозванный Волком, угрюмо посматривал на своих товарищей.

— Мы разорили,— ворчал он,— целый турецкий город, и теперь надо бы не пировать, а скорее убираться восвояси, иначе к утру погоня будет у нас на хвосту.

Но его никто не слушал.

Наступило утро, а шайка, утомленная набегом и ночным пиршеством, еще спокойно спала. Только старый Волк один бодрствовал на высоком кургане. И вдруг ему что-то почудилось; он весь обратился в зрение, но лес и густой предрассветный туман мешали видеть самые близкие предметы. Тогда, припав ухом к земле, он ясно расслышал топот скачущей конницы; и едва успел он крикнуть: “Погоня!”, едва успел сбежать с крутого ската холма, как неприятель нагрянул на лагерь...

При первой тревоге Кунчук отправил невесту и пленниц на переправу, но было уже поздно — переправа была занята неприятелем. Турки, пользуясь громадным превосходством сил, напали с ожесточением; черкесы, перерезав своих лошадей и сделав из них завал, защищались отчаянно, но ряды их быстро редели. Кунчук, не видя спасения, уговаривал прекрасную Гюль отдаться в руки врагов, чтобы спасти свою жизнь, но Гюль не соглашалась. Тогда Кунчук, полный отваги и отчаяния, поднял ее одной рукой, в то время как в другой засверкала шашка, и бросился сквозь ряды врагов к Кубани. Вот уже берег, но он высок, а внизу кипят бурные волны; позади — мечи неистовых турок... Смерть или плен! — и Кунчук с разбега бросился с обрыва. Волны с шумом расступились и, бурно пенясь и клокоча, безучастно стремились вперед и вперед. Крутой мыс, виднеющийся верстах в пяти с восточной батареи Павловского поста, поныне называется Кунчуковым спуском.

Рассказы о смелых подвигах, подобных Кунчукову, воспламеняли воображение горца; прекрасные черкешенки оказывали удальцам на праздниках явное предпочтение, а это такая награда, в ожидании которой сердце наездника спокойно и ровно билось под градом и свистом вражеских пуль. Столько же по собственному выбору, сколько по указанию стариков, царица черкесского пира без внимания проходила мимо блистающих красотою и галунами юношей и подавала руку оборванному, затертому в толпе хеджрету, чтобы составить с ним звено в грациозной цепи вольного, как сам черкесский народ, танца, ушюкурая.

В преданиях черкесской вольности ярко отразились эти вековые обычаи, по которым любовь была наградой доблести. На том же пороге сакли, где рассказы о подвигах призывали черкесскую молодежь к соревнованию в них, можно было услышать легенды и о том, какой ценой покупал удалой джигит счастье обладать рукою и сердцем любимой красавицы.

“Давным-давно,— рассказывает одна из этих легенд, очевидно, позднейшего происхождения,— давным-давно, когда урусы только что ставили Кизляр, жил в горах,

среди непроходимых лесов, кабардинский князь по имени Джан-Клыч Улудай. Богатырь был князь — уносил с чужого двора быка на плечах, а идет по лесу — дубы перед ним, как тростник, преклоняются. Однажды вражеский аул отказался заплатить ему дань, так князь и воевать не стал, а свалил гору и задавил непокорных. Однако же и он частенько задумывался и хмурил брови, как две грозовые тучи.

Кручинится князь, что нет ему равного, нет достойного, кого бы можно было назвать женихом его единственной дочери, а дочь такая красавица, которая была бы жемчужиной и среди райских гурий.

— Объявите всему миру, от Дербента до Анапы,— сказал наконец князь своим узденям,— что лишь тот назовется моим зятем, кто совершит такое дело, которого в горах еще никто не совершал.

Прошел месяц, другой, и вот на двор к Джан-Клычу прискакал витязь, весь закованный в броню. По обычаю уздени князя встретили гостя, приняли от него лошадь, взяли оружие и ввели в кунакскую.

— Селям Алейкюм! (Благословение Господне над тобою!) — проговорил гость, наклонив голову и приложив руку к сердцу.

— Алейкюм Селям! (Да будет благословение и над тобою!) — ответил гордый хозяин, не вставая с места.

— Я Джембулат,— объявил приезжий.

— Добро пожаловать! Имя знакомое... слыхал об удальстве, садись.

— Целому миру известно,— начал опять гость,— какого жениха ты хочешь для дочери. Ты знал моего отца? От Дербента до Анапы не было человека храбрее, сильнее и выше его. Когда, бывало, он поднимался во весь рост, то луна задевала за макушку его головы.

— Правда,— ответил Джан-Клыч,— велик был твой отец. Сам видел, и старики говорят, что горы ему были по плечи. Но когда мой отец выпрямлялся — твой проходил между его ногами...

— Пожалуй,— перебил его гость,— не будем считаться отцами, скажу лучше о себе. Собрав пять тысяч панцирников, скакал я с ними до самого Дона, разграбил русские села и отогнал пять тысяч коней. Они там, в долине; возьми их в калым за дочь. Я сделал то, чего еще никто не сделал на свете от Дербента до Анапы.

— Ты сделал славное дело,— ответил ему князь.— Но Кунчук сделал больше тебя: со ста панцирниками он ворвался в Азов, убил пашу, сжег город, освободил свою невесту и ускакал невредим. Будь моим гостем, но мужем моей дочери не будешь.

На следующий день явился новый гость и претендент.

— Переплыл я через Терек один, без товарищей,— начал приезжий,— ночью прокрался мимо караульных в станицу, переколол сонных двадцать человек, отрезал у них правые руки, зажег станицу, вышел никем не примеченный в общей суматохе, а тебе принес двадцать рук: вот они — перечти! Я сделал то, чего еще никто не сделал; отдай мне свою дочь.

— Видел я пожар станицы,— ответил Джан-Клыч,— и слышал, что ты это сделал, но хевсур Аната-Швили сделал больше тебя. Из мести за смерть своего отца он днем пришел в Кистинский аул в дом старшины, окруженного семейством. На вопрос, зачем явился, Аната ответил: “За твоей головой!” Старшина захохотал, но Аната одним взмахом кинжала снял с него голову, схватил ее, пробился к выходу из сакли, прошел весь аул сквозь толпу кистинов, поражая насмерть всех встречных, убил тридцать человек, скрылся в горы и, весь израненный, истек кровью на пороге родной своей сакли, принеся домой голову убийцы отца своего. Будь моим гостем, но мужем моей дочери ни будешь.

Много являлось молодых князей рассказывать свои подвиги Джан-Клычу, но не было между ними ни одного, который был бы достоин руки его дочери.

Однажды, когда Джан-Клыч отпустил всех своих узденей и нукеров на хищничество за Терек и только сам один оставался в доме, дверь в кунакскую отворилась, и Джан-Клыч, обернувшись, увидел на пороге статного кабардинца.

— Добро пожаловать. Что нужно? — спросил он незнакомца.

— Пришел за твоей дочерью,— ответил тот.

— Ого, какой молодец! А знаешь ли, что сотни славнейших удальцов всего света напрасно домогались этой чести, и никто не мог получить ее?

— Знаю, и смеюсь над ними. Я получу то, за чем пришел.

— Что же ты сделал такое, что хочешь быть счастливее сотни твоих предшественников?

— Пока ничего, а сделаю.

— Когда сделаешь, тогда и приходи.

— Увидишь, что сделаю. Но прежде ты скажи: сам-то ты храбр ли, силен ли?

— Слава Аллаху! — ответил князь с достоинством.— В нашей фамилии еще не было труса, и имени Улудая боятся от Дербента до Анапы... А силен ли я? Вот дедовские панцири: подними, если можешь... Я ношу их на себе.

— Да, ты храбр и силен. А скажи, ни тебя, ни предков твоих еще никто не побеждал?

— И не будет такого счастливца.

— Правда ли? — и вдруг незнакомец вскочил и, выхватив кинжал, приставил его к груди Улудая.

— Слушай,— сказал он ему,— сопротивление напрасно, ты один, а у меня — посмотри на потолок — двенадцать нукеров целят в тебя.

Взглянул Улудай вверх и видит: двенадцать ружейных дул направлены в него с крыши сакли.

— Я могу сделать то,— продолжал незнакомец,— чего еще никто никогда не сделал на свете: могу убить одного из Улудаев. Хочешь, сделаю?

— Нет, не хочу.

— Но ты согласен теперь, что могу сделать то, чего еще никто не сделал?

— Да, согласен,— ответил Джан-Клыч.

И прекрасная княжна Шекюр-Ханум сделалась женою смелого и ловкого юноши.

Отважен и дерзок был черкес в набеге, но он умел смело и прямо посмотреть и в открытые очи смерти. Набег обещал торжество и славу, но он же грозил гибелью. И нет ничего поразительнее той гордой отваги, с которой черкес умирал. Предания не оставляют без внимания и этой мощной черты черкесского наездничества.

Раз партия предприняла наезд в позднюю осеннюю пору; долго рыскала она в степях между Кубанью и Доном и, покрытая кровью и пылью, уже возвращалась с добычей на родину, оглашая пустыню радостными песнями, как вдруг наступила зима, зашумел буран, покрывший страшным мраком снеговую пустыню. Небо и земля слились в один непроглядный вращающийся хаос, в котором живое существо теряет сознание места и времени. Застигнутые врасплох, без пищи, без теплого платья, в легких чувяках, черкесы очутились в безвыходном положении. И когда большая половина людей уже погибла, остальные, числом до сорока, слезли с коней и, равнодушно усевшись в кружок, запели похоронную песню, сложенную ими самими в свой страшный, предсмертный час. В ней они обращались к ветру и снегу — к стихиям, грозившим им гибелью, передавали им свои страдания и свою твердость пред смертью. Нельзя не остановиться над этим в высшей степени оригинальным явлением, над этой песней, в которой, под завесой скромности, пробивалось честолюбивое желание передать свои имена потомству,— и это в тот страшный момент, когда многие из певцов не надеялись дожить до конца слагаемой ими песни. И песня не погибла в грозном завывании пустынного ветра: семь человек спаслись и вместе с печальной вестью о гибели товарищей принесли ее на родину. Один из них, Шебане-Лаше, дожил до наших дней. “Это был,— рассказывает о нем Султан хан-Гирей,— высокий худощавый старик. Мы, дети, бывало, украдкой смотрим на глубокие морщины его чела и потом, с каким-то неизъяснимым чувством, поем песню о страдальческой кончине наездников, хотя старшему из нас было тогда не больше шести лет”.

Так, из поколения в поколение передавались сказания, а вместе с ними и жажда набегов.

“Красавицы гор,— говорится в одной песне,— на порогах саклей за рукоделием поют про подвиги храбрых. На крутых берегах кипучей Лабы питомцы брани вьют арканы, а Темир-Казак с небес в ясную ночь указывает им сакли врагов. И вот, не на ладьях, а грудью бурных коней рассекают они шумные воды Кубани и пустыни безбрежных степей пролетают падучей звездою. Вот перед ними и древний Дон плещет и катит седые волны, над волнами стелется туман, во мглистой выси коршун чернеет, да робкие лани бродят по берегу...”

С появлением русских по всему берегу Кубани возникла перед черкесами стена казацких поселений, прикубанские степи закрылись для них, и Дон очутился в недосягаемой дали. Тогда все, что веками питало дух черкесского народа, вся его вековая воинственная опытность и предприимчивость, сила и дерзость устремились на мешавшее им развернуться Прикубанье, ставшее с тех пор оплотом русской границы и вместе с тем кровавой ареной бесчисленных столкновений.

Но оригинальные условия жизни создают и оригинальные явления, и ко временам Ермолова черкесские набеги на Кубань отлились в весьма своеобразные формы. Нападения резко разграничились на два рода. Черкесы переходили Кубань или открыто, большими шумными конными толпами, или перебирались через нее скрытными воровскими партиями. На Верхней Кубани эти мелкие партии всегда появлялись конными; в низовьях реки, в последнем участке кордонной линии, там, где необозримые плавни, покрытые озерами и длинными лентами вод, остающихся после разливов Кубани, широко раздвигают звенья кордонной цепи и пролегают мертвыми между ними пространствами; где прямые сообщения между пикетами, батареями и постами загромождены бесчисленными препятствиями и возможны иногда на одних только легких долбленых челнах; где самая местность не много представляет неприятелю удобств для открытых наездов, так действовали пешие хищнические шайки психадзе, которые не без основания слыли у черноморских казаков более опасными, чем сильные полчища хеджретов.

“Психадзе,— говорит Попка,— тихо просачиваются сквозь кордонную плотину в незаметные скважины, которые при всем старании, при всех хлопотах не могут быть прочно забиты; а хеджреты переливаются через верх волнами внезапных и шумных приливов, для отвращения которых недостаточно одного возвышения или упрочения плотины. Психадзе по-русски значит “стая водяных псов” — так называются у самих горцев пешие неотвязные и надоедливые хищники, достигающие добычи украдкой, ползком, рядом мученических засад; больше шакалы, чем львы набегов. Хеджрет — это открытый, доброконный, иногда закованный в кольчугу наездник; это лев набега. Первый образ хищничества свойствен простым по происхождению и бедным по состоянию людям, а последний — уоркам и людям достаточным. Когда горец выехал из своего аула на такое расстояние, далее которого не отходят от жилья куры, выехал, разумеется, не с одними голыми руками, а с зарядом в ружье и с десятью другими в газырях, с куском сухого сыра в сумке и с арканом в тороке, он — хеджрет. Преимущественно же и существенно принадлежит это название буйным бездомовникам, которые выросли в круглом сиротстве и неимуществе, или которые, накликав на себя гонение в своих обществах, бежали с родины на чужбину и там, по неимению недвижимой собственности и собственного тягла, промышляют себе хлеб насущный кинжалом и винтовкой. Эти люди, по выражению одного высокостепенного бжедугского эфендия, свинцом засевают, подковой носят, шашкой жнут.

Хеджреты принадлежали к разряду людей, для которых жизнь копейка, а голова — наживное дело. Они во всякое время готовы были на предприятия самые дерзкие, на похождения самые отважные. По одежде — они последние бедняки, по оружию — первые богачи. Дорогой оправой винтовки и лохмотьями черкески одинаково тщеславятся. Кожа с убитого хеджрета, говорят горцы, ни на что не годится, но когти этого зверя дорого стоят.

За Кубанью хеджреты то же, что за Тереком абреки. Хеджрет (от арабского “хеджра” — бегство) значит: беглец, переселенец. Это чуждое название горцы благосклонно приняли и водворили в свой язык в честь хеджры, или бегства основателя ислама из Мекки в Медину.

Набеги на линию производились круглый год, и лишь когда по Кубани шел лед, русские станицы могли считать себя в безопасности. В полую воду черкесы переправлялись на бурдюках; пешие подвязывали их на спину или под мышки, конные — под передние лопатки лошадей. У пеших укладывались в бурдюки, кроме платья и пищи, кинжал,

пистолет и патроны; а конные переправлялись в полном вооружении, имея ружье на изготовке, а боевые патроны заткнутыми вокруг папах, надетых на головы.

Пустившись раз на промысел, хеджреты уже не оглядывались назад и никогда не сдавались в плен, а бились до последней возможности.

В больших массах на открытых равнинах черкесская конница любила действовать холодным оружием, предпочитала всему удар прямо в шашки, но русским пришлось испытать, что в оборонительной войне у себя на пороге, она отлично умела пользоваться местностью, спешиваясь и осыпая нападающий отряд метким огнем из-за деревьев и камней. В лесах и в мрачных ущельях, при малейшей оплошности с русской стороны, черкесы являлись как из земли и пешие бросались в кинжалы и шашки, но едва отряд выходил на поляну, они мгновенно исчезали. "Такая уже у них удача,— говорили казаки.— вырастают не сеяные и пропадают не кошеные".

Так слагалась боевая жизнь русского прикубанского края. Перед ним был сильный, дерзкий враг, и только непоколебимому русскому духу под силу было сломить железное упорство этих врагов, обладавших рядом с наивностью детей природы и мужеством львов.

XXIII. КАБАРДИНСКИЕ ДЕЛА

К двадцатым годам нашего века Кабарда заняла по отношению к России весьма странное положение. Раскинутая на предгорных равнинах, сливающихся с южнорусскими степями, не имевшая крепких рубежей, как Закубанье, Чечня и Дагестан, страна эта, открытая и доступная, должна была прежде других черкесских земель признать над собою русское владычество, подготовленная к тому вековой историей дружеских сношений. Но власть над нею Крыма и магометанство сильно пошатнули вековую дружбу. И вот, Кабарда давно уже считалась в подданстве России, а между тем вес, что можно было сказать о враждебности черкесов и их набегах на русскую сторону, в большей или в меньшей степени относилось и к Кабарде.

Русские власти должны были употреблять всевозможные усилия, чтобы сдерживать мятежные порывы кабардинцев. Усмирять их ходили Медем, Якоби, Потемкин, Глазенап и, наконец, Булгаков. И, вероятно, борьба приняла бы в конце концов очень острый характер, тем более что в кабардинцах русские нашли весьма серьезных противников, с которыми надо было считаться. Влияние их вообще на Северном Кавказе было огромно и выражалось ясно в рабском подражании окружающих народов их одежде, вооружению, нравам и обычаям. Ингуши, осетины, чеченцы отправляли своих детей в Кабарду учиться приличиям и этикету, и фраза: "Он одет", или "Он ездит, как кабардинец",— звучала величайшей похвалой в устах соседнего горца. Благородный тип кабардинца, изящество его манер, искусство носить оружие, своеобразное умение держать себя в обществе действительно поразительны, и уже по одному наружному виду можно отличить кабардинца. Его военные качества были не менее блестящими и обещали упорное сопротивление Но тут на помощь русским явилась губительная сила природы. Долголетняя чума обезлюдила почти совершенно Малую Кабарду и ослабила Большую. Тогда кабардинцы наружно покорились, но они не упускали ни одного случая наносить вред русским, и только изменили систему враждебных действий. Вместо поголовных восстаний они ввели в обычае нападения мелкими хищническими партиями, и это зло, наносимое ими в одиночку, еще тяжелее отзывалось на прилинейном русском населении. Гуманное управление Дельпоццо, сменившего Булгакова, привело при данных обстоятельствах только к тому, что дерзость кабардинцев начала переходить всякие границы. В таком положении дел застало Кабарду назначение на Кавказ Ермолова.

Ермолов знал, что его ожидает там. Проницательный ум нового главнокомандующего видел скрытые пружины совершающихся событий, и в его записках имеются на этот счет замечательные строки. “Правительство,— говорится в них,— допустило водвориться в Кабарде мусульманской вере,— и явились озлобленные против нас священнослужители. Порта с намерением подсылала их. Но ни тайные подарки, ни обещания, ни самая вера, потакавшая разврату, снисходившая ко всем порочным наклонностям, долго не могли поколебать кабардинцев, сделавших привычку к русским, в их дружеском расположении. Но слишком равнодушное ко всем сим переменам, начальство тогда только предприняло противиться оным, когда меры насилия сделались необходимы и убеждению не давал уже места фанатизм. Люди, прежде желавшие нам добра, охладели, неблагонамеренные сделались совершенными злодеями. Веру и учреждения свои решились все защищать единодушно. Корыстолюбивые муллы приняли на себя разбирательство дел, все подпало их власти — и прежние суды уничтожались. Князья и лучшие фамилии потеряли всякое влияние, лишились всякого уважения в народе, и мы не могли иметь никакой партии в пользу нашу. Молодые люди знатнейшего происхождения вдались в грабежи и разбои, и между ними отличался тот, кто более наносил вреда русским, нападая на безоружных поселян Кавказской линии”.

Политика требовала, однако, чтобы суровым мерам предшествовали меры кротости и убеждения, хотя бы для того, чтобы отклонить от себя, в глазах самих кабардинцев, упрек в возбуждении вражды и беспричинном пролитии крови. И вот, когда Ермолов, проезжая в Тифлис, остановился в Георгиевске, и некоторые из кабардинских князей, частью по доброй воле, а частью и по вызову, выехали к нему навстречу, он принял их приветливо, долго говорил с ними о положении Кабарды и советовал удерживать подвластных им узденей от разбоев, которые могут навлечь на них жестокое наказание. “Я знал,— говорит Ермолов,— что они все обещают и ничего не исполнят, но не мог я приступить к мерам смирения их, ибо еще не известно мне было, какие ожидают меня занятия”.

Тем не менее, выезжая из Георгиевска, Ермолов приказал взять от Кабарды аманатов и предупредить, что за всякий разбой или грабеж на линии аманаты будут расплачиваться своими головами. “Я столько же мало уважаю их приязнь,— писал он по этому случаю Дельпоццо,— сколько боюсь иметь их неприятелями”.

С другой стороны, Ермолов не мог не обратить внимания также на распущенность донских полков, содержавших передовые посты, нередко дозволившие кабардинцам разбойничать в русской земле совершенно безнаказанно, и воспользовался первым же случаем показать, что он предъявит иные требования и от кордонной стражи.

Случай этот был в ночь с девятого на десятое октября того же 1816 года. В тот самый день, когда Ермолов въезжал в Тифлис, человек пятнадцать кабардинцев напали на мельницу, стоявшую невдалеке от станицы Прохладной. Трое казаков, спавших в присенцах, были изрублены; казак и казачка, случайно заночевавшие на мельнице с возами муки, привезенной на помол, взяты в плен; спаслась одна старуха, которая спряталась под грудами опорожненных мешков. На мельнице грохотали ружейные выстрелы, вопли и крики будили ночное безмолвие... А в полуверсте отсюда стоял казачий пост и находилась почтовая станция, при которой была также конвойная команда, но ни с той, ни с другой стороны не было подано помощи. Трудно предположить, чтобы выстрелы не были там слышны: вернее, что казаки или спали, или же, не зная числа неприятеля, не отважились на битву. Кабардинцы были уже далеко, когда спрятавшаяся женщина с воплем прибежала на пост. Казаки поскакали к мельнице, но, конечно, не нашли там ничего, и только три изрубленных тела свидетельствовали о недавнем присутствии здесь кабардинцев.

Ермолов отдал обоих постовых начальников под суд.

Случай на мельнице, само собою разумеется, не был чем-нибудь исключительным; напротив, подобные происшествия были постоянны, приучая и население и стражу не придавать им особого значения и хладнокровно смотреть в вечно открытые для них глаза опасности и смерти. Некоторые из более мелких случаев не доходили даже совсем до сведения властей, так как население выносило всю тяжесть их на своих плечах безропотно; донесения о многих, нужно думать, истреблены временем или погребены в архивах. И тем не менее, в дошедших до нас официальных данных остались еще яркие следы вечной тревоги и напряженной борьбы, среди которых жило порубежное с Кабардой русское население.

Летом 1817 года Ермолову было донесено о следующем нападении кабардинцев, представившем ему новый случай дать пример строгости и определенно потребовать от кордонной стражи не формального отбытия службы, а деятельного охранения границы с отмщением за каждое нарушение ее неприкосновенности.

Посланный с Беломечетского поста утренний разъезд наткнулся на свежую сакму от четырех проехавших всадников. Круглые подковы, резко отпечатавшиеся на росистой траве, еще не обсушенной восходящим солнцем, показывали, что то были кабардинцы. Разъезд дал знать на пост, и одиннадцать казаков, с хорунжим Карповым во главе, поскакали по этим следам. Казаки переехали Малку, и скоро увидели в соседней балке четырех стреноженных лошадей под черкесскими седлами. Но едва они обнаружили намерение захватить их, как из балки выскочили четыре кабардинца и стали поспешно садиться на лошадей. Сбросить треноги, оправиться в седлах и выхватить из чехлов винтовки — было для них делом минуты. Грянул залп — и казак, скакавший впереди, грузно упал с лошади, убитый наповал. Расскакавшиеся казаки тем не менее ударили в пики и двоих кабардинцев ранили. Тогда те пустили коней во все повода: раненые скакали впереди, здоровые, отстреливаясь на скаку, прикрывали их, и все успели уйти за Баксан. Казаки дальше не пошли и воротились на пост с перекинутым через седло телом убитого товарища.

Ермолов был крайне недоволен этим делом; он находил действия хорунжего Карпова слабыми и нерешительными.

Здесь нельзя было жаловаться на усталость лошадей и невозможность настигнуть кабардинцев; казаки были к ним так близко, что кололи их пиками, а между тем, в конце концов, четыре хищника отбились от пятнадцати казаков, не оставив в их руках ни одного человека. Подобные случаи, конечно, могли только возвышать дух неприятеля.

Но переделать годами сложившийся порядок вещей сразу было невозможно, и дела по-прежнему шли своим чередом. Случай за случаем приносили пограничному населению новое горе и новые тревоги. Так, седьмого декабря 1817 же года, когда солнце спускалось уже за горизонт, восемь донских казаков возвращались с дневного пикета. Дело происходило около Махина кургана, в десяти верстах от Кисловодска. Казаки ехали толпой, врасплох, с брошенными поводьями, ружья в чехлах... Вдруг из-за кургана грянул залп; один казак упал убитым, двое раненых пошатнулись в седле, остальные поскакали назад. Раненые скоро также свалились и, к счастью, имели еще силы заползти и спрятаться в придорожных кустах; еще одна горячая лошадь сбросила седока. И кабардинцы, поймав четырех лошадей и обобрав убитого, спокойно и безнаказанно скрылись.

Минуло лишь несколько дней, и происшествие в Екатериноградской станице вновь взволновало население, Несколько казаков Волжского полка ловили рыбу на Тереке, при устьях Малки. Было туманное утро, рыба ловилась плохо, и отставной казак Горшенев предложил товарищам переехать на ту сторону реки. Никто из казаков, однако, не решился отправиться с ним, и даже его самого уговаривали не ехать. Упрямый старик сел в челнок один, и скоро был уже на другом берегу. Но едва он стал привязывать лодку, как вдруг из кустов выскочили семь кабардинцев — и Горшенев был уведен в плен на глазах казаков, имевших возможность только открыть бесполезный огонь через речку.

Погоревали в станице о старике. А вечером — новая тревога... Кабардинцы схватили тринадцатилетнего казачонка у самых станичных огородов, на водопое, и, прежде чем на отчаянный крик его сбежались казаки, кабардинцы были уже за Тереком.

Наступивший новый 1818 год принес новые тревоги. Шестого января из селения Прохладного ехал фейерверкер Антонов с пятью артиллерийскими солдатами на четырех пароконных санях; они везли лес, заготовленный для артиллерии; два казака верхами конвоировали их. Оставалось уже версты три-четыре до Солдатской, когда внезапно напали на них шестеро кабардинцев. И хотя русских было больше, однако же кабардинцам удалось отбить трех лошадей. Происшествие это глубоко огорчило Ермолова. “Случай сей,— замечает он,— открывает трусость как казаков, так и фейерверкера с его товарищами, ибо восемь человек не могли отразить хищников, которых было всего шестеро”.

Двенадцатого апреля того же года семеро кабардинцев опять напали на трех казаков, ехавших в телеге из Павлодольской станицы за сеном. Один казак, схватив ружье, соскочил с телеги, прицелился — и под одним из хищников лошадь упала убитой. Но выстрел испугал лошадей, бывших в запряжке, они начали бить и бешено унеслись с двумя казаками в телеге. Кабардинцы нанесли оставшемуся семь ран шашками и потом долго гнались за телегой...

Так в вечной тревоге и опасности нападения шла жизнь на границах Кабарды. Дерзко и безнаказанно, ночью и среди белого дня совершали кабардинцы свои наезды, и население было бессильно предохранить себя от них. Случалось, правда, что казаки настигали хищников, но те всегда успевали скрываться в соседних затеречных аулах, носивших имя мирных, но в действительности не менее враждебных и наносивших тем ощутительнейший вред, чем больше безопасности давала им эта внешняя покорность. Особенной известностью в этом отношении пользовался Трамов аул, лежавший верстах в десяти от Константиногорска.

Однажды есаул Савчинин, объезжая посты своей дистанции, узнал о прорыве партии выше поста Осторожного. Савчинин немедленно поехал на пост и приказал на самой переправе заложить секрет из десяти пеших казаков. Это было в ночь с третьего на четвертое мая. Еще не рассвело, как на секрет наехали пять конных кабардинцев, возвращавшихся с русской стороны с заводными лошадьми. Раздались выстрелы. Казачий резерв, с хорунжим Малаховым, тотчас выскочил с поста, но хищники, доскакав до Трамова аула, скрылись. Малахов вернулся назад. Не прошло и получаса, как на тот же секрет наехали еще семь кабардинцев. Казаки вновь кинулись на выстрелы, но и эта партий, отстреливаясь от них на скаку, прошла по направлению к Трамову аулу. Между тем на выстрелы прискакал с Верхне-Кирхильского поста сотник Астахов, и обе команды, пустившись в погоню за хищниками, ворвались в аул и в самых улицах его сбили дротиками трех кабардинцев, остальные скрылись в саклях. Зная, что в предшествовавшем году в ауле свирепствовала чума, Астахов остановил казаков и, выйдя

из аула, потребовал от жителей выдачи хищников. Те наотрез отказались. Астахов донес обо всем Ермолову.

Случай этот выходил из ряда обыкновенных происшествий, и Ермолов воспользовался им, чтобы уничтожить Трамов аул, “это гнездо разбоев и вечной чумы”. Ночью войска окружили его и приказали жителям выбираться. Затем аул зажжен был с четырех сторон, имущество разграблено, стада и табуны взяты на удовлетворение жителей Кавказской линии. “На этот раз,— писал Ермолов кабардинцам,— ограничиваюсь этим; на будущее же время не дам никакой пощады уличенным разбойникам: деревни их будут истреблены, имущество взято, жены и дети вырезаны”.

Разоренные трамовцы задумали тогда бежать за Кубань, в Черкесию, чтобы оттуда мстить разбоями в наших границах. “Я надеюсь,— писал, узнав об этом, Ермолов кабардинскому валию,— что вы удержите их от этого бессмысленного поступка, ибо они разбоем не приобретут того, что могу я им доставить, если останутся спокойно жить в Кабарде. Я раз наказал неприязненные их поступки и не один раз могу быть им полезен, если воздержаться от шалостей”.

Из этого письма, как и из приведенного выше отзыва о вражде и дружбе кабардинской в письме к Дельпоццо, ясно, с какой осторожностью относился Ермолов к делам в Кабарде. Серьезные меры по отношению к этой стране были еще впереди, так как постройка крепостей и военные действия в Чечне и Дагестане отвлекали пока все наличные силы и главное внимание Ермолова, и он старался до поры до времени избегать крутой постановки дела, довольствовался мерами паллиативными, которые могли лишь мешать возрастанию разбоев, но не искоренить их.

Действительно, ни наказания казачьей оплошности, ни увещания кабардинских князей, ни грозные кары, как разорение Трамова аула,— ничто не могло успокоить буйный народ, искавший поприща для отличий и грабежа и действовавший часто под влиянием религиозного фанатизма. Естественно, что кабардинские разбои и нападения шли своим обычным чередом.

Даже сам гуманный, мягкий Дельпоццо потерял наконец терпение. Желая избежать справедливых упреков Ермолова в слабости, он раз круто изменил характер своих обычных отношений к кабардинцам, и зная, что одним из лучших вожаков разбойничьих партий считался в то время князь Эдик Айдемиров, решил истребить его во что бы то ни стало. В этом случае он даже не поцеремонился прибегнуть к тайному убийству. Вот как он описывает все дело в донесении Ермолову.

“Злодей сей, быв таковым собою, возбуждал зверство в других и был наиболее опасен. Чтобы уничтожить его, вырвать самый корень кабардинских разбоев, предстояло два средства: или захватить Айдемира живым, или найти случай его истребить. В первом разе он мог бежать в Чечню и только умножил бы свои злодеяния, а так как мошенника всего удобнее поймать на мошенничестве, то я приказал одному расторопному казачьему пятидесятнику (известному за отчаянного конокрада) вызвать Айдемира к себе, будто бы для приема воровских лошадей, и ежели не будет с ним большого числа людей, то истребить их всех. Поручение это исполнено. Айдемир приехал только с одним человеком — и оба были убиты, а тела их брошены в воду. Кабардинцы знают, что он пропал, но не знают каким образом”.

Расчет Дельпоццо был, однако же, ошибочен. Смерть Айдемирова, конечно, не могла повести к умиротворению края: на место одного погибшего явились десятки других отчаянных головорезов — и все осталось по-старому.

Положение дел, во всяком случае, было настолько обострено, что Ермолов решился сам посетить Кабарду. И вот, первого октября 1818 года, он выехал из-под крепости Грозной в станицу Прохладную, куда к этому времени съехались знатнейшие кабардинские князья, уздени и представители мусульманского духовенства. Ермолов явился перед ними без всякой пышности, которой окружали себя его предместники, не исключая старого Ртищева, и кабардинцы с изумлением увидели малочисленный конвой главнокомандующего, состоявший всего из ста восьмидесяти человек пехоты с двумя гарнизонными пушками, запряженными мужичьими лошадьми, и с прислугой “из обветшалых гарнизонных канониров”, тогда как кабардинцев было не меньше шестисот человек. “Я мог сие сделать с намерением,— говорит Ермолов,— чтобы не показать особенного внимания, которым напрасно давно их баловали, но причина настоящая была та, что нельзя было найти более войск праздных”.

Депутаты были встречены суровой речью. Указав на гибель Трамова аула, Ермолов грозил в будущем еще более тяжкими наказаниями.

По дальновидному расчету главнокомандующего старый Дельпоццо должен был наконец уступить свое место другому, более твердому и энергичному начальнику. Он был отправлен губернаторствовать в мирную Астрахань, а на его место вызван из Тифлиса генерал-майор Карл Федорович Сталь — один из последних представителей славной цициановской школы. Одновременно с этим был удален от должности и губернатор Кавказской области, некто Малиновский, причиной чему, впрочем, была самая личность его, с такой беспощадной резкостью очерченная главнокомандующим в письме к государю. “Как человек умный и долговременным упражнением в изворотах весьма искусный,— писал о нем Ермолов,— умел он поступкам своим придавать наружность законную и прекращать все, что могло обнаружить противное. Однако же одна неделя моего пребывания с ним и некоторые требуемые по делам объяснения заставили его просить позволения оставить службу. Сего довольно, чтобы сообщить о нем понятие”. Удалением Малиновского Ермолов воспользовался, чтобы соединить в руках Сталя военную и гражданскую власть и тем устранить в тревожном крае, требовавшем твердого управления, те беспорядки, интриги и несогласия, борьба с которыми так тяжело отозвалась когда-то на судьбе и прямодушного Булгакова, и “храбрейшего из храбрых” Портнягина.

В самом начале 1819 года Сталь был уже в Георгиевске. Но смена командующего линией, конечно, не устраняла причин кабардинских разбоев, и официальные данные первых двух лет командования Сталя восстанавливают перед историком все ту же хронику кровавых приключений, как и при Дельпоццо. Редкий день проходил без какого-нибудь происшествия, между Моздоком и Георгиевском почти прекратились сообщения — так часты были здесь грабежи и хищничества; выйти за околицу деревни на две-три версты значило уже подвергаться опасности встречи с разбойниками. И происшествие следовало за происшествием непрерывной чередой. Нередко партии кабардинцев, пробравшись через Малку ночью, скрывались в потаенных местах и по целым суткам терпеливо выжидали добычу. Однажды подобная партия засела под самой Александровской слободой, и дерзость ее простерлась до того, что она среди белого дня кинулась на жителей, вышедших на полевые работы. Хищники захватили тогда семнадцать лошадей и много имущества и скрылись, не будучи даже преследуемы.

В другой раз два крестьянина из слободы Надеждинской, за Кумой, близ Ставрополя, услышав о появлении в степи диких коз, отправились на охоту — и оба были застрелены из кустов притаившимися кабардинцами.

Большей частью нападения делались так осторожно и скрытно, что на постах узнавали о них иной раз только спустя сутки и больше, иногда совершенно случайно. Понятно, что никакая стража, никакие кордоны не могли оградить границу от подобных мелких прорывов, и если случались со стороны казаков небрежность или неосмотрительность, то не в них все-таки лежали главные причины опасности тяжелой пограничной жизни.

Ужас этих разбоев увеличивался еще тем, что возможность свалить на кабардинцев всякую беду позволяла и не кабардинцам смело и безопасно совершать преступления. В самом пограничном населении могли находиться испорченные и безнравственные элементы, и им открывалась обстоятельствами широкая свобода действий! Тот, кто провинился и должен был ожидать наказания, бежал в Кабарду и уж, конечно, не клал охулки на свою руку, покидая родную землю. Известен, например, случай, относящийся как раз к этим первым годам командования на линии Сталя.

Десять крестьян, принадлежавших отставному майору Ростованову, деревня которого стояла на Куме, в самую рождественскую ночь украли у помещика пять лучших скакунов, захватили по дороге в Павловской станице косяк лошадей, ходивший без должного присмотра, и бежали за Малку. Только на утро разъезд, ходивший из слободы Солдатской, увидел свежие следы конского табуна и поднял тревогу. Есаул Коновалов погнался за беглецами. По следам их он проскакал до самого Баксана, обогнул гору Кыз-Бурун и убедился, что хищники уже прошли Чегемское ущелье и скрылись в горах.

Между казаками и кабардинцами естественно росла и ширилась беспощадная вражда. Положение усложнялось еще тем, что кабардинец, если бы он и хотел, не мог уже избежать враждебных к себе отношений и сам ожесточался, потому что всякий из них, с какими бы мирными намерениями и целями не переступал рубеж, возбуждал подозрения и нередко расплачивался за грехи единоземцев, оставляя после себя длинный ряд обязанных отомстить за него родичей. Так, однажды два мирные кабардинца из аула узденя Кучмазюкина ехали в русских пределах на воловьей арбе, по-видимому исключавшей всякую мысль о намерении их разбойничать. Но они не избегли подозрения. Положим, арбу они могли оставить и отправиться за добычей пешими, что во многих случаях было даже удобнее и выгоднее, но могло быть и противное, и ехали люди просто себе, по своим домашним делам. Случилось, к несчастью, что, переправясь через Малку, они поехали не дорогой, где ездят все, а стали пробираться кустарником. С дневного бекета, стоявшего перед слободой Солдатской, заметили арбу, и два кордонные казака преградили ей путь. На вопрос: “Что за люди?” — испуганные кабардинцы ответили: “казаки!” — и в то же время, соскочив с арбы, юркнули в кусты. Пятидесятник Бугаевский, спрыгнув с седла, бросился за ними и успел схватить одного. Началась борьба, казак и кабардинец упали на землю. Но Бугаевский оказался сильнее кабардинца и, навалившись на него, крепко держал ему руки, чтобы не дать возможности вынуть кинжал. На шум прискакал другой казак. “Стреляй!” — крикнул ему Бугаевский. Казак долго примеривался, наконец выстрелил, и пуля положила кабардинца на месте, а Бугаевскому перебила левую ногу около колена. Не единственный печальный случай тяжких пограничных недоразумений.

Так проходили месяц за месяцем. Но в хронике кавказских бедствий 1820 и 1821 годам в Кабарде суждено было занять особенное видное место. Ермолов, весь поглощенный заботами пока о Чечне и Дагестане, был к тому же вызван в Петербург, где пробыл целый

год до осени 1821 года. Сталь, занятый в то время устройством Сунженской линии, получавшей преобладающее значение, не мог принять серьезных мер по отношению к Кабарде, а полумеры не привели бы ни к чему. Да и отсутствие главнокомандующего должно было до некоторой степени стеснять его деятельность, а кабардинские разбои между тем все усиливались и усиливались, принимая характер упорной дерзости и открытого восстания. В это время начинают действовать уже не отдельные искатели приключений и наживы, а нередко целые буйные толпы переходят границу и открыто совершают крупные грабежи, оставаясь безнаказанными.

Так в самые святки 1820 года, часу в десятом вечера, целая сотня кабардинцев подъехала к зимовникам на реке Подкумке, у самой Лысой горы, близ нынешнего Пятигорска, и выгнала из них до двухсот штук рогатого скота. На Верхне-Бамбукском посту услыхали выстрелы, которыми кабардинцы без стеснения вспугнули скот, чтобы скорее скучить его и перегнать за Малку. Пятидесятник Дорофеев с тремя казаками поскакал узнать о причине выстрелов и неожиданно очутился перед сотенной партией. Он не потерялся и, послав своих трех казаков известить соседние посты, остался наблюдать за партией. Но вот кабардинцы уже покончили грабеж и двинулись в обратный путь, а на постах все тихо, нигде нет признака тревоги. Предполагая, что казаки его перебиты, Дорофеев сам пустился к Лысо-горскому посту и наехал на кабардинский пикет; его заметили и дали по нем выстрел. Тогда он бросился вправо и наткнулся на новый пикет, откуда его встретили залпом. Уже мерцал свет. Приглядываясь вдаль, Дорофеев с ужасом увидел, что он попал в середину неприятельских пикетов, стоявших кругом и по Подкумку, и по дороге, и по соседним горам. Тогда, не раздумывая долго, он пустился напролом посреди перекрестных выстрелов, за ним гнались по пятам, но, благодаря доброму скакуну, он таки ушел от погони. Между тем с двух соседних постов собралось двадцать три казака и, под командой хорунжего Пантелеева, погнались за хищниками. На горе, в вершинах Золки, началась перестрелка; кабардинцы разделились на две части — одна гнала скот, другая, большая, прикрывала отступление и отстреливалась на протяжении нескольких верст. Казаки, малочисленные и на утомленных конях, не могли нанести никакого вреда кабардинцам, и те спокойно перебрались в горы.

Месяцем позже, в конце января 1821 года, новое происшествие взволновало население, тем более что оно было в тылу линии.

Крестьяне, выехавшие из Курского леса в Георгиевск с дровами, увидели стоявшие в Горькой балке три воловьи повозки без людей и волов. Догадываясь, что тут дело что-то неладно, они дали знать на пост, стоявший недалеко, в Кошевом ауле. Казаки, выехавшие с поста, нашли возле возов труп крестьянина села Незлобного Егольникова, весь изрубленный шашками. Оказалось, что вместе с Егольниковым выехал из Незлобного также крестьянин Чуносов; куда он девался, никто не знал, оставалось предположить, что он взят в плен. Осматривая дальше Горькую балку, верстах в шести от повозок казаки наткнулись еще на два изрубленные трупа; это были крестьяне селения Государственного Шеин и Зимин. Навели справку и узнали, что с ними выехали из села еще маленький внук Зимина и два мирные кабардинца из аула узденя бек-Мурзы Кошева, ехавшие в табун. Сначала явилось подозрение, не совершили ли это убийство сами мирные, бежавшие затем в Кабарду, но впоследствии оказалось, что и они, и внук Зимина томятся в неволе. Немного дальше казаки нашли еще двоих, убитых ружейными пулями. В них узнали линейных казаков Волжского полка Павловской станицы Маликова и Лопатина, которые накануне выехали верхом в слободу Федоровку; их оружие, кони и седла взяты были хищниками. Очевидно было, что партия, скрывавшаяся в Горькой балке, распоряжалась здесь долго. Между тем, еще в то время, как найден был труп первого крестьянина, разъезд дал знать об этом в Павловскую станицу. Стоявший там резерв, под командой

пятидесятника Говоркова, тотчас выслал во все стороны разъезды для открытия сакмы. Целый день рыскали казаки и только уже около полуночи, следовательно через сутки, найдены были конные следы недалеко от Марьевской станицы. Десять казаков тотчас пустились в погоню за хищниками и настигли их неподалеку от поста Беломечетского. Партия, кабардинцев состояла человек из пятнадцати и, вероятно, скрывалась днем где-нибудь в овраге, а ночами пробиралась восвояси; при них было довольно большое стадо волов, не позволявшее им быстрее уйти от погони. Завязалась перестрелка. С поста Беломечетского тоже прискакала команда. Но кабардинцы дрались отчаянно, отстаивая свою добычу, и только при переправе через Малку казакам удалось отбить от них двадцать два вола. Дерзость кабардинцев простерлась до того, что однажды партия их человек в двенадцать в самый полдень, правда, туманный и осенний, верстах в тринадцати от Курского селения, на месте, называемом Сухая Падина, напала на моздокских армян, ехавших, в числе одиннадцати человек, с товарами на федоровскую ярмарку. Из одиннадцати торговцев восемь было убито, один, весь изрубленный шашками, брошен замертво на дороге, а двое взяты хищниками в плен. Кабардинцы, впрочем, их отпустили, в благодарность за то, что те покорно исполняли их приказания и сами вязали в их тюки награбленные товары. Однако же партия отняла у них верховых лошадей, раздела их донага и бросила в степи. Когда хищники скрылись, армяне, захватив с собою раненого, прибежали в Курское село. Жители собрали тела убитых и похоронили их на сельском кладбище. Верстах в пяти-шести от места катастрофы найдены были между тем шесть брошенных армянских арб — пять разбитых и одна целая — с товарами; очевидно, хищникам невозможно было все забрать с собою на вьюки.

Пробираясь домой, эта партия наткнулась ночью, близ реки Кумы, на казачий разъезд, следовавший с Шимовского поста. Пятидесятник Хламов с тремя казаками завязал с нею перестрелку. На выстрелы прискакал разъезд с Павловского поста, прибежал также и ближайший секрет. Составившийся таким образом отряд из двенадцати казаков гнался за хищниками до самой Малки; один казак был ранен, под другим убита лошадь, тем не менее Хламов отчаянно бросился в шашки и отбил весь награбленный товар, увязанный в двадцати пяти вьюках.

За Малкой начались кусты, бурьян, и Хламов со своей малочисленной командой потерял хищников из виду. Этого не могло бы случиться, если бы с Соленобродского поста, возле которого переправлялись хищники, была оказана хоть какая-нибудь помощь, но донской хорунжий Медведев заперся на посту, опасаясь, чтобы партия мимоходом не атаковала его самого. Резервы из Павловской и Марьевской станиц пришли уже тогда, когда кабардинцы были за Малкой, и поиск, сделанный ими до самого Баксана, не повел уже ни к чему. Не лишнее прибавить, что Ермолов отличил поступок храброго Хламова и произвел его в урядники.

Изо дня в день жизнь на границе Кабарды становилась все тревожнее и тревожнее. По самому характеру происшествий на линии необходимо было заключить, что кабардинские владельцы не только не старались удерживать своих подвластных от набегов на русские земли, но скрытным образом поощряли их, а некоторые и сами участвовали в разбоях. И кордонная стража была бессильна перед набегающими волнами возмущения.

Правда, отряды, преследовавшие в разное время хищников, заставили ближайшие аулы отойти от наших кордонов; большая часть кабардинцев, живших на равнине, удалилась к горам, откуда, в случае движения русских войск, могла свободнее уйти в земли закубанских народов.

Возрастающая дерзость кабардинцев указывала на посторонние влияния, на их надежды найти в случае крайности защиту и покровительство. Так, действительно, и было. Дело в том, что в 1821 году турецкие комиссары деятельно распространяли по Кавказу слухи о разрыве с Россией. И вот, привыкнув видеть в султане сильнейшего монарха в свете, естественного покровителя всех мусульман, кабардинцы, как центральное племя, пользовавшееся большим влиянием на Северном Кавказе, первые откликнулись на этот призыв.

Наступало время, когда уже становилось невозможным дольше откладывать усмирение мятежного народа. В сентябре 1821 года Ермолов возвратился из Петербурга, сооружение Сунженской линии приходило к концу, и ничто уже не мешало более энергичным действиям в верховьях Малки и Кубани. Для Кабарды наступал роковой час.

XXIV. ПОКОРЕНИЕ КАБАРДЫ

Зима 1821—1822 года была роковой в жизни Кабарды. Против беспрерывных кабардинских разбоев до того времени шла только пассивная оборона, так как все русские силы на Кавказе отвлечены были борьбой с Чечней и Дагестаном. Теперь наступила пора возмездия, и Ермолов, возвратившись в конце сентября 1821 года из долговременной поездки в Петербург, принял серьезные решения, которые должны были повести к полному и окончательному покорению Кабарды.

Как всегда, план Ермолова, в том виде, как он выполнен, был прост и радикален. Он предположил перенести передовую линию с Малки и Терека в самую землю кабардинцев и, создав при выходах из гор, куда они удалялись в случае возмущения, ряд укреплений, отрезать, таким образом, мирные аулы равнины от буйных горных элементов и от вечно воинственного Закубанья.

Наступала суровая зима, глубокие снега завалили горные ущелья, и постройку крепостей необходимо было оставить до весны. Но чтобы немедленно положить предел разбоям, а в то же время наказать кабардинцев и, уменьшив хотя бы до некоторой степени их престиж в горах, подготовить тем почву полному усмирению, Ермолов решил тотчас же начать против них наступательные действия. С этой целью он приказал ввести в Кабарду некоторые части войск, которые, не имея постоянного местопребывания, а быстрыми переходами появляясь то тут, то там, держали бы кабардинцев в постоянном страхе нападений и препятствовали им выходить из гор. Мера эта была тем целесообразнее, что та же суровая зима и те же глубокие снега вынуждали кабардинцев спустить свои стада и табуны на равнину, и таким образом им приходилось думать скорее о собственной защите и охране своих стад, чем о нападениях и грабежах на линии.

Первый удар нанесен был кабардинцам небольшим отрядом штабс-капитана Токаревского. Из Елизаветинского редута, на Военно-Грузинской дороге, он с ротой Кабардинского полка проник в самые горы, истребил кабардинский пикет и, захватив стадо рогатого скота, распространил тревогу среди непокорного населения. Когда рота двинулась назад, перед нею появилась неприятельская конница и завязала жаркую перестрелку. По счастью, одним из первых пушечных выстрелов был убит предводитель, а вслед за тем картечь разом положила на месте до двадцати кабардинцев. Это решило участь столкновения: неприятель бежал с такой поспешностью, что не захватил даже двух тел с поля битвы. Русский отряд отделался в набеге одним убитым казаком и одним раненым солдатом.

Вслед за тем командующий линией генерал Сталь решил наказать абазинские аулы на Куме, служившие вечным притоном для закубанских горцев и нередко вместе с ними принимавшие деятельное участие в набегах. На первый раз обречены были на гибель три наиболее населенные смежные аула: Махуков, Хохандуков и Бибердов. В селении Солдатском составлен был с этой целью отряд из двух рот Тенгинского полка, при двух орудиях, и трехсот линейных казаков, под общей командой Тенгинского полка майора Курилы.

В ночь на пятнадцатое декабря 1821 года отряд уже подходил к аулам. Было известно, что жители предупреждены, и в русском отряде не могли рассчитывать на неожиданность нападения, а надеялись только на быстроту и стремительность удара. Линейные казаки, имея во главе командира Волжского казачьего полка капитана Вирзилина и штабс-ротмистра Якубовича, действительно, с такой решимостью и так стремительно ударили в шашки на передовые посты кабардинцев, что моментально сбили их и явились перед жителями, совершенно не ожидавшими такого результата. Волжская сотня, есаула Лучкина, и моздокская, хорунжего Старожилова, первые ворвались в аулы. Все, что захвачено вне домов, было изрублено, все, что успело бежать и скрыться в домах, было забрано в плен.

Добычей казаков было до тысячи голов лошадей и рогатого скота и сто сорок девять человек пленных.

Этим дело, впрочем, не кончилось, и жаркий бой по обычаю черкесов завязался только тогда, когда отряд начал отступление. Сильная кабардинская конница, предводимая князем Арслан-беком Биарслановым, преградила отряду дорогу. Теперь вся тяжесть боя легла на тенгинские роты. Бешеные атаки кабардинцев были, однако, скоро отбиты, и сам Биарсланов упал с коня раненым. Кабардинцы дрогнули и побежали. Горячая перестрелка, однако же, стоила отряду четырнадцати человек убитыми и ранеными.

Отрад вернулся в Солдатское со всей добычей. Ермолов приказал отобрать из пленных всех годных к службе и сдать в солдаты, менее годных отправить на крепостные работы, а жен и детей выменять на русских пленных; тех же, которые останутся за разменом, раздать помещикам и казакам в услужение.

Между тем сформировался и отрад для постоянных действий в Кабарде, под командой полковника Кацырева, имя которого скоро загремело по всей Кавказской линии. Отряд состоял из батальона Кабардинского полка в тысячу штыков, при четырех орудиях, и из двух сотен линейцев; накануне нового года он был уже в Екатеринограде, готовый к выступлению.

Ему предстояло идти к Татартубу и по пути истребить Боруковские аулы, принадлежавшие узденям Кучука Джанхотова. Но, чтобы скрыть истинные цели движения, Кацырев сначала вторгся в Малую Кабарду. Там, у Голюгаевской станицы, к нему присоединилось двести конных чеченцев и сотня моздокских казаков, под командой известного чеченского пристава капитана Чернова, и соединенные силы ночью на второе января быстро перешли на левый берег Терека и двинулись прямо на боруковцев. В то же время особый отряд, высланный из Елизаветинского редута со штабс-капитаном Токаревским, отрезал аулы от гор, откуда также должны были теснить кабардинцев мирные племена осетин дигорцы и аладирцы. Аулы были таким образом окружены, но оказались почти пустыми: кабардинские семейства успели заблаговременно выбраться в горы, и только в двух аулах, Баташева и Анзорова, стремительно налетевшая конница застала и истребила до тридцати человек и двенадцать захватила в плен.

Разорение пустых аулов, конечно, не могло уже произвести большого впечатления на кабардинцев, и Кацырев быстро повернул на речку Шагволу к аулам али-Мурзы Кудякова, но и эти оказались пустыми. Тем не менее, при переправе через реку Урух произошла горячая перестрелка, стоившая кабардинцам двух известнейших предводителей, а русским — храброго штабс-ротмистра Якубовича, раненного ружейной пулей. Отряд пошел дальше к горам, предавая огню и опустошению лежавшие по пути аулы, но кабардинцы сами предупреждали его, истребляя постройки и запасы, и наконец, отняли у отряда всякую возможность кормить лошадей. Восемь дней провел отряд в беспрерывных движениях, и восемь дней довольствовал лошадей жалкой травой, оставшейся еще под снегами. Вдобавок настали оттепели, и снег почти весь сошел; кабардинцам открылась возможность угнать табуны свои в горы, и попытка захватить один из них, десятого января в ущелье Вогацино вызвала только напрасную перестрелку и напрасные потери. Ни одно отчаянное нападение не удавалось: отряд был окружен наблюдательными кабардинскими пикетами и скрытые движения были невозможны. В таких обстоятельствах Сталь решился предписать отряду прекратить военные действия до более благоприятного времени.

Потеря кабардинцев в делах с Кацыревым была значительна главным образом в том, что у них, как нарочно, перебиты были лучшие их вожаки. Но и со стороны русского отряда общая потеря простиралась за тридцать человек убитыми и ранеными.

В то же время действовали и отдельные отряды майоров Курилы и Тарановского. Курило четырнадцатого января ходил к верховьям Малки со стороны Георгиевска, но возвратился без всяких результатов и без добычи. Тарановский действовал гораздо удачнее. Переправившись за Малку в селении Солдатском и оставив пехоту на реке Чегем, он с одной конницей, состоявшей из семнадцати волжских казаков, пятидесяти осетин и семидесяти пяти бабуковцев (жителей мирного кабардинского аула, поселенного на земле волжских казаков), бросился за реку Шалуху и, не потеряв ни одного всадника, истребил кабардинский пикет в двадцать человек, захватил триста пятьдесят шесть лошадей и до двухсот голов рогатого скота. Ермолов обратил особое внимание на участие в этом походе бабуковцев и, чтобы окончательно рассорить их с кабардинцами, приказал: “Из получаемой добычи в делах, где будут находиться бабуковцы, непременно давать им некоторую часть оной, а если не захотят брать, то принуждать к тому”.

Отряд Кацырева между тем не вышел из Кабарды и лишь переменил систему своих действий. Нужно сказать, что в те времена вся Большая Кабарда подчинялась четырем княжеским фамилиям: бек-Мурзины и Кантукины, владели землями против линии, простиравшимися до горной Осетии; аулы Атажукиных и Мисостовых скрывались при верховьях Баксана, сообщаясь непосредственно с Закубаньем, поддерживавшем в них дух мятежа и сопротивления. И вот, непрерывными движениями между Баксаном и Тереком Кацырев держал аулы бек-Мурзиных и Кантукиных, не имевших выхода из своих гор, в постоянном страхе и ожидании нападений и прекратил их набеги на линию. Но в аулах Мисостовых и Атажукиных, где возникло сильное стремление к побегу за Кубань, чему воспрепятствовать Кацырев был не в силах, возможность скрыться от преследования русских войск поддерживала пламя бунта и жажду мстительных нападений на русские пределы.

Для наблюдения за этими последними аулами Сталь составил новый отряд из двух рот Тенгинского полка, сотни линейцев и части бабуковской конницы, при трех орудиях, под начальством майора Курило, и расположил его на Малке с тем, чтобы он постоянными переходами мимо деревень Мисостовых и Атажукиных держал их в страхе за свои собственные жилища. Мера эта, однако, не дала ожидаемых результатов. Еще отряд не

успел сосредоточиться, как пятьсот закубанских наездников, под предводительством беглых кабардинских владельцев Атажука Магометова, Хамурзы Джембулатова и Карачая Казиева, перешли Кубань в верховьях, близ Каменного Моста, и тридцать первого января 1822 года уже были в тех абазинских аулах, которые в прошлом году были истреблены майором Курило. Под прикрытием этой партии около двухсот пятидесяти семейств из мятежных кабардинских аулов, Жантемирова и Трамова, ушли за Кубань со всем своим имуществом. Воспрепятствовать этому побегу при наличных силах не представлялось никакой возможности; войск не было, стянуть же сюда все роты Тенгинского полка, расположенные по селениям Ставропольского уезда, было бы мерой крайне рискованной, потому что та же партия, предводимая такими отчаянными разбойниками, ринулась бы немедленно на беззащитные селения и предала бы их грабежу, огню и опустошению.

При настоящих обстоятельствах ей, однако, не было возможности значительно вредить русским селам. И тем не менее скоро она встревожила линию несколькими дерзкими нападениями. Четвертого февраля, почти в полдень, донского войска хорунжий Тетеревятников ехал с поста Шараповского на пост Кумский. На половине дороги между ними лежал пост Танлыцкий, на котором почему-то не было приготовлено для него конвоя. Тетеревятников на “авось” поехал дальше, сопровождаемый только одним драбантом. Верстах в трех от селения, на спуске в балку, он вдруг очутился перед пятисотенной партией. Деваться ему было некуда. Между тем человек семь горцев уже скакали к нему навстречу. Грянул залп, и драбант упал мертвый; лошадь его и все имущество офицера, бывшее в тароках, стало добычей горцев. Сам же Тетеревятников, воспользовавшись удобным моментом, соскочил с коня и спрятался в кустах. Выстрелы были услышаны между тем на соседних постах. Поднялась тревога, и к месту происшествия поскакали, с одной стороны, донские посты, под личной командой командира полка подполковника Тарасова, с другой — конный резерв Кубанского казачьего полка, с сотником Кузнецовым; собралось всего около девяноста казаков.

В то же время, по ту сторону балки, несся на тревогу весь Кумский пост из десяти казаков, при уряднике Вагине, не подозревая гибели, закрытой от него крутыми склонами балки. Напрасно казаки Тарасова кричали им об опасности; те с налета ринулись прямо в овраг и неожиданно врезались во всю пятисотенную партию.

Видя страшную опасность, которой подвергся малочисленный казачий пост, Тарасов и Кузнецов стремительно ударили на выручку, но кабардинцы сами бросились навстречу им в шашки, и, после минутной схватки, казаки были опрокинуты, оставив на месте боя двенадцать тел и одного раненого. Храбрый Кузнецов, врезавшийся на глазах у всех в самую середину неприятельской толпы, пропал без вести. Кумский пост был истреблен. Казаки Тарасова, отброшенные к Танлыцкому посту, заперлись в нем и отразили жестокое нападение горцев. Партия не стала, впрочем, домогаться взятия поста и отошла за Кубань.

Прошло несколько дней, и та же партия ночью опять вошла в русские пределы, но тут она ограничилась лишь отгоном пасшихся верстах в десяти от Кубани табунов ногайского владельца Азамат-Гирея. Храбрый Азамат со своими ногайцами немедленно бросился в погоню за Кубань и скоро настиг партию. Горцы вступили в переговоры. Всех лошадей Азамата они возвратили, остальных же, принадлежавших бабуковцам и другим мирным кабардинцам, увели с собою, сказав, что если хозяева желают получить их обратно, то пусть приедут за ними сами.

Было два-три случая и мелких разбоев, совершенных малыми шайками, вероятно, отделявшимися все от той же пятисотенной партии. Так, седьмого февраля пятнадцать

человек кабардинцев появились в степи около села, принадлежавшего генерал-майору Столыпину. Четверо из них напали на ехавших в арбе двух мирных кабардинцев и завезли их на помещичье гумно, где были уже остальные одиннадцать хищников также с добычею, состоявшей из отставного солдата, женщины, двух мальчиков, двух лошадей и трех пар волов с повозками. Партия осторожно выждала на гумне вечера и только уже тогда, посадив женщину и двух мальчиков на лошадей, отправилась с ними вверх по реке Золке; солдата изрубили, мирных же кабардинцев, провезя несколько верст, связали и бросили среди степи в их же арбе, запряженной волами.

Семнадцатого февраля, ночью, небольшая шайка повторила нападение на моздокские хутора, называемые Соколова, захватила двух казачьих детей и угнала по ста восьмидесяти штук лошадей и рогатого скота.

Большая пятисотенная партия закубанцев между тем не расходилась. Отошедши за Кубань, она расположилась в верховьях Большого Зеленчука. Князья Мисостовы и Атажукины часто ездили туда и вели деятельные переговоры о том, как можно было догадываться, чтобы перевести за Кубань подвластные им аулы.

Тогда Сталь увидел необходимость возвратиться к своему прежнему проекту и выставить отряд майора Курилы на Малке, не в дальнем расстоянии от Каменного Моста, возле которого сходятся все арбяные дороги, ведущие из Кабарды к Кубани. В то же время Кацыреву было приказано подвинуться к Баксану, чтобы, с одной стороны, поддерживать отряд майора Курилы, а с другой — угрожать аулам Мисостовых и Атажукиных. Для прикрытия же Ставропольского уезда вызвана была часть войск из Чечни и составлен особый также подвижной отряд, расположившийся в городе Александрове и в Круглолесском селении.

Одиннадцатого февраля Кацырев уже был у Кызбуруна, восемнадцатого он отогнал в Баксанском ущелье значительные стада, девятнадцатого за рекою Гунделеном истребил аул со всеми хуторами узденя Мансоха, а двадцатого проник в ущелье Табашин и после жаркого дела истребил два аула, принадлежавшие Мисостовым и Атажукиным. Во всех этих аулах отряд потерял одного офицера и двадцать нижних чинов убитыми и ранеными.

Одиннадцатого марта Кацырев шел уже по направлению к горам; но здесь, при самом же начале движения, он был открыт конной партией кабардинцев в сто пятьдесят человек, направлявшихся под предводительством известного Таусултана Атажукина для разбоя на линию. Атажукин разослал во все стороны гонцов с извещением о движении отряда, приказав отгонять с равнин табуны и стада и собираться для защиты. Казаки, на глазах которых угоняли скот, пытались воспрепятствовать этому, но везде встречали сильные партии и успеха не имели. Тем не менее, в течение семи дней, при беспрерывной перестрелке, пять больших аулов, не считая отдельных хуторов, кошей и кутанов, были истреблены до основания. Между ними аул владельцев Касаевых защищался так упорно, что раздраженные солдаты Кабардинского полка перекололи в нем всех, не успевших скрыться,— и мужчин, и женщин.

В это время в Кабарде появились грозные прокламации Ермолова, требовавшие покорности, но обещавшие пощаду всем, кто добровольно выйдет из гор и поселится на равнине. Кабардинцы, действительно, изъявили готовность покориться, но под тем непременным условием, чтобы им дозволено было остаться в ущельях; в залог своей верности они предлагали выдать всех русских пленных. Им было отказано и объявлено, что все, остающееся в горах, будет признаваться открыто враждебным России. Тогда, устрашенные погромами Кацырева и не видя другого исхода из своего положения, многие

кабардинцы мало-помалу стали склоняться на предложение Ермолова, и в течение уже марта вышло на плоскость четырнадцать больших аулов, в которых насчитывалось до девятисот сорока пяти домов. Большая часть из них осела по левому берегу Терека, другие расположились по Уруху, Баксану и по небольшим речкам. Переселенцы, прибывшие с семействами и со всем имуществом, стали сперва бивуаками, откладывая постройку домов до весеннего времени.

К сожалению, положение их оказалось весьма критическим. С одной стороны, им постоянно угрожали буйные, злобствующие на их покорность и не хотевшие выходить из гор кабардинцы, с другой — по печальному недоразумению они были разбиты и ограблены самими же русскими. Едва переселенцы стали на своих местах, как на них налетели отряд штабс-капитана Токаревского из Елизаветинского редута и мирные чеченцы, под командой капитана Чернова, из Моздока; несколько человек было убито, несколько захвачено в плен, стада отогнаны, имущество разграблено. Встревоженные власти поспешили прекратить смятение. Переселенцам с лихвой возвращено было все, что они потеряли, но нужно было опасаться острой вражды между кабардинцами и чеченцами, и кабардинцы, действительно, уже просили позволения ограбить чеченцев. Токаревскому был сделан строгий выговор. “Непростительно,— писал ему генерал Вельяминов,— если не знали вы, что аулам сим позволено от правительства жить на занимаемых ими местах с обещанием, что никакого вреда им не будет; еще непростительнее, если известно вам было означенное позволение, и вы заведомо нарушили данное главнокомандующим слово”. Гроза чеченцев, Чернов, не лишился места только благодаря заступничеству Грекова. “Не могут быть мне неизвестны недостатки Чернова,— писал он Ермолову,— но этот человек необходим, и не по тем сведениям, которые он доставляет,— эти сведения я получаю и от лазутчиков,— но за его необыкновенную храбрость, которая наводит страх на все чеченское население”.

Все эти обстоятельства затрудняли дело переселения кабардинцев на плоскость. Остававшиеся в горах старшины и князья всеми силами старались не допускать и мысли о переселении. Состоялось даже между ними большое совещание, на котором присутствовали многие закубанские кадии, и положено было: если им не удастся испросить себе у русских властей дозволение остаться в горах, то вырвать это позволение силою — разбоями и грабежами на линии. Один из кабардинских владельцев, Арслан-бек Бесленеев, первенствовавший между мятежниками, уже два раза посылал своего сына Адыга в район правого крыла, а закубанцы, действуя под влиянием брата его, Дженбулата Атажукина, прорвались с партией к селению Круглолесскому, убили нескольких жителей и сожгли часть деревни. Партии самого Арслан-бека, разделившись на части, день и ночь следили за малейшими движениями русских отрядов и в то же время грабили и били тех кабардинцев, которые переселялись на плоскость. В немирной Кабарде открыто говорилось, что как только русские войска уйдут (о постоянном пребывании их в кабардинских землях не допускалось и мысли), то жилища переселенцев будут истреблены, стада их угнаны, а сами они переведены обратно в горы.

Уже некоторые из переселенцев, напуганные угрозами, бежали обратно в ущелья. Задача русских властей чрезвычайно усложнилась. Нужно было заботиться в одно и то же время и об охранении границ, и о защите переселенцев, и о создании препятствий кабардинцам к выселению за Кубань, куда их сманивали владельцы. В таких обстоятельствах и чтобы наконец положить предел кабардинской дерзости, Кацырев вынужден был сделать еще две экспедиции. Двадцать пятого марта он вошел в Чегемское ущелье и истребил аулы Тамбиева, а второго апреля двинулся на речку Нальчик и занял аулы Шаупцова и Кондорова. Здесь отряд остановился для наблюдения за общим собранием кабардинцев, которое также подвинулось к Нальчику. Кабардинцы несколько раз присылали к

Кацыреву депутатов с просьбой дать им свободно совещаться, удалив отряд к Малке или к Тереку. Кацырев ответил, что согласен сделать это, если ему дадут в аманаты шесть князей из почетнейших фамилий и старшего кадия. Кабардинцы отказали. Тогда Кацырев, видя, что они только стараются выиграть время, четвертого апреля сам быстро двинулся к месту сборища, которое едва успело рассеяться. Аул владельца Каспулата Канчукова, где оно происходило, был занят и истреблен после недолгой, но горячей перестрелки. Русские потеряли здесь десять человек, со стороны кабардинцев было убито и ранено также только человек пятнадцать, но в этом незначительном числе были ранены оба сына Арслан-бека Бесленеева, Тембот и Адыг, и последний смертельно, был ранен также старший эфендий кабардинского народа и бесленеевский кадий.

Влияние закубанцев на кабардинские волнения не подлежало сомнению, и чтобы заставить их заботиться больше о собственной своей обороне, чем о политической судьбе кабардинцев, Сталь, одновременно с последним движением Кацырева, приказал донскому полковнику Победному сосредоточить сильный отряд в Воровсколесской станице и сделать набег в верховья Кубани, чтобы отогнать конные табуны, принадлежавшие абазинцам. Победнов, имея в сборе до семисот казаков, ногайцев и бабуковцев, второго апреля перешел за Каменный Мост и быстрым движением не только захватил значительный конский табун, но и отару овец более чем в шесть тысяч голов. Абазины, слабые числом, застигнутые врасплох, не могли и думать об открытом сопротивлении и лишь устроили засаду в тесном ущелье на пути отступления отряда. И вот, едва скучились в ущелье овцы и лошади, абазины открыли пальбу, произведя невообразимую сумятицу в испуганном стаде. Войска поставлены были в положение затруднительное; к счастью, удачный картечный выстрел заставил неприятеля покинуть засаду, и отряд Победнова без потери вышел к Баталпашинску.

Отряд Кацырева, занимая в Нальчике центральную для Кабарды позицию, чрезвычайно стеснял кабардинцев, и одна депутация за другой являлись к нему. Но на все попытки начать переговоры он отвечал требованием безусловной покорности и отсылал депутатов ни с чем.

Кацырев расчетливо, но смело пользовался всеми случаями вредить кабардинцам. Был, например, такой случай. Один из известнейших разбойников, Якуб-бек, уже переселившийся на плоскость, явился к нему с известием, что близ старого аула узденя Аджи Тамбеева пасется табун в тысячу голов и что можно захватить его, если действовать скрытно и осторожно. Кацырев знал Якуб-бека за мошенника, на слова которого положиться было опасно, но, с другой стороны, ему было известно также о кровной вражде его с узденями, которым принадлежали лошади, и он решился воспользоваться его указаниями. Семнадцатого апреля, как только в лагере пробили вечернюю зарю, Кацырев тихо поднял отряд и ночью повел его на реку Кешпек. На рассвете казаки увидали табун. Но пока они скакали во весь опор, табун уже был загнан в лесистое ущелье, и им удалось отхватить только косяк в восемьдесят лошадей. В то же время другая часть казаков вскочила в аул Аджи Тамбеева. Человек двадцать пеших горцев, захваченных в нем, заперлись, в сакле, объявив, что будут драться насмерть. Сакля была каменная, и казаки, ограничившись наблюдением за нею, дали знать в отряд. Оттуда поспешно прибыли две роты старого Ширванского полка. Кабардинцам предложили сдаться — они отвечали выстрелами. И когда из русских рядов выбыло несколько человек, Кацырев велел взять саклю штыками. Озлобленные ширванцы ринулись на приступ. Храбрый капитан Красовский первый вскочил в выбитую дверь и первый пал на пороге ее, сраженный пулей, еще несколько солдат было ранено, но остальные ворвались и истребили всех без пощады. Восемнадцать трупов, вытащенных из сакли, были так обезображены, что бывшие в отряде мирные кабардинцы не могли узнать ни одного из них.

Этим эпизодом закончились самостоятельные действия кацыревского отряда. Насколько принесло пользы его присутствие в Кабарде, можно судить уже по тому, что в течение всего времени, пока он действовал там, на линии было почти спокойно, и нападения кабардинцев ограничиваются только вышеприведенными случаями.

Задача, предначертанная ему Ермоловым, была исполнена, судя по средствам, находившимся в его распоряжении, весьма успешно. В постоянном движении в течение четырех месяцев к ряду, бивуакируя под открытым небом, в снежных сугробах и среди весенней грязи, часто без продовольствия и фуража, Кацырев держал всю Кабарду в страхе и неизвестности, откуда ждать нападения. Заботясь о собственной обороне среди своих аулов, кабардинцы не могли сосредоточить значительных сил, чтобы противопоставить отряду серьезную преграду, а между тем он, появляясь всюду, громил их и отгонял стада. Но Кацырев не мог проникнуть в недоступные ущелья гор; эту задачу принял на себя уже сам Ермолов, когда наступила весна.

В мае 1822 года Ермолов прибыл в Екатериноград, где уже собраны были два батальона пехоты, восемь орудий и триста линейных казаков. Над отрядом Кацырева принял начальство сам генерал Сталь и передвинул его с Баксана на Малку, к урочищу Каменный Мост. Третий отряд, под командой донского полковника Победнова, наблюдал верховья Кубани.

Экспедиция началась двадцать второго мая. Прежде всего в ущельях Уруха, Черека, Нальчика и наконец Чегема произведены рекогносцировки; кое-где происходили незначительные стычки, в ущелье Черека сожжено несколько селений, в Нальчике отбит табун лошадей и отара овец в четыре тысячи голов, в Чегеме истреблен сильный аул. Наконец войска вступили в ущелье Баксана, самой многоводной реки в Кабарде, вытекающей с южной покатости горы Эльбрус, и здесь им пришлось испытать беспримерные трудности. Войска направились по обоим берегам реки: по правому шел Ермолов, по левому — Сталь. Свирепый и шумный Баксан, теснимый со всех сторон громадными утесами, с ревом и грохотом падал каскадами, с поражающей силой ворочая огромные каменные глыбы, отторгнутые от гор. Дорога лепилась по карнизам скал, висевших над безднами, и была так узка, что несколько казачьих лошадей сорвались с кручи в волнующуюся бездну. Со страхом смотрели войска, как стремительная сила течения влекла несчастных животных через подводные камни, дробя их на мелкие части. “Прибоем волн,— говорит один участник этого похода,— выбрасывало на берег то словно топором отрубленные ноги, то окровавленные головы несчастных жертв. С ужасом думалось, что точно то же было бы с теми из нас, кто имел бы несчастье споткнуться или у кого закружилась бы голова на этом страшном карнизе”.

В самом узком и страшном месте ущелья кабардинцы задумали остановить отряд и с этой целью соорудили громадный завал на правом берегу Баксана. Ермолов узнал об этом через лазутчиков, и батальон закаленного в боях Ширванского полка (старые Кабардинцы) был выслан вперед — овладеть завалом. В то же время отряд генерала Сталя начал спускаться к Баксану выше Мисостова аула, чтобы зайти в тыл засевшему в завалах неприятелю.

Пройдя некоторое расстояние узкой тропинкой, лепившейся по карнизам скал, Ширванцы подошли к такому месту, где эта тропинка обрушилась, образовав провал сажени в три глубиною, за которым опять продолжалась. Крутые голые скалы окружали эту дикую местность, и обойти провал не было возможности. Батальонный командир уже хотел было возвратиться назад, когда к нему подошел старый кавказский ветеран, которого в батальоне называли Дядей.

— Как же это так, ваше высокоблагородие,— говорил он,— воля ваша, а вернуться назад нам не приходится: еще и примера такого не было, чтобы мы не дошли туда, куда послал Алексей Петрович.

— Да что же нам делать? — ответил командир с некоторой досадой.— Ведь у нас нет крыльев, чтобы перелететь через провал.

— Как что делать? — возразил батальонный Дядя,— а вот позвольте-ка, ваше высокоблагородие...

С этими словами он снял с себя скатанную шинель, развернул ее и бросил в провал.

— Ну, ребята! — крикнул он.— Шинели долой, бросай их туда.

Солдаты последовали его примеру. Тогда старик перекрестился и, крепко обхватив ружье, прыгнул в провал...

— Ой, да как же мягко, братцы! — крикнул он оттуда солдатам.— Постойте-ка, дайте-ка я еще поправлю, да порасстелю шинели, чтобы вам было еще мягче!..

Батальонный командир поблагодарил Дядю за славную выдумку. Он спрыгнул первый, потом офицеры, а за ними солдаты. Препятствие было обойдено.

Другому Ширванскому батальону, высланному из колонны Сталя в обход, по ту сторону Баксана, встретилось препятствие иного рода: тропинка там преграждалась гигантской отвесной скалой, перед которой отряд остановился в недоумении. Оставалось, по-видимому, возвратиться назад, чтобы отыскивать новую дорогу, но сметливость опытного кавказского солдата выручила и здесь.

— Позвольте-ка, ваше высокоблагородие,— сказал один из стариков командиру,— еще раз осмотреть хорошенько скалу-то, ведь бусурманы куда же нибудь да ходили по этой тропинке.

И долгие поиски увенчались успехом. Он нашел, действительно, в самом низу небольшое узкое отверстие, заваленное землей и камнями.

— Ага! Вот их лазейка,— крикнул он и первый, припав на землю, прополз через тесную, шедшую наклонно щель в скале, за ним один за одним последовали солдаты.

Первые люди из предосторожности спустились на веревках, прочие ложились боком и скатывались, как по желобу, обхватив ружье обеими руками. Дошла очередь до батальонного командира майора Якубовича. Человек весьма тучный, он завяз в отверстии так, что солдаты долго не могли протиснуть его ни взад, ни вперед. Наконец схватили за ноги и потащили волоком; на нем изодрали сюртук, оборвали все пуговицы, но все-таки протащили. “Место сие,— говорит Ермолов в своих воспоминаниях,— так и осталось под названием Дыра Якубовича. Порядочно помятый, майор немного покряхтел, велел подать себе манерку, выпил водки, встряхнулся и встал.

— Ничего, ребята,— сказал он,— мы славно пролезли. Благодарствуй, Дядя, что отыскал лазейку. Теперь — вперед...

Таким образом, первое дело было сделано. Следовавшие за батальонами команды уже позаботились об устройстве дороги: провал засыпали землей и каменьями, а узкое отверстие в скале кое-как порасширили, и остальные войска могли продолжать путь уже с меньшими препятствиями. Ночью четыре орудия из отряда Ермолова подняты были людьми на гору, и несколько выстрелов заставили неприятеля очистить завал с такой быстротой, что не оказалось даже надобности в содействии боковой колонны, и когда батальон майора Якубовича подошел к завалам, они уже были очищены.

Около осетинского аула Ксанти собрались главнейшие кабардинские владельцы; здесь ожидался кровавый бой. Войскам еще с вечера приказано было готовиться к упорной борьбе, в которой пришлось бы брать штурмом ряд огромных каменных завалов. Но кабардинцы не выждали наступления и ночью бежали за Кубань; осетины пришли просить пощады. “Вообще,— замечает под влиянием этого факта Ермолов,— кабардинский народ дошел до той степени упадка, что нет уже признака прежних свойств его, и в сражениях уже нет прежней смелости, которой кабардинцы отличались от других народов... Воспоминания прежних воинственных подвигов, деяний знаменитейших из их соотечественников усилили в них чувство нынешнего ничтожества, а вместе с ним народились и все гнуснейшие пороки их”.

Заняв оставленные кабардинцами завалы, войска продолжали двигаться вперед. Батальоны шли по одному человеку, так как во многих местах тропинки на страшной высоте извивались по скалам, нависшим над Баксаном, будучи шириной не больше аршина. “Я сам,— рассказывает Ермолов,— некоторое расстояние переправлялся не иначе как ползком, ибо кружилась голова от вида волн Баксана, кипящих под ногами”. И такой путь шел на протяжении целых трех верст. В одном месте даже горные орудия пришлось перетаскивать на желобах, окованных железом; снаряды же розданы были людям и переносились на руках. Но сопротивления нигде не встречалось: неприятель бежал, и по высотам, в отдалении, можно было видеть спасающиеся семейства кабардинцев и угоняемые стада. Майор Якубович со своим батальоном преследовал бегущих. В одном месте его отряд должен был проходить под горой, а с вершины ее кабардинцы сбрасывали огромной величины камни. К счастью, ударяясь о нависшую скалу, они безвредно пролетали над отрядом, и батальон не потерял ни одного человека.

Но вот и верховья Баксана. Далее уже нет пути. Кругом стоят громады снеговых гор, и седой исполин Эльбрус высится над ними величавый и недоступный.

Войска повернули назад. На первом возвратном ночлеге отряды Ермолова и Сталя расположились по обеим сторонам Баксана, друг против друга. Река здесь не шире двадцати-тридцати саженей, но ужасный шум волн глушит человеческий голос, и сношения между отрядами производились письменно: бумагу привязывали к камню и перебрасывали через реку; попадал камень в воду — писали новую бумагу.

Можно было, впрочем, установить сообщение и по мосту. Но всякий, кто увидел бы воздушный мост, висевший там над бездной, отказался бы от самой мысли об этом. То были просто две тонкие слеги, перевязанные прутьями и перекинутые с одного берега на другой; они колыхались, как канат акробата, а под ними ревели бешеные воды Баксана, дробясь о подводные скалы и обдавая путника мелким дождем. “Память рисовала нам кровавую картину гибели казачьих лошадей,— говорит один очевидец,— и охотников балансировать над пропастью являлось не много”.

Между кабардинцами распространился ужас; они, не допускавшие и мысли, чтобы русские могли предпринять экспедицию хотя бы только в Баксанское ущелье, видели

теперь русское оружие в таких местах, которые в представлениях самих местных жителей были даже и для них недоступны.

Из Баксанского ущелья войска прошли на Куму и стали близ истребленных в предыдущем году абазинских аулов. Отсюда генерал Вельяминов с частью отряда отправился на Кубань, к Каменному Мосту, чтобы препятствовать кабардинским князьям при побеге за Кубань уводить с собою и подвластные им аулы. Отряд, однако, опоздал; когда он подошел к месту назначения, большая часть кабардинцев уже переходила реку. Он захватил только конец переправы и успел отбить скот. Затем деятельность отряда Вельяминова не могла уже быть слишком значительной; случилось раз, что несколько отборных охотников карабинерного полка ночью переплыли за Кубань и сожгли селение, да во многих местах происходила перестрелка.

Двадцать четвертого июля экспедиция Ермолова совершенно окончилась, и отряд возвратился на линию. Главнокомандующий отправился в Константиноград, осмотрел минеральные источники и положил основание нынешнему городу Пятигорску.

Войска отдыхали, впрочем, недолго: в начале августа Ермолов снова повел их в Кабарду, на этот раз уже с тем, чтобы больше не оставлять ее. Переправа через Терек в Екатеринограде была сопряжена с чрезвычайными трудностями. Река бушевала, и пехоте пришлось переходить ее вброд тесными рядами, держа друг друга за руки; в глубоких местах казаки, верхом, составляли улицу; через реку протянуты были привязанные концами к орудиям канаты, и люди держались за них в местах наибольшей стремительности течения. И несмотря на все эти предосторожности, несколько человек все-таки были увлечены ужасной быстротой реки и спасены не без усилий. В конце концов вся переправа стоила Ермолову пяти потерянных ружей и двух десятков овец из порционного скота.

За Тереком войска разделились на две части: одна тотчас же приступила к постройке ряда укреплений, образовавших новую Кабардинскую линию; другая составила подвижные резервы, имевшие назначение удерживать кабардинцев от враждебных действий и тем способствовать беспрепятственному возведению крепостей.

Кабардинцы, конечно, не остались равнодушными к мере, навсегда подчинявшей их русской власти и русскому оружию, и домогались всеми силами остановить постройку крепостей.

Ермолов ответил на эти домогательства с внушительным лаконизмом. “О крепостях просьбы бесполезны,— писал он,— я сказал, что они будут, и они строятся”. К осени они были настолько готовы, что могли служить прочным оплотом против кабардинцев.

Новая Кабардинская линия проходила по подошвам так называемых Черных гор, от Владикавказа по верховий Кубани, состоя из пяти главных укреплений, расположенных при выходах из горных ущелий рек: Баксана, Чегема, Нальчика, Черека и Уруха, и из многочисленных промежуточных постов. Все кабардинское население, переселившееся на плоскость, совершенно отрезывалось ею как от гор, так и от Закубанья и вынуждалось покинуть самую мысль о враждебных отношениях к России.

Таким образом Кабардинская линия обеспечивала центр Кавказской линии со стороны Кабарды. Но на западе, за верховьями Кумы и Малки, до самой Кубани лежали пустые, незанятые пространства, дававшие возможность производить на него нападение из-за Кубани. Ермолов предположил заселить его линейными казаками. Но чтобы теперь же, по

возможности, обезопасить и этот район, представлявший один из слабейших пунктов Предкавказья, и прикрыть минеральные воды и Георгиевск, он восстановил Кисловодское укрепление, а далее, в направлении к верховьям Кубани, учредил сильные укрепленные посты: на реке Подкумок, при урочище Бургустан, в самых верховьях Кумы, у Ахандукова аула, на самой же Кубани — у Каменного Моста и в верховьях Тахтамыша. Наконец, посредством сильного укрепленного поста, выдвинутого на реке Кулькужин, вся эта новая линия связывалась с Баксанским укреплением.

Все кабардинские аулы, еще сидевшие между Кумой и Малкой, были в то же время переселены за линию укреплений, на правый берег Малки, на кабардинскую плоскость. Ногайцы, жившие по Кубани, также отодвинуты от реки и подчинены уже русскому приставу. Султану их, Менгли-Гирею, была предоставлена свобода жить, где пожелает, а в вознаграждение оказанных России заслуг, сверх пятитысячного пенсиона, отведено в вечное потомственное владение пять тысяч десятин земли. Так исчезло политическое значение знаменитого некогда султана, управлявшего ногайцами еще со времен первого командования на линии Гудовича.

Воинственная роль Кабарды окончилась навсегда. Но мирный быт кабардинского населения, окруженного теперь со всех сторон цепями русских укреплений, не был урегулирован, его отношения к русским властям, его гражданские права и обязанности не были ничем определены. Такое положение дела могло до известной степени держать остававшихся в горах кабардинцев в нерешительности и в боязни селиться за русской линией.

Чтобы положить конец этой неопределенности, Ермолов разослал по всей Кабарде, в горы и в мирные селения, прокламации, приглашая довериться добрым намерениям России. Князья и уздени, которые останутся в горах, объявлялись изменниками и врагами Русского государства, лишенными власти и даже простого права владеть каким-либо имуществом в Кабарде. Примирившимся с подчинением России всем кабардинцам обещаны неприкосновенность их веры и обычаев, но к ним предъявлено требование заботиться о спокойствии и безопасности в стране. “За земли, которыми пользуетесь,— говорилось в прокламации,— должны ответствовать и потому должны защищать их от прорыва разбойников”.

Особенное внимание обратил Ермолов на кабардинский суд и на вредный обычай аталычества.

С тех пор как князья, занятые борьбой с Россией и частью бежавшие, не могли удержать в своих руках судебную власть, ею овладело влиятельное магометанское духовенство, захватившее этим путем, к великому вреду для России, всю власть в стране, и наклонявшее весы правосудия по своему усмотрению, с нарушением древних прав и обычаев народа. Чтобы подорвать вредную власть духовенства, Ермолов учредил в укреплении Нальчик временный кабардинский суд. Он поручил с этой целью состоявшему при нем уроженцу Кабарды капитану Якубу Шардакову составить записку о кабардинских народных обычаях и о существе бывшего в Кабарде управления и, положив эту записку в основу суда, восстановил в нем исконные обычаи народа. Для наблюдения же за правильным действием его назначен был особый русский чиновник. Само собою разумеется, что под враждебным противодействием духовенства суд этот привился не сразу и по отъезде Ермолова совершенно бездействовал. Два года спустя, военный начальник Кабарды Подпрядов нашел средство заставить суд действовать. Дело в том, что, по старинным обычаям, весь кабардинский народ обложен был ничтожным сбором на содержание судей; Подпрядов остановил этот сбор, и судьи, не желая лишиться доходов,

нашли себя вынужденными приняться за свои обязанности. Но вообще суд, основанный на духе и обычаях народа, не мог не иметь всех шансов на будущность. Действительно, впоследствии он прочно утвердился, и Н. Н. Муравьев, бывший на Кавказе уже в 1855 году, писал о нем А. П. Ермолову: “Я был в Нальчике, где устав ваш и прокламации служат единственным руководством для дел, встречающихся не только между кабардинцами, но даже и между племенами, живущими в горах. Край этот, через который в 1816 году нельзя было проезжать без сильного конвоя и пушек, ныне спокоен, благодаря началу, вами положенному”.

Аталычество представляло еще большие опасности, чем суд в руках магометанского духовенства. С глубокой древности знатные черкесы и кабардинцы воспитывали своих сыновей не дома, а в чужих людях, где они могли бы приобрести строгие привычки военного быта. Кабардинцы в большинстве случаев посылали своих сыновей в отуреченное Закубанье, откуда те, вырастая, вывозили суровую и непримиримую ненависть к христианской России. Естественно, что Ермолов не мог относиться равнодушно к обычаю, шедшему вразрез самым ближайшим русским интересам, и категорически воспретил его. “Отныне впредь,— гласила прокламация,— запрещается всем кабардинским владельцам и узденям отдавать детей своих на воспитание к чужим народам, но (предписывается) воспитывать их в Кабарде. Тех, кои отданы прежде, возвратить тотчас же”.

И чтобы сделать эту меру более действенной, кабардинцам было строго воспрещено куда-либо отлучаться из Кабарды без письменного вида и без разрешения начальства.

Устроив кабардинские дела, Ермолов седьмого сентября 1822 года уехал в Тифлис, оставив начальником всех войск в Кабарде полковника Кацырева, а получившего уже громкую известность своей легендарной храбростью Нижегородского драгунского полка штабс-капитана Якубовича — начальником казачьих резервов, расположенных у известных бродов на Малке, на Баксане и Чегеме, в местах, где наиболее можно было ожидать прорывов и нападений.

Деятельность Кацырева в этот короткий период, до назначения его, около двух лет спустя, командовать отрядом на Кубани, состояла более в успокоении вверенного ему умиротворенного края, чем в военных предприятиях. Однако же ему пришлось еще раз сделать и значительную экспедицию в горы.

Дело было вскоре после отъезда Ермолова, в ноябре 1822 года. Один кабардинец, выбежавший из гор, донес Кацыреву, что в верховьях Чегемского ущелья скрываются семейства беглых кабардинцев, и за условленную плату брался провести туда войска. Двадцатого ноября, часа за три до рассвета, Кацырев с небольшим отрядом из ширванских рот и волжских казаков, без тяжестей и артиллерии, двинулся вверх по реке Нальчик. Густой лес и беспрерывные топи задерживали движение отряда днем, а ночью путь пошел по таким опасным местам, что конным нельзя было ехать. То поднимаясь на горы, то спускаясь в пропасти, люди до того измучились, что Кацырев вынужден был остановиться для отдыха. Ночь была темная. До свету еще оставалось два-три часа, и чтобы не терять времени, Кацырев послал вперед охотников, под командой штабс-капитана Якубовича.

Прошло более получаса, а от Якубовича не было никаких известий. Зная, что ему приходилось спускаться в бездонные пропасти, что было крайне рискованно в такую темную ночь, Кацырев начал тревожиться и сам двинулся по следам его. Скоро отряд взобрался на какую-то отвесную скалу, грозно висевшую над самым Чегемом. Отсюда видны были беспрерывно сверкавшие внизу огни; звуков выстрелов, однако же, слышно

не было. С большим трудом войска сползли с этой гигантской скалы и застали охотников в жаркой перестрелке с неприятелем. Темнота ночи и незнакомые места помешали Кацыреву окружить кабардинцев, тем не менее все, что осмелилось сопротивляться, было истреблено; пощажены были только жены и дети, в числе двадцати человек. Все имущество и стада их составили военную добычу; жилища, запасы хлеба и сена были сожжены. Утро открыло, однако же, опасное положение отряда — горцы отрезали ему выход на плоскость. Но Кацырев был слишком хорошо знаком с горной войной, чтобы затрудниться в таком положении. Приказав капитану Грекову с двумя ширван-скими ротами завязать перестрелку с неприятелем с фронта, он в то же время отправил роту капитана Гебуадзева прямо через скалы в обход завалов, которые преграждали ему путь. Появление этой роты в тылу кабардинцев решило дело; неприятель бежал. Войска переправились тогда через Чегем и трудной горной дорогой перешли в Баксанское ущелье. Там найден был осетинский аул, от которого Кацырев почел нужным взять аманатов. Двадцать шестого ноября отряд уже был в Нальчике, потеряв во всей экспедиции одного урядника Волжского казачьего полка убитым и трех ширванцев ранеными; в числе последних был цирюльник, перевязывавший раненых под выстрелами.

Для Якубовича этот период времени был, напротив, временем неустанной военной деятельности, в которой с блеском выразилась вся его предприимчивая и страстная натура. В его характере было что-то загадочное; дерзкая удаль его была так поразительна, что храбрейшие джигиты Кабарды и Черкесии удивлялись ему.

Командуя своими резервами на Малке, Баксане и Чегеме, Якубович имел вполне самостоятельный круг действий и подчинялся непосредственно только начальнику войск в Кабарде. Главным предметом его действий было не допускать хищников на линию, ограждать кабардинцев, выселявшихся из гор, делать беспрерывные разъезды, ходить в горы и т.п. Таким образом, он был всегда в авангарде. И Якубович буквально не сходил с седла. Со своими сподвижниками, такими же храбрецами, он часто углублялся в самые недра гор, в пределы закубанцев, и разрушал малейшие замыслы хищников. Рассказывают, что в 1823 году, на Святую неделю, он зашел со своей партией так далеко, что добрался почти до Эльбруса; его казаки слышали в горах колокольный звон, а потому догадывались — не живут ли за карачаевцами беглые русские старообрядцы-некрасовцы? Действительно, существовало предание, что при одной из древних церквей за Кубанью, лежащей в отдаленной глуши, окруженной горами и лесом, водворилось некогда несколько семейств беглых раскольников. Встревоженные близким появлением русских, они покинули это убежище и ушли дальше, к горе Эльбрус. Таким образом, жестокая зима, глубокие снега, непроходимые пропасти и мертвая, безжизненная природа не дали предприимчивому Якубовичу добраться по колокольному звону, быть может, до наших соотечественников. Он успел только из засады с пятнадцатью своими удальцами напасть на большую толпу черкесов. Сам Якубович, в бою один на один, изрубил неприятельского предводителя, прочие черкесы загнаны были в глубокие горные снега. После этого случая, оставившего в горах глубокое впечатление, нередко одного появления Якубовича с его линейцами достаточно было для рассеяния уже собравшейся для набега партии.

Слава о нем разнеслась по целому Кавказу, как между русскими, так и между горцами. Самые отважные наездники искали его дружбы, считая его безукоризненным джигитом. В знак почета горцы позволяли посланным от него ездить к ним без оружия — и никто не решился бы нанести им малейшую обиду. Отчаяннейшие враги России были кунаками Якубовича, ценя его великодушные поступки, верность данному слову и зная, что жены и дети знатнейших из них, если бы по жребию войны и достались в его руки, будут возвращены с почетом и без выкупа. Одну красавицу княгиню, попавшуюся в плен, он сам оберегал, стоя по ночам на страже у ее шалаша, а когда отряд его возвратился домой, сам

же доставил ее в горы к мужу. Признательный князь отпустил тогда с Якубовичем также без выкупа шесть русских пленных, стал вернейшим его кунаком, переписывался с ним и не раз извещал его о сборищах закубанцев.

Якубович так сроднился с обычаями горцев и образом войны их, что не отличался от них ни одеждой, ни вооружением, ни искусством в наездничестве, а отчаянной храбростью превосходил лучших князей их. При каждой встрече с черкесами он первый бросался на них и собственноручно поражал того, кто осмеливался скрестить с ним свою шашку. Его считали в горах заколдованным.

Раз, во время переговоров с карачаевцами, в их же горах, он, раздраженный упорством и несговорчивостью их, грозно взмахнул нагайкой и крикнул: “Прочь с глаз моих!” И несмотря на то, что отдалившись от казаков, он стоял перед ними один, из сотни карачаевцев не нашлось ни одного, который осмелился бы выстрелить в него: они разбежались, как школьники, от грозного окрика.

Понятно, что влияние Якубовича было в горах огромно; одного имени его, предположения присутствия его, слуха о нем иногда достаточно было, чтобы удержать горцев от нападения на Кабардинскую линию. Впоследствии самая наружность его, с высоким челом, у самого виска пробитым черкесской пулей, и никогда не заживавшей раной, прикрытой черной повязкой, производила поражающее впечатление на умы горцев.

Розен, один из известных декабристов, служивший на Кавказе уже в 1837 году, рассказывает, что и в его время многие на Кавказе еще помнили о подвигах Якубовича или слышали о них. Штабс-капитан Кулаков, бывший когда-то у него вахмистром, говорил о нем Розену со слезами, вспоминая, что Якубович был родным отцом для солдат, добычу делил всегда справедливо на всю команду, а себе не брал никогда ничего.

В Кабарде Якубович пробыл недолго; в 1823 году мы его встречаем уже в действиях против закубанских черкесов, на новом и более широком поприще для его предприимчивости и мужества.

К тому же времени ширванские батальоны вместе с полковником Кацыревым ушли также на Кубань, и охранение всей Кабарды осталось на одном Кабардинском (бывшем Казанском) полке, под командой полковника Подпрядова.

Кабарда, занятая теперь русскими укреплениями, навсегда разделяет воинственные народы Кавказа на две отдельные части, образовавшие на все будущее время два совершенно независимых друг от друга театра военных действий, и сохранение в Кабарде спокойствия становится делом особенной важности. К тому же по ней, как по краю наиболее умиротворенному и безопасному, пролегла под защитой крепостей и новая Военно-Грузинская дорога, охранение которой лежало также на обязанности Кабардинского полка. Таким образом, на долю Подпрядова выпала трудная задача, которую он и выполнил с редким успехом.

Главным укреплением в Кабарде считался Нальчик, а потому здесь и поместился Подпрядов со своим штабом, перейдя туда из Екатеринограда. Ему приходилось в одно и то же время держать в повиновении всю Кабарду, наблюдать за верхним течением Кубани, из-за которой все еще пытались прорываться под предводительством беглых кабардинских князей партии черкесов, и охранять военную дорогу. В течение нескольких лет новый Кабардинский полк, подобно старому Кабардинскому полку, некогда

оберегавшему Грузию от лезгин на Алазани, теперь удерживал в спокойствии всю Кабарду и оберегал центр Кавказской линии. В постоянном напряженном ожидании тревоги, постоянно в полной готовности двинуться при первом известии на угрожаемые пункты, преследуя или прогоняя партии, полк выносил на своих плечах тяжелую и беспокойную кордонную службу, более свойственную коннице.

Подпрядов командовал войсками в Кабарде до осени 1824 года. Он оставил по себе честную и славную память. Обозревая новую линию, Ермолов не мог не обратить внимания на удивительный порядок, в котором содержались все укрепления, с обширными казармами, с прекрасными огородами, со всеми удобствами для жизни женатых солдат, и оценил труды Подпрядова. “Прекращая долговременное служение свое,— объявлялось в приказе по корпусу,— господин полковник Подпрядов примет изъявление совершеннейшей признательности, как последний долг, принадлежащий уважаемому по службе товарищу”.

Громы военных бурь в Кабарде все более и более затихали, с тем чтобы в 1825 году вспыхнуть последним пламенем возмущения — и потухнуть навсегда, оставив все тревоги боевой жизни соседнему побережью Кубани.

XXV. ПРАВЫЙ ФЛАНГ

Течение Кубани распадалось ко временам Ермолова на два независимых района. От Баталпашинска, немного повыше устья Малого Зеленчука, по правому берегу, чрез редут Святого Николая, чрез крепости Прочноокопскую и Кавказскую и до устья Лабы шла, мимо Ставрополя, так называемая Кубанская линия, оканчивавшаяся Усть-Лабинским укреплением. Это был правый фланг Кавказской линии. А далее, вниз по Кубани, до самого Черного моря, лежала уже земля черноморских казаков, имевшая с Кубанской линией общего врага, тесно связанная с нею общими интересами, но отделенная от нее и в административном и в военном отношениях под власть отдаленных херсонских губернаторов. Ермолову скоро, именно в 1821 году, пришлось взять под свое заведование и под защиту малочисленных кавказских войск и Черноморию, но тем не менее она не слилась с Кубанской линией, и каждый из этих районов вел особую борьбу.

По другую сторону реки жил дерзкий и надменный враг, превращавший мирный быт прикубанских русских поселений в вечно тревожную пограничную кордонную службу.

По Бухарестскому трактату 1812 года река Кубань признана была границей между Россией и Турцией, и на анапского пашу была возложена обязанность удерживать закубанские народы от набегов в русские пределы. Но даже в первое время по заключении мира, когда Турция, быть может, и желала соблюсти принятые на себя обязанности, влияние ее на горские народы оказалось не настолько сильным, чтобы водворить спокойствие и мир на берегах Кубани. Когда же между Портой и русским правительством возникли несогласия по греческому вопросу, и русское посольство, в 1821 году, выехало из Константинополя, турки сами начали поощрять воинственные предприятия черкесов. При общем ожесточении мусульман против христианского мира в эпоху греческого восстания турецкая пропаганда на Кавказе приняла весьма опасный характер. Покорение Кабарды дало еще больший толчок этому движению. Турция не могла не понимать, что постройка в Кабарде укреплений есть первый шаг к покорению и целой Черкесии, а в ее планы не входило уступить России обладание страной богатой и дарами природы и воинственным населением, представлявшим превосходнейшую в мире конницу. Отдать “такой алмаз в огранку гяурам” для Турции значило, говоря восточным слогом,

“проглотить ком кубанской болотной грязи”, и Турция спешила поднять черкесский народ и бросить его на русские границы.

Между тем состояние и Кубанской линии и Черноморья далеко не соответствовало той важной роли, которая выпадала на их долю. Ермолов, осмотревший Кубанскую линию в 1818 году, нашел ее в положении совсем безотрадном. Первой по пути от Георгиевска была крепость Темнолесская, отодвинутая далеко от Кубани внутрь Кавказской губернии,— Ермолов нашел ее совершенно ненужной. “Не знаю, какую она и прежде могла приносить пользу,— говорит он,— будучи расположена в таком месте, где ничего не защищала и куда не мог прийти неприятель по местоположению почти неприступному. Она не могла даже вмещать такого числа войск, с которым бы можно было пуститься на самое легчайшее предприятие. Нельзя было расположить в ней и никаких запасов, ибо нет к ней дорог, кроме весьма трудных”. За Темнолесской следовала крепость Святого Николая — памятник командования в крае генерала Ртищева. “Трудно узнать,— замечает о ней Ермолов,— чего Ртищев желал более, места нездорового или бесполезного. Во время разливов Кубань затопляла все укрепление и через окна вливалась в казармы. Болезни и смертность превосходили вероятие. Я приказал уничтожить убийственное сие укрепление”. Далее, вниз по Кубани, лежал Прочный Окоп — небольшое укрепление, занимавшее важный стратегический пункт, не утративший своего значения до самых позднейших времен кавказской войны, но находившееся в жалком состоянии. Лучше других была крепость Кавказская — штаб-квартира Вологодского пехотного полка, но крутой берег Кубани, на котором она была построена, обрушился от множества заключавшихся в нем источников, и часть крепости теперь лежала в развалинах. Последней к стороне Черномории была крепость Усть-Лабинская, построенная Гудовичем; она была настолько обширна, что всего количества войск, расположенных на линии, не хватило бы для занятия ее, а между тем в ней не было ни одного каменного строения: казармы, магазины, самый арсенал — все было деревянное. Вода для гарнизона добывалась из одного небольшого колодца, а брать ее из Кубани мог всегда и легко помешать неприятель.

Эта линия укреплений, растянутая на огромном протяжении, среди мест, повсюду открытых, перед рекой, имевшей множество удобных переправ, охранялась всего двумя слабыми пехотными полками, Вологодским и Суздальским (позже — Тенгинским и Навагинским, пришедшими из России); два же поселенные на ней линейные казачьи полка. Кубанский и Кавказский, едва были достаточны только для охранения их собственных станиц, и кордоны по Кубани занимали уже донцы.

Ко всему этому, пространство между верховьями Кубани и Малкой, от Баталпашинска и до Константиногорска, не защищенное ни одним укреплением, долго оставалось открытым путем сообщений между Черкесией и Кабардой, обессиливая тем еще более Кубанскую линию.

“А между тем линия эта,— говорит Ермолов,— имела важное значение, потому что Кубань входящим углом углубляется в наши границы и, касаясь тыла, угрожает Ставрополю, месту склада всех боевых и жизненных запасов войск. Пятнадцать тысяч отважных закубанцев могли бы, овладев Ставрополем, прервать сообщение Кавказской линии с Доном и разорить не только все деревни по пути к Георгиевску, но и все слабые военные посты по Кубани... И только одному несогласию живущих за Кубанью народов должно приписать, что они не делают своих набегов далеко внутрь линии, на что по своему многолюдству легко бы могли решиться”.

Действительно, неприятель, владевший отличной конницей, мог встретить там сопротивление лишь небольшой горсти казаков. Если бы эти казаки не были даже растянуты кордонами на большом протяжении, а соединились вместе, то и тогда они не могли бы противостоять черкесам по несоразмерности сил; пехота же и вовсе не имела достаточной подвижности, чтобы препятствовать конным набегам. А между тем рост населения в Кавказской губернии заставил распространить жилище поселян почти до самой Кубани, облегчив черкесам трудность набегов; эти-то надречные деревни и были, действительно, наиболее подвержены их нападениям.

В довершение всего линией по Кубани командовал в то время генерал-майор Дебу, человек с весьма миролюбивыми наклонностями, известный военный писатель. Отдавая справедливость его уму и способностям, Ермолов замечает тем не менее с иронией, что "не служба военная должна сделать его наиболее полезным" и что "главная наклонность его — размножение бумаг, которые по крайней мере сокращать удобно".

В то время, когда Ермолов объезжал Кубанскую линию, еще существовало во всей своей силе распоряжение, запрещавшее войскам переходить Кубань даже при преследовании хищников. Причина этого распоряжения лежала главным образом в боязни занести на линию чуму, нередко появлявшуюся среди черкесов через Анапу из Константинополя. Черкесы знали об этом распоряжении, и тем с большей наглостью разбойничали на линии. Случалось, что, возвращаясь из набега и перейдя на свою сторону Кубани, они посылали казакам насмешки, безбоязненно показывая из-за реки добычу.

Ермолов не боялся чумы, зная, что она может распространяться, даже гораздо удобнее, иными путями, и тотчас отменил стеснительное запрещение. "С радостью приняли войска,— говорит он в записках,— приказание преследовать разбойников, и, конечно, не будет упущен ни один случай к отмщению".

Ермолов хотел бы и здесь перенести кордонную линию далеко за Кубань, к подошвам гор, и поставить против ущелий на речках новые укрепления, как сделал то впоследствии за Тереком и Малкой. Но этот проект, к сожалению, был невыполним, так как земля за Кубанью принадлежала Турции, и малейшее посягательство на нее могло бы вызвать разные усложнения.

Таким образом, все способствовало тому, чтобы благодатный край, орошаемый величественной рекой, представлял собою зрелище безграничных опасностей и кровавых бедствий. Действительно, то, что делалось на правом фланге, заставляет бледнеть все ужасы чеченских и кабардинских набегов. Едва ли кто, выходя за порог дома, мог там поручиться, что воротится благополучно, по крайней мере, без приключений. Выезжали ли казаки в степь, отправлялись ли они к берегам Кубани — всегда и везде им предстояло натолкнуться на кровавые следы черкесской буйной расправы. Свежая сакма приведет их то к луже запекшейся крови да траве, примятой множеством следов, свидетельствующих об отчаянной борьбе, о чьей-то безвестно сгинувшей жизни; то к одиноко, сиротливо стоящей далеко в степи повозке без волов и хозяина. Подъедет, заглянет в нее казак — в глаза ему бросятся широко открытые мертвые очи старого станичника, сплошь порубленного шашками... Перекрестится он и скачет на пост поднимать теперь уже бесполезную тревогу.

Дерзость черкесов, воспитанная десятилетиями безнаказанности, переходила иногда всякие границы. Не только малыми шайками, поодиночке прокрадывались они в укрепленные казачьи станицы, чтобы совершить там свое кровавое дело и благополучно ускользнуть от преследований. Раз, летом 1821 года, в теплую июльскую ночь, черкес

забрался в самый казачий форштадт при Кавказской крепости, вошел в первый двор, у которого неплотно приперты были ворота, и стал выводить из-под навеса двух лошадей. Громкий собачий лай заполонил улицу. На дворе спал Вологодского полка церковник Заикин. Но едва он, разбуженный гамом, вскочил и окликнул хищника, как тот бросился на него с кинжалом, и Заикин упал, обливаясь кровью; он получил четыре раны. Та же участь постигла и жену его, выбежавшую на крик. Хозяин дома, отставной солдат из евреев, заперся в горнице. Поднялась тревога, все бросились на поиски, но уже и след простыл отважного черкеса.

Изо дня в день, то здесь, то там повторялись подобные факты, обрисовывая тяжелое положение края. И вечный говор стоял в русских селах и городах о черкесах, самый воздух был насыщен тревожными вестями и ожиданиями.

С 1821 года под влиянием, как сказано выше, Турции нападения черкесов усиливаются. Не поодиночке, а уже целыми партиями переходят они на русские берега. И чем многочисленнее была партия, тем большим свидетельством служила она о возраставшей враждебности черкесов.

Декабрь 1821 года была началом целой эпохи черкесских набегов, которые должны были в конце концов вынудить Ермолова принять те же меры, что и в Кабарде, то есть рядом экспедиций за Кубань, невзирая на то, что там была уже турецкая территория, внести во вражескую землю силу и месть, столь понятные воинственным азиатским народам.

Первое нападение, отразившееся в официальной переписке, было в середине декабря в дистанции Прочноокопской. Двадцать пять человек хищников, прокравшись внутрь кордона, напали на фурщиков, ночевавших у речки Чалбас, верстах в пяти от Кубани, и отогнали у них восемьдесят семь упряжных волов. Один из фурщиков успел добежать до Темижбекского поста и поднял тревогу. Хищникам на этот раз едва ли удалось бы благополучно убраться восвояси с тяжелыми на подъем волами, но их спасла оплошность начальника поста, пятидесятника Залуснина. Вместо того чтобы поднять соседние посты условным сигналом, он послал к ним с известием того же пешего Фурщика, а сам поскакал не на место происшествия, которое и было-то всего в одной версте от поста, в степь, по направлению к Кубани, рассчитывая, вероятно, отрезать горцам отступление. В тщетных поисках сакмы казаки проездили всю ночь и на совершенно измученных конях вернулись ни с чем. А между тем дорогое время было потеряно — пеший фурщик, перебегая от поста к посту, никого не мог известить своевременно. Резерв Темижбекской станицы, под начальством майора Пирятинского, только уже перед самым светом попал, наконец, на слеп и настиг хищников верстах в тридцати за Кубанью, на речке Зеленчук. Ему удалось отбить десять быков. Но дальше на измученных казачьих лошадях преследование оказалось невозможным. В это время прискакали новые казачьи резервы, высланные один из Григориополиса, другой — из Прочного Окопа. Оба они, соединившись, продолжали погоню, вновь настигли черкесов на реке Чамлык и еще отбили двадцать пять волов. Но уже приближался вечер, промешкать за Кубанью до ночи было опасно, и казаки возвратились назад, позволив хищникам уйти с остальной добычей.

Двадцать первого декабря подверглась нападению местность близ станицы Воронежской. Стоявшие там на Липатовом посту казаки увидели среди белого дня по-над лесом двух пеших черкесов и метким ружейным выстрелом положили одного на месте, другой же, проворно сняв с убитого оружие, ушел за Кубань. Казаки подобрали тело, полагая, что черкесы, по обычаю, будут его выкупать, и вернулись на пост. Но черкесы на этот раз поступили иначе. Не прошло и часа, как на русскую сторону переправилась партия в тридцать человек и понеслась прямо на пикет с явным намерением отбить у казаков тело.

Донцы, однако, сметили опасность вовремя и, привязав убитого к лошади, ускакали с ним в станицу. Черкесам пришлось возвратиться за Кубань ни с чем.

Два дня спустя, ночью, в самый рождественский сочельник, получены были сведения, что партия человек в двенадцать снова перешла Кубань и ударилась в степь между Кавказской и Темижбекской станицами. Пока казаки с разных сторон съезжались на тревогу, разъезд Кубанского полка, с урядником Шишкиным во главе, уже попал на след и встретил нового гонца, скакавшего с известием, что горцы отхватили табун на хуторе казака Рогачова. Разъезд повернул в ту сторону и через полчаса насел на хвост уходившей партии. Завязалась сильная перестрелка. Ружейные выстрелы, освещая мрак непроглядной ночи, указывали путь, по которому уходила шайка. Горцы поняли опасность своего положения и, бросив табун, пустили добрых скакунов во все повода, чтобы скорее постичь Кубани. Но от Кубани они были уже отрезаны. Новый разъезд, ожидавший партию на самой переправе, сбил ее в сторону. Попыталась она укрыться в лесу — лес окружили казаки. Тогда, не видя другого спасения, черкесы стали бросаться с берега, где ни попало. Многие утонули, другие, не имевшие сил плыть по студеной воде, возвращались назад под русские пули. В темную ночь не было возможности определить урон, понесенный партией, но в руках казаков остался один убитый, двое раненых и три оседланные лошади; под утро же, объезжая и свой, и черкесский берег, казаки нашли еще два трупа, собрали много оружия и поймали семь заседланных лошадей — знак, что если партия и не была истреблена вконец, то спаслись из нее не многие, да и те пешком.

С началом 1822 года стали доходить из-за Кубани тревожные известия; говорили, что черкесы собираются большими силами вторгнуться в русские границы. До наступления весны, а с ней и появления подножного корма, нельзя было ожидать, впрочем, значительных вторжений, тем более что закубанские ногайцы и темиргоевцы, жившие на плоскости, пока еще опасались пристать к черкесам открыто. Однако же враждебное расположение и их уже не подлежало сомнению. И вот, чтобы хоть сколько-нибудь обеспечить линию, Сталь предписал генералу Дебу расположить состоящие в его команде войска в трех главных пунктах: один отряд в станице Тифлисской, другой — близ Григориополиса, у Тернового поста, представлявшего собою одно из самых удобных мест как для прорыва, так и для поражения хищников, и наконец третий — на горе Недреманной, между Богоявленским селом и редутом Святого Николая. Войскам приказано было стоять налегке, не только без обозов, стеснявших движение и требовавших прикрытия, но и без палаток. Конные резервы линейных казаков были передвинуты так, чтобы по первой тревоге легко могли сосредоточиться и действовать массой, а на обязанность донских постов возложено было следить за неприятелем и извещать о переправе и направлении партий. Помимо того, в станицу Темнолесскую и в селения по Егорлыку: Каменнобродское, Николаевку и Сенгилеевку, как ближайшие к границе,— отправлены небольшие команды Тенгинского полка на случай, если бы закубанская конница, прорвавшись через линию, бросилась на эти деревни прежде, чем подоспели бы казачьи резервы.

Последнее распоряжение вызывалось чисто практическим опытом, показавшим, что и в прежние годы деревни, где случались команды даже в двенадцать-пятнадцать человек, всегда успешно отбивались от нападения. Принятые по линии меры не остались секретом для горцев и до некоторой степени обуздали их. Но, конечно, мелкие нападения не прекратились. С особенной же настойчивостью они сказались в позднюю осень, в ноябре 1822 года, когда войска по случаю наставших холодов были распущены. Официальные донесения опять сохраняют множество относящихся к этому времени кровавых происшествий, но из них особенно выдаются два случая.

В темную, глухую ноябрьскую ночь,— так рассказывал очевидец одного из них,— человек тридцать всадников, одетых в бурки, укутанных в башлыки, закрывающие их лица, осторожно пробирались по густым зарослям леса, раскинувшегося над крутым обрывом Кубани. Их легкие привычные кони неслышно ступали по кочковатой лесной тропе, заваленной во многих местах то сломанными бурей столетними деревьями, то хворостом, то кучами пожелтевшей опавшей листвы. На небе ни звездочки, в лесу гробовая тишина, только ветер шумит и стонет в поле. Поминутно останавливаясь, всадники чутко вглядывались в ночную темноту и прислушивались к малейшему шороху. Ружья их наготове. На недоброе дело собрались эти люди, ожидавшие ежеминутно встречи с опасностью, они знали, что в зарослях таится немало русских секретов, что одно неловкое движение, один неуместный звук — и им придется расплачиваться своими головами. И они не доверяли окружающей их тишине. Но вот еще несколько шагов — и перед ними лесная опушка. Секреты обойдены благополучно.

В трех верстах стоит казачий пост Надзорный, крутизною берега, глубиною вод и непролазной густотою леса защищенный от нападений, которых потому, обыкновенно, там и не ожидали. Несколько человек из предосторожности отделились, однако, в ту сторону, но скоро вернулись; на посту тихо: казаки спят, не чуя беды. Теперь всадникам оставалось проскакать расстояние верст в восемь-десять, и хутора, захваченные врасплох, не успеют ни откуда получить помощь.

Как тени, едва касаясь земли, беззвучно неслась шайка, обогнула Недреманную гору, проскакала мимо сельца Николаевка, с ее фантастически и мрачно выделявшейся на темном ночном небе высокой белой колокольней, и стала сдерживать коней; впереди, на одном из привельнейших займищ, посреди купы больших развесистых, но теперь оголенных деревьев, белели чистые, опрятные домики. Это был хутор братьев-однодворцев Мясоедовых.

Горцы подскакали к воротам, но те были на крепких запорах; хищники повалили плетень и среди злобного лая громадных сторожевых собак вскочили во двор. В доме замелькали тревожные огоньки, чья-то белая растрепанная фигура показалась на крыльце, раздался крик ужаса — и огни мгновенно потухли. Черкесы выломали двери, ворвались в горницу, но там уже никого не было; все, что было живого в доме, залезло в густой колючий терновник, подходивший к самому хутору.

Горцы сообразили, однако, куда могла укрыться добыча; они оцепили кусты, спешились — и начались розыски. Первый попавшийся на глаза, Борис Мясоедов, был изрублен в куски, его жена с тремя малютками и две маленькие девочки брата Борисова, Парфена, были захвачены в плен, сам же Парфен и его жена с двумя остальными детьми спаслись непостижимым чудом: они забились в самый куст терновника и не были замечены горцами.

Разграбив дом, шайка ударила было на соседний хутор Мосолова, лежавший всего в двух верстах. Но время близилось к рассвету, и хищники, удовольствовавшись тем, что отхватили здесь небольшой косяк лошадей, той же дорогой, тем же лесом пронеслись опять до Кубани, Счастливый набег не стоил им ни одного зерна пороха.

Только под утро и Парфен Мясоедов, и Мосолов, оправившиеся от страха, прибежали в Надзорный пост и дали знать о случившемся. Вспыхнул маяк, промчались казачьи резервы. Но поправить дела уже было невозможно. Хорунжий Серов доскакал до самой вершины Урупа, но хищники были уже далеко.

Прошло десять дней, и новая шайка человек в пятьдесят появилась в степи, у хуторов Григориополисской станицы. Один из хуторов стоял на реке Терновник, верстах в десяти от Кубани, и там жил отставной казак Таврило Максимович с женой и работником. Как на грех, перед вечером приехали к нему на хутор погостить еще однодворец Кохарев и казак Бомбардин с двенадцатилетним братом и шестилетней дочкой. Все по обыкновению заснули рано, а в самую полночь внезапно налетели горцы... Первый, привлеченный на крыльцо шумом, Кохарев был убит, остальные захвачены в плен, хутор разграблен, и горцы убрались за Кубань.

Следствие выяснило, однако, что не без вины в этом деле были и секреты, и начальник ближайшего Терновского поста. Дело в том, что двое рядовых Навагинского полка, лежавшие в секрете, слышали и порсканье плывших лошадей, и шуршанье сухой травы, но вместо того, чтобы выстрелом поднять тревогу, оба они бегом пустились с известием на пост, которым командовал тогда зауряд-хорунжий Важирин. Последний поскакал искать хищников не в степь, куда они прошли, а на то место, где лежал секрет; здесь даже следов не было найдено, и Важирин, вообразив, что секрету почудились черкесы, не осмотрев даже близлежащего леса, спокойно воротился домой. Был уже белый день, когда к нему прискакал казак от сотника Иноземцева с известием, что один из разъездов наткнулся на разоренный хутор, свидетельствовавший явно о недавнем ночном посещении его черкесами, и что Иноземцев уже поскакал в преследование. Тогда только выехал и Терновский пост, но и следов горцев уже не было.

Не всегда, конечно, удавалось уходить черкесам, не расплатившись за хищничество, и случалось, что небольшое количество казаков жестоко наказывало сильнейшего врага. Недолго спустя после разгрома хутора Максимовича, восемь человек черкесов осторожно, из-под ветра, подъехали к Усть-Лабинской станице и как раз наткнулись на выезжавший из нее разъезд Кубанского полка из девяти казаков, под командой хорунжего Кошелева. Внезапность не озадачила, однако, ни тех, ни других; противники, равные мужеством, бросились в шашки, и ни один черкес, ни один казак не подумал выхватить из чехла винтовку. Рукопашный бой кончился поражением горцев; четверо из них остались на месте, оружие и лошади их достались победителям. Из числа казаков ранены трое — и все холодным оружием.

Так изо дня в день в вечной тревоге проходила жизнь на правом фланге. Кордоны, по мнению самого начальства, были бессильны предохранить край от угнетающих его бедствий, хотя бы они и отличались идеальной исполнительностью.

“В кордоне, заведуемом командиром Кубанского казачьего полка майором Степановским,— доносил Ермолову Сталь,— видна его деятельность и осторожность, но нет никакой возможности защищать разбросанные по разным местам хутора, когда известия о хищниках всегда получаются поздно”.

Но все тревоги 1821—1822 годов бледнеют перед теми, которые грозили впереди.

XXVI. ТРЕВОГИ 1823 ГОДА (Темихбекские хутора и Круглолесск)

Для правого фланга Кавказской линии 1823 год был годом тяжелых испытаний. Набеги затихли, но уже с конца предшествовавшего года по городам, станицам и казацким хуторам вновь распространился, на этот раз упорный, настойчивый слух о намерениях черкесов большими массами ворваться в русские пределы и дотла опустошить пограничные земли. И слух был не напрасен. Давно уже побежденные кабардинцы, поставленные перед жестокой дилеммой — или покориться России и поселиться на

кабардинской равнине, или же покинуть родную землю и уйти за Кубань,— употребляли все силы, чтобы возжечь среди соплеменных и единоверных черкесов пламя ненависти к победителям, не раз уже депутаты их ездили по всему Закубанью, прося помощи. И теперь на собравшемся по этому поводу общем совещании черкесов было решено совокупными силами освободить от чужеземного владычества Большую Кабарду и отомстить России полным разгромом линии. Турецкий паша в Анапе употреблял, со своей стороны, все меры, чтобы поддержать в черкесах такое благоприятное для мусульманства расположение, обещая помощь; турецкое золото играло за Кубанью ту же роль, что персидское в Дагестане, с той лишь выгодной для Турции разницей, что она была несравненно тароватее Персии. Над линией готова была разразиться жестокая военная гроза. Предстояло иметь дело уже не с отдельными хищниками и не с мелкими партиями, главное стремление которых было поживиться на счет казаков,— вставал весь воинственный народ, чтобы отстоять свою полудикую вековую независимость и чтобы отомстить за попранные, как им должно было казаться, права, за поруганные святыни и самобытные обычаи.

По счастью для линии, общий энтузиазм черкесов был на время ослаблен внутренними раздорами. Одно из главных действующих лиц поднимавшего голову восстания был кабардинский князь Таустан Атажуков, и этот князь неожиданно погиб, убитый своим двоюродным братом князем Магометом Атажуковым, горячим приверженцем России. Это обстоятельство было одной из причин, задержавших нашествие. Немало мешала ему и давнишняя вражда между родными братьями Джембулатом и Мисостом Айтековыми, ослаблявшая необходимое единодушие. К этому присоединились неудачи, испытанные черкесами в Черномории и, как всегда, обнаружившие на впечатлительный азиатский народ большое нравственное влияние. Но все эти обстоятельства могли только оттянуть нападение; внутренние раздоры в Черкесии имели для линии даже свою острую сторону, держа в сборе большие вооруженные партии, которые, в случае ежеминутно возможного замирения, готовы были немедленно бурным потоком разлиться по русской границе и залить кровью пожары ее вольных станиц.

Действительно, едва наступила весна, отдохнувшая несколько от набегов линия должна была готовиться встретить врага. Еще недавно враждовавшие между собою сборища, вместе с бесленеевцами, издавна известными своим беспокойным нравом, образовали между собою наступательный союз, известнейшие закубанские князья стали во главе его, анапский паша и магометанское духовенство разжигали энтузиазм — жребий войны был брошен.

Ареной неприязненных действий должно было, по плану черкесов, сделаться все огромное пространство от границ Черноморского войска вверх по Кубани по самой Баталпашинской переправы.

Большим массовым нападениям естественно должны были предшествовать мелкие прорывы хищников, принимавших на свой страх и риск выразить возбуждение, овладевшее их страной. Так, первого апреля, часу в восьмом вечера, человек восемь черкесов, пробравшись берегом реки Енкули, выехали на Большую Ставропольскую дорогу под самой деревней Бешпагир. Здесь ходили табуны Темнолесской станицы. Гикнуть и отхватить косяк в шестьдесят лошадей было для хищников делом минуты. Но насторожившееся население не было застигнуто врасплох, и черкесы потерпели полную неудачу. Урядник Косякин, стоявший в прикрытии табуна, тотчас послал казака известить станицу, а сам, с четырьмя малолетками и одним старым казаком, кинулся в погоню. Шестеро казаков бросились на восьмерых горцев, и прежде чем из станицы и ближнего

поста, заслышавшего выстрелы, прискакали резервы, дело уже было кончено; Косякин возвратился назад с отбитым табуном.

Но случай этот, не представлявший собою ничего особенного, при всеобщем возбуждении и ожидании нападений обратил на себя особенное внимание, Государь, “ценя мужество, с которым Косякин бросился на хищников”, приказал произвести его в хорунжий и выдать единовременно триста рублей, а пяти казакам — по сто рублей. Ермолов, умевший ценить заслуги, но не разбрасывавший наград, однако же умерил значение, приданное подвигу Косякина. “Подобные происшествия на Кавказской линии,— писал он начальнику Главного штаба,— бывают часто, и я до сего гораздо превосходнейшие действия награждал из вырученной барантковой суммы. Полагаю достаточным урядника Косякина наградить одних чином зауряд-хорунжего, а казакам выдать по пятьдесят рублей. Прочие же деньги обратить для употребления на награды в подобных же случаях”.

Дело Косякина было прологом к суровой драме, готовившейся совершиться на Кубанской линии. Войска еще не были с сборе, а лазутчики доносили то и дело, что где-нибудь на обширном пространстве между станицами Кавказской и Григориополисской нужно ожидать большого прорыва.

Участком тем заведовал полковник Урнижевский, командир Тенгинского пехотного полка. Он принял все меры к охранению станиц и донес обо всем Сталю, который, со своей стороны, выставил в виде репли небольшой отряд у Недреманной горы. Но Сталь допустил серьезную ошибку, составив отряд из одной пехоты; пехота же, конечно, не могла не только опережать, но и просто преследовать конного неприятеля, отличавшегося в своих нападениях быстротой, смелостью и решительностью. И эта ошибка стоила дорого.

Донесения лазутчиков оказались верными. Скоро партия горцев человек в пятьдесят появилась на реке Чамлык, не в дальнем расстоянии от Кавказской крепости. Два дня она скрытно высматривала местность и наконец в ночь на пятнадцатое апреля беспрепятственно переправилась через Кубань верстах в двух от Ивановского поста и бросилась на хутора Темижбекской станицы.

Нужно сказать, что еще накануне, на заре, несколько черкесов под видом мирных приезжали сюда вызнать, где пасутся лошади — обыкновенный предмет их хищничества. Один из них даже расспрашивал об этом на хуторе знакомую девочку; та сказала, что лошади пасутся верст за шестьдесят, не обратив внимания ни на самый вопрос, ни на неурочное время, в которое появились всадники, и беспечно отправилась в станицу к заутрени. Хутора стояли верстах в семи от станицы, на реке Чалбас. Место было пустынное, в поле — ни души. Крепко должна была соблазнять черкесов мысль схватить девочку, но они воздержались, чтобы не вызвать переполоха и не испортить задуманного дела.

Нападение пришлось в самую полночь на Вербное воскресенье. Сторож успел ударить в набат, но горцы бросились по избам, начали резать мужчин, забирать в плен женщин и детей, разбивать сундуки и неистово грабить всякое имущество.

Черкесские лошади были привязаны к плетню. Отставной казак Ширяев, живший на хуторах, успел украдкой выскочить из хаты, обрезал у одной лошади чумбур, вскочил в седло и поскакал в станицу. Несколько человек черкесов погнались за ним по пятам, но добрый конь умчал его от погони. Это обстоятельство встревожило горцев. Они поторопились убраться подобру-поздорову и, зажегши хутора, к рассвету с добычей и

восемнадцатью пленными шли уже за Кубанью, направляясь к Урупу, где стояло большое главное скопище горцев. Всего на хуторах было убито три казака, ранено два и в плен взято одиннадцать мужчин и семь женщин.

Между тем станичный темижбекский резерв сел на коней, Ширяев уже снова скакал с известием на Мало-Темижбекский пост, а станичный начальник сотник Найденов, собрав оставшихся служащих и не служащих казаков, бросился на пост Бездорожный, чтобы поднять и его на тревогу.

Ранее других попали на след хищников урядник Кавказского полка Каширин, с Темижбекским постом, и урядник Кубанского полка Аверин, со станичным резервом. Они соединились и смело пустились за Кубань, куда вела их еще свежая, только что проложенная черкесами сакма.

Более серьезных мер преследования принято быть не могло. Как нарочно, уже приготовившаяся к отпору линия в этот момент не имела настоящего хозяина. Начальник правого фланга Дебу инспектировал войска в Черномории, старший по нем полковник Урнижевский отлучился куда-то из Кавказской крепости, где была его штаб-квартира, оставив вместо себя майора Пирятинского, офицера отличного, но не знавшего хорошо тогдашних обстоятельств и не имевшего верных сведений о неприятеле. Пирятинский не имел ни времени, ни права собирать казаков с дальних постов, и потому воспользовался только теми силами, которые были у него под руками. Взяв резерв Кавказской станицы и присоединив к себе отряд Найденова и Ивановский пост, что вместе составило человек сорок линейцев, он поскакал спасать хутора, но на хуторах уже все было кончено — они догорали. Тогда Пирятинский поскакал за Кубань.

Но там, за Кубанью, всем этим отрядам грозила беда. Верстах в двух от берега, с вершины высокого холма Пирятинский увидел следующую картину: за сильной неприятельской партией неслась малочисленная горсть линейцев — кавказские и кубанские казаки Каширина и Аверина, а верстах в двух от первой черкесской партии двигалась шагом другая, несравненно сильнейшая, которой казаки, очевидно, не видели. Можно было предсказать, что казаки попадут в западню между двумя партиями, и тогда гибель их будет неизбежна. Одна минута раздумья — и Пирятинский решается идти вперед, чтобы соединиться с ними, а затем, уже совокупными силами, попытаться отбить у хищников добычу и полон с хуторов Темижбекских. Ему предстояло быстро проскакать расстояние верст в восемь. Черкесы, в свою очередь, увидели Пирятинского. Они сметили, что готовая уже попасться в их руки добыча может ускользнуть, и решили не дать русским отрядам соединиться, а разбить их порознь. Быстро повернув назад, они бросились в шашки, и горсть линейцев, внезапно охваченная с двух сторон, не устояла, дрогнула и была опрокинута. Вся нравственная вина этого несчастного дела падает, нужно сказать, на урядника Кубанского полка Аверина. Будь в эту роковую минуту во главе казаков другой человек — линейцы спешились бы, как спешивались сотни раз под стремительным налетом черкесов, а через десять минут были бы выручены Пирятинским. Аверин же совершенно потерял присутствие духа и крикнул: “Спасайся, кто может!” Зловещий крик мгновенно распространил панику среди казаков, все с копыта шарахнулось назад и попало как раз под удары шашек черкесской засады.

Пирятинский уже был близко. Видя катастрофу, он скомандовал: “Стой! Слезай!”— и его казаки уже готовы были обратиться в неодолимую скалу, как на них налетела объятая ужасом бегущая толпа. Сам Аверин, вне себя от страха, весь перепачканный кровью — он был ранен в ногу — скакал впереди всех, крича: “Бегите! Не то перерубят вас всех!” Постыдная трусость Аверина повлияла и на отряд Пирятинского — страх заразителен.

Первыми поддались ему два урядника, Данилов и Белоусов: они вскочили на лошадей и бросились бежать, часть казаков последовала за ними. Минута была отчаянная. Храбрые офицеры, Пирятинский и сотник Найденов, загородили дорогу, угрожая рубить бегущих. Человек двадцать опомнились. Тесным кругом обступили они своих офицеров, и с этой минуты начинается геройская оборона горсти казаков против сотен храбрейших наездников — один из тех баснословных подвигов, которыми полна боевая летопись кавказских линейцев.

Оставя бегущих, черкесы всей массой обратились теперь на Пирятинского. Они считали эту горсть верной добычей, но жестоко ошиблись. Целый час кружились они около железной, сплоченной кучки людей, три раза бросались они в шашки и три раза отбитые скакали назад, увозя убитых и раненых. С каждой минутой росли нравственные силы казаков, никто уже не думал о жизни, а о том, чтобы продать ее дорогой ценой, и все бестрепетно смотрели в глаза смерти. Напрасно черкесы предлагали сдаться — им не отвечали.

В этой страшной борьбе черкесам удалось выбить нескольких лошадей из казачьего круга, но эти лошади стоили им десятков убитых и еще более раненых товарищей.

В последней атаке шапсугский старшина бей-Султан, весь закованный в панцирь, один врезался в кучку храбрых казаков и кинулся на самого Пирятинского. Мгновение — и тот был бы изрублен. По счастью, удар пришелся по лошади; она упала. Сотник Найденов, сам уже раненый, кинулся защитить Пирятинского и схватился с шапсугом; в эту минуту кубанский казак Якимов выстрелил из пистолета, и пораженный смертельной пулей в грудь, шапсуг едва успел выскочить из кучки казаков, как тут же упал мертвым. Черкесы успели, однако, подхватить его тело и вывезли из боя.

Потеря вождя смутила горцев. А между тем, вон скачут новые сильные казачьи резервы, их ведет сам командир Кубанского полка храбрый майор Степановский. Роли мгновенно переменяются: горцы несутся назад, казаки преследуют их и гонят до Чамлыка.

Дорого стоил русскому отряду этот кровавый день. Пирятинский, у которого весь сюртук был исстрелян пулями, получил две раны в кисть левой руки и выше локтя; Найденов был ранен навылет пулей в левую ногу. Казаков убито пятнадцать, ранено тридцать, двое пропало без вести — потеря громадная, если припомнить, что в деле было не больше шестидесяти-семидесяти казаков. Большинство убитых и раненых были, впрочем, жертвами собственной оплошности. Из двадцати казаков, защищавшихся с Пирятинским, убито и ранено было всего семь человек. Достойно замечания, что урядник Данилов, впереди всех бежавший из боя, был настигнут горцами и изрублен.

Так совершилась гибель Темижбекских хуторов и осталась не отомщенной.

Прошло около месяца. Еще впечатление от бывшего погрома не улеглось, как вдруг Георгиевск и все окружные селения были встревожены внезапным и быстрым отъездом областного начальника в Ставрополь.

Сталь выехал экстренно, ночью, и это дало пищу разговорам. По слухам, хищники, ободренные первым успехом на Темижбеке, большой массой перешли Кубань, разорили где-то на Калаусе аул мирных ногайцев, многие семьи взяли в плен, а казаков изрубили. Войска, разбросанные по квартирам на пространстве семнадцати верст, встревожились и зашевелились. Стали говорить, что закубанцы перешли границу не в одном месте, а в разных местах большими партиями и даже с пушками, что одни из них заняли около

Ставрополя деревни Каменноброды и Сенгилеевку, а другие уже в Круглолесске, то есть верстах в двадцати пяти от Георгиевска,— и все бежит перед ними. Рассказывали также, что донские казаки уже не в силах удерживать стремление хищников и лишь возвращают назад всех едущих по дорогам из Ставрополя или Георгиевска.

Напряжение слухов и тревожного ожидания возросло до невероятной степени, когда в тот же день сын содержателя почтовой станции в деревне Сабля, верстах в пятидесяти от Георгиевска, молодой мальчик, прискакал в город к отцу с новыми вестями. Запыхавшись, он рассказывал, что в Сабле весь народ всполошился, что к ним прибежали мужики из Круглолесска, в котором панцирники и турки выжгли дома, порубили всех солдат, мужиков с бабами угнали в плен, и что черкесы вышли теперь по сю сторону деревни кормить лошадей. По его словам, сам областной (Сталь) сидит в Ставрополе запертым, так как черкесы отрезали ему дорогу, и теперь нельзя по ней никому проехать.

Георгиевск готовился к обороне; при въездах расположились караулы, казаки пошли в разъезды, орудия были вывезены из парка и заряжены. С вечера и до полуночи жители всего города толпились перед крепостью, толкуя о нашествии черкесов.

На следующий день слухи разъяснились. Они имели в основании своем истину и были только преувеличены.

Действительно, одновременно три сильных партии появились на линии, придерживаясь заранее обдуманного плана. Две из них имели назначение развлекать силы и внимание русских; третья, главная, в числе семи тысяч человек, шла опустошать казацкие станицы, под предводительством известного в горах Джембулата Айтекова. Тринадцатого мая Джембулат вышел к Кубани при устьях Урупа, верстах в семи от Прочного Окопа. Здесь стоял отряд генерал-майора Дебу, настолько сильный, чтобы дать серьезный отпор, и скопище повернуло вверх по Кубани к переправе выше Невинномысского укрепления. Казачий пост из сорока хоперцев, с войсковым старшиной Солдатовым, встретил его на берегу. Но хоперцы были слишком слабы, чтобы остановить двигавшуюся прямо на них грозную силу; они посторонились и, пропустив мимо себя неприятеля, пошли по его пятам, давая знать во все окрестные отряды о направлении партии.

Другой отряд горцев шел к Ставрополю на Каменнобродск и Сенгилеевку, но только с намерением отвлечь от первого главные русские силы.

Сталь уже был в то время в Ставрополе. За неделю до этого анапский паша присылал к нему шпиона под видом своего адъютанта, предлагая принять совокупные меры для усмирения черкесов. Но пока Сталь слушал этого агента, пока сочинялись письма *к* паше, черкесы переходили Кубань.

Получив известие об этом и собрав войска, Сталь устремился сначала за второй партией, но пока он за нею гнался, семитысячное скопище Джембулата уже сделало свое дело. Направясь к Сергиевску и забрав по пути татарский аул на Калаусе, оно быстро промчалось на Круглолесск и опустошило его дотла.

Рассказывают, что партию провел к деревне мирный ногаец. Поутру девочка из крайней избы первая увидела хищников и закричала. Горцы изрубили ее и, рассыпавшись по домам, напали на безоружное и не успевшее очнуться от сна население, предавая все резне, грабежу и опустошению. В некоторых жителях они встретили, однако, геройское сопротивление. Один какой-то богатырь в своей избе изрубил топором девять человек, завалив телами всю комнату. Другой, с двумя сыновьями, засел за забором и, метко

отстреливаясь, не только не допустил до себя черкесов, но сам убил троих и забрал их лошадей. Очевидно, что все еще лежавшее на пограничном населении запрещение носить оружие имело очень вредную сторону; вооруженное, оно само сумело бы нередко отстоять себя от черкесов.

Не лишнее, впрочем, заметить, Что Круглолесск так жестоко поплатился отчасти за свою собственную неосторожность. Рассказывают, что в деревне еще за два дня до катастрофы стояла целая рота Кабардинского полка, но мужики, ревнуя своих жен к солдатам, настоятельными просьбами вынудили наконец вывести ее от них. Только двенадцатого мая рота получила приказание передвинуться в село Александрове и тринадцатого выступила. Но не успела она пройти половины пути, как Джембулат нагрянул на селение.

Капитан Цыклауров, командовавший ротой, получив об этом известие, тотчас двинулся назад, но было уже поздно. Джембулат предусмотрительно выслал ему навстречу большую партию, чтобы беспрепятственно докончить разорение станицы. Рота пробилась штыками, но спасти успела только незначительную часть селения, заплатив за это двадцатою пятью солдатами, выбывшими из строя.

Этих подробностей, переданных очевидцами, в официальных данных, однако, нет. В них не совсем точно говорится только, что две роты Кабардинского полка, расположенные в станице Невинномысской для охраны переправы, благодаря беспечности капитана Цыклаурова допустили разграбить деревню Круглолесскую.

Сталь, извещенный о разорении Круглолесской, понял план черкесов и только тогда быстро повернул назад на преследование Джембулата. В то же время другой отряд, подполковника Урнижевского, с двумя Черноморскими полками и частью пехоты, перешел Кубань у Прочного Окопа и двигался по левому берегу согласно с направлением главного отряда. Погода была ненастная, шел дождик, замокшие кремневые ружья не могли действовать, и черкесы, которым теперь приходилось заботиться о том, чтобы, в свою очередь, не попасть под удары русских отрядов с разных сторон, бросили большую часть награбленного скота, мешавшего отступлению, и спешили переправиться за Кубань, чтобы спасти хоть полон и самим избежать угрожавшей опасности. И они, действительно, рисковали жестоко поплатиться за дерзкий набег. На их счастье, пехота наша не могла соперничать с ними в быстроте и далеко отстала. Их настиг только линейный Кубанский казачий полк при двух орудиях конной артиллерии, под командой майора Степановского. На самой переправе через Кубань казаки ринулись в шашки, и завязался страшный рукопашный бой, без выстрела. До полутораста черкесов было изрублено, и лошади их сделались добычей казаков. Но не малое число погибло при этом и русских поселян, которых горцы не успели переправить через реку заблаговременно. Ожесточенные, они не хотели уступить их и принялись резать и топить в реке, так что пленных отбито не более сорока человек. Большая же часть их осталась в руках неприятеля; некоторых нашли потом на берегу варварски израненных. Тут же найдено было много скота, брошенного черкесами, но с подсеченными ногами. Известный Якубович долго преследовал горцев еще и за Кубанью.

Дело кончилось бы для Джембулата значительно хуже, если бы на помощь к нему не пришла измена. Подполковник Урнижевский, двигаясь по левому берегу, вышел бы как раз наперерез к бегущему скопищу; к несчастью, обманутый проводником, он повернул назад в то самое время, когда вся партия, вырвавшись из-под казачьих ударов, в страшном расстройстве скакала в весьма близком от него расстоянии. На Большом Зеленчуке, верстах в пятнадцати от места сражения, черкесы ночевали, а поутру, разделив добычу, разошлись.

Почти одновременно с этим ушла и третья партия, имевшая назначение не только отвлекать часть русских сил от Круглолесска, но и идти к вершинам Кумы и Подкумка, чтобы, по возможности, поднять и встревожить Кабарду. Она появилась между Баталпашинском и Усть-Тахтамышским постом в числе двухсот пятидесяти человек и направилась на Александрию, расположенную всего в двенадцати верстах от Георгиевска. Но здесь она нашла готовый отпор. Полковник Победнов отдал всем ногайцам, жившим на правом берегу Кубани, приказание — удалить все табуны как можно дальше от границы, а сам по пятам преследовал партию. Хищники успели, однако, захватить пасшийся близ Соленых озер большой табун ногайского владельца Балты, не исполнившего приказания Победнова, а затем спустились выше Каменного Моста на Кубань и, отступая к ее верховьям, скрылись в Карачаевские владения.

Нужно сказать, что и этой партии удалось уйти безнаказанно только благодаря беспечности подполковника Тарасова, стоявшего в Баталпашинске во главе небольшого отряда с казачьим конным орудием. Как при переходе за-кубанцев у Усть-Невинского поста тринадцатого мая, так и во время обратной переправы их между Баталпашинском и Тахтамышем пятнадцатого мая, он, по словам донесения, “оставался недвижим в своей квартире”, выставив только вокруг укрепления пикеты.

Но так или иначе линия была пока очищена от врагов.

В Круглолесскую был послан войсковой старшина Солдатов, чтобы привести в известность потери жителей. Он нашел деревню в положении ужасном: девяносто человек было убито черкесами, триста сорок два (сто сорок пять мужчин и сто девяносто семь женщин) захвачены в плен, имущество разграблено, одних лошадей угнано до шестисот, рогатого скота до восьмисот голов, почти все селение было выжжено.

Круглолесск, представлявший еще так недавно отрадную картину оседлой жизни со всеми ее благами, последствиями неустанного труда, поражал пустынной мертвенностью. Белые чистенькие мазанки, стоявшие стройными рядами, теперь рисовались только одними закопченными и разрушенными глыбами глины; ворота деревни, ее улицы загромождены были трупами; повсюду валялись оружие и камни, забрызганные кровью. Рука хищников не пощадила даже покоя усопших христиан. Растащив по клочьям богатства домов, хищники искали его и в истлевших гробах, разрывая могилы.

Да и не одна Круглолесская, а и вся страна представляла теперь вид пустынный. Отступление горцев не успокоило жителей; все ожидали, что, по азиатской манере, хищники, опьяненные успехом, нагрянут снова и будут колобродить по краю по тех пор, пока их не проучат порядком. И деревни опустели. Съезжавшиеся из России как раз в то время посетители минеральных вод говорили, что по Ставропольской дороге из всех деревень крестьяне разбежались.

Население края, однако, ошибалось, слишком запуганное страшным разгромом Темижбекских хуторов и Круглолесской,— опасность для Кубанской линии пока миновала. Как ни велика была захваченная главной партией черкесов добыча, потери, понесенные ею, были слишком значительны, чтобы не охладить рвения. Всеобщее отступление, превратившееся в конце концов в бегство, не могло поднять дух вольного народа. И как быстро, восточно-фантастически создался в Черкесии план полного опустошения линии, так быстро он и исчез, весь исчерпанный кровавым истреблением одной станицы, да и то лишь при помощи благоприятной для черкесов случайности, оставившей население беззащитным. Словом, ожидания черкесов были обмануты, энтузиазм их угас. И Сталь, тридцать первого мая воротившийся в Георгиевск, весь в

пыли, с красным загорелым лицом, имел основание быть довольным. Он, действительно, был доволен и весел, хотя по-прежнему несловоохотлив.

Но, с другой стороны, теперь было уже опасно ограничиваться простым отражением черкесов; они нуждались в хорошем уроке, который бы обуздал их непомерную дерзость. И в помощь Сталю, занятому сложными делами гражданского управления Кавказской губернии, в Георгиевске ожидали генерала Вельяминова, имевшего поручение от Ермолова объехать линию, ближе ознакомиться с вредом, причиненным нашествием черкесов, исследовать действия войск и причины оплошностей, и затем с отрядом идти за Кубань.

Тут оканчивается боевая деятельность Карла Федоровича Сталя, одного из лучших кавказских генералов, современника и ученика Цицианова, оставившего свое имя и в горах Осетии, и в грозных снеговых ущельях Хевсурии, и на цветущих равнинах Кахетии. Но в следующем затем, последнем году своей жизни, он, имевший уже случай обнаружить административные способности во время своего военного губернаторства в Тифлисе, оказал Кавказской губернии важные услуги, вписавшие имя его неизгладимыми чертами в летописи мирного развития края. Его деятельностью этого времени начинается преобразование Кавказской губернии в Кавказскую область с перенесением главного центра управления из Георгиевска в Ставрополь, сохраняющий это значение поныне. Ему же обязан своим основанием на минеральных водах, на месте некогда пустынных калмыцких кибиток, привлекающий теперь десятки тысяч посетителей город Горячеводск, ныне Пятигорск, составляющий лучший памятник Сталю.

На горячих водах Сталь и умер двадцать восьмого июня 1824 года, внезапно, от удара. Рассказывают, что перед смертью, за несколько дней, он ехал верхом с инженерным офицером по горе Машук и там, указывая место, выбранное им для городского кладбища, прибавил шутя: “Теперь надо, чтобы здесь для начала был погребен кто-нибудь из значительных людей”.

И он первый лег на пятигорском кладбище.

XXVII. ВЕЛЬЯМИНОВ ЗА КУБАНЬЮ

Весною 1823 года Ермолов был в Тифлисе. Здесь застали его донесения о бедствиях на правом фланге, о разгроме Темижбекских хуторов и Круглолесской. Особенно поразило его несчастье с Круглолесской; в одно только командование Сталя уже в третий раз над несчастными жителями станицы разражалась беда. Ермолова известили также, что за Кубанью, на Белой, собирались будто бы новые скопища. Необходимость серьезных мер была очевидна, и начальник кавказского штаба генерал-майор Вельяминов был послан на Кубань с инструкциями и обширными полномочиями.

Алексей Александрович Вельяминов как нельзя больше соответствовал тому назначению, которое на него возлагалось. Он был еще довольно молод, лет тридцати семи, но в закаленных чертах его рябоватого лица, с открытым челом и проницательным взглядом, выражалась какая-то жесткость характера и холодное равнодушие; про него недаром говорили, что он никогда не жалел о потерях, как бы велики они ни были, лишь бы сделано было задуманное. Вид его был чрезвычайно суров, особенно когда он думал и начинал грызть ногти. Один из современников говорит о нем, что “основательным умом, жестким характером, твердой волей и обширными сведениями о кавказских народах он мог произвести серьезный переворот в судьбе их”. “Натура сильная, непреклонная и чрезвычайно талантливая,— как пишет его биограф,— он никогда не оставался в тени,

даже стоя рядом с такой личностью, как Ермолов, для которого Вельяминов был не только ближайшим помощником, но его вторым я, другом, пользовавшимся его безграничным доверием”.

Таким образом, личные свойства Вельяминова, а еще более блестящее боевое прошлое, вселяли к нему доверие. На службу Вельяминов зачислен был по тогдашнему обыкновению еще в детстве, в лейб-гвардии Семеновский полк, и шестнадцати лет от рода был уже поручиком гвардейской артиллерии. Где воспитывался он — неизвестно, но он обладал обширными познаниями, особенно по математике. Боевая деятельность, начавшаяся под Аустерлицем и кончившаяся в стенах Парижа, далеко выдвинула его из рядов сверстников. Раненный в руку на штурме Рещука, имея Георгиевский крест за блистательное участие в трехдневном сражении под Красным, Вельяминов, тогда еще штабс-капитан первой гвардейской артиллерийской бригады, уже обратил на себя особенное внимание Ермолова. По настоянию последнего в 1816 году он и был назначен на важный пост начальника штаба отдельного Грузинского корпуса. Через два года, на двадцать восьмом году от рождения, он был уже генералом.

На Кавказе Вельяминов поспевает всюду, где только могла встретиться надобность в его знаниях и энергии: закладывает вместе с Ермоловым Сунженскую линию, строит Внезапную, громит акушинцев, затем усмиряет бунт в Имеретии, гасит восстание в шамхальстве, играет влиятельную роль в покорении Кабарды — и, наконец, является в роли начальника центра и правого фланга Кавказской линии.

Еще по дороге в Георгиевск, во Владикавказе, Вельяминов, ознакомившись с положением дел в Кабарде и на правом фланге, сделал важные распоряжения.

В то время начался разлив Кубани, уничтоживший все переправы от Невинного Мыса вплоть по Черного моря, и до спадения вод нельзя было ожидать никаких предприятий в этом районе со стороны закубанцев. Воспользовавшись этим, Вельяминов снял с кордона до шестисот кубанских и кавказских казаков и образовал из них сильный отряд, расположив его у Усть-Невинского укрепления с четырьмя конными орудиями. Другой конный же отряд из двухсот донских казаков с двумя казачьими орудиями, под командой полковника Победнова, стал между Баталпашинской переправой и Беломечетским постом. Почти весь Навагинский полк, силой в две тысячи штыков, расположился лагерем при горе Недреманной, оставив лишь слабые караулы по крепостям Усть-Лабинской, Кавказской, Прочно-Окопской и в редуте Святого Николая. Для конных разъездов вызвана была к этому отряду сборная сотни с левого фланга, из станиц Гребенских и Моздокских. Линейным казачьим полкам, Хоперскому и Волжскому, приказано было выставить сильные конные резервы в станицах Горячевской, на Малке, и в Московской, на Ставропольском тракте. Этим расположением войск заграждены были для закубанцев все пути наступления. В данное время, при весеннем разливе, они могли направиться только или к стороне Александровска, или на новую Кабардинскую линию, но отряды при горе Недреманной, у Усть-Невинского укрепления, и выше Беломечетского поста и закрывали именно эти дороги. Закубанцам оставался, правда, еще один путь в Кабарду — через верховье Кубани и через земли карачаевцев на Хассаут или Куркужин, путь тем более удобный, что кабардинцы, стремившиеся тогда уйти за Кубань, должны были встретиться с ними именно около этих мест, чтобы отправиться дальше уже под их прикрытием. Но, и здесь Вельяминов принял свои меры. У брода на Малке поставлен был сильный казачий пост, если и недостаточный для того, чтобы остановить кабардинских беглецов, то по крайней мере имевший возможность замедлить их движение, а второй батальон Ширванского полка, под командой подполковника Волжинского, стал у Каменного Моста для наблюдений за проходами по Хассауту, через брод Урдо и через

Куркужин. Сверх того, в случае действительного вторжения черкесов в Кабарду можно было бы двинуть сюда значительную часть войск с Кубани, и казачий резерв Волжского полка также не был бы в этом случае бесполезен. Впрочем, как и доносил Ермолову Вельяминов, пока закубанцы сидели смирно, и только ходил слух, что они намерены собраться для освобождения Кабарды. “Надеюсь,— прибавлял Вельяминов,— что сие предприятие с их стороны будет по крайней мере безуспешно”. И он, располагая войска по выясненному плану, думал не об отражении только нападающего врага, а о нападении на него в его собственных пределах: отряды поставлены были так, чтобы во всякий данный момент могли сосредоточиться, где угодно, и черкесы не имели бы никакой возможности помешать этому.

Ближайшие ногайские аулы, сидевшие по ту сторону Кубани, в большинстве участники разгрома станицы Круглолесской, поняли, что им надо ждать наказания, и едва отряды заняли назначенные места, как депутация их явилась к Вельяминову в лагерь у Невинного Мыса.

Вельяминову было известно, что при последнем вторжении Джембулат не только был принят в этих аулах и простоял там несколько дней, но к нему присоединились отсюда пятьсот человек ногайской конницы с несколькими князьями, и что потом, когда на обратной переправе партия понесла значительный урон и была преследуема, она нашла первый приют и убежище в тех же аулах. Поэтому Вельяминов не церемонился с депутатами; в выражениях весьма сильных он говорил об их вероломстве и потребовал, чтобы они или перешли на правый берег реки и поселились между казачьими станицами, или же совсем отодвинулись от линии, очистив равнину Зеленчука, и основались в горах. Но в том и другом случае они должны были сверх того вознаградить русские села за все, что те потерпели через их вероломный набег. Ногайцы нашли, однако, что в распоряжении Вельяминова слишком мало войска, да и притом еще пехота, чтобы он мог идти за Кубань, и гордо и решительно отказались выполнить его требования. Утром двадцать шестого июня они выехали из лагеря.

Но едва депутаты оставили лагерь, как войскам приказано было готовиться к походу. Вечером того же двадцать шестого июня, через час после вечерней зари, отправленной с обычной церемонией, батальон Навагинского полка в тысячу четыреста штыков и сборная сотня терских казаков, при девятнадцати орудиях, уже выступили по направлению к Баталпашинску. Палатки, между тем, оставлены в том виде, как были, и роте Навагинского полка поручено поддерживать огни, чтобы из аула султана Саламат-Гирея, находившегося как раз напротив, на левом берегу, не могли заметить отсутствия войска. По дороге, в Беломечетске, к отряду присоединилась сотня Кавказского полка с конным орудием, под начальством сотника Гречишкина; у поста Жмурина ожидали еще триста казаков Кубанского полка, под командой майора Степановского, с четырьмя конными орудиями; и наконец у самого Баталпашинска отряд увеличился еще сотней кавказских казаков, прибывшей с Усть-Тахтамыша, также с конным орудием. Таким образом, вечером двадцать седьмого июня на переправе через Кубань в Баталпашинске стоял уже сильный отряд из батальона пехоты, шести сотен казаков и двадцати пяти орудий.

Вельяминов вел дело так, чтобы захватить в аулах семейства и скот, а для этого нужны были быстрота и внезапность. Кубань была в разливе, и брода пришлось искать долго. Наконец он был найден, но настолько глубокий, что пехоту нужно было перевозить на казачьих лошадях. На это потребовалось чрезвычайно много времени, и переправа безостановочно продолжалась двадцать часов. Тем не менее к пяти часам пополудни двадцать восьмого июня русские войска стояли уже за Кубанью.

В этот пень, около десяти часов утра, казаки, первые перебравшиеся за Кубань, уже заложили свои секреты. На один из них скоро наехал закубанский князь Науруз Ураков с двумя узденями. Их захватили в плен. На допросе они показали, что в аулах ничего не знают еще о движении русских войск, но что приехал князь Эдыг Мансуров и уговаривает ногайцев отодвинуться для безопасности от границы. Пленных отправили к Вельяминову.

Между тем на тот же самый пикет наехала еще арба, сопровождаемая тремя конными ногайцами. Арба была захвачена, один из ногайцев убит, но два другие успели ускакать и подняли в аулах тревогу.

В арбе был взят менгли-гиреевский уздень с несколькими мужчинами и женщинами, ездившими за Кубань по собственным делам. Они подтвердили, что в момент их выезда ногайцы и не подозревали близости русских.

К одиннадцати часам ночи стянулся наконец весь отряд. Казаки немедленно двинулись вперед. Первые попутные аулы оказались пустыми — двое бежавших ногайцев успели предупредить их, и казаки нашли здесь только пикет человек из пятидесяти, который, дав залп, обратился в бегство. Но жители еще не могли, конечно, уйти далеко. Казаки пустились в погоню во все повода и скоро, действительно, настигли множество арб и скота. Ногайцы, потерявшие голову, даже не защищались и отдались в плен. Это были аулы князей Науруза Уракова и Мусы Таганова; первый из этих князей был захвачен в плен еще утром, Таганов успел ускользнуть.

Ниже этих аулов по Малому Зеленчуку никаких поселений не было, выше лежали абазинские аулы. Но так как они находились в далеком расстоянии, у самых верховьев реки, то Вельяминов оставил их в покое и повернул к Большому Зеленчуку, где, по известию, полученному капитаном Якубовичем от своего кунака, которому он когда-то рыцарски возвратил жену, стояли черкесы, грабившие Круглолесское селение.

Шесть сотен линейных казаков, под командой майора Степановского, с пятью орудиями, первые переправились через Малый Зеленчук и понеслись на рысях вперед. Сам Вельяминов остался наблюдать за переправой пехоты. Брод здесь оказался еще неудобнее и глубже, чем на Кубани, и двое рядовых Навагинского полка при переправе утонули. Между тем роты, по мере того как они переправлялись, быстро двигались по следам казаков. Первый эшелон пошел с капитаном Ильинским, второй вел сам Вельяминов, третьим командовал подполковник Урнижевский. Все тяжести, обозы и арбы с пленными оставлены были на правом берегу Малого Зеленчука в наскоро укрепленном вагенбурге.

Но как ни быстро двигались войска, черкесы, предупрежденные ногайцами, успели удалиться в горы. Между тем, доскакав до Большого Зеленчука и не найдя переправы, линейцы пустились через реку вплавь и с налета захватили пять ногайских аулов со всем их скотом и имуществом. В числе пленных захвачен был цвет ногайской аристократии; здесь были взяты: князь Алакай Мансуров со всем своим семейством, состоявшим из восьми человек, малолетний князь Магомет Нургадынов со своей матерью, князь Измаил Киримгиреев, родной брат известного в горах Бай-Мурзы, лично находившегося при разграблении Круглолесской, наконец жена самого Бай-Мурзы и княгиня (Карачачь?) с двумя дочерьми.

Когда подошла пехота, казаки уже переправляли добычу на свою сторону. Преследуя кочевья по разным направлениям, они раздробились так, что под рукою у Степановского не осталось и двух полных сотен. Нападать на дальнейшие аулы было бы неблагоразумно, тем более что переправить пехоту чрез Большой Зеленчук не было никакой возможности,

и казаком пришлось бы одним, на своих плечах, вынесть всю тяжесть боя, что оказалось бы нелегко, если бы из окрестных аулов подоспела помощь. Вельяминов приказал казакам начать отступление.

К вечеру почти вся баранта уже была переправлена, и лишь несколько сотен баранов на самой переправе были отхвачены внезапно появившейся сильной партией горцев. Вельяминов справедливо почел это последнее обстоятельство слишком маловажным, чтобы для него рисковать какими-либо потерями, не говоря уже о новой переправе казаков за реку, Но его не могло не беспокоить отсутствие капитана Якубовича, оставшегося с небольшим числом своих удальцов на том берегу, тем более что оттуда еще доносились глухие раскаты жаркой перестрелки. Там в действительности шло горячее дело, и сам Якубович был тяжко ранен. Он стоял за деревом, корда на него напали два горца; одного он положил на месте ударом шашки, но другой выстрелил в него почти в упор из ружья — и Якубович упал; пуля раздробила ему череп над правым глазом. К счастью, с Якубовичем были все люди, что называется, отпетые, бывавшие не раз во всяких переделках, которые умели найти выход из всякого положения. Отразив нападение горцев и не давая им опомниться, они кинулись в реку вплавь и благополучно, на глазах их, добрались до лагеря, перевезя с собой и любимого начальника.

В отряде немедленно разнеслась и всех встревожила преувеличенная весть, что Якубович убит. Она имела некоторое основание: Якубович хотя и пришел скоро в себя, но доктора, осмотревшие рану, признавали ее безусловно смертельной. Железная натура этого человека показала, что доктора ошибались,— через сутки Якубович, бледный, с завязанной головой, уже ехал на коне перед своей удалой ватагой. Черная повязка на лбу с тех пор сопровождала его повсюду — и в рудники, и в холодные снежные равнины Енисейска: рана не заживала до самой его смерти.

По случаю ненастной погоды два дня простояли войска на правом берегу Большого Зеленчука. А тем временем по горам распространилась тревога, и на помощь к ногайцам скакали со всех сторон беглые кабардинцы, башильбаевцы, бесленеевцы и абазины. Даже от абазехов успел приехать старшина Измаил Атуков с несколькими десятками всадников. Таким образом составилось сборище приблизительно в полторы тысячи человек, и Вельяминову было ясно, что горцы нападут на отряд при его отступлении.

Действительно, уже второго июля, когда весь отряд с пленными и стадами двигался обратно с Большого Зеленчука на Малый, в арьергарде и в боковых цепях на протяжении всего пути шла перестрелка, вырвавшая из русских рядов семь человек убитыми и ранеными. Переправа через Малый Зеленчук была совершена ночью. За отрядом, верстах в трех выше по реке, перешла и часть неприятеля.

От Малого Зеленчука к Кубани лежали теперь два пути: один на Баталпашинскую переправу, по которой пришел отряд, другой — на Усть-Тахтамышский пост. Горцы рассчитывали, очевидно, что отряд пойдет первым путем, но Вельяминов избрал последний, во-первых, потому что дорога на Баталпашинск шла самым берегом Малого Зеленчука, давая возможность черкесам стрелять через реку по отряду из-за кустов, не подвергаясь со своей стороны ни малейшей опасности, а во-вторых, потому что переход на Усть-Тахтамыш был значительно короче.

Закубанцы, которые оставались еще на левой стороне Малого Зеленчука, видя, что отряд обманул их предположения и ускользает от их огня, немедленно переправились также на правую сторону и соединились со своими. Между тем отряд успел пройти версты четыре. Начиналась обширная лощина, впереди которой виднелась вдали, справа, большая

лесистая гора, как раз примыкавшая к самой дороге. Вельяминов послал майора Пирятинского с двумя Навагинскими ротами и четырьмя орудиями заранее занять и лес и высоту, чтобы прикрыть движение с этой стороны, и отряд двинулся в лощину, занимая лежавшую также вправо, ближайшую высоту сотней казаков, с двумя конными орудиями, под командой Якубовича. Несмотря на тяжелую рану, Якубович явился среди войск с повязкой, чрез которую просачивалась еще свежая кровь, и во все продолжение похода, по словам Вельяминова, “не переставал отправлять самую деятельную службу и в сей день сражался с отличной, то есть с обыкновенной своей храбростью и благоразумием”. Закубанцы, между тем, большими толпами двигались также к лощине, и Вельяминов увидел решительное намерение их атаковать отряд с правой стороны.

Войска остановились. К Якубовичу немедленно были двинуты еще две сотни казаков с одним конным орудием и полусотней стрелков, а майору Степановскому с кубанскими казаками, тремя конными орудиями и ротой пехоты приказано занять высоту впереди той, на которой стоял Якубович, и от которой она отделялась просторной долиной; на эту же долину наведены были с дороги три орудия пешей артиллерии. Но еще не выполнены были все эти распоряжения, как черкесы стремительно бросились на отряд Якубовича. Якубович отбился, но горцы все-таки прорвались до главного отряда и, по словам одного из участников, врезались в пехоту. Вельяминов ничего не говорит об этом эпизоде в своем донесении, но рассказывают, что навагинцы потеряли здесь более тридцати человек изрубленными, что большой опасности подвергся даже сам Вельяминов и что неприятель был отброшен только меткой картечью из орудий капитана Давыдова. В то же время толпы горцев появились и на высоте, на которую шел Степановский. Но здесь неприятеля встретили уже и цепью Навагинского полка и пушечными выстрелами, как с дороги, на которой стоял отряд, так и с высоты впереди, которую занимал Пирятинский. Горцы остановились. В эту минуту Степановский атаковал высоту со своими кубанцами, сбросил горцев вниз и медленно стал подаваться по горе навстречу к майору Пирятинскому. Главный отряд также тронулся, согласуя свои движения с движениями Степановского. Тогда горцы всеми силами снова обрушились на Якубовича и только отрядили небольшую толпу занять лес, находившийся впереди, возле самой дороги. В лесу стояли, однако же, стрелки Пирятинского, и партия, встреченная здесь неожиданно сильным огнем, быстро отступила, но нападение на отряд Якубовича было весьма упорно. Закубанцы, давшие слово сломить его во что бы то ни стало, дрались с большей решимостью, нежели обыкновенно, и несколько раз бросались под самые орудия. Наконец, после трехчасовой борьбы, потеряв много людей убитыми и ранеными, они отступили и с тех пор уже не показывались. В десять часов вечера отряд переправился через Кубань и подошел к Усть-Тахтамышскому посту.

Неприятель понес значительные потери; в числе раненых находились и главнейшие его вожди: Измаил Алуков, Карамурзин и Мамбетов.

В руках отряда было тысяча четыреста шестьдесят семь человек пленных. Меньшая часть их отправлена в Георгиевск на казенные работы; большая — старики, женщины и дети — роздана по станицам и селам.

Так кончился первый поход Вельяминова за Кубань.

Всю экспедицию вынесли на своих плечах главным образом молодцы линейцы, поддерживаемые несколькими конными орудиями; пехота почти не принимала участия в столкновениях, и там, где ей это приходилось, как в эпизоде прорыва черкесов мимо Якубовича, оказалась недостаточно знакомой с духом и боевыми приемами черкесов. Вельяминов даже писал Ермолову, что в войсках, расположенных по Кубани и долгое

время не имевших действий с закубанцами, он заметил “чрезмерно большое к черкесам уважение, в котором участвуют и самые офицеры”.

Оба Зеленчука, и Большой и Малый, были очищены от враждебного населения, а на месте его, почти до самой Лабы, лежало теперь обширное пустое пространство, делавшее разбойничьи предприятия горцев значительно труднее. Конечно, горцы не относились к этому обстоятельству равнодушно, и весь август происходили в горах съезды и совещания. Чтобы вознаградить потери на Зеленчуках, черкесы в конце концов склонялись к решению ворваться в Кабарду и увести за Кубань мирных кабардинцев; на этом более всего настаивали беглые кабардинские князья, в особенности али-Карамурзин и Измаил Касаев. Но были и противные мнения, и партии то прибывали, то убывали. Наконец, в начале сентября, горцы окончательно разошлись по домам, не приняв никакого решения. Между тем понижение вод вновь открыло пути мелкому хищничеству: появились партии, но большей частью, впрочем, они возвращались домой без добычи и с потерями.

При таких благоприятных предзнаменованиях наступала осень, и Вельяминов уже склонялся к мысли, что мелкими попытками грабежей и разбоев ограничатся все предприятия горцев. Вышло, однако, иначе. В том же сентябре вновь съехались горцы на совещание — и настоятельные требования нового набега немедленно восторжествовали; остался только нерешенным вопрос, куда именно он будет направлен. Беглые кабардинцы и тут настаивали, чтобы идти за Малку, но ногайцы, потерявшие на Зеленчуках большое количество пленных и скота, предлагали набег за Кубань, где им можно было бы грабежом русских селений вознаградить свои потери. Идти за Малку, в район, наполненный скученными русскими укреплениями и войсками, самим черкесам представлялось делом рискованным, и они склонились на предложения ногайцев. Было решено дождаться только полнолуния и напасть либо на селение Каменнобродское, либо на Сенгилеевку.

Находились, однако, нетерпеливые партии, которые не стали ожидать новолуния, а пошли грабить теперь же, и на линии начались тревоги за тревогами. В самом конце августа сорок кабардинцев внезапно появились под Воровсколесском, схватили двух казаков, беспечно стоявших за околицей, и на глазах просыпавшейся станицы кустами и балками ускакали назад прежде, чем на площади успели ударить в набатный колокол. А десятого сентября еще более значительная шайка кинулась на Сухопадинские хутора, принадлежавшие селу Александрия. Здесь одна часть горцев захватила табун и погнала его за Кубань, другая же, человек в тридцать, устроила засаду на проезжей дороге под мостом близлежащей речки. На заре показался обоз, медленно спускавшийся с горы к этому мосту. Впереди ехал казак, на переднем возу сидели три крестьянина, на задних — бабы и дети. Вдруг грянул выстрел. Казак свалился с лошади, и черкесы, выросшие как из земли, оцепили обоз. Крестьянин, схватившийся было за вилы, мгновенно был изрублен, а все остальные очутились в плену. Не теряя времени, партия опять повернула на хутора, захватила станичное стадо, пасшееся на выгоне, вместе с бывшими при нем четырьмя мальчиками, и ускакали за Кубань. По дороге черкесы, против обыкновения, бросили женщин, а лазутчики говорили потом, что они привезли за Кубань только семь мальчиков; куда они девали взрослых крестьян — осталось неизвестным.

Два дня спустя, двенадцатого сентября, новая партия горцев отхватила на реке Тахтамыш большой табун, принадлежавший ногайскому князю Мусе Таганову. Но тут ее постигла неудача. Проезжая на возвратном пути в полуверсте от Открытого поста, она была замечена секретом. На тревогу выехал казачий пост и настиг партию в трех верстах за Кубанью. Сотник Гласков, имея в своем распоряжении не больше сорока казаков, не

задумался, однако, ударить на хищников. Черкесы дали отпор, но, сбитые дротиками, оставили табун и обратились в бегство. Казаки гнали их до самых вершин Подкумка. Доскакав до ущелья, хищники спешились, но здесь казаки не решились броситься снова в пики и ограничились только перестрелкой. Попытка выбить неприятеля из его крепкой позиции могла бы стоить многих жертв, и Гласков возвратился назад, потеряв во всем деле одного казака убитым и двоих ранеными.

Намерения горцев тотчас же стали известны Вельяминову; он решил предупредить их, и как только аулы, бежавшие с Зеленчука, осядут на Лабе, у предгорий, нагрянуть на них опять с линейными казаками.

После первой экспедиции Вельяминов стоял у Невинного Мыса, Кацырев — у Прочного Окопа, а донской полковник Победнов — у Тахтамышского аула. Но в конце сентября отряды вновь пришли в передвижение. Батальон Ширванского полка от Каменного Моста перешел к Невинному Мысу, куда прибыли также две роты из Круглолесской и стягивались казачьи резервы из линейных полков: Кубанского, Кавказского, Волжского и Хоперского. Составился сильный отряд в три тысячи человек пехоты и восемьсот линейных казаков, при четырнадцати пеших и двух конных орудиях.

В ночь с двадцать девятого на тридцатое сентября Вельяминов вдруг двинул этот отряд за Кубань. Войска шли всю ночь, не зная, куда и зачем идут; днем они скрывались в балках или в лесах, а с вечера снова шли и, сделав таким образом, менее нежели в сутки, более ста верст, первого октября утром очутились на Чамлыке. Якубович с небольшой партией казаков пустился далее, к стороне Лабы, на разведку, а вечером по его следам двинулся опять и весь отряд. Скоро от Якубовича пришло донесение, что близ Лабы видны огни, но что сильный лай собак мешает ему приблизиться. Вельяминов тотчас послал к нему батальон ширванцев с шестью линейными сотнями. Тревога оказалась, однако, фальшивой: Якубович в темноте принял за аул находившийся вблизи редкий лес, а огни, им виденные, вероятно, горели у караульных пастухов. Но вскоре от Якубовича прискакал новый гонец с известием, что он перешел Лабу и стоит под аулом, что аул уже просыпается, и пастухи выгоняют скот. Тогда шесть сотен линейных казаков, под командой командира Волжского казачьего полка майора Верзилина, быстро переправившись через Лабу, во весь дух понеслись на помощь к Якубовичу. Две роты Навагинского полка и одна Тенгинского, с четырьмя орудиями, поддерживали движение конницы.

Казаки успели окружить три аула, стоявшие в близком расстоянии один от другого. Это были ногайцы, прогнанные с Зеленчука и только что начинавшие устраивать свои новые поселения на Лабе по указанию своего владельца князя Эдиге Мансурова. Аулы захвачены были совершенно врасплох. Сам Эдиге Мансуров едва успел каким-то чудом ускакать с женой, но все его имущество осталось в русских руках. Весь скот, в количестве двух тысяч голов, был взят при первом же налете. Из жителей не спаслось почти ни одного: триста человек были вырезаны, пятьсот шестьдесят шесть душ захвачены в плен. “Непомерная потеря неприятеля,— замечает Ермолов,— произошла от того, что казаки на самом рассвете застали жителей спящими и мгновенно отрезали сообщение между аулами. Свободной оставалась одна сторона, к Лабе, но пехота, скрытно прошедшая до самой переправы, заняла прибрежный лес — и все, что в нем искало спасения, или погибло, или было взято в плен”.

Современники говорят, впрочем, что была другая причина жестокого истребления горцев. Дело в том, что пленные, во избежание расходов казны, по приказанию Вельяминова раздавались на содержание линейных казачьих станиц. Мера эта, приводившая казаков к

излишним издержкам, крайне им не нравилась и имела печальные последствия: чтобы отделаться от этих расходов, казаки совсем перестали брать пленных и не щадили ни детей, ни женщин.

В числе пленных были: малолетний князь Шабан-Гирей, дочь князя Каммукая Мансурова и две сестры князя Сали-бея. При одной из последних была прелестная четырехлетняя дочь, но испуг так подействовал на малютку, что она захворала и умерла на одном из переходов. Тут же, в числе пленных, оказался и сын султана Менгли-Гирея, генерала русской службы, отданный им, по народному обычаю, на воспитание закубанцам. Его вместе с аталыком отправили к отцу.

Весь бой вели и на этот раз почти одни линейцы; пехота подошла только тогда, когда дело уже было совершенно окончено. Потеря казаков была ничтожна и не превышала восьми человек, но в числе выбывших из строя, к сожалению, находился храбрый сотник Моздокского полка Старожилов: он был ранен смертельно и на другой день умер.

На следующий день, второго октября, пока войска стояли еще на правом берегу Лабы, в лагере, закубанцы показывались с разных сторон, но ничего не осмелились предпринять против отряда. Войска простояли на занятой позиции до седьмого октября, и во все это время черкесы поминутно появлялись то против водопоя, то против фуражиров, то против наблюдательного казачьего поста, выдвинутого на высоту, далеко за черту лагеря. Но дело всегда ограничивалось лишь перестрелкой на дальнем расстоянии.

Однообразие лагерной стоянки нарушилось здесь приездом к Вельяминову какого-то турецкого чиновника, который от имени анапского паши требовал, чтобы Вельяминов остановил опустошение земель, принадлежавших султану, и возвратил всех пленных, взятых в аулах князя Эдиге Мансурова. “Я отвечал ему,— говорит Вельяминов в донесении об этом,— что не мы начали неприязненные действия, и потому он прежде обязан заставить горцев возвратить все, что ими взято на линии, а до тех пор не только не возвращу их пленных, но буду продолжать опустошения по мере моей возможности, и надеюсь наконец принудить горцев повиноваться распоряжениям султана, заботящегося о поддержании добрых отношений между Россией и Портой”.

Седьмого октября отряд, обремененный добычей и пленными, двинулся наконец обратно к Кубани. Черкесы провожали его слабой перестрелкой, и только раз довольно горячо, но не стойко, напали на арьергард, не вдаваясь, однако же, в опасности. Урон, понесенный ими на Малом Зеленчуке, кажется, сделал их более осторожными; по замечанию Вельяминова, “они были скромны в своих атаках”.

В час пополудни вдруг подул сильный встречный ветер и замедлил движение. Отряд шел не дорогою, а целиной, по густой траве и бурьяну. Черкесы быстро сообразили возможность нанести ему ужасный вред. Во весь дух они обскакали его стороной и скрылись из виду. Никому из русских не приходила и мысль о возможности степного пожара, как вдруг солдаты увидели впереди себя горевшую траву, и не более, как в четверть часа стена пламени, гонимая вихрем, с густым дымом шла прямо на отряд. Поднялась тревога, солдаты и артиллерия повернули назад. Но огонь быстро догонял их; опасность становилась с каждой минутой страшнее и очевиднее. К счастью, кто-то догадался зажечь траву позади отряда, и тот же степной пожар, который грозил ему спереди, явился его спасителем в тылу; скоро очистилось обширное пространство без травы, и обозы с артиллерией расположились в безопасности на поле, еще покрытом неостывшим пеплом.

Но еще раньше этого уже произошла горячая схватка с черкесами. Следуя за стеной пламени и оглашая воздух радостным гиком, они считали отряд своей добычей. По счастью, в авангарде был Якубович, быстро сообразивший возможность обратить во вред неприятелю самую выгоду его положения. Триста спешенных казаков и цепь Наваги некого полка бросились за ним через огонь остановить неприятеля. И вот неожиданно выскочившие из пламени казаки и солдаты дружным залпом в упор страшно опустошили ряды неприятеля и бросились на него в кинжалы, в шашки, в штыки и приклады. Бой, посреди удушающего смрада горевшей травы, длился лишь несколько минут, и горцы бежали в совершенном смятении. Не лишнее сказать, что первым проскочил через пламя подпоручик Навагинского полка Ваницкий.

Таким образом, отряд на этот раз счастливо избежал грозившей ему опасности. По счастью, закубанцев было не много, и только потому придуманная ими хитрость окончилась ничем. Если бы они, пустив линию огня спереди, могли окружить отряд с тылу и флангов, стараясь задержать его на месте, трудно было бы с ними справиться: ему приходилось бы или сгореть среди взрывов зарядных ящиков своей артиллерии, или же погибнуть в беспорядочной битве, так как о сохранении строя в подобном случае нечего было бы и думать.

Урок, данный горцам Якубовичем, заставил последнего оставить преследование. Только вечером, когда отряд остановился на Лабе, горцы еще раз попытались появиться на противоположном берегу, чтобы тревожить выстрелами лагерь. Но в лесу уже стоял опять вечно грозный для них Якубович, и они должны были оставить свое намерение. Двенадцатого октября отряд, нище уже больше не тревожимый горцами, прибыл в Усть-Лабинскую крепость.

Экспедиция эта стоила беглым кабардинцам дорого, между прочим, в том отношении, что они потеряли тяжело раненным в ногу одного из известнейших своих наездников, молодого князя Измаила Касаева.

На Кубанской линии на время опять водворилось относительное спокойствие.

Показав закубанским племенам, что наступило время, когда ни одно из их нападений не будет оставаться безнаказанным, Вельяминов принялся за устройство пограничной линии. Он нашел самую систему охраны правильной. Два донские полка растянуты были кордоном по берегу Кубани от границ Черномории до Баталпашинска. Сзади этой линии постов два линейные полка, Кубанский и Кавказский, образовывали конные подвижные резервы, долженствовавшие охранять внутренние селения. Сверх того, в местах наиболее опасных каждую ночь закладывались секреты.

Но оплошное исполнение сторожевых обязанностей здесь было, к сожалению, явлением не редким; особенно страдали этим дистанции, занятые донскими казаками, где замечалось и наибольшее число прорывов. Вельяминов объявил, что такие обстоятельства, как глухая осень, темные ночи, бурная, ненастная погода и т.п., на которые обыкновенно ссылались тогда для оправдания оплошности, не могут избавлять кордонных начальников от ответственности, что именно в ненастную пору и не должны случаться прорывы, так как тогда труднее нападать, нежели защищаться. Он сам не поленился объехать посты и кордоны и личным опытом убедился в необходимости перебросить секреты и на ту сторону реки.

Секреты эти приносили большую пользу, которая отразилась в многочисленных рассказах, сохранившихся и поныне в устах очевидцев. Вот один из них.

Однажды десять отличных молодцов линейцев с двумя офицерами отправились в секрет, к известной казакам горе, у которой сходятся несколько дорог, служивших горцам обычными путями в русские границы. Казаки залегли под обрывистыми скалами, в камышах, совершенно скрывавших их. Рано утром из ущелья показался всадник на красивом белом коне, за ним другой, третий,— и казаки насчитали их до двадцати шести. Всадник на белом коне ехал впереди всех, прочие толпились в нескольких шагах от него, и партия направлялась прямо на казаков. В саженях двухстах от секрета белый конь вдруг остановился, как бы испуганный, и бросился назад. Всадник ударил его нагайкой, и рьяный конь сделал скачок, пронесся на большое пространство и, остановленный твердой рукой всадника, уставил уши, раздул ноздри, фыркнул — и опять со всех ног бросился назад. С удивлением и любопытством смотрели казаки на легкие, воздушные движения коня и на красивую фигуру всадника. Одежда, панцирь, шишак, богатая шашка, кинжал и лук с колчаном, все облитое серебряным вызолоченным набором под чернью, обрисовывало, при восходящих ярких лучах солнца, высокий стройный стан, мужественные и вместе с тем необыкновенно красивые черты лица всадника, имевшего вид красавца рыцаря средних веков.

Казаки знали, что этот красивый всадник был из числа самых ожесточенных врагов России, закубанский владелец; окружен он был отважнейшими своими узденями.

Удержав и повернув опять белого коня своего, бросившегося от испуга назад, всадник пригнулся к седлу и чрез несколько мгновений осадил коня уже шагах в тридцати от секрета. Уздени были также на лихих конях и от него не отстали. Но верный белый конь с тончайшим инстинктом зверя опять почуял засаду. Он снова фыркнул, поднял гриву и весь дрожал, как бы предупреждая всадника о грозившей ему опасности. Но вот раздался условный для секрета сигнал — легкий, едва слышный свист,— и грянул залп. Несколько пуль поразили закубанского владельца и бывшего вблизи узденя, оба они свалились с лошадей, еще один уздень схватился руками за грудь и упал на луку своего седла, прочие бросились к убитым, с необыкновенным проворством подхватили их и во весь опор понеслись назад в горы.

С сожалением смотрели казаки на оставшегося без всадника, также раненого белого коня. Неся окровавленную ногу, истекая кровью, он долго не отставал от своих, но силы постепенно оставляли его, и он пал у подошвы горы, за которой скрылись черкесы.

Секрету оставаться на своем месте было уже бесполезно, да и опасно. Следовало ожидать, что сильная партия закубанцев будет отправлена для осмотра местности,— и казаки поспешили воротиться в лагерь.

Подобным образом секреты не раз отпугивали закубанцев от линии, но частные прорывы, конечно, все-таки по-прежнему случались, нередко принимая в воображении населения размеры гораздо больше действительных. Так, второго ноября 1823 года по линии распространился слух, что будто бы закубанцы опять напали около Ставрополя на деревни Каменнобродку и Сингелеевку, разорили несколько домов и взяли в плен около ста пятидесяти душ, а на возвратном пути сожгли Прочно-Окопские хутора и намерены разорить самую станицу. Нарочный, прискакавший с этим извещением от князя Бековича, говорил даже, что если бы не удержали хищников небольшие команды солдат с пушками, они истребили бы селения дочиста. Слух этот, как и следовало ожидать, оказался неверным, и дело разъяснилось следующим образом. Второго ноября человек тридцать кабардинцев, пробравшись на Куму, к Маджарам, где вовсе не было войска, напали около села Владимировки на табун, принадлежавший помещику, угнали шестьдесят лошадей и взяли в плен пастуха. За ними погнались вооруженные помещичьи крестьяне, напали

ночью на сонных грабителей, троих убили, и пастуха из плена выручили, но лошади были все-таки угнаны черкесами, пригрозившими явиться еще раз и добраться до самого помещика.

И вот этот-то ничтожный и столь обыкновенный на Кубани случай, под влиянием все еще господствовавшей круглолесской паники, вырос в глазах испуганного населения до колоссальных размеров истребления целых сел и отрядов.

Впрочем, крестьяне по деревням, наученные горьким опытом, стали теперь заботиться и сами о своей защите. Одно официальное донесение отмечает, что они закупали беспрестанно, где могли, ружья с целью, конечно, быть готовыми встретить врага не с голыми руками.

С другой стороны, войска не оставались также равнодушными перед фактами грабежей, и время от времени предпринимались .ответные набеги. Так, первого ноября полковник Победнов с пятьюстами казаков, при трех орудиях, сделал движение к стороне Эльбруса, и высланная им вперед команда из двадцати трех человек, напав на Карачаевский кош, угнала, при слабой перестрелке, до тысячи баранов.

Словом, тревожная жизнь Кубанской линии вступила в обычную свою колею, в которой спокойствия не было, но и не было, по крайней мере, слишком крупных тревог и нашествий.

Вельяминов вскоре уехал на минеральные воды, поручив войска на Кубани своему достойному помощнику Кацыреву.

XXVIII. КАЦЫРЕВ НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ (1824 год)

Немногие из кавказских деятелей пользовались такой громкой и заслуженной известностью, как Юрий Павлович Кацырев, давший своими действиями на правом фланге в 1824 году пример самостоятельной и весьма практичной системы отношений к черкесским племенам Закубанья.

Кацырев был личностью незаурядной. Настоящая фамилия его была Казара. По словам Родожицкого, он происходил из греков, поселившихся в Полтавской губернии, куда он часто и ездил с Кавказа в отпуск к матери и сестрам. Но сам он выдавал себя всегда за родственника известного генерала Мелиссино. Воспитание он получил в кадетском корпусе, откуда вышел в 1804 году подпоручиком в седьмой артиллерийский полк, расположенный в то время на Кубани. Хорошо образованный, прекрасно владевший иностранными языками, он обратил на себя внимание генерала Глазенапа, командовавшего тогда Кавказской линией, и сделал с ним Кабардинский поход, бывший началом его необыкновенно деятельной боевой жизни. Вся служба Кацырева есть непрерывная цепь походов в Грузии, на линии, в Чечне и в Дагестане. Ермолов имел случай оценить его военные дарования и постарался выдвинуть его из ряда сверстников. Награжденный за Мехтулинский поход и бой под Лавашами Владимирским крестом и чином подполковника, он получил в командование двадцать вторую артиллерийскую бригаду. Энергичные действия его в Кабарде и поход с Ермоловым в Баксанское ущелье доставили ему чин полковника, орден св. Анны 2-ой степени, украшенный бриллиантами, и назначение командовать войсками, расположенными в центре Кавказской линии. С приездом на правый фланг Вельяминова, Кацырев был вызван в действующий отряд в качестве начальника всей артиллерии, и в обоих походах за Кубань является одним из важнейших его помощников.

Проведя всю свою жизнь среди военных треволнений Кавказского края, Кацырев был незаменим по своей опытности. Для центра и правого фланга Кавказской линии он стал тем же, чем был Греков для левого, хотя, при равных военных дарованиях, они отличались резко друг от друга характерами и самой наружностью. Родожицкий, хорошо знавший обоих, характеризуя в своих записках Кацырева именно по сравнению с Грековым, говорит: "Греков по виду воин не бойкий, смирный, кроткий, и я с первого приема даже не почел его за генерала, так он показался мне молод и неказист. Кацырев, напротив, был человек суровый, скрытный и нелюдимый. Он был очень завистлив к успехам других и не терпел князя Бековича, когда тот стал выдвигаться на Кубани своими боевыми подвигами". И Кацырев в своих отношениях с горцами был, точно, суров до беспощадности.

Таким образом, когда осенью 1823 года Вельяминов уехал в Георгиевск, оставив охранение правого фланга на руках Кацырева, постигавшего лучше, чем кто-либо, систему черкесской войны, нужно было ожидать важных проявлений его энергии.

Действительно, хотя на всем огромном, в двести пятьдесят верст, протяжении правого фланга, от Баталпашинска до Черноморья, линия оборонялась только двумя линейными казачьими полками, Кавказским и Кубанским, двумя полками донцов да пятью батальонами пехоты (полков Ширванского, Тенгинского и Навагинского с двадцатью двумя орудиями; хотя с этими ограниченными средствами приходилось охранять и пятигорские минеральные воды, и Георгиевск со Ставрополем, и полковые штаб-квартиры в Кавказской и Темнолесской крепостях, и наблюдать еще всю незаселенную часть Кубани, от вершин ее и до Прочного Окопа, где, благодаря гористой, покрытой лесом местности, преимущественно и делались набеги вглубь края до самой почтовой дороги; хотя, таким образом, для действия в поле у Кацырева оставалось не более трех с половиной тысяч пехоты и конницы, так как все остальное было, так сказать, прикреплено к известному месту, а донские полки для действия против черкесов и вовсе не употреблялись,— несмотря на все это он нашел средства не только останавливать мелкие набеги черкесов, но и продолжить Вельяминовскую систему наказания горцев жестоким разорением за каждую их попытку грабежа и насилия.

Главные правила Кацырева в походах были скрытность сбора, секретные марши, внезапность нападения и удар решительный. Он никогда не держал войск на виду; большая часть их была расположена по квартирам в ближайших селениях, некоторые части стояли лагерем где-нибудь в секретных местах и тотчас переменяли стоянку, если Кацырев замечал, что черкесы узнавали о ней. Сам же он не жалел средств на лазутчиков и заранее узнавал решительно все, что затевалось у черкесов.

Замыслив поход, он секретно рассылал войскам приказание, чтобы они по ночам, тайными переходами, собрались к определенному часу прямо на место, назначенное для переправы через Кубань. Заблаговременно собрав сведения о местности Закубанского края, он никогда никому не доверял предположенной им цели экспедиции. Велит, бывало, проводнику вести себя на такую-то речку; придут — "веди на такое-то урочище". Войска делают ночью усиленный переход — и как снег на голову являются там, где их вовсе не ожидают. И скоро Кацырев стал истинной грозою Закубанья. Важнейшие черкесские князья не раз приезжали на линию исключительно затем, чтобы видеть в лицо человека, который так удачно перенял их систему набегов; имя его до последних дней кавказской войны помнилось и поминалось горцами.

К сожалению, Кацыреву не удалось вполне развернуть свои блестящие военные дарования: он умер слишком рано (седьмого марта 1828 года, на сорок первом году от рождения) .

Став с отъездом Вельяминова самостоятельным начальником правого фланга, Кацырев прежде всего нашел возможным отпустить домой два Черноморские полка, столь необходимые самому Черноморью, и даже послал с ними еще две роты навагинцев на помощь к храброму генералу Власову, защищавшему тамошний край. Всем остальным войскам приказано было стоять в постоянной готовности двинуться в поход по первому сигналу тревоги.

Зима начиналась тревожно. Ходили слухи о неудачном набеге храброго Власова со стороны Черноморской линии, и слухи эти сильно волновали горцев. Многие аулы, считавшиеся мирными, поспешно стали откочевывать в горы. Кацырев нашел, что наступила пора действовать.

К десятому января 1824 года, по ночам, незаметно, в Усть-Лабинской крепости собрался отряд, и Кацырев быстро двинул его за Кубань, чтобы остановить беглецов. К сожалению, он почему-то не решился идти без артиллерии, а между тем по Кубани шел лед, переправа была трудна и громоздка — и, конечно, замечена горцами. Правда, пока пехоту и пушки переправляли на лодках, казаки пустились вплавь, но даже и они опоздали. Джембулат Айтеков успел увести принадлежавшие ему шесть аулов со всем скотом и имуществом и предупредить другие. Войска могли воочию убедиться в этом, проходя мимо аулов, которые все уже были пусты. Тогда раздосадованный Кацырев, бросив пехоту, повернул с одними казаками к бжедугам и на них, что называется, сорвал свое сердце. Аулы их были разгромлены. Случилось, однако, что женщины, дети и старики и здесь успели сесть на арбы и уйти под прикрытием бжедугской конницы. Кацырев приказал нагнать их. Казаки пустились вскачь и скоро увидели огромный обоз, спускавшийся к речке. Командир Хоперского полка ротмистр Шахов со своими хоперцами и волжцами понесся между аулами, на которых спасались бжедугские семьи; триста казаков кубанских и моздокских, под начальством капитана Якубовича, ударили на прикрытие; Кавказский полк, с майором Дадымовым во главе, скакал напрямик, без дорог, стараясь отрезать черкесов от леса и заскакать им навстречу. Казаки не успели, однако, выполнить приказание в точности: головные арбы прежде их дошли до реки — и спаслись от погони. Но большая часть все-таки была окружена — и из всего огромного обоза только сто пятьдесят человек стариков, женщин и детей было захвачено в плен; все остальное, пытавшееся сопротивляться, было перебито или потоплено. Пока на переправе шла кровавая резня, черкесы со всех сторон спешили к месту тревоги, но было уже поздно. Казаки, соединившись, спешились и заняли соседний аул и опушку ближайшего леса. В таком расположении черкесы не могли им сделать никакого вреда. Первая бешеная атака их была легко отбита, и пять бжедугских старшин заплатили жизнью за свою отвагу. Часа три шла затем бесцельная перестрелка. Между тем к месту боя подошли две роты Навагинского полка, а вслед за ними показалась и вся остальная пехота. Черкесы отступили. Четырнадцатого января Кацырев вернулся за Кубань с пленными и добычей в тысячу голов скота.

Император Александр, узнав об экспедиции, остался весьма недоволен кровавым эпизодом на переправе. Кацыреву объявлен был выговор, но Ермолов энергично отстаивал его, ссылаясь на то, что при обстоятельствах, при каких ведется война на Кубани, не всегда возможно спасать невинных от гибели...

Неудача Власова — с одной стороны, а с другой — побег Джембулата, помешать которому не удалось Кацыреву, ободрили закубанцев. И едва возвратившийся из

экспедиции отряд распущен был по квартирам, как тридцать первого января партия горцев человек в семьдесят появилась на линии. К несчастью, казаки Донского Андрианова полка, занимавшие один из постов, допустили черкесов беспрепятственно прорваться далеко внутрь края. Дело в том, что, заперев постовую казарму, они отправились на охоту и, разумеется, не видели горцев. Горцы, в свою очередь, не тронули пустой казармы, а проскакав в ночь несколько десятков верст, напали прямо на крестьянские коши, стоявшие в Сенгилеевской балке. Четырех мужиков они изрубили, четырех ранили, семерых взяли в плен и, захватив с собою сорок лошадей, той же дорогой проскакали обратно, прежде чем донцы возвратились со своей охоты.

Кацырев не считал возможным оставить даже и эту дерзость черкесов без наказания. Он быстро собрал войска, перешел третьего февраля через Кубань, у Казанской станицы, и быстрым переходом достиг реки Чамлык. Там войска остановились часа на три, до захода солнца, в глубокой балке, стараясь не подать никакого признака своего присутствия,— не было ни шума, ни огня, ни дыма. Ночью они двинулись дальше, и четвертого февраля, на рассвете, линейные казаки опять понеслись вперед. Целью набега был отдаленный темиргоевский аул Мишхион, служивший пристанищем для всех хищников и беглых кабардинцев. Кацырев не оставил в нем камня на камне. Та же участь постигла и другой, соседний аул. Потери горцев были огромны, двести пятьдесят человек из них взяты в плен, скота отбито более двух тысяч голов. Но главным результатом этой экспедиции было то, что ногайские султаны и мурзы, бежавшие в горы еще при Суворове, явились к Кацыреву с повинной головою. Кацырев поселил их аулы на левом берегу Кубани.

Энергичные действия Кацырева и самая его подвижная, деятельная натура, ничего не обещавшие горцам в будущем, кроме новых разгромов, побудили ближайшие к границе племена черкесов искать примирения с Россией. Но зная суровую недоверчивость Кацырева, они отправили своих депутатов, помимо его, прямо в Георгиевск, к Сталю, прося принять от них присягу на верноподданство.

На предложение дать по этому поводу свое мнение, Кацырев отвечал, что он, в командование свое на Кубани, всячески старался узнавать закубанских владельцев, но такого, на которого можно было бы положиться, по сие время отыскать не мог. Он настойчиво обращал внимание на то, что в прошлом году черкесы, опасаясь наказания за разорение станицы Круглолесской, бежали в горы, оставив на равнине неснятые хлеба, и что теперь, при наступлении времени новых посевов, они, испытавшие уже голод, изъявляют покорность вовсе не с тем, чтобы жить спокойно, а чтобы заготовить себе хлеб и безопасно пасти свой скот на равнинах. Поэтому, по его мнению, покорность с их стороны может быть принята только под тем условием, чтобы они переселились на правый берег Кубани, и притом обязались защищать места своих поселений от прорывов хищников. “Аманатов от них не надо,— писал Кацырев,— их жены, дети и имущество будут у меня лучшими аманатами”.

Горцы этих условий не приняли.

Беглые кабардинцы также известили Сталя о своем желании покориться России, и один из знатнейших князей их, Арслан-бек Бесленев, окруженный несколькими знатными всадниками, ездил в Дагестан, где в то время находился Ермолов. Но эти уже сами предлагали условие, заключавшееся в том, чтобы срыты были крепости, построенные в 1822 году, войска отодвинуты от гор и чтобы кабардинский суд совершался по шариату.

Ермолов принял одного Бесленева, не считая приличным говорить с другими. “Встретив в нем человека более других кабардинцев здравомыслящего,— рассказывает Ермолов в

своих записках,— легко мне было вразумить его, что виновные должны просить о прощении, а не предлагать условия; что они могут надеяться на великодушие правительства, но что правительству несправедливо бы было предоставить больше выгод изменникам, нежели тем, которые подчинились ему беспрекословно”. Бесленев тем более не мог не согласиться с доводами Ермолова, что тот не прибегал к угрозам, не скрывая, впрочем, что не будет терпеть беглых кабардинцев вблизи от русских границ. Арслан был принят ласково, с уважением, и щедро одарен Ермоловым. “Кажется, ему приятно было дать мне почувствовать,— говорит Ермолов, — что он, лишь только будет возможно, возвратится в Кабарду, и что он получил о русских совсем другое понятие. Он прежде не бывал ни у одного из русских начальников”.

Судя по предложенным условиям, беглые кабардинцы считали свою покорность весьма необходимою для русских, и Кацыреву предстояло теперь доказать противное. Но расчет с ними он отложил по наступления весны, решив сначала помочь черноморцам, против которых собирались значительные силы черкесов. Кацыреву было известно, что большая партия их сосредотачивается на Сагауше (Белой), и он задумал рассеять ее прежде, чем она соединится с другими.

Январская и февральская экспедиции, происходившие в ненастную пору, при полной бескормице, сильно утомили казачьих лошадей. Несмотря на то, восьмого марта те же кавказские и кубанские казаки быстрым маршем приближались к Белой, впадающей в Кубань, уже в пределах Черномории.

Только что начиналась весна, все реки были в разливе, и экспедиция казалась делом весьма рискованным даже для безусловных сторонников и поклонников Кадырева. Но Кацырев верил в линейцев, знал, на что они способны, и не сомневался в успехе.

Отряд уже был недалеко от Белой, когда казаки, ходившие на разведку, возвратились с известием, что по ту сторону реки виден большой аул, в котором замечается необычайное движение, но что переправиться туда невозможно. В ответ на это Кацырев двинул казаков на рысях, приказав двум ротам ширванцев бегом следовать за кавалерией; пять конных орудий понеслись с казаками. Через час весь отряд уже был на берегу страшно бушевавшего Сагауша.

Черкесы, привлеченные на противоположный берег шумом прискакавшей конницы, открыли через реку огонь.

Ширванцы, со своей стороны тоже рассыпались в прибрежных кустах, орудия снялись с передков — и жестокий огонь начал осыпать неприятеля. Все внимание горцев сосредоточилось на этом пункте, как вдруг неожиданно, несколько в стороне, линейцы, с храбрейшим майором Дадымовым во главе, бросились на конях в бушующие волны. Черкесы скоро заметили, что казаки плывут на их сторону, и сосредоточили на них огонь, но, осыпаемые картечью и сами, не могли много вредить им. А казаки уже доплывают до берега и, мокрые с головы до ног, выскакивают из речки. Ружья их замокли, да и терять времени на перестрелку некогда — казаки бросаются в шашки. Это было одно из замечательнейших дел, совершенных когда-либо кавказской конницей. Мгновенно черкесы были сбиты и загнаны в лес, стада и табуны их захвачены. Пытались казаки переправить через реку добычу, но это оказалось невозможным; скот уносило течением, и он или тонул, или прибивался к топям, в места, покрытые лесом, так что казаки успели спасти и доставить к отряду только двести голов — все остальное погибло.

Лес, в котором засели черкесы, был очень густ. Казаки, хозяйничавшие на том берегу одни, без пехоты и артиллерии и при полной невозможности получить подкрепление, не решились атаковать его. Этому только семейства горцев и были обязаны своим спасением; казаки зажгли аул и переправились обратно на правый берег Сагауша.

Этот смелый набег поразил впечатлительных черкесов. Многие старшины враждебных племен приезжали в русский лагерь, любопытствуя видеть Дадымова и Кацырева. Кацыреву это видимо льстило, и он принимал гостей с большим почетом. Едва разъехались эти гости — приехал известный Росламбек с кабардинскими князьями; уехали они — прибыли султаны и мирзы ногайские. Все они просили позволения выйти из гор и поселиться в равнинах, обещая защищать русскую границу от набегов хищников. Но Кацырев никаких заявлений покорности не принимал, не желая, как он говорил, быть обманутым, и селиться на равнинах никому не позволил. Ему было хорошо известно на опыте, что черкесы почитают столь же славным делом обмануть христианина в переговорах, как и истребить его в открытом бою или из засады.

Возвращаясь домой. Кацырев с удовольствием узнал, что в отсутствии его на линии все было тихо и спокойно.

Был один только случай, жертвой которого сделались беспечные малороссы, расположившиеся в степи пасти своих волов; из них один был убит, двое ранены, и волы, разумеется, угнаны.

Наступило лето. Закубанские степи покрылись роскошной зеленой травой, появились прекрасные всходы хлеба, засеянные теми, которые бежали в горы. Но среди этой роскоши природы не было человека — горцы не смели спуститься с гор на равнины, расстилавшиеся между Лабой и Зеленчуком и служившие житницей для всех закубанцев. Грозный Кацырев сторожил их каждое движение и через своего лазутчика, абазинского князя Данбек-Лова, знал решительно все, что они задумывали. Горцы опять усиленно стали домогаться принятия их в русское подданство, и бесленеевцы, пользуясь начатыми переговорами, спустили весь свой скот на равнины. Кацырев переговоры продолжал, но двенадцатого мая уже был на Урупе и, беспрерывно меняя места, держал горцев в недоумении и страхе насчет того, где ожидать им удара. Четырнадцатого мая, когда отряд стоял невдалеке от реки Тегени, казаки, ходившие на поиск, дали знать, что за рекой слышен лай собак. Тенгинского полка унтер-офицер Агаларов с несколькими татарами отправлен был на разведку и, возвратясь, сообщил, что в двух верстах от отряда, за горой, стоят бараньи коши, но что отряду нельзя обойти их, не будучи замеченным, так как гора крута, изрыта, и ночью спустить по ней артиллерию невозможно. Кацырев переждал ночь и на самом свету, разбив отряд на малые партии, устремил их на коши. Перейдя верховья Тегеней, одна из этих партий, при которой находился сам Кацырев, увидела расположенные в лесу два большие бесленеевские аула. В партии было не более двух-трех сотен казаков, а потому атаковать с такими малыми силами большие аулы, окруженные лесом, Кацырев не отважился: он скрыл казаков в лощине и послал за пехотой. Бегом прибежал сюда батальон ширванцав, с храбрейшим своим командиром подполковником Волжинским, но аулы уже были пусты: тревога, поднявшаяся в кошах, предупредила неприятеля, и все семейства, скот и имущество успели укрыться в лесу. Идти в этот страшный, дремучий лес с одним батальоном измученной донельзя пехоты не решился даже и сам Волжинский. Он только сжег аулы и вместе с Кацыревым отошел за Тегени. Скоро со всех сторон стали сходиться казачьи партии с барантой; девять пленных пастухов, двести пятьдесят лошадей, триста пятьдесят голов рогатого скота и больше тысячи баранов сделались добычей отряда — и это было почти все состояние бесленеевцев. Больше за Кубанью делать было нечего, и отряд двадцатого числа

возвратился на линию без всяких потерь, если не считать казака и шести лошадей, утонувших при обратной переправе через Кубань.

Не долго, однако, оставался Кацырев в покое. Скоро его известили, что беглые кабардинцы переселяются с Урупа к верховьям Кубани, к самому Каменному Мосту, и что им помогают в этом абазины, которые в то же время, под видом ногайских отар, держат своих овец на равнине. Кацырев порешил немедленно наказать абазинов, кстати припомнив, что Ермолов еще в 1822 году великодушно даровал им пощаду, но что они, по привычке нарушать свои клятвы, тогда же обратились снова к разбоям и хищничеству.

Но прежде чем напасть на них, Кацырев принял меры к тому, чтобы усыпить их бдительность, и лучший лазутчик его князь Данбек-Лов отправился с этой целью в землю соотечественников. Лов ездил по аулам, куначил и бражничал там, уверяя всех и каждого, что Кацырев собирается идти к абадзехам, а об них и не думает. Между тем он высмотрел и изучил удобные пути, чтобы быть проводником у отряда.

Восемнадцатого июня все было готово. Кацырев перешел Кубань и береговой дорогой двинулся к ее верховьям; но скоро отряд свернул в сторону и пошел по таким трущобам, что поминутно происходили остановки. Проводник говорил, между тем, что дальше будет и того хуже. При этих условиях успех набега самому Кацыреву стал казаться сомнительным: настанет день — и черкесы, конечно, примут меры, чтобы не быть захваченными врасплох. Казаки, впрочем, были другого мнения, и вот на каком основании. Перед самым выступлением в поход, когда собранные сотни стояли уже за станицей, один старый татарин нагадал им на бараньей лопатке об успехе похода и крепко обнадеживал, что у неприятеля будет убит какой-то князь, княгиня — ранена и много, много людей взято в плен. И казаки никак не могли допустить теперь, чтобы это предсказание на бараньей лопатке могло не исполниться.

Наконец Кацырев, не выносивший неопределенности и медленности, оставил пехоту в команде полковника Урнижевского, а сам с одними казаками, с тремя ротами ширванцев и тремя конными орудиями, быстро двинулся вперед налегке. Около часу ночи он прошел весьма трудное горное ущелье и скоро, спустившись в долину Малого Зеленчука, услышал лай собак. Здесь был бараний кош, горел огонь и сидели пастухи со своими семействами. На разведку у Кацырева ходили особенные люди, умевшие говорить по-черкесски; среди них были и казаки, и пехотинцы, которых пленяла опасность. Это был первообраз тех знаменитых охотничьих команд, которых впоследствии, уже в сороковых годах, создали сами обстоятельства в некоторых полках, оберегавших передовые кавказские линии... Но на этот раз разведчики к кошу посланы не были. Ночь была темная, дорога адская, и, при всей сметке и навыке охотников, нельзя было надеяться, чтобы из пастухов кто-нибудь не ускользнул,— а спасись хоть один, дело было бы потеряно. Поэтому кош был обойден стороной. На дороге отряд встретил, однако, черкесский пикет, в котором тотчас же грянул сигнальный выстрел — призыв на тревогу. Медлить было нельзя, и казаки пустились во все повода.

Вот уже зорька. В предрассветной мгле, еще закутанные ранним туманом, видны три большие аула — один по правую и два по левую сторону речки. Лов, подскакавший к Кацыреву, сказал, что вправо — аулы Клычева, влево — князей Дударуковых. Сигнальный выстрел, между тем, был услышан в аулах, и в них пошла суматоха. Жители полураздетые, безоружные метались во все стороны. Чтобы пересечь им все пути к отступлению, хоперцы, с майором Шаховым, обскакали аулы справа, кавказцы, с майором Дадымовым,— слева. Кубанский казачий полк в полном составе, под командой подполковника Степановского, проскакав мимо всех аулов, отрезал их от горного ущелья,

по которому жители могли уйти, и занял все тропы и дороги. Конные орудия, под прикрытием казачьей сотни, заняли пригорок, снялись с передков и приготовились действовать гранатами.

Кацырев хотел окружить аулы и затем, дождавшись прибытия пехоты, штурмовать. Но все сделалось как-то само собою. Из Дударуковских аулов, не надеясь отстоять их, горцы бросились на правую сторону речки, где начиналась крутая лесистая гора, изрезанная балками. Хоперцы встретили их из лесу, но не могли выбить из оврагов, и потому заняли единственный перевал, по которому бегущие могли перебраться за гору. Таким образом все, что нашло первоначальное спасение в оврагах, теперь было в западне.

Дадымов и Степановский заняли между тем аулы, и скоро в них бурно уже шумели и ходили волны пламени. Пока одни казаки растаскивали покинутое имущество, другие раскинулись цепью по берегу реки, чтобы не пропустить беглецов назад, третьи скакали в погоню за угнанными стадами, настигали и возвращали их на сборное место. Подоспевшие ширванцы двинуты были в овраги. С мужеством отчаяния черкесы защищали свои семьи, но это повело только к их гибели. Ширванцы ударили в штыки, и началось поголовное истребление. Гибель мужей, отчаяние жен и детей, отторгнутых от своих защитников, представляло ужасное зрелище. Двести трупов разбросаны были по оврагам и лесным тропинкам; триста семьдесят пленных, согнанных в кучу, стояли под конвоем, оглашая воздух воплями. В числе убитых лежали тела: карачаевского старшины Кубиева и молодого сына известного кабардинского князя Магомета Атажухина. Оба владельца аулов, Клычев и князь Мамсир Дударуков, также пали в битве; княгиня, жена последнего, ранена шашкой и взята в плен... Так исполнилось предсказание татарина.

Потери горцев в действительности были гораздо значительнее, чем даже казались по первому взгляду. Многие из жителей, не отысканные вовсе, сделались жертвой случайных обстоятельств, многие потонули при спешной переправе через речку; особенно много гибло детей, которых спасать было некому.

Вместе с этими аулами легко было бы захватить и аул Биберды, находившийся от них в трех верстах. Но Кацыреву было известно, что в этот аул всего за несколько дней переселился Арслан-бек Бесленев, и он решил пощадить его, чтобы поддержать в нем добрые чувства, вынесенные из свидания с Ермоловым. Однако же, желая показать, что и его кабардинцы могли разделить кровавую судьбу абазинов, Кацырев послал туда две сотни казаков, дав им в проводники одного из пленных абазинцев. Казаки остановились в виду аула и послали в него пленного пригласить кабардинского князя в русский лагерь для свидания с Кацыревым. Но при появлении казаков и князь и жители бежали из аула, покинув на произвол судьбы и скот, и имущество. Казаки не тронули ничего и, отпустив пленного домой, возвратились к отряду.

Между тем, по окончании боя, около полудня, все отдельные отряды стянулись на сборное место в полуверсте от горевших аулов. Добыча оказалась огромной: лошадей пригнано было шестисот, рогатого скота более тысячи двухсот голов, овец свыше десяти тысяч. Не миновали солдатских рук и те бараньи коши, которые были обойдены накануне; их захватил по пороге полковник Урнижевский с пехотой.

Вся потеря в отряде ограничивалась двумя убитыми и пятью ранеными.

Когда отряд шел назад, в лагерь приехал сам Арслан Бесленев. Кацырев объявил ему волю Ермолова, что беглые кабардинцы не должны селиться у Каменного Моста и что в противном случае он, Кацырев, за спокойствие и безопасность его не отвечает. Арслан

просил позволения написать об этом Ермолову, и до получения ответа не разорять его. Кацырев согласился.

Двадцать пятого июня войска разошлись по квартирам.

Поступок князя Данбек-Лова скоро огласился по всем закубанским аулам, и имя его стало в горах синонимом измены и предательства. Лов и не избежал кровавого мщения своих соотечественников. Через два месяца брат убитого князя Мамсира Дударукова однажды подстерег его со своими узденями в то время, когда Лов подъезжал к своему аулу на левом берегу Кубани. Вдруг грянул залп — и Лов, пробитый семью пулями, был убит наповал. Но гибель одного не избыла людей преданных России даже в среде гордых черкесских князей, и после Лова стал водить русские отряды Измаил Алиев.

Кацырев запомнил смерть Лова и не упустил случая отомстить за нее. В июле он предпринял новую экспедицию за Кубань, двадцать четвертого числа перешел уже за Уруп. После четырехдневных беспрерывных передвижений отряд его, в ночь на двадцать восьмое число, двинулся вверх по этой реке, оставив обозы под прикрытием колонны, с майором Пирятинским. Пройдя верст двадцать, войска встретили конную партию черкесов, ехавшую, как оказалось впоследствии, для грабежа в русские пределы; пользуясь темнотой ночи, партия поспешно скрылась. И если нежданная встреча помешала ей идти на линию, зато она разнесла тревогу и значительно затруднила экспедицию. На заре войска остановились близ Башильбаевских аулов, у самого входа в тесное Урупское ущелье, но они уже были пусты. Казаки, однако, разделились на партии, рассыпались на широкое пространство по окрестностям и скоро пригнали около трех тысяч баранов. Весь следующий день Кацырев посвятил рекогносцировке ущелья. С гребня лесистых гор он видел множество аулов, раскинутых по ту сторону ущелья, но дороги для артиллерии нигде найти не мог. Несколько дней простоял здесь отряд в угрожающем положении. Мирные татары, рыскавшие кругом, возвращались с известием, что горцев нигде не видно, что стад на равнине нет, а хлеба стоят неубранные. От них же Кацырев узнал, что Каменный Мост и ущелье по Большому Зеленчуку никем не охраняются.

Тогда, не оставляя намерения пройти за Урупское ущелье и изгнать поселившихся там беглых кабардинцев, Кацырев оставил у Башильбаевских аулов две роты пехоты, а с остальным отрядом сделал ночной набег за Большой Зеленчук.

Цель набега и была именно разорить аулы абазинского князя Дударука за смерть Данбека-Лова. Кацырев, однако, не захватил его врасплох — Дударук был настороже и успел спастись со всем семейством, но оставил в аулах семьсот голов рогатого скота и пять тысяч овец. До какой степени поспешно было его бегство, свидетельствовали брошенные на очагах даже котлы с недоваренным мясом, которые, конечно, и сделались добычей солдат; в их же руки на этот раз попало также множество домашней птицы, столь необычной и редкой у черкесов при их передвижной и тревожной жизни. Войска сожгли и разорили аулы и истребили уже сжатое, в снопах, просо. На другой день Дударук со своими узденями сам приехал к Кацыреву, просил мира и дал аманатов.

Пятого августа, ночью, войска перешли Каменный Мост, затем утесистое ущелье и к свету шестого числа были в абазинских аулах Джантсмирова. Здесь они нашли только караул, часть которого перебили, а несколько человек взяли в плен. От пленных Кацырев узнал, что верстах в восьми скрываются черкесские семейства и скот. Кавказский казачий полк, с майором Дадымовым, кинувшийся немедленно в лес, там уже ничего не застал, кроме семисот баранов и быков, но длинный обоз из арб, уходивший оттуда, был

усмотрен казаками на возвратном пути. Он был окружен, и все, что оказало сопротивление, погибло, а тридцать девять душ отдались в плен.

На следующий день такой же поиск повторил Кубанский казачий полк, с подполковником Степановским, к верховьям Зеленчука. Казаки и там сожгли несколько брошенных аулов и вытоптали поля, принадлежавшие джантемировцам.

Покончив с Зеленчуком, отряд воротился восьмого числа на Уруп и здесь также предал истреблению хлеба и аулы беглых кабардинцев. Между тем дорога для артиллерии была найдена, и десятого августа войска вошли в темное, мрачное ущелье, которое Кацырев называет Ходос. До сих пор черкесы, занятые спасением своих семейств, даже не показывались в виду отряда, но едва он вступил в это ущелье, как началась перестрелка. Постепенно все суживаясь и суживаясь, горный проход заставил наконец весь отряд вытянуться в нитку. Вот в этом-то месте тридцать отчаянных черкесов преградили дорогу — и остановили несколько батальонов. Несмотря на все усилия, ширванские и навагинские стрелки никак не могли выбить малочисленного неприятеля из крепкого пункта, защищенного скалами и лесом, действия орудий были не более удачны — и отряд стоял. Перестрелка тянулась целый день и вырвала из русских рядов офицера и пятнадцать солдат убитыми и ранеными.

“Во время перестрелки,— рассказывает один участник этого похода,— среди черкесов заметили беглого русского солдата. Правая рука у него была оторвана по локоть, но он проворно управлялся левой, и при помощи подсошек стрелял с замечательной меткостью. Заряжая винтовку, он хладнокровно и как бы дразня солдат распевал русскую песню: “Разлюбились, разголубились, добрые молодцы”... Точно заколдованный стоял он на высокой скале, осыпаемый пулями, и только когда некоторые из них ложились уже очень близко, он громко кричал: “Жидко брызжешь — не попадешь!” — и, припадая к подсошкам, посылал выстрел за выстрелом. Этот отчаянный молодец бесил и солдат и Кацырева”.

К вечеру пришлось, наконец, прекратить бесполезную перестрелку, а ночью посланы были в обход две роты Навагинского полка с майором Широковым; они зашли неприятелю в тыл — и только тогда русские овладели ущельем. Защитники его, очутившись в западне, частью были перебиты, частью взяты в плен. Но русский дезертир успел ускользнуть. “Видно,— замечает Родожицкий,— он был слишком ожесточен против нас и слишком уважаем черкесами за свою отчаянную храбрость, что в самых крайних обстоятельствах они не захотели его выдать”.

Едва войска прошли через ущелье, как в лагерь явились бесленеевские старшины с просьбой пощады. Кацырев, имея надобность послать за провиантом на линию, охотно заключил перемирие, назначив семидневный срок для доставления аманатов. Конца же срок прошел, а аманатов не было, Кацырев, чтобы понудить бесленеевцев к скорейшей покорности, двинулся в их землю. Опять явились к нему старшины, но привезли с собою только двух аманатов и двух русских пленных, обещая доставить остальных на следующий день. Но прошло три дня, а бесленеевцы и не думали исполнять своего обещания. Тоща Кацырев двадцать девятого августа пустил войска топтать и истреблять на расстоянии нескольких верст обширные поля, засеянные просом. Бесленеевцы с горестью видели уничтожение последних средств своего существования, не имея возможности воспрепятствовать ему по своей малочисленности.

Снова появились старшины их в лагере и снова убедительно просили Кацырева остановить истребление, обещая вскоре выслать аманатов, Кацырев остановился. Но

вместо аманатов на следующий день явился к нему племянник анапского паши Казнадар-Ага.

На требование его прекратить истребление полей, Кацырев ответил, что бесленеевцы легко могут сберечь свой хлеб, доставя требуемых аманатов.

— Выдачу аманатов,— возразил посол,— остановил сам паша: он полагает, что русскому правительству нет надобности брать аманатов от турецких подданных.

Кацырев ответил коротко, что аманаты необходимы ему, и басленеевцы дадут их или лишатся всего имущества. Тогда ага грубо спросил у Кацырева, зачем он пришел сюда: “Топтать ли просо, или драться?”

— Кабанов, какие были тут, мы всех перебили, ага, а теперь нам драться не с кем,— насмешливо ответил ему переводчик, Измаил Алиев.

Ага опять обратился к Кацыреву:

— По какому праву вы пришли разорять бесленеевцев?

— По такому же,— ответил Кацырев,— по какому они приходили разорять станицу Круглолесскую.

— Это были разбойники,— возразил ага,— и если вы такие же разбойники, как те, то паша прикажет вас истребить.

Кацырев выгнал посланника вон и велел передать, что анапский паша ему не указ и что его самого он щадит теперь только из милости.

Покидая лагерь, раздраженный ага поклялся своей бородой, что если Кацырев тотчас не уйдет за Кубань, то он двинет тридцать тысяч турок и татар в русские границы, и что тогда ответственность за нарушение мира между двумя державами падет на Кацырева.

Кацырев приказал ответить, что он будет ждать турок на Кубани, а пока займется тем, за чем пришел сюда,— и войскам отдан был приказ продолжать истребление полей.

Положение отряда становилось, между тем, все затруднительнее. От беспрерывных трудов и переходов по горам люди и лошади были чрезвычайно изнурены. Запас провианта истощился. Солдаты кормились только просом, сами вымолачивая или вытирая его каменьями из снопов и варя из него кашу без соли и без сала; у офицеров не стало чаю, сахару, не было табаку, и даже у маркитантов перевелась водка. К счастью, болезненности в отряде, несмотря на неимоверные труды солдат, не было. А нанести существенный вред закубанцам с другой стороны не представлялось возможным. Черкесы не спускали с отряда глаз и на семьдесят верст кругом спасали семейства и имущество, оставляя пустые аулы.

Трудно сказать, чем бы кончилось это неопределенное положение и как вышел бы из него самолюбивый Кацырев, если бы на помощь ему не явилось неожиданно постороннее и важное обстоятельство. Тридцать первого августа к нему прискакал курьер с известием о начинающихся волнениях в Кабарде и с приказанием немедленно командировать туда батальон ширванцев.

В тот же день войска снялись с позиции и возвратились за Кубань.

Экспедиции Кацырева в 1824 году были последними, в которых принимал участие Якубович, оставивший по себе память на Кавказе подвигами почти легендарного характера.

Вскоре он уехал в отпуск в Петербург и там, вовлеченный в заговор декабристов, навсегда погиб для Кавказа и для России. О дальнейшей судьбе его Розен — один из товарищей его по несчастью — рассказывает, что “когда наступил срок его перемещения из Петровской (каторжной) тюрьмы на поселение, Якубович основал в Енисейске небольшую школу, устроил мыловаренный завод и так удачно вел дело, что не только сам содержал себя безбедно, но и помогал другим беспомощным товарищам. Он скончался в Енисейске от горячки в 1845 году.

Но забытый в снежных пустынях азиатского севера, он оставался долго в памяти тех, с кем вместе на южной окраине дорогой родины боролся за будущий мир и гражданственное процветание плодоносного края, которому только воинственные предания старины и мешали выступить из периода умственного застоя и вековой неподвижности быта и понятия. И не только в памяти их — Якубович жил и в памяти самых врагов, уважавших в нем его рыцарские качества, представлявшие собою редкое сочетание безумной отваги с полным хладнокровием в бою, и с умением побеждать — умение уважать и ценить доблести побежденного.

XXIX. НАБЕГ ДЖЕМБУЛАТА

Осенью 1824 года, в то время как в Кабарде начинало мало-помалу разгораться восстание, привлекая к себе и внимание и русские силы, на правом фланге распространилась, необычная даже для этого испытанного несчастьями края, тревога. Поздно вечером четырнадцатого сентября прискакал к полковнику Победнову, заведовавшему частью Кубанского кордона, нарочный от известного лазутчика али-Мурзы с известием, что в горах, на небольшой речке Хунше, между верховьями Лабы и Урупа, стоит сам анапский паша со значительной партией черкесов и стягивает к себе все новые и новые силы. Али-Мурза знал это с полной достоверностью, потому что паша самого его требовал в свой стан, но только он уклонился от этого свидания, зная, что не добром для него может оно кончиться. Али-Мурза писал Победнову, что черкесы ждут только пушек, чтобы ворваться в русские границы, и что прежде всего они намерены напасть на Тахтамышский аул, разорить его и жителей угнать в горы. Все это была совершенная правда. Паша был не прочь привести в исполнение угрозу, брошенную его чиновником в лицо Кацыреву во время августовской экспедиции, и пойти воевать русское побережье Кубани с тридцатитысячной турецкой армией. Но так как в его распоряжении тридцати тысяч турецких солдат на подобное предприятие быть не могло, то он собрал большие толпы шапсугов и абадзехов и с ними двинулся к Средней Кубани. Маскируя свои действия и намерения дипломатической перепиской о мирном улаживании прикубан-ских дел, он стоял теперь на Хунше во главе трехтысячной партии горцев, и к нему, действительно, шли со всех сторон все новые и новые толпы. Все враждебные действия его до сих пор ограничивались, однако, тем, что он напустил своих абадзехов и шапсугов на бесленеевцев, давших Кацыреву аманатов, и те в наказание подверглись полнейшему разорению.

Получив эти тревожные известия, Вельяминов почел нужным немедленно приехать на Кубань для личных распоряжений. В Тахтамышский аул он тотчас же послал роту Тенгинского полка, предписав полковнику Победнову стянуть туда же две сотни донских

казаков, при двух орудиях конной артиллерии, и потребовать от самих тахтамышцев тысячу вооруженных всадников. Кацырев получил приказание быть со своим отрядом в совершенной готовности идти за Кубань, чтобы предупредить вторжение быстрым нападением на самое скопище.

Двадцатого сентября стадо известно, что черкесы тронулись в поход, но куда они направятся — сведений не было,— горцы на этот раз держали свои намерения в величайшем секрете. Кацырев в то время был уже в Прочном Окопе и писал Вельяминову, что если известия о приближении закубанцев окажутся верными, то он немедленно двинется к ним навстречу. Вельяминов почел и здесь необходимым свое личное присутствие и спустя несколько дней был сам в отряде Кацырева. И вот двадцать восьмого сентября два батальона Навагинского полка, батальон тенгинцев, Кавказский и Кубанский казачьи полки, Хоперская и Моздокско-Гребенская сотни, при шестнадцати пеших и четырех конных орудиях, перешли под его предводительством Кубань, на несколько верст ниже Прочно-Окопской станицы, и заняли позицию на реке Чамлыке. Это движение сильного русского отряда заставило черкесское скопище воротиться и занять прежнее место на Хунше. Вельяминов, со своей стороны, второго октября передвинулся на Лабу со всем отрядом, к которому присоединились прибывшие сюда форсированным маршем из Кабарды: девятого числа — второй, а пятнадцатого и первый батальоны ширванцев.

Отряд стоял на Лабе в выжидательном положении, не имея никаких определенных известий ни о движениях, ни о намерениях неприятеля. Но слухи были тревожны. Говорили, что черкесы намерены, обойдя отряд либо горами, либо плоскостью между Лабой и Малым Зеленчуком, ударить на линию в тылу Вельяминова. Вельяминов сознавал, что дерзкое предприятие это может им удасться, и принимал свои меры. Он предупредил полковника Победнова, стоявшего у Тахтамыша, о грозившей опасности подробным сообщением и писал ему:

“Неприятель собирается в значительных силах, чтобы ворваться в наши пределы; я нахожусь с отрядом на Лабе и надеюсь не упустить его из виду, но так как черкесская конница может выиграть большой переход и появиться на Кубани прежде, чем я успею настигнуть ее, то вам, со своей стороны, нужно принять меры, которые поставили бы вас в состояние сражаться с закубанцами, если бы им удалось уйти от меня”.

Победнов был достаточно силен сам по себе, но он мог еще рассчитывать на помощь заведовавшего другим кордонным участком полковника Исаева и действовать с ним, смотря по обстоятельствам, совокупными силами. Вельяминов послал и Исаеву точно такое же подробное извещение, предписывая и ему быть в постоянной и полной готовности встретить вторжение. А так как в районе Исаева находились селения Николаевка и Сенгилеевка, которые, как ближайшие к границе, более других подвержены были опасности, то в распоряжение его дана была еще рота пехоты и казачий резерв (две сотни с одним конным орудием), расположенный у редута Святого Николая, под командой полковника Луковкина. При первом известии о приближении партии к границе Исаев должен был снять все кордоны и образовать из них конный отряд в тысячу человек с двумя орудиями.

“Если бы неприятель и превосходил вас силой,— писал Вельяминов ему и Победнову,— то, имея на своей стороне артиллерию, вы можете сражаться не без выгоды. Нужно только спешивать по крайней мере третью часть казаков для прикрытия орудий и из-за них действовать конницей, пользуясь благоприятными к тому моментами”.

Линия подготовилась, таким образом, дать отпор неприятелю, но неприятель не подавал никаких признаков наступления. Вельяминов стоял со своим отрядом на Лабе более двух недель, до восемнадцатого октября, почти в совершенном бездействии, тщетно ожидая движения черкесов на линию. Впрочем, Кацырев воспользовался этим временем для двух набегов на кабардинские коши и захватил в них более двух тысяч баранов.

Восемнадцатого октября отряд Вельяминова перешел за Лабу и расположился на речке Ходзь, ближе к горам, но и здесь слухов о неприятеле не было. Кацырев, между тем, сделал отсюда новый набег на махошевцев, но нашел аулы пустыми и захватил только двадцать четыре человека пленных и до семисот штук рогатого скота. Главным же результатом этого набега было то, что махошевцы и бесленеевцы прислали аманатов. От абадзехов потребовали также заложников, но те отказались. Вельяминов до времени оставил их в покое, удовольствовавшись отгоном у них до трех тысяч голов скота. Двадцать пятого октября Кацырев вновь попытался захватить врасплох абазинские аулы, но на этот раз бдительность неприятеля оказалась чрезвычайной, и движение отряда немедленно было открыто; сигнальные выстрелы один за другим поднимали жителей, и где ни появлялся Кацырев, он находил лишь пустые, безжизненные аулы. Все военные действия ограничились в этом набеге лишь тем, что какая-то партия, очевидно, следившая за отрядом, ночью подкралась к русскому пикету на речке Хамкеты и дала по нем залп, ранив двух навагинцев, и одного из них — смертельно. Нужно, однако, сказать, что самое присутствие за Кубанью отряда Вельяминова наносило черкесам весьма ощутимый вред уже тем, что семьи их, вынужденные в глубокую ненастную осень скитаться без приюта по горам и лесам, гибли если не от русских пуль, то от болезней и голода.

Ненастная осень сказывалась, между тем, и на русском отряде. Повсюду, кругом него, стояла такая невылазная грязь, что движения артиллерии представляли неимоверные трудности, а проводники, при малейшей попытке отряда передвинуться в глубь черкесской земли, единогласно утверждали, что чем дальше туда, тем дороги будут грязнее и хуже. Продолжать поход при таких условиях оказывалось решительно невозможным, и отряд восемнадцатого числа возвратился в Прочный Окоп, потеряв во всю эту длинную экспедицию двух раненых в набеге на Хамкеты.

Но закубанцы только до тех пор и не отваживались идти на линию, пока Вельяминов стоял в их земле, угрожая их семьям и имуществу. Но едва отряд, вынужденный осенней распутицей, вернулся на Кубань, как из земли абадзехов показалась большая партия горцев. Не прошло и трех дней после вступления Вельяминова в Прочный Окоп, как партия эта была уже в верховьях Лабы, откуда быстро перенеслась на Малый Зеленчук, и там остановилась. Силу партии определяли в шестьсот-восемьсот всадников; здесь были беглые кабардинцы, предводимые восемнадцатилетним юношей, князем Измаилом Касаевым, и абадзехи, которых вел старый известный наездник Джембулат Айтеков-Болотоко. Ближайшей целью партии было помочь Росламбеку Бесленеву уйти со своими аулами от Каменного Моста в Закубанские горы, а в случае возможности ворваться и в самую Кабарду, чтобы увести оттуда мирные аулы.

Вельяминов немедленно сделал распоряжение о сосредоточении войск на Малке, а полковнику Победнову предписал быстро двинуться к Каменному Мосту и захватить аулы Росламбека, если неприятель ещё не перешел Кубань; в противном же случае — возможно скорее и кратчайшим путем идти или на Малку к кабардинским аулам, или же, соображаясь с обстоятельствами, преследовать неприятеля по тем направлениям, которые он примет. Предписание это отправлено было из Прочного Окопа третьего ноября и, как увидим, уже не попало в руки Победнова.

Неприятель, между тем, подвинулся ближе и стал в аулах темиргоевского князя Мисоста Айтекова, сидевших над Кубанью. Владелец этот считался одним из преданных России людей, а между тем, прикрываясь именно этой преданностью, он, несмотря даже на вражду, издавна существовавшую между ним и Джембулатом, подвел его партию к русским пределам. И тут произошли трагические обстоятельства, которых ни .ожидать, ни предвидеть было невозможно.

Исаев и Победнов, получая известия о постепенном приближении неприятеля к Кубани, передвинули и собранные ими отряды: Исаев — к Беломечетскому посту, Победнов — к Тахтамышскому аулу. Третьего ноября сотник Фетисов, ездивший из отряда Исаева с партией казаков к самому Зеленчуку, дал знать, что неприятель в значительных силах вышел из мисостовых аулов и тянется к Кубани. Исаев тотчас поскакал в Тахтамыш, рассчитывая соединиться с Победновым и общими силами встретить врага на переправе. Но уже на пути он получил от Победнова два извещения: первое, что неприятель переправляется через Кубань, второе — что он, Победнов, вступил с ним в сражение. Последнее, по донесению Вельяминова, “было ложно”. Исаев уже был в трех верстах от Тахтамыша, торопясь на помощь и удивляясь, что не слышит выстрелов, как прискакал от Победнова третий казак и сообщил, что неприятель повернул влево, на Воровсколесскую станицу. Исаев понесся наперерез, рассчитывая предупредить черкесов и занять станицу прежде, чем подойдет туда скопище. Было темно, когда он проскакал уже покинутый казаками Соленоозерский пост, и в самую полночь прибыл в Воровсколесск. Здесь о неприятеле не было даже и слухов. Исаев решился ждать света. Между тем, происходило вот что. Неприятель приблизился к Кубани третьего ноября, около десяти часов утра, и начал переправу, всего верстах в пяти от Тахтамышского аула, где находился Победнов во главе двух рот пехоты и четырехсот казаков с четырьмя орудиями. Если бы Победнов, как и следовало ожидать, бросился к переправе с казаками и конными орудиями, приказав следовать за собою туда же и пехоте, то, без сомнения, уже одним пушечным огнем он мог бы остановить неприятеля. Но Победнов, почему-то представлявший себе неприятеля в громадных силах, не решился идти навстречу и пропустил его на русскую сторону без выстрела, не сделав даже шагу из Тахтамышского аула. Черкесы спокойно переправились и мимо Тахтамыша шагом потянулись к Соленым озерам. Они проходили так близко от отряда Победнова, что по ним сделано было несколько пушечных выстрелов. Партия, однако же, не прибавила шагу. Когда она уже миновала пост и взяла направление между Воровсколесской станицей и Кумским редутом, Победнов наконец вышел из своего аула и направился по ее следам. Черкесы понеслись крупной рысью; Победнов с казаками и конной артиллерией, оставив пехоту, пошел также рысью, стараясь не упустить неприятеля из виду.

Из Тахтамышского аула вместе с Победновым выехал и ногайский князь Муса Тагаев со своими узденями, на пути подошли еще ногайцы с князем Салибеем Мансуровым, а на Соленозерском посту к отряду присоединился еще командир Донского казачьего полка полковник Луков-кин с двумя сотнями донцов, сотней Кавказского линейного казачьего полка и конным орудием. По командой Победнова составился теперь отряд, не уступавший неприятелю в числе, но имевший на своей стороне огромное преимущество в конной артиллерии. Но и тут Победнов не подумал о быстром наступлении. Достигнув Соленоозерского поста, он расположился отдыхать, а потом, когда стемнело, и совершенно остановился, “не взяв в соображение,— как говорит Вельяминов,— что неприятель, сделав в этот день около двадцати верст более его, продолжает идти все далее и далее”.

Таким образом, Победнов дал неприятелю все средства отойти от себя на значительное расстояние — и уже без всякой помехи разорять и грабить русские селения.

Пройдя мимо Воровсколесской станицы, занятой в то время уже Исаевым, черкесы разделились: Джембулат с абадзехами двинулся вправо, Касаев с кабардинцами — влево, чтобы соединиться под деревней Сабля и напасть на нее одновременно с двух разных сторон. Одно ничтожное обстоятельство испортило, между тем, все планы Джембулата. Приближаясь к Сабле и рассчитывая накрыть ее совершенно врасплох, абадзехи с изумлением увидели перед деревней большие бивачные огни; слышен был шум, говор, неясно мелькали тени солдат. Партия остановилась в нерешимости; очевидно, намерение ее было открыто и уже взяты предосторожности. Нужно сказать, что грозное войско, которое увидели горцы, была безоружная партия рекрутов, поздно пришедшая к деревне и расположившаяся бивуаком. И вот эта-то безоружная партия, представлявшая черкесам случай взять несколько сот человек лишних пленных, спасла Саблю от беспощадного погрома. Абадзехи не могли себе представить, чтобы русские военные команды в столь близком расстоянии от Кубани могли ходить без всякого оружия; они стали пятиться и неожиданно наткнулись на большой конный табун, ходивший на пастьбе и принадлежавший жителям Тахтамышского аула. Обрадованные, они дали залп из ружей и, повернув табун, погнали его на речку Барсуклы.

На залп немедленно прискакала и другая партия кабардинцев. Видя, что абадзехи уже имеют добычу, Касаев не хотел следовать за ними с пустыми руками и бросился на Шошины хутора, лежавшие в двух верстах от большой дороги, как раз на половине пути из Сабли в Александрию. Кабардинцы напали на них уже на рассвете четвертого февраля, но здесь они наткнулись на сборный пост из двенадцати казаков линейцев и нескольких донцов, под начальством Волжского линейного полка зауряд-хорунжего Федотова. Волжцы не дали захватить себя врасплох — и меткий залп заставил кабардинцев отшатнуться. Вторая атака была не более удачна, бесполезно лишив кабардинцев еще нескольких человек убитыми и ранеными. Но когда толпы наступавших поколебались и готовы были бежать, молодой, пылкий Касаев пустил в ход нагайку — и кабардинцы остановились. Часть их спешилась, другая на лошадях пошла в обход, чтобы не выпустить живым ни одного казака. Волжцы видели, что наступила для них решительная минута, и, не помышляя о плене, стали готовиться к смерти. Пока пешие горцы вели открытый приступ, конные зажгли сзади плетни, и пламя отрезало казакам отступление. Гибель волжцев стала неизбежной. Мужественно отстреливаясь и отбиваясь шашками, они переходили от одного плетня к другому, но пламя, захватывавшее все большее и большее пространство, повсюду настигало их; наконец и отступать стало некуда. Тогда закипела отчаянная последняя сеча. Храбрый Федоров, выхватив длинный кинжал, первым врезался в густую толпу неприятеля — и первый пал, в куски изрубленный шашками. Волжцы и донцы не отстали от своего начальника — и честно все сложили свои казацкие головы в этом неизмеримо неравном бою: из двадцати человек пятнадцать были изрублены, пять брошены кабардинцами тяжко израненные,— и когда подоспела помощь, один из них также уже отошел в вечность. В плен никто не дался, только лошади, одежда и оружие казачье достались кабардинцам.

Уничтожив пост, горцы бросились в дома, и через полчаса весь хутор был уже разбит, разграблен и сожжен дочиста. Из хуторян шесть человек были зарезаны, четверо ранены, семнадцать попали в плен. И кабардинцы быстро соединились с Джембулатом.

Гам битвы и пожар в Шошинском хуторе вызвали, между тем, повсюду тревогу. Находившаяся в Александрии казачья команда линейного Хоперского полка и донцы, под командой есаула Попова, немедленно отправились на выстрелы. Табунщики известили о нападении черкесов генерал-майора Султана Менгли-Гирея, и тот, быстро собрав до двухсот ногайцев, также поскакал по следам неприятеля, но, к сожалению, в отряде его было не больше пятидесяти человек, исправно вооруженных, а остальные не имели ни

ружей, ни шашек. Менгли-Гирей живо напал на след неприятеля, но в ожидании помощи со стороны русских войск следовал за ним стороною. Есаул Попов также настиг горцев у речки Барсуклы и также, не решаясь один ударить на сильного неприятеля, ограничивался только наблюдением. Горцы шли, между тем, шагом, часто останавливаясь, видимо готовые отстаивать свою добычу. А в то время как происходила катастрофа на хуторах и малые команды следили неприятеля, большие казачьи отряды Исаева и Победнова спокойно отдыхали, один в Воровсколесске, другой недалеко от Соленых озер.

Только около полудня четвертого февраля Победнов, оставив в степи, по причине усталости лошадей, конное орудие и при нем сотню кавказских казаков, появился опять в виду неприятеля. С ним было два конных орудия, пятьсот донских казаков и до сотни ногайцев. Князья Салибей Мансуров и Муса Таганов первые заметили, что хищники гонят табун, в котором было не менее трех тысяч лошадей, и, не раздумывая, гикнули на неприятеля со своими людьми, к которым скоро присоединилось еще человек тридцать калаусских ногайцев. Султан Менгли-Гирей, видя это смелое нападение, со своей стороны приказал сыну своему, Аслан-Гирею, с пятьюдесятью всадниками скакать к ним на помощь. И вот вся эта смелая ватага, не превышавшая общей численностью ста человек, сделав на скаку залп, врезалась в середину неприятеля. Мурза Салибей Мансуров получил при этом тяжкие раны и на следующий день скончался в родном ауле, убит был также один ногаец и пять ранены.

Пока шла эта схватка, другие ногайцы успели обскакать табун и, отхватив большую часть его, завернули влево, прямо на казачью команду Попова, которая, таким образом, и сама была втянута в дело. Видя, что абадзехи уже окружают ногайцев, чтобы снова отбить табун, казаки кинулись вперед и, затуманенные пылью, очутились между двумя большими толпами хищников. Неизбежность гибели заставила было их попытаться перескочить назад, через речку Барсуклы, но берега были круты и утесисты, и только самого Попова вынесла его добрая лошадь. Прижатые к берегу, казаки мгновенно спешились и по казачьему обычаю стали в грозном выжидательном положении.

А на соседних высотах, “хладнокровно”, как выражается Вельяминов, стоял отряд полковника Победнова.

Родожицкий рассказывает, что один из казачьих офицеров под градом неприятельских пуль прискакал к Победнову с просьбой помощи. Полковник не только ответил ему выговором, как он осмелился с горстью казаков броситься на столь многочисленного неприятеля, но угрожал даже Сибирью. Офицер возразил, что его долгом было защищать своих, несмотря ни на какую многочисленность врагов, и что неизвестно еще, кто из них прежде попадет в Сибирь,— он ли, свято исполнивший долг свой, или полковник, стоящий в бездействии, когда на глазах его гибнут храбрые люди. Благородный офицер повернул коня и поскакал к оставленным товарищам. Горцы пересекли ему путь, и он пал, расстрелянный пулями и изрубленный шашками.

К сожалению, Родожицкий не называет имени храброго офицера, Вельяминов также не говорит о нем в своей реляции, и имя, которое должно бы быть славно, подобно тысяче других имен исчезло для потомства...

А окруженные казаки, между тем, отчаянно бились с наступавшими на них абадзехами — и все до одного полегли на месте. Двенадцать хоперцев, один казак Волжского полка и десять донцов заплатили жизнью за честное исполнение долга. Из всей команды спаслись двое хоперцев: Лучкин и Назаренко, жестоко израненные и брошенные горцами на поле сражения.

Так кровавый набег Джембулата стоил русским трех храбрейших офицеров и до пятидесяти лучших казаков и ногайцев, не считая крестьян.

Уничтожив горсть геройских защитников и отбив обратно табун, Джембулат на глазах Победнова спокойно переправился через Куму и там остановился кормить лошадей. Подвигаясь шаг за шагом, отряд Победнова опять сблизился с неприятелем. Тогда храбрый Аслан-Гирей и другие ногайские мурзы не выдержали и вновь одни ударили на хищников. Половина неприятельской партии села на коней, чтобы встретить ногайцев, и те, подавляемые силой и не поддержанные Победновым, вновь вынуждены были отступить. Бешеная атака стоила им опять двух убитых князей, братьев Дженаевых, и двух простых всадников.

Вечерело, когда вся неприятельская партия, преследуемая одними ногайцами, спустилась к Подкумку и потянулась лесистым ущельем, между Бургусантским укреплением и Открытым постом.

Полковник Победнов, проводив неприятеля до самого Подкумка, повернул отсюда со всем отрядом на Хохандуковское укрепление и здесь, уже шестого ноября, нашел предписание Вельяминова от третьего числа о захвате аула Росламбека на Кубани. Об исполнении распоряжения этого, данного при совершенно других обстоятельствах, казалось бы, теперь нечего было и думать, но Победнов тотчас взялся за него и двинулся к Каменному Мосту. Росламбекова аула он, разумеется, не застал, но этим движением уже окончательно выпустил из вида Джембулата, которому еще мог преградить путь на самой Кубани.

Одни ногайцы долго еще преследовали неприятеля и затем разъехались по домам. Полковник Победнов также возвратился к Тахтамышу.

Действия Исаева во все это время были еще бессвязнее, бесцельнее и страннее, чем действия Победнова.

В Воровсколесске, куда он третьего ноября попал вследствие сообщений, доставленных Победновым, отряд его простоял до полудня следующего дня, все поджидая новых известий. Но известий не было, а между тем, стоило только выслать разъезд — и он, отъехав от станицы несколько верст, услышал бы гул ружейной перестрелки, и тогда Исаев мог бы подоспеть еще к делу, происходившему неподалеку от него, около Кумского редута. Только перед вечером от Победнова пришло наконец известие, что неприятель идет на Круглолесскую, а вслед за ним — другое, что он повернул на Саблю. Окончательно спутанный, Исаев признал за лучшее идти на Кубань, к Верхие-Барсуковскому посту, чтобы там отрезать горцам отступление, и, таким образом, в роковую ночь с четвертого на пятое число он был далеко от кровавых происшествий на Куме. Но не успели здесь казаки расседлать лошадей, как третий казак известил, что Победнов сражается около Кумского редута, то есть там, откуда только что ушел Исаев. Исаев поспешно двинулся обратно, опять через Воровсколесск, и прибыл к Кумскому редуту в восемь часов утра пятого числа, то есть тогда, когда неприятель уже давно был за Кумою. Теперь оставалось Исаеву одно — открыть сообщение с Победновым. Но измучив напрасно лошадей и людей и потеряв всякую надежду найти неприятеля, он повернул в Баталпашинск и распустил отрад по квартирам в то время, когда неприятель еще был в русских границах и стоял в вершинах Подкумка.

Несвоевременный роспуск отрядов Исаева и Победнова лишил линию и последней возможности сделать какой-либо отпор неприятелю, если бы он вздумал возвратиться для

новых предприятий. Но Джембулат, конечно, не подозревал истины и новых предприятий не замышлял. Достигнув Подкумка, он не решился идти на Малку, уведомленный, что там встретил бы другие войска, действительно прибывшие туда по распоряжению Вельяминова, и, довольный первым успехом набега, отказался от дальнейших приключений.

Двадцатого ноября Вельяминов отдал следующий приказ:

“Уклонение войска Донского полковника Победнова от сражения не позволяет иметь к нему ни малейшего доверия, а потому кордон, состоящий под его начальством, поручается командиру Кубанского казачьего полка подполковнику Степановскому. Не более похвалы заслуживают и действия полковника Исаева, который употребил все искусство, чтобы не встретиться с неприятелем. Подобные действия также не внушают доверенности, и кордон, находящийся под его начальством, поручается войска Донского войсковому старшине Грекову Четырнадцатому”.

Победнов, нужно думать, сам хорошо понимал значение своих поступков и, стараясь маскировать их, посылал Исаеву извещения о том, где и когда он “вступал в сражения” с неприятелем, пытаясь этим путем оправдать свои действия в глазах и подчиненных и начальства.

Через несколько дней после описанных событий в Георгиевск приезжал, по словам Родожицкого, один офицер из бывшего отряда Победнова и рассказывал, что Победнов просто был обманут своими лазутчиками, уверившими его, что позади Джембулата идет другая, вдвое большая партия и что будто бы Победнов потому только и не решился действовать энергично, сберегая силы для нового, сильнейшего врага. В этом же смысле Победнов сделал официальное донесение о событиях и изложил в нем факты неверно.

“Ваше Высокопревосходительство,— писал Ермолову Вельяминов по этому поводу,— без сомнения заметите в донесении моем некоторое несходство с донесением полковника Победнова. Оно происходит оттого, что действия свои описывает он не совсем чистосердечно. Сведения, собранные мною от посторонних лиц, объяснили мне все обстоятельства сего происшествия”. “Надеюсь,— прибавляет он далее,— что заменившие их в командовании кордонами подполковник Степановский и войсковой старшина Греков Четырнадцатый в подобном случае сделают что-нибудь лучшее, уверен будучи, что хуже сего ничего сделать невозможно”.

Дерзкий набег Джембулата, прекрасно рассчитанный и, нужно думать, основанный именно на личных качествах Победнова и Исаева, о которых Джембулат имел возможность собрать положительные сведения, мог бы нанести еще больший ущерб линии, если бы горцам удалось разорить и деревню Саблю, а это бы случилось неминуемо, если бы не подошла туда рекрутская партия из Ставрополя. Жители в Сабле так перепугались угрожавшего им бедствия, что наутро, когда уже миновала всякая опасность, они разбежались и собрались не прежде, пока не поставили к ним для охраны небольшой отряд пехоты с пушкой.

Суровый Кацырев, конечно, не мог смотреть равнодушно на то унижение, которому подверг линию Джембулат, и задумал ответный набег.

В декабре, перед Рождественскими праздниками, проведя накануне весь вечер с Вельяминовым, он внезапно выехал из станицы куда-то по своим делам — и не вернулся домой. Все были встревожены участью храброго офицера, но на следующий день узнали,

что он уже за Кубанью с казачьими сотнями, которые приготовил в нескольких верстах от станицы так скрытно, что даже самые приближенные к нему люди, не говоря уже о прочноокопских жителях, ничего не подозревали. Кацырев сделал набег на темиргоевские пастбища и отбил у Мисоста Айтекова тысячу лошадей. Это было Мисосту наказание за его вероломное поведение.

XXX. НА БЕГЛЫХ КАБАРДИНЦЕВ (1825 год. Князь Бекович-Черкасский)

Проходили годы усилий, направленных на то, чтобы заставить воинственные племена Кавказа уважать русские границы. Но если была усмирена и оттеснена в горы хищная Чечня, если Дагестан замолк пред грозным рокотом русского оружия, если пала окончательно покоренная Кабарда, если все это совершилось и вписалось в скрижали истории самоотверженных подвигов русского солдата, то невозможно было сказать того же о Черкесии, в которой Россия встретила непримиримого врага, предпочитавшего гибель своих сынов и пожары аулов мирным отношениям с могущественным соседом.

Покорение Кабарды создало новую причину вечных тревог на правом фланге, на верхней и средней Кубани. Беглые — по русскому официальному выражению — кабардинцы стали за Кубанью новым элементом, постоянно возбуждавшим к беспрерывным и мстительным набегам. Под их влиянием выходили тогда на линию все крупные шайки, устремлявшиеся нередко прямо на мирную Кабарду, чтобы наказать ее за подчинение России и увести в горы. Но в этом последнем районе, до самого 1825 года, черкесы терпели одни неудачи, за которые и мстили внезапными нападениями на Кубанскую линию, не так крепко огражденную, как Кабарда. Осень 1824 года была временем обостренной вражды и усиленной деятельности черкесов. Начинаются настойчивые стремления прорваться в Кабарду, тогда уже волновавшуюся, одновременно с набегами на Кубанскую линию.

Дело защиты усложняется. Русский солдат должен был поспевать всюду — и на всем обширном протяжении Кубани до Черномории, и в безопасной Кабарде, преодолевая неимоверные трудности.

В записках Родожицкого есть поражающая картина передвижения одного отряда с правого фланга в Нальчик, ясно обрисовывающая и тревожное положение тогда края, и геройский дух кавказских солдат.

“За несколько верст до Прочно-Окопской станицы,— рассказывает он,— встретился мне обоз Ширванского батальона и потом весь батальон, идущий в Кабарду. Солдаты большей частью без мундиров, в куртках разного покроя, подходящих к зеленому цвету, в мохнатых черкесских шапках, в синих холщовых шальварах и в пестрых рубахах; все они были очень навьючены ранцами, сумками и мешками; лица у всех загорелые, отважные, воинственные; народ не крупный, но плечистый и сильный — ужас черкесов. Это первые воины, которых я увидел здесь в настоящем их виде, как они совершают набеги на закубанцев. Этот батальон после утомительного похода за Кубань в шесть дней прошел в Кабарду триста верст, то есть по пятидесяти в сутки!.. Одна только любовь к Дядюшке, как они называли Ермолова,— замечает Родожицкий,— могла дать им такую чудесную силу”.

Прямой обязанностью русских властей, понимавших нравственную силу кавказских войск и местные особенности войны, близко знавших полудикое уважение черкесов к силе и презрение к снисходительности и гуманности, было не оставлять без ответа их враждебных действий. Кровавый набег Джембулата, безнаказанно, в виду русских войск

ушедшего в горы, призывал к такому отмщению, которое восстановило бы в горах должное уважение к русскому имени и русской силе. Наступившая зима при тогдашних обстоятельствах удержала войска от немедленного перехода за Кубань и отсрочила кару беглых кабардинцев, главных виновников набега Джембулата. Но едва наступила весна, как русские войска приготовились к экспедиции. В ней суждено было выдвинуться новой замечательной личности, оставившей по себе громкое имя на Кавказе,— князю Бековичу-Черкасскому.

Первого апреля 1825 года значительный отряд из трех батальонов пехоты и двух линейных казачьих полков, Кубанского и Кавказского, при восемнадцати орудиях пешей и конной артиллерии, под командой самого Вельяминова, переправился через Кубань у Прочного Окопа. Река была в разливе, и артиллерию пришлось переправлять на паромах; третьего апреля войска стояли тем не менее уже на Чамлыке. Цель похода была захватить беглые кабардинские аулы князя али-Кара-Мурзина, богатейшего и влиятельнейшего из кабардинских владетелей, дерзко расположившего свои аулы около плоскости, недалеко от русских границ, как вечную для них угрозу. На Чамлыке получены были известия, что кабардинцы проведали о движении войск и что аул Кара-Мурзина уже бежал в горы. Четвертого числа отряд перешел Лабу и стал на ней лагерем. Вельяминов отрядил полковника князя Бековича-Черкасского с линейными казаками вперед — подобрать баранту, которая должна была оставаться после беглых кабардинцев, и узнать, верен ли слух о побеге Кара-Мурзина с его аулами в горы.

Бекович переправился через Лабу верстах в десяти ниже отряда и сразу наткнулся на большой конский табун. Пастухи были допрошены и сообщили, что аул Кара-Мурзина стоит еще на месте, не дальше как в двадцати верстах, что кабардинцы всю ночь не спали, ожидая нападения русских, но слыша, что отряд все еще стоит на Чамлыке, они совершенно успокоились — и теперь, вероятно, спят.

Бекович послал сказать Вельяминову, что он идет вперед, и просил пехоты. Вельяминов немедленно двинул за ним батальон и послал приказание обложить аул и держать его в блокаде до прибытия главных сил. Приказание это не поспело вовремя, не поспел и батальон. Казаки управились без пехоты и пушек.

Дело в том, что, отправив к Вельяминову известие, Бекович не мог не подумать, что как бы не торопилась пехота, она раньше, чем через пять часов, подойти не может, а между тем настанет день — и неприятель или уйдет, или успеет подготовиться к обороне. Очевидно, следовало пользоваться выгодами внезапного нападения, и Бекович решился произвести его с одними казаками.

Предприятие было не легкое. Самому Бековичу было известно, что аул большой, домов в сорок, что Кара-Мурзин один из храбрейших наездников, славившийся по всему Закубанью, и что при нем большая часть лучших узденей его — цвет беглой Кабарды. А в распоряжении Бековича было только триста пятьдесят линейных казаков.

Путь лежал по отлогости горы Ахмет, мимо бесленеевских аулов, где все спало. Верст пять казаки проскакали в карьер, опять перешли Лабу и очутились в узкой лесистой теснине, задвинутой с обеих сторон громадными горами; тут сотня черкесов могла бы остановить тысячи войск. Казаки, рассыпавшись по одному и по два, с трудом поднимались все выше и выше, по едва приметной каменистой тропинке, на протяжении почти двадцати верст. Поднявшись на последний уступ, они увидели аул.

Отряд остановился в недоумении. Перед ним был не простой аул в тридцать-сорок хижин, как рассчитывали найти его, а целый город, в котором было не менее двухсот укрепленных домов, мрачно смотревших своими узкими амбразурами, заменявшими окна. Отступать, однако, было уже поздно. Позади — бесленеевцы, впереди — огромный аул, который вот-вот проснется; и теснина, пройденная с таким трудом, сделалась бы могилой храброго отряда. Бекович знал к тому же, что у людей, подобных кавказским линейцам, мужество растет по мере опасности,— и решился действовать. Объехав ряды казаков, он под страхом смертной казни запретил им грабить прежде, нежели кончится бой, и пустил их с места карьером... Заря чуть брезжилась, аул крепко спал и был захвачен совершенно врасплох. При первом крике “ура!” кабардинцы выскочили и схватились за оружие. Они выбегали из домов, неодетые, только с ружьями и кинжалами в руках. Начался беспощадный приступ, казаки зажгли дома — и население гибло в пламени.

Кавказский полк пронесся с одного конца аула на другой. Его командир, Дадымов, налетел на самого князя али-Кара-Мурзина, которого знал в лицо. Князь стоял полураздетый у порога своей сакли и почти в упор выстрелил в Дадымова. Пуля пролетела мимо. Тогда Дадымов кинулся на него, крикнув по-черкесски: “Теперь ты мой!” — и, в свою очередь, выстрелил из пистолета. Пуля ударила в князя ниже правого глаза и вышла в затылок, пронизав мозг. Кара-Мурзин пал мертвым на пороге своего дома.

Княгиня видела в окно гибель своего мужа. Она выскочила из сакли, держа в руках мешок с семьюстами червонцами. Казаки мгновенно выхватили золото, но ее оставили в живых и отправили к Бёковичу. Другая женщина, жена убитого узденя, высыпала четыреста червонцев в яму, сама подожгла строения, окружавшие ее, и сгорела вместе с червонцами и со всем имуществом. После боя во многих местах аула находили слитки золота и серебра. Добыча была вообще огромная. Казаки захватили до четырех тысяч голов скота и лошадей. В плен было взято только сто тридцать девять душ, все остальное население погибло или в бою, или в пламени. Линейцы собрали и похоронили пятьсот семьдесят трупов, но по свидетельству самих кабардинцев одних убитых между ними было более тысячи человек.

Никогда еще кабардинцы не терпели такого страшного поражения, нанесенного столь ничтожной горстью людей. “Кто не был сам на месте пепелища,— говорит Вельяминов,— тот почитает сказкой, чтобы триста пятьдесят казаков могли пройти через такие неприступные места и сделать такое страшное опустошение”. Через час после погрома подошла к аулу помощь — триста баракаевцев. Но им делать уже было нечего.

Между тем сам Вельяминов двигался с отрядом по следам Бековича. У горы Ахмет, верстах в двадцати от места битвы, его застали первые известия, что бой окончен и что Бекович отправил уже пленных вперед, чтобы они не стеснили его при отступлении. Вельяминов повернул назад и в три часа пополудни был в прежнем лагере на Лабе.

Скоро стали подвозить пленных. Прежде всех приехала, в сопровождении казака, княгиня, вдова али-Кара-Мурзина, верхом на коне, вся с ног до головы окутанная густым покрывалом. Вельяминов тотчас велел очистить для нее солдатскую палатку и приставить к ней караул. Сходившая с лошади княгиня показалась всем молодой, стройной, с маленькими аристократическими руками, но густое покрывало никому не дозволяло видеть ее лица. За княгиней появились и другие пленные. Детей привезли отдельно, и малютки тотчас же бросились к своим матерям. Жалкий вид представляли все эти женщины, девушки и дети, собранные в вагенбурге. Одна была ранена в ногу, некоторые, как помешанные, с дикими взорами, рвали на себе волосы, плакали, обнимались. Среди

кровавых ужасов минувшей ночи матери сберегли для своих детей кусочки хлеба, и страшно было смотреть теперь, как они старались усладить для них горестную учесть плена этими жалкими кусками.

В числе пожилых женщин выдавалась жена одного убитого узденя, представительная и гордая; ее окружали несколько молодых девушек с длинными косами и с благородными чертами лиц, одетые в пестрые шелковые халаты. Одна молодая женщина, совершенно нагая, как восковая фигура Венеры, прекрасная собою, почти без чувств лежала на земле, ничего не видя и не слыша и испуская немые стоны. Опираясь головою на правую руку, она простирала левую к сидевшему перед нею также обнаженному курчавому и прекрасному мальчику.

Впрочем, все пленные не казались в тот момент особенно привлекательными; большие глаза, большие носы и тонкие губы — отличительные черты черкесской физиономии, искажены были страхом и горестью. Лишь дети, не понимавшие хорошо, что с ними делается, производили впечатление своею характерной горской красотою, но даже и между детьми некоторые были полны тревоги — одна весьмилетняя девочка от испуга как бы помешалась и к утру умерла в страшных конвульсиях.

Не лишен значения тот факт, что этот страшный погром беглым кабардинцам был нанесен, в лице князя Бековича-Черкасского, их же соплеменником прежней княжеской фамилии, одной из отраслей Джембулатова рода. Князь Федор Александрович был внучатым племянником того Бековича, уроженца малой Кабарды, известного у черкесов под именем Тембота, или Темир-Булата, который погиб с русским отрядом под Хивой.

История этого рода и его отношений к России весьма замечательна. Родной брат Тембота, ходившего в Хиву, впоследствии также генерал-майор русской службы, эль-Мурза бек-Черкасский выехал в Россию из своего отечества в царствование Петра Великого, при котором и находился во все время персидского похода со своими узденями. Петр пожаловал ему земли, лежавшие вокруг новопостроенной крепости Святого Креста, а когда крепость была оставлена и жители ее перешли в Кизляр, переселился туда со своими людьми и эль-Мурза. В Кизляре вновь были отведены ему значительные земли, так как места были привольные, и ни грузин, ни армян тогда еще там не появлялось. Князь командовал здесь терскими казаками и защищал с ними край от набегов горских народов.

Сын его Александр, отец виновника разгрома Кара-Мурзинова аула, был также генерал русской службы. Женившись на княгине Любови Александровне Кончаковой (из кабардинской фамилии Мударовых), воспитывавшейся, вероятно, в России и до смерти сохранившей большие связи в Петербурге, он жил в своем ауле по-европейски. В конце минувшего столетия большая приязнь связывала его с графом Гудовичем, командовавшим тогда Кавказской линией, но эта же дружба была и причиной его несчастий. Оба страстные охотники, они, как говорят, поссорились из-за собак, и, по интригам Гудовича, император Павел отнял у Бековича все его имения на том основании, что он не мог представить на них документов. Старик, пораженный параличом, прожил восемь лет в совершенной бедности.

Ермолов исправил эту несправедливость. После моровой язвы, опустошившей и обезлюдившей Малую Кабарду, обширные степи между Сунжой и Тереком представляли для чеченских хищников удобнейшие пути для набегов на линию. Признав вследствие этого необходимым вновь заселить эти плодоносные места, Ермолов искал их хозяина. Земли эти издавна принадлежали роду Мударовых. Но так как весь род Мударовых и Кончаковых был истреблен заразой и единственной представительницей его оставалась

Любовь Александровна Бекович, то она, по ходатайству Ермолова, и была признана, вместе с сыновьями Федором и Ефимом, законной наследницей всех этих земель. Последний, Ефим, был в то время на русской службе в чине прапорщика.

Бековичи переселили сюда своих крестьян из Кизляра, также возвращенных им, и сделались владельцами Малой Кабарды, заградив русские земли со стороны беспокойной Чечни.

Князь Федор Александрович был младший сын князя Александра. Послужной его список говорит, что он начал свою службу на Кавказе. В 1806 году в чине губернского секретаря он находился при Булгакове во время покорения Кубинской и Бакинской провинции и за отличие в этой компании переименован в поручики. Так началась его военная карьера. В 1807 году он участвовал в штурме Ханкальского ущелья, в 1810 — был за Кубанью, а в 1812 — при усмирении кахетинского бунта. Родожицкий, близко знавший князя Федора Александровича, передает, не всегда согласно с официальными данными, многие подробности его жизни. По словам его, молодой князь сопровождал в Петербург персидского посла, приводившего императору слона в подарок от шаха. Ловкий, статный кабардинец, разъезжавший по Петербургу на прекрасном персидском жеребце, обратил на себя общее внимание, понравился, между прочим, графам Милорадовиру и Бенигсену и сопровождал первого в Варшаву, а последнего в Молдавию. Родожицкий говорит, что Бенигсену князь и обязан переводом в гвардию в лейб-казачий полк (по послужному списку в 1816 году) и что он при представлении императору Александру получил две тысячи пятьсот рублей на обмундирование. Между тем мать его, вспоминавшая свои петербургские связи, написала о сыне графине Орловой-Чесменской, с которой когда-то была приятельницей. Графиня приняла Бековича в свой дом, как родного, и там молодой кабардинский князь имел случай вращаться в высшем аристократическом обществе.

Ермолов, отправляясь на Кавказ, пригласил Бековича с собою, предвидя в нем человека, незаменимого в предстоящих ему делах, так как, кроме европейских и природного черкесского, князь владел в совершенстве языками турецким, персидским, кумыкским и татарским — и уже этим одним был, действительно, необходимым для Ермолова человеком. Он был его неразлучным спутником в Персии, в походах по Чечне и Дагестану и дослужился до чина полковника. Ермолов так полюбил храброго кабардинца, пользуясь в то же время его знаниями местных народов, что жил с ним вместе, в одной палатке. В это-то время он и употребил все свое влияние, чтобы исправить несправедливость, нанесенную Гудовичем роду Бековичей.

События 1825 вода теперь выдвигали князя Бековича-Черкасского из ряда сподвижников Вельяминова. Получив донесение о погроме беглых кабардинцев, Ермолов ходатайствовал о награждении его орденом святого Георгия 4-ой степени “за предприятие отлично смелое и самым удачным образом исполненное”,— как доносил он государю. Император Александр не был, однако, доволен действиями Бековича. “Если распоряжения его к первоначальному нападению и заслуживают награды,— писал государь Ермолову,— то, с другой стороны, он теряет право на нее тем, что благоразумно начатое дело было окончено совершенным истреблением более трехсот семейств, в коих, конечно, большая часть были женщины и дети, не принимавшие участия в защите”. “Умение удержать подчиненных в должном повиновении при победе, равно как и в несчастии,— пояснял император,— есть из первых достоинств военачальника, и я не намерен награждать тех, кои не действуют в сем важном случае во всей точности моих повелений”.

Гуманные чувства и взгляды императора Александра опять сталкивались здесь с жестокой необходимостью в кавказской войне — не щадить сопротивляющихся врагов. Но Ермолов

глубже смотрел на дело, наученный горьким опытом ежедневных несчастий на линии, и неудовольствие государя не имело для Бековича дальнейших последствий, а следующая затем экспедиция доставила ему даже и Георгиевский крест.

Беглые кабардинцы, со своей стороны, поклялись тогда истребить весь род и аулы Бековича; они решили даже похитить престарелую мать его, продолжавшую жить в Малой Кабарде, и предать ее истязаниям в отмщение сыну. К счастью, им никогда не удалось привести этот мстительный план в исполнение.

Разорив гнездо беглых кабардинцев, Вельяминов возвратился на линию, спокойствие которой, однако, продолжало нарушаться черкесами, по-прежнему дерзко вторгавшимися в русские границы. Как ни мало сохранилось от того времени официальных сведений, но некоторые события, однако же, известны и ярко рисуют все то же тревожное состояние края. В одном из донесений Ермолову рассказывается нижеследующий случай. Третьего мая 1825 года, когда солнце зашло уже за горизонт, по дороге от Баталпашинска ехали к станице Воровсколесской трое вооруженных черкесов, имевших вид мирных. Саженях в ста от селения играли в это время пять девочек. Черкесы схватили двух из них и поскакали обратно по той же дороге. Стоявший у ворот станицы часовой поднял тревогу. Сотник Монтиков с казачьим резервом поскакал вслед за хищниками, но догнать их ему удалось только в десяти верстах, да и то лишь с тремя казаками, так как другие остались далеко позади на усталых от быстрой скачки лошадях.

Здесь он успел отбить одну девочку и продолжал погоню. Опять от него отстали еще два казака, и Монтиков, уже вдвоем, доскакал до Соляных озер, поддерживая перестрелку. Но тут наступила темная ночь — и черкесы скрылись.

Вельяминов, справедливо возмущенный и тем, что в казачьем резерве не нашлось нескольких путных лошадей, чтобы догнать черкесов, и той оплошностью, с какой они были подпущены так близко к станице, и вялыми действиями Монтикова, не отбившего при равных силах полона, считал необходимым прибегнуть к мерам строгости: Монтиков был предан суду, станичный начальник зауряд-хо-рунжий Косякин разжалован в казаки.

Прошло два месяца после погрома аулов Кара-Мурзина, и Вильяминов снова пошел за Кубань, чтобы наказать далеких абадзехов за их набеги и за покровительство беглым кабардинцам. Войска перешли Кубань близ Усть-Лабинской крепости шестнадцатого июня, а через пять дней на речке Карасу в первый раз встретились с неприятелем. Абадзехи напали с тылу на обоз, но были тотчас же опрокинуты храбрыми казаками с помощью подоспевшей роты. Тем не менее схватка была горячая и вывела из строя семь казаков и двух навагинцев.

Двадцать третьего июня отряд расположился на реке Сагауш (Белой), против горы Таглек, там, где теперь стоит город Майкоп. Абадзехи и здесь попытались было захватить в свои руки водопой, но были опять отбиты. На этой позиции Вельяминов простоял весьма долго, посылая в разные стороны небольшие колонны для истребления горских посевов. В конце июня неприятель показался в значительных силах, даже с двумя пушками, добытыми от турок, и стал обстреливать лагерь с противоположного берега. Предприятия сделались труднее. Князь Бекович-Черкасский, отделавшийся в первую экспедицию для уничтожения посевов ничтожной перестрелкой, во второй раз, тридцатого июня, уже должен был выдержать серьезный бой. Тысячная партия конных абадзехов и кабардинцев напала разом на все пункты отряда, но, поражаемая перекрестным огнем, скоро обратилась в бегство, попала при обратной переправе через реку под картечь конной

артиллерии — и понесла громадный урон. Но и в отряде Бековича из строя выбыли более двадцати нижних чинов.

Вельяминов нашел, между тем, позицию на Сагауше чрезвычайно удобной для всех будущих предприятий в земле абадзехов и приказал построить здесь укрепление. А чтобы облегчить на будущее время переправу через реку, он велел вырыть для нее отводный канал, а дремучий лес, тянувшийся по правому берегу,— вырубить. Абадзехи, стараясь помешать работам, не раз вывозили пушки и днем стреляли по рабочим, а ночью бомбардировали лагерь.

Так шли дела до десятого июня.

В этот день из лагеря выступила колонна в Усть-Лабинскую крепость за провиантом. Огромный обоз шел под прикрытием батальона тенгинцев, полка кубанских казаков и шести орудий, под командой князя Бековича-Черкасского, и горцы пропустили его свободно. Но едва тот же транспорт, нагруженный провиантом, двинулся обратно, как одиннадцатого числа на обширной кубанской равнине он был атакован двухтысячной партией конных абадзехов и кабардинцев. Отряд свернулся в каре, был окружен, и отбивался на все четыре стороны. Нападения были так стремительны, что приходилось действовать картечью даже в упор, и только после двухчасового жестокого боя неприятель стал отступать, оставив на месте пятнадцать тел. В отряде Бековича выбыло из строя два офицера и тридцать пять нижних чинов, но ни одна арба из всего громадного обоза не была потеряна. Ермолов засвидетельствовал в приказе, что “столь счастливое препровождение транспорта надо приписать только благоразумным распоряжениям и известной храбрости Бековича”,— и Бекович получил Георгиевский крест, в котором ему еще недавно было отказано.

Настал август — и нападения абадзехов снова усилились. То и дело подъезжали они к казачьим пикетам, давали залп и мгновенно скрывались. С горы Таглек все чаще и чаще гремели пушечные выстрелы. Нужно было ждать большого нападения, и за цепью стали закладывать пешие резервы, которые могли бы дать отпор, по крайней мере при первом натиске.

Между тем укрепление, послужившее началом знаменитого Майкопа, и отводный канал — были готовы. Вельяминов назначил комендантом майора Пирятинского и, оставив в его распоряжении две роты Навагинского полка с шестью орудиями, приказал остальным войскам готовиться к выступлению. В отряде в то время уже носились неясные слухи о поголовном возмущении Чечни, и Вельяминов, предвидя, что придется скоро покончить экспедицию, торопился наказать абадзехов. Шестнадцатого августа войска уже выступали в поход.

Целью движения был аул абадзехского старшины Аджи-Тляма, пользовавшегося в горах большой славой и значением, как человек замечательно богатый и храбрый. Это был один из главнейших покровителей беглых кабардинцев, которых большая часть и поселилась вблизи его аула. Вельяминов решил истребить этот аул со всеми его полями и угодьями, а также и поля ближайших к нему кабардинцев.

Войска вышли из укрепления так тихо и с такими предосторожностями, что абадзехский караул открыл движение их только тогда, когда начало уже рассветать и отряд стал переправляться через Белую верстах в пяти ниже Майкопа.

Дорога, которой двигались войска, пересекалась множеством балок, опушенных лесом, и почти в каждой из них засели абадзехи, чтобы препятствовать движению. Две роты Тенгинского полка, бывшие в авангарде с майором Тихоновым, шли в постоянной перестрелке и должны были штыками выгонять черкесов из их засад, а войска тем временем истребляли попадавшиеся им на пути аулы беглых ногайцев и абадзехов. С полудня неприятель, занимая высоты, ближайшие к дороге, начал стрелять из пушек и продолжал пальбу уже до позднего вечера. Тревожный день этот, прошедший в постоянной перестрелке, стоил Вельяминову опять одиннадцати человек убитыми и ранеными.

Отряд ночевал на левом берегу какой-то речки, впадавшей в Сагауш, и утром другого дня, семнадцатого августа, двинулся дальше, к аулу Аджи-Тляма. Абадзехи тотчас открыли по нем пушечную пальбу. Опять пошли лесистые балки с черкесскими засадами, снова пошла постоянная перестрелка и снова тенгинцы, с майором Тихоновым, должны были штыками открывать дорогу.

Верстах в шести от ночлега был брод, по которому отряд должен был переправиться через Сагауш на правую сторону, чтобы идти к аулу Аджи-Тляма, лежавшему отсюда уже не в дальнем расстоянии. На противоположном берегу, как раз напротив места переправы, находилось лесистое крутое возвышение, представлявшее для неприятеля весьма удобную позицию. Партия человек в пятьсот абадзехов и предприняла остановить здесь отряд в то время, как другие толпы их, спешившие по левой стороне Сагауша, должны были атаковать его с тылу. Вельяминов выдвинул вперед батарею из десяти орудий, и она, как выражается Ермолов, “растолковала неприятелю, что и сие место сражения еще не довольно для него выгодно”. Поручик Тенгинского полка Петров со своей ротой первый бросился, под защитой артиллерии, вброд, за ним последовала рота штабс-капитана Сергеева, а затем майор Тихонов, снова принявший команду над авангардом, быстро очистил лес до самого возвышения, так что остальные войска могли уже свободно переходить реку, ничем не тревожимые. Только когда переправлялся арьергард, появились на левом берегу Сагауша новые толпы абадзехов, но нескольких пушечных выстрелов было достаточно, чтобы заставить их удалиться. Переправа в общем стоила отряду двадцати пяти человек, но кровавые следы, найденные к стороне неприятеля, показывали, что и ему не дешево обошлось это дело.

Перейдя Сагауш, войска остановились лагерем, выжегши лежавший перед ними небольшой кабардинский аул. Абадзехи подошли сюда в два часа ночи, с пушкой, и стали обстреливать лагерь. Их выстрелы, впрочем, далеко не долетали, и ночь прошла бы сравнительно спокойно, если бы абадзехам не удалось обойти отряд и кинуться на цепь, слишком близко расположившуюся к опушке леса. Произошла горячая схватка, и войска понесли значительные потери; пострадал особенно Тенгинский батальон, лишившийся тридцати двух человек выбывшими из строя.

К свету пальба стихла. Войска тронулись вперед, и на заре восемнадцатого августа запылал знаменитый в горах богатством и красотой строений аул Аджи-Тлямов — цель Вельяминовской экспедиции. Через два часа дело разрушения было войсками покончено, и притом безо всякой помехи со стороны абадзехов,— горцы нигде не показывались. Это затишье заставляло думать, что неприятель понес большие потери в минувшую ночь и хотя на время оставит отряд в покое. Войска разбили лагерь и занялись фуражировкой.

Верстах в трех отсюда, на скате лесистой горы, стояло в стогах громадное количество свеженакошенного сена. Вельяминов приказал казачьим полкам забрать и перевезти его в лагерь. В прикрытие фуражиров назначен был батальон навагинцев с четырьмя орудиями,

под командой полковника князя Бековича-Черкасского. В самый полдень колонна вышла из лагеря. На горе она забрала сена сколько могла, нагрузила им все артельные повозки, навьючила лошадей — и тронулись назад. Казаки шли пешие. Но еще не успели они спуститься с горы, как показалась сильная партия, тысячи в две всадников, скакавшая прямо на колонну. Бекович остановился. Навагинцы и спешенные казаки стойко встретили нападение — и первый бешеный налет черкесской конницы был отражен с большим для нее уроном. Тогда абадзехи также спешились и, пользуясь пересеченной местностью, мешавшей удачному действию русской артиллерии, бросились в кинжалы. Здесь ранены были храбрые казачьи командиры Дадымов и Степановский, а в Навагинском полку — капитан Завадский. Потери наши стали быстро расти. Сам Вельяминов, встревоженный сильной перестрелкой, доносившейся до лагеря, сел на коня и явился на место сражения. Но когда он прибыл — результаты боя уже не могли подлежать сомнению: беспорядочные натиски стоили абадзехам громадных жертв, и неприятель, после трехчасовой борьбы, истощившись в бесплодных усилиях, наконец обратился в бегство.

В кровавый день этот “потери наши,— как выражается Вельяминов,— были более, нежели бывают обыкновенно”. Кроме двух полковых командиров и капитана Завадского, выбыло из строя восемнадцать убитых и сто тринадцать раненых нижних чинов.

Но потерей, наиболее поразившей всех, была смерть храброго Дадымова— он умер на следующий день, девятнадцатого августа, в лагере, окруженный своими соратниками. Казаки не захотели оставить тело своего командира во вражеской земле и перевезли его в станицу Ладожскую. Там на скромном станичном кладбище и доныне стоит его одинокая забытая могила. Но старые “кавказцы” и поныне помнят, что с именем Дадымова загремело по всей линии имя их родного полка, что он именно был основателем его боевой известности, которую они, люди Ермоловского времени, оставили последующим поколениям как дорогой завет прошлого.

Три дня простоял отряд на месте, опустошая за Сагаушем абадзехские земли, и во все это время неприятель показывался только небольшими партиями в пятнадцать-двадцать человек, не рискуя приближаться к отряду. Ничтожные перестрелки, тем не менее, происходили каждый день то в передовой цепи, то на казачьих пикетах. Иногда абадзехи залегали в кустах, в опушках леса, под кручей берега — и стреляли из засады. Однажды сам Вельяминов подвергся большой опасности: указывая место для лагеря, он слишком близко подъехал к реке и встречен был метким залпом с противоположного берега, несколько человек из его конвоя были ранены.

Наконец, когда истреблять на правом берегу Сагауша больше уже было нечего, Вельяминов перешел на левый берег — и двадцать пятого августа возвратился в Майкопский стан, оставив позади себя, на пути следования, длинный ряд сожженных аулов и вытоптанные, опустошенные поля. На дороге получено было известие, что сам Аджи-Тлям, а с ним и кабардинцы, жившие по Сагаушу в земле абадзехов, окончательно покинули эти места и переселились в верховья Фарса. Экспедиция была окончена.

В Майкопе Вельяминова ожидала весть о смерти генерала Лисаневича и приказание вступить в командование войсками Кавказской линии. Через несколько дней он выехал в Ставрополь, поручив начальство над Майкопским отрядом князю Бековичу-Черкасскому.

XXXI. КАБАРДИНСКИЙ БУНТ (1825 год)

Под именем кабардинского бунта 1825 года разумеется тревожное состояние поселенных на плоскости кабардинцев в связи с настойчивыми попытками черкесов и беглых кабардинцев же увести за Кубань, в горы, это мирное население. Какими враждебными действиями против русских проявлялось это тревожное настроение — с достоверностью не восстанавливается ни официальными данными, ни воспоминаниями современников, и самое слово "бунт" едва ли точно выражает их.

Несомненно однако известно, что примирившиеся с подчинением России мирные кабардинцы обнаруживают в это время сильное стремление выселиться опять из русских границ, а иногда и принимают участие в набегах закубанцев на линию. Дело в том, что кабардинцы никогда не переставали домогаться различных льгот и возбуждать поземельные споры, а ряд отказов и неуклонность строгих мер, введенных Ермоловым, уже давно вызывали среди них неудовольствие и ожесточение. Теперь в Кабарде с неудержимой силой и вспыхнуло эмиграционное движение; кабардинцы одни за другими целыми семьями стали предпринимать тайные побеги за Кубань, где и основывали новые — "беглые" — кабардинские аулы.

Переселенцы эти естественно становились лютыми врагами всего русского и причиняли множество хлопот уже тем, что служили ширмами для всех преступлений, совершаемых кабардинцами покорными. Что бы ни случилось на линии, все сваливалось на немирных, ушедших за Кубань, а если и являлись улики неотразимые, то на подмогу поспевал кабардинский суд, всегда, во что бы то ни стало, оправдывавший виновных. Нужно заметить, что в числе причин кабардинских волнений было и слабое управление Кабардой преемника Подпрядова подполковника Булгакова, назначенного в 1824 году командиром Кабардинского пехотного полка.

Не без влияния на них было и восстание соседней Чечни, и убийство Лисаневича, и необыкновенно усилившиеся к этому времени набеги закубанцев. Восстание Кабарды сделалось не сразу. Скрытое недовольство, лежавшее в основании его, должно было сказаться сначала мелкими и как бы случайными проявлениями, постепенно усиливавшимися. Так действительно и было. Со времени Ермоловского похода и до самой осени 1824 года в примиренной Кабарде прекратились хищнические разбои и ничто, по-видимому, не нарушало мирного течения дел; воинственная жизнь этого края, казалось, отходила в область преданий. Как вдруг четырнадцатого сентября 1824 года неожиданно взволновало всех событие, в сущности ничтожное, но ярко напомнившее времена вечной войны в крае,— случай, совершенно подобный разбойническим предприятиям самых враждебных черкесов. В станицу Марьевскую (Солдатское тож) возвращались с поля с сеном казак Волжского полка Рассказов с женой, еще с одной казачкой да с тремя малолетними детьми. Это было ночью, в одиннадцать часов, верстах в пяти от поста Известного-Брода. Вдруг внезапно из балки выскочили на них шесть кабардинцев. Рассказов был тотчас убит, жена его ранена, а с казачкой и с детьми хищники помчались немедленно за Малку. За рекой, верстах в пяти, казачку они бросили — и скрылись. Три соседние поста, соединившись в один отряд, поскакали за хищниками. Следы привели их прямо к аулу узденя Атабекова, что на Малке, близ укрепления Известного-Брода; жители его, однако, сказали, что ничего не знают и никого не видели. Случилось, между тем, что один из разъездов, отправившийся на розыски, увидел двух кабардинцев, ехавших на взмыленных лошадях как раз под аулом; их взяли и обезоружили: винтовки их оказались только что выстреленными, шашки — с запекшейся свежей кровью. В то же время другой разъезд нечаянно набежал на четверых кабардинцев, беспечно расположившихся на отдых в балке близ самой дороги: их шашки, винтовки и кинжалы лежали у огня, а лошади паслись саженях в десяти. Поздно заметив казаков, кабардинцы бросились к своим

лошадям, а казаки — к их оружию. Захватив его, они переловили и хищников. Вероятно, это и были те шестеро, которые напали на Рассказова, но детей при них уже не было.

Этот случай был началом целого ряда подобных мелких происшествий; осенью же, после экспедиции Вельяминова за Кубань, в Кабарде разразилась наконец страшная катастрофа, напомнившая линии набег Джембулата. Дело происходило так.

В то время, когда войска стояли еще за Кубанью, в окопе на Сагауше, сильная партия “шапсугов, абадзехов и беглых кабардинцев отдаленными и скрытыми путями пробиралась на линию, к вершинам Кубани. Вельяминов, находившийся в то время в Ставрополе, скоро получил сведение об этой партии, следил за нею и принимал свои меры. Прорыва ожидали около Тахтамыша, где находился подполковник Родионов с донским казачьим полком; другой донской же полк, Луковкина, стал на Кубани, у Погорелова поста; третий, подполковника Кареева,— у Невинного Мыса; кроме того, вся конница действующего отряда (Кавказский и Кубанский полки) сближена была с линией и стала на Урупе, под командой майора Навагинского полка Грекова. В этот последний отряд посланы были ногайский султан хан-Гирей и князь Измаил Алиев как разведчики.

Несмотря однако на все предосторожности, неприятель двадцать первого сентября, перешел Кубань у Каменного Моста, не будучи замечен. Отсюда черкесы еще с большей скрытностью двинулись по Малке. Кабардинцы тотчас вошли с ними в сношения, и даже сын преданного России кабардинского валия, Джембулат Кучуков, примкнул к ним со своими узденями. И вдруг двадцать девятого сентября вся огромная ватага неприятеля обрушилась внезапно на оплошный пост, оберегавший дорогу, и, уничтожив его, устремилась на селение Солдатское, иначе Марьевку, как она называлась прежде и как звали ее сами жители. По дороге туда они встретили двух казаков, ехавших из табуна на худых лошаденках. Завидев черкесов, двигавшихся прямо на станицу, шагом, они приняли их за казаков и сделали маяк. Черкесы дали по ним залп, и человек двадцать наездников мгновенно окружили их. Один казак был взят в плен, другой не хотел отдаться живым и, получив восемь шашечных ран, был брошен в поле замертво [Не лишнее заметить, что утром товарищи нашли его еще живым; он вылечился в Георгиевском госпитале и вследствие за свое молодечество попал в число отборных линейцев, назначенных в Варшаву в конвой к фельдмаршалу Паскевичу].

Черкесы подошли к Солдатскому. Местность эта исторически одна из замечательнейших. В 1387 году, как рассказывают предания, Тамерлан грозной тучей двигался на Кавказ. Навстречу ему из Крыма шел Тахтамыш с кумыкской ордой монголов. Тамерлан смял и уничтожил эту орду и, двигаясь дальше по северной стороне Кавказа, гнал Тахтамыша на Запад. На реке Малке, именно там, где стоит теперь станица Солдатская, Тахтамыш вступил с Тамерланом в решительный бой. Тамерлан разбил его наголову, и остатки орды Тахтамыша спаслись в трущобах Эльборуса...

Но возвратимся к рассказу.

Утро двадцать девятого сентября случилось туманное и пасмурное. Шел сильный дождь. Несмотря на дурную погоду, все казаки, едва только забрезжил свет, ушли на работу в далекие поля, и в станице, кроме баб, стариков да малых ребятишек, никого не осталось. Тысячная шайка конных черкесов нагрянула на них как снег на голову. Бабы первые заметили налетевшую беду, похватали своих ребят и забились в густой тутовый сад.

У верхних ворот станицы стоял часовой, астраханский казак [Конный полк Астраханского казачьего войска был вызван из Астрахани для усиления войск в Кабарде и расположен

частями по станицам и укреплениям.]. Честный служака не оставил своего поста; он изрубил двух первых бросившихся на него кабардинцев, но был изрублен сам,— и только через труп его черкесы вломились в станицу. Казачий резерв, также астраханский, заперся на почтовой станции и не двинулся с места. Черкесы, со своей стороны, тоже “не ворошили их” — по выражению одной казачки,— а забирали тех, кто попадался живым в домах и на улицах. Человек двенадцать было убито. “Похватали они всех лошадей,— рассказывала потом казачка,— и принялись обшаривать в домах, да так чисто, что синь-порох в них не оставили: перины повытащили, сундуки разбили, пух с подушек повыпустили, даже рушники — и те посдирали со святых образов, но особенно накидывались они на всякое железо: на топоры, косы и даже на гвозди. Навьючили они всем этим добром своих лошадей и зажгли избы. Тут они добрались и до нас, баб, спрятавшихся в саду, и всех позабирали”.

Селение было разгромлено. По официальным сведениям, в нем убито восемь человек, в плен попало сто тринадцать душ; домов, благодаря сырой, дождливой погоде, сгорело только десять, но в том числе молитвенный дом, больница и хлебные магазины.

Покончив с селом, черкесы, обремененные добычей, перешли за Малку и, никем не преследуемые, потянулись к Баксанскому ущелью. Ночью они перешли Баксан выше укрепления и, пройдя еще сутки, приблизились ко входу в ущелье Чегемское.

Одна из пленных казачек впоследствии рассказывала, что на пути этого отступления черкесам встретились русские войска. “На другой день после разгрома нашей станицы,— говорила она,— когда партия ночевала в ущелье, мы слышали, как в русском отряде бил барабан, и видели на горах казачьи пикеты. Черкесы, услышав барабан, всполошились, тотчас стали седлать лошадей и погнали нас дальше, на самый конец Баксанского (нужно понимать — Чегемского) ущелья, почти под Шат-гору”.

Действительно, всего вероятнее, что именно при входе в Чегемское ущелье упущен был самый удобный случай наказать хищников и отнять от них добычу,— что как увидим ниже, так возмутило Ермолова. Разграбивши Солдатское и лишь издали преследуемая ничтожным числом казаков, партия шла обремененная добычей и уже измученная, растерявшая своих лошадей. В этом состоянии она нечаянно наткнулась перед Чегемским ущельем на командира Кабардинского полка подполковника Булгакова, который с ротой пехоты и артиллерией шел от Баксанского укрепления на Малку. Черкесы всполошились и бросились в горы. Но Булгаков не почел себя, вероятно, достаточно сильным, чтобы ударить на неприятеля, и без выстрела дозволил ему уйти, несмотря на открытый ропот солдат. Впоследствии он старался объяснить свой поступок боязнью, чтобы черкесы, поставленные в отчаянное положение, не перерезали пленных.

Все эти обстоятельства глубоко возмутили Ермолова. Приехав сам на линию, он обратился к Булгакову с письмом, в котором с беспощадной откровенностью высказал чувства, волновавшие его.

“Мне надо было проехать через всю Кабарду,— писал он ему,— чтобы удостовериться, до какой степени простиралась подлая трусость ваша, когда, догнав шайку, уже утомленную разбоем и обремененную добычей, вы не осмелились напасть на нее. Слышны были голоса наших, просящих о помощи,— но вас заглушала подлая трусость; рвались подчиненные ваши освободить своих соотечественников — но вы удержали их. Из мыслей их нельзя изгнать, что вы или подлый трус, или изменник. И с тем, и с другим титулом нельзя оставаться между людьми, имеющими право гнушаться вами, а потому я прошу успокоить их поспешным отъездом в Россию. Я принял меры, чтобы проезжая село

Солдатское, вы не были осрамлены оставшимися жителями. Примите уверение в том почтении, которое только вы заслуживать можете”.

И долго спустя, когда давно уже исчезла резкость первого впечатления, Ермолов не отказался от своего взгляда на это дело. “Трусость подполковника Булгакова,— сказано в его “Записках”,— не допустила наказать хищников, ибо, догнав их в тесном ущелье, обремененных добычей и пленными, имея у себя достаточно сил и пушки, не смел на них ударить. Солдаты явно негодовали за сию робость; я назначил тотчас другого начальника и, вразумительно изъяснившись насчет подлой его трусости, приказал ему подать прошение в отставку”...

Оплошность Булгакова принесла горькие плоды. Хищники, ушедшие в Чегемское ущелье, не ограничились разгромом русской станицы, а произвели еще ряд нападений на мирных кабардинцев по Череку и Баксану. Впоследствии разъяснилось, что с шестого на седьмое октября известный кабардинский беглец князь Хамурзин с сыновьями и большой толпою черкесов — несомненно, частью партии, разорившей Солдатское,— напал на аулы узденей Асланкирова, Казанишева и других, лежавшие по Череку, разграбил их, угнал скот и отнял свою дочь, бывшую замужем за оставшимся здесь князем Камботом Кливчукиным. Партию эту преследовал сам кабардинский валий князь Кучук Джанхотов и отнял почти все награбленное в аулах.

В следующую ночь хищники спустились до Чегему к аулам Мисоста и потребовали от них согласия выселиться за Кубань. Получив отказ, князь Магомет Атажукин провел партию дальше к Баксану — и ряд аулов, не хотевших бросать насиженную землю, запылал, жители насильно уводились в Чегемское ущелье.

На Кабардинской линии поднялась тревога. Из Мечетского укрепления поспешно выступил отряд майора Тарановского, но когда он прибыл на место черкесских разбоев, аулы горели уже кругом, а от Мечеток почти до Кишпека тянулись арбы, уходившие в горы. Тарановский двинулся наперерез бегущим; загремели пушки, завязалась сильная ружейная перестрелка и разгорелся кровавый бой. Большая толпа хищников бросилась на отряд Тарановского в шашки, но была отбита. Тогда поручик Кабардинского полка Каблуков и прапорщики Воропанов и Костин сбили неприятеля с высот, лежавших по обе стороны дороги, и горцы, поставленные под перекрестный огонь, бросились назад, в Чегемское ущелье. Значительная часть бежавших с Баксана аулов была отрезана и забрана хоперцами.

Тарановский остановился на самом месте боя, чтобы дать отряду отдохнуть и разобраться с отбитыми обозами. Между тем к нему подошли казаки из Нальчика, с Баксана и даже от Известного-Брода. Тогда, не теряя времени, он быстро двинулся по следам неприятеля и вновь настиг его уже в самом ущелье. Опять завязался упорный бой — и кончился новым поражением черкесов. Нельзя не отметить, что смелые нападения Тарановского заслуживают полного внимания как по отваге, с которой действовал его небольшой отряд, так и по достигнутым им результатам. Только ничтожная часть бежавших с Баксана кабардинцев, пользуясь суматохой боя, успела пробраться в Чегемское ущелье, громадное же большинство было отбито и возвращено на плоскость. Смелостью же и энергичностью действий можно объяснить и ничтожность потери в русском отряде, лишившемся всего семи человек убитыми и ранеными, но в числе последних, к сожалению, был храбрый хоперский есаул Старжинский, которому горец разрубил и плечо и шею. Черкесы понесли и серьезную потерю, главным образом в лице своих предводителей: был убит абадзехский кадий и тяжко ранен князь Магомет Атажукин — один из тех кабардинских князей, отважные наезды которых и теперь еще помнят на линии.

Все эти воинственные предприятия черкесов отразились, между прочим, и в рассказе той бывшей в плену казачки, о которой сказано выше. Несмотря на то, что всякое приближение русских войск должно было вынуждать черкесов по возможности удалять пленных и добычу от мест прямых столкновений с ними, она видела и разгромы аулов, и битвы. По словам ее, у Шат-горы (нужно думать, в глубине Чегемского ущелья, так как рассказчица, естественно, не знала географии кавказских гор) черкесы стояли недели две и, не довольствуясь захваченной добычей, оставили при пленных караул, "а сами пустились на мирный кабардинский ли, ногайский ли аул... Там было у них, видно, большое сражение, потому что много они привезли оттуда своих раненых, однако же аул разорили и пригнали много арб с марушками, ребятами и пожитками, пригнали также и стадо овец, которых тотчас поделили и порезали". Это, вероятно, и был разгром баксановских аулов и битва с Тарановским.

Смелые действия партии, очевидно, были рассчитаны на то, что почти все свободные войска оставались после Вельяминовской осенней экспедиции еще за Кубанью. И Родожицкий с некоторой горечью говорит, что "в то время как мы стояли в своем неприступном окопе на Сагауше, они (черкесы) успели сходить верст за двести взад и вперед, разорили станицу, увели мирный аул и добычей, взятой на линии, вознаградили потерю аулов, которые мы выжгли".

Долговременная стоянка в Чегемском ущелье, однако, едва не имела для черкесов трагического исхода. Извещенные о разгроме Солдатской и о дальнейших действиях партии, войска стягивались со всех сторон. Возвращавшийся из экспедиции отряд Бековича-Черкасского уже подходил к Кубани, когда узнал о набеге черкесов, и быстро повернув назад, занял сильную позицию у Каменного Моста — единственный удобный пункт переправы через Кубань. В то же время отряд майора Родионова из Тахтамыша передвинулся к верховьям Зеленчука и заградил черкесам горные проходы на Хассаут, Куркуджин и Киджал, а полковник Луковкин занял центральную позицию между двумя предыдущими отрядами: пехота его оберегала дорогу, пробитую по одной из горных речек, а шестьсот казаков, составив подвижной отряд, посредством разъездов и скрытых движений небольшими партиями следили за выходами к стороне карачаевцев. С другой стороны, путь по открытой кабардинской равнине также не обещал хищникам ничего доброго — на нем грозило неизбежное преследование, и в конце концов он все-таки привел бы их к тому же Каменному Мосту на Кубани. Неприятель, таким образом, был заперт в Чегемском ущелье. Перед ним лежала открытой только одна тропинка, проходившая выше Уруспиевского аула, под самым снежным хребтом, и доступная лишь в летнее время — и то для пешеходов. Но делать было нечего, и большая часть горцев решилась на баснословный переход по таким местам, где, быть может, до того не ступала нога человека: она пошла на Уруспий, пробралась под карнизом вечного снега и спустилась на Лабу, к Ахмед-горе, миновав войска, сторожившие их в верховьях Кубани и Малого Зеленчука. Но не дешево достался им этот необычайный переход среди снегов и метелей — и большинство поплатилось здоровьем, а многие и жизнью.

От этого не легче было, впрочем, целой массе русских пленных, которых, по рассказу все той же казачки, на каждого хищника "досталось по девке и по мальчику". Им пришлось вынести те же трупы на горном перевале и затем большинству навеки исчезнуть и сгинуть на чужбине, на малоазиатских рынках, в гаремах разных стран и на тяжких работах. "Черкесы пошли через Карачай,— говорила бывшая пленница,— и там, у карачаевцев, они продали и променяли все награбленное, что им не годилось. От Кубани нас повели у самых снеговых гор. Так шли мы шесть недель, почти под Анапу... Там-то по долинам и по ущельям черкесов кишмя кишит — аул подле аула"...

Сама рассказчица освободилась из плена благодаря только случаю и ловкости какого-то армянина. Армянин этот скупил в горах несколько пленниц и выменял их на столько же черкешенок, захваченных Бековичем в Кара-Мурзином ауле. Хорошим поступком этим, приписанным его усердию, он заслужил награду от русских властей, но не остался внакладе и со стороны черкесов, которым перепродал их жен, дочерей и сестер с огромным для себя барышом. Это был новый род торговли, остроумно изобретенный тогда армянами.

Две же взрослые дочери рассказчицы так и остались в плену и пропали без вести.

С уходом закубанцев в свои горы бедствия Кабарды не кончились.

Дело в том, что из Чегемского ущелья ушли, как сказано выше, не все, а только большая часть хищников, и пленная казачка помнит хорошо, что они разделились тогда на две партии. Нужно предположить, что ушли только дальние горцы — шапсуги и абадзехи; беглые же кабардинцы, с князьями Кучуком Ажгиреевым, Дженхотом Кейтукиным, Измаилом Касаевым и Кайсыком Казиевым, остались в горах и соединились с Хамурзиным, чтобы хищничать на линии.

Русские секреты, выставленные на Череке, видели, действительно, партию человек в полтораста, разъезжавшую по ущельям, которая скоро и ознаменовала свое пребывание здесь отгоном с Малки табуна более чем в две тысячи лошадей, принадлежавшего валию Кучуку Джанхотову и другим мирным кабардинским князьям.

Положение дел становилось настолько серьезно, что Ермолов в ноябре сам приехал в Екатериноград, где его и застало тогда известие о кончине императора Александра. Но даже личное присутствие на линии грозного для горцев главнокомандующего было бессильно обуздать их, и со времени разорения Солдатской идет ряд нападений то в Кабарде, то на правом фланге, которые в этот тревожный период слились в единстве враждебных действий и усилий горцев против русских.

Еще не улеглась общая тревога, вызванная присутствием сильной вражеской партии в Чегемском ущелье, как восемнадцатого октября четырнадцать человек горцев наехали на жителей селения Новосельцы, бывших в поле, верстах в десяти от дома, и захватили в плен двух крестьян, а третьего изранили. Прошло несколько дней — и новое происшествие. Тридцать человек напали на хутор некоего Великанова, при селении Отказном, троих убили, пятерых взяли в плен и угнали семь лошадей.

Это было двадцать пятого октября. А третьего числа следующего месяца кабардинская партия была замечена за Малкой с поста Известного-Брода. Сотник Евсеев с командой немедленно поскакал за ними, но партия скрылась. Только после долгих поисков, уже за речкой Куркуджин, в полуверсте впереди, заметил он трех пеших кабардинцев и, чтобы не мучить напрасно лошадей, послал хорунжего Таририна узнать, мирные это или хищники. Таририна встретили прицеленные ружья. Он громко крикнул, что если они мирные, то им бояться нечего, пусть отдадут оружие и следуют к начальству. В ответ раздался залп — и лошадь под хорунжим была убита. Таририн, в свою очередь, выстрелил в них из ружья, а тут подоспел и Евсеев с командой. Хищники, не имевшие возможности ни бежать от конных казаков, ни одолеть их, засели в яр и не давали приблизиться к себе, посылая выстрел за выстрелом. Между тем наступала ночь. Казаки, боясь упустить хищников, двинулись на них всей массой, и тогда кабардинцы, увидев, что им не избежать уже смерти, сами бросились на казаков с кинжалами: двое из них тотчас были изрублены, но третьему, сильно раненному, удалось в наступившей темноте спрятаться в густой бурьян,

и он не был найден. Хищники бились с такой отвагой, что, несмотря на большой перевес в силах, казаки потеряли трех человек ранеными.

В то же время Кубанская линия вновь неожиданно подверглась бурному черкесскому набегу, о котором власти на линии не были даже предупреждены лазутчиками. Несколько дней раньше происшествия у Известного-Брода и ровно месяц спустя после разгрома Солдатской, двадцать девятого октября, партия в пятьсот человек, опять с Джембулатом Айтековым во главе, перешла Кубань у Прочного Окопа. Здесь она разгромила казачий пост и беспрепятственно двинулась по дороге, ведущей к селам Каменнобродскому и Сенгилеевке, забирая и опустошая все, что попадалось на пути. Жители, работавшие в полях и на молотьбе хлебов, избивались или забирались в плен. Так партия дошла до Временного поста, где дорога разделяется. Они окружили пост и забрали казачьих лошадей, но сами казаки заперлись в караульной избе и отбились. Тогда партия повернула на хутора Кубанского полка, много казачьих семейств побила или забрала в плен, захватила полковые табуны — и затем бросилась на селенья. Малочисленные войска, охранявшие их, мужественно встретили горцев и не допустили до совершенного истребления деревень, тем не менее и здесь много жителей было убито и забрано в плен.

Рота Навагинского полка гналась за неприятелем от самого Прочного Окопа, но, разумеется, отстала, и только встретила его уже возвращавшимся из набега. Выстрел картечью остановил черкесов. Они кинулись вправо, сбили на Кубани казачий пост и переправились, не успев захватить с собой из всей огромной добычи только около ста семидесяти лошадей, отбитых сотней донцов, насевших на них, под командой есаула Дуткина, на самой переправе у Погорелого поста, называемой Овечьим Бродом. Это несчастное событие, случившееся при удвоенном числе войск на линии и при таком начальнике, каким был Вельяминов, служило доказательством, что без предварительных уведомлений о сборе черкесов невозможно предупреждать их быстрые, неожиданные вторжения.

Не так, напротив, посчастливилось горцам, когда два месяца спустя, восемнадцатого декабря, такая же большая партия в пятьсот человек и с тем же Джембулатом перешла Кубань у Романовского поста и двинулась по направлению на речку Чалбас. На линии уже знали о готовящемся нашествии и были настороже. Поэтому ни на чалбасской мельнице, ни на чалбасских хуторах черкесы не нашли ничего. Опытный Джембулат сметал грозившую опасность и, захватив наскоро что попало под руку, быстро повернул назад, к Кубани. Но уйти от погони ему уже было нельзя. Зловещим факелом вспыхнул сигнальный маяк, глухо раскатился пушечный выстрел — и со всех сторон понеслись казаки на тревогу... Первым настиг и насел на неприятеля резерв Казанской станицы, к нему подоспели станицы Тифлисская и Темижбекская, прискакал князь Бекович с кавказцами, донцы, с подполковником Залещинским,— и все совокупными силами гнали неприятеля на расстоянии целых тридцати пяти верст. Черкесы оставили по пути отступления множество тел, но им удалось и на этот раз увести в плен десятилетнего мальчика, сына дьячка из села Ильинского.

Из тревожных событий этого времени выдается геройская защита одной незначительной команды Кабардинского полка против вдвое сильнейшей партии хищников. Дело было так. Из Екатеринограда во Владикавказ шел транспорт с боевыми патронами, провиантом и солдатскими женами. Двадцать девятого марта 1826 года он выступил из Ардонского поста, с прикрытием из тридцати пяти солдат, под начальством унтер-офицера Пучкова. Отошли верст пятнадцать, как вдруг из лесу появилась большая конная партия черкесов. Пучков, не теряя присутствия духа, встретил их залпом. Шайка отскочила, а солдаты, воспользовавшись этим моментом, быстро устроили из повозок каре. Жестокий бой,

длившийся несколько часов, кончился тем, что неприятель бежал, но конвою это нападение стоило четырнадцати человек, то есть почти половины команды; ранены были также две солдатки и пропал без вести четырехлетний мальчик.

Есть известие, передаваемое в частных записках одного путешественника, что женщины принимали близкое участие в бою,— недаром двое из них ранены. “Мы, бабы,— рассказывала одна из этих раненых солдаток,— нанимаемся для перевозки всякой рухляди... В тот раз я везла патроны, другие муку. Оказия была сильная. И вдруг со всех сторон налетели черкесы!.. Ведь они бы не так еще были страшны,— да уж визжат больно! Господи! Какой визг подняли!.. Шашки наголо — и летят!.. Мы скареились, да из-за арб и давай их душить. Отобьемся, отобьемся, смотрим: опять летят!.. Дадут залп из ружей — и в шашки!.. А прорваться в карею не могут: за арбами и фурами нашим ловко было отсиживаться. Вдруг слышим, конвойные кричат: “Патроны все!” Мы, бабье дело, да не будь плохи, разбили тюки, да и давай разносить патроны-то! И, вот как я подавала уже скушенный патрон солдату, пуля и отшибла мне палец: вот, видите? Зато теперь я получаю пенсион и полный паек — Государь так приказал”...

“Русская амазонка,— прибавляет автор записок,— рассказывала это с видом равнодушия, как дело очень обыкновенное. Оружие, порох, грабеж, пожар — вот слова, на коих основаны вседневные рассказы на линии”.

Ермолов по достоинству оценил подвиг Пучкова и просил Георгия как для него, так и для двух людей из его команды. Император Николай не только утвердил представление Ермолова, но, сверх того, произвел Пучкова в прапорщики и всем нижним чинам назначил денежную награду. Не лишнее заметить, что это были первые Георгиевские кресты, розданные Николаем Павловичем, а награды, увеличенные лично государем, впервые проявили ту истинно царственную щедрость, с которой покойный император постоянно отличал военную доблесть [Леон Трофимович Пучков служил в четвертом линейном Кавказском батальоне и в 1837 году вышел в отставку штабс-капитаном.].

Случай с Пучковым не был единственный, хотя далеко не все они дошли до нас в донесениях начальников и в частных рассказах. В тех же записках, которые так просто и верно отражают дух воинственной кавказской женщины, воспитанной под грохот перестрелки и засыпавшей в детстве под мирные легенды о воинственных подвигах, рассказан между прочим следующий, столь же доблестный, но уже менее счастливый случай. “Один штабс-капитан и с ним три субалтерн-офицера, возвращаясь после освидетельствования сгоревшего в какой-то крепости магазина, встречены были сорока хищниками, под предводительством князька не только мирного, но и находившегося прежде на нашей службе. Имея в конвое только семнадцать человек донских казаков, штабс-капитан увидел всю бесполезность сопротивления, но не хотел и сдаться без боя. Как яростно было нападение, так и защита отчаянна. Из всего конвоя уцелели два казака, обязанные спасением быстроте своих лошадей, остальные изрублены... Один офицер, жестоко израненный, остался замертво на месте; другой, геркулес по росту и силе, защищавшийся с геройским мужеством, разрезан на части уже мертвый!.. Из зверского остервенения горцы размозжили ему голову, отрезали руки и ноги и дали телу неисчислимое множество ран...” Происшествие это было немного спустя после случая с Пучковым, и также между Екатериноградом и Владикавказом.

Официальные источники, в свою очередь, упоминают о нескольких случаях появления хищнических партий, о грабежах и разбоях, случавшихся в Кабарде около того же самого времени. Так двенадцатого мая человек сорок кабардинских абреков, под предводительством знаменитых князей Бесленея Хамурзина и Тембота Кантукина,

прорвались на кабардинскую плоскость со стороны Чечни, но, встреченные здесь двадцатью казаками Волжского полка, поспешно укрылись в лесах Черекского ущелья. Отсюда они пробрались в землю дигорских осетин и вместе с ними замышляли новые набеги на русские границы.

Так шла жизнь Кабарды среди треволнений, которые незадолго перед тем население стало было уже забывать. Русское правительство отвечало на участие мирных кабардинцев в беспорядках непреклонной политикой, карая их, как за измену присяге и долгу подданных. И первой жертвой правосудия пал сын самого валия, Джембулат Кучуков, со своим сообщником князем Канамиром Касаевым. Казнь эта произвела на Кабарду глубокое впечатление.

Происшествия 1826 года были в Кабарде последними вспышками затихавшего брожения, переходными явлениями к эпохе мирной жизни. И если берегам Кубани предстояло еще быть поприщем диких насилий беспощадной религиозно-фанатической войны, то перед Кабардой лежал путь гражданского порядка, которого впоследствии не могло поколебать даже вторжение могущественного Шамиля.

Смягчению, а потом и исчезновению воинственных инстинктов в кабардинском народе послужило и постепенное исчезновение вождей, проникнутых духом необузданной воли и страстно искавших выхода для своих непочатых сил в громких военных подвигах. Под непосредственным управлением русского правительства бывшие междусословные отношения в Кабарде постепенно, но круто изменились.

Сила и значение князей каждый день утрачивали свое обаяние, и с каждым днем народная масса становилась самостоятельнее. Да и таких князей, которые образом жизни соответствовали бы прежним понятиям кабардинцев о княжеском достоинстве, становилось все меньше и меньше, и когда в шестидесятых годах умер последний представитель древнего типа кабардинского князя, Атажукин,— в Кабарде остался только ничего не значащий княжеский титул. Некогда широкая жизнь кабардинского “пши” мало-помалу переходила в область легендарных преданий, а с тем вместе затихала навек и некогда воинственная Кабарда.

XXXII. СМЕРТЬ ДЖЕМБУЛАТА КУЧУКОВА

В Кабарде зародился тревожный слух: Вельяминов требует валия и Джембулата в Нальчик! “Правда ли?” — тревожно спрашивали друг друга встречавшиеся кабардинцы.

Слух подтвердился. Нарочный из Екатеринограда привез валию приглашение явиться с сыном и князьями Канамиром Касаевым и Росламбеком Батоковым в Нальчик. Как молния, пролетела эта весть по аулам, и вся Кабарда, как один человек, села на коней и поехала в аул старого валия.

Все знали, что пело идет о жизни и смерти Джембулата; всем было известно, что Джембулат и князья Касаев и Батаков были душой той тысячной партии черкесов, которая Божьей грозой пронеслась над станицей Солдатской, увлекла в плен женщин и детей и оставила после себя на том месте, где прежде цвели довольство и благоденствие, лишь следы разрушения, да печальные стоны немногих уцелевших и теперь на тлеющих грудах пепла оплакивающих потерю дорогих лиц и всего своего достояния.

Вельяминову поручено было наказать этот неслыханно дерзкий поступок.

Никогда еще кабардинцы в душе не были покорными подданными России. Слишком живо было в них сознание своего удалого молодечества, еще сильна была в них жажда славы и военных подвигов. У домашнего очага с ранних дет слушал юноша-кабардинец рассказы отца про дела князей, про битвы с крымскими татарами, с кубанскими мурзами и казацкими атаманами. Старинные песни в устах прекрасных дев говорили про храбрых, благородных кабардинских князей, про награды, которые ожидают их: здесь — в песнях певцов и горячих лобзаниях женщин; там, за пределами человеческой жизни,— в вечном эдеме и ласках чернооких гурий... Закипала кровь юноши, и горячая фантазия рисовала перед ним его собственное будущее в образе подвигов неустрашимого мужества и бестрепетности перед грозными очами смерти. Пели девушки и о том, как изнеженный и трус приговорены здесь — к презрению, там — к вечному рабству. И не мог помыслить юноша о жизни без тревоги и подвигов бранных.

Старый, любимый, всеми уважаемый валий не всегда мог сдерживать своеволие молодежи, и оттого довелось ему, как старому древесному стволу, пережить свои молодые ветви. Из троих сыновей его старший утонул на переправе через Кубань, второй погиб где-то в окрестностях Георгиевска. Теперь ему оставался только третий, последний сын, единственная радость и утешение в старости, его гордость и надежда, единственный преемник древнего, славного имени. И этот последний сын сделался преступником.

Страшна была для отца та минута, когда он получил требование Вельяминова; еще страшнее та, когда он приказывал сыну готовиться ехать с ним в Нальчик. Быть может, мелькнула в голове Джембулата мысль бежать в горы, но он взглянул на отца, увидел глубокое спокойствие на его почтенном лице — и молча повиновался.

Со всех сторон съехались к валию князья со своими узденями, собирались и волны народа, шумевшие, как море, готовое, при первом порыве ветра, разыграться разрушительной бурей. Старый валий важно и безмолвно принимал прибывших князей и приказывал отвести их в особые комнаты для отдыха после утомительного пути.

Торжественна и трогательна была картина, когда на следующий день, с первыми лучами восходящего солнца, старый валий сел на коня и шагом выехал со двора, сопровождаемый князьями и сотнями всадников, готовых пролить за него последнюю каплю крови. Старшие князья отличались простотой одежды, важным спокойствием и гордой осанкой; молодежь блистала и одеждой, обложенной серебряными галунами, и сверкавшим на солнце оружием, покрытым серебряной и золотой насечкой, и дорогим убором своих кровных коней.

Кабардинская степь, широко раскинувшаяся на необозримом горизонте, загремела шумной, веселой джигитовкой. В джигитовке, в этом живом разгуле гарцующей молодежи, есть для кабардинца что-то поэтическое, увлекающее. Даже те, кому лета и сан не дозволяли принимать участие в общей забаве, громкими восклицаниями выражали сочувствие смелым и ловким джигитам, напоминавшим, быть может, им их собственную бурную, удалую молодость. Джембулат, красивый и ловкий, отличался больше всей молодежи. Старые князья смотрели на него с грустным участием и думали про себя: “Как ни остра стрела, а все же она должна сломиться о твердую скалу”. Отцовское сердце старого валия обливалось кровью: он знал, что сын его преступник и что судья его — Вельяминов.

Какое мстительное чувство скрытно волновало молодежь, когда впереди встали перед нею грозные валы Нальчика, сверкавшие штыками и жерлами орудий! Веселые крики замолкли, все столпились в кучу и немой массой подвигались вперед. В крепостные

ворота впущены были только валий, сын его, князья Канамир Касаев и Росламбек Батоков и с ними три узденя. Зная неукротимый характер Джембулата, Вельяминов приказал приготовить заранее двадцать пять солдат с заряженными ружьями. Джембулата и князей ввели в дом кабардинского суда; валия с его узденями Вельяминов пригласил к себе, чтобы избавить их от возможных опасений. Между двумя этими домами, стоявшими друг против друга на противоположных концах площади, расположился взвод егерей.

Переводчик Соколов по приказанию Вельяминова вошел в дом, где были арестованные князья, и сказал, что генерал хочет их видеть и чтобы они сняли оружие и следовали за ним. Они повиновались. Но едва Джембулат, переступив порог, увидел солдат, как бросился назад в комнату и схватился за оружие; Батоков и Касаев (брат известного мятежника Измаила Касаева) сделали то же — и Соколов вынужден был удалиться. Тогда Вельяминов решил подействовать на Джембулата и склонить его к повиновению путем увещаний старого валия.

Необыкновенные обстоятельства свели здесь двух необыкновенных людей, два необыкновенные характера, которые могли возникнуть только в том суровом краю и в ту суровую эпоху. Вельяминов принадлежал к редким людям, которые обнаруживаются только при стечении чрезвычайных обстоятельств. От его необыкновенной проницательности ускользало разве только то, чем он пренебрегал. Перед железной силой его воли преклонялось все, исчезали все трудности. Он не терял никогда слов попусту, речь его была проста и ясна, повеления — коротки. Редко видели его улыбающимся или сердитым. Спокойная осанка и речь прямая, без всяких изворотов — говорили о спокойном и доброжелательном его настроении; напротив, молчание, привычка выдергивать волосы из бакенбард и сдувать их с ладони — означали противное, и кто был принят Вельяминовым в таком расположении духа, тому не доводилось похвалиться хорошим приемом. Таков был постоянно Вельяминов и в своем кабинете, и перед войсками, и в походах через леса и горы, и в самом пылу сражения. Любовь к отдельным лицам поглощалась в нем любовью к отечеству, в обширном смысле этого слова, и чувство полга преобладало у него над всем. Горцы благоговели перед этим суровым вождем и видели в нем силу неодолимую. Слова: “Вельяминов хочет” — значили для них, что всякое сопротивление бесполезно; “Вельяминов идет” — значило: нет спасения.

Такой же силой воли обладал и старый Кучук. В нем хорошие свойства его народа являлись в высокой степени облагороженными. В нем уже перегорел огонь опрометчивой и необузданной юности и уступил место холодному рассудку. Никакая жертва не могла ему казаться великой, когда дело шло об отвращении бедствий от его любимой родины. Он не мстил за смерть своих сыновей и последнего готов был предать заслуженной каре, лишь бы избавить свой народ от гибели.

Вельяминов встретил почтенного валия на пороге комнаты и ласково протянул ему руку.

— Здравствуй, Кучук,— сказал он.— К сожалению, я не могу радоваться свиданию с тобой. И то, что я должен сказать, будет столько же больно слушать тебе, сколько и мне говорить.

Вельяминов молча указал старику на стул возле окна. Оба сели. Кучук исподлобья бросил взгляд на улицу и увидел, что дом, где находился его сын, окружен солдатами. Лицо старого валия осталось неподвижным.

После минутного молчания Вельяминов сказал ему:

— Кучук! Твой сын сделался изменником; он забыл и присягу, и милости царские, и дружбу Ермолова к тебе, забыл свой долг, честь и, как разбойник, напал на наши деревни. Он уже арестован. Тебе, как валию и отцу, я поручаю узнать, не найдет ли он хоть что-нибудь к своему оправданию.

Старик спокойно ответил:

— Виноват ли мой сын, или нет, ты это лучше меня должен знать и судить. Одного прошу: избавь меня от печальной обязанности говорить с ним; тяжело мне быть исполнителем наказания, а еще тяжелее подвергнуться стыду, если я встречу с его стороны непослушание моей власти. Я знаю гордый, неукротимый нрав своего сына — и могу ожидать этого.

— Я это сделаю,— сказал Вельяминов,— из уважения и участия к тебе. Мои средства для достижения цели заключаются в силе, но сила не гнет, а ломает; твое средство — любовь, и думаю, что отцовское сердце сумеет покорить упрямство сына. Участь этого сына я и вверяю отцу его.

В душе старика скользнул луч надежды, и он пошел к Джембулату. Джембулат сидел в комнате на широкой деревянной скамье и чистил ружье, закоптевшее от пороха во время последней джигитовки. Он встал и поклонился отцу.

Лицо старика не обнаруживало тревожного состояния духа, оно было спокойно и серьезно, как будто бы валий готовился дать сыну обыкновенное приказание.

— Джембулат! — сказал он.— По приказанию Вельяминова ты арестован, и я пришел взять у тебя оружие.

— Не дам,— глухо ответил Джембулат.

— Повинуйся мне, валию и отцу! — грозно крикнул Кучук.

— Оружия не отдам,— еще глуше прошептал Джембулат.

— Ты изменил слову,— продолжал старый Кучук дрогнувшим голосом,— ты нарушил клятву, ты воровски, не как природный князь, а как разбойник, поднял оружие против тех, кому твой отец, твой повелитель, глава всего кабардинского народа безусловно повинуется. Что скажешь ты в свое оправдание?

Джембулат молчал. Он видимо боролся с собою, но наконец сказал твердо:

— Нет! Таково предопределение Аллаха. Я не отдам оружия.

Кучук вышел из комнаты.

Вельяминов пытливым взглядом встретил возвратившегося валия.

— Ты не принес с собою оружие Джембулата? — сказал он.

Вельяминов встал и начал задумчиво ходить по комнате. Наконец он остановился перед валием.

— Кучук! — сказал он ему.— Ты знаешь, со мною не шутят. Не хочу знать, что побудило сына твоего к измене, но знай, что его спасение — в слепом повиновении... Больше надеяться ему не на что...

Снова пошел старый Кучук и на этот раз застал Джембулата стоявшим посреди комнаты с заряженной винтовкой. Безмолвно смотрел отец на мятежного сына. В эту минуту вошел комендант.

— Гяур! — неистово крикнул Джембулат и бросился с обнаженным кинжалом. Отец быстро заслонил ему дорогу и внезапно и сильно схватил его руку. Кинжал, звеня, упал на пол. Всякая тень надежды исчезла; за такое преступление помилования уже быть не могло. Кучук воротился к Вельяминову.

— Генерал,— сказал он,— я сделал все, что от меня зависело, теперь ты поступай, как велит тебе долг твой и совесть.

И валий с глубоким спокойствием сел у окна.

Вельяминов позвал адъютанта, отдал ему короткий приказ и сел против валия.

Взвод солдат стал приближаться к дому, где находился неукротимый Джембулат. Вдруг из окна грянул выстрел, вслед за ним — другой; двое солдат повалились на землю. Бешеный Джембулат вышиб ногою окно и выскочил вместе с Касаевым, сверкая шашкой... Тогда солдаты дали залп — и преступники, окровавленные, грянулись оземь... Рослам-бек сдался; он оставался в комнате, не стрелял сам и старался уговорить и товарищей по несчастью.

С холодным видом смотрел валий на эту страшную сцену. Наконец он поднялся и стал прощаться с Вельяминовым.

— Такому человеку, как ты,— сказал ему Вельяминов,— никто не может отказать в уважении. Знай, что оказать тебе доверие я почту для себя за счастье.

И они расстались.

Невозможно выразить, какое впечатление произвела казнь Джембулата на кабардинцев, стоявших вне крепости. Слыша выстрелы и догадываясь о их значении, сотни отчаянных наездников, с обнаженной грудью, с разгоревшимися глазами, с устами, запекшимися кровью, неистово волновались, горя желанием мести. Им хотелось бы разорить, уничтожить крепость и все, что в ней находилось и жило, сравнять ее с землей и самое место это посыпать солью.

Но вот среди тревожной толпы появился валий, холодный и спокойный. По знаку его толпа замолкла. С повелительным жестом он крикнул: “На конь!”,— и мерным шагом поехал домой. Толпа безмолвно последовала за ним.

Солнце уже склонялось за горизонт и, золотя долины своими лучами, яркими красками играло на ледяных вершинах отдаленных гор. Конвой валия шел мрачно и уныло.

В душе каждого из этой толпы некогда вольного народа возникало ясное сознание, что кончилась эпоха стремительных, волнующих кровь предприятий, что храбрый джигит должен будет скоро снять свои военные доспехи и променять острую шашку, гурду, и

незаменимого товарища боевой жизни, коня, на мирный плуг земледельца, влекомый ленивыми волами. И поникали головы, и мысли тревожнее и тревожнее омрачали суровые лица. Видя гибель родного и привычного быта, они думали, что рушится счастье и будущность их вольного края. Не сознавали они, что то занимается заря светлого будущего, которое внесет в их край родной блага вековой цивилизации и превратит их кровью покрытые поля в роскошные нивы.

И в конце концов, размыслив, кабардинцы не могли не сознавать, что сам Джембулат был виною своей гибели. Вельяминов имел полное право написать Ермолову в своем донесении:

“Кабардинцы хотя и опечалены смертью Джембулата Кучукова, но хорошо понимают, что единственно упорство его и неукротимый характер были причиной оной. Надеюсь, что происшествие сие не произведет никаких лишних беспокойств в Кабарде, а, напротив того, многих должно воздержать от изменнических предприятий”.

Тем не менее трагедия, разыгравшаяся в Нальчике, в которой сошлись железные характеры из железного быта воинственных гор, глубоко поразила умы современников. Имя Джембулата Кучукова прошло по горам Кавказа, и смерть его послужила темой преданий и многочисленных рассказов.

Вельяминов, проводив Кучука, был между тем в затруднении. В Кабарде умы были слишком взволнованы, и ему нельзя было проехать из Нальчика на линию с малым конвоем — не от страха, которого он никогда не знал, а чтобы не изменить своему правилу — быть всегда сильнейшим. И вот он послал на линию привести себе батальон пехоты с двумя орудиями и ждал его прибытия. Весть об этом дошла до валия.

Однажды ночью Вельяминова разбудили и подали ему письмо от Кучука. Валий писал ему:

“Генерал! Ты изъявил желание доказать мне свое доверие. Вот теперь представился к этому случай. Тебе дорога на линию кажется опасной, и ты потребовал к себе конвой из Екатеринограда. Прошу тебя, доверься моим пятистам кабардинцам, которых я тебе посылаю. Они проводят тебя до Екатеринограда”.

Утром, с восходом солнца, партия кабардинцев двигалась по плоскости от Нальчика к Екатеринограду. Но веселая джигитовка уже не оживляла этого поезда. Угрюмо ехали всадники, надвинув на глаза папахи. Ни слова не слышно было в конной толпе, и только земля глухо звучала под копытами лошадей.

Впереди, один, задумчиво ехал — Вельяминов.

XXXIII. ЧЕРНОМОРЬЕ ПРИ АТАМАНЕ МАТВЕЕВЕ

Против Черномории, стоявшей бессменным стражем на рубеже России по самому важному нижнему течению Кубани, от Усть-Лабинского укрепления и до Черного моря, сидели в горах сильнейшие враждебные черкесские племена, шапсуги и абадзехи, готовые ежеминутно обрушиться на нее бичом смерти и истребления. И тем не менее 1817 год, которым начиналась на Кавказе Ермоловская эпоха, застал ее в относительном спокойствии; черкесы помнили еще опустошения их земель, которыми энергичный атаман Бурсак ответил на их набеги, и до поры до времени оставляли Черноморскую линию в покое.

Но этот мир, это спокойствие были даже очень относительны. Не было крупных вторжений, не приходили тысячные партии, но мелкие набеги продолжались, и официальные источники того времени представляют красноречивые факты вечной тревоги, царившей на линии. С 1812 по 1816 годы — в период, который и самими казаками называется “мирным”, в разное время, поодиночке, черкесами уведены в неволю шестьдесят казаков и женщин и угнано более тысячи голов скота.

Но не прочно было даже и это тревожное затишье. К тому времени над Черноморией уже не бодрствовало неусыпное внимание старого атамана ее Бурсака: годы взяли свое, и он, удрученный трудами и ранами, стал проситься на отдых и сложил наконец, в 1816 году, свою атаманскую насеку. Преемником его является непременный член войсковой канцелярии подполковник Матвеев.

Седовласый, кроткий, “весьма занимательной наружности” — как описывает его путешественник Гераков, Григорий Кондратьевич Матвеев был казак еще Потемкинского времени. Он видел штурмы Очакова, Измаила и Березани, ходил с Головатым в Персию, искрестил черкесские земли с Бурсаком, наконец, командовал на Дунае, после геройской смерти Поливалы, пешим полком черноморцев. Там четвертого июля 1810 года заслужил он Георгиевский крест, прорвавшись со своим полком на гребной флотилии между Рущуком, Журжей и батареями, устроенными по обоим берегам Дуная, и в 1812 году возвратился на родину, уже подполковником, с Владимиром в петлице и Анной на шее.

Таким образом, вся предшествовавшая жизнь, по-видимому, давала ему право с достоинством и честью держать атаманскую палицу.

Но в то время в Черномории заводились порядки, разлагавшие старинный казацкий быт, а с ним вместе и казацкую силу. Среди свободной общины, важнейшим законом которой было воинственное братство и равенство, заводилась богатая аристократия, уже одним своим существованием нарушавшая весь стародавний казацкий строй. Дело в том, что по старому обычаю, по войсковому укладу, каждому члену войсковой общины, как чиновному, так и простому казаку, представлялось пользоваться землей по мере надобности. Но это патриархальное “по мере надобности” скоро обратилось, как выражается историк Черноморского войска, в феодальное “по мере возможности”. И те, кто был облечен чинами и властью, насколько могли стали расширять свои поземельные владения, не заботясь о том, что останется на долю их нечиновным собратам. Чтобы придать “пользованию” характер “владения”, люди эти отособились от своих нечиновных сочленов и водворились хуторами; хутора закреплялись за ними пожизненно, а затем мало-помалу стали переходить и в вечное потомственное владение. Появились даже крестьяне, скупленные во внутренней России и переселенные оттуда на далекое черноморское побережье.

Все это начиналось уже давно; не без вины были в этом деле и батько кошевой Чепега, и умный Головатый, и храбрый Бурсак, но при них на новых отношениях лежал все еще характер простоты и патриархальности, а главное — не отражались новые порядки непосредственно на боевых обязанностях войска, на защите границ.

При Матвееве положение дел стало круто изменяться и в последнем отношении. Атаман, человек слабого характера, сразу попал под влияние этой новой аристократии, разбогатевшего казачества, и в земле Черноморского войска начинается безурядица: военные повинности распределяются неуравнительно, наряд на кордонную службу производится без очереди, служба внутренняя, несравненно легчайшая, в угоду богатым казакам не различается больше от службы пограничной. Сам атаман лишь изредка

выезжал из города, а глядя на него, и полковники бросали свои полки и кордонную стражу и уезжали на хутора — хозяйничать. Здание, сколоченное мощной рукой Бурсака, начинало валиться, оборона границы слабела день ото дня.

Черкесы, зорко следившие за всем, что делается на линии, должны были ясно видеть, что теперь им уже нечего бояться, и над низовым побережьем Кубани начинали собираться грозовые тучи.

К сожалению, не так смотрели на дело в Херсоне, которому подчинена была Черномория, а еще более идеальные воззрения на этот счет царили в Петербурге. Продолжительный мир, который был куплен Бурсаком дорогой ценой безграничных усилий и жертв и поддерживался постоянной готовностью Кубанской линии снова ответить на вражду беспощадной враждой, там принят был как доказательство возможности жить с черкесами в мире, как начало нового периода, обещающего в самом скором времени гражданственное развитие черкесов. И слабый атаман, которому, как старому казаку, лучше были известны свойства черкесского мира, не сумел ничего сделать против этого направления, соответствовавшего высоким гуманным идеям императора, но неприменимого к краю. Матвеев оказался ниже предстоявшей ему задачи.

Из Петербурга приехал чиновник государственной коллегии иностранных дел надворный советник де Скасси и принял на себя роль посредника между черкесами и казаками. Чтобы упрочить приязненные отношения горцев, по его совету заведены были меновые дворы. Мера эта была по вкусу черкесам, и торговля немедленно завязалась. Из-за Кубани шел в русские границы лес и сырые материалы, Черномория давала черкесам соль и мануфактурные товары. Чтобы облегчить эти мирные торговые сношения, де Скасси вошел с представлением о дозволении черкесам расположиться аулами на самом левом берегу Кубани, а хуторами — так даже селиться и на правом ее берегу, среди русских станиц. И хотя войсковое начальство наконец взялось за ум, но ему удалось отстоять лишь родную территорию; левый же берег Кубани скоро покрылся черкесскими аулами, стоявшими постоянной грозой перед самыми глазами русского порубежного населения. Так, в полную противоположность политике Ермолова, очищавшего в это самое время Терек от “мирных” чеченцев, на Кубани создавалось это ненадежное сословие лукавых врагов и принимались все меры к их благосостоянию. “Особенно наблюдать,— писал император, вводимый де Скасси в заблуждение,— чтобы владельцы, поселившиеся при Кубани, не имели от местного казачьего населения никаких притеснений и чтобы не было с них сбора денег ни на какие земские повинности или расходы”. Де Скасси не ограничивался даже и этими проявлениями благосклонности к черкесам. Располагая большими казенными суммами, он собирал к себе горцев, угощал их, ласкал, осыпал подарками, уговаривая быть мирными. Мирные сношения были в полном ходу, и донесения о них могли быть составляемы в самых радужных красках.

Была, однако, оборотная сторона медали. Черкесы, конечно, охотно торговали, еще охотнее ездили в гости к де Скасси, живали у него десятками по нескольку дней, принимали подарки и охотно давали, пока были на правом берегу Кубани, всякие обещания, благо они ничего не стоили, но, переходя на свой, левый берег, они просто потешались над простодушной доверчивостью европейского дипломата. “Мирные” черкесы, пользуясь свободным доступом на русскую сторону, высматривали расположение кордонной стражи и с наступлением ночи отправлялись за добычей; в этих набегах принимали деятельное участие и недавние гости дипломата, и были случаи, что горца, которого утром угощал и одаривал де Скасси, вечером захватывали на хищничестве вместе с его подарками. Воровство, грабежи и разбои, замолкшие было под железной рукой Бурсака, приняли размеры поистине ужасающие. Тогда-то потомок

насмешливого запорожца и сложил свою поговорку о “мирных” черкесах: “вдень мирний, а вночі дурний”...

Но разбои и грабежи можно было считать просто разбоями и грабежами, а не военно-враждебными действиями со стороны черкесов, и они, все усиливаясь, в течение двух лет не мешали, однако существовать иллюзии о будто бы развивавшихся мирных сношениях с черкесами.

Как вдруг трагическое происшествие, потрясшее Кубанскую линию, сразу прекратило эту недостойную комедию недоразумений. Четвертого января 1818 года давно уже забытая на Кубани тревога всполошила всю линию. Сильная черкесская партия, спокойно переночевав в мирных аулах, ринулась на Капанскую почтовую станцию. Там все было захвачено врасплох, и прежде чем маяки разнесли тревогу, горцы уже покончили со станцией. На этот раз они, однако, удовольствовались малым и возвратились домой. Матвеев пожаловался анапскому паше. Паша отвечал резонно, что черкесы — разбойники, которых следует ловить и, привязав камень на шею, бросать в Кубань, и что пусть-де атаман сам принимает меры для охраны своей границы.

Два года прошли после того в каком-то напряженном состоянии с обеих сторон; не было войны, не было и мира, и только разбой свирепствовал на Кубани. Но вот, уже в конце 1819 года лазутчики дали знать, что как только Кубань покроется льдом, черкесы снова вторгнутся в Черноморию.

Матвеев чувствовал необходимость принять меры. Нужно сказать, что Черноморское войско, выставлявшее тогда двадцать один полк пехоты и конницы, делилось на три смены, или очереди; в первых двух очередях было по семи полков, в третьей — шесть, так как один из конных полков с 1819 года постоянно командировался с Кубани на службу в царство Польское. Одна очередь обыкновенно занимала кордон, две — находились в домах “на льготе” и вызывались только в случае надобности. Матвеев и ограничился тем, что выдвинул на границу эти льготные строевые части и послал донесение графу Ланжерону, который, зная малочисленность Черноморского войска, потребовал полки с Дона. Но полки эти пришли, когда в них уже не было надобности.

Между тем донесения лазутчиков скоро оправдались, и не далее как в январе 1820 года сильная партия черкесов появилась на правом берегу, направляясь к Вассюринскому селению. Это первое покушение им, впрочем, не удалось: есаулы Косович, Забора и войсковой старшина Гаврюш успели преградить им путь. Горцы воротились за Кубань, но только затем, чтобы там усилиться,— и вдруг двадцать четвертого января семь тысяч всадников двинулись на русскую сторону. Прорыв был сделан в дистанции Елизаветинского поста, и горцы ударили на хутора Осечки, находившиеся верстах в шестидесяти пяти от Бкатеринодара и в пятнадцати верстах от Кубани. Восемьдесят казаков, предводимых подполковником Ляшенко и войсковым старшиной Порохней, выскакали наперерез скопищу и стали на отбой. Черкесы одним натиском семитысячной массы смяли казаков, а через час одни обгорелые головни показывали место, где жили хуторяне. Горцы забрали тридцать человек в плен, много скота — и ушли восвояси. Прошла неделя, и первого февраля вторжение повторилось. Теперь уже восьмитысячное скопище двинулось к Полтавской станице. С ближайших постов не проглядели неприятеля. Есаул Сиромаха и хорунжий Синьговский быстро прискакали с резервами, но вся их сила состояла не более как из двухсот казаков, и потому им нечего было и думать удержать многочисленную черкесскую конницу. Но в Сиромахе и Синьговском жил еще мощный дух старого Запорожья. Видя, что горцы обложили со всех сторон несчастную станицу, и не имея силы отклонить удар, они, имевшие полную возможность не

вмешиваться в дело, не хотели оставаться равнодушными зрителями разгрома родных куреней и бросились на неприятельскую облаву с тем, чтобы прорубиться и разделить одну общую участь со своими братьями. Благородная решимость их увенчалась неожиданным спасением станицы.

Уже горцы вторглись в нее, уже пылали жилища казаков и упорный бой закипел в улицах. Сиромаха и Синьговский, соединившись с жителями, геройски, шаг за шагом, отстаивали Полтавскую; священник с крестом в руках явился посреди защитников. Но, к счастью полтавцев, помощь была уже недалеко. Все ближе и ближе, сверкая в лучах восходящего солнца длинным лесом наклоненных пик, несутся на тревогу полки Стороженки и Животовского. Смелым и дружным ударом свежих сил им удалось выбить черкесов из станицы, и Стороженко, пользуясь смятением врагов, соединил под свою команду все наличные оборонительные силы и погнал горцев к Кубани.

Казаки при этом взяли с боя два неприятельские значка и успели отбить часть полона, но пятнадцать полтавских жителей все-таки уведены были в плен. Храбрый Синьговский находился в числе убитых.

По всей Черномории поднялась тревога. Но прошло еще лишь несколько дней, и двухтысячная партия черкесов снова вторглась в казацкие земли, прорвавшись в дистанции Петровского поста. Напрасно казачий есаул Кумпан со своим отрядом пытался загородить им дорогу. Отбросив горсть казаков, черкесы ударили на хутора, и хотя в то же время на помощь к Кумпану прискакал Копыльский пост с войсковым старшиной Головинским, но оба они были бессильны остановить неприятеля. Горцы сожгли хутора, забрали скот, имущество и полонили людей. Головинский и Кумпан до конца не сторонились от боя и рядом смелых нападений много мешали неприятелю, но все энергичные усилия их были напрасны,— слишком малое число было казаков, чтобы отстоять хуторян.

Набеги черкесов, не находившие отпора, сильно поколебали доверие черноморцев к своему начальству. Общее негодование особенно было против атамана Матвеева, допускавшего горцев безнаказанно разорять казачьи станицы. Действительно, только нераспорядительности начальствующих и небрежности их приходилось приписывать бедствия Черноморской линии. Геройская смерть Синьговского и доблесть Сиромахи, даже энергия Кумпана и Головинского и смелая удаль Стороженки свидетельствовали, что не вымерла еще в Черномории старая Запорожская Сечь. Да не было кому распорядиться ею, направить ее; нигде не видим мы войскового атамана, ни разу не сел он на коня, чтобы лично вести на бой своих черноморцев. Роптали казаки и заклеймили на веки веков память своего атамана злой насмешкой: “Матюха, развішав уха”.

И правы были казаки. Втянувшись в бесполезную переписку с анапским пашой, атаман их не обращал должного внимания на тревожные известия из-за Кубани, и все распоряжения его состояли исключительно все в том же вызове на службу льготных частей. Не позаботился он, зная недостаток сил на кордонной линии, вызвать из войска для защиты границы всех способных носить оружие, как это делывал Бурсак, умевший в чрезвычайных случаях даже обойти запрещение переходить Кубань или прямо добивавшийся разрешения наказывать черкесов в их собственных землях.

Разгромом Петровских хуторов окончились бедствия этого года; наступившая оттепель разбила на Кубани лед, переправы стали трудны, и вторжения прекратились.

В таком положении дел застало Черноморию распоряжение о включении ее в общий состав отдельного Кавказского корпуса. Горький опыт, вынесенный в последние годы черноморским казачеством, убедил наконец и высшую петербургскую администрацию в неудачах той системы, представителем которой был де Скасси, и край решено было передать в распоряжение Ермолова. Высочайшее повеление об этом последовало одиннадцатого апреля 1820 года.

Неохотно принимал в свои руки черноморское казачество Ермолов. Соединение двух районов, имевших общего врага, под одной властью представляло неизмеримые выгоды, но Ермолов знал, что край разорен войной и требует для своей защиты новых войск, которых и так мало было в его распоряжении; знал также безурядицу, внесенную сюда управлением отдаленных херсонских губернаторов, не знакомых со свойствами и положением края, и начинавшимся внутренним разложением казацкого строя. “Задолго прежде,— говорит он в своих записках,— искал я случая избавиться от сего войска, ибо известны были мне допущенные в нем беспорядки, расстроенное оного хозяйство и бестолковые распоряжения войсковой канцелярии, которой самовластно управляли адъютанты генералов Дюка де Ришелье и потом графа Ланжерона. Французским администраторам не легко было познакомиться с нуждами и особенно свойствами запорожцев. Сверх того, знал я, что самое отправление службы производится казаками нерадиво, и закубанцы, делая частые и весьма удачные набеги на земли их, содержат их в большом страхе. Прежде для охранения их расположен был полк пехоты и полурота артиллерии, и хотя представлял я о необходимости продолжить пребывание там полка, но оный оттуда удален, и я должен был уделить в помощь войска Кавказской линии, тогда как для собственной защиты оной их недостаточно”.

Действительно, хотя Ермолов и не был прав относительно казаков, хотя он забывал вековую службу их, в самых несчастьях полную доблестных дел, но положение края, которое он застал, должно было возбуждать в нем серьезные опасения.

Черномория располагалась тогда на обширной территории в двадцать восемь тысяч квадратных верст, на которой жило население, насчитывавшее только около тридцати шести тысяч душ, считая в этом числе дряхлых стариков, увечных и раненых воинов, уже не годившихся для службы, и малых детей. Таким образом, не приходилось на квадратную версту и одного человека, который должен был в одно и то же время и возделывать и защищать ее. И это малочисленное население, раскинутое на обширнейшей территории, далеко не все было уже настоящим казачеством, привычным к ратному делу.

Первые обитатели Черномории, казаки екатерининского века, не найдя на первое время никакого приюта в негостеприимных степях, вынуждены были селиться в землянках, а эти мрачные, сырые убежища становились могилами для целых сотен поселенцев. Войско, в значительной степени лишенное к тому же семейного элемента, таяло и уменьшалось день ото дня, тем более что к дурным гигиеническим условиям скоро присоединилась бесконечная суровая война, так что уже в 1809 году признано было необходимым значительно усилить население новыми переселенцами из малороссийских казаков Полтавской и Черниговской губерний. Их прибыло тогда до двадцати трех тысяч душ, и хотя эти переселенцы принесли с собою тот же казацкий дух, но не принесли они оружия и умения владеть им. Старые сечевики между тем вымирали, молодые казаки только еще учились да привыкали к порубежному воинственному быту, и боевая опытность старых запорожцев постепенно падала. Постоянная война при таких обстоятельствах губительно отзывалась на населении, и ко временам Ермолова оно снова уменьшилось, как сказано выше, до тридцати шести тысяч душ.

И вот это-то тридцатишеститысячное население обязано было держать на службе одиннадцать конных и десять пеших полков, в числе шестнадцати тысяч строевых казаков. Очевидно, население выставить их не могло, и полки были в постоянном некомплекте.

Население это, разоряемое и теснимое, было бедно. Вельяминов как-то сказал, что “казак не должен быть богат, потому что богатство изнеживает воина”. И это — совершенно справедливо. Но не менее справедливо было бы, если бы он прибавил, что “казак не должен быть и беден”, потому что только известное благосостояние могло дать ему средства явиться на службу исправно вооруженным, бойким молодцом-казаком, не имеющим нужды заботиться о достаточно обеспеченной семье. Недаром старинное казачество создало поговорку: “Хорош на гумне, хорош и на войне”. Но именно эти две крайности и были тогда в черноморской казачине: с одной стороны — неправо разбогатевшие чины, с другой — непокрытая беднота, у которой на гумне-то именно ничего и не было. Бедность населения отражалась и на его вооружении. Старые черноморцы справедливо гордились им, но новое население приходило безоружным, и требовалось немало времени, чтобы завести его при той бедности, которая тяжким гнетом лежала на них.

Таким образом, Черноморская земля уже сама по себе не была достаточно сильна, чтобы обуздать дерзкого врага, редко упускавшего случай вредить ей, которому притом же петербургская политика дала всевозможные выгоды положения. Неурядица в отбывании службы, возникшая при Матвееве, окончательно обессилила край, довела его почти до полного истощения. Перед Ермоловым лежала теперь сложная задача обезопасить край, поднять его благосостояние и уничтожить те злоупотребления, которые могли бы помешать исполнению всех его намерений. И он ревностно принялся за дело.

Меры к увеличению населения края приняты были, впрочем, еще раньше, и в 1820 году из Малороссии уже отправлены вновь до двадцати пяти тысяч казацких семейств. Но вначале не много выиграла Черномория от этих переселенцев. Ермолов встретил их на пути, когда он возвращался уже из Петербурга в 1821 году; переселенцы шли в бедственном положении. “На прежних жилищах своих,— говорит он,— они продали имущество за бесценок, ограблены были чиновниками земской полиции и отправлены в путь в самое позднее осеннее время; на дороге они лишились всего своего скота, остались без средств идти далее и зимовали по разным губерниям, выпрашивая милостыню для своего существования. И эти несчастные должны были умножить силу войска черноморского противу многочисленного угрожающего ему неприятеля!” Таким образом, переселенцы легли новым бременем на истощенную страну. Как ни были бедны черноморцы, но, в сравнении с пришедшими к ним из Малороссии собратами, даже они могли похвалиться довольством; по крайней мере у них был свой кров и скудный кусок хлеба, а у переселенцев не было ни того, ни другого. Атаман Матвеев должен был обратиться с призывом к благотворительности — и не напрасно; сами бедняки, черноморцы собрали десять тысяч рублей, хлеб, скот и овец — что дало переселенцам возможность хоть как-нибудь устроить свое хозяйство на первых шагах. Теперь численность войска возросла до шестидесяти одной тысячи, но боевого элемента от того не прибавилось в нем нисколько; требовалось время, чтобы новые переселенцы стали казаками. И войско по-прежнему так нуждалось в военных людях, что даже казаки, уволенные от службы за тяжкими ранами, не могли рассчитывать на безусловный отдых,— их посылали или на внутреннюю службу, или на кордоны со стороны Кавказской области.

Ермолов, чтобы поддержать казачество и помешать расхищению войсковых земель, сделал одно распоряжение, которое до некоторой степени должно было поколебать заводившийся порядок. Он приказал обратить в казачье сословие крестьян, выведенных из России в Черноморию, которых помещики в известный срок не пожелают удалить обратно в Россию. Этим достигались две цели: обращалось само в военный элемент то сословие, которое прежде только отклекало силы края на свою защиту, и уничтожалось одно из побуждений захватывать в свои руки казацкие земли, которые теперь уже не было возможности заселять и обрабатывать крепостным трудом.

Пришлось Ермолову обратить внимание и на вооружение населения. До него, Бог знает почему, потребовали от черноморцев, чтобы они имели не ружья, а кавалерийские карабины на панталерах. Ермолов восстал против этого ни с чем не сообразного требования. "Может быть,— писал он в Петербург,— карабины сии против европейской конницы на что-нибудь и годятся, но против горцев, имеющих прекрасные винтовки, они совершенно негодны". Замечательно, что Ермолов высказался, однако же, и против вооружения винтовками. "У казаков отнюдь допускать их не следует,— писал он в своем представлении,— ибо, после весьма небольшого количества выстрелов, остающаяся от пороха в стволе нечистота препятствует скорому заряжению, требуя особенного усилия". И винтовки заменены были кремневыми ружьями. Остается, впрочем, неизвестным, действительно ли он причудливо предпочитал кремневые ружья метким, дальнобойным винтовкам, или просто хотел покончить с вопросом вооружения казаков, оставив им, что у них было, и не требовать от населения, и без того уже разоренного, новых, непосильных затрат на оружие, хотя бы даже и лучшее.

Само собою разумеется, что, устраивая быт казаков, Ермолов круто изменил и политику по отношению к черкесам. Он не верил в приязненные отношения ни турок, ни горцев, и всех черкесов, мирных и не мирных, одинаково считал постоянными врагами русских, и врагами не прямыми, не открытыми, а — как он называл их — "мошенниками". И делая свои представления, он хлопотал о том, чтобы черкесы, поселенные на самом берегу Кубани по проекту де Скасси, были вновь, по возможности, оттесняемы вдаль, а чтобы на русских границах была создаваема передовая линия укреплений, как это им предположено было по отношению к Чечне и другим частям линии. И на первый случай он предполагал занять Каракубанский остров и поставить на нем сильное укрепление, которое могло бы значительно усилить оборонительные средства Черноморской земли.

"Народы закубанские,— писал он по поводу всех этих своих намерений и предположений в Петербург,— явно непослушны турецкому правительству, и паша, начальствующий в Анапе, сам находится во всегдашней опасности. Он редко выезжает из крепости, и никогда команды турецких войск не выходят оттуда в малом числе. Очевидно, что он не имеет средств прекратить разбои, а напротив, тайным подстрекательством вернее снискивает к себе их привязанность. Хищники в селениях, лежащих на самом берегу Кубани, имеют верное убежище между сообщниками, не боясь преследования, ибо знают, что воспрещено оное. Не вижу я никакой надобности так далеко простирать заботливость об успокоении горцев и относить к одному невежеству те наглости, которые делают они обдуманным образом, ободряемые только чрезмерным снисхождением. Не здесь надобно бояться раздражать: здешние народы издавна делают нам вред какой только могут, и кто близко видит их, тот знает, что делать более оного они не в состоянии. Граф Ланжерон, коего постоянное попечение о благоустройстве чувствует войско Черноморское, будучи отвлекаем важнейшими должностями, не мог часто посещать здешней страны, а закубанцы всегда замечают отсутствие начальника; меня же принуждают обстоятельства к жизни более подвижной, занимаясь делами с народами, во всем им подобными,— и сие заметят новые мои соседи. Итак, по моему мнению, не заботясь о том, как покажется

закубанцам, следует занять Каракубанский остров и поставить на нем укрепление, не терпеть наглых и оскорбительных вторжений закубанцев, преследовать и наказывать ближайшие селения, участвующие в злодеяниях,— иначе не будет безопасности, и всегда потери будут на нашей стороне”.

Предположение Ермолова о занятии Каракубанского острова было полно серьезного смысла, что очевидно уже из самого географического положения и характера острова. Немного выше того места, где когда-то стояло старое турецкое укрепление Копыль, а именно у поста Славянского, Кубань разрывалась тогда на два параллельные течения и, слившись вновь верстах в шестидесяти ниже точки своего разъединения, образовывала продолговатый и низменный остров шириною до двенадцати верст. Течение по левую, то есть обращенную к горам, сторону составляло реку Каракубань, которая текла в черкесских землях и была гораздо шире и глубже, чем течение по правую сторону, известное под названием Старой Кубани, или просто Кубани.

Не лишнее прибавить, что черкесское владение островом не оправдывалось и исторически. По всему Каракубанскому острову и вниз оттуда, по протяжению правого берега Кубани до самого Бугаза, еще были свежи следы целой цепи опустелых, поросших травою городков, в которых когда-то жили русские Некрасовские казаки, правда, служившие султану “за иудины сребреники”. С приходом сюда черноморцев, против которых дрались они, как неприятели, некрасовцы перебрались за Кубань, к Анапе, а когда Анапа перешла в русские руки, они ушли за море, в Турцию. Распространяющееся могущество отечества гналось за отступниками грозным преследователем, и настигаемые им повсюду, они могли воскликнуть с псалмопевцем: “Камо уйду от духа твоего, и от лица твоего камо бегу!..”

Вот этот-то важный пункт и предполагал занять Ермолов с тем, чтобы укрепление стояло грозою на обширном пространстве в тылу партий, перешедших в русские границы, а с этим вместе и истинное, труднее переходимое течение Кубани становилось уже русской границей. Сама река как бы взялась впоследствии представить доказательство правоты Ермолова: ныне Кубанка давно уже пересохла, Каракубань течет под общим именем Кубани, и самый Каракубанский остров не существует.

Проект этот, однако, не встретил сочувствия в Петербурге, где опасались турецкого вмешательства в дело, и строить укрепление Ермолову не позволили. Единственное, чего добился он, было разрешение репрессалий по отношению к черкесам, возможность наказывать их дерзкие набеги в их собственных землях.

От самого .Черноморского войска Ермолов потребовал строжайшего исполнения кордонной службы. Он внимательно следил за нею и воспользовался первыми же случаями показать, что настали другие времена и должны быть другие порядки на Черноморской линии.

Случилось (двадцать восьмого августа 1820 года), что небольшая партия пеших горцев пробралась через кордон и увела в плен одного казака с сыном, две лошади и пару быков. Ермолов тотчас приказал арестовать кордонного начальника на месяц и, сверх того, взыскать с него деньги за быков и за лошадь. Указывая на этот случай, Ермолов угрожал оплошным офицерам вызовом их на службу в Грузию и в закавказские крепости.

Спустя несколько дней полковник Паденко отразил сильную конную партию, пытавшуюся перейти Кубань, с чувствительным для нее уроном — и Ермолов благодарил его в приказе по корпусу.

“Со. вниманием,— говорилось там,— замечаю я действие войск и за сей подвиг тем более благодарен Паденке, что не раз уже нерадивое охранение границы войском Черноморским облегчало успех закубанцам”.

“Настанет зимнее время,— писал тогда же Ермолов,— к набегам через Кубань удобнее. Знаю, что можно прекратить оные смелым сопротивлением”,— и он требовал усиления бдительности.

В самом управлении краем произошла крупная перемена. Уезжая в конце 1820 года в Петербург, Ермолов поручил командование войсками на Черноморской кордонной линии донскому генералу Власову, а чтобы ближе и подробнее ознакомиться с положением черноморских дел, приказал ему осмотреть полки и сделать подробное донесение. В этом сказалось отчасти и недоверие к атаману, при котором столько бедствий обрушилось на казаков. Власов составил о Черноморских полках самое невыгодное заключение, и Ермолов, уже и так расположенный не в пользу вновь порученной ему страны, десятого января 1821 года обратился к атаману со следующим резким, поразившим всю Черноморию, письмом:

“Генерал-майор Власов прислал мне донесение об осмотре полков, содержащих по Кубани кордонную стражу. Сколько он ни старался смягчить выражения при описании неисправностей сих полков, не могу я однако же не видеть, до какой степени достигли оные.

Начну с того, что в них некомплект, но вы, господин атаман, должны вспомнить, что есть мой приказ о собрании к полкам отлучных людей и чтобы оные не были развлекаемы.

Оружия на людях многого не состоит, а находящееся налицо — в непозволительном состоянии. Не у храброго воина оружие в небрежении, а у казаков черноморских съедает его ржавчина.

Лошадей много неспособных; большого числа вовсе недостает; в пяти полках казаков с лошадьми надежными только тысяча пятьсот девяносто восемь. Разочтите, господин атаман, сколько остается негодных.

В разборе людей не приемлется в рассуждение род службы. Казак, ловкий на коне, служит пеший; неумеющий управлять взлез на коня — и сам не рад, и конь непослушен под седоком боязливым.

Судя по стрельбе казаков в цель можно заключить, что многие из казаков пороха с маком не распознают.

Обращение офицеров с казаками не внушает в сих последних к себе должного почтения. Не слабостью и потворством приобретается любовь подчиненных. Большая часть офицеров Черноморского войска сего не понимает.

Казаки, послаблением допущенные до состояния, уничижающего звание воинов, заставляют краснеть начальников, над ними поставленных, и мне, новому сотруднику вашему, едва остается право признать вас более не за начальника войска, а за пристава над мужиками.

Столько же неприятно мне видеть в вас начальника, не вселяющего почтения, которым должны бы быть почтены и лета ваши, и заслуги, так равно и иметь под начальством моим

сброд людей, похищающих именование военных. Есть время все поправить, и мне приятно будет щадить старого служивого".

Таков этот знаменитый документ, горько отозвавшийся в сердцах черноморцев. Но не в укор им приводит его история. Выясненные выше факты, обрисовывающие тогдашнее положение Черноморья, убедительно доказывают всю неосновательность упреков Ермолова. Он обвинял казачество в том, что составляло естественное последствие непреоборимых обстоятельств, делал его ответственным и за вымирание опытных запорожцев и за неопытность переселенцев в еще чуждом им деле войны. Не шло обвинение в неумении "отличить маку от пороху" к казацкой Украине, где, по выражению казацкого барда, "без преувеличения говоря, расходовалось больше пороху, чем семян". Напрасно видел Ермолов несообразность и в сортировке казаков для конницы и пехоты: казак выходил на службу на своем иждивении, и в конницу поступал не тот, кто умел ездить, а кто мог купить коня, а лучшие наездники, по бедности, могли служить в пехоте,— и помочь этому было невозможно. Простое и вольное обращение между собою "панов" и простых казаков также не означало ни слабости, ни потворства; оно было занесено из Запорожья вместе с многими другими хорошими особенностями и нимало не мешало каждому свято исполнять свои обязанности. Ермолов не сказал бы того, что сказал, не впал бы в ошибку, если бы ближе знал и понял положение Черноморского войска.

И черноморцы не склонили свои головы перед суровым приговором, они ответили на него длинным рядом доблестных дел и нечеловеческими трудами, свидетелем и участником которых довелось быть именно Власову.

Власову дана была полная воля карать хищных черкесов в их собственной земле — и имя его скоро загремело в горах Западного Кавказа. Не довольствуясь охраной кордонной линии, он перенес войну с теми же черноморцами за Кубань и смелыми действиями распространил ужас в горах, воскрешая в памяти черкесов бурсаковские погромы. Грозой и пугалом стал Власов для закубанских народов. Бывали и при нем попытки вторжений, но черкесы уже не возвращались с добычей на свой берег Кубани, и сотни тел их оставались на русском берегу.

Роль атамана Матвеева отодвигается с тех пор на второй план. За ним вначале остаются еще внутренние хозяйственные распоряжения, и Ермолов писал ему, что пребывание в войске Власова не должно мешать атаману в исполнении его обязанностей. Власов не имел права входить ни в какие внутренние его распоряжения, атаман же без согласия Власова не мог только производить никаких перемен в обороне границы и в войсках, занимавших кордоны. Но, вероятно, двойственность власти сказалась невыгодно на крае и повела к новому распоряжению. Второго марта 1822 года Ермолов приказал не только ввести лучшее устройство по всем частям войскового правления, но и преобразовать самую войсковую канцелярию по примеру Донского войска. Власову присваивается звание командующего Черноморским войском, а атаман становится лицом, подчиненным ему, и в списке, представленном генерал-адъютанту Стрекалову в 1826 году, уже значится: "Командует пограничными полками и распоряжается внутренними делами войска генерал-майор Власов, а под ним войсковой атаман полковник Матвеев".

XXXIV. КАЛАУССКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ШАПСУГОВ (Генерал Власов)

Оканчивался год командования в Черномории генерала Власова. И год этот прошел не бесплодно. До 1820 года черноморцы, опасаясь черкесских набегов, старались селиться возможно дальше от берегов Кубани, оставляя границы под защитой лишь слабых

кордонов, почти не представлявших серьезного препятствия для хищных и смелых врагов. Ермолов задумал разрушить это старинное предубеждение и вызвал со всего казачества охотников поселиться на самой Кубани. Превосходная побережная земля, рыбная ловля и двухлетняя льгота служили достаточной приманкой, и тысяча семейств старожилов отозвалась на вызов. Прибавив к ним новых переселенцев из Малороссии, Ермолов основал на Кубани многолюдные селения, ставшие опорой кордонной страже и сделавшие нападения хищников незначительными шайками весьма для них небезопасными. Выполняя предначертания Ермолова, генерал Власов не ограничился устройством этих селений и должен был позаботиться об их безопасности. Левый берег Кубани почти сплошь покрыт был тогда лесом, и черкесы, прикрываемые им, могли в больших силах подходить к самой реке и высматривать, где закладываются секреты, где ходят разъезды, что делается на постах и в резервах. Новые селения естественно подвергались постоянной опасности внезапного нападения; особенно их скот, пригоняемый к Кубани на водопой, мог служить хищникам постоянной лакомой приманкой. И вот на берегах Кубани застучали топоры и застонали падающие великаны растительного царства; против каждого селения на левом берегу расчищались обширные площади. Черкесы держались во все это время смирно, были только случаи мелких хищничеств.

Так настала осень 1821 года, не предвещавшая, по-видимому, никаких тревог. Как вдруг — это было вечером со второго на третье октября — огромное скопище шапсугов и жанеевцев неожиданно появилось на Кубани близ речки Давыдовки (теперь высохшей). Его вел знаменитый шапсугский старшина Измаил. Рыскавшие на закубанской стороне пластуны первые дали знать на Петровский пост начальнику четвертой части кордонной линии Журавлю. К счастью, в это самое время на посту случился сам генерал Власов, объезжавший с летучим отрядом кордонную линию. Времени терять на сборы войск было некогда, и Власов решился действовать с теми силами, которые оказались у него под рукою, а эти силы состояли всего из шестисот одиннадцати конных и шестидесяти пяти пеших казаков, при двух орудиях. Немедленно посланы были разъезды для наблюдения за горцами, кордонная цепь усилена. В половине девятого часа с поста выступил сам Власов, выследил переправу горцев и в темноте бурной осенней ночи пропустил врагов мимо, чтобы зайти им в тыл. Горцы перешли Кубань верстах в двух от Петровского поста, в какой-нибудь версте от отряда, и всей массой двинулись на хутора Петровской станицы, стоявшие в пятнадцати и в тридцати верстах от кордона. Как только направление неприятеля точно обозначилось, Власов остался со своим отрядом на месте и приказал пластунам засесть в камыши, облегавшие переправу, а войсковому старшине Журавлю с постовой командой преследовать шапсугов по пятам, вступить с ними в бой и ложным отступлением навести на засады. Казаки в точности выполнили это приказание. Верстах в шести от кордона Журавль с гиком налетел на шапсугов и открыл ружейный огонь. В это время прискакала к Власову со Славянского поста сотня есаула Залесского, с конным орудием; Власов отправил и ее на помощь сражавшимся. Орудие ударило картечью. И не успел смолкнуть гул выстрела, как темная ночь осветилась огнями зажженных маяков. Запылали смоляные вехи, и с поста на пост, от станицы к станице загремели непрерывные выстрелы, будя и поднимая на тревогу. Озадаченные зрелищем множества маячных огней, не зная хорошо значения их, но отгадывая в них нечто для себя зловещее, поражаемые в то же время картечью, горцы смешались и дрогнули. Напрасно старшины старались ободрить шапсугов. В ночной тьме и буре им чудились массы войск — и, полагая себя окруженными, горцы ринулись назад к переправе, преследуемые по пятам Журавлем и Залесским. Но там из густого камыша встретили их пластуны. Дружный огонь и картечь заставили их отхлынуть влево, как раз на отряд Власова. Здесь приняли их картечью уже из двух орудий. Горцы опять повернули назад, а Власов со своими казаками уже несся наперерез им, к Кубани. Отбитые вправо, черкесы в ночной темноте попали в прогнойный калаусский лиман, обширный прибрежный залив. И тут, на берегу лимана, казаки и

насели на них, поражая шашками и пиками. Сам Власов находился впереди и принимал участие в рукопашной схватке наравне с другими. “Я аж ахнул,— рассказывал впоследствии один из казаков,— когда увидел, что и сам генерал рубится с нами. Знаем мы — другого не заманишь и близко подъехать к черкесам, командует себе издалека... А этот командовать командует, а сам, маленький да широкоплечий, знай наряду с казаками работает шашкой, и не одному черкесу снес голову... Сам рубит, а сам приободряет, да покрикивает: “Бей, ребята! Топи, коли бусурманина!..” Ну и досталось же им на орехи!”...

И действительно, “досталось-таки черкесам на орехи”. Только небольшой партии в несколько десятков человек, еще до прихода к лиману успевшей прорваться сквозь наш отряд, удалось бежать за Кубань; остальные, вместе с лошадьми, погибли в прогноях Калаусса. Калаусский лиман при берегах не глубок, но топок, и по своей обширности непроходим. Напрасно передние всадники, не видя конца воде, хотели поворотить назад; на них напирали густые толпы, гонимые ужасом, и все увлекали друг друга вперед и поглощались пучиной. Утро открыло страшную картину гибели хищников: калаусские поля были усеяны трупами горцев, волны лимана бороздились еще от предсмертных судорог тонувших. Слышались стоны и вопли погибавших, трупы людей и лошадей плавали в мутной воде группами.

Урон неприятеля в страшный день Калаусской битвы был чрезвычайный; сами шапсуги считают утонувшими в лимане более двадцати знатнейших князей и тысячи двухсот всадников, не считая погибших в камышах и на поле. Казаки отбили два знамени и взяли в плен князя и сорок два простых черкеса — пример небывалый в тогдашних схватках с горцами. В добычу казакам досталось пятьсот шестнадцать лошадей и много превосходного оружия, да и после долго еще жители находили в болотах черкесские шашки, ружья и панцири. На русской стороне потеря была незначительна, но казаки до того увлеклись преследованием неприятелей, что четыре человека вместе с ними утонуло в лимане; кроме них, один убит и четырнадцать ранено.

С тех пор прошло более полувека, замолк гром оружия на берегах Кубани, умиротворился край, но горцы и доныне в печальной заунывной песне вспоминают роковую для них калаусскую ночь. Напрасно, однако же, любознательный путешественник стал бы искать знаменательного урочища: теперь на месте некогда тинистого лимана, близ дороги от Копыла на Петровскую, расстилается прекрасный луг, доставляющий превосходное сено.

Для черноморцев Калаусское поражение имело чрезвычайно важное нравственное значение. Оно было первое, в котором сильный численностью и отвагой враг был побит сравнительно небольшим казачьи отрядом. Запорожцы, переселившись в Черноморию, встретили в черкесских племенах противников не только сильных и храбрых, но всей своей жизнью, своей одеждой и вооружением несравненно более приноровленных к местным условиям кавказской войны. Против казаков выезжала лучшая в мире, легкая и подвижная конница, -в блестящих кольчугах, с добрым оружием и на превосходных конях арабско-персидской крови. Казак привез с собою тяжелую сбрую, длинное оружие — все, что так кстати было в широких, необозримых, вольных приднепровских и крымских степях и что здесь, в горах, в лесистых ущельях и в прикубанских плавнях могло только мешать его подвижности. Понятно, что длинное татарское дреколие, ратище, дюжего запорожца служило предметом едких насмешек адыгского наездника, у которого не полагалось никакого расстояния для схватки с противником и открытым знаком всегдашней готовности схватиться грудь с грудью был короткий кинжал, никогда не сходивший с пояса, даже в мирной беседе с кунаком у очага родной сакли. Другие приемы войны требовались в новой стране. В степи можно было завидеть опасность далеко, с кургана,— здесь она вспархивала из-под копыт коня. Не прихоть, не произвол руководили

военными вкусами черкесов; их боевые обычаи и вооружение были результатом векового опыта, и потому всякий, кто хотел поравняться с ними, должен был поспешить заимствовать от них все: и сбрую, и оружие, и способы управлять конем, и все сноровки и ухватки этого воинственного племени. Так именно и сделали линейные казаки. Но старые запорожцы, упрямые и гордые, крепко держались за старину, освященную днепровскими преданиями, и потому сразу уступили первенство черкесской коннице. И вот, те же конные черноморские казаки, которые били и татар, и турок, и французов, и побили бы и черкесов в своих степях,— здесь, на Кубани, редко в состоянии были состязаться с превосходными вражескими силами. Калаусское дело показало казакам, что хотя и силен враг, да милостив Бог, а черкесам — что перед ними такая сила, которая может согнуть и непреклонные горы под власть северного великого народа.

Победа, одержанная Власовым, была оценена Ермоловым по достоинству. Донеся о ней, он писал начальнику Главного штаба: “Прошу исходатайствовать генералу Власову награждение орденом св. Анны 1-ой степени. Он имеет все прочие награды и даже св. Георгия 3-ей степени, и теперь, мною испрашиваемой, совершенно достоин. В заключение доношу, что со времени водворения войска Черноморского в Тамани, не было подобного поражения закубанцев на земле, войском занимаемой”. Император Александр, минуя Анненскую ленту, пожаловал Власову прямо орден св. Владимира 2-ой степени. Но лучшей наградой для Власова осталась вековечная память о нем в Черноморье, внешним выражением которой служила поднесенная ему от черноморцев, оправленная в золото сабля, на клинке которой изображено было калаусское сражение.

Войсковой старшина Журавль и есаул Залесский получили тоже Владимирские кресты.

Калаусской битвой Михаил Григорьевич Власов начинал свою славную боевую деятельность в Черноморье. Но она была только продолжением целого ряда славных дел, которыми ознаменован каждый шаг его многотрудной жизни.

Власов родился в 1767 году в донской станице Раздорской, где и протекло его первое детство. Отец его, бедный казачий офицер, выходя на службу, взял с собою сына и оставил в Киево-Печерской лавре на попечение монахов, и там в нем заложены были религиозные начала так глубоко, что легли особым отпечатком на всей его жизни.

Служебное поприще Власов начал в 1784 году казаком в Новочеркасском войсковом правлении. Нераздельность гражданской службы от военной составляла тогда на Дону неизменный обычай и не мешала выдаваться военным дарованиям. Послужной список Власова и удостоверяет, что первые военные подвиги оказаны были им в Польше, в войну 1794 года, под начальством Суворова, и настолько выдвинули его из ряда сверстников, что, выступив в поход простым казаком, он возвратился тогда на Дон есаулом. В войну 1807 года, когда начинается европейская слава донцов, имя Власова уже нередко встречается в реляциях.

Есть сведения, что в промежутках между войнами Власов продолжал гражданскую службу и в 1809 году был вызван в молдавскую армию именно для управления походной канцелярией донского атамана. Здесь, участвуя волонтером в одном из сражений, он обратил на себя орлиный взор Платова, сразу оценившего в нем редкие военные качества,— и Власов получил в командование казачий полк. В Отечественную войну он уже является одним из видных деятелей, участвуя в целом ряде битв от берегов Немана и до бородинских полей. Партизанская война дала ему случай к новым заслугам и отличиям. Бодрый, неутомимый Власов не знал сна и появлялся со своими казаками всюду, где только было слышно о французах; он отбивал знамена, пушки и забирал в плен

целые колонны врагов. Георгиевский крест, золотая сабля и чин полковника — достаточно свидетельствуют о его громких подвигах. В заграничных походах он был в огне под Кульмом, под Лейпцигом, во всех славных боях этого славного времени, но особенные отличия были оказаны им в летучем отряде графа Чернышева. Здесь-то и завязалась тесная дружба, которая и впоследствии соединяла незнатного родом донского казака с одним из могущественнейших вельмож царствования императора Николая. Имя Власова было тогда уже известно в армии — он был один из немногих офицеров, которые в чине полковника носили бриллиантовую саблю и Георгия на шее. Последний орден пожалован ему был задело под Бельцигом, где он с одним казачьим полком разбил три сильные французские колонны и взял в плен более двадцати офицеров и тысячи двухсот французских солдат. Храбрый полк, предводимый Власовым, получил тогда белое Георгиевское знамя.

Воротившись в Россию уже генералом, Власов назначен был походным атаманом донских казачьих полков на Кавказе. Ермолов принял его, как старого соратника, на которого мог вполне положиться, и Власов первыми же своими действиями, при усмирении имеретинского бунта и затем в Ширвани, вполне оправдал возложенные на него надежды.

Энергия и храбрость Власова и дали Ермолову мысль поручить ему в управление Черноморскую кордонную линию, где так нужен был энергичный начальник.

XXXV. ПОСЛЕ КАЛАУССКОЙ БИТВЫ (Шапсуг Казбич)

В горах Черкесии стояло смятение. Неожиданное и страшное поражение, нанесенное Власовым шапсугам и жанеевцам, распаляло страсти необузданного и гордого народа и требовало отмщения. Поднимались поголовно все племена, даже натухайский владелец Колоботок-Кодч призывал свой народ, ближайший к русской границе и считавшийся мирным, к поголовному восстанию”

Черноморской линии грозили серьезные опасности, и Власов принимал свои меры, чтобы быть готовым встретить врага. Он вытребовал на кордон известных своей храбростью и распорядительностью полковников Бескровного, Гаврюша, Вербицкого и Белого. Четвертый участок кордонной линии, от поста Копольского до поста Смоляного, представлявший наибольшие опасности, более доступный для набегов, был усилен резервами; сюда стянуты были четыре конные полка; две роты навагинцев заняли Полтавскую станицу, жители из пограничных хуторов отправлены в Темрюк под защиту войска.

Враждебные стороны стояли друг против друга, готовые к борьбе. И как ни разноречивы были известия из-за Кубани, но все они сходились на том, что сильные партии, то увеличивавшиеся, то уменьшавшиеся по временам, стояли на речках Афипсе, Хобле, Арьгеде, Абине и других местах, готовые нахлынуть на русские границы. Но партии стояли смирно: вожди их были в Анапе. Дело в том, что паша испугался за последствия событий, которые готовы были разыграться на берегах Кубани, и принял все меры, чтобы на этот раз потушить тревожное возбуждение, овладевшее горцами. Он даже обязательно известил о том черноморского атамана, прибавляя, что ему ничего еще неизвестно достоверно о калаусском побоище и прося уведомить его о числе убитых и потопленных в лимане горцах. Усилия его на этот раз увенчались успехом. Черкесские вожди воротились из Анапы только с тем, чтобы распустить свои скопища, и черкесы с ропотом — но повиновались. Черноморье на время могло вздохнуть свободно.

Но между черкесскими вождями был один человек, который во все это время не сообразовался с действиями других, не ездил в Анапу и на свой риск и страх, с отборной партией в пятьсот наездников, грозил русским пределам. Это был шапсугский уорк Казбич (собственно — Кзильбеч) из знаменитой фамилии Шеретлуковых.

Даже среди черкесских головорезов и удальцов Казбич был личностью необыкновенной, исключительной. С самых юных лет он отличался поражающей неустрашимостью, соединенной с характером суровым, упрямым и грубым. Самая наружность его, огромный рост, громкий голос, дерзкие и грубые ухватки, казалось, созданы были для того, чтобы иметь неотразимое влияние на народ, для которого война была ремеслом. Бурная, беспечная, удалая жизнь среди битв и набегов отвечала его наружности. И там, где другие предводители должны были употреблять усилия, чтобы собрать несколько сот всадников, Казбич, который, однако, не славился ни особенным умом, ни красноречием и общительностью, мог во всякое время располагать целыми тысячами. Счастливые стечения обстоятельств, видимо, покровительствовали этому герою разбоев: предпринимал он набег — и набег удавался, хотел с ним соперничать другой — и терпел поражение. В конце концов в народе сложилось суеверное представление, что Казбич своим присутствием приносит счастье в набеге.

Как нарочно, калаусское поражение шапсугов должно было необыкновенно поднять тогда уже немолодого Казбича в мнении соплеменников и облечь его какой-то мистической загадочностью: он, только и живший боевыми тревогами, на этот раз не только сам отказался идти в набег, но по какому-то темному предчувствию горячо отговаривал и других. И теперь бесполезная гибель, и гибель позорная, тысячи двухсот человек, как бы на поругание брошенных в болото, в мутную воду, грудами, и лишенных покрова родной земли,— представлялась как бы следствием того, что не послушались Казбича.

Чтобы докончить характеристику знаменитого шапсуга, необходимо сказать, что и впоследствии ни гибель сыновей, ни множество ран, ни старость не отучили Казбича от любимого ремесла — войны и набегов. Под старость он сходил в Мекку, но и священный титул хаджи не усмирил в нем строптивое сердце сурового наездника; всю свою жизнь он остался грубым шапсугом старого покроя. И умер он, хотя в глубокой старости, но от раны, полученной в набеге в 1839 году, оставя по себе долгую память. Еще при жизни его была сложена у шапсугов песня, в которой подробно передавались его дела и подвиги,— явление необыкновенное при известной скромности черкесов, и величайшим наслаждением Казбича в дни старости и бездействия было слушать эту песню, в которой постоянно говорится об обнаженной шашке героя. Суровая личность Казбича так поразила воображение соплеменников, что в жарких сражениях с русскими он, долго спустя после смерти, не раз чудился черкесам на белом коне и в белой одежде; об этом существует, по крайней мере, множество рассказов.

Вот этот-то необузданный шапсуг стоял теперь перед русскими пределами, и в то время как другие предводители совещались с пашой в Анапе, пытался не раз прорваться к русским селениям. Бдительность постов и личное присутствие на кордонах Власова заставили, однако, и Казбича отложить удовлетворение чувства мести до более удобного времени.

Но немыслимо было думать, чтобы воинственные народы Закубанья так легко помирились с унизительным поражением,— и едва разошлись первые партии, как отовсюду стали получаться известия о деятельных и обширных приготовлениях черкесов к новым вторжениям в Черноморье. Дела стали принимать такой тревожный оборот, что анапский паша вновь почел своей обязанностью вмешаться в пограничные распри и в

январе 1822 года изъявил желание приехать в Ёкатеринодар для личных переговоров с атаманом Матвеевым. Паша ехал, однако же, с тремя тысячами шапсугов и натухайцев. Власов из предосторожности усилил пограничные посты и уведомил пашу, что он может принять его под непременным условием, чтобы на русскую сторону Кубани, кроме трех-четырех почтеннейших горских князей, никто из черкесов не переходил. Двадцать второго числа паша, в сопровождении только ста человек, прибыл к переправе и просил, чтобы Матвеев и Власов приехали на совещание на левый берег. Власов, со своей стороны, предлагал паше пожаловать на русский меновой двор и вновь потребовал, чтобы с ним черкесов не было. Получив этот ответ, паша молча сел на коня и вместе с конвоем уехал назад. Переговоры, таким образом, не состоялись, и теперь нужно было ожидать горских вторжений.

Власов решил предупредить предприятия горцев, и как только сделалось известным, что паша возвратился в Анапу, быстро стянул войска и второго февраля повел их за Кубань. Это было еще первое вторжение в Черкесскую землю при атамане Матвееве. Черноморцы воспрянули духом; многие из них шли волонтерами. Войска двинулись двумя колоннами: Власов от Ольгинского поста, полковник Бурсак — от Александровского.

Имея в своем распоряжении три полка конных и полк пеших черноморцев, при восьми орудиях, Власов быстро шел на шапсугские аулы и хутора, тесно раскинутые по рекам Пшециз, Кун и Богундыр. К несчастью, по ошибке проводника, поведшего войска в темноте ночи не той дорогой, переправляться через Пшециз пришлось в виду одного из аулов, и тревога мгновенно распространилась по окрестности. Но смятение горцев при вести, что казаки уже в аулах, было так велико, что они повсюду без сопротивления бежали, покидая скот, имущество и думая только о спасении семей. Власов разослал по всем направлениям отряды, и те быстро истребили огнем семнадцать больших аулов, сто девятнадцать хуторов и множество заготовленного хлеба. В одном из аулов казаки нашли закованного в кандалы пленного черноморца, второпях позабытого горцами.

Предав полному опустошению пространство на тридцать верст в окружности и захватив более тысячи голов скота, казачьи отряды опять сосредоточились на речке Пшециз, и только одному из них, под командой полковника Табанца, пришлось выдержать при отступлении жаркое дело. Из опушки леса, приходившегося на его пути, внезапно выдвинулась сильная конная партия и без выстрела ринулась в шашки. Табанец храбро встретил атаку, а между тем на помощь к нему подоспели с одной стороны — полковник Бескровный, с другой — подполковник Кундрюцкий. Охваченные с трех сторон, черкесы загнаны были в лес. Но едва казаки стали отходить от опушки, как горцы еще в больших силах бросились их преследовать. Тогда Власов заложил на пути отряда в разных местах пешие залоги, и черкесы, поминутно наскакивая на них, остановились.

Четвертого февраля отряд возвратился на Кубань.

Экспедиция полковника Бурсака, между тем, не удалась. Один из мирных черкесов, служивший в пеших казачьих полках, за несколько дней перед тем бежал к абадзехам, и те, предупрежденные им, успели выставить значительные силы к самой переправе через Кубань. Бурсак, убедившись в бесполезности набега, остался на линии.

Власов ходатайствовал о награждении отличившихся в экспедиции. Вот что ответил ему Вельяминов: “Вынужденные наглостями закубанцев, действия наши хотя необходимы, но не менее того, по известному великодушию Государя Императора, он, без сомнения, желал бы, чтобы возможно было обойтись без оных, а потому корпусной командир испрашивать высочайших наград за оные не может, ограничиваясь признательностью

своей Вам и вашим сотрудникам в приказе по корпусу... Что же касается до денежных наград казакам,— прибавлял Вельяминов,— то, при недостатке средств, должно таковые умерить, да к тому же деньги и не награда воину”.

Ермолов, действительно, отдал приказ, в котором изъявлял свою признательность Власову, благодарил всех офицеров и в числе их особенно подполковника Дубоноса, участвовавшего в экспедиции по собственному вызову. “Такая черта,— говорит Ермолов,— делает ему честь, и я вижу в оной дух известных запорожцев”.

Действия русских за Кубанью заставили черкесов заботиться прежде всего о собственной безопасности, а черноморцы по собственному почину стали уже ходить за Кубань и устраивать там засады. Это было тем более кстати, что черкесы, не рискуя переправляться на русскую сторону, постоянно разъезжали по левому берегу и стреляли по часовым: засады могли служить для них предостережением и противовесом.

Раз партия таких охотников забралась даже за реку Убынь. Три пластуна, отправленные вперед на разведки, подстерегли троих черкесов и двух из них убили, но третий спасся в аул, откуда тотчас же выскочили две сильные партии; отступая, пластуны искусно навели их на засаду, и конные черноморцы, бросившись на горцев в пики, двадцать восемь человек убили и одного взяли в плен, отделавшись сами одним только раненым. Но тут появилась новая партия, и наши зарвавшиеся удальцы должны были убраться подобру-поздорову, захватив с собою, однако, даже тела побитых черкесов.

Настало для Черноморья томительное и тяжкое время. Частью под влиянием настояний анапского паши, частью под впечатлением калаусского поражения, научившего их не быть слишком самонадеянными, черкесы не решались на крупный набег, но, озлобленные, они не упустили бы малейшего случая сделать зло русским землям. На стороне их было огромное преимущество: они могли нападать и не нападать, смотря по желанию, а между тем держали все пограничное население и пограничную стражу в постоянном напряжении всех своих сил, потому что малейшая оплошность могла бы обойтись слишком дорого. И вот в течение почти двух лет идет на Черноморской линии лихорадочная сторожевая деятельность, да разве еще вырубание лесов на вражеском берегу Кубани. Но как ни внимательно стереглись русские границы, невозможно было отвратить хищнических проделок черкесов, и история этого времени отмечает целый ряд их, постепенно принимающих все более и более острый характер.

Третьего апреля 1822 года человек пятьдесят черкесов перешли Кубань ниже Марьевского поста и, не доходя шагов двадцати до дневной вышки, наткнулись на залогу. Пять казаков разом ударили из ружей. Но горцы не ушли, а напротив, окружили их. Они встретили геройский отпор — и тем не менее трое казаков были взяты в плен, один, весь израненный, брошен на месте и один успел скрыться. На выстрелы тотчас прискакал весь Марьевский пост, но горцы уже плыли на середине Кубани.

Посланные в погоню пластуны принесли с собою только растерянные черкесами вещи: два пистолета, две шашки, ружье, три плети, подсошек, две дапахи и шесть пар чувяков, показывавших и силу оказанного черкесам сопротивления и поспешность их бегства.

Власов был очень огорчен происшествием, но должен был сознаться, что причиной его была не оплошность. “Местоположение,— писал он Ермолову,— самое критическое: лес, ночь, темнота... Растерянные вещи показывают, что секрет защищался храбро и уступил только многочисленности”.

В августе, ночью на пятое число, двадцать пять человек черкесов перешли Кубань в дистанции Павловского поста, в так называемом Дубовом куте, против устья речки Пшекупе. Подкравшись к резервному пикету, они с двух сторон сразу бросились на него и захватили врасплох. Начальник резерва урядник Верен ко спал тогда в пологу, но узнав в чем дело, выстрелил из ружья и потом спрятался; ближайшие залоги были одна в семидесяти, другая — в ста саженях, но они не смели подняться со своих мест, и помощи не дали. Черкесы в одно мгновение убили часового, схватили казака в плен, но трое остальных отбились, отделавшись легкими ранами. Разъезд, прискакавший на выстрелы, не застал на месте происшествия уже никого, и погоня за хищниками была бесполезна. Расследование выяснило, что партию провел один черкес, хорошо знавший окрестную местность. Он жил прежде в мирном ауле, на правом берегу Кубани, и когда добровольно переселился на речку Пше-купс, то скот его был задержан в ауле за какой-то долг его же односельцами. Набег и был его местью за это.

Такой же случай был семнадцатого октября. Четверо пластунов со Старо-Редутского поста, осматривая берег Кубани, наткнулись на переправившихся хищников — и один из них был убит, двое взяты в плен, и только последний, шедший несколько поодаль, успел добежать до поста и поднял тревогу. Бросились казаки к Кубани, но там никого уже не нашли.

Во всех этих случаях черкесы не могли, однако, проникнуть дальше сторожевых частей — система охраны границы, введенная Власовым, полагала им серьезные преграды.

Наступила зима, Кубань покрылась льдом, и нападения черкесов становятся настойчивее. Двадцать второго декабря в пятнадцати верстах ниже Екатеринодара, в так называемом Тимошевском куге, переправился сам Казбич с толпами шапсугов и абадзехов, но узнав, что на Елизаветинском посту стоит сильный казачий отряд полковника Дубоноса, тотчас повернул назад и ушел за Кубань.

И вслед за тем случились происшествия, доказавшие, что неприятельские партии держатся близ границ. По издавна заведенному порядку Каракубанский остров постоянно осматривался, по казачьему выражению “открывался”, пластунами с постов Славянского и Копыльского таким образом, что, начиная каждый со своей стороны, они сходились в условленном месте. В один из зимних дней с поста Славянского шли шесть человек, с поста Копыльского пять. Сам начальник последнего есаул Соляник-Краса с четырнадцатью казаками стоял на Кубани, ожидая возвращения своих разведчиков. Пластуны не отошли и с версту от берега, как заметили впереди черкесов. Они попытались вернуться, чтобы соединиться с командой, как вдруг партия в сто человек выехала из-за камышей. Двое пластунов были моментально схвачены, трое засели в кусты и, отстреливаясь, не давались черкесам. Соляник бросился к ним на помощь, а на тревогу, между тем, прискакала сотня казаков,— и черкесы стали уходить. Множество следов, открытых на острове, убедили, однако, что партия горцев, скрывавшаяся здесь, несравненно сильнее казаков, и они вернулись назад. Два пластуна так и остались в руках неприятеля.

С весны 1823 года и до глубокой осени продолжались все те же нападения, преимущественно на сторожевых казаков. Так в ночь на двадцать девятое апреля тридцать пеших черкесов напали на залогу из четырех казаков ниже Константиновской батареи, в глухом и лесистом Антоковом куте, двоих убили и двоих взяли в плен. Ближайший пост выскочил на тревогу, но поздно, когда черкесы были уже за Кубанью. Начатая перестрелка, впрочем, дала возможность одному из пленных бежать и спрятаться в лесу, откуда ночью он и переплыл на русскую сторону. Вскоре после того сорок человек пеших

же хищников на рассвете напали опять на залогу в Тимошевском куге, в дистанции Александрова поста, и опять двоих захватили в плен и двоих изранили. Партию преследовали на этот раз сотник Башняк и полковник Перекрест с постовым орудием, и горцы оставили на месте трех человек убитыми и одного раненым. Не всегда черкесы шли за полоном открытой силой, а иногда пытались действовать и хитростью. Таков именно был случай в августе, показывающий, до какой степени казакам надо было быть осторожными. Ниже Екатеринодара, против Александрова поста, утром, часов в девять, какой-то человек появился на левом берегу и кричал, что он бежал из плена и чтобы казаки скорее дали каюк и перевезли его через Кубань. Казакам он показался подозрительным, так как старался прятаться в кустах, а потом в тех же кустах послышались шорох и фырканье лошадей. Стало ясно, что черкесы просто старались заманить казаков, чтобы схватить их на своем берегу. Видя, что обман не удался, партия человек в двадцать пять выехала из кустов и вместе с просившим о помощи отправилась вниз по Кубани; там они искали бродов, но бродов не было, и горцы ограничились лишь несколькими выстрелами из-за реки.

В ночь под девятое сентября хищники в числе тридцати человек переплыли Кубань ниже Новогеоргиевского поста, около Тарановского селения. Случилось, что два казака, стоявшие на пикете, в самый момент переправы черкесов отошли к реке посмотреть на свои рыболовные крючья; третий, остававшийся на месте, немедленно выстрелил — и все трое успели спрятаться. Это обстоятельство испортило черкесам все их предприятие. Немедленно на тревогу появились команды с соседних постов, и хищники, настигнутые в плавнях, бросили захваченный было табун и едва убрались за Кубань, отделавшись только одним убитым.

Так время подошло к октябрю 1823 года, которому суждено было стать началом более крупных событий. Казбич, бывший душою и всех предыдущих мелких нападений, появляется теперь на берегах Кубани с сильной партией и открывает ряд враждебных действий, поведших за собою ответные походы Власова за Кубань. Уже давно ходили слухи о приготовлениях Казбича. Еще в августе получены были верные сведения, что, уезжая к натухайцам, он посылал беглого черноморского казака, какого-то Андрея, служившего не раз и прежде вожаком для черкесских партий, осматривать переправы через Кубань, а между тем в его владениях уже собирались значительные партии. Говорили, что перебежчик с двумя черкесами три дня ходил по Кубани, высматривая броды, и наконец отправился к Казбичу. Нужно было ждать скорых нападений.

И вот девятого октября, часу в девятом вечера, черкесы появились на Кубани. До ста всадников засело в лесу против Александровского поста, а передовой разъезд начал переходить Кубань вброд в версте от постовой вышки. Был густой туман, постовые казаки беспечно вели к водопою своих лошадей и как раз попали бы на черкесов, но, к счастью, часовой заметил неприятелей и дал выстрел. Казаки, забыв о водопое, вскочили на лошадей и поскакали обратно к посту, а ив поста тем временем человек тридцать черноморцев уже заняли берег, и едва партия, выехавшая из лесу, стала спускаться к броду, открыли огонь. Из Екатеринодара также прискакал резерв. Горцы повернули назад и скрылись в лесу. На другой день узнали, что с партией был сам Казбич и что он легко ранен пулей в шею.

С вечера одиннадцатого октября разнесся слух, что неприятель в значительных силах стоит по ту сторону Кубани против Елизаветинского селения. Нужно сказать, что в этом месте течение Кубани, четыре раза переломляющееся почти под прямым углом сначала к югу, потом к западу, затем к северу и опять к западу,— образует обширный

четырехугольник, северную сторону которого составляет почтовая дорога из Екатеринодара в Тамань.

На двух концах этой последней стороны и расположены были два сильных поста: Елизаветинский на западе, и Александровский на востоке, а между ними, почти в центре четырехугольника, стоял пост Могильный. Можно было ожидать нападения со всех сторон этого выдвигающегося вперед далеко за линию четырехугольника, и Власов, немедленно приехав на Александровский пост, сдвинул сюда все конные казачьи резервы. Подполковник Ляшенко занял позицию перед Елизаветинским постом, прикрывая селение; полковник Табанец стал между ним и Власовым, против Могильного поста, а на Могильный пикет, устроенный на высоком кургане, откуда видно на далекое расстояние, была послана сотня казаков под командой сотника Скакуна. Сильный разъезд в то же время пошел к Тимошевскому куту, где Кубань по обеим берегам покрыта то лесом и кустарником, то камышами и густой травой, и повсюду усеяна кочкарником.

В десятом часу ночи Ляшенко прислал сказать Власову, что в Тимошевском куте, около впадения в Кубань речки Афипсы, слышны сильный шум и даже плеск воды, вероятно, от плывущей через реку конницы. Густой лес и широко раскинувшийся прибрежный камыш, однако, скрывали переправу.

Еще не начинался рассвет, как масса неприятельской конницы выдвинулась из камыша. Часть ее бросилась к Могильному кургану, зажгла кордонное сено и атаковала казачий пикет; большая, обогнув его, на полных рысях понеслась налево, на Елизаветинское селение.

Только быстрые движения неприятеля не позволили Власову отрезать его от переправы и заставили встретиться с ним лицом к лицу. Пока Скакун отстаивал Могильный пост, главная масса черкесской конницы уже достигла Елизаветинского селения. Ляшенко встретил ее пушечным огнем. На помощь к нему прискакал Табанец с двумя своими сотнями и подоспели резервы окрестных куреней. Но черкесы надеялись сломить эту живую стену и несколько раз бросались в шашки, чтобы прорваться в селение. Казаки, под прикрытием четырех орудий, держались стойко. Трудно сказать, однако, чем кончилось бы дело, если бы Казбичу не доложили, что Власов с другим казачьим отрядом скачет из Александровского поста наперерез ему, к переправе. Это неожиданное известие всполошило горцев; вся масса их, готовившаяся последним ударом сломить преграду, теперь поворотила к Кубани. К сожалению, только небольшая часть русского отряда могла настигнуть их; казаки собрались всего за час до набега, шли форсированным маршем, и лошади их были измучены, орудия застряли в кочках и не могли поспевать за конницей. Все это помешало Власову дружно ударить в пики, но почти у самой переправы небольшая казачья команда все-таки заскакала дорогу неприятелю. Казбич смял ее. Казаки дрались отчаянно, но панцири не поддавались ударам пик, и в рукопашной схватке урядник и два казака, сбитые с лошадей, были даже захвачены в плен. За эту минутную удачу горцам пришлось расплатиться дорого. Упорная схватка задержала отступление их и дала возможность подойти казачьей артиллерии. Но и к горцам в тот же момент подоспел их резерв, стоявший у Свиного ерика — небольшой речки, протекавшей между Могильным постом и Кубанью, и они, повернув коней, бросились на Власова в шашки. Сам Казбич дрался, как бешеный: ему разрубили левый висок и шею, проткнули бок пикой. Но он все-таки возвратился за Кубань на коне, покрытый кровью и не с пустыми руками — трое казаков остались в плену. Партия понесла большие потери, и даже левый берег Кубани, как доносил Власов, оказался упитанным вражеской кровью. В числе убитых находился сын старого Казбича, и тело его не было выручено.

Партия Казбича разошлась по домам.

Нападения черкесов на Черноморию, принявшие осенью 1823 года, в набеге Казбича, размеры открытой войны, вынудили генерала Власова ответить на них опустошением самих черкесских земель. И едва скопище Казбича рассеялось по домам, как Власов стянул к себе льготные казачьи полки и двадцать второго ноября перешел Кубань. Главной целью похода было показать шапсугам и абадзехам, приходившим с Казбичем, что их разбои не останутся безнаказанными. Но земли шапсугов и абадзехов были отделены от русских границ владениями народа хамышейского, который хотя и считался более мирным, но не упускал случая принимать живое участие в набегах на казацкие селения. Особенно враждебен был русским хамышейский князь Нагай-Крым-Гирей, имевший в своем распоряжении даже одно из орудий, розданных закубанцам еще в 1820 году турецким правительством, и хранивший его в одном из абадзехских аулов, верстах в шестидесяти от Екатеринодара. И вот первый удар Власова и был направлен именно на этот аул, причем прямо имелось в виду захватить орудие. Власов шел с одной кавалерией, ускоряя по временам свой марш и всячески стараясь проходить незаметно мимо попадавшихся на пути хамышейских селений.

В шесть часов утра отряд стоял уже вблизи враждебного аула. Полковник Табанец, с двумя сотнями спешенных казаков и с частью конницы, получил приказание идти вперед и с возможной тишиной обвести вокруг аула цепь, чтобы затем напасть на него совокупными силами. Но едва Табанец выступил, как в лагерь приехал сын одного из хамышейских князей, и для всех стало ясно, что аул теперь уже предварен об опасности. Действительно, вскоре послышались два ружейных выстрела и затем крик, вероятно, служивший сигналом для жителей. Табанец бросился на выстрелы — и сверх всякого ожидания, к удивлению даже самих проводников, наткнулся на довольно прочное плетневое укрепление с воротами, задвинутыми изнутри крепкими засовами, и с караульной, в которой горел тогда огонь. Пока шла перестрелка и пешие казаки ломали ворота, стало светать, а аул был еще далеко, почти на версту впереди, окруженный горами и лесом. Конечно, для казаков проскакать с версту было бы делом минуты, но путь к аулу пересекали две речки, Цаора и Ярки, заваленные большими колодами, очевидно, служившими ему защитой до постройки укреплений. И вот, как ни торопились казаки,— в ауле они уже никого не нашли: жители разбежались и скот был угнан. Только небольшой черкесский караул встретил русский отряд ружейным огнем, но и тот скоро рассеялся. В саклях повсюду были доказательства недавнего присутствия жителей: на очагах горели еще огни и оставалось на месте все горское имущество. Власов, подоспевший вслед за Табанцем с главными силами, бросился между тем в крайний от въезда двор, где, по словам лазутчиков, стояла пушка. Но там нашли только лафет, совершенно готовый к увозу, а самого орудия не было. Власов приказал искать, обещая награду тому, кто первый увидит его,— и орудие было разыскано казаком Кобыляцким под толстым слоем дубового хвороста, наваленного, очевидно, недавно, возле стенки какого-то сарая. Это была медная шестифунтовая пушка с изображением на ней луны.

Цель экспедиции была достигнута, и вдаваться в дремучие леса для преследования жителей не было надобности.

Казаки зажгли аул, и когда огонь покончил свое разрушительное дело, Власов приказал отступать. Есть известие, что на обратном пути черкесы пытались отбить свое орудие, но что эта попытка им стоила очень дорого. Захваченную пушку казаки привезли на Кубань, л она с тех пор хранилась в войсковом арсенале, как трофей редкий в войне с кавказскими горцами.

Воротившись на линию, Власов деятельно занялся изучением местности, лежавшей по речкам Азыпс, Катель-Джук и другим, где, всего в двадцати верстах от Кубани, в укрепленной самой природой аулах и хуторах, жила часть шапсугского народа, совершавшая отважные набеги, очевидно, в расчете на недоступность своих жилищ. Посылаемые с этой целью пластуны не раз пробирались своей неслышной поступью сквозь вражеские цепи и приносили известия о состоянии дорог, о расположении аулов, о числе в них жителей и даже о количестве на хуторах скота, хлеба и сена.

Только заручившись всеми нужными сведениями, Власов незаметно стянул в лесную засеку, на самый берег Кубани, значительный отряд — и пятнадцатого декабря, ночью, тысяча конных и тысяча пеших черноморцев, с четырьмя орудиями, двинулись за своим отважным предводителем громить и жечь шапсугские аулы. Впереди всех, с авангардом, пошел полковник Табанец.

Путь, по которому двигался отряд, пролегал от самой Кубани по низменному, болотистому и лесистому пространству, заключавшему в себе довольно большие лиманы. Самый Азыпс протекает в густом лесу, и топкие берега его представляют большие затруднения для переправы. В то время как пехота еще могла кое-как перебираться по тонкому, ненадежному льду, для кавалерии пришлось заваливать топкие места фашинником, а от переправы орудий и вовсе надо было отказаться, оставив их на берегу с небольшим прикрытием. Тем не менее в пять часов утра двухтысячный отряд черноморцев был уже в заранее намеченном пункте. Отсюда Власов разослал казачьи отряды по всем направлениям, чтобы захватить сразу возможно большее число хуторов. Но хутора были рассеяны в лесах, верст на пятнадцать от реки Азыпс, и это обстоятельство, при замечательной сторожкости шапсугов, заставило даже Власова сомневаться в успехе.

На Кавказе в то время было общеизвестной истиной, что шаг за Низовую Кубань был шагом в неприятельский лагерь, потому что поселения шапсугов, на самом деле, представляли собою обширный военный стан, где шатры заменялись хижинами и охрана домашнего расплоха производилась так бдительно, что днем по первому дыму сигнального костра, а ночью по первому выстрелу,— все было под ружьем, на коне и в сборе. И на этот раз шапсуги не проглядели непрошеных гостей, но их было слишком мало, чтобы защищать хутора, и прискакавшие казаки ни в одном из них уже не застали жителей. Все скрылось в соседних лесах, но вековые дебри смотрели так мрачно, так грозно, что никому не приходило желание углубиться в них, чтобы разыскивать бежавшие семьи. Торопились покончить с тем, что уже было схвачено при первом налете,— и вот большой аул и тридцать прилегавших к нему хуторов запылали разом, все имущество, покинутое в саклях, проворно перемещалось в походные казацкие саквы или предавалось огню, скот захватывался.

В полдень Власов приказал начать отступление. А тем временем тревога распространялась по окрестностям, и со всех сторон ближние и дальние шапсуги скакали занимать в тылу отряда узкие лесные теснины. Власову уже пришлось проходить их с боем, и тяжесть его легла теперь на пеших черноморцев, окружавших отряд, как густой непроницаемой завесой, своими стрелковыми цепями. И только благодаря их хладнокровному мужеству, их упрямой стойкости, конница, сопровождавшая отбитый скот (более тысячи голов), могла благополучно выбраться из этого топкого, мрачного пространства. Но едва отряд вышел на открытое место, расстилавшееся почти на версту по берегу Азыпса, как две тысячи пеших шапсугов встретили его учащенным огнем из засады, а конница повела отважную атаку, “даже с остервенением”, как выражается в своем донесении Власов. Неприятель, очевидно, хотел воспользоваться тем, что при

войсках не было орудий, оставшихся на другом берегу, далеко от места битвы, но он ошибся в расчете, встретив непреодолимую силу в самих черноморцах. Пока казачья пехота метким, хладнокровным огнем сдерживала пеших шапсугов, казачья конница длинной лавой бросилась в пики — и в одно мгновение смятые шапсуги были загнаны в лес. Одушевление черноморцев было так велико, что один из них, увлекшись преследованием, был убит ружейным выстрелом почти под опушкой леса. Три черкеса бросились было рубить его тело — и все трое мгновенно пали мертвыми на труп казака.

Так, защищаясь шаг за шагом, отряд подошел наконец к переправе. Здесь шапсуги в последний раз попытались броситься в шашки, но, поражаемые теперь уже орудийным огнем с противоположного берега, скоро вынуждены были совершенно прекратить нападение. Отряд без боя перешел Азыпс и вернулся в свою лесную засеку, потеряв в экспедиции четырех офицеров и двадцать семь казаков.

Походы Власова на первое время не принесли, однако же, Черноморской линии желательного успокоения. Напротив, озлобленные черкесы, пользуясь зимою, открывают целый ряд нападений, но при общей бдительности и стойкости кордонных постов они нигде не имели успеха. Только раз стряслась беда над одним казацким отрядом, и беда большая, но и этот единственный случай был результатом крайне невыгодной для казаков обстановки.

Это было третьего января 1824 года. Полковник Табанец, один из типичных старых сечевиков, которых не много уже оставалось тогда в Черноморском войске, стоял со своим полком за Кубанью, прикрывая рабочих, рубивших лес против одного из новопостроенных на берегу селений. Покончив работы в одном участке, он перешел на смежную лесную дачу, но едва стал расставлять там цепь, как кто-то крикнул: “Черкесы!” Действительно, восемнадцать всадников скакали в виду русского отряда. Есаул Залесский, памятный горцам со дня Калаусской битвы, пустился на них с тридцатью казаками. Горцы стали уходить, и казаки ввязались в погоню. Табанец, видя, что удальцы его зарвались уже слишком далеко, поспешил за ними с целым полком. И было это вовремя. Едва он соединился с Залесским, как тысяча двести конных черкесов без выстрела и крика ударили на казаков из скрывавших их камышей. Все это произошло так внезапно, что черноморцы, дрогнувшие на первых порах, уже не могли оправиться, были опрокинуты и горячо преследуемы горцами.

В лесу уже видели катастрофу, и все, что там было на работах, высыпало из опушки, рассчитывая удержать неприятеля. Но черкесы с налета врезались в пехоту, стоптали ее, и тогда все обратилось в бегство, ища спасения в засеке. Тридцать казаков были изрублены.

Неудача была очевидная. Но Ермолов на этот раз не винил в ней никого, сознавая, что первоначальный источник поражения лежал не в недостатке храбрости, а скорее в избытке ее, и что подобные случаи в войне почти неизбежны. “Ошибка и запальчивость Табанца и Залесского,— писал он в Петербург,— достойны снисхождения, как по отличной храбрости их вообще, так и потому, что, участвуя в деле, они подвергали себя несомненной опасности наравне со всеми казаками”.

В общем результате черкесы ничего не выигрывали от случайного поражения одного полка, но во времена Власова и этот незначительный успех получил в глазах их размеры значительные; в горах ликовали, волновались мирные аулы, откочевывая к горам, и Кацырев даже на правом фланге почел необходимым экспедицией за Кубань охладить это волнение.

Власов также не хотел подарить черкесам минутного успеха и немедленно ответил на него новым вторжением в их земли. Он быстро двинулся на речку Тихеньку, где были раскинуты аулы горских предводителей Джамбора, Цап-Дедека и Аслан-Мурзы, и пятого февраля 1824 года, на рассвете, казаки дружно ударили на жилища горцев. В минуту все запылало. Страшная суматоха поднялась в испуганных аулах, не ожидавших нападения; горцы метались во все стороны, гибли в огне, тонули в бушевавших при аулах горных потоках или падали под оружием русских. Разорив жилища, Власов, без всякой потери, взял в плен сто сорок человек и захватил до двух тысяч голов скота. На возвратном пути отряду пришлось, однако, выдержать жаркую схватку с горцами, пытавшимися отбить своих пленных. Двести отчаянных панцирников врезались в самые ряды черноморцев, но из этих смельчаков не один десяток пал жертвой своей запальчивой храбрости, а человек двадцать, сбитые с коней, захвачены живыми, и даже с оружием в руках.

Горцы несколько притихли, и почти год Черноморская линия пользовалась сравнительным спокойствием. Но это затишье было перед бурным временем, которое вновь наступает для Черномории в 1825 году.

XXXVI. ЧЕРНОМОРЬЕ В 1825—1826 ГОДАХ

Год 1825 настолько же памятен Черномории, как и другим частям обширной Кавказской линии, в истории которой он записан кровавыми чертами. Это был год страстной и упорной борьбы кавказских народов против окрепшего русского владычества.

Тревоги этой поры в Черномории стояли в тесной связи с событиями в Кабарде и на правом фланге. Но сильные черкесские племена, жившие против черноморской казачины, волновались и боролись не под влиянием племен верхнекубанских и кабардинских, а, напротив, сами служили влияющим на тех элементом. Шапсуги и абадзехи посылали тогда свои партии до далекой кабардинской равнины и участвовали в известном разгроме станицы Солдатской. Понятно поэтому, что воинственная лихорадка, овладевшая черкесскими племенами, проявилась в Черномории раньше и окончилась гораздо позже, чем в других местах, так что когда к началу 1826 года в Кабарде уже все было спокойно, здесь, на Нижней Кубани, борьба еще росла и разгоралась.

Началось с того, что двадцать третьего января 1825 года на Кубань, покрытую льдом, легендарный Казбич привел партию в две с половиной тысячи человек шапсугов и абадзехов. Главные силы его шли на Елизаветинское селение, правое крыло ударило на Александрии пост. Сильный ружейный и пушечный огонь и отчаянная вылазка с последнего поста остановили неприятеля. Это расстроило Казбичу весь план нападения, и горцы, опасаясь повторения того, что уже случилось раз в этой же местности и с тем же самым Казбичем, поспешно отошли за Кубань. В некоторых местах произошли, однако же, схватки и стоили черноморцам трех офицеров и пятнадцати казаков, выбывшими из строя.

Не прошло и недели, как Власов, в отместку Казбичу, был уже за Кубанью и первого февраля громил абадзехские аулы. Но едва он вернулся назад, как неугомонные черкесы снова собрались в значительных силах, и Власов, рассчитав основательно, что черноморцам легче нападать, чем выжидать самим нападения, вторично повел их за Кубань — и шестнадцатого февраля появился в земле шапсугов. Поход этот был, однако, сопряжен с чрезвычайными трудами; отряд выдержал ряд упорнейших битв и, оставаясь победителем, тем не менее потерял трех офицеров и около ста казаков.

Но более ожесточенная борьба была еще впереди. Она началась в сентябре и совпала как раз с тем временем, когда в Кабарде мятеж горел полным пламенем, а правому флангу угрожали черкесские нашествия. Еще в последних днях августа из гор стали получаться вести, что черкесы намерены разорить Ново-Екатерининскую станицу, только что выстроившуюся на берегу Кубани. Власов легко мог оградить ее, сдвинув сюда несколько конных и пеших полков. Но он не хотел подпускать неприятеля даже близко к новым селениям, чтобы избавить еще непривычных к военным тревогам жителей от первых тяжких впечатлений черкесского погрома, и решил держаться раз принятой им системы предупредительных набегов.

И вот пятого сентября казаки опять стали переправляться на левый берег Кубани. Но тут они сразу наткнулись на сильную партию, которая при виде их поскакала в горы. Власов остановил переправу, зная, как он выражается, “что уже не получит иного успеха, кроме большого сражения”, и возвратился назад.

Набег не удался, но слух о казацком нашествии был пущен и заставил черкесов несколько дней держаться в сборе около своих аулов. Не распускал отряда и Власов, предвидя, что следует ждать новых нападений. И он не ошибся. Прошло лишь несколько дней, и сильное скопище снова появилось на Кубани, угрожая станице Марьевской. Власов рассчитал, что и на этот раз выгоднее предупредить удар нападением на их аулы, и девятнадцатого сентября, ночью, часть пеших казаков, перейдя через реку, уже заложила цепь, чтобы не допустить черкесов помешать переправе. Но едва пластуны залегли в скрытых местах, как партия конных черкесов, делавшая разъезд по берегу, нечаянно врезалась в самую середину расположения наших секретов. Осенняя ночь была так темна, что в двух шагах ничего не было видно, и глаз и обычная чуткость шапсугов им изменили. Внезапно и со всех сторон принятая в перекрестный ружейный огонь, партия до того смешалась, что бросила своих лошадей и уже ползком, поодиночке, спасалась в разные стороны. На месте катастрофы осталось шесть неприятельских тел, много оружия и до сорока оседланных коней. После этой встречи Власов опять должен был отложить свое намерение и вернулся назад. Вернулась назад и партия.

Но черкесы ушли, однако, как оказалось, только затем, чтобы направить удар с другой стороны, и, сделав быстрый переход, двадцать пятого сентября они появились в первом участке кордонной линии. Но Власов и здесь стоял уже перед ними, готовый броситься в их собственные земли. Скопище отступило снова. Тогда Власов сам перешел Кубань и, расположив отряд в ближайшей засеке, ожидал только случая, чтобы жестоко наказать горцев за беспрерывные тревоги, причиняемые линии.

Лагерная стоянка в ненастную осеннюю пору, в низменном прикубанском лесу, конечно, была тяжела, но зато Власов теперь не имел уже перед собою трудной переправы и мог свободно направлять удары в какую угодно сторону. Черкесы это скоро и почувствовали.

В половине октября, когда шапсуги и абадзехи в четвертый раз стали собираться на вершинах рек Супса и Шебже, впадавших в Афипс, Власов быстро двинул отряд из своей засеки и через владения хамышейцев бросился на их аулы, раскинутые по речке Догай, впадающей в Шебже верстах в сорока по прямому направлению от Екатеринодара.

На рассвете шестнадцатого октября казаки стояли уже перед лесистым Догайским ущельем. Когда-то сильное укрепление, состоявшее из толстых палисадов, запирало выход из него к стороне аулов, но теперь оно было брошено, и казаки поспешно его разломали. За этим укреплением возвышался небольшой пригорок с пологим спуском к реке, а далее, верстах в двух, стояли самые аулы; в них было все спокойно, и высланные

вперед пластуны слышали, как жители при свете луны молотили хлеб перед своими домами.

Тотчас полковник Табанец с пехотой и полковник Перекрестов с конницей стали обходить аулы справа и слева, чтобы разом напасть на них с двух сторон. Власов остался в центре, у самого укрепления, прикрывая дороги от Супсы и Шебже, где стояли скопища.

Казаки двигались тихо, но в это самое время из аулов вышел небольшой караван, принадлежавший закубанским армянам, и стал подниматься на пригорок. При полном свете луны один из проводников увидел конницу, уже спускавшуюся к самой речке, и выстрелил. В аулах поднялась тревога. Караван немедленно был захвачен, но Табанец и Перекрестов, бросившиеся в аулы, застали их уже готовыми к обороне. Только немногие из жителей бежали в окрестные леса, прочие заперлись в домах и открыли по казакам сильный ружейный огонь. Не прошло, быть может, и получаса, как в отряде был убит офицер и ранено двадцать девять казаков. Видя, что штурм поведет за собою потери еще большие, Власов приказал зажечь аулы с четырех сторон — и пламя быстро охватило все сакли. К девяти часам утра Табанец и Перекрестов отошли от аулов, в которых слышались вопли людей и рев скота, погибавших в пламени.

Поздно узнали на Супсе и Шебже о грозном набеге Власова, и как ни торопились черкесы на выручку — они опоздали. Власов, стороживший дороги, встретил их картечью и сдерживал напор, пока весь отряд не миновал разломанного укрепления и не вышел на чистое поле, а здесь неприятель вступить в бой уже не отважился.

В этот набег истреблено было четыре больших аула, но из числа жителей в плен взято только четыре старика и семь женщин, остальные, как доносил Власов, “погорели в пламени”.

Впечатление догайского погрома было так сильно в горах, что даже неугомонные шапсуги несколько поугомонились и почти два с половиной месяца не тревожили линии. Между тем наступили Рождественские праздники, а с ними явилась у горцев надежда: не распустит ли Власов отряда, не будут ли казаки оплошнее,— и партии стали собираться снова.

Двадцать шестого декабря одна из них, человек в двести-триста, с распущенным значком, среди белого дня, явилась на левом берегу, против Ново-Екатерининского селения. Ближайший пост, однако, тотчас же завязал перестрелку, а на выстрелы со всех окрестных станиц прискакали резервы. Неприятель скрылся.

С этого дня и до нового года лазутчики по нескольку раз в сутки извещали, что вот-вот черкесы нагрянут на линию. Всем было известно, что горцы, под начальством шапсугских дворян Беги и Хопача, стоят наготове, но нельзя было предвидеть, куда направят они свой удар; их ждали и около Бжедугскаля, главного войскового города, и в Тимошевском куте, и на посту Велико-Лагерном, и против станиц Елизаветинской, Марьевской, Ново-Екатерининской и Ольгинской. Нехорошие были эти святки; Власов так и не выезжал с кордонов, перекочевывая с поста на пост и поддерживая бодрость и бдительность кордонной стражи.

Наконец пластуны, каждую ночь занимавшие Каракубанский остров, дали знать Власову, что на том берегу видели конную партию человек в полтораста, что горцы, заметив их, открыли огонь, но когда прискакал резерв со Славянского поста,— скрылись.

Внезапное появление партии в таком удаленном месте дало мысль, что горцы имеют намерение напасть на Ольгинское. Известия, приходившие второго и третьего января, только подтвердили эти соображения. Начальник третьего кордонного участка войсковой старшина Гаврюш отправился на Каракубанский остров сам, чтобы ближе наблюдать за неприятелем, и как раз наткнулся на три конные партии, рыскавшие по острову, четвертая скрывалась под берегом. С Гаврюшем был только обычный разъезд из нескольких казаков, а потому он спрятался в кусты и стал выжидать, что будет.

До полудня горцы разъезжали по острову, видимо, разыскивая тех пластунов, которых видели здесь накануне, но наконец все партии стянулись вместе и ушли за Кубань. Гаврюш остался на острове. Вечером он увидел за рекою большие бивуачные огни, раскинутые на большом протяжении и ясно говорившие, что значительное скопище стоит тут, грозя решительным нападением.

Наступила ночь, и Власов стал сдвигать войска к Славянскому посту. Часть их расположилась в окрестностях Ольгинского, другая — около Ново-Екатерининской станицы. Ночь на четвертое января прошла, однако, спокойно. Казаки, только что сделавшие быстрый ночной переход, успели немного отдохнуть. Но едва забрезжилась заря, как весь левый берег Кубани, между постами Ольгинским и Славянским, покрылся многочисленной черкесской конницей. Власов отдал приказание войскам "не шелохнуться" и дать неприятелю свободу перейти через Кубань, а когда он удалится от берега,— разом зажечь все маяки, ударить тревогу и всеми силами с тыла отрезать ему отступление. Три тысячи черкесов спустились, между тем, на лед и, не видя на русской стороне никакого движения, разделились на партии, человек по сто, по двести в каждой, и стремительно бросились одновременно на все дневные казачьи пикеты. Но плетневые хаты были пусты и стояли с раскрытыми настежь дверями — Власов заранее убрал пикеты, чтобы не подвергать их опасности. Черкесы зажгли постовые строения и стоявшее тут же кордонное сено. Вспыхнули громадные стога, далеко освещая местность,— а на берегу ни звука, ни движения. Горцы подозрительно смотрели на эту зловещую тишину, однако же пешие толпы их все-таки двинулись на Ольгинское селение, расположенное на самом берегу Кубани.

Власов увидел, что неприятель дальше внутрь страны не пойдет и, конечно, ограничится только разгромом Ольгинского. Времени терять было невозможно. Гулко грянуло сигнальное орудие, и еще не смолк отзвук выстрела, как пешие полки разом выдвинулись и из Славянского поста, и из Тиховской батареи, и из Красного леса, и из самого Ольгинского, а конница уже скакала к Кубани и занимала переправу. Принятые орудийным и ружейным огнем со всех сторон, растерявшиеся горцы стремительно повернули назад и бросились к Кубани. Пешие казаки настигли их на льду, пушки били их с берега, и неприятелю грозило полное истребление, если бы к нему на помощь не подоспела другая партия, тысячи в две человек, остававшаяся по ту сторону реки. Она быстро спешилась, рассыпала цепь по левому берегу, и под ее прикрытием горцы кое-как успели убраться восвояси.

Неудача и большие потери не охладили, однако же, рвения черкесов; они двинулись в угрожающем положении вверх по Кубани и вдруг ринулись на Екатерининское селение. Но пока они переходили лед, Власов, зорко следивший за каждым движением неприятеля, успел подойти сюда со всеми казаками и принял их картечью. И только тогда горцы решились наконец прекратить нападения и потянулись назад в горы. "Я бы мог преследовать их и за Кубань,— говорит Власов,— но знал, что это не, обойдется без большой взаимной потери, совершенно бесполезной,— и остановился".

Неприятель, однако же, видимо, решил во что бы то ни стало разгромить Черноморию, и партии его не разошлись по домам, а стояли во всеоружии между реками Иль и Убын. Непрерывное ожидание неприятеля до крайности утомило черноморцев, и, чтобы избавить их от этого напряженного состояния, Власов счел за лучшее самому атаковать неприятеля. В ночь с девятого на десятое января 1826 года, войска перешли Кубань, а в час пополуночи уже подходили к тому месту, где стояло скопище, огражденное ущельями гор и густыми лесами. Неприятельский караул заметил подходивший отряд, и по всей Заилийской местности разнеслась тревога. Загремели сигнальные ружейные выстрелы, а где-то в горах глухо бухнула даже пушка. Власов не пошел дальше и, выбрав крепкую позицию, стал ожидать приближения дня. На рассвете казаки ясно увидели большое скопище, занимавшее окрестные высоты, а впереди, между гор, на полянах, пересекаемых частыми перелесками, виднелись аулы. Можно было опасаться, что неприятель, воспользовавшись удалением войск от Кубани, сам бросится на линию; и вот, чтобы отвлечь его от этой мысли, Власов послал полковника Табанца с частью пеших казаков сделать фальшивое движение на аулы. Обман удался. Неприятель, действительно, сосредоточил в ту сторону значительные силы, и когда Табанец медленно стал отходить, горцы, в жару преследования, почти на плечах его ударили на главный отряд — и бой завязался разом на всех пунктах нашей позиции. Солнце уже склонялось к закату, когда Власов приказал отступать. Войска под натиском громадной толпы отодвигались назад медленно, с перестрелкой, поминутно останавливаясь и отражая нападения. Уже наступили темные зимние сумерки, когда неприятель прекратил наконец преследование, и казаки стали бивуаком на обширном поле, сплошь заставленном скирдами шапсугского сена.

Ночь прошла спокойно, и только на пикетах кое-где раздавались ружейные выстрелы, но утром, одиннадцатого числа, неприятель повел нападение всеми силами, и бой разгорелся упорный, особенно на правом фланге, где не было артиллерии; там горцам удалось даже потеснить стрелков. Конный полк Перекрестова блистательным ударом в пики высвободил цепь, но не сумел остановиться вовремя, пронесся слишком далеко, и был окружен черкесами...

“Тут,— говорит Власов,— завязалась жаркая сеча и убийство с обеих сторон произведено жестокое”. Подавленные грозной массой конницы, казаки не выстояли и понеслись назад... Горцы настигали и рубили их... Двадцать восемь казачьих тел осталось в руках неприятеля, более двадцати казаков прискакали израненные шашками... По счастью, оправившаяся пехота остановила черкесов — и дальнейшего успеха они не имели. В два часа пополудни неприятель сам прекратил нападения и стал отступать. Поле сражения осталось за нами. Власов приказал зажечь разом все шапсугское сено, и под прикрытием разлившегося моря огня отошел к Кубани.

Потери, понесенные казаками в этом двухдневном бою, были бы ничтожны, если бы конница в жару преследования не заскакала слишком далеко. “Случай,— как выражается Власов,— непредвиденный и неизбежный в подобных военных обстоятельствах”.

“Ни в одном деле со мною,— доносил он Ермолову,— неприятель еще не дрался с таким жаром и остервенением, и вероятно потому, что Заилийская местность есть та самая, с которой черкесы обыкновенно производят все свои нападения на линию”.

Обескураженные большой потерей, шапсуги вслед за тем разошлись по домам, но абадзехи стояли наготове.

Была наготове и линия. Тяжелую службу несли черноморцы в эти последние два-три самые суровые в году зимние месяца. Еще постовым казакам было ничего — на посту, нет-нет, да и задымится, бывало, труба в более или менее гостеприимной хате; но бесприютные вспомогательные отряды, вынужденные блуждать, как метеоры, по всему громадному пространству этой ломаной, излучистой линии постов и пикетов, довольствовались одними скудными бивуачными огнями и проводили ночи и дни под открытым, задернутым тяжелыми тучами небом, сыпавшим на них без устали то хлопьями снега, то мелкой изморозью... А отдохнуть, обогреться — нельзя. Лазутчики то и дело наезжали из-за Кубани с грозными вестями — и что ни лазутчик, то новая весть, и этих вестей так много, что трудно в них разобраться и отличить услужливую истину от коварных подвохов или пустой, праздной лжи. Линейная опытность предписывала считать верным лишь то, что добудут свои неутомимые, бестрепетные лазутчики-пластуны, но нельзя было пренебрегать и слухами, шедшими из-за Кубани. А по этим слухам приходилось ждать нападений на верховые, более удаленные от моря участки линии. Пластуны тоже подтверждали, что абадзехи, под начальством беглого чирчинейского князя Евбока, стягивали партии к Корсунскому селению. В ночь на восемнадцатое января двинулся туда и Власов. Казаки незаметно перешли Кубань и скрылись в лесу, на самой дороге, которую горцам миновать было нельзя. Абадзехи уже подходили к этому лесу и, конечно, поплатились бы жестоко за свою попытку, но мирные чирчинеевцы дали им знать о засаде — и партия вдруг повернула в сторону. Быстро шел неприятель на лесную засеку при Павловском посту, где новые переселенцы с небольшим прикрытием рубили тогда лес. Власову нельзя было терять ни минуты. Усиленным переходом он успел предупредить неприятеля, но абадзехи, и здесь предваренные мирными хомышеевцами, остановились вовремя. Тогда Евбок, убедившись в бесполезности дальнейших попыток, распустил свою партию.

Разошлись абадзехи, стали опять собираться шапсуги. Двадцать третьего января пластуны дали знать на Славянский пост, что неприятель намерен прорваться через Каракубанский остров. Есаул Чепурный взял с собою двенадцать конных казаков и поехал осматривать каракубанский берег, но там он моментально был окружен сотней пеших черкесов. Пришлось отчаянно и безнадежно прорубаться. Чепурный был ранен, один казак убит — и, вероятно, эта горсть сложила бы здесь свои казацкие головы, если бы не подоспела внезапная помощь. Из Ольгинского поста прискакал неутомимый, вездесущий Власов — и Чепурный был выручен.

Но тревожные известия не прекращались. Тогда на следующий же день, двадцать четвертого числа, Власов сам перешел Кубань в Тимошевском куте и стал впереди Елизаветинского селения, в лесах, по левому берегу Афипса, укрепив свой лагерь засеками и тремя батареями. Шапсуги этого никак не ожидали. Пушечный выстрел в горах возвестил тревогу, и партии, уже находившиеся в сборе, быстро стянулись к русскому лагерю. Теперь обе стороны стояли друг против друга в полной боевой готовности, но ни та, ни другая не начинали наступательных действий. Казаки, закрывали линию и угрожали аулам, шапсуги стерегли аулы и угрожали линии. Так прошла неделя. В самую полночь, с двадцать девятого на тридцатое января, Власов тихо поднял отряд и отвел его обратно за Кубань, на отдых. В лагере осталась только горсть пластунов, которые днем поддерживали перестрелку, ночью раскладывали большие огни и вместо часовых расставляли на вышках чучел. Этим способом удалось продержать шапсугов еще два дня в сборе против опустевшего лагеря. Но наконец и их терпение истощилось. Шапсуги стали рассуждать, что если Власов стоит на Афипсе и большие силы закрывают второй участок, то, значит, в остальных частях кордона охрана слаба, посты менее бдительны, и потому не мешало бы им заглянуть на Кубань. Предложение это было принято. И вот первого февраля, оставив на месте своего становища большие огни, чтобы

ввести в заблуждение Власова, которого они все еще считали стоявшим в лагере, скопище двинулось на Марьевскую станицу.

В Марьевской, действительно, не ожидали нападения; к тому же был праздник, Сретение, и казаки собирались к обедне. Скот, как и всегда, с раннего утра был выпущен на пастьбу в степь. Горцы все это выведали, и двести всадников перебрались на русскую сторону, четыреста остались на том берегу, чтобы принять добычу и пленных. Переправа сделана была в Марьевском куте, где стояла батарея, которую горцам миновать было нельзя. Но они так были уверены в успехе, что даже не обратили на нее никакого внимания, а между тем с батареи дали сигнальный пушечный выстрел и пустили по ним несколько ядер. В станице также ударили тревогу. Там в это время стояли семьдесят конных казаков, с войсковым полковником Зинченко, и пеший Черноморский полк, с полковником Долинским. Не зная причины тревоги, оба они быстро двинулись к той батарее, откуда был подан сигнал, и на пути, в глухом Марьевском куте, там, где Кубань делает крутую излучину, Зинченко первый наткнулся на неприятеля. Двести черкесов, скрытно пробиравшихся камышами к селению, не дали казакам опомниться и бросились в шашки. Казаки подались назад, но тут подоспел Долинский, и горцы, увидев перед собой значительные силы, поскакали к Кубани. На переправе их захватило, однако, подоспевшее орудие и проводило картечью.

В тот же самый день и в то же самое время две другие партии пытались прорваться в дистанциях Ольгинского и Славянского постов — и так же безуспешно. Горцы должны были убедиться, что линию стерегли зорко и бдительно.

Оставалась, впрочем, надежда на четвертый, низовой участок, на который горцы давно не обращали внимания, и, следовательно, как они полагали, не обращал внимания и Власов. На этом расчете они и основали целое большое предприятие.

Третьего февраля семь тысяч всадников с двумя полевыми орудиями появились в третьем участке, против Елизаветинского селения. Здесь уже были не одни шапсуги и абадзехи, но были и натухайцы — народ, считавшийся покорным и мирным. Истинная цель предприятия хранилась в такой глубокой тайне, что Власов не мог быть предупрежден ни одним из своих лазутчиков. “И только сие одно,— говорит он,— спасло толпу от поражения, подобного Калаусскому, ибо, не зная ни времени, ни места переправы, я не мог расположить свои войска так, чтобы пресечь ей все пути к возврату и потопить в лиманах”.

Четвертого февраля, когда Власов находился на Ольгинском посту, прискакал к нему казак с известием от войскового старшины Гаврюша, стоявшего с пешим полком в четвертом участке, у Тиховской батареи, что неприятель в значительных силах прошел Каракубанский остров и двигается к Петровскому посту. Неожиданное направление, взятое горцами, заставляло думать, что они намерены напасть на новое селение у Черной Протоки. Власов приказал Гаврюшу занять переправы по Каракубани и тотчас известить об этом сигнальным выстрелом из орудия; на помощь к Гаврюшу двинулись главные силы, а конный черноморский полк из Ольгинского отряжен был через Копыльский пост, также на отрез неприятелю, в том предположении, что горцы, услыша орудийный выстрел в тылу, обратятся назад, к переправе.

Но едва Власов вышел из Ольгинского, как прискакал казак уже из третьего участка, с новым тревожным известием, что другая партия, и также с пушками, появилась против Ново-Екатерининской станицы и открыла по ней канонаду. Глухие раскаты пушечных выстрелов, действительно, чуть слышно доносились оттуда по ветру. Власов

призадумался. Но так как первая партия была гораздо сильнее, то он отправил к Екатерининской только половину отряда, а с остальной поспешил на остров.

Тем временем шапсуги и натухайцы уже достигли почтовой таманской дороги. Дневной пикет из четырех казаков, попавшийся им на пути, был изрублен; другой — из двенадцати человек, стоявший между Петровским и Чернопротоцкой батареей,— отбился. Горцы оставили против него только наблюдательный пост и пустились дальше, на новое селение.

В это самое время на Каракубанском острове грянул сигнальный пушечный выстрел, а со стороны Копыльского поста заклубилась пыль,— очевидно, скакала какая-то конница. Партия сообразила грозившую ей опасность и повернула назад так быстро, что казаки на усталых лошадях не только не могли обскакать, но даже и настигнуть неприятеля, одни орудия проводили его гранатами и ядрами.

Наученные опытом, горцы не искали уже прежней переправы, а кинулись вправо, к калаусским лиманам. И как ни торопился Власов, но с пешими полками опередить конницу было нельзя,— и он опоздал. Пришлось и здесь ограничиться лишь несколькими картечными выстрелами вдогонку неприятеля.

Одной канонадой окончилось дело и под Екатерининским селением; горцы увидели подходившее к нему подкрепление и отступили.

Но тревожная пора не миновала. Продолжались еще морозы, доходившие до двадцати градусов и державшие Кубань под крепким, легко проходимым льдом. Нужно было ждать новых и новых нападений. Опыт научил, между тем, горцев, что самая система охраны линии, принятая Власовым и основанная на быстрых передвижениях сильного резерва, не даст им развернуться в русских пределах по-прежнему, на всей своей воле, и они стали искать средств, чтобы заставить Власова прежде всего раздробить свои силы. Первое, что могло представиться им в этом смысле, было прорваться на нескольких пунктах сразу. И вот тринадцатого февраля они действительно собрались одновременно против селений Марьевского, Ново-Екатерининского, Ольгинского и Чернопротоцкого. Власову дали об этом знать. Положение его представляло незаурядные трудности. Разделить войска для защиты каждого селения, значило стать слабым на каждом пункте, а потому он решил опять подействовать на горцев страхом разгрома их собственных жилищ,— и пятнадцатого февраля был уже далеко за Афипсом. Казаки наступали тремя колоннами: правая, под личным начальством Власова, шла из Екатерининского селения; средняя, войскового старшины Черного, из Марьевской; а левая, Стороженко, из Елизаветинского — через знакомые места бывшего афинского лагеря. Внезапное вторжение Власова произвело на горцев ошеломляющее действие. Сами рассеянные на большом протяжении, они теперь уже не могли собраться вовремя, чтобы остановить истребление, и с ужасом видели, как на огромном пространстве кругом горели их хутора и зимовники, погибал скот, уничтожались запасы. Броситься при таких условиях на линию было невозможно, так как войска, подвигаясь все дальше и дальше, уже приближались к самым аулам, где находились их семьи. Горцы вернулись. Тогда Власов отошел назад и стал на Афипсе.

Прошло несколько дней. Томительное выжидательное положение скоро наскучило горцам, и они предпринимают новый быстрый набег, основывая его на этот раз уже на самой системе власовских действий. Двадцать первого февраля, в сумерках, сильная конная партия прошла мимо афинского лагеря и потянулась вниз по Кубани. Черкесы рассчитывали, что Власов, постоянно следивший за каждым движением их и всюду встречавший врага лицом к лицу, устремится за ними наперерез и таким образом откроет Елизаветинское селение. Партия поэтому отошла недалеко и притаилась в одном из

попутных лесов; там она дождалась ночи и скрытно, на быстрых аллюрах, вернулась к Тимошевскому куту. Но, к их изумлению, Власов стоял перед ними в самом Елизаветинске. Тогда, озлобленные, они бросились вниз по Кубани, в четвертый участок, но едва вступили на Каракубанский остров, как узнали, что Власов опять перед ними — в Петровском...

Это была последняя попытка, последнее усилие прорваться внутрь Черномории. Несокрушимым оплотом везде вставали перед ними казацкие полки, и горцы должны были понять, что им не разорвать железные, на диво спаянные Власовым звенья кордонной цепи... Двадцать третьего февраля партии разошлись по домам.

В Петровском Власов получил между тем подробные сведения о целом ряде разбоев и грабежей, производимых в русских пределах соседним натухайским племенем. Нужно сказать, что натухайцы, принимавшие такое деятельное участие в последних набегах на Черноморскую линию, считались по бумагам, в канцеляриях, народом мирным и совершенно покорным России. В действительности, прикрытые со стороны Кубани озерами и болотами, они пользовались этой номинальной покорностью только для того, чтобы тем с большей дерзостью и с расчетом на безнаказанность тревожить русские владения. Враги скрытые и коварные, они были хуже открытых противников. И они не ограничивались тем, что высылали значительные конные партии в помощь шапсугам, а наводняли весь четвертый участок кордона мелкими хищничествами, чуть не ежедневно волновавшими приграничное население. Так, в одном феврале этого 1826 года был совершен ими длинный ряд нападений. Десятого числа они угнали с Курчанских хуторов девять быков; ночью, двенадцатого, у Новогригорьевского поста отбили косяк лошадей; четырнадцатого сделали попытку против Темрюка и только потому вернулись без добычи, что нашли войска наготове встретить их. Пятнадцатого числа сто конных натухайцев атаковали секрет из трех казаков, одного ранили и других, мужественно отстреливавшихся в постовой казарме, оставили в покое только тогда, когда с ближайших постов прискакали резервы, а в это время другая часть партии угнала табун. В ту же ночь, пробравшись камышами, натухайцы угнали другой табун, у Петровского поста, и подоспевшие казаки успели отбить обратно только десять лошадей. Шестнадцатого числа около Бугазского лимана они угнали было третий табун, и если вынуждены были бросить его, то только потому, что наткнулись на разъезд, тотчас поднявший тревогу.

Выведенный из терпения, Власов решил наконец жестоко наказать натухайцев. Кстати, войска были в сборе—и вот в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое февраля сильный отряд, под личным начальством Власова, уже двигался к натухайским аулам. В самую полночь был привал на реке Псебепсе, и отряд разделился: полковник Табанец двинулся вправо, полковник Стороженко влево, чтобы обхватить аулы сверху и снизу. На рассвете по данному сигналу началось нападение. Часть жителей бросилась было бежать, но, повсюду встречая казаков, частью была побита, а частью забрана в плен; другие, засев в домах, защищались упорно и не хотели сдаваться. Тогда Власов приказал Стороженко ворваться в аулы, зажечь строения и истребить все до основания. В десять часов утра бой уже был покончен. Сгорело четыре аула со всем имуществом и запасами хлеба, было отогнано до двух тысяч голов скота и взято в плен сорок шесть человек, остальное население погибло или в огне или от оружия.

На линии Власов узнал, что шапсуги после отражения их двадцать третьего февраля от Каракубанского острова, возвращаясь домой, напали на мирный аул хомышейского владельца Заур-бека, жившего на самой границе Шапсугии, истребили несколько домов, взяли в плен четырех мальчиков, отогнали часть скота, но что тем не менее хамышейские

князья и дворяне защищались так храбро, что не допустили до полного разорения аулов и в конце концов прогнали шапсугов со значительной для них потерей.

Стоит упомянуть, что в нападении этом принимали деятельное участие и многие натухайцы из тех самых аулов, которые были разгромлены Власовым; нападая на хамышейцев, они не подозревали, что в это самое время их собственные жилища пылали в огне.

Первого марта наступила наконец давно жданная оттепель. Кубань вскрылась, и Черноморская линия могла вздохнуть свободнее.

XXXVII. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВЛАСОВА

Поход на натухайцев был последним походом Власова в Черномории и вызвал, как в истории этого края, так и в жизни самого Власова, крутой поворот. Нужно сказать, что в то время, как Черномория отдавалась в распоряжение Ермолова, комиссия по развитию мирной политики с черкесами, состоявшая под председательством де Скасси, продолжала существовать и только самими фактами была отодвинута на дальний план и лишена значения. Последнее обстоятельство не мешало де Скасси не обращать никакого внимания на то, что жизнь, действительность на каждом шагу опровергали его соображения и уничтожали плоды его канцелярской работы. И вот, в то самое время, когда черкесы бесчинствовали на границах и на кордонной линии раздавались громы битв, он пытался хоть что-нибудь спасти и выполнить из своих предположений и тянул с горцами бесконечные переговоры о мирных сношениях. Натухайцы ловко и пользовались именно политикой де Скасси, чтобы слыть мирными и под покровом этого звания совершать свои разбои.

Случилось, что в последний поход Власова на натухайцев были разорены аулы, принадлежавшие именно одному из таких мирных князей, Согат-Гирею-Калабат-оглы. Тот подал жалобу, и де Скасси, давно уже искавший подобного случая, ухватился за него со всем упорством, и страстью самолюбивого человека, потерпевшего неудачу и не могущего мириться с торжеством политики, прямо противоположной его предположениям. Помимо Ермолова он написал в Петербург, объясняя действия Власова желанием доставить казакам возможность поживиться добычей, да и самому воспользоваться тем же. В этом виде дело дошло до государя, и в Черноморию приехал генерал-адъютант Стрекалов, чтобы произвести следствие.

Действия Стрекалова не отличались особенным беспристрастием, и все доказательства Власова, что натухайцы, прикрываясь званием мирных, укрывали у себя злейших врагов России и сами участвовали в набегах, не послужили ни к чему. С другой стороны, положение в этом деле самого беспристрастного следователя было бы в высшей степени затруднительно. Власов не одних друзей имел в Черномории. Войсковые власти, не сумевшие, при одинаковых с ним средствах, оградить страну от вражеских погромов, ненавидели этого чуждого им донского генерала, давшего черноморским знаменам такой грозный смысл в глазах соседних народов, завидовали ему и втихомолку желали его падения. В то же время и в низших классах черноморского населения не все были, по крайней мере в тот момент, довольны Власовым. Конечно, время его было отрадной порой для Черномории: упавшие было духом казаки ободрились, и черкесы перестали быть им страшными; но тяжесть военного положения не могла не отзываться на внутреннем экономическом быте страны. Постоянная служба строевых и даже нестроевых казаков, обусловленная крайними обстоятельствами, разоряла их семейства, остававшиеся без рабочих рук, и многие прямо роптали на Власова. Он старался, сколько мог, помогать

горю черноморцев; всю боевую добычу — а в ней попадались ценные вещи, богатая домашняя утварь, шелковые одежды из турецких материй, дорогое оружие, богатая конская сбруя, щегольские костюмы горцев, панцири, превосходные скакуны, крупный рогатый скот и рабочие быки — он отдавал казакам на поправку хозяйства, для поддержания осиротевших семей. Но все это не могло загладить тяжести войны и успокоить недовольных. Между тем, именно этими-то обстоятельствами и могли пользоваться враги Власова для его обвинений: черноморские казаки могли казаться то закупленными добычей, то недовольными, и следователю, недостаточно знакомому с горцами и их отношениями к России, нелегко было узнать истину, намеренно притом для него затемняемую.

В таком именно положении был генерал-адъютант Стрекалов. И нет потому ничего удивительного, что он обвинил Власова в нарушении мирных сношений с натухайцами, пополнил на счет его все убытки разоренных жителей, приказал отобрать у казаков захваченную добычу — и в этом смысле донес императору.

“С крайним неудовольствием усмотрел я,— писал государь Ермолову,— противозаконные действия генерала Власова, превышающие еще степень первоначальных обвинений, дошедших до меня. Ясно видно из донесений генерал-адъютанта Стрекалова, что не только одно лишь презрительное желание приобресть для себя и подчиненных знаки военных отличий легкими трудами при разорении жилищ несчастных жертв, но непростительное тщеславие и постыднейшие виды корысти служили им основанием”...

Власова повелено было отрешить от командования Черноморским войском и предать военному суду при войске Донском. Самому Ермолову поставлено было на вид, что сведения о действиях Власова пошли до государя прежде, чем до него, и потому Власов воспользовался наградой за то же самое дело, за которое теперь предается суду.

Враги Власова торжествовали. Ликовали и горцы.

Между тем, дальнейшее течение дел в Черномории складывалось так, что обвинение Власова казалось правдоподобным и естественным. Одновременно с тем как Ермоловым (двенадцатого июня 1826 года), под давлением из Петербурга, было предписано черноморским казакам не переходить за Кубань и ограничиться исключительно бдительной охраной границ,— и черкесы совершенно прекратили свои нападения. Назначенный на место Власова и с теми же правами донской генерал Сысоев нашел полное спокойствие на Черноморской линии. Началась персидская война, Черномория была ослаблена посылкой от себя в действующую армию двух конных и одного пешего полка, но и это не вызвало черкесов на враждебные действия. Такой же мирной и спокойной принял Черноморию по отъезде Сысоева на Дон в конце 1827 года новый атаман полковник Бескровный, назначенный вместо умершего в том же году Матвеева. Казалось, в личности Власова лежали все причины военных тревог на берегах Кубани.

В действительности дело объяснялось совершенно иначе. Еще в исходе 1825 года в Анапу съезжалось человек до четырехсот черкесов, вызванных новым пашой для объяснений по пограничным делам с Россией. Черкесы стояли станом возле крепости и то и дело сходились на совещания между собой. Результатом было то, что вызванные к ответу, они сами спрашивали пашу, должны ли они почитать себя подданными Турции. И на утвердительный ответ потребовали, чтобы султан вознаградил за все убытки, которые они понесли с тех пор, как русские стали на Кубани. А эти убытки были не малые: черкесы показывали, что они потеряли за последние двадцать пять лет двадцать пять тысяч человек убитыми и пленными, пятьдесят тысяч лошадей, шестьдесят тысяч рогатого скота

и сто тысяч овец. После бесполезных переговоров одиннадцать человек из этих черкесов отправились морем к трапезундскому паше с той же просьбой, в то время как остальные разъехались по домам. Из Трапезунда депутация ездила в Константинополь к султану, но султан ее не принял и отправил обратно в Трапезунд, поручив разобрать их дело тамошнему паше. Паша и нашел, что черкесы сами виноваты в пограничных недоразумениях на Кубани. Такой исход дела поразил впечатлительных горцев. Не рассчитывая уже на помощь турок, недовольные анапским пашой, они собрались на совещания и должны были почувствовать свое бессилие перед гнетущими их обстоятельствами. Враждебные отношения к русским стали для них тягостны. Абадзехские старшины первые заявили, что будут жить с черноморцами мирно, если черноморцы перестанут ходить на их сторону для враждебных действий. Казакам, как сказано, и было воспрещено переходить на левый берег Кубани, в то время как анапский паша, со своей стороны, воспретил горцам переходить на правый. Между тем Турция, встревоженная таким настроением умов в Черкесии, принимала все меры к действительному подчинению себе горцев. Разосланные ею чиновники, заптии и муллы ездили по всем горам, приводили народ к присяге султану, брали от него аманатов и собирали подать, которая шла на содержание анапского гарнизона. Тут оказалось, что большая часть черкесов не хотела признать над собою турецкого владычества и явно или тайно старалась от него уклониться. Шапсуги даже вовсе не пустили в свои земли сборщиков податей, и когда те хотели ворваться силой — произошла схватка; двое турецких заптиев были убиты, а остальные выгнаны. На новые требования они отвечали, что скорее покорятся России, чем будут данниками турок. Таким образом, шапсуги стали во враждебные отношения и к Турции.

Вот эти-то обстоятельства, совпавшие с интригами де Скасси против Власова, и были настоящей причиной временного спокойствия на Черноморской линии. Горцам ничего не оставалось более, как до выяснения своих дел сидеть смирно, и они сидели смирно до 1828 года, вплоть до турецкой войны, когда их набеги приобретают снова поражающе кровавый характер.

Но эти обстоятельства не были ни достаточно известны, ни понятны в России, не говоря уже о стараниях извратить действительный смысл событий. Вот как изложены, например, эти последние в одном из рапортов к Паскевичу в апреле 1827 года. Писал коллежский асессор Кодинц, заменивший собою до Скасси.

“В июне 1826 года для управления Анапской крепостью был прислан трапензундский паша Чечен-оглы. Он принялся приводить все горские народы к присяге на подданство султану, что имело крайне невыгодное влияние на наши сближения с закубанцами. В настоящее время хотя они не оказывают никаких неприязненных действий, но видимо от нас удаляются, прилепляясь к Турции.

Главнейшей и единственной причиной сей готовности горцев вступить в турецкое подданство было командование кубанской границей генерала Власова. Следуя какой-то разрушительной системе, основанной, быть может, на видах корыстолюбивых, он вскоре по вступлении своем в управление черноморским войском первый нарушил спокойствие, бывшее на границе со времени заключения мира с закубанцами. Действия свои он начал внезапными переправами через Кубань в земли черкесов, где он вырубал леса, жег поля и истреблял аулы. Сделанное им несправедливое нападение в марте 1823 года на аулы бжедугов и других племен, преданных России, произвело величайшее смятение в горах. Черкесы, воспламенившись местью, отплатили нам сожжением Круглолесской, случившимся в мае того же 1823 года, следовательно, в скором времени после экспедиции Власова, которому и должно приписать гибель сей многолюдной и богатой деревни”.

Так пишет Кодинц, умышленно забывая и все предшествовавшие обстоятельства, вызвавшие самое назначение Власова, и даже Калаусскую битву, совершившуюся в русских, а не в черкесских пределах.

“Со времени отчисления Власова,— говорится далее в том же рапорте,— граница наша пользуется ненарушимым спокойствием, что служит неоспоримым доказательством, что с черкесами всегда легко жить в мире, подавая им пример правосудия и верности в сохранении с ними договоров”. Кодинц рассказывает при этом, что в 1824 году шапсуги, более других склонные к мщению, приходили в натухайское селение Пшад, чтобы расхитить имущество русских промышленников, основавших там торговые заведения, но были отражены верными нам жителями, в особенности князем Индар-оглы, который, защищая их, подвергался вместе со своими сыновьями явной опасности.

“Миссия наша, занимающаяся мирными сношениями с черкесами,— пишет в заключение Кодинц,— сделала гораздо прежде турецкого правительства самые счастливые успехи в сближении с нами сих полудиких людей. Русские промышленники в продолжение многих лет приставали без малейшей опасности к разным местам на берегах Черного моря, и в последние четыре года до тридцати судов наших находились в портах их, как бы в отечественных, без всяких способов к защите, производя мену с жителями с полной свободой.

К сожалению, беспрерывные затруднения, встречаемые миссией со стороны командовавших черноморской границей, их совершенно противный образ действий и самое старание унизить власть и способы миссии в глазах черкесов, отнимают у нас возможность достигнуть цели с ожидаемым успехом.

Все это мы испытали во время командования Власова, но и преемник его, генерал Сысоев, к истинному сожалению, не более нам благоприятствует, ибо не только мы, но и сами черкесы известны о стараниях его к оправданию обвиненного во всем Власова. Многие действия его прямо клонятся к тому, чтобы завладеть правами нашей миссии и присвоить себе вместо нас управление сношениями с черкесами”.

Таков этот любопытный документ. Понятно, что когда такие воззрения получили преобладание, Власов ничего не мог ждать для себя хорошего.

С грустью в сердце, оскорбленный, удалился тот, чье имя еще грозою носилось по горам, от мест своих подвигов на берега Тихого Дона, в скромный родной уголок, и три с половиной года провел там в ожидании решения суда. Судьба не решилась быть, однако, несправедливой по отношению к нему до конца. Сами события на Кубани, опять полные тревог и крови, должны были вновь убедить в фантастичности мирных проектов лиц, подобных де Скасси и Кодинцу, а вместе с тем и действия Власова должны были предстать в ином свете. Суд дал ему полнейшее оправдание.

Император Николай, с его безупречной рыцарской честью, поспешил загладить невольную несправедливость, оказанную доблестному воину, и тогда же торжественно выразил Власову свое доверие и милость, поручив ему управление войском Донским на время отсутствия наказного атамана Кутейникова. Прошло еще несколько месяцев, и Власов был вызван в действующую армию походным атаманом Донских казачьих полков.

В этом звании он совершил польскую войну 1831 года и седьмого февраля в известном сражении при Вавре лично водил своих казаков в атаку на польскую конницу. Старик, уже покрытый сединами, он с юношеским пылом врубился в середину польских улан и

был тяжко изранен. Восемь сабельных ран по лицу и по голове, раздробленная челюсть и грудь, пробитая двумя ударами пик,— служили неопровержимым доказательством его участия в рукопашной свалке. Замертво вынесли Власова из боя. Но он лечился недолго, и в апреле снова был на коне. Осыпанный милостями государя и произведенный в генерал-лейтенанты, он оставался в Варшаве и после войны походным атаманом, пользуясь особым расположением фельдмаршала Паскевича, имевшего случай ближе оценить деятельность Власова во время своих походов на шапсугов и абадзехов.

А между тем на Дону приготовлялись события, долженствовавшие составить эпоху в жизни донского казачества. Уже много лет особый комитет, под председательством военного министра графа Чернышева, работал над составлением войскового положения, которое, подтверждая донцам неприкосновенность прав и привилегий, пожалованных им прежними венценосцами России, вместе с тем упрочивало бы дальнейшее благосостояние Дона. До этих пор войско не имело правильной организации, управляясь отчасти устарелым войсковым положением 1775 года, отчасти общими законами империи, а более всего преданиями о древних казачьих обычаях.

В 1835 году новое положение было готово. Но, чтобы ввести его, требовался человек, который сумел бы устранить все превратные толки, неизбежные при каждом нововведении, удержать порядок и истолковать казакам истинное значение и благо этого положения.

Выбор государя остановился на Власове.

Вызванный в Петербург, он принят был государем в кабинете и встречен следующими милостивыми словами:

— Я боялся за тебя! — сказал ему государь.— Теперь снега, морозы, дорога тяжелая, а твои раны еще тяжелее! Я хочу дать тебе новое назначение. Знаю, что ты любишь меня, а потому не откажешься от новых трудов. Я назначаю тебя наказным атаманом на Дон вместо Кутейникова. Кутейников стар, удручен недугами и не в силах поднять новое бремя при введении моего положения.

Послужи мне еще, Михаил Григорьевич! — продолжал государь.— Знаю, что ты страдаешь от ран, но эти раны так почетны, так славны, что жаль бы было запрятать их в какую-нибудь глушь. Пусть они будут на виду всего Дона и служат для его молодежи примером, как служили отечеству старые его слуги. Пусть в тебе будет живой пример, что и такие раны не прекращают деятельности в подобных тебе богатырях.

В другой раз государь сказал ему:

— Я прошу тебя обратить особое внимание на соблюдение породы донских лошадей. Казак и конь его — наши центавры. Конь — это душа казака. Я боюсь, что, пренебрегая этим важным предметом, у меня — чего смотри — и казаков не будет! Позаботься же всячески сохранить породу донских лошадей. Надобно заимствовать эту породу от горских и от киргизских. С одной стороны — горы, с другой — степи. Это хорошее ручательство к тому, чтобы казаки имели отличных лошадей.

Другой вопрос, заботивший государя, это — разнокалиберность казацкого оружия. Но Власов ответил, что у казаков именно не должно требовать строгого единства в вооружении уже потому, что в большинстве случаев сын и внук служат с отцовским или с дедовским оружием, что это дает казакам особый, только им свойственный характер, а

отцовское ружье и дедовская сабля воспламеняют дух молодежи к подражанию им на поле брани.

Государь согласился.

Чернышев, со своей стороны, принял Власова, как старого сослуживца, товарища дел под Берлином, Гильберштадтом, Касселем и Суассоном. В разговоре он сказал ему между прочим: “Помни, Михаил Григорьевич, что государь прежде всего требует от казаков — казачьего духа; изгони с Дона подьячество; на сцене донской должна быть пика, а не перо. Он всегда недоволен, когда ему докладывают какую-нибудь донскую бумагу: в ней непременно все пахнет крючкодейством, подьяческими увертками. Государь то и дело говорит; “Пропал Дон, запишут его и замарают чернилами”. Он недоволен даже, когда слышит, что среди казаков исчезают патриархальные обычаи, и говорит, что это-то именно и погубит казачество”.

Говорил Чернышев с Власовым также и о донских лошадях.

— В последний турецкий поход,— заметил он между прочим,— у казаков были уже не те *землееды,* каких мы видели у них в Отечественную войну.

В прощальной аудиенции государь спросил Власова, хорошо ли он понял предстоящую ему задачу в войске, и на утвердительный ответ прибавил следующие памятные слова:

— Озаботься дать казакам прежний воинственный дух, который теперь вовсе утрачен. Скажи архиерею, чтобы он внушал всем своим ораторам учить с кафедры тому, чем отличались в. старину деды и отцы нынешних казаков. Целью — кроме благочестия — должно быть самоотвержение на пользу престола и молодечество казачье. Об этом надобно внушать и всем учителям в народных училищах — они первые проводники электричества народности. Старайся, чтобы все управления, все власти и лица, владеющие началом, обходились с казаками в духе древней простоты, с уважением к летам. Надобно, чтобы патриархальность была главной чертой всех стремлений донского начальства.

Так израненный шестидесятивосьмилетний воин, не рассчитывавший уже ни на какие служебные повышения, сделался начальником воинственного края. Велики были труды и заслуги его на родном Дону и долго будет жить в казацком народе благодарная о нем память.

Двенадцать лет атаманствовал Власов; ни силы, ни энергия не изменяли доблестному старцу, закаленному в боях. Смерть постигла его неожиданно. Объезжая в 1848 году станицы, Власов был поражен сильнейшими припадками холеры и в полдень двадцать первого июня испустил последний вздох в станице Усть-Медвединской.

Последними словами набожного старца была молитва: “Заутра услыши глас мой, царю мой и Боже мой!”

Усть-Медвединская станица, заброшенная в глушь, за четыреста верст от главного города донской земли, не имеет никаких памятников древности, но в ограде станичного храма путешественнику укажут могилу последнего атамана-донца — Михаила Григорьевича Власова. Колонна черного гранита, увенчанная крестом, указывает место его успокоения. “Но добрые дела,— говорит о нем один из его биографов,— сами себе творят несокрушимые памятники”. И долго над могилой усопшего слышалось панихидное пение,

то и дело навещавших ос старых соратников атамана. На памятнике начертана эпитафия, служащая как бы ответом на его последнее предсмертное слово.

Заутра услышит глас твой Господь,
Понеже молился Ему с упованьем,
Понеже стремился к Нему ты мечтаньем
И чувствами сердца, и сердца желаньем.
Воздаст тебе Бог на небе сторицей
За добрую душу твою,
За то, что делил ты с убогим, с вдовицей
Последнюю лепту свою.
За то, что страдальцам ты был утешеньем,
Их верный помощник, защитник, отец,
И следуя твердо стезею спасенья.
Стяжал ты нетленный небесный венец.

XXXVIII. ЗАКАВКАЗЬЕ ПРИ ЕРМОЛОВЕ И ВЕЛЬЯМИНОВЕ

Генерал Ртищев, непосредственный предместник Ермолова, оставляя Закавказский край и желая обрисовать в общих чертах результаты своего управления им, между прочим писал императору Александру: “Приняв край здешний в бедственном положении, обуреваемый внутренними возмущениями, разлившимися по всем частям Грузии, теснимый напором многочисленных войск двух сильных держав, Персии и Турции, разоряемый вторжениями в Кахетию значительных дагестанских сил для восстановления в Грузии царем беглого царевича Александра, край, истребляемый смертоносной язвой и доведенный до последней крайности чрезвычайным голодом, я оставляю теперь оный в самом цветущем состоянии, наслаждающимся внутри совершенным спокойствием, изобилием и ничем не нарушаемым благоденствием, а извне — безопасностью от соседей”.

Так могло представляться дело маститому генералу, принявшему от маркиза Паулуччи сложное и запутанное положение дел в крае и, несмотря на слабую политику, оставившего его, благодаря деятельности нескольких талантливых личностей цициановской школы, в сравнительно спокойном состоянии. Но действительность далеко не оправдывала оптимистического воззрения Ртищева, и Ермолов, при первом же знакомстве с делами края, несколько иначе взглянул на положение его.

“С полуденной стороны Кавказа,— говорит он,— наиболее беспокойств делали нам дагестанские народы нападениями на Кубу — и часто значительными силами. Кахетию разоряли многолюдные толпы спускавшихся с гор лезгин, в Картли впадали соседние с ней осетины и те же лезгины, которых содержал у себя ахалцыхский паша. В некоторых местностях на персидской границе нередко производились грабежи,— и причиною их был не один недостаток средств правительства держать в повиновении кочующие народы, но и алчность персидских чиновников, с которыми разбойники делились добычею. Со стороны Черного моря — Гурию беспокоили аджары и кабулеты, на Абхазию нападали убыхи”.

Этой характеристикой намечались главнейшие военные задачи, естественно вытекавшие для Ермолова из самого положения дел. Весь Закавказский край сам по себе, не исключая татарских ханств, в противоположность воинственным странам северного склона Кавказа, был уже под сильной рукой России, на пути мирного развития, прерываемого лишь временными и местными волнениями, и деятельность там Ермолова, как уже сказано в общей характеристике ее, должна была главнейшим образом заключаться в мирном закреплении русского владычества. Но со всех сторон грозили Закавказью непримиримые

враги, которые пользовались каждым удобным моментом волновать его население и всеми способами вредить русскому владычеству. Ермолову, человеку радикальных мер и неуклонной, неуступчивой политики, предстояло создать целую систему охраны страны.

Такое совпадение мирных и военных целей создавало в управлении краем особенные трудности. Ермолов нуждался в многосторонних помощниках, которые соединяли бы в себе политическую мудрость с военным талантом, равно необходимыми в стране, где меч без плуга и плуг без меча были явлениями несообразными. Судьба благоприятствовала Ермолову и в этом отношении; с тактом замечательного человека, умеющего выбирать людей, он остановил свой взгляд на человеке именно таком, какой ему был нужен, который стал его правой рукой и замечательным деятелем, оставившим глубокие следы в жизни Закавказья. Это был генерал-лейтенант Иван Алексеевич Вельяминов, старший из двух братьев, равно отличавшихся умом, образованием и военными дарованиями.

Сначала Ермолов возлагал свои надежды на генерала Александра Петровича Кутузова, друга и сотоварища прежних лет. Это был тот храбрый Кутузов, израненный в боях (он имел три раны: две пулями, полученные под Аустерлицем и Фридландом, и одну осколком гранаты — под Люценом), который в Бородинском бою, со своим Измайловским полком, выдержал бурный натиск двух французских кавалерийских корпусов, Нансути и Латур-Мобура, и — один из всех штаб-офицеров полка — вышел не раненым; впоследствии он командовал гренадерской бригадой. Отправляясь на Кавказ в 1816 году, Ермолов, “знавший его отличные способности”, пригласил его с собою в Грузию начальником двадцатой пехотной дивизии и предполагал соединить в его руках и военное и гражданское управление всем Закавказьем. Но на возвратном пути из Персии, между Тавризом и Нахичеванью, он получил известие об утрате этого замечательного человека.

Известие это глубоко поразило Ермолова. “Подъезжая к лагерю,— говорит он в своем дневнике,— я увидел присланного из Грузии офицера; доселе с бумагами присылаемы были татары, и предчувствие, что я должен узнать неприятное известие, меня не обмануло. Офицер привез донесение о смерти Кутузова, которому в отсутствие мое я поручил начальствование Грузией. В нем я потерял верного друга, наилучшего помощника по службе, товарища, с которым вместе сделал я все последние кампании против французов. Я был в отчаянии, ибо хорошо знал, что Кутузова заменить нелегко”.

Действительно, нелегко было заменить Кутузова. Но в Вельяминове Ермолов угадал человека, способного его заменить, и Вельяминов как нельзя более оправдал возложенную на него надежду.

Боевую репутацию свою, начавшуюся под Аустерлицем, где он получил Георгиевский крест, Вельяминов, правда, не имел возможности упрочить: Финляндская кампания не представила к тому особенных случаев; между тем, ни в Отечественной войне, ни в заграничных походах ему не довелось принимать серьезного участия, так как на его долю выпали негромкие дела защиты Риги и осады Данцига, а после взятия последнего— командование корпусом в составе резервной армии. Таким образом, предшествовавшая служба его не представляла собой каких-либо ярких, выдающихся фактов. Но в самом характере этого человека лежало несколько таких крупных черт, которые невольно останавливали на нем внимание современников. Был ли он пажом императора Павла, командовал ли в гвардии батальоном семеновцев, водил ли на бой со шведами своих кексгольмских гренадеров, занимался ли мирным обучением полков резервного корпуса или двадцать пятой дивизии, которой командовал с пятнадцатого года,— всегда и везде он оставлял по себе капитальную память, как человек с неуклонной волей и основательным

умом, упорно стремившийся к раз намеченной цели. Обширный ум и твердая воля, конечно, не избавляли его от странностей и от недостатков, но и самые его недостатки были симпатичны и замечательны оригинальностью и силой. Так он был известен необузданной расточительностью там, где дело шло о его собственных деньгах. Но тем поразительнее выдавалась его почти суровая скупость по отношению к деньгам казны.

Этому-то человеку и выпало на долю стать лучшим помощником Ермолова. Первого января 1818 года Вельяминов был назначен начальником двадцатой пехотной дивизии и вместе с тем управляющим гражданской частью в Грузии, и с этих пор, в течение девяти лет Ермоловского времени на Кавказе, Вельяминов является одним из крупнейших деятелей, истинным выразителем идей Ермолова, его предначертаний и планов, так что, по выражению одного современника, трудно было доискаться, где начиналась мысль одного и продолжалась другого.

С приездом Вельяминова на Кавказ и начинается ряд крупных предприятий Ермолова, имевших целью оградить безопасность Закавказского края и поставить его в будущем в благоприятные условия широкого гражданского развития.

Верный своей системе, Ермолов и здесь, в Закавказье, видел необходимость создать оплот от внешних вторжений — из ряда пограничных крепостей. Ими достигались, нужно сказать, и цели внутреннего спокойствия. Заграждая персам и туркам путь в страну, они тем самым устраняли и влияние этих постоянных врагов России на жителей ее, на те элементы, которые, по тем или другим побуждениям, желали внешних вторжений и внутренних смут.

И вот для прикрытия и заграждения путей, ведущих к Тифлису, по ходатайству Ермолова разрешено было оставить в Грузии, кроме Тифлисской, две старые крепости в Баку и в Дербенте, и кроме того построить еще семь новых:

1) В Редут-Кале, на берегу Черного моря,— для прикрытия всех боевых и жизненных складов, идущих в Грузию морским путем; 2) в Кутаисе — для удержания спокойствия западной части Закавказья; 3) в Старой Шемахе — для прикрытия Кубанской провинции со стороны Дагестана; 4) в Елизаветполе — для защиты мусульманских провинций от Персии; 5) в Карабаге, при Асландузском броде, на Араксе; 6) в Гумри, на границе с Турцией, и 7) в Гартискаре, на Военно-Грузинской дороге,— для охранения единственного сообщения с Россией через Кавказские горы. Построить последнюю крепость было, по мнению Ермолова, особенно важно, на случай неудач, так как она оставляла русским всегда свободный в Грузию вход, которого отнять не будет уже никакой возможности. Это были главные крепости, но кроме них, меньшие, второразрядные, могли, смотря по обстоятельствам, устраиваться и уничтожаться по усмотрению самого главнокомандующего.

Быть может, еще плодотворнее была мысль Ермолова, с последовательностью проведенная Вельяминовым, об учреждении так называемых штаб-квартир на местах постоянных. Это было нечто вроде основания для солдат полуоседлого, полуказацкого быта, который только один и мог придать непреодолимую крепость русским границам. В этом тревожном азиатском уголке, спокон веков бывшем целью нашествия, ежеминутно можно было ожидать набега и вторжения. Персидский курд и турецкий разбойник, качаг, не ждали объявления войны и являлись при благоприятных для них обстоятельствах внезапной грозой, от которой население имело единственное спасение — в бегстве. Среди уже покоренных татарских племен, отличавшихся наездничеством, могли также найтись охотники совершить кровавое дело, и против них также необходима была угрожающая

сила. И вот Ермолову пришла гениальная мысль поселить полки на постоянных местах, на пунктах, выбор которых оправдывался бы стратегическими соображениями, а при них — образовать роты женатых солдат, которые вели бы, развивали и последовательно улучшали полковое хозяйство, столь важное в походном быту солдат. Невозможно исчислить всех благ, принесенных этим нововведением в жизнь закавказского солдата. Выступая в поход, он оставлял за собою почти родной угол, под присмотром внимательного женского глаза и под крепкой защитой хорошо вооруженного товарища, так как женатые роты обыкновенно в поход не ходили; кончился поход — и он возвращался опять в тот же уголок, домой, где у него завязывались крепкие нравственные связи. А в то же время, на случай войны и всякой тревоги, во всем районе Закавказья, в стране только что подчиненной, на безусловную верность которой рассчитывать было еще трудно, уже имелись готовые опорные пункты, охраняемые этими женатыми ротами, которые были постоянным гарнизоном штаб-квартир и защищали бы их, как родной дом с родной семьей.

В самом начале эти штаб-квартиры были учреждены только в Закавказском крае, так как на линии, в Чечне и в Дагестане строить их было бы еще преждевременно, но и там они возникли впоследствии. Возведение штаб-квартир началось с гренадерской бригады, которая предназначалась собственно для внутренней охраны Грузии,— положение, ставившие полки ее в роль постоянного резерва, выдвигавшегося только в необходимых случаях. Таким образом, в Картли расположились полки: Херсонский гренадерский — в старинном городе Гори; Эриванский (тогда еще седьмой и карабинерный) — сперва в Башкичете, а потом в Ман-глисе, как в пункте наиболее важном по отношению к турецкой границе, и сорок первый егерский — в Белом Ключе, нынешней штаб-квартире Грузинского полка. В Кахетии стояли: артиллерийская рота — в Гамборах, Грузинский гренадерский полк — в Мухровани, Нижегородский драгунский — в Кара-Агаче и ширванцы — в Царских Колодцах. В последнем помещался, впрочем, только один третий батальон полка; первые же два, как вышли с Ермоловым строить Грозную в 1818 году, так и не возвращались домой, находясь двенадцать лет в беспрерывных походах в Черне и Дагестане, в Кабарде и Закубанье, а впоследствии, с Паскевичем,— в Персии и Турции. Затем в стороне Эривани — Тифлисский полк занял селение Большой Караклис, имея женатую роту в Гергерах, по ту сторону Бомбакского хребта, а артиллерийская рота — урочище Джелал-Оглы, на самом месте переправы через речку Каменную; сорок второй егерский полк расположился в Карабаге, близ Шуши, в селении Чинахчи; а полки Дагестанской бригады стали: Куринский — около Дербента и Апшеронский — близ города Кубы, в урочище Кусарах.

И нужно сказать, что все эти штаб-квартиры учреждались и строились самими солдатами; они и лес рубили, и возили его с ближайших гор, и камень ломали, и кирпич делали, и известь приготовляли, и сами же были плотниками, каменщиками и малярами. Вместе с боевыми подвигами кавказский солдат был еще чернорабочим — и созидание громадных построек и целых штаб-квартир обходилось неимоверно дешево. Русский человек, в образе кавказского солдата, был мастер, поистине, на все руки.

Нечего и говорить о том, какое громадное нравственное значение имело за собой такое учреждение, как женатые роты. Вот что записал об этом один из путешественников, придерживаясь слов одной старой солдатки.

“Пообстроились полковые штаб-квартиры,— говорит он,— пообзавелись солдатики разными необходимыми атрибутами оседлой жизни, а все чего-то им недоставало. Скучен и молчалив был народ и оживлялся только во время вражеских нашествий; мало того, госпитали и лазареты были переполнены больными... Думало, думало начальство — как

бы пособить горю. Музыка по плацу по три раза в день играла, качелей везде понастроили — нет, не берет! Ходят солдатики скучные, понасупились, есть не едят, пить не пьют, поисхудали страх как. На счастье, напелся один генерал (Ермолов), большой знаток людей; он и разгадал, чего недостает для солдатушек, и отписал по начальству, что при долговременной, мол, службе на Кавказе, в глуши, в горах да лесах, им необходимы жены. Начальство пособрало в России несколько тысяч вдов с детьми, да молодых девушек (между последними всякие были) — и отправило их морем из Астрахани на Кавказ, а часть переслало и сухим путем на Ставрополь. Так знаете, какую встречу делали? Только что подошли к берегу, где теперь Петровское, как артиллерия из пушек палить стала,— в честь бабы, значит, а солдатики шапки подбрасывали, да “Ура!” кричали. А замуж выходили по жребию, кому какая достанется. Тут уже приказание начальства да Божья планида всем делом заправляли. А чтобы иная попалась другому, да не по сердцу — так нет, что ты! Они, прости Господи, на козах бы переженились, а тут милостивое начальство им настоящих жен дает”...

Так создалась благодаря Ермолову семейная, оседлая жизнь закавказских полков, до значительной степени смягчившая великое зло среди них — тоску по родине, тем более сильную, что новый край для солдат был так отличен от их родных мест не одною природою, а и совершенно чуждым для них населением.

Оградив военную безопасность страны, Ермолов должен был позаботиться и о внутреннем строе ее. История наложила на все ее учреждения азиатский характер беспорядочности и личного произвола, определяемого сословными основаниями. Среди христианского населения князья и дворяне, в татарских землях и дистанциях ханы, беки и агалары в церковных делах — могущественные епископы из княжеских родов — заменяли своей волей право и справедливость. Предместники Ермолова, занятые более внешними войнами, нежели вопросами внутренней политики, оставляли укоренившиеся обычаи общественной жизни без перемены. Но Ермолову довелось нарушить этот вековой порядок, причем реформы в татарских дистанциях и в церковных делах не обошлись без волнения. Но в коренной Грузии урегулировать сословные отношения Ермолову удалось спокойно, хотя и не без некоторого сопротивления. “Здесь,— говорит он,— дворянство весьма многочисленно, князей же по крайней мере столько, сколько графов в Польше, а также ни те, ни другие прав своих на сии преимущества доказывать не желают”...

Ермолов настоял, однако, на учреждении депутатского собрания и с помощью его имел возможность положить начало образованию сплоченного и доказавшего свои права дворянства, владеющего известными сословными привилегиями, но уже и несущего перед правительством известные обязанности. “Отделяю я,— говорит он в своих записках,— всякое преимущество князей над дворянами, а между самими князьями не поставляю никакого различия; чины и награды даются редко, ибо даются достойным; повиновения требую безусловного”.

Но среди этих полумирных, полувоенных забот перед Ермоловым вставали одно за другим явления смут и волнений во вверенном ему крае, требовавшие всей его энергии. Длинной перспективой расположились они в длинном ряду лет, посвященных им работе на благоденствие новой русской страны, составив собою крупнейшие факты истории Закавказья Ермоловской эпохи.

XXXIX. КАХЕТИЯ И КАРТЛИ

С тех пор как грузинский народ, утомленный тысячелетней мученической ролью в истории Востока, был отдан царем Ираклием под покровительство единоверного великого

царства, для Грузии настала наконец возможность мирных времен. Но исторические судьбы народов не изменяются сразу. Над полями Грузии еще носились кровавые тени шаха Аббаса и аги-Мохаммед-хана, еще не заросли быльем могильные холмы на тех местах, где гибли за родину доблестные силы древнего царства. И, несмотря на грозную русскую силу, по самых Ермоловских времен на стране все еще отзывалась вековая старина нападениями вековых врагов ее. Картли и Кахетия, составлявшие ядро древнего Грузинского царства, страдали всего более от этих нападений. В то время турецкие земли вдавались в русское Закавказье, с юго-западной его стороны, почти прямым углом, в вершине которого лежали крепости Ахалцых и Ахалкалаки, и беспокойные турецкие племена разбойничали оттуда по русским границам от Черного моря и до татарских провинций — в Гурии, Мингрелии, Имеретии и преимущественно в Картли. С севера нападали на ту же Картли осетины. На северо-востоке Кахетии жили джаро-белоканские лезгины, которые, соединяясь со своими единоплеменниками Дагестана, время от времени воодушевлялись вековыми привычками разбойничьего быта. Набеги всех этих племен теперь были, конечно, лишь постепенно слабевшими отзвуками некогда грозных нашествий, но все же они нарушали мирное течение жизни и беспокоили христианское население края, терявшее мало-помалу все обычаи и вкусы воинственных времен.

Ермолов горячо взялся за дело, чтобы по возможности защитить население от подобных случайностей разбойничьих набегов, и прежде всего он остановил свое внимание на турецких границах. Нужно сказать, что гнездом разбоя служила турецкая крепость Ахалцых, где поселились многие семьи лезгин, этих своевольных, необузданных выходцев гор, не хотевших слушаться и ахалцыхского паши. Да и не очень настаивал на послушании паша, когда дело касалось нападения на русские границы. И грабежи и разбои достигли до того, что мелкие партии турок и лезгин доходили до самых окрестностей Тифлиса, а иногда пытались даже нападать и на войска.

Летом 1818 года был, например, такой случай, что хищники неожиданно бросились на лагерь Донского, майора Балабина, полка и, пользуясь поднявшейся там суматохой, отбили девять казачьих лошадей.

Ермолов, как и везде, потребовал здесь прежде всего более внимательной пограничной службы, и приказ его по поводу нападения на лагерь Балабина чрезвычайно характерен именно в этом смысле.

“Одна деятельность и неусыпное старание начальствующего донскими казаками генерал-майора Сысоева,— объявлял он в этом приказе,— могла удержать их (казаков) в некотором порядке, но лишь отозвал я его из Грузии к другому назначению, как не узнаю казаков, и у самых хищников, известных трусостью, впали они в неуважение и терпят от них поносные поругания. Не было еще примера, чтобы когда-либо хищники сделали нападение на лагерь, сколько бы мало людей в нем ни находилось. Не всегда можно преследовать хищников с малым числом людей, но довольно нескольким человекам показать намерение защищаться, чтобы не смели они сделать нападение. Майора Балабина я потому не удостаиваю наказания, что уже нет большего, как быть пренебреженну хищниками, и мне остается только остеречь его, чтобы и самого его когда-нибудь не утащили”.

Борьбе с хищниками мешали и здесь, как на Кубанской и Черноморской линиях, европейски щепетильное отношение к неприкосновенности турецких границ и постоянная дипломатическая боязнь недоразумений с Турцией. Ермолов положил конец этой неприменимой в Азии политике, а от министерства иностранных дел прямо потребовал вмешательства и представлений высшему турецкому правительству, чтобы оно наложило

узду на пограничных с Россией пашей. Вот что писал он, между прочим, графу Нессельроде, министру иностранных дел:

“С самого моего прибытия в здешний край удерживаю я справедливое мщение жителей и не должен скрыть, что далее удерживать его не в состоянии, ибо безуспешны внушения мои простому народу. Сколь много чести делает ему священное хранение обязанностей дружбы, когда понятие о чести сей свыше понимания простолюдина и когда скорбящее сердце его о потере отца, жены или детей, убитых или увлеченных в плен, о разрушенном благосостоянии, о вырванном последнем куске пищи, гораздо вразумительнее толкуют о необходимости мщения! Грозить народу, что оскорбление Порты может навлечь невыгодные последствия, непристойно, и здесь каждый весьма хорошо разумеет, что, смиряя хищников во времена царей грузинских, не менее имеют они для того средств, будучи подданными императора русского.

Уверяю, ваше сиятельство, что, не вызывая негодования Порты, я самими жителями смирю сих гнусных разбойников и что сие гораздо легче сделать, нежели во мнении собственных жителей допустить далее мысль о бессилии нашем или, паче, боязни. В прошедшем году, в отсутствие мое в Персию, владелец Гурии нападением на партию турок предупредил вторжение их в наши границы, и они не произнесли слова жалобы. Здесь нельзя руководствоваться одними правилами, как в Европе”.

Энергичная политика Ермолова, его настоятельные требования и угрозы не остались бесследны и значительно обезопасили русские границы со стороны Турции.

На севере, внутри русских владений, в делах с осетинами явились также неожиданные усложнения. Дело в том, что осетины пользовались особым покровительство экзарха Грузии, преосвященного Феофилакта, с замечательной энергией проводившего дело распространения христианства среди кавказских горцев, и особенно между осетинами. Он учредил даже особую осетинскую духовную комиссию, продолжавшую существовать и действовать долго после него, до самых последних времен, когда учреждение это поступило в ведение общества восстановления христианства на Кавказе.

Осетины охотно принимали христианскую веру, что, однако, не мешало им по-прежнему предаваться грабежам в соседней Картли, а всякая попытка наказать их оружием вызывала протесты экзарха, опасавшегося за судьбы христианства между ними, и приводила к неприятным столкновениям светской и духовной власти. Новые христиане пользовались выгодами своего положения для того, чтобы с большей смелостью совершать свои набеги, и в конце концов заставили, в 1821 году, предпринять против них небольшую экспедицию. Окружной начальник в городе Гори, майор Титов, вошел в землю осетин и подверг разорению некоторые более виновные в набегах селения, отобрав от них и угнанный скот. Но не успел он возвратиться назад, как осетинское духовенство засыпало экзарха жалобами. Писали, будто бы войска не только разоряли новых христиан, но и предавались всевозможным буйствам, насиловали женщин и не щадили никого и что народ прибегает к покровительству Феофилакта, как их духовного пастыря. Феофилакт обратился к Вельяминову с резкими упреками.

Вельяминов отвечал, что “осетины, как до принятия христианства, так и после оного, не перестают делать грабежи и набеги. Их усмирили оружием. Но разорение их вовсе не так велико, как сообщает осетинское духовенство. Из похищенного ими скота не возвращена и половина, так как они успели угнать его в горы. В пятнадцати селениях, пройденных Титовым, сожжено всего двадцать семь домов, и то единственно потому, что разбойники, засев в них, стреляли по солдатам: мера необходимая, не только позволенная военными

законами, но, можно сказать, даже повелеваемая. В насиловании женщин в ночное время можно усомниться, потому что команда в двести человек столь слаба, что более должна была заботиться о спасении себя, чем предаваться неистовствам насилия”. И действительно, положение майора Титова было очень опасно, так как осетины в числе нескольких тысяч, стали окружать его отряд.

Строгость и неуступчивость Ермоловской политики и здесь оказали свое действие: осетины стали осторожнее.

Нападения со стороны Осетии носили, впрочем, характер простых внутренних беспокойств, разбоев, против которых нужны были почти только полицейские меры. Но этого нельзя было сказать о буйствах лезгин на северо-восточных границах Кахетии. Их враждебные действия, тревоги, вносимые ими, были совершенно сходны с теми, которые составляли великое зло на Кавказской линии.

С ранней весны, когда листва начинала одевать деревья, и вплоть до ноября, когда она опадала, лезгины рыскали по полям Кахетии. Они проползали между постами, обходили деревни, где замечали осторожность, прятались по лесам и оттуда совершали свои воровские набеги, нередко на отдаленные от границ поселения. Уследить за этими мелкими шайками, просачивавшимися, как вода через плотину, не могли никакие кордоны; шайки эти жили по нескольку дней внутри самой страны, скрывались в кустарниках и котлованах, иногда взбирались на деревья и оттуда высматривали и выжидали добычу. А между тем защита обширной Кахетинской провинции лежала только на двух полках, из которых Нижегородский драгунский стоял в Кара-Агаче, а Грузинский гренадерский занимал Мухровань,— и лезгинские шайки всегда могли найти пути неохраняемые и селения незащищенные, где они отнимали скот, забирали имущество и пленных. Преследование их почти всегда стоило жизни последним, так как лезгины зверски перерезывали их и бросали на дороге, если не видели возможности увезти с собою за Алазань.

До какой степени простирались ненависть к русским и дерзость лезгин, можно видеть из следующего случая, оставившего такое тяжелое впечатление, что он сохранился не только в официальных документах, но и долго жил в рассказах старых нижегородских драгун. В 1818 году, четырнадцатого апреля, часов в девять вечера, один лезгинец, с кинжалом на поясе, смело пробрался через цепь, стоявшую вокруг селения Кара-Агач, достиг штаб-квартиры и вбежал в первый попавшийся ему на глаза дом. Это была швальня одного эскадрона. Там пять человек драгун спали и двое работали при свете поставца. Прежде чем те успели всмотреться в пришедшего, лезгин бросился на спящих и двум из них нанес тяжелые раны кинжалом. Работавшие драгуны бросились на него с голыми руками; он ранил их обоих, и, наконец, уже был заколот остальными проснувшимися драгунами, успевшими схватить свои ружья. Все четверо раненых в тот же день умерли. Что за причина привела лезгина на верную смерть — осталось неизвестным.

Хроника кровавых происшествий в Кахетии была велика. Не далее как в том же 1818 году, третьего июля, шайка в пятьсот конных лезгин спустилась с гор на деревни Алматы и Сабуэ. Местные караулы из жителей стояли, однако, исправно на своих местах, и лезгинам не посчастливилось. Принятые ружейным огнем и оставив до тридцати человек убитыми на месте, они должны были уйти. Кахетинцы потеряли только шесть человек, но, к общему сожалению, в числе их были два храбрые князя Джарджидзевы — один из них был убит наповал, другой тяжко изранен.

Лезгины, конечно, не помирились с такой неудачей, и седьмого июля набег повторился. В этот день на те же деревни нагрянула тысячная партия и тотчас отрезала сабуйских жителей от воды. Нет никакого сомнения, что на этот раз лезгины уничтожили бы деревни, если бы не подоспела русская помощь. С одной стороны подошел грузинский батальон, с князем Алхазовым, с другой — прискакал полковник Климовский с нижегородскими драгунами, и лезгины быстро отступили, спасаясь, в свою очередь, от грозившего им уже неизбежного поражения.

Двукратная неудача могла, конечно, только озлобить лезгин, и жителям Сабуэ нужно было ожидать нового нападения. Действительно, в ночь на третье января 1821 года огромная шайка снова нагрянула на деревню. В деревне на этот раз была расположена команда грузинских гренадер, под начальством поручика Кошелева. Грузины смело встретили неприятеля рукопашной схваткой, сам Кошелев был ранен кинжалом в шею, но, несмотря на геройскую защиту гренадер, успевших отстоять селение от конечной гибели, хищники все-таки сожгли семь домов, двенадцать человек убили, пятерых ранили и двадцать трех грузин увели в плен. В нападении участвовали лезгины из Нагорного дагестана в числе восьмисот человек, по преимуществу дидойцев. Вельяминов, узнав об этом, распорядился заключить аманатов их в крепость и заковать в железо. Дидойцы просили им пощады, обещая прекратить нападения, и, действительно, в течение года оставались спокойными.

Таково было обычное состояние края. Но настал 1822 год — и обстоятельства изменились к худшему. В горах носился слух о разрыве России с Турцией, и общее волнение разлилось по Кавказу. Возмутились вместе с другими и джарцы. Тогда начальник войск в Кахетии генерал-майор князь Эристов увидел необходимость репрессалий. Он собрал отряд в три тысячи человек — все, что только было в Кахетии, и, переправясь через Алазань, двадцать третьего февраля 1822 года прибыл к закатальским хуторам Танач. Закатальцы вышли к нему навстречу с изъявлениями покорности, но коноводы движения и все недовольные бежали в селение Катехи и там решились защищаться, говоря, что они не нуждаются в великодушии и помиловании русских и что в ущелье их никто показаться не осмелится. Пример катехцев мог упасть искрой на порох и вызвать общий взрыв, увлечь всех недовольных и беспокойных людей, как в стране заалазанских лезгин, так и в Дагестане.

Эристову необходимо было наказать их именно в том месте, где они считали себя безопасными. Немедленно три батальона грузинских гренадер, команды от полков Ширванского и сорок первого егерского и дивизион нижегородских драгун двинулись к Катехам. Их встретили ружейным огнем из завалов, устроенных впереди селения. Эристов выдвинул вперед пушки, и под их прикрытием первый батальон грузинских гренадер, с командиром полка полковником Ермоловым во главе, пошел на приступ; рота, рассыпанная в стрелки, охватила завалы с флангов, три роты ударили с фронта. Подполковник граф Симонич тотчас же овладел завалами и, преследуя неприятеля, на плечах его ворвался в Катехи, заплатив за эту победу и собственной кровью: он был ранен в левую ногу.

Джарцы и катехцы смирились. Но не прочны были всегда их обещания мира, и против набегов их в будущем на линии поддерживались еще с большей тщательностью и старые меры предосторожности, и применялись новые. По-прежнему батальон Грузинского полка, выходивший из Мухровани, располагался на квартирах по деревням, занимая все важнейшие пункты на Алазани и служа постоянным резервом для обывательских караулов, самые же караулы были усилены и передвинуты ближе к Катехам. Нужно сказать, что около этого селения и поныне видны еще развалины старинной каменной

стены, простиравшейся когда-то, по преданиям, от Сабуэ до самой Нухи и целые века служившей оплотом Кахетии против хищнических вторжений. Теперь вспомнили снова об этом грандиозном, но отжившем свой век сооружении, и, как в старинные годы, под его защитой расположились грузинские караулы.

На некоторое время на Алазанской линии водворилось относительное спокойствие. И в то время как на Северном Кавказе раздавались беспрерывные громы войны, войска, расположенные в Кахетии, пользовались отдыхом после многолетней беспрерывной брани, изредка принимая участие лишь в небольших стычках с мелкими разбойничьими шайками.

Разбои, конечно, и не могли совершенно прекратиться в этой беспокойной стране. Так, например, в том же 1822 году, двадцать пятого мая, партия лезгин человек в пятьдесят напала на десять артиллерийских солдат, ночевавших на Алазани, у брода Урдо, и успела изрубить троих, в то время как остальные спаслись бегством, пользуясь темнотой ночи. Несколько раз небольшие шайки лезгин прокрадывались к пограничным грузинским селениям, но все это были обычные случаи, в которых жители сами умели справиться с врагом и войскам не приходилось принимать серьезного участия.

Так дело шло до 1825 года, когда стали возникать, поведшие в конце концов к войне, недоразумения с Персией, и со стороны этой последней стали употребляться возможные средства к тому, чтобы возмутить против России магометанское население Кавказа. При этих условиях одно незначительное обстоятельство повело уже к серьезным последствиям. Дело было так.

Десятого июня, ночью, лезгины напали на селение Гремы, лежавшее недалеко от Сабуэ, и ворвались в два крайние дома; девять грузин были тотчас убиты, трое детей захвачены в плен. На поднявшуюся тревогу из Сабуэ быстро прибыла команда Грузинского гренадерского полка в числе шестидесяти человек, под командой поручика Серафимовича. Выбитые из деревни штыками, лезгины, которых оказалась значительная партия, пробовали удержаться последовательно в трех завалах, заранее ими приготовленных, но, каждый раз вытесняемые, бросились наконец на высокую гору и засели там в четвертый, высокий и грозный завал, куда к тому времени успели собраться еще несколько ходивших порознь шаек, так что общее число лезгин возросло до четырехсот человек. Серафимович двинулся было на приступ, но лезгины с отчаянной решимостью предупредили его и сами бросились на его отряд в кинжалы и шашки. Сорок человек грузинской милиции при первом же натиске бежали, гренадеры дрались отчаянно, но в конце концов были смяты подавляющими силами и отступили с уроном.

Это обстоятельство послужило прологом к упорной борьбе. Через две недели получены были известия, что шесть тысяч человек лезгин, преимущественно дидойцев, предпринимают вторжение в Кахетию, чтобы напасть на Сабуэ и рассчитаться с гренадерами за Гремы. Командир Грузинского полка подполковник граф Симонич сам прибыл в Сабуэ и двадцать третьего июня, с батальоном Грузинского полка, силою в четыреста штыков, занял высокую гору Кадор — обычное место, где собирались хищники. Громадное скопище лезгин, действительно, стояло на соседних горах, выжидая время и не решаясь пока на нападение. Граф Симонич со своей стороны видел, что сбить их с занятой ими крепкой позиции без большой потери также нельзя, а потому в ожидании более благоприятных обстоятельств решил спуститься на равнину, чтобы защищать Кахетию со стороны Алазани.

“Но едва батальон повернул назад,— пишет граф Симонич в своем донесении,— лезгины вообразили по своей глупости, что мы отступаем от страха, и, стремительно бросившись занимать Кадор, очутились на ровной и безлесной местности”. Этим благоприятным случаем Симонич не замедлил воспользоваться и приказал батальону ударить в штыки. Шесть тысяч лезгин дрогнули перед стремительным натиском четырехсот отважных гренадер, и через десять минут разбитое скопище уже бежало и скрылось за горным перевалом. Короткая рукопашная свалка стоила грузинам десяти человек, раненых исключительно кинжалами и шашками.

“Не могу не засвидетельствовать,— доносил граф Симонич,— что господа офицеры второго батальона — все молодые, в первый раз видевшие неприятеля, действовали с отличной распорядительностью; солдаты же не изменили репутации, давно приобретенной Грузинским гренадерским полком”.

Несмотря на эту неудачу, лезгины в третий раз попытались ворваться в Кахетию через селение Напараул, но жители, бывшие настороже, однако отразили нападение, и сам предводитель партии, знаменитый в горах белад Магмуд, был убит. Горцы оставили на месте больше двадцати тел и, преследуемые двадцатью гренадерами, подоспевшими из соседней деревни, бежали в горы с такой поспешностью, что граф Симонич, в тот же день, третьего июля, занявший Кадоры, уже не застал там неприятеля.

Осенью 1825 года, с возникновением чеченского мятежа и бунта в Кабарде, усилились и волнения на Кахетинской линии. Но отношения Закавказья к соседям, Персии и Турции, становились по того натянутыми и сложными, что благоразумие предписывало не вызывать новых волнений в Дагестане, и Вельяминов писал князю Эристову:

“По теперешним обстоятельствам ничего другого не остается делать, как терпеливо сносить дерзости джарцев и насколько возможно избегать делать такие требования, в которых можно встретить от них отказ. Вы не настолько сильны в Кахетии, чтобы могли предпринять что-либо решительное, а я не вправе предписать вам пойти с ничтожным отрядом против неповинующихся лезгин. Неповиновение их есть непременное следствие тайных подстрекательств персидского правительства, переговоры с которым о границах еще не имеют желаемого успеха”.

Таким образом, приходилось пока ограничиваться на Алазани только оборонительными действиями. Лезгины поняли это, и дерзость их возрастала. Дело дошло до того, что второго декабря катехцы среди белого дня кинулись на грузинские стада, пасшиеся на левом берегу Алазани, против Александровского редута, и угнали их с собою.

“Они, видимо,— говорит Эристов,— мало-помалу испытывают, какое действие будут иметь начальные шалости, дабы после, при бездействии с нашей стороны, начать более крупные военные предприятия”.

Соглашаясь с Вельяминовым, что при тогдашних обстоятельствах нельзя было действовать против лезгин вооруженной рукой, Эристов, однако же, считал необходимым показать им, по крайней мере, вид, что он намерен двинуться за Алазань и Что в его распоряжении довольно сил для обуздания горцев. В противном случае он не ручался, чтобы лезгины, поощряемые безнаказанностью, не решились напасть даже и на войска.

“Если принять меры только оборонительные и удалить скот, принадлежащий жителям Кахетии, от берегов Алазани,— писал он Вельяминову,— то грузины, по недостатку

пастбищ, вовсе лишатся скота, а если его оставить на Алазани, то наверное можно сказать, что он будет угнан лезгинами".

И Эристов энергично объявил старшинам джарцев и белоканцев, что если скот, отогнанный катехцами, не будет возвращен и виновные наказаны, то вся. вина падет исключительно на них, как на народ сильнейший, и они ответят за катехцев всем своим достоянием.

Твердость и угроза возымели действие: скот был возвращен, и даже выдан один из важнейших лезгинских разбойников.

Но злоба лезгин на селение Сабуэ, стоившее им стольких неудач и жертв, не прошла, и в конце концов они нашли-таки удобный момент для мести. Это случилось в суровую зиму, когда никому не приходила в голову мысль, чтобы какая-нибудь шайка лезгин осмелилась спуститься с гор, заваленных громадами снега, а потому в Кахетии меры осторожности повсюду были ослаблены, караулы спущены, и войска стояли уже не с той обычной чуткостью, как это было летом или в темные осенние ночи. Между тем, партия человек в шестьсот, собравшаяся в Дидо, под предводительством одного из бывалых вожаков, очевидно, хорошо знавшего местность и грузинский язык, спустилась с гор Дагестана и в полночь, восемнадцатого декабря, пользуясь тем, что обывательские караулы были сняты, без выстрелов и обычного крика ворвалась в селение. Молча бросились лезгины в дома с одними кинжалами — и началась беспощадная резня сонных жителей... Из нескольких сакель послышались, однако же, выстрелы. В деревне стояла тогда рота Грузинского полка, под командой штабс-капитана Горба. Но она оставалась в казармах, вместо того чтобы спасать гибнувшее селение, и лишь тогда, когда на тревогу подоспела другая рота, из деревни Шильде, Горб решился идти за неприятелем. Но преследовать было поздно — лезгины скрылись уже за горным ущельем. А между тем, если бы рота по первым же выстрелам, не ожидая помощи, заняла это ущелье, то партия могла бы быть совершенно истреблена, так как все другие горные проходы в то время были, как сказано, завалены снегом, и путь лезгинам был бы окончательно отрезан. Виноват был в этом деле также и телавский окружной начальник майор Степанов, позволивший для облегчения жителей не выставлять обычных караулов.

В Сабуэ разрушено было двенадцать домов, убито семнадцать грузин, трое ранены и тридцать восемь человек взяты в плен.

Не лишнее сказать, что в 1825 году случилось одно обстоятельство, значительно смягчившее борьбу на Алазани. Дело в том, что джарцы поссорились с султаном елисуйсским, владения которого лежали между Нухой и Закаталами, и вынуждены были направить против него почти все свои наличные силы. Завязалась борьба, и в конце концов силой самих обстоятельств обе стороны вынуждены были обратиться к посредничеству русской власти.

Но все эти мелкие обстоятельства борьбы на Алазанской линии скоро должны были побледнеть перед крупными событиями наступавшей русско-персидской войны.

XL. ТАТАРСКИЕ ДИСТАНЦИИ

По границам христианских стран Грузии, прилегавшим к южным и татарским ханствам, с давних пор шел ряд татарских поселений, оставленных там разными завоевателями. Эти поселения и были то, что носило на официальном русском языке название татарских дистанций.

Когда, с присоединением Грузии, под ведение кавказских главнокомандующих поступили и татарские дистанции, русское правительство приняло по отношению к ним лишь одну существенную меру, назначив для наблюдения за ними русских приставов и предоставив им во всем остальном ведаться по своим вековым установлениям и обычаям, под властью привилегированного сословия агаларов, которые вели свои родословные от древних ханских родов.

Этот порядок дел был неблагоприятен для укрепления в дистанциях русской власти и русского обаяния, потому что агалары втайне всегда тянули более к Персии, чем к России. К тому же Ермолов застал оба основные учреждения страны, как русских приставов, так и местных агаларов, отклонившимися от своего назначения и действующими неправильно. Он поднял о них вопросы и придал татарским дистанциям совершенно иной характер управления.

Главными приставами определялись по укоренившемуся обычаю отставные раненые офицеры, присылаемые большей частью из России. Офицеры эти, никогда не слыхав,— как выражается Ермолов,— даже название татар, благосостояние которых вверялось им правительством”, вступали в отправление своих должностей, не зная ни свойств народа, ни обычаев его, ни языка. Блуждая сами во тьме, они по необходимости вверялись переводчикам, а переводчики, большей частью армяне, “соразмеряли свое усердие,— по словам Ермолова же,— или с платой, получаемой от пристава, или с теми выгодами, которые приобретались ими от агаларов”. Конечно, это не способствовало усилению значения русских властей в крае.

Особенно беспорядки усиливались при кочевке татар, когда они удалялись в горы, почти на самую границу, где со своими семействами, имуществом и скотом проводили целое лето. Пристава без знания языка, без связей с агаларами, без понимания коварных свойств татар были совершенно бессильными и бесполезными лицами, и приходилось караулить татар во время их кочевий особыми отрядами войск, чтобы препятствовать им бежать за границу, куда персияне и турки, обыкновенно пользуясь этим временем, усиленно старались их привлекать посредством всяких обольщений.

Ермолов решил немедленно прекратить этот ненормальный порядок дел. Он начал добиваться, чтобы в пристава назначались, как и было некогда, грузинские князья и дворяне, и писал в Петербург, что они, как одноземцы, зная в совершенстве язык и весь быт татар и даже образ их мыслей, конечно, были бы более полезны целям русского правительства. Грузинские дворяне, по мнению Ермолова, могли быть заменяемы и строевыми русскими офицерами, но только такими, которые при долговременной службе на Кавказе совершенно изучили татарский язык и свойства татарского народа.

Комитет министров ответил Ермолову, что Ртищев, донося о злоупотреблениях приставов из грузин, сам просил, чтобы определялись на эту должность русские чиновники, что в пристава должны назначаться, по смыслу высочайших повелений, непременно отставные офицеры, но что к назначению из них только таких, которые хорошо знают татарский народ, комитет министров препятствий не имеет.

“Если бы легко было находить таких штаб-офицеров,— ответил Ермолов,— то, конечно, я и не хлопотал бы о назначении приставами грузин. Но просить о последнем меня принудил совершенный недостаток таких офицеров, ибо, при знании языка, необходимы еще и способности. И к тому же не всякий из офицеров решится оставить строй и прежде выйти в отставку, чтобы занять потом уже место пристава”.

Комитет министров отклонил от себя решение вопроса, так как о назначении отставных офицеров уже последовало двукратное высочайшее повеление; комитет считал неудобным утруждать государя в третий раз одним и тем же предметом. Тогда Ермолов написал прямо государю, и вопрос о приставах, наконец, легко разрешился в желательном для Ермолова смысле.

Но усилив русскую власть в татарских дистанциях назначением приставов, имевших возможность влиять на татар в благоприятном для России смысле, Ермолов задумал в то же время уменьшить значение в дистанциях агаларов.

Агалары издавна присвоили себе такую власть над народом, что последний, свободный по своему состоянию, зависевший от агаларов только потому, что был поручен их управлению, превратился мало-помалу в совершенных рабов, и агалары сделались маленькими ханами, подражавшими большим ханам в Шеке, Ширвани и Карабаге.

Такое устройство дистанций, освященное столетиями, сохранилось в полной силе до назначения на Кавказ Ермолова. Грузинские цари, неоднократно испытывавшие измену татарских народов, думали удержать их в повиновении, возвышая власть агаларов; агалары, привыкшие к таким преимуществам, устрашали царей, а потом и русских главнокомандующих, что при малейшем неудовольствии народ свободный, ведущий кочевую жизнь, не привязанный к земле оседлостью, перейдет к персиянам. Предместники Ермолова верили этому и мирились с установившимся порядком. Но Ермолов без колебаний приступил “к некоторым в оном переменам”, как он сам выражается, не желая более допускать такое управление татарами, которое шло прямо в ущерб интересам России.

Составлено было новое положение, которым татарские деревни вырваны из-под крепостной зависимости агаларов, и только, сообразно древним обычаям, каждому из последних, смотря по знатности рода, по уважению в народе и заслугам правительству, оставлено в услужении по нескольку семей, которые отбывали эту службу по очереди и на это время освобождались уже ото всех государственных податей и повинностей.

Положение объявлено было в апреле 1818 года и, по донесению главного пристава полковника Вадарского, принято народом “с изъявлением чувств глубокой благодарности”. Но на самом деле было нечто иное.

Ограниченные в материальных выгодах, агалары, конечно, не легко мирились с положением и жаловались на стеснение своих привилегий. По их словам, во времена владычества над ними персиян и турок и при царях грузинских они имели полную власть над народом, были чтимы не менее грузинских князей, и что только поэтому они и могли служить правительству с пользой, но что теперь, лишаясь власти, а вместе с тем и значения в народе, они “не могут отвечать уже ни за что”. Грузинские князья, со своей стороны, уверяли Ермолова, что татары никогда не привыкнут к новому порядку и что персияне воспользуются им, чтобы подговорить их к побегу. “Я ожидал, что побеги будут,— писал впоследствии Ермолов,— но что побегут лишь агалары, да по привычке покорствовать им некоторые из простого народа. Но я был убежден, что большинство татар на побег никогда не согласится, что простой народ скоро увидит выгоды своего освобождения, будет трудиться уже для собственной пользы, и влияние агаларов само собою уничтожится”.

На этом основании Ермолов отверг все жалобы и просьбы агаларов и, отправляясь строить Грозную, приказал приставам блюсти за точным исполнением новых постановлений.

Ермолов, конечно, был прав, но не совсем ошибались и грузинские князья, отговаривавшие его вводить положение.

Персия, официально давно уже отказавшаяся от своих домогательств на завоеванные Россией земли, и в том числе на Грузию и татарские дистанции, не переставала втайне поддерживать сношения и не упускала случаев приобретать себе союзников среди населения татарских дистанций; она волновала народ и не давала, что называется, осесть брожению.

Неудовольствие агаларов было ей на руку. И вот между татарами распущен был слух, что новое положение есть только начало к окончательному порабощению их русскими, что с них будут брать рекрут и увеличат подати. Татары заволновались и сами стали просить о возвращении агаларам прежней власти и значения. Приближалось, между тем, время, в которое жители дистанций удаляются на кочевья в горы, к самым границам Персии, и были слухи, что шамшадильский султан намеревается бежать и увлечь с собою народ своей дистанции. Ермолов двинул к ним войска и в то же время издал прокламацию, приглашавшую жителей оставаться спокойными и не верить слухам. “Государь не имеет нужды делать вас солдатами,— гласила прокламация,— взгляните только на войска, занимающие обширные области Грузии, Дагестана и других земель, и вы увидите русских солдат и не увидите между ними иноплеменников. Без вас много войск у могущественного императора нашего. Если нужно, то столько придет их, что вы и счесть их не без труда можете”.

“Кто говорит, что будут увеличены подати,— писалось в другой прокламации,— не верьте, ибо великий государь желает счастья и богатства своего народа, а не его разорения”.

Волнения на время утихли. Но с весны следующего 1819 года они возобновились с новой силой. Тогда Ермолов предписал арестовать двух главнейших коноводов смут: шамшадильского Насиб-султана и Мустафу-агу казахского. Седьмого мая 1819 года князь Мадатов вызвал их в Елизаветполь и оттуда отправил в Тифлис.

Это послужило сигналом к тому брожению, которое известно под не совсем точным именем “бунт татарских дистанций”. Главный пристав подполковник Вадарский доносил, что арестование султана Насиб-бека произвело на жителей шамшадильской дистанции тяжелое впечатление. Действительно, в провинции царили смятение и плач. Жители бросили полевые работы и намеревались силой освободить султана на пути из Елизаветполя в Тифлис. Сам Насиб-бек предвидел эту катастрофу и прислал нарочного татарина отговорить народ от покушения, которое ничего не могло доставить, кроме несчастья еще большего и ему и народу. Тогда все население, с женщинами впереди, толпами повалило к приставу, прося его ходатайства об освобождении султана. Вадарский дал им слово. Такое же волнение, как доносил подполковник Лапинский, казахский пристав, происходило и в его дистанции по случаю ареста Мустафы-аги.

Волнения эти искусно поддерживались царевичем Александром, жившим в Персии и даже приглашавшим татар бежать к нему во время летних кочевок. Ермолов приказал отправиться в татарские дистанции командиру седьмого карабинерского полка

полковнику Ладынскому, отлично знавшему и язык и нравы татар, и постараться успокоить народ.

Ладынский прибыл второго июня в селение Амирлы и встречен был волнующимися толпами. Едва он объявил, что султан Насиб-бек ссылается в Россию, как жители предались выражениям отчаяния. Они говорили, что “всем, что имеют, они обязаны только султану, и если не будет он возвращен, то они бросят все и уйдут куда глаза глядят со своими семьями, а если семей нельзя будет взять, то вырежут их на месте, хлеб истребят, сады и дома сожгут и даже лучше лишат себя жизни, чем останутся на этих местах без султана”.

Вадарскому, обещавшему освобождение его, угрожали теперь смертью. “Ты должен умереть вместе с нами,— говорили они,— и мы тебя не выпустим”. Громче всех кричали женщины, требуя, чтобы их мужья и братья не жалели ни своей, ни их жизни для освобождения султана.

Ладынский, офицер известной храбрости и энергии, сподвижник Карягина, участник славного Аскарайского дела, пораженный искренним отчаянием толпы и не зная что делать, присоединился к обещанию просить начальство о возвращении султана.

“В Шамшадилях возмущение общее,— писал он Ермолову,— и если не отложится отправление Насиб-бека в Россию, то потеря Шамшадиля неизбежна; такой жертвы для одного человека делать не должно”. Ладынский прибавлял, что, по вестям из Эривани, царевичу Александру даны сарбазы и пушки и что он двинулся уже к Даралагезу, граничащему с Шамшадилем.

Но ни Ермолов, ни Вельяминов и не думали об уступках. “Объявите народу,— писал Вельяминов Ладынскому,— что султан ссылается в Россию только на время, с тем, что впоследствии он может быть возвращен в свой дом. Но малейшее движение народа — и шамшадильцы никогда не увидят его возвращения. Скажите, что безрассудные их угрозы порезать своих детей и уйти за границу не только не принесли султану пользы, но, напротив, ускорили его отправление, ибо правительство, презирая ничтожность их угроз, нынешний же день выслало его в Россию. Буйство же народа, если он спокойно не разойдется к своим занятиям, усмирят штыки и пушки”.

Ладынский обнародовал это письмо и, считая свою задачу оконченной, хотел уехать из Амирлы, но его не пустили армяне, опасаясь, чтобы в его отсутствие татары не поднялись и не вырезали их семей.

В таком положении были дела, когда на шамшадильские кочевья прибыл пятнадцатого июня отряд подполковника Тихоцкого. На походе, по словам его, отряд был также встречен толпами народа и рыдающими женщинами, которые с восточной страстностью и экзальтацией выражали ему свою горесть. И толпа опять требовала возвращения султана. Матери в бешенстве бросали детей к ногам Тихоцкого. Они думали, что прибывший отряд в конце концов истребит их всех, кричали, что настал последний день их, и требовали или султана или смерти!

Тихоцкий видел смутное положение народа, полное расстройство его хозяйства, и так как все меры к успокоению оказывались тщетными, то и он последовал примеру Вадарского и обещал народу просить возвращения султана. В тот же день он написал об этом Вельяминову, выставляя на вид полную невозможность удержать народ иначе в подданстве России. То же самое писал в Тифлис и капитан Эксгольм, состоявший при

отряде в качестве офицера генерального штаба, прибывший сюда произвести съемку этой малоизвестной страны.

“Все горы и кочевки,— говорит он в своем письме,— покрыты толпами блуждающего народа и бешенствующими женщинами, вопли которых наполняют окрестности. Увидев кого-нибудь из нас, едущих по дороге, они с яростью бросаются под лошадей, ища смерти; матери отрывают от грудей своих младенцев — и кидают их к нам под ноги. Одним словом, горесть, отчаяние и исступление овладели всеми. Чувство сие наполняет жителей не одной только деревни либо округа, но тридцать тысяч народа”. Эксгольм не решался даже приступить к работам.

“Народ,— писал он,— не понимающий настоящей цели съемки, не видавши никогда дел подобного рода и инструментов, может почесть это относящимся к вящему вреду его и к стеснению вольности его кочевок. Расстроенные умы могут воспринять ложное понятие и раздражиться еще более. Приведение в известность местоположения слабо только заменило бы могущее произойти от моей неосторожности зло, которое, будучи столь же неприятно для начальства, погрузило бы в бездну гибели и народ шамшадильский”.

Донесения шли за донесениями, и едва Вельяминов получил письмо Эксгольма, как пришло другое от Тихоцкого.

“Вчера я имел честь доносить об обстоятельствах,— писал он,— в которых я нахожусь, но ужасы ежечасно умножаются; весь народ в волнении, которое изобразить невозможно. Огромные толпы являются на дороге и несут с собою не оружие, а детей и жен своих на жертву. Они утверждают, что злонамеренные партии в прочих дистанциях и в самой Грузии уже давно подстрекают их к возмущению и что первый выстрел с их стороны поднимет и прочих. Народ присягнул, однако, что не поднимет оружия, а истребит хлеб свой и скот, принесет ко мне в лагерь умерщвленных детей и женщин, и будет спасаться бегством. Вообще лозунг народа один: “Насибсултан или смерть!”

Персидская война на границе; беглый царевич Александр разъезжает по оной, и ежели народу не будет возвращен султан, я должен ожидать худых последствий, ибо влияние его (султана) не только простирается на его народ, но вообще более, нежели сильно, как между жителями, населяющими Грузию, так и в заграничных местах.

Спасите верный российскому правительству народ, или должно будет ожидать тех ужаснейших происшествий, которых примеры со всеми ужасами еще не были в стране сей”.

Но, быть может, нигде не сказалась с такой силой настойчивость и определенность политики Ермолова, как именно в этом случае.

Вельяминов отвечал Тихоцкому.

“Вы напрасно заверили честным словом бунтующие толпы татар о возвращении султана. Вам известна твердость Алексея Петровича, а потому и не следовало вам заверять в том, чего сделать нельзя. Повторите народу, что одно только повиновение его может когда-либо возвратить султана, всякий же бунт еще более отягчит участь его, и народ лишится его навсегда. Побегом нескольких агаларов и родни султана не затрудняйтесь: потеря нескольких семейств и даже половины народа меньше вредна для правительства, чем потворство бунтующим; несколько выстрелов картечью (в крайнем только случае) все успокоят.

Беглый царевич Александр, с толпой своих трусливых приверженцев, а не персидских войск, не должен вас нимало беспокоить, ибо он, по силе мирных трактатов с Персией, явно действовать не может. Цель его — только возмущать шамшадильцев и прикрывать их во время побега.

Помните, что ничего не может заставить главнокомандующего удовлетворить буйным требованиям народа, и он готов на всякие пожертвования”.

Как Вельяминов, так и Ермолов были убеждены, что беспорядки происходят преимущественно по наущению агаларов и родственников султана и имеют между прочим опасение, чтобы султан, в случае его возвращения, не стал мстить народу за равнодушие к его судьбе. Поэтому сочтено было нужным еще раз обратиться к жителям Шамшадиля с новой прокламацией.

“Если бы из вас, хотя и многие,— писал в ней Ермолов,— вознамерились бежать за границу, я ничего не сделаю, чтобы удержать их; никогда благонамеренный не оставит своей родины, следовательно, бежавшие будут изменники, и полезно не иметь их в крае. Не думайте, чтобы когда-либо позволено было таковым возвратиться на родину,— никогда! И мне приятно будет изобильные земли ваши и многочисленные стада отдать в награду подданным моего великого государя, верным и покорным. Я найду таковых между вашими единоверцами. Стесненные жители казахские и елизаветпольские воспользуются ими, и не будет сожалеющих о бедственной участи изменников”.

Прокламация эта, посланная из Тифлиса с ахуном (главным священником татарским), появилась в шамшадильской стране в тот момент, когда первое острое возбуждение уже проходило и оставляло место внушениям холодного рассудка. С другой стороны, ахун умел успокоить взволнованное население, указав на выгоды данного ему общественного устройства. И бунт татарских дистанций естественно затих.

Ермолов был убежден, что исключительно строгости он обязан был спокойным решением вопроса. “Строгость,— говорит он,— водворила спокойствие, и здешние жители увидели пример, что упрямство не всегда средство благонадежное против распоряжений начальства”. Но не без значительного влияния на дело было и мягкое отношение к жителям Ладынского и других, старавшихся успокоить народ в самые критические моменты его возбуждения.

С этих пор спокойствие в татарских дистанциях до самого начала персидской войны 1826 года уже нарушаемо не было.

Прошли годы, и действительные плоды Ермоловской реформы сказались... Свободный татарин мог скоро залечить те нравственные и экономические раны, которые так поразили Тихоцкого при его вступлении в шамшадильскую дистанцию. Самая физиономия края быстро изменилась. И там, где прежде путешественника поражали лишь голые степи, унылое безмолвие, да непокрытая бедность, где подневольный труд закрепощенного народа обогащал лишь хищных и жадных агаларов, там зазеленели теперь роскошные нивы и степи покрылись бесчисленными стадами скота, отарами овец и табунами коней, свидетельствующими о народном довольстве и благосостоянии. Вольный татарин не забыл, конечно, преданий своей старины и по-прежнему, время от времени, предавался дикому разгулу наезднической жизни... Но то были уже проявления воспитанных веками инстинктов, и не в материальной нужде были их источники.

XLI. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ХАНСТВ

В Закавказском крае ко временам Ермолова наименее упрочненными за Россией владениями оставались примыкавшие к Грузии с юга и юго-востока татарские ханства. Давно замиренные, они продолжали служить послушным орудием враждебной персидской политики и все еще стояли перед Россией вечной угрозой возмущения. Персия, потерявшая их по Гюлистанскому трактату, естественно искала случая возвратить себе эти богатейшие, некогда принадлежавшие ей провинции, и всеми силами старалась поддерживать в них свое влияние. Ханства, близкие к ней и религией и всем своим общественным азиатским строем, легко подчинялись этому влиянию, да и невозможно было ожидать ничего иного, пока они представляли собою какие-то совершенно автономные, самостоятельные государства, стоявшие к России в отношении только данников.

Лучшие государственные умы давно уже сознавали, что для действительного владычества русских в Закавказье и для объединения этого края в одно органически целое, необходимо было прежде всего уничтожить самостоятельность ханств и обратить их в простые русские провинции. Еще ко временам Екатерины относится замечательнейшая мысль — завоевать сначала именно эти ханства, и потом уже занять Грузию. И если бы эта мысль тогда получила осуществление, Россия избавилась бы от целого ряда войн, которые пришлось ей вести за обладание теми же ханствами, но уже при обстоятельствах гораздо менее благоприятных.

Ермолов понимал, что только одна необходимость вырвала у князя Цицианова трактаты и привилегии, которыми пользовались ханы; но пока трактаты эти существовали — покончить с ними иначе было нельзя, как выжидая благоприятных случаев или прекращения наследственной линии, или измены ханов. И подобные случаи были не раз, но ими никогда не пользовались.

Так измена текинского хана Селима в 1806 году прямо давала повод присоединить к России его богатое владение; главный город был взят тогда приступом, хан бежал в Персию, и в Нухе уже введено было русское управление, но Гудович без всякой необходимости вдруг вызвал на ханство Джафар-Кули-хана хойсского, бежавшего из Персии, и ханская власть снова стала наследственной. Изменил и был убит карабагский хан — и Гудович посадил на ханство его сына, но так как новый хан был бездетен и его здоровье не обещало долгого века, то преемник Гудовича, Ртищев, сам озаботился приисканием ему наследника и вызвал из Персии же племянника его, Джафар-Кули-агу, уже раз изменившего русским и участвовавшего вместе с персиянами в истреблении троицкого батальона под Султан-Будою.

Ермолов, верный своей прямой политической системе, не хотел допустить, чтобы ханы продолжали неудобную для русских интересов игру в союзники, тем более что ханский деспотизм, не принося владениям никакого блага, служил только тормозом для мирного развития их. Самый беглый обзор, сделанный ханствам перед отъездом в Персию, убедил Ермолова окончательно в непригодности ханской власти и поселил в нем желание как можно скорее от нее отделаться. Намерения его в этом смысле были так определенны, что он не допускал ни сомнений, ни колебаний. “Я не испрашиваю на сей предмет повеления,— писал Ермолов государю в феврале 1817 года,— обязанности мои истолкуют попечение Вашего Величества о благе народов, покорствующих высокой державе Вашей. Правила мои — не призывать власти Государя моего там, где она благотворить не может. Необходимость наказания предоставлю я законам. По возвращении из Персии, сообразуясь с обстоятельствами, приступлю к некоторым необходимым преобразованиям”.

По отношению к самим ханам в высшей степени замечателен и оригинален приказ Ермолова по Грузинскому корпусу от семнадцатого февраля 1817 года.

“При обозрении мною границ,— говорится в нем,— владетели ханств Ширванского, Шекинского и Карабагского по обычаю здешних стран предложили мне в дар верховых лошадей, золотые уборы, оружие, шали и прочие вещи. Не хотел я обидеть их, отказав принять подарки, неприличным почитал и воспользоваться ими, а потому, вместо дорогих вещей, согласился принять семь тысяч овец, которых и дарю полкам. Хочу, чтобы солдаты, товарищи мои по службе, видели, сколько мне приятно стараться о пользе их. Обещаю им и всегда о том заботиться”.

Гордые и надменные ханы были оскорблены и унижены.

По возвращении из Персии Ермолов, зорко следя за всем, что делается в ханствах, выжидал только удобных обстоятельств, чтобы уничтожить их самостоятельность. И первым пало ханство Шекинское.

Нельзя не сказать, впрочем, что сам шекинский хан, своей самовластной жестокостью раздражавший даже терпеливых азиатских подданных, постарался облегчить Ермолову эту задачу. По смерти Джафара, посаженного Гудовичем, звание шекинского хана со всеми его прерогативами, чином генерал-майора, знаками инвеституры и большим денежным содержанием перешло в 1815 году, к единственному сыну его Измаил-хану. Человек еще молодой, но жестокий и кровожадный, презиравший туземное население, он окружил себя хойсскими выходцами и, заручившись расположением лиц, окружавших слабого Ртищева, жестоко расправлялся со своими подданными, а все, что осмеливалось жаловаться на хана, выдавалось ему же головой и давало только повод к новым бесчеловечным пыткам и истязаниям. “С негодованием,— говорил Ермолов,— я должен упомянуть об одном постыдном поступке начальства по отношению к шекинским жителям”.

Трагическое происшествие, о котором так резко отзывается Ермолов, ярко рисует и ханский деспотизм, и недальновидную политику Ртищева. Еще во времена персидского Хаджи-Челеби-хана на шекинской земле стояли три армянские деревни, пользовавшиеся если не избытком, то, по крайней мере, не видевшие нужды у своих домашних очагов. Слух об этом скоро дошел до жадного Челеби-хана, вошедшего и в историю под именем Бездушного, и армянам предложено было выбирать любое: или магометанский закон, или подать с каждого армянина по шестьдесят батманов шелку за право веровать по-своему. К чести армян нужно сказать, что между ними не нашлось никого, кто бы отрекся от веры отцов, и тяжкий налог скоро вконец разорил опальные селения. Прошли многие годы, шекинское ханство уже было под властью христианской России, а несчастные армяне продолжали покупать непосильным налогом право исповедовать Христа. Кто-то надоумил их, наконец, обратиться с жалобой к Ртищеву. Армяне выбрали из среды своей шесть депутатов и отправили их в Тифлис. “Мы христиане,— говорили они главнокомандующему,— мы подданные христианского государя; за что же враги христианства берут с нас штраф за исповедование христианской веры?”... Ртищев не нашел лучшего, как просто сказать им: “Идите в ваши дома и не платите штрафа”. Но едва депутаты вернулись в Нуху, как были подвергнуты Джафаром жестокой казни, а на жителей, за попытку к жалобе, сверх шестидесяти батманов шелку наложен был штраф в две тысячи рублей.

Когда Джафар умер, армяне рассудили, что просьба шести человек не была уважена, как им представлялось, только потому, что их было мало; и теперь уже не одни армяне, но

евреи, проживавшие в ханстве, и даже татары отправились в Тифлис в числе трехсот человек; они явились к Ртищеву и просили его не отдавать шекинские земли во владение хойцам, а назначить для управления русского чиновника. “Жалобы их, слезы и отчаяние,— говорит Ермолов, не тронули начальства; их назвали бунтовщиками, многих наказали плетьми, человек двадцать сослали в Сибирь, а остальных выдали головой новому хану, который подверг их бесчеловечным истязаниям, пыткам и казням”.

Не менее характерен и следующий случай ханского самосуда, имевший место уже при преемнике Джафара, Измаиле. Летом 1916 года в деревне Ханабади был убит семилетний мальчик, сын тамошнего муллы; малютке нанесено было несколько ран кинжалом и перерезана шея. Никто не знал, кем было совершено зверское преступление, и лишь несколько женщин сказали, что в этот день через их деревню проехали трое евреев из Карабалдыра. Этого было довольно, чтобы евреев привлекли к ответу. Измаил-хан, явившись сам на судилище, приказал пытать их; несчастных били палками, рвали клещами тело их, выбили им зубы, и потом зубы эти вколачивали им в головы. В беспамятстве и исступлении, терзаемые оговаривали других евреев, которых сейчас же хватали и предавали таким же истязаниям. Еврейские деревни Карабалдыр и Варташены были опустошены, женщины и мальчики изнасилованы. Такова была самостоятельность ханств и их самоуправление.

Едва Ермолов прибыл в край, как был буквально завален жалобами шекинских жителей. “Если бы моря обратились в чернила, деревья в перья, а люди в писарей,— говорилось в одной просьбе,— то еще не могли бы описать тех обид и бесчинств, какие причинили нам хойцы... Когда Джафар со своими подвластными прибыл в Шеки, хойцы были в таком виде, что и дьяволы от них отворачивались: на спинах было по лоскуту рубища, ноги босые, на головах шапки по пятнадцать лет, но как скоро живот их насытился хлебом, они, как хищные волки, напали на жизнь нашу и имущество”...

Ермолов, увидевшись с ханом седьмого декабря 1816 года в его владениях, в селении Мингечаур, обошелся с ним крайне сурово. Он публично, при всем народе, высказал ему осуждение его зверских поступков и приказал, собрав всех несчастных, искалеченных им, разместить их в ханском дворце до тех пор, пока хан не обеспечит семейства их. Приставу майору Пономареву вменено было в обязанность “немедленно восстановить равновесие между ханской властью и народной безопасностью”.

Измаил-хан видел во всех этих распоряжениях только ограничение своей власти и, понимая непрочность своего положения, стал искать поддержки в Персии и у народов Дагестана. Скрываясь от взоров русского пристава, он проводил большую часть времени в диванной, куда допускались лишь самые приближенные лица, через которых и велись все интриги и сношения. В то же время, на всякий случай, он мало-помалу отправлял свои богатства в Персию, куда и сам намеревался бежать при первом удобном случае. Судьба распорядилась иначе. Летом 1819 года, когда Мадатов собирал в дагестанский поход шекинскую конницу, Измаил-хан, вынужденный сопровождать его во время этих поездок, внезапно заболел и в деревне Ниж, после восьмидневной тяжкой болезни, скончался. Некоторое время держался слух, что хан отравлен был ядом, причем одни обвиняли русских, другие втихомолку указывали, как на виновницу смерти, на его родную сестру. Слухи эти не имели никаких оснований. Хан умер от пьянства; в последнее время он пил без просыпу, пил голый ром бутылками — и в результате получил жестокое воспаление кишок, сопровождавшееся конвульсиями и кровавой рвотой. Тело Измаила, по обычаю хойцев, отправлено было в Персию и предано земле в местечке Кербелай.

“Жалел бы я очень об Измаил-хане,— писал Ермолов к князю Мадатову,— если бы ханство должно было поступить такому же, как он, наследнику, но утешаюсь, что оно не поступит в гнусное управление, и потому остается мне только просить Магомета стараться о спасении души его”.

Прямых наследников после Измаил-хана не было. Мать его, женщина до крайности хитрая, жена его, а также родственники прежнего ханского дома, давно уже скитавшиеся в Персии, принялись интриговать каждый в свою пользу. Но все хлопоты их остались бесплодными. При первом известии о смерти Измаила Ермолов, чтобы предупредить народные волнения, двинул в ханство войска. Сильный батальон пехоты, донской казачий полк и два орудия заняли Нуху, — и прокламация Ермолова возвестила шекинцам, что “отныне на вечные времена уничтожается самое имя ханства, и оное называется Шекинской областью”.

Двадцать девятого августа 1819 года жители приведены были к присяге на подданство русскому императору. Ханские грамоты, печать и знамя были отобраны от семейства покойного хана, а взамен их из Тифлиса отправлены были в Нуху казенная печать, зерцало и царский портрет — принадлежности русского присутственного места. Приближенные к хану хойцы в числе ста тридцати семейств под конвоем были высланы в Персию, но ханская фамилия вся удержана в России и поселена в Елизаветполе с назначением ей приличного содержания. Напрасно карабагский хан домогался, чтобы семейству Измаила позволено было поселиться в Шуше под его попечением. Ему политично заметили, что “когда император принимает кого под свое высокое покровительство, то затем пособие карабагского хана ему будет не нужно”. Так совершилось присоединение Шекинского ханства, не вызвавшее в населении ни малейшего волнения.

Уничтожение ханской власти сразу оказалось полезным для России даже и в чисто экономическом отношении “До сих пор Шекинское ханство,— говорит Ермолов,— при меньшем пространстве и населении, нежели в Ширванском, давало доходу больше и платило казне подать в семь тысяч червонцев, а теперь доходы эти должны будут увеличиться вчетверо”. Ермолов употреблял нередко весьма оригинальные приемы, чтобы увеличить казенный доход, не обременяя в то же время жителей никакими новыми налогами или повинностями. Была, например, в Нухе казенная, прекрасно устроенная баня, оставшаяся после хана. Несмотря на роскошь и удобства ее, баня не приносила однако казне никакого дохода. Секретное расследование показало, что народ обходит ее по суеверному представлению, втайне поддерживаемому стариками и эфендиями, что тяжкий грех мыться в бане, насильно отнятой у хана. Чтобы уничтожить предрассудок, лишавший казну значительных доходов, Ермолов приказал отдать баню в содержание восьми духовным мусульманским особам вместо получаемого ими до того казенного жалованья. Казна, таким образом, сделала значительное сбережение, а муллы позаботились уже сами привлечь в баню народ, чтобы наверстать с лихвою потерянное жалованье.

Но увеличение доходов, о котором говорит Ермолов, являлось результатом только уничтожения ханского самовластия, а не богатства народного. Ханство было совершенно разорено, причиной чего, впрочем, было не одно сумасбродное управление ханов, но и наклонность населения к непомерной расточительности. Вот в каких красках рисует нухинский комендант тогдашний быт шекинских жителей.

“Если не две части населения,— писал он,— то основательно можно сказать, что половина его имеют по две и по три жены, за которых платит огромный калым (мёхри). А

так как наличных денег почти никто не имеет, то они занимают их на чудовищные проценты. Но этого мало: женившись большей частью в немолодых летах и не имея другой возможности привязать к себе молодую жену, они стараются делать им все угодное и исполняют их прихоти, покупая разные золотые украшения и парчовые платья, так что жена простого поселянина равняется своим убранством с женой богатейшего человека. Отсюда начало разорения. Не успев выплатить первого займа, он делает новый, а проценты растут на проценты. В результате полная несостоятельность и двойное разорение — как должника, так и заимодавца, лишающегося своего капитала”.

Заботясь о благосостоянии жителей, Ермолов обратил и на этот вопрос серьезное внимание. Он передал его на обсуждение почетнейших шекинских стариков и членов городового суда, и те постановили, чтобы никто, под опасением наказания, не давал поселянину взаймы более десяти монет; самое мёхри ограничено было пятьюдесятью рублями, а поселенцам поставлено в обязанность иметь только одну жену; кто же желал взять другую, тот должен был сперва представить доказательства своей состоятельности.

Несмотря на эти крутые меры, шедшие в разрез с обычаями, установившимися веками, спокойствие в ханстве не нарушалось, а благосостояние его жителей возрастало. Персидское вторжение 1826 года, правда, вновь взволновало все ханство, но то был мимолетный ураган, оставивший на поверхности шекинской земли только печальные следы разрушения, но не затронувший внутренних сил и основ, на которых стояла она. Оно было в то же время и освежающей бурей, разрешивший грозовые элементы в стране. Блестящие победы России убедили население ханства, что не Персии остановить грозную, надвигающуюся с севера силу, вносившую в их благодатную страну новый быт и новые понятия, и оно затихло навеки.

Не прошло и года после падения Шекинского ханства, как безвозвратно решилась участь и соседнего с ним богатого ханства Ширванского.

В то время владел им старый хан Рустафа — угрюмый, подозрительный и надменный. Высокомерие его не имело границ, и после князя Цицианова он не хотел видеться ни с одним из русских главнокомандующих.

К Ермолову, предшествуемому громкой молвой, он выехал, однако же, навстречу, и свидание произошло четвертого декабря 1816 года в селе Зардоба. “Со мною,— иронически говорит Ермолов,— хан поступил снисходительнее и был удивлен, когда я приехал к нему только *с* пятью человеками свиты, тогда как он сопровождаем был многочисленной конницей. Он однако дал мне заметить, что не каждому должен я вверяться подобным образом и что он точно так же предостерегал князя Цицианова... Хан не рассудил,— прибавляет Ермолов,— какая между князем Цициановым и мною была разница. Тот славными поистине своими делами был им страшен, а я только что приехал и был совершенно им неизвестен”...

Ширванское ханство Ермолов нашел в лучшем порядке, чем остальные; по крайней мере народ не был отягощен поборами и хан исправно вносил в казну восемь тысяч червонцев дани.

Столицей Ширвани в то время был древний исторический город Шемаха, сохранявший свое значение для страны в течение многих веков. Но старый хан не жил ни в ней, ни в Новой Шемахе, построенной уже во времена Надир-шаха, а перенес свою резиденцию на Фит-Даг, в крепкую горную позицию, где мог считать себя гораздо безопаснее, чем на открытых шемахинских равнинах.

Новая резиденция хана, расположившаяся на крутых склонах двух высочайших гор, образующих тесное и дикое ущелье, неприветливо встретила новых переселенцев: дома во время проливных дождей сползали по крутизнам и рушились; горные сырые туманы порождали болезни; воды вблизи не было, а трудные сообщения с деревнями, по скалам и обрывам, безмерно поднимали цену всех жизненных припасов, которых по временам и совсем достать было невозможно. Понятно, что, несмотря ни на какие заботы владельца, город здесь существовать не мог, но крепость стояла грозной и неприступной твердыней.

Но и в этом совином гнезде Мустафа не чувствовал себя спокойным и безопасным. Суровый и надменный, он видел на своем долгом веку столько политических царских династий, что поневоле стал осторожен и подозрителен. Русских он боялся и никогда не доверял им. Правда, после первого свидания с Ермоловым он мог, по-видимому, рассчитывать на долгое и спокойное управление своим богатым и благоустроенным ханством, но фатум тяготел на нем, как на всем азиатском складе жизни тех стран, столкнувшихся с европейской культурой,— и сам же он первый и подготовил свое падение.

Когда политика Ермолова встала перед ним во всей ее определенности, Мустафа понял ясно, что самостоятельность его ханства продержится не долго. Он стал искать сближения с Персией, вмешивался в дела Дагестана, где у него были большие родственные связи, и этим, конечно, только ускорил роковую развязку.

И вот, в то время, когда Ермолов строил Грозную, а генерал Пестель готовился вступить в Каракайтаг и стоял в Кубе, Мустафа вдруг начал также готовиться к военным действиям, собирал войска и приглашал к себе на помощь лезгин. Пристав донес Вельяминову, что хан намеревается бежать и что между ним и Аббас-Мирзою идет по этому поводу деятельная переписка; из Персии, по словам того же донесения, приезжал к хану какой-то чиновник с предложением ста пятидесяти тысяч туманов тому, кто поднимет на русских дагестанские народы; во дворце Мустафы происходило совещание, после которого восемнадцать человек ширванских беков под видом купцов поехали к Сурхаю, а Сурхай, в свою очередь, немедленно послал какие-то сообщения Шейх-Али-хану; наконец, восемьдесят человек горцев, с сыном акушинского кадия, также под видом купцов, гостили у хана две недели, и персидский посол лично объявлял им волю шаха и ожидавшие их награды.

Медлить было опасно, и Вельяминов быстро двинул в Ширванское ханство войска, приказав казакам занять все переправы через Куру, чтобы воспрепятствовать побегу хана в Персию. Но вместе с тем, желая по возможности смягчить резкость принятых мер, он сделал вид, что войска посылаются не против хана, а для его защиты. В свою очередь и Ермолов написал Мустафе угрожающее письмо, в котором под видом дружеских упреков с резкой иронией давал ему почувствовать, что каждый шаг его известен и что за ним следят.

“Вы не уведомили меня,— писал ему Ермолов,— что в ханстве вашем жители вооружаются по вашему приказанию и что вы приглашаете к себе лезгин, о чем вы должны бы были дать мне знать как главнокомандующему и как приятелю, ибо я обязан ответствовать перёд великим государем нашим, если не защищу верных его подданных; а к вам, и как к приятелю, сверх того, я должен прийти на помощь. Скажите мне, кто смеет быть вашим противником, когда российский император удостаивает вас своего высокого благоволения?

Не желая в ожидании ответа вашего потерять время быть вам полезным, я теперь же дал приказание войскам идти к вам на помощь. Так приятельски и всегда поступать я буду, и если нужно, то не почту в труд и сам приехать, дабы показать, каков я приятелем и каков буду против врагов наших".

Нужно, впрочем, сказать, что Мустафа на этот раз имел действительные основания тревожиться. По донесению Мадатова, посланного расследовать дело в Ширвань, Мустафа стал собирать войска в то время, когда Пестель стоял в Кубе, предполагая, что русский отряд направится против его владений, и поводом к этому послужили бестактные действия самого же Пестеля.

Дело в том, что еще во время Дербентского похода, в 1797 году, главнокомандующий граф Зубов возвел в достоинство ширванского хана на место Мустафы бежавшего тогда в Карабаг двоюродного брата его Касима. Но только что русские войска вышли из Дагестана, Мустафа возвратился в Ширвань, снова завладел правлением и с тех пор в течение многих лет оставался совершенно независимым. Но шли годы: Грузия была занята русскими войсками, пало Ганжинское ханство, исчезла самостоятельность Карабага, и удерживать более независимость Ширвани казалось невозможным. Мустафа добровольно принял русское подданство и был утвержден в достоинстве хана.

А между тем, изгнанный им из Ширвани Касим-хан в течение пятнадцати лет скитался в горах Дагестана в суровой бедности. И вот теперь Пестель, придя в Кубу, вызвал его к себе, обласкал и имел с ним какие-то тайные переговоры, поселяя в нем надежду снова сделаться владетелем Ширванского ханства. Слух об этом дошел до Мустафы и, конечно, не мог не встревожить его. В разговоре с приставом он даже прямо сказал: "Зачем генерал имеет сношения с Касимом? Не хочет ли доставить ему ханство, а меня сослать?" И на все убеждения пристава, что слухи эти не имеют основания, он твердил одно: "Увидим, кто тогда выиграет". Вот это-то обстоятельство и было причиной его воинственных приготовлений.

Ермолов старался успокоить подозрительность хана, но вместе с тем и напоминал ему о долге верноподданного. "Ваша воля,— писал он ему,— верить или нет искренности моего совета, но если вы будете упорствовать в преступных намерениях, то, сколько ни прискорбно мне как доброму вашему приятелю, я скоро вразумлю вас, что я не забыл моих обязанностей к великому моему государю".

А тут, как нарочно, пало Шекинское ханство, и Мустафа уже стал в явно враждебные отношения к русским. "Я давно знал, что так будет!" — повторял он угрюмо, когда до него дошла ермоловская прокламация к шекинским жителям.

"Неужели русские полагают, что Дагестан им покорится и что они могут владеть им?" — часто говорил он в это время в раздумьи. Ни шах-Аббас, ни другие славные завоеватели там ничего не сделали. Право, русские не знают дагестанских народов, и скорее они обессилят и истребят сами себя, нежели покорят дагестанские горы и ущелья". Озираясь то на пять пушек, стоявших на дворе его дома, то на высоты Фит-Дага, на окружающие их скалы и утесы, он с удовольствием выражал непреложную уверенность, что резиденция его неприступна, и тысячу раз повторял, что во всей Ширвани нет места лучше и приятнее для него, как Фит-Даг.

Бегство Сурхая Казикумыкского через его владения и с помощью его же нуреков, между тем, окончательно испортило отношения Мустафы к России. К этому прибавилось то, что Ермолов, как раз в это же время, захватил в свои руки одного из самых близких к хану

людей, который и выдал все его связи с дагестанцами. Мустафа решился было на подкуп, но значительные денежные суммы, отправленные им к разным лицам в Тифлис и к приставу Макаеву, были представлены Ермолову и обращены в казну. Мустафа узнал об этом и, ожидая наказания, начал готовиться к побегу в Персию. Все ценное имущество его, заключавшееся в ста сорока тысячах звонких червонцев, постепенно перевозились за Куру; туда же отправились многие семейства беков; сам Мустафа стоял еще на укрепленных высотах Фит-Дага, но при нем оставалось уже только небольшое число туземной конницы и по ста человек сурхаевских нукеров; жены его были совершенно готовы к отъезду; лошади и катеры были собраны и по ночам стояли оседланными. Ходил слух, что Мустафа, выпроводив из стана всех женщин, нападет на русские войска, стоявшие в ханстве, и уже по истреблении их уйдет в Персию. А на Муганской степи, по ту сторону Куры, стояло восемьсот шахсеванских наездников, и с ними сам Ата-хан, готовый принять Мустафу под свою защиту.

“Мы ожидаем побега хана с часу на час,— писал Ермолову пристав капитан Макаев,— я стою в деревне Сагьян с ротой и сорока казаками; стоим осторожно, потому что всякую ночь дают знать, что на нас будет нападение”.

Одновременно с донесениями, шедшими от пристава, Ермолов продолжал получать и дружеские письма хана, старавшегося оправдывать свое поведение и выражавшего в них чувства неизменной верности русскому императору. Но в ответ на эти лживые письма два батальона и восемьсот казаков, под командой донского генерала Власова, форсированным маршем уже двигались в ханство. Ермолов ожидал, что Мустафа, собрав своих приверженцев, будет защищаться в крепком Фит-Дагском замке. Но хан о защите не думал и, предупрежденный вовремя, девятнадцатого августа 1820 года бежал в Персию. Казаки, однако же, шли с такой быстротой, что хан едва успел переехать Куру, как и они появились уже в виду переправы. Два, три часа промедления, малейшая задержка неминуемо отдали бы хана в их руки. О поспешности бегства его можно судить по тому, что хан оставил во дворце двух меньших своих дочерей, из которых одну, грудную, нашли раздавленной между разбросанными сундуками и пожитками.

Впоследствии объяснилось, что Мустафа бежал через местечко Сулута; проехав ночью горные магалы, он перебрался потом через большую порогу из Тифлиса в Баку, почти в виду Инчинского поста, и переехал через Куру на лодках, которые были приготовлены заблаговременно. Казакам Инчинского поста удалось схватить пятнадцать человек отсталых конно-вооруженных татар, спешивших вслед за Мустафой. А один из беков, враждовавший с ханом, с толпой своих людей догнал у переправы и захватил часть ханских драгоценностей. Это был Камбай-бек с теми ширванскими всадниками, которые так славно дрались в Казикумыке поп русскими знаменами. К сожалению, здесь, у самой переправы, произошло с ними какое-то печальное недоразумение: казаки и апшеронская рота, полполковника Саглинова, подоспевшие сюда вслед за татарами, напали на конницу Камбай-бека, приняв ее за неприятеля, и не только отняли ханские вещи, но и ограбили ее собственные... А Мустафа, между тем, открыл ружейный огонь из-за реки и собственноручно ранил выстрелом одного из ширванских всадников...

Ханский дворец в Фит-Даге, никем не охраняемый, более суток стоял открытым, со всем покинутым в нем имуществом. И прежде чем русские власти успели принять какие-нибудь меры, он был уже разграблен жителями. Подошедшие сюда через день казаки с генералом Власовым нашли только пять азиатских пушек и два медные русские орудия с клеймами на них: “Петербург, 1784 года”. По уверению старожилов, орудия эти достались Мустафе-хану с Муганской степи, где они были брошены отрядом грузинских войск при поспешном отступлении их после внезапного возвращения графа Зубова в Россию.

Ермолов воспользовался всеми этими обстоятельствами, чтобы навсегда покончить с ханом. С редким тактом он приказал отправить к Мустафе дочь его в сопровождении почетной свиты, составленной из прежних ханских нукеров и жен тех ширванских беков, которые бежали с ханом. Последним позволили взять все движимое их имущество и даже часть прислуги. Этот поступок удивил персиян, имевших обыкновение в подобных случаях дотла разорять и конфисковывать имущество беглецов. Старый хан был видимо тронут возвращением своей маленькой дочери; "А я,— говорит Ермолов,— имел благовидный предлог избавиться от многих беспокойных людей, которые, оставаясь у нас, конечно, имели бы с ними сношения".

Вслед за тем прокламация Ермолова возвестила ширванцам, что "Мустафа за побег в Персию навсегда лишается ханского достоинства, а Ширванское ханство принимается в Российское управление". Жители отнеслись совершенно равнодушно к совершившимся фактам и остались спокойными. Генерал Вреде, прибывший из Кубы, тотчас учредил правление и привел к присяге все ближние и дальние магалы.

Тридцатого августа, в день тезоименитства русского государя, на неприступном Фит-Даге в первый раз в армянских церквях и татарских мечетях совершено было при громе пушек молебствие о здравии императора. Духовенство, беки и почетнейшие жители обедали в этот день у Вреде, а вечером город был иллюминирован и народ забавлялся фейерверками.

Но и самый Фит-Даг доживал свои последние дни. По неудобству гористого местоположения город здесь был упразднен, и все присутственные места переведены из него обратно в Старую Шемаху.

Так в два года два главнейшие ханства, Шекинское и Ширванское, одно за другим, без выстрела, на вечные времена присоединились к России. "Первое приобрел я,— говорит Ермолов в одном из своих писем,— истолкованием трактатов, как мусульмане толкуют алкоран, то есть, как приличествует обстоятельствам; Ширванское ханство достал познанием свойств хана: он наклонен к боязни и ее увеличивает в нем ипохондрия".

Помимо политического значения, присоединение Ширванского ханства принесло русской казне и большие доходы, что можно сказать лишь о немногих покоренных окраинах. "Бегство хана,— говорит Ермолов,— отяготило нас сладким бременем полумиллионного дохода". Казне достались между прочим прекрасный оружейный завод, находившийся в деревне Лагоджан, в гористой полосе Ширвани, и превосходные конские табуны, державшиеся на шемахинских равнинах. Лучшие жеребцы и кобылицы были отобраны и по распоряжению Ермолова отправлены в заводы Воронежской губернии, к ним присоединил он еще и двух собственных текинских жеребцов — подарок ему туркменского народа. По отличной породе и необычайной быстроте это были необыкновенные и дорогие экземпляры. Любопытен факт, что, отправляя лошадей, Ермолов приказал назначить для сопровождения их самого благонадежного офицера, "но ни в каком случае не из казаков". Вероятно, он опасался, что казаки не доведут без греха такого сокровища, как добрые кони.

Политическая роль ширванского хана кончилась. Аббас-Мирза выслал к нему навстречу, на границу Персии, дядю своего с приветствием и с приглашением приехать в Тавриз, а впоследствии отдал в его управление два соседних с Россией магала и даже содержал при нем почетный конвой из пятисот конных татар. Но это было все, что ему осталось от прошлого величия. Призрак прежней власти не переставал, однако, тревожить хана, и его конвой время от времени врывался в русские владения. Поныне помнят случай, когда

одна из подобных шаек в июле 1823 года была открыта и понесла жестокое поражение при балке Экси-Кюр, между Зардобом и деревней Агаджеби. Ширванский комендант полковник Старков отзывается в своем донесении с особенной похвалой об усердии и храбрости ширванских беков, из которых один, Гассан-ага, изрубил в этой схватке одного племянника, другой, Умбай-бек, положил на месте четырех ханских нукеров. Мустафа должен был убедиться, что ему рассчитывать на население и поддерживать волнения и смуты в Ширвани — нельзя... Персидская война вновь воскресила было в нем большие надежды, но и им сбыться было не суждено.

Очередь была теперь за Карабагом.

Карабаг, то есть Черный сад, одна из богатейших и плодороднейших провинций за Кавказом, некогда принадлежал Армении; позднее завладели им персияне, и Надир-шах большую часть карабахских татар переселил в Хороссан. Одному из этих переселенцев, по имени Пана-хан, старшине Джеванширского племени, удалось бежать со значительным числом подговоренных им земляков на родину и там поднять знамя восстания. Карабаг отложился от Персии и в 1747 году провозгласил Пана-хана своим повелителем.

Так на границе обширного государства возникло небольшое независимое владение, упорно отстаивавшее свою самостоятельность. Пана-хан поселился сперва в Шах-Булахе, но в 1752 году он построил неприступную шушинскую крепость и перенес туда свою резиденцию. На стенах городской мечети и поныне сохранилась надпись, свидетельствующая, что город и крепость основаны Пана-ханом в 1167 году Геджры.

Но не долго Шуша служила резиденцией первому карабагскому владетелю. В следующем же году он умер, а сын его Ибрагим, наследовавший владение, уже принял титул карабагского хана — и Шуша стала столицей ханства.

Нужно сказать, что еще при Пана-хане в Карабаге вспыхнула междоусобная война между татарами и карабагскими же армянами, старавшимися выдвинуть в правители одного из своих меликов, Атам-Шах-Назарова. Пана-хан вынудил тогда своего соперника бежать в Ганжу, но при Ибрагиме он снова явился в Карабаг, и новый хан, чтобы раз навсегда отделаться от претендента, опасного и беспокойного, пустил в дело подкуп: Назаров стал жертвой измены и умер, отравленный ядом.

С его смертью внутренние смуты в Карабаге окончились, и Ибрагим имел возможность заняться устройством страны и развитием ее внутренних сил.

Пятьдесят два года властвовал Ибрагим в Карабаге, пятьдесят два года отстаивал свою независимость от Персии, и геройская оборона Шуши против громадных полчищ аги-Мохаммед-хана составляет бесспорно один из лучших моментов военной истории этого воинственного края. Но роковой час пробил и для Ибрагима. Падение Ганжи и смерть Джават-хана показали мусульманским владельцам, что ожидает их при сопротивлении русскому оружию. Старый Ибрагим решился предупредить кровавую развязку и в 1805 году первый из всех мусульманских владетелей добровольно присягнул на верность России. Но присяга была далеко не искренна. Едва русский батальон, приветствуемый шумной овацией христианского населения, вступил в Шушу и стал в армянском квартале, как Ибрагим раскаялся в своей поспешности и отправил гонца к персидскому шаху, прося его прислать войска для занятия Карабага. Персияне подошли к Араксу, распуская слух, что идут наказать Ибрагима. Ибрагим деятельно готовился к защите, но в то же время изыскивал способы тайно уехать из Шуши и передаться персиянам. Нужно сказать, что он имел привычку выезжать каждый четверг со всем своим семейством за город, проводил

ночь в поле, верстах в двух от городских ворот, и в пятницу вечером возвращался в крепость. И на этот раз хан, под видом обычной прогулки, выехал с большой свитой, но с тем, чтобы ночью уже бежать в неприятельский лагерь. Внучатый племянник его, Джафар-Кули-ага, тогда еще юноша, впоследствии наследник карабагского ханства,— успел уведомить обо всем Лисаневича. Лисаневич, задержав его в своей квартире, сам скрытно вышел из города, чтобы арестовать Ибрагима,— и в произошедшей при этом стычке хан был убит. Тогда карабагское владение перешло по наследству к старшему сыну его Мехти-Кули-хану. Этому-то третьему владетелю Карабага и суждено было вместе с тем быть и последним его повелителем.

Джафар также остался в Шуше, но естественно, что он и Мехти никогда уже не могли примириться: между ними стояла кровавая тень Ибрагима.

Ермоловские времена застали Карабаг в положении весьма печальном. Из некогда богатого населения, простиравшегося до двадцати четырех тысяч семейств, теперь не оставалось в нем и половины. Персидские войны, делавшие Карабаг по преимуществу ареной военных действий, совершенно разорили страну; огромное количество жителей увлечено было в плен, не меньшее — разошлось по разным местам. В равнинах Карабага, прилегавших к персидским границам, никто не осмеливался даже и селиться. Повсюду виднелись там лишь развалины сел, остатки обширных шелковичных садов и запущенные, заброшенные поля.

Под русским владычеством персидские войны давно уже утратили характер народных бедствий для Карабага, но страна не только не поправлялась, а, напротив, падала. Мехти-хан не делал ничего для благосостояния подданных, проводя все время в гаремах, да занимаясь охотой с собаками и ястребами. Даже ханский дворец представлял развалины, в которых не было и признака той роскоши, которая когда-то окружала деда и потом отца Мехти-хана. Между тем ханские любимцы обирали не только народ, но и его самого так, что нередко ему недоставало средств содержать себя приличным образом. Ничтожная дань уже не вносилась в казну несколько лет кряду. Ермолов, еще при первом объезде Карабага, был поражен нищетой края и его дурным управлением. Он это и дал почувствовать хану. Заметив близ самого дворца в Шуше маленькую и некрасивую мечеть, приходившую в совершенный упадок, Ермолов грозно сказал Мехти: “Я требую, чтобы к моему будущему приезду на месте этих развалин выстроена была новая мечеть, которая соответствовала бы великолепию вашего дворца”. Эти слова, сказанные по-татарски, в присутствии многих лиц, произвели на малодушного хана подавляющее впечатление, от которого он никогда уже не мог оправиться. Боязнь скоро и подготовила ему падение.

Прошло уже два года с тех пор, как перестали существовать Шекинское и Ширванское ханства; о Карабаге, по-видимому, забыли,— как вдруг двадцать первого ноября 1822 года в Тифлис пришла весть, что Мехти-хан бежал в Персию. Долго не могли понять причин, побудивших его к побегу. Но причины были. К этому времени открылось одно обстоятельство, по поводу которого хан мог опасаться серьезной ответственности. Дело в том, что с жителей ханства по воле государя были сложены значительные недоимки, накопившиеся за несколько лет, но они не воспользовались этой милостью: расточительный хан скрыл от них это обстоятельство и собрал недоимки в свою пользу. Но была и другая, еще более веская причина,— это трагическая история, разыгравшаяся тогда в Карабаге между Мехти-ханом и Джафар-Кули-агой, наследником карабагского ханства. Между ними давно уже, как сказано, шла тайная, но постоянная борьба, разгоравшаяся с каждым днем, и Ермолов, несмотря на все старания, никогда не мог примирить враждующих.

Джафар вел жизнь рассеянную и разгульную. Было время, когда он без утомления по сорока часов сряду просиживал за карточным столом и потом, как ни в чем не бывало, садился на коня и отправлялся на охоту. Раз, заигравшись в карты у Малахова, он поздно ночью возвращался верхом домой. У мостика, неподалеку от ханского дворца, его ожидала, между тем, засада. Судьба, в которую Джафар так безусловно и искренне верил, спасла его: три пули просвистали мимо, и только четвертая пронизала ему руку, но рана была легкая.

Пораженные неожиданностью выстрелов, сопровождавшие Джафара нукеры смешались, и убийцы успели скрыться. Джафар заявил подозрение на самого хана, так как никому более и не могла быть нужна его смерть. Джафар говорил, что за несколько дней перед тем его секретно предупреждали о преступном намерении хана, и если он не брал никаких мер предосторожности, то только потому, что не мог предвидеть, чтобы покушение произведено было с такой наглой дерзостью. Назначено было формальное следствие, несколько приближенных к хану люды были арестованы, и, вероятно, это-то обстоятельство так напугало мнительного Мехти, что он, в сопровождении всего пятнадцати-двадцати нукеров, выехал из дворца — и больше в него не возвращался. На другой день узнали, что хан уже в Персии. Он бежал почти без денег, покинув в Карабаге и жен, и все свое имущество.

Между тем следствие выяснило, что хан ни в чем виноват не был. Напротив, на самого Джафара падало уже подозрение, что он подстроил всю эту историю сам и сам себя легко ранил в руку, чтобы иметь возможность выступить обвинителем против хана и занять его место. Все обстоятельства сложились так, что Джафар, при тех подозрениях, которые на нем тяготели, уже не мог оставаться в крае и вместе со своей семьей был выслан в Симбирск. Семейство Мехти было отправлено в Персию. Карабаг остался без хана и без наследника — и был обращен в простую русскую провинцию.

В том же году, осенью, возвращаясь из Кабарды, Ермолов посетил Карабаг, и в его присутствии в Шуше открыт был диван (провинциальный суд), введено русское управление, и народ принял присягу на верность русскому императору. Жители города поднесли тогда Ермолову, в память присоединения области, булатную саблю с соответствующей надписью.

Присоединение ханств стало совершившимся фактом.

Правда, оставалось еще одно самостоятельное ханство, Талышинское, управляющееся полковником Мир-Хассан-ханом, утвержденным в этом звании только с четырнадцатого июля 1821 года, но оно, издавна разоряемое персиянами и находившееся в кровной вражде с ними, было не только неопасно для России, но еще освобождало ее от охраны самой отдаленнейшей части русской границы. Было время, когда и Мир-Хассан-хан, напуганный участью соседних владельцев, собирался покинуть все и также бежать под покровительство Персии. Но Ермолов поспешил его успокоить. Он известил его, что бежавшие ханы лишились своих владений вследствие измены, но что русское правительство никогда не имело притязаний на уничтожение ханской власти.

“Посмотрите на высокостепенного Аслан-хана,— писал ему Ермолов,— ему государь великодушный дал и ханство Кюринское и ханство Казикумыкское. Так вознаграждет он служащих ему с верностью!

Но впрочем,— прибавляет Ермолов,— если вы точно намерены удалиться, то место ваше тотчас же займет один из старших братьев ваших, который захочет быть усердным

подданным великого государя. Так предписано уже от меня военному в Талышах начальнику, и от братьев ваших сего скрывать я не имею причины". Мир-Хассан-хан остался. Это, впрочем, не помешало ему изменить при первом слухе о готовившейся войне с персиянами.

Ханства более не существовали. Этим мирным присоединением их, обошедшимся без всяких тревог и волнений, Россия обязана была в весьма значительной степени князю Мадатову. Назначенный в 1817 году военноокружным начальником в ханствах, он, сам уроженец Карабага, с его воинственным характером, с его глубоким знанием татарских нравов и языков, был незаменимым на его посту человеком. Его благоразумная осторожность, соединенная со справедливостью и открытым, благородным характером, снискали ему всеобщую любовь жителей. В его деятельности народ познакомился именно с мирным управлением русских и научился видеть недостатки управления ханского, а под его предводительством вскоре побратался с русскими войсками кровью и на полях битвы.

В свободное от походов время Мадатов отдавал все свои мысли на устройство закавказских провинций, особенно в это неопределенное время перехода их от ханской власти под русское управление, и он успел утвердить в них такое спокойствие и безопасность, что сам Ермолов ездил там, и даже по ночам, в сопровождении лишь конвоя из туземных беков. При Мадатове появилась пословица, что "в Карабаге женщина может ходить безопасно с блюдом золота на голове".

Таким образом мысль Ермолова, направленная на закрепление ханств за русской властью, нашла в Мадатове замечательнейшего и энергичнейшего исполнителя, которого не должна забыть история.

XLII. ЦЕРКОВНЫЙ БУНТ В ИМЕРЕТИИ И ГУРИИ

Почти одновременно с назначением Ермолова на Кавказ экзархом Грузии сделался известный преосвященный Феофилакт, земляк Ломоносова, одна из тех редких, выдающихся личностей, которые всем своим гордым, упорным характером и направлением умственного развития как бы предназначаются на реформаторскую деятельность, страстно отдаются ей и становятся или жертвой своей идеи, или добиваются торжества ее.

Феофилакт застал церковное устройство в Грузии в самом шатком и неопределенном положении. Был учрежден экзархат, открыта синодальная контора, но они существовали только на бумаге, а на деле продолжали господствовать старинные грузинские беспорядки и полный произвол духовенства, соединенный с бесконтрольностью в доходах и расходах церковного имущества. Феофилакт со всей своей обычной страстностью принялся ломать и переделывать это неурядливое, но сложившееся веками церковное устройство Грузии. По его представлению святейший синод в Петербурге издал распоряжение о сокращении в Грузинском экзархате церквей, и вместо девяти епархий, существовавших в Имеретии, Мингрелии и Гурии, определил быть только трем — по одной на каждую область. А чтобы привести эту меру в исполнение, необходимо было прежде определить и привести в известность количество церковного дохода и сделать перепись церковному имуществу.

Местное духовенство встретило это распоряжение ропотом. Не могли быть, конечно, довольны священники, остававшиеся по сокращению церквей за штатом, но это неудовольствие еще более разжигалось и поддерживалось в них самими митрополитами, стремившимися отстоять свою независимость от петербургского синода. И так как в духовенстве Закавказья были люди знатнейших княжеских фамилий, имевших большие

связи и значение в стране, то не трудно было предвидеть, что церковный вопрос скоро перейдет на гражданскую почву, что под видом защиты религии князья встанут на защиту своих, нарушенных экзархом, привилегий бесконтрольности и произвола — и поднимут народ. Так, действительно, и случилось.

В Картли реформы прошли довольно спокойно, но в Имеретии, еще недавно пережившей кровавые дни восстания, где русская власть не успела окрепнуть, сразу начались волнения. Жители не только не допустили сделать описи церковному имуществу, но едва не убили посланных для того комиссаров. Гордый и настойчивый Феофилакт решился сам отправиться в Имеретию, думая, что его личное присутствие там устранит сопротивление, а в Гурию и Мингрелию послал прокурора синодальной конторы. Ермолов, видевший несвоевременность затеянного экзархом церковного переустройства, советовал ему по крайней мере повременить с реформами, предупреждая, что по грубости населения из-за этого вопроса могут возникнуть серьезные беспорядки. Но Феофилакт уже был в Кутаисс, и суровые, крутые распоряжения его не замедлили усилить волнение, быстро охватившее всю Имеретию. Нужно сказать, что распоряжение о закрытии церквей и об описи церковного имущества не имело в виду княжеских и дворянских поместий, ограничиваясь на первый раз лишь такими имениями, которые находились в непосредственном распоряжении властей, но Феофилакт дал реформе всеобщее применение и принялся проводить ее повсюду, затрагивая самые близкие интересы лиц частных и даже права их собственности. Естественно, что дело не могло обойтись без открытого неудовольствия и ропота.

Имеретины жаловались. Они писали, что они “долго были в руках неправедных агарян и много перенесли страданий, но что и агаряне до дел духовных у них не касались”, что они, “народ, исповедующий веру, удержавшуюся у них от самого распятия Христа, не могут быть презрительнее ослабленных иудеев, которые благоденствуют под русским правлением”, и что “их скорбь не имеет предела при виде, как закрывают святые их церкви, как отторгают от них благочестивых священников, приносивших бескровные жертвы за спасение душ их, как отбирают кресты и образа, украшенные их скупным достоянием, и как отчуждают, наконец, церковные имущества, приобретавшиеся веками и кровью и жалованные им прежними царями в награду прежних заслуг их”.

Между тем, под видом поборничества за утесненную веру, злонамеренные люди распускали слух, что русские намерены обратить их в еретичество, и призывали народ постоять за веру, за Божьи храмы, за оскорбленное и униженное святое духовенство. Волнение росло, и уже вооруженные толпы стали стекаться в селение Химши.

Вельяминов, при первом же известии о столь неблагоприятном обороте дела, просил Феофилакта немедленно вернуться в Тифлис. Но Феофилакт медлил и дождался того, что сам народ потребовал его немедленного удаления. Управляющий в то время Имеретией генерал-майор Курнатовский,— некогда человек замечательной энергии и храбрости (он был преемник Лихачева по командованию славным шестнадцатым егерским полком на Кавказской линии), а тогда уже изможденный болезнями, ранами и старостью,— сам отправился на Квирильский пост, но вместо того, чтобы действовать энергично и требовать от населения спокойствия, он вступил с мятежниками в переговоры.

“Мы не разойдемся,— ответили ему коноводы движения,— пока Феофилакт не выедет из Имеретии. Покуда он здесь — ни почты в Грузию, ни дорог для купцов не будет”...

И Феофилакт должен был уступить необходимости и выехать из Кутаиса. Возбуждение против него народа было так велико, что один из толпы, собравшейся при его отъезде,

покушался даже на жизнь его и был схвачен с оружием в руках у самых колес его экипажа. Курнатовский, между тем, так растерялся в этих сложных обстоятельствах, что даже выдал мятежникам уже составленные описи церковного имущества, оставленные у него на хранение уехавшим экзархом.

“Я всячески буду стараться,— писал Курнатовский в то же время генералу Вельяминову,— избегать дела с мятежниками, которые, по-видимому, только того и ждут, чтобы мы начали управляться оружием. Первый выстрел будет сигналом, и пламя мятежа обнимет весь здешний край”.

Слабость эта естественно повела только к дальнейшему развитию беспорядков. Дух мятежа был всеобщий; в Гурии и Мингрелии готовились действовать заодно с имеретинцами и под рукою тайно сносились с Абхазией и даже с Турцией. Некоторые владетельные князья еще показывали преданность России, но эта преданность, при их всегдашней полуазиатской двуличности, была более чем сомнительна, а сила их против общего народного движения — ничтожна.

Ермолов, со своей стороны, принимал все меры, чтобы избежать необходимости действовать оружием, и войска, под начальством генерала Сысоева, были только придвинуты к границам Имеретии, а народу объявлена прокламация, призывавшая его к порядку. Создалось странное и беспокойное положение. Открытого вооруженного восстания не было, но русские войска должны были стоять с ружьем у ноги. Злонамеренные люди воспользовались и этим и распустили слух, что солдаты собираются по ночам, чтобы при первом удобном случае вырезать жителей.

Оставлять дела в таком положении было невозможно. Ермолов писал из Дагестана к экзарху, что раз начатое церковное преобразование должно быть доведено до конца, несмотря ни на какие препятствия, иначе народ признает уступку за слабость и даже за боязнь со стороны правительства, что в будущем обещало бы только вечные смуты. А потому он указывал ему на необходимость взять и выслать в Россию двух старейших имеретинских митрополитов, стоявших, как было известно, во главе движения и не оказывавших самому ему, как первосвященнику, должного уважения.

“Оскорбленное самолюбие горделивого монаха,— говорит Ермолов,— одобряло сие распоряжение”. Но арест митрополитов являлся делом нелегким и требовал большой осторожности, чтобы не вызвать окончательно мятежного взрыва в народе. Генерал Курнатовский — “слабое управление которого, по выражению Ермолова, было хуже нашествия татар”— для этой роли было неудобен. “Храбрый офицер этот,— писал про него главнокомандующий императору Александру,— достоин уважения, но старость, притупя способности, сделала его слабым к командованию”. Курнатовский был сменен, а на его место правителем Имеретии назначен командир сорок четвертого егерского полка полковник Пузыревский — некогда, в Отечественной войне, адъютант знаменитого князя Витгенштейна.

Ермолов вполне полагался на известную энергию и благоразумие Пузыревского, однако же, в предвидении новых беспорядков, он отложил свою поездку в Петербург и поспешил вернуться из Дагестана в Тифлис.

Пузыревский прибыл в Кутаис в начале 1820 года. Осмотревшись в крае, он увидел, что замыслы мятежников приняли размеры неизмеримо шире, чем можно было бы судить по внешности. Митрополиты открыто благословляли народ на подвиг освобождения отечества, в церквах освящалось оружие, и священники раздавали его своим прихожанам.

Имеретинцы даже выбирали себе уже и царя: одни требовали князя Зураба Церетели, другие — сына его, Григория, третьи указывали на князя Ивана Абашидзе — сына царевны Дареджаны, дочери Соломона Великого. Но большинство отвергало всех этих трех претендентов и требовало царя по прямой линии от древней крови Багратидов.

Медлить долее с арестованием главных заговорщиков Пузыревский считал невозможным. Предположено было выбрать темную ночь и, направив несколько малых летучих отрядов, разом захватить в свои руки всех коноводов восстания. Намерение хранилось в величайшем секрете. Солдаты не должны были знать, куда и зачем их ведут, да и каждому из начальников этих летучих партий должно было быть известно только то, что ему поручено.

Всех арестованных Пузыревский предполагал привезти в редут, построенный вне Кутаиса еще покойным Симановичем, а отсюда отправить их под сильным конвоем в Тифлис, в случае же крайности перебить и трупы бросить в реку. “Чтобы пленные были смирнее, не могли бежать и не были узнаны во время провоза жителями, я прикажу — проектировал, между прочим, Пузыревский в письме Вельяминову,— надеть на них холщовые мешки с отверстием против рта и перевяжу сверх мешков по шее и по поясу”. Предоставляя Пузыревскому полную свободу действий, Вельяминов отверг, однако же, последнюю меру, как слишком суровую и совершенно напрасную. “Вообще,— писал он ему,— надо более всего страшиться смерти митрополитов, убийство которых может не только возмутить имеретинцев, но произведет дурное впечатление и на наших солдат, привыкших относиться к духовенству благоговейно”. Но если бы крайность заставила прибегнуть к этому средству, то Пузыревскому приказано было отнюдь не оставлять тела убитых в Имеретии, а тем более не кидать их в реку, так как тела могут всплыть и дать только пищу суеверию народа; напротив, их велено было вывезти даже из Грузии и предать земле не ближе Койшаура.

Меры, принятые Пузыревским, увенчались полным успехом. Четвертого марта 1820 года, вечером, одновременно схвачены были оба митрополита, гелатский и кутаисский, царевна Дареджана и несколько более влиятельных имеретинских князей, которые под сильным конвоем тотчас и были благополучно высланы в Россию. Только один из этих митрополитов, Досифей Кутатели, заболел в дороге простудной горячкой и умер на пути между Сурамом и Гори. Долго не знали, как поступить с его телом, и скрывали смерть его даже от конвойных солдат; наконец из Тифлиса пришло разрешение похоронить его в ближайшей церкви, но без всякой пышности и церемонии; тело покойного митрополита провезли еще несколько дней и предали земле в старинном монастыре Ананура. Аресты не произвели, по внешности, на народ особенного впечатления, и в столице Имеретии все было спокойно. Но Пузыревский не верил этой наружной тишине. “Кругом все тихо,— писал он Вельяминову восьмого марта,— но спокойствие это, быть может, предвещает бурю, и я для утишения ее готовлю меры”.

И Пузыревский не ошибался.

С удалением из Имеретии митрополитов и царевны Дареджаны во главе движения стал князь Иван Абашидзе, один из всех успевший избежать ареста и нашедший себе убежище в Гурии, у князя Койхосро Гуриели, дяди тогдашнего гурийского владетеля, Мамия. К нему спешило теперь все, что было недовольно действиями русского правительства. Центр возмущения передвинулся в Гурию.

Страна эта, известная в древности под именем Лазики, наполнена памятниками, по которым, как по открытой книге, читается история народа и его древнего образования.

Здесь руины старых укрепленных замков римских императоров перемешиваются с остатками древних городов, с их христианскими памятниками — церквями. Греки, римляне, венецианцы, евреи и персы, христиане, магометане и огнепоклонники попеременно занимали этот цветущий край, бывший ареной постоянных тревог и борьбы. Народы исчезали здесь один за другим со своими богатыми цветущими колониями, оставляя заступавшим их место только слабые следы своего существования.

Трудно определить, в каких отношениях была в древности вся эта область к царям грузинским. Феодальная подчиненность им всех земель, составлявших коронное достояние грузинского народа, которую застала история, позволяет думать, что и Гурия была также ленной областью Грузии, но удержала свою племенную особенность. Возникавшее могущество грузинских властителей соединяло по временам весь картвельский народ под один общий скипетр, но не утверждало общего чувства народности. Достоверно известно, однако, что до царствования Баграта I, то есть до IX века, Гурия принадлежала грекам, но с ослаблением власти восточных императоров они должны были мало-помалу отказываться от прав своих на отдаленные береговые земли, а грузинские цари, пользуясь этим, завладевали Гурией и управляли ею через эриставов — звание, из всех в Гурии древнейшее. После несчастного разделения царства между тремя сыновьями Александра I является звание атабека Гурии. Но уже с конца XV века правители ее стали называться прямо владетельными князьями с титулом Гуриелей.

Вскоре после того Гурия делается добычей турок, и гуриец всей душой ненавидит их до настоящего времени. Воинственный и гордый, он не может простить им унижения, которому они подвергали его отечество в былые времена набегов, накладывая святотатственную руку и на гробы его владетелей, и на его бедный дом, на жену и детей, не щадя и оскорбляя даже самую святыню церквей. Но прошло и это время со всеми его ужасами, Гурия успокоилась было под мощным скипетром России, как вдруг имеретинское движение вовлекло ее снова на изменчивый и шаткий путь воинственного возбуждения.

Укрывшись в Гурии, в замке князя Койхосро, князь Абашидзе повел ревностную агитацию, призывая имеретин к оружию. Князь Койхосро, в душе всегда сочувствовавший русским, не мог не понимать последствий своего фальшивого положения, но, по народным обычаям, он не мог поступить иначе, чтобы не подвергнуться позору за отказ в гостеприимстве людям в несчастии, а тем более родственникам. Так в борьбу вовлечен был этот замечательнейший человек Гурии, на котором стоит остановиться.

Койхосро Гуриели, третий сын владетельного князя Георгия, с самого детства, по обычаям страны, предназначался к занятию важного духовного сана шемокмедского епископа и получил самое лучшее по тогдашнему времени образование: он говорил на многих языках и читал в подлиннике латинских и греческих классиков, что в стране, подобной Гурии, было чрезвычайной редкостью. Но пылкий, страстный характер Койхосро скоро, однако, отклонил его от предназначенного ему жизненного пути. Не чувствуя влечения к монашеству, он, уже посвященный в дьяконы, сложил с себя духовный сан и стал одним из блестящих политических деятелей своей страны в смутное время конца прошедшего столетия, когда Гурия признавала еще над собою власть Турции, а Турция опустошала и грабила край без всякой пощады.

По смерти владетеля Гурии Симона (преемника Георгия) законным наследником остался трехлетний сын его, Мамий. Пользуясь его малолетством, беспокойные дядья его, братья Койхосро, Вахтанг и Леван, попеременно захватывали власть в свои руки, наполняя страну ужасами междоусобия. Койхосро Гуриели, уже тогда известный своим умом и

силой характера, заступился за малолетнего владетеля, выгнал Вахтанга в Турцию, смирил Левана и при ничтожных средствах сумел водворить порядок и спокойствие в стране, где в продолжение многих веков царило одно только право сильного. Эта темная сила, вконец губившая родину, олицетворялась в мятежных моуравах, князьях и сильных азнаурах, которые, запершись в свои заоблачные крепкие замки, предавались разбойничьему образу жизни.

На Аджарском хребте, отделявшем Гурию от турецких владений, поныне множество развалин старых замков и крепостей — Асканы, Ликауров, Байлети и других. Пустыми стоят теперь эти разбойничьи вертепы; рука времени довершила то, чего не сделали люди: рассыпались стенные зубцы, стены башен треснули, в расселинах выросли деревья и плющ своим изумрудным ковром покрыл развалины — могильные памятники прошлого. Человек давно уже не живет здесь, и лишь ящерицы да змеи, "злые, но, быть может, менее зловредные и ядовитые творения, чем прежние обитатели этих замков", выползают из своих нор, да ворон, сидя на вершине башни, каркает еще, как будто жалуясь, что нет ему теперь уже прежней кровавой пищи, что не выбрасывают из замков трупов — обычных жертв насилия и вероломства, своды подземелий пробиты все тем же неумолимым временем, и луч солнца свободно входит туда, где сидели в цепях истомленные узники или назначенные в продажу для турецких гаремов красавицы...

Но тоща, в конце минувшего века, развалины были еще полны жизни, и из этих-то логовищ владетели замков выезжали на дороги с целыми шайками, грабили жителей и, забирая в плен красивейших женщин, девушек и мальчиков, продавали их в Турцию. Этот постыдный торг обратился наконец в постоянный и прибыльнейший промысел. Не только люди, чуждые друг другу по крови, но даже родственники перестали ценить священные узы, связывавшие их,— муж жену, отец дочь, брат сестру влекли на невольничий рынок и продавали пограничным туркам.

Койхосро не мог оставаться равнодушным зрителем такого глубокого падения родины и сумел обуздать своевольных разбойников-князей. Поныне памятна в стране борьба, которую вел Койхосро против двух злейших врагов порядка, двух моуравов: асканского — Давида Асатиани и ланчут-ского — Забуедиля Жардония.

Народное предание облекло падение Асканы легендарным ореолом, и в этой легенде рисуются в ярких чертах и характер Койхосро, и состояние в тогдашней Гурии нравов.

Построенный в глубоком ущелье, на отвесной скале, Асканский замок по выгодному местоположению более других крепостей представлял собою надежный оплот и притон для разбойников. В нем, после буйно проведенной молодости, доживал свой век старый Давид Асатиани, окруженный толпой своих родных, таких же своевольных и непокорных, как он сам, и всяких людей, отверженных родиной, укрывавшихся здесь от преследования закона.

Много мер было предпринято со стороны Койхосро, чтобы истребить Аскану, но все они были безуспешны, а от этого только умножалось число приверженцев Асатиани. Склонить его на мир, заставить добровольно отказаться от разбойничьей жизни нечего было и думать, и напрасно Койхосро засылал людей, предлагая старому Давиду сдать его неприступную крепость, чтобы получить взамен ее лучшие поместья Гурии. Гордый и надменный владелец замка упрямо отвергал все предложения. Уверенный, что в стенах древней Асканы он непобедим и не имеет надобности в чужом покровительстве, Асатиани не хотел отдаться без боя в руки того человека, к которому питал непримиримую ненависть, А между тем и оставить Асатиани в том положении, в которое поставили его

смуты края и междоусобные раздоры князей, было еще менее возможно. Тогда Койхосро решился прибегнуть к помощи измены и предательства. К этому-то событию и относится легендарное сказание об Аскане.

“В одну из тех минут,— говорит оно,— когда азиатский вельможа с патриархальной торжественностью решает политические дела и вопросы под открытым небом, среди беспечного и праздного народа, Койхосро завел речь об Аскане.

— Я подожду еще немного,— говорил он,— посмотрю, что будет дальше, но если дела не изменятся к лучшему, то клянусь гробом отца моего истребить в ней всех, а старого Асатиани велю сжечь живого.

— Стоит ли этот зверь, чтобы о нем так много беспокоиться,— ответил один из присутствующих.— Пусть живет себе на скалах, как коршун, пока голова его не скатится с утесов. Нам следует только окружить Аскану, пресечь к ней все сообщения — и делу будет конец.

— Крепость была окружена шесть недель,— возразил Койхосро,— и мы ничего не выиграли. Давид жил себе, как живал всегда, а людей моих отправлял на тот свет десятками; в крепости есть подземные ходы, и для него все равно, хоть век сиди под стенами Асканы. Да и дело не в Аскане, нужно только вытянуть оттуда самого Асатиани. Истребить негодяя не грешно перед Богом, и я для общего блага готов пожертвовать собою, лишь бы достичь той цели, от которой ожидаю счастливой будущности для Гурии.

— Жизнь твоя нужна для всех,— прервал его старый Беридзе,— но жизнь такая, как моя, нужна очень немногим. Я стар, стою у дверей гроба. Скажи, что надо сделать, и за мной остановки не будет. Но об одном прошу: если меня убьют, не оставь жену и детей; ты знаешь — я беден.

Койхосро озабоченно и угрюмо посмотрел на говорившего.

— Фамилия Беридзе, фамилия древнейших азнауров Гурии,— сказал он,— издревле отличалась преданностью владельческому дому, и я это вижу теперь на деле. Семейство твое отныне будет моим семейством, но ты сам иди и приготовься на все, что я от тебя потребую.

Смутно почувствовал старый Беридзе, какую именно службу потребует от него Койхосро. Страшно и бесчестно казалось ему быть предателем Давида, с которым вместе они проводили первые дни своей беспечной молодости. Только к рассвету забылся он мимолетным сном, но и во сне воспоминания говорили ему о прошедшем, о дружбе с Асатиани.

Утром он пошел к Койхосро. Там застал он князя Т. Д., приехавшего в ночь на совещание с правителем по тому же делу. Беридзе, привыкший с юных лет уважать обычаи родины, был неприятно изумлен, не хотел поверить, чтобы князь Т.Д., некогда усыновивший Асатиани, мог изменить вековечным и святым обязанностям этого духовного родства. Но дело говорило само за себя. Подавив тяжелое чувство, Беридзе выслушал, что ему нужно делать, молча накинул на плечи бурку, закрыл лицо башлыком и отправился в путь с несколькими из своих товарищей.

Была темная ночь, когда путники приблизились к ущелью, где жил Асатиани, и стал осторожно спускаться по скалам и утесам к реке, шумевшей у обрывов Асканы. Как змеи

подползли они к замку и залегли за каменьями. Никто не видел и не слышал их прихода. На рассвете Беридзе один поднялся на скалу и огласил окрестность громким криком. Но в крепости все еще спали, одно только эхо повторило оклик и перекатом отдалось по горам смутным, зловещим гулом. Беридзе стало страшно, он замолчал и плотно завернулся в бурку. Вот уже солнце поднялось из-за гор, и на крепостной стене стали появляться вооруженные люди. Беридзе стоял у всех на виду.

— Кто ты? — окликнули его из крепости.

— Божар Беридзе. Скажите Давиду Асатиани, что я безоружный, хочу его видеть. Бояться ему нечего; я один, а вас при нем целые сотни.

— От кого ты прислан?

— От князя Т.Д.

Прошло несколько минут, и в воротах неприступного замка показался сам Асатиани.

— Что тебе нужно, Божар? — спросил он, видимо ни на одну минуту не покидая осторожности.— Если ты хочешь погубить меня, то это труд, который не даст тебе покоя и в могиле. Ремесло, за которое ты взялся, приятель, тяжело и недостойно тебя, если ты только не забыл нашу молодость.

— Давид!— ответил Беридзе,— В роду моем не было предателей. Тридцать лет, как мы расстались с тобой, и вот ты живешь на этих скалах между орлами, а я, по-старому, все еще рыскаю на коне по лесам и полям моей родины.

— Зачем ты пришел ко мне?

— По просьбе князя, усыновившего тебя. Я пришел сказать, что он, как отец, принимает к сердцу твою ссору с родиной и желает видеть в своем Асатиани доброго азнаура, верного слугу отечества. Кроме того, я бы сказал тебе много, но отсюда говорить неудобно. Сойди, мы потолкуем наедине, а если боишься, возьми людей и оружие.

— Ни тебя, ни твоего владетеля еще никогда не боялись Асатиани,— гордо ответил Давид на коварные слова старого друга.— Один из предков моих построил эту крепость, и она после смерти моего отца досталась мне, также, как и ему, от предков. От меня она перейдет к моему наследнику. Следовательно, если меня и не станет на свете, для всех вас пользы не много. Замок будут защищать до тех пор, пока существует хотя один Асатиани.

Оба они замолчали. Асатиани вернулся домой.

Глубокая тишина царствовала повсюду, и только доносился по ветру отдаленный гул речки, бешено бившейся по обрывам и скалам в глубокой пропасти. Вдали виднелись сходившиеся тени пирамидальных горных вершин, из-за которых выходило блестящее солнце.

— Помнишь ли ты мой сон, который я вчера рассказывал тебе?— говорил Асатиани, обращаясь к жене,— Взгляни в ущелье, на тень, что падает правее реки. Не имеет ли она поразительного сходства с тем черным крестом, который снился мне на прошлой неделе? И это место назначено мне для свидания! Неужели там ждет меня измена? Неужели тот, кто усыновил меня, решится быть виновником моей гибели?

Томимые предчувствием, жена и дети не хотели отпускать его, но он, полный веры в самого себя, покорный судьбе, вышел из крепости и стал спускаться в ущелье. Там встретил его Беридзе.

— А где же князь Т. Д.? — спросил у него Асатиани.

— Князь будет сию минуту, а между тем мы поговорим с тобою вон там,— и он указал рукою на огромный камень, свалившийся с гор на дорогу. Молча они отправились туда, но едва Давид поднялся на обломок скалы, как грянул выстрел, и, пораженный смертельной пулей, старик свалился с утеса на то самое место, где тень образовала собою черный крест.

Падая, Асатиани успел, однако же, выстрелить из пистолета и тяжко ранил Божара.

В крепости слышали выстрелы. Из замка бросились вниз вооруженные люди. Но прежде чем они успели сойти, Беридзе скрылся; Койхосро и князь Т. Д., приехавшие также к замку и издали видевшие эту сцену, по первому выстрелу поскакали на место убийства, но там все было пусто и тихо, как за день перед тем, и лишь лужа свежей запекшейся крови указывала место, где совершилось предательство... Смертельно раненного Асатиани уже умчали в крепость.

Удачное начало обещало успех. Койхосро предполагал, что Аскана, лишившись главного своего предводителя, не представит ему серьезного сопротивления, и немедленно кинулся на приступ, но он был отбит,— торжество победы осталось все-таки за умирающим Асатиани. Но крепость не праздновала свою победу; в тот же день, к вечеру, изнеможенный смертельной раной, измученный душевными тревогами, старый Асатиани умер, заклиная детей и родственников защищать его Аскану.

Но час Асканы уже приближался. Старик, передавая детям все, что ему принадлежало при жизни, не мог передать им своего ума и опытности, а они одни в течение сорока лет только и поддерживали грозную славу Асканы, заставлявшую трепетать его родину. Понимали это и люди, окружавшие Асатиани, и, предвидя неизбежную гибель себе, если останутся в стенах Асканы, рассеялись, кто в Турцию, кто по полям своей родины, и Асатиани остались со слабыми и ненадежными силами. Койхосро, избегая потери людей, предлагал сыновьям покойного Давида сдать ему крепость, но все предложения его были, как и прежде, отвергнуты: потомки Асатиани опасались мучительной казни.

Тогда Койхосро решился овладеть Асканой посредством внезапного нападения. И вот однажды, на самом рассвете, с несколькими десятками отважных гурийцев он бросился на приступ и быстро, по ступеням, выбитым в скале, поднялся на крепостные стены. Перекаты беспрерывных выстрелов не умолкали почти до заката солнца, но потом вдруг все затихло, точно в крепости не осталось более ни одной живой души. А спустя немного и Аскана, вся закрытая до того пеленой порохового дыма, показалась на просветлевшем небосклоне как бы уходящей с грешной земли в волнах пламени: она пала, как падает окровавленный разбойник на сцене своей буйной и беззаветной жизни, в толпе себе подобных...

Беридзе, виновник успеха, не дожил до радостной вести; он умер накануне падения Асканы, и умер, “благословляя щедроты и милости к себе Койхосро”. Так говорит легенда.

Вслед за Асканой пал и Ланчутский замок, а вместе с тем прекратились и все беспорядки, тревожившие край.

Койхосро стал грозой беспокойных азнауров. Так еще до вступления Мамия в наследственное управление страной, в Гурии, благодаря энергии Койхосро, наступило спокойствие, и страна отдохнула от долго тяготевших над нею бедствий. Во времена Цицианова Мамий вступил под покровительство России, и тогда Койхосро, отличенный русским правительством, получил чин полковника. С этим-то энергичным человеком и приходилось теперь иметь дело Пузыревскому.

Итак, арест главных вожаков имеретинских волнений и бегство князя Абашидзе в замок Койхосро перенесли центр действий в Гурию и вовлекли в дело замечательнейшего человека этой страны. Обстоятельства усложнялись. А между тем, по внешности, по первому впечатлению, могло казаться совершенно иное, и сам Пузыревский поддался успокоительному действию окружавшей его тишины. Действительно, в марте 1820 года и в Имеретии и в сопредельной с ней Мингрелии было все так смирно, что он нашел возможным уведомить Вельяминова, что "тишина Имеретии и покорность ее жителей удостоверяют его, что последние слишком напуганы выдумками о его строгости"; при этом он прибавлял, что проводит все время в беседах с имеретинами, разъясняя им "попечение о них начальства и то благоустройство земли, которое последует, когда правительство уверится в доверии к себе народа". "Имеретины,— писал он далее,— соглашаются, что теперешний способ их жизни, степень просвещения, хлебопашество и ремесла не соответствуют народу, озаренному христианской верой. Они желают училищ, желают устройства и тем заставляют меня обратить начальническое внимание на образование сей земли. В этих предположениях будут затруднения, даже препятствия, но постоянный ход к предначертанной цели преодолеет все, и страна, угнетаемая невежеством, лишенная от набегов турок христианской нравственности, нищая от лени и жадности князей и духовенства, будучи богата дарами природы, под защитой законов, озаренная необходимыми познаниями, утешит попечительное начальство своим благодействием".

Очевидно, Пузыревский, одушевляемый такими добрыми намерениями, не придавал особенного значения смуте, затеянной князем Абашидзе, и послал ему предложение явиться с повинной головой. Но Абашидзе наотрез отказался. Отказался и влиятельный Койхосро выдать изменника. Можно думать, что Пузыревский не ожидал и этого; он был поражен и обижен. Есть сведения, что он до этих событий водил с Койхосро дружбу и уважал его ум и достоинства. Но теперь все переменилось: Пузыревский настаивал на истреблении Койхосро, "как известного разбойника, не стоящего пощады", и просил разрешения внезапно напасть на замок Шемокмеди, чтобы уничтожить "гнездо и шайку Койхосро". "Под предлогом исправления дорог и карантинов,— писал он Вельяминову,— я введу в Гурию войска по частям, и до последней минуты никто не будет знать о настоящей цели". Затем решено было потребовать Койхосро на объяснения, и так как он, вероятно, не явится, то это и может послужить законным предлогом для действия против него оружием.

Действительно, девятого апреля Койхосро потребован был в Кутаис и, конечно, не явился. Тогда Пузыревский тринадцатого числа внезапно подступил к Шемокмеди и, остановив войска в отдалении, сам, с небольшим конвоем, отправился в укрепленный замок Койхосро. Но он нашел его покинутым и узнал только, что Койхосро находится неподалеку, в какой-то деревушке. На возвратном пути к отряду неожиданно стряслась над Пузыревским беда, которая сразу опрокинула все составленные до того расчеты и обострила до последней крайности все дело.

Спускаясь с горы по густому лесу, Пузыревский встретил трех гурийцев.

— Где Койхосро? — спросил он их. В ответ грянуло три выстрела, и Пузыревский, смертельно раненный в бок, упал с лошади; из бывших с ним конвойных казаков один был также ранен и потом побит кинжалами, а другой казак и офицер схвачены в плен и доставлены к Койхосро, который будто бы подарил убийце Пузыревского ружье и саблю. Отряд, стоявший под горою, слышал выстрелы, но не посмел броситься в лес и отступил к Озургетам. Так передает дело официальное донесение. Но есть частные сведения, в ином свете представляющие катастрофу. Говорят, ничего похожего на засаду не было, но что Пузыревский, расспрашивая пятнадцатилетнего мальчика о местопребывании Койхосро, ударил его плетью за то, что тот стал отговариваться незнанием, и юноша, не стерпев обиды, выхватил из чехла ружье — и положил его на месте. Теперь положительно известно также, что Койхосро не принимал никакого участия в убийстве Пузыревского и, напротив, был огорчен смертью человека, которого привык уважать, тем более что ему самому смерть эта ничего доброго не обещала. Но в то время вся вина преступления пала на одного Койхосро. Встревоженный смертью Пузыревского, он не решался возвратиться в свой замок, хотя и не предпринимал ничего враждебного против русских. Но уже и этого было достаточно; нашлись люди, которые постарались выставить поведение Койхосро явным доказательством его принадлежности к возмутителям, и сам Мамий, всем обязанный Койхосро, но давно уже тяготившийся влиянием умного дяди, первый представил его в этом свете перед Ермоловым.

А обстоятельства, между тем, все усложнялись. Когда известие о смерти Пузыревского дошло до Озургет, подполковник Згорельский, стоявший там с двумя ротами Мингрельского полка, при двух орудиях, вопреки советам владетеля тотчас двинулся на Шемокмеди, чтобы выручить тело Пузыревского и освободить захваченного в плен офицера. Это был тот самый Згорельский, который, под командой еще Несветаева, выдвинулся в 1809 году в знаменитом трехдневном бою с персиянами под Амамлами, Беканом и Гумри. В то время Згорельский был майором Саратовского полка, но с тех пор военная карьера его подвигалась вперед не особенно быстро. Ермолов застал его еще подполковником, исправлявшим обязанности дежурного штаб-офицера Грузинского корпуса. “Не должен был я сомневаться ни в способности, ни в храбрости его,— говорит Ермолов в своих записках,— ибо на подполковнике видел орден св. Владимира 3-ей степени, и оказанный им подвиг описан был великолепно”. И он представил его в командиры одного из кавказских полков. Но действия Згорельского в Имеретии объяснили Ермолову, почему он так долго оставался в тени.

В ночь на пятнадцатое апреля Згорельский прибыл в селение Чахатауры и, оставив здесь для поддержания своих сообщений сильный пост от двух рот сорок четвертого егерского полка, под командой подпоручика Клугена, двинулся дальше. От Озургет до Шемокмеди только семь верст, но на третьей версте дорога углубляется в дремучий лес, который тянется уже сплошь до подошвы Шемокмедской горы, омываемой речкой Бзуджи, глубокой и быстрой, через которую устроен был постоянный мост. В этом лесу, в пяти верстах от замка, Згорельский дал себя окружить сильному неприятелю. Пробиваясь штыками, отряд дошел наконец до подошвы высокой горы, на которой стоял замок Койхосро. Но там он нашел мост через реку уничтоженным, а между тем приближалась ночь, и переходить с боем глубокую, быструю речку вброд Згорельский не решился. Всю ночь шла перестрелка, а наутро Згорельский увидел весь противоположный берег в завалах и засеках, которые надо было брать штурмом. Не считая себя достаточно сильным, чтобы справиться с этими препятствиями, он начал отступать к Озургетам. Но едва отряд, теснимый на каждом шагу мятежниками, дошел до Марани, как вслед за ним

туда же явились три унтер-офицера и двадцать рядовых с Чахатаурского поста и сообщили, что пост взят неприятелем.

Действительно, восемнадцатого апреля, в то самое время, как отряд Згорельского отступал от Шемокмеди, некто Давид Эристав, собрав большую шайку, напал на Чахатауры. Пост этот не только не был укреплен, а даже, как можно предположить, не был и оберегаем с должной бдительностью. Подпоручик Клуген заперся с горстью людей в деревянном магазине и там защищался. Но когда строение охвачено было пламенем, команда бросилась вон и попала в руки мятежников. Клуген, раненный пулею, упал и был схвачен в плен. Большинство солдат перебито, больные, лежавшие в лазарете, вырезаны, до двадцати человек схвачено в плен, а остальные, пробившись штыками, рассеялись по лесу и кое-как успели добраться до Марани.

Теперь к торжествующему мятежу пристали и мингрельцы. Князь Иван Абашидзе поспешил в Имеретию, чтобы и там поднять восстание. Под его личным начальством сотня мятежников сняла пост из восьми казаков на реке Чалобури и прервала этим сообщение с Тифлисом. Тогда имеретинцы провозгласили в селении Сазано царем Имеретии Вахтанга, незаконного сына царевича Давида, и двинулись с ним к Кутаису, чтобы там венчать его на царство. В Мингрелии беспорядки с каждым днем росли. Сам владетельный князь Леван оставался верен России, но родной брат его, Георгий, воспитанник Пажеского корпуса и офицер Преображенского полка, находившийся в то время в отпуску на родине, стал во главе мятежа и покусился даже на жизнь брата с тем, чтобы овладеть кормилом правления. К счастью, покушение не удалось. Мятежники напали на роту Мингрельского полка, стоявшую в Чалодиди, и заставили ее отступить к Рионской пристани, а вслед затем едва-едва не овладели и русским транспортом, следовавшим из Редут-Кале. На этом, однако, подвиги Георгия и окончились. Милиция князя Левана рассеяла буйную шайку его и заставила самого Георгия бежать в Абхазские горы.

В таком виде дошли до Ермолова известия о делах в возмутившемся крае. Известие о смерти Пузыревского он принял слишком близко к сердцу. “Не при мне умирать достойному офицеру без отмщения!” — вот роковые слова, которые вырвались у него под первым впечатлением.

“Вы лишились, храбрые товарищи,— говорилось в приказе по корпусу от двадцать восьмого апреля,— начальника, усердием к службе великого Государя отличного, попечением о вас примерного. Жалею вместе с вами, что погиб он от руки подлых изменников; вместе с вами не забуду, как надлежит отомщевать за гнусное убийство достойного начальника. Я покажу вам место, где жил подлейший разбойник Койхосро Гуриель,— не оставьте камня на камне в сем убежище злодеев, ни одного живого не оставьте из гнусных его сообщников. Требую, храбрые товарищи, дружеского поведения с жителями мирными, кроткими, верноподданными Императора, приказываю наказывать без сожаления злобных изменников”.

Разраставшийся мятеж требовал теперь уже решительных мер. В последний раз обратился Ермолов к имеретинскому народу с воззванием, приглашая его возвратиться к порядку. На место Пузыревского командиром сорок четвертого егерского полка назначен был полковник князь Петр Димитриевич Горчаков, но вместе с тем в Имеретию отправлен и начальник корпусного штаба генерал-майор Вельяминов с большими полномочиями: всех захваченных с оружием приказано было наказывать смертью; Койхосро и князь Абашидзе были объявлены изменниками государства и лишены покровительств законов; мятежного Вахтанга приказано было схватить и расстрелять в Кутаисе.

Вельяминов прибыл в Кутаис двадцать пятого апреля. Здесь, в сердце" Имеретии, он получил более определенное представление о возмущении в этой стране. Оказывалось, что большая часть тамошнего населения оставалась спокойной, и лишь жители округа Горной Рачи отказались принять воззвание Ермолова и беспощадно грабили тех, кто не хотел пристать к восстанию. Главные силы мятежников, стоявшие в Ханыйском ущелье, под начальством князя Абашидзе, не превышали двухсот человеку, но по всему краю бродили мелкие разбойничьи шайки, появляясь даже вблизи самого Кутаиса. Такова была общая картина восстания. И вот для истребления шаек посланы были небольшие казачьи отряды, под общей командой генерала Власова; в Рачинский округ, который по своей воинственности и по своему неприступному местоположению мог сделаться опасным ядром возмущения, двинулся сам правитель Имеретии князь Горчаков. Вельяминов остался в Кутаисе. Первый удар мятежу был нанесен именно в Рачинском округе: быстрое прибытие туда войск заставило мятежников рассеяться, и князь Горчаков без труда освободил из блокады небольшую русскую команду, запершуюся с окружным начальником в горном замке Минде. Затем все жители Рачинского округа были обезоружены, и из их кинжалов и шашек, по приказанию Горчакова, сделаны были гвозди, замочные приборы и другие мелкие железные вещи для казармы, строившейся тогда в селении Катеве. Вместе с оружием от жителей отобраны были даже и буки, нечто вроде рупоров; звуки, извлекаемые из этих инструментов, так резки, что с незапамятных времен служили имеретинцам сигналом, которым предупреждались жители самых высоких гор и глухих лесов о вражеском нашествии. Не лишнее сказать, что подобные же рупоры еще недавно можно было встретить во всей горной Шотландии, где они служили для той же самой цели.

В Минде Горчакову удалось завладеть в оригинале всеми документами, содержавшими в себе цель, план и средства мятежников. По этим бумагам добрались до виновных и арестовали всех коноводов. При обыске, производившемся в доме одного из них, князя Цулукудзе, произошел трагический случай, едва не стоивший жизни Горчакову, но зато поведший к полному разоблачению заговора. Дело в том, что Цулукудзе внезапно бросился на Горчакова с кинжалом, и князь спасся от смерти только благодаря тому, что переводчик, стоявший возле, моментально выхватил шашку, и Цулукудзе сам упал с разрубленной головою. Князь, заметивший в нем признаки жизни, приказал перенести его к себе на квартиру, окружил всевозможными попечениями, и только благодаря этому Цулукудзе совершенно оправился. Тронутый великодушием Горчакова, он сделался преданным его слугою и раскрыл перед ним все нити заговора. Армянин-переводчик, которому князь обязан был своим спасением, получил почетную саблю и пожизненную пенсию.

По усмирении Рачинского округа отряды Горчакова и Власова с двух сторон двинулись к Хонийскому ущелью, и первого июля, после незначительной стычки, оно было занято. Абашидзе бежал в Турцию, и население изъявило покорность. Восстание в Имеретии потухло.

Заслуга русских войск в этом походе заключалась не в битвах, а в необыкновенной быстроте движений, предупреждающих мятежнические попытки. И потому прочное подавление мятежа, вместе с тем почти не стоило крови.

Теперь Вельяминов двинулся в Гурию.

Двадцать четвертого июня войска его подошли к Шемокмеди.

Шемокмеди одно из замечательнейших мест в Гурии, как в отношении историческом, так и по живописному своему положению. Над древней обителью с кафедральным храмом, которому когда-то подчинялась вся Гурия, пронеслось не одно столетие, но величавое здание выдержало напор всесокрушающего времени и гордо противостояло даже разрушительному действию политических бурь. Пролетевшие над нею века положили только печать глубокой древности на громадные глыбы голубого порфира, из которого сложен храм; они поросли мхом и обвились плющом, неразлучным спутником развалин Гурии и Имеретии. Другая церковь, меньшая, но такая же древняя, замечательна тем, что в ней хранятся летописи Грузии, нечто вроде Киево-Печерского патерика,— долгий труд шемокмедских иноков. Самый монастырь, осененный старыми каштанами, этот немой свидетель треволнений, пережитых Гурией, есть вместе с тем и страж праха нескольких поколений ее владетелей. Их скромные саркофаги, сложенные из тесаных плит, покрывают весь пол церкви, но святотатственная рука турок, во время набегов, не пощадила и последнего жилища могущественных некогда соседей.

Отсюда, с вершины замка, глаз обнимает почти всю Гури, часть Мингрелии и Имеретии и теряется в зелени сплошных лесов, сливающихся в неясную синеву на далеком горизонте, окаймленном громадой гор, снеговые вершины которых кажутся отсюда неподвижными облаками. С другой стороны — далекое, безбрежное море...

Вельяминов нашел Шемокмеди готовой к обороне. Три роты сорок четвертого егерского полка, под командой майора Михина, двинулись на приступ — и под огнем неприятеля менее чем в полчаса овладели высокой лесистой горой. Пока егеря ломились в ворота замка, генерального штаба штабс-капитан Боборыкин обошел его с противоположной стороны, нашел там дверь и приставленную к ней лестницу, по которой солдаты тотчас же и пробрались внутрь замка, Но там никого уже не было. Шемокмеди было разрушено, поля и виноградники окрестных жителей — уничтожены. Самый замок был истреблен до основания; в нем оставили одну только церковь и при ней построили полковнику Пузыревскому гробницу. Владетельный князь Мамий прислал к Вельяминову и самого убийцу Пузыревского, молодого человека, который сознался, что будто бы был подговорен на то Койхосро Гуриелем; его загнали сквозь строй на самом месте преступления. Гурийцы просили пощады — и Вельяминов вернулся в Озургеты.

Отсюда сделана была еще экспедиция в Мингрелию, в которую входили пять рот с двумя орудиями, под начальством того же майора Михина. Взятие приступом села Гведы, где был известный монастырь, положило и здесь конец мятежу. Более упорные жители при приближении войск сами зажигали свои дома и башни, забирали имущество и бежали в Поти. Остальное население успокоилось. Церковная реформа повсюду была проведена уже без препятствий.

Ермолов был необыкновенно доволен быстрым подавлением восстания, и это отразилось в приказе его, отданном по корпусу.

“Беспокойства, в прошлом году в Имеретии оказавшиеся,— писал он,— прекращены были мерами кроткими. Готовый к снисхождению, дал я виновным время раскаяться; напротив, возгорелся вскоре мятеж, сопровождаемый злодеяниями. Неприлично вам было, храбрые воины, терпеть гнусную измену Государю великому и великодушному, и наказание должно было постигнуть изменников. При появлении вашем рассеялись мятежные скопища; спасения искали они в лесах и твердых местах, доселе почитаемых непроходимыми; но что может быть препятствием, когда вас предводят начальники благоразумные? Итак, мятежникам бегство осталось единым спасением. Равно уважаю, храбрые товарищи, неустрашимость вашу и усердие. Не потерпим изменников, и не будет

их. Благодарю, между войсками, и сорок четвертый егерский полк, который как чувствовать, так и отмщать умеет потерю своего начальника. Не существует следов крепости, где лишен жизни полковник Пузыревский. Так, по истреблении изменников одно имя их остается в поношении”.

О судьбе лиц, принимавших участие в имеретинских беспорядках, можно сказать немногое.

Преосвященный Феофилакт, давший своими неосторожными действиями первый толчок восстанию, умер от желчной горячки в июне 1821 года во время объезда своего экзархата. Он скончался вблизи Сигнаха, в монастыре святой Нины, где и поныне находится его гробница. Брат мингрельского Дадиана, Георгий, был арестован и сослан на службу в дальние гарнизоны Сибирского корпуса. Мамия постигла еще более печальная судьба. Привязанность, которую сначала питал к нему народ, после событий 1820 года исчезла, и под конец своей жизни, испытывая домашние огорчения, чувствуя себя одиноким и всеми покинутым, он впал в меланхолию, и умер двадцать первого ноября 1826 года двадцати семи лет от роду. Детям Койхосро через год позволили возвратиться на родину, но сам он не захотел воспользоваться амнистией, остался за границей и поддерживал переписку с Мамием до самой смерти последнего. Несмотря на свое изгнание, как умный и опытный человек, он в своих письмах постоянно предостерегал его, чтобы тот никогда не полагался на турок, а оставался бы верен России.

Так окончилось недоразумение, возникшее между двумя единоверными народами, сошли со сцены деятели его, а затем исторические волны смыли и все следы людского неразумия.

XLIII. АБХАЗИЯ

По берегу Черного моря, начиная от Гагр до реки Ингуры, лежит Абхазия — одна из благодатных стран Кавказа, покрытая вечной, неувядающей зеленью. Здесь под открытым небом растут лимонные, персиковые и чайные деревья, цветут киномоны, розы и лавры, есть целые пальмовые рощи, и громадные девственные леса еще неприступнее и диче, чем леса Мингрелии и Имеретии. Всякая растительность, имеющая характер трав и кустов, под влиянием абхазского солнца принимает древообразные формы, достигая гигантских размеров. Тонколиственные азалии, со своими красивыми желтыми цветами, испускающими тяжелый, одуряющий запах, вытягиваются до шести аршин и покрывают собою долины и поля Самурзакани и Абхазии; гигантский папоротник встречается в виде густых и частых посевов; коленчатый рододендрон — краса Черноморского прибрежья, с длинными листьями и роскошными лиловыми букетами, образует целые чащи по скатам и оврагам. И надо всем этим раскидывают темно-зеленую листву античные деревья: чинар, бук, каштан и пальма...

Край этот мог бы считаться одним из прекраснейших уголков земного шара, если бы не его нездоровый климат. Громадные леса, особенно колоссальные папоротники, скрывают под собою болота, служащие источником губительных лихорадок. Опыт показал, однако же, что если папоротник выкашивать три года сряду, то он погибает окончательно, и тогда на месте нездоровых болот образуются превосходные покосы и луга. Это обстоятельство так важно и так очевидно, что перед ним не устояла даже классическая лень абхазцев, и там, где они истребляли папоротник, климат быстро изменялся к лучшему.

Богатая почва Абхазии, казалось, должна бы служить источником довольства и даже роскоши для ее обитателей. В действительности она-то и служит причиной их крайней

бедности. Абхазцы сеют только гоми и кукурузу, которые не требуют ухода и дают чудовищные урожаи, и потому абхазец работает в течение года двадцать-тридцать дней, а остальное время проводит в беспечной бродяжнической жизни. Только немногие из них промышляют ловлей дельфинов, которых у берегов Черного моря так много, что они нередко опрокидывают каюки охотников, но абхазцы этого не боятся, потому что плавают не хуже дикарей океанских островов.

Абхазское племя занимало не одну Абхазию, оно жило также в Самурзакани и Цебельде, и наконец, по ту сторону Кавказского хребта, в земле абазинов. Самурзакань, населенная преимущественно выходцами из Имеретии, Мингрелии и Гурии, подчинялась мингрельским Дадианам, но власть этих последних была чисто номинальной. Цебельда всегда оставалась независимой; это было просто небольшое разбойничье племя, жившее в неприступных верховьях Кодора, откуда оно не давало покоя даже самим абхазцам. Абазины, малочисленное племя, в сущности те же абхазцы, которые покинули родину вследствие внутренних раздоров, ссор и кровомщений и, перевалившись через Кавказский хребет, поселились среди закубанских черкесов, между истоками Зеленчука и Белой; от коренных абхазцев они отличались более суровой воинственностью и чистотой нравов.

Абхазцы были когда-то христианами, потом под влиянием Турции приняли ислам, затем многие снова возвратились к христианству, и в конце концов не было у них ни одной религии, которая сохранила бы свою чистоту. И христиане и магометане одинаково исполняли лишь наружные обряды, и только одни абазины придерживались строго магометанского закона.

Не отличаясь религиозностью, абхазец в то же время не отличался ни умственными способностями, ни строгой нравственностью. В его национальном характере резко выделялись: отвращение к честному труду, воровские наклонности, корыстолюбие и вероломство. “Помоги тебе Бог,— говорила мать, благословляя сына и передавая ему в первый раз шашку,— приобрести этой шашкой много добычи и *днем,* и *ночью*”,— иначе сказать: путем правым и неправым. Вся слава абхазца состояла в том, чтобы бродить из одного места в другое, воровать чужой скот и имущество, а при удаче — и самих поселян для продажи в неволю. Позднее, под властью русских, торговля людьми стала для них трудна, если не совершенно недоступна, но воровать можно было почти по-прежнему, отделываясь только временным заключением, а выпущенный из-под ареста абхазец не без гордости говорил, что он воротился из плена.

Убить кого-нибудь из засады было в Абхазии делом самым обыкновенным, чему способствовали густые леса, где, даже видя неприятеля, не всегда возможно было до него добраться. То и дело получались известия о солдатах, о казаках, реже о самих абхазцах, убитых в лесу неведомо кем, и хотя все это обыкновенно валилось на цебельдинцев, но справедливость требует сказать, что никто так не способен пырнуть ножом из-за угла, как житель самой коренной Абхазии.

Все народы абхазского племени носили черкесскую одежду, которая отличалась, однако же, двумя особенностями, не важными, но весьма приметными для жителей гор: черкеска абхазцев была гораздо короче черкески соседних с ними племен Адыге, а башлык они обвивали около шапки, в виде чалмы, чего никогда не делали черкесы; кроме того, у черкесов башлык всегда был белого цвета, а у абазин и абхазцев — черный или коричневый.

Когда-то Абхазия славилась своими красавицами, и у абазин, остались еще яркие следы женской красоты этого племени; все женщины там безусловно прекрасны, и турки, скупая

горских красавиц, до последних дней предпочитали им только гуриек. Но из коренной Абхазии давно уже вывезены лучшие женские типы за море, на долю туземцев осталась только посредственность, и красота мужчин резко преобладает теперь над красотою женщин.

России Абхазия досталась без затруднений, без усилий, спустя шесть-семь лет после занятия Грузии; абхазцы сами изъявили готовность подчиниться России. В 1810 году русские окончательно выгнали турок, господствовавших в стране в течение двух с половиной веков, и, заняв Сухум, утвердились на всем Черноморском побережье. Русское правительство, впрочем, заботилось в то время исключительно об уничтожении турецкого влияния в этих краях и оставило тогдашнего владетеля Абхазии князя Сефер-бея Шервашидзе (в христианстве Георгия) полным властелином страны.

Но описанный выше национальный характер абхазцев не обещал в будущем ничего, кроме бесконечных смут; и действительно, Абхазия и под властью России осталась классической страной вероломства, предательства и интриг, в которых не последнюю роль играл и сам правитель ее. Русское влияние было ничтожно, поддерживаемое исключительно малочисленным гарнизоном в Сухуме. За стенами Сухум-Кале уже не было безопасности. Самый гарнизон жил как бы в постоянной блокаде: нужно ли было нарубить в ближайшем лесу дров, или накосить сена — солдаты посылались вооруженными командами; никто из абхазцев не впускался в крепость вооруженным; сторожевая цепь, с ружьем у ноги, днем выдвигалась вперед на сто шагов от крепости; на ночь она убиралась, но крепостные ворота тогда запирались, и за стены выпускались собаки, которые оберегали гарнизон от нечаянных ночных нападений, громким лаем давая знать о приближении абхазцев, которых они ненавидели.

Да и в самом Сухуме положение гарнизона было печально. Сухум город старый; его основание, также как и Поти, относится к последней четверти шестнадцатого века,— и это были первые пункты, построенные турками на берегу Черного моря, когда они подчинили своей власти Имеретию, Мингрелию, Гурию и Абхазию. Во время владычества турок Сухум имел около шестисот тысяч жителей, крепость окружена была красивыми предместьями со множеством тенистых садов и пользовалась отличной водою, проведенной из гор. По красоте местоположения Сухум обыкновенно называли вторым Стамбулом. Но после занятия города русскими турки немедленно покинули предместья, абхазцы вообще не имели обыкновения жить в городах, а русское население не могло существовать в соседстве их при неустроенном состоянии края,— и Сухум опустел. Французский путешественник Гамба, посетивший его в 1820 году, говорит, что крепость, построенная в нем из дикого камня, с четырьмя бастионами по углам, имела вид развалин. Город весь состоял из единственной улицы и базара, в котором торговало до шестидесяти наезжих армян — вот и все мирное население Сухума. Дольше других предместий за стенами крепости держались деревянные бараки, занятые греческими и армянскими купцами и служившие базаром, на который стекалось окрестное население, но лет за шесть до проезда Гамбы и эти бараки были уничтожены, потому что мало-помалу они обратились в притон разбойников и контрабандистов: под видом торговли здесь скрывались шайки хищников, а греки и армяне, падкие на барыши от продажи невольников, помогали им в нападениях на русских солдат.

Климат был здесь прекрасный: в Сухуме росли даже лавры, и наши солдаты употребляли их просто на банные веники — парились лаврами. Но когда водопроводы были разрушены, а кругом крепости разостлались заразительные болота, солдаты должны были пить вонючую воду, и в крепости появились страшные лихорадки. Гарнизон имел болезненный вид несчастных жертв, обреченных на гибель. Половина солдат,

действительно, и вымирала ежегодно; они знали это, но безропотно доверялись своей судьбе, не переставая исполнять тяжелую службу с покорностью, свойственной русскому солдату.

Неудивительно поэтому, что русские не могли ничего сделать против постоянных смут, царивших в Абхазии, и владетель тщетно жаловался на неповиновение народа. Одной из главных причин такого положения дел было то, что князь Георгий сделался владетелем Абхазии против желания народа, более склонявшегося в пользу младшего брата его, Хассан-бея, человека железного, предприимчивого характера, но, к сожалению, всей душой преданного мусульманству. И до самых ермоловских времен страну терзали постоянные междоусобицы. Владение Абхазией было сопряжено с такими затруднениями, что несколько раз возбуждался вопрос о том, не следует ли отдать ее обратно туркам. С особенной настойчивостью мысль эта проводилась в двадцатых годах. Ермолов явился крайним противником этой меры.

Вот проницательные и неопровержимые доводы, приводимые им.

“Абхазия в теперешнем состоянии доставляет нам безопасные бухты, и Мингрелия почти не подвержена хищным набегам, ибо абхазцев обуздывает страх.

При первом взгляде эти выгоды могут показаться весьма ограниченными, но смотреть надо не на них, а на те неудобства и вред, кои произойти должны, если Абхазия отдана будет туркам.

Прежде всего доверенность здешних народов к России чрезмерно должна поколебаться, так как уступку земель они отнесут на счет могущества Турции. Владетельные князья Мингрелии, Гурии и даже князья имеретинские, видя участь Абхазии, могут ожидать таковой же впоследствии и для себя и заранее будут искать расположения турок, доказывая им свою приверженность бесконечными возмущениями, которые турки, в свою очередь, не упустят поддерживать.

Участь абхазского владельца, князя Георгия Шервашидзе, произведет на всех самое дурное впечатление. По чрезвычайной привязанности к родине он не оставит земли своей, и первая жертва, принесенная им новому правительству,— будет христианская вера. Но едва ли и это спасет его, ибо турки никогда не простят ему прежнюю перемену закона и вступление под покровительство христианского государя. Брат его, Хассан-бей, ревностнейший мусульманин, человек зверского характера, воспользуется расположением к себе турецкого правительства — и сделается владетельным князем коварнейший из врагов наших.

Распространение христианской религии, которая столь нужна для смягчения здешних нравов, не только прекратится, но надо ожидать страшных истязаний тем, которые отреклись от прежней веры и приняли христианство, надеясь на могущественную защиту России. Оставление единоверцев наших произведет наибольший для нас вред в общественном мнении.

По уступке Абхазии торг невольниками усилится в полной мере. И между тем как все государства прилагают столько забот о прекращении продажи негров, мы, хотя и невольно, будем содействовать торговле людьми, и для нас это будет тем более чувствительно, что продаваемые будут христиане, жители Мингрелии и Имеретии.

С уступкой Сухумской бухты разовьется морское пиратство, и в короткое время наши купеческие суда уже не осмелятся приходить в Редут-Кале, и мы, лишившись подвоза из России провианта, не в силах будем защитить наших владений, и тогда лишимся не одной Абхазии.

Если же я не довольно сильно умел выразить все описанные мною неудовольствия, и участь Абхазии будет решена,— писал в заключение Ермолов,— то прошу, чтобы исполнение этого было возложено уже на другого, ибо я, будучи начальником, много потеряю в общем мнении, тому способствуя".

Так писал Ермолов министру иностранных дел в марте 1820 года.

Прошел после этого год и выдвинул совершенно новые обстоятельства, которые заставили русское правительство рядом усилий прочно и навсегда подчинить Абхазию своей власти. Первым из этих обстоятельств была смерть князя Георгия и поставленный ею вопрос о наследовании абхазского владения.

Князь Георгий Шервашидзе (Сефер-бей) скончался седьмого февраля 1821 года. В стране сейчас же закипела борьба партий. Уже восьмого числа жители селений, соседних с Сухумом и подвластных Хассан-бею, брату и личному врагу умершего князя, собрались в числе двухсот человек и внезапно напали на русскую команду, посланную в лес за дровами. В Сухуме услышали выстрелы, и комендант майор Могилянский отправил в помощь к атакованным поручика Гришкова с ротой пехоты и одним орудием. При его появлении абхазцы рассеялись. Команда возвратилась домой, потеряв одного человека убитым и четырех ранеными.

Вопрос о престолонаследии, между тем, зависел от воли русского императора, а пока шла переписка по этому поводу, правительницей была объявлена вдовствующая княгиня Тамара. Положение ее было весьма затруднительно, и она просила помощи, но сухумский гарнизон был слишком слаб, чтобы серьезно вмешаться в дела страны, и комендант получил только повеление, в случае необходимости дать в крепости убежище княгине, которая легко могла бы попасть иначе в руки мятежников.

Между тем Могилянскому приказано было всеми средствами стараться захватить в свои руки Хассан-бея, как одного из самых опасных противников. Могилянский прибегнул к вероломству. Он пригласил его в Сухум под предлогом совещания об абхазских делах, и когда Хассан, как почетный гость, вошел в его дом, на него набросилась толпа солдат, свалила его на пол, сорвала с него оружие и связала веревками. Немногочисленная свита князя, стоявшая во дворе, услышала шум, догадалась в чем дело и с обнаженными шашками бросилась к нему на выручку. Запертые двери были сорваны с петель, но здесь солдаты встретили нападавших штыками: два цебельдинские князя были заколоты, остальные обезоружены.

Весть об аресте Хассан-бея подняла почти всю Абхазию. Брат его, известный отцеубийца, Арслан-бей, тотчас явился с большими силами убыхов и джегетов в окрестности Сухума и утром одиннадцатого сентября, во главе значительной конницы, с распущенными знаменами, торжественно проехал даже под самыми стенами крепости. Толпы его ежедневно росли. Комендант Сухума подполковник Михин, сменивший Могилянского, настоятельно требовал помощи.

Правитель Имеретии князь Горчаков собирал войска, а, между тем, в это время из Петербурга прибыл законный владетель Абхазии, старший сын покойного Георгия, князь

Димитрий Шервашидзе, юноша, только что вышедший из Пажеского корпуса. Горчаков вместе с ним немедленно выехал из Кутаиса в Абхазию. Сопровождаемые мингрельской конницей, они погнали войска уже на походе, на самой границе Самурзакани, и здесь первого ноября получили известие, что Арслан-бей с тремя тысячами горцев стоит в крепкой позиции между Кодорским мысом и деревней Хелассури.

Дорога от границ Самурзакани идет по низменному песчаному морскому берегу, окаймленному с одной стороны густым и труднопроходимым лесом. Здесь-то, верстах в четырех от Кодера, мингрельская конница, следовавшая в авангарде, первая наткнулась на неприятеля и понесла большие потери. Русская пехота также встречена была сильным огнем. Но князь Горчаков, не останавливаясь, двинул войска вперед и овладел завалами. Напрасно горцы, вооруженные дальнобойными винтовками, пытались удержать наступление. Пушки расчищали дорогу, а в лесу, на близком расстоянии, и русские стрелки били не хуже черкесов. Неприятель наконец стал отступать и скрылся из виду. День этот стоил, однако, отряду двух офицеров и семидесяти пяти нижних чинов, причем большая часть потери выпала на долю мингрельцев, дрогнувших и смешавшихся при первом натиске горцев.

С прибытием Горчакова в Сухум волнения в Абхазии скоро затихли. Цебельдинцы первые изъявили покорность, знатнейшие абхазские фамилии также дали аманатов, и Арслан-бей должен был удалиться в Анапу. Тридцатого ноября 1821 года в княжеской резиденции Соупсу, при многочисленном собрании князей и дворян страны и в присутствии русских войск, князь Димитрий Шервашидзе торжественно провозглашен был владетелем Абхазии, князь Горчаков лично вручил ему знамя и меч как знаки его верховного владычества.

Устроив дела в Абхазии, Горчаков возвратился в Имеретию, а в Соупсу оставил две роты егерей, что было весьма кстати, так как беспокойный Арслан-бей снова успел собрать значительные партии горцев и спустя короткое время напал на самую резиденцию Димитрия. Две русские роты отразили нападение.

Новый владетель Абхазии не принес, однако, стране спокойствия, как и она не дала ему ничего, кроме тяжких забот и ранней смерти. Гамба в своих записках рассказывает, что он был в Петербурге как раз в то время, когда там получены были известия о смерти Сефер-бея. Император Александр потребовал тогда князя Димитрия, бывшего в Пажеском корпусе, в Зимний дворец, и лично объявил ему, что с этой минуты он — владетель Абхазии. Вечером, приглашенный ко двору, смущенный юноша сидел уже рядом с русским государем и служил предметом общего внимания сильной петербургской знати. Теперь, брошенный судьбою с далекого севера, из пышной столицы русских монархов, в дремучие леса своей полудикой родины, незнакомый народу и сам не знавший ни его языка, ни его обычаев, окруженный притом интригами партий, он не сумел взяться твердой рукой за кормило правления и жил не полновластным государем своей земли, а пленником, за каждым шагом которого следили тысячи глаз. И власть его, естественно, была кратковременна: шестнадцатого октября 1822 года Димитрий умер внезапно, отравленный одним из приверженцев Арслан-бея.

Ближайшим наследником Абхазии теперь остался младший брат его, князь Михаил, тогда еще шестнадцатилетний юноша, но уже обладавший многими качествами, имеющими высокую цену у кавказских горцев: он был воспитан в обычаях родины, отлично стрелял из ружья, ловко владел конем и не боялся опасностей; в молодых летах он уже участвовал в битвах, и князь Горчаков свидетельствовал об отличиях, оказанных им при усмирении

последнего абхазского восстания. По ходатайству Ермолова император Александр пожаловал ему чин майора и утвердил владетелем.

Так вступил во владение Абхазией знаменитый князь Михаил Шервашидзе (по-абхазски Хамит-бей) — впоследствии генерал-адъютант русской службы, которому суждено было управлять страною сорок четыре года, до окончательного покорения Кавказа, когда владетельные права князей Шервашидзе были наконец уничтожены и Абхазия обратилась в простую русскую провинцию.

Князь Михаил очутился в еще более тревожном положении, чем его покойный брат. Он был слишком молод, чтобы не вызвать попыток играть роль правителей со стороны сильных и знатных вассалов, из которых каждый считал себя неизмеримо выше, умнее и опытнее юного князя. И около него не нашлось искренно приверженных людей, которые остерегли бы его от опасности; напротив, многие из приближенных к нему явно держали сторону Арслана, а мать его своими бестактными действиями еще более умножала число недовольных. Сделана была даже попытка отравить Михаила, так же как был отравлен и Димитрий. Один из дворян, по имени Урус Лаквари, поднес ему воду, насыщенную каким-то особенным ядом. Но осторожный князь обмакнул в воду кусок хлеба и бросил его собаке; та тотчас же стала бешено бросаться на людей, и ее принуждены были убить. Преступника схватили, и после сознания, что он же отравил и Димитрия, повесили в Соупсу на площади.

Молодой владетель с удивительной энергией и тактом умел выходить из самых затруднительных положений, но он был еще слишком юн и неопытен, чтобы бороться с внутренними смутами и заговорами, нити которых сосредоточивались тогда в искусных и сильных руках его дяди, Арслан-бея. И вот в апреле 1824 года волнения в стране настолько усилились, что сухумский гарнизон был вынужден напасть на одну деревню, где собирались мятежники. Деревня была разрушена, жители рассеяны, но на возвратном пути отряд попал в густом лесу на засаду, и одним из первых был убит храбрый начальник его, подполковник Михин. “Вероятно,— говорит Ермолов,— что за сим наследовал некоторый беспорядок, и он был причиной потери нашей, ибо убито и ранено сорок два человека, что не весьма обыкновенно”. Этой частной неудачи достаточно было, чтобы в крае вспыхнул общий мятеж. Владетель едва успел отправить свою мать в Сухум, под защиту русского гарнизона, как был атакован в Соупсу несколькими тысячами абхазцев. Две роты Мингрельского полка и два орудия, стоявшие в княжеском доме, под командой капитана Марачевского, очутились в блокаде.

Тревожная весть об этом скоро достигла князя Горчакова, и правитель Имеретии сам двинулся из Кутаиса в Абхазию на помощь осажденному владетелю. При переправе через реку Ингур произошла первая, незначительная стычка с мятежниками, но далее, по дороге к Сухуму, войска встречали уже завал за завалом, и неприятель дрался упорнее. Так дошли до реки Кодор. Здесь стояли цебельдинцы, убыхи и джегеты. К Горчакову также подошли подкрепления: прибыл владетель Мингрелии генерал-лейтенант князь Дадиан, со своей милицией. Переправа взята была штурмом, и войска, при беспрерывном бое, дошли по села Дранды.

Отсюда дорога спускалась через густой лес к морю и потом, поворотив направо, шла вплоть до Сухума берегом по глубокому песку, в котором колеса орудий вязли по ступицу. С одной стороны ее шумело море, с другой — высился сплошной страшный лес и поднимались одетые им крутые контрфорсы главного хребта, подпиравшие ряды снеговых вершин, врезавшихся в горизонт зубчатой блестящей стеной. Путь был тесен, местами не шире четырех-пяти саженей, и грозил опасностями — страшными именно

своей неизвестностью. В этом-то месте абхазцы и преградили русским дорогу. От самого моря и до леса вытянулся высокий завал, прикрытый с фронта развалинами старой генуэзской крепости и упиравшийся флангами с одной стороны в отвесный каменистый утес, с другой — в морскую пучину. Обойти его было нельзя, следовательно — его надо было взять штурмом, так как об отступлении не могло быть и речи.

Поражаемые почти в упор сильным огнем невидимого противника, шесть рот пехоты, молча, без выстрела, двинулись на штурм — и взяли завал штыками. Но за одним завалом тянулся ряд других. Трудно сказать, какая судьба постигла бы наступавшие войска без помощи судов, крейсировавших у берега Черного моря. Это были: бриг "Орфей" и фрегат "Светлана". Не теряя отряда из виду, они медленно подвигались вдоль берега и анфилировали завалы прежде, чем войска устремлялись на приступ. Не выдерживая картечного огня морских корронад, горцы постепенно очищали завал за завалом, и таким образом они переходили в наши руки уже без больших усилий. Не лишнее сказать, что на один из них первым вошел сам владетель Мингрелии князь Дадиан, во главе своей милиции.

Убедившись, что остановить наступление русских нельзя, абхазцы рассыпались по опушке леса; и, оставив в покое солдат, стали стрелять исключительно по артиллерийским и вьючным лошадям. Скоро большая часть из них была перебита, и отряд хотя дошел по Сухума, но там вынужден был остановиться, так как не на чем было везти ни провианта, ни снарядов, ни орудий. Более шестисот убитых лошадей лежали на морском берегу и заражали воздух, что принудило на другой год нарядить два военные транспорта специально для отвоза их остатков в открытое море.

От Сухума до Соупсу только тридцать верст, но узкая дорога опять пролегала по самому берегу моря под утесистыми скалами, одетыми почти непроходимым лесом. Отряд уже потерял около ста человек в предшествовавшем бою, а потому князь Горчаков решился миновать этот опасный путь, тем более что лошадей нельзя было достать даже под орудия. Двадцатого июня половина отряда села в Сухуме на суда и отправилась морем в Бомборы, лежавшие всего в пяти верстах от Соупсу. Там при помощи жестокого огня с русских судов войска вышли на лесистый берег и стали укрепленным лагерем в ожидании остальной половины, которая не могла быть перевезена сразу по недостатку транспортного флота.

Только двадцать третьего июня явилась наконец возможность двинуться на выручку владетеля. И была пора. В Соупсу две русские роты, защищавшие князя, изнемогали в борьбе против скопища джагетов, убыхов и мятежных абхазцев, общая численность которых простиралась уже до десяти или двенадцати тысяч человек.

Дом владетеля, обычной абхазской архитектуры, отличался от остальных только своими размерами, будучи несравненно выше их и просторнее. Высокий плетневый забор с широкими воротами огораживал обширный двор, от которого влево, в расстоянии близкого ружейного выстрела, находилась старинная церковь. Здесь, в этом дворе, и засели две роты сорок четвертого егерского полка, под командой капитана Марачевского, и с ними двадцать два абхазца, оставшиеся верными своему князю.

После нескольких дней осады абхазцы прежде всего попытались занять церковь как пункт, командовавший всей окрестностью. Это им удалось, и они стали обстреливать внутренность двора, что угрожало гарнизону неизбежной гибелью. И вот однажды ночью двадцать человек солдат, под командой офицера, имя которого, к сожалению, утеряно, сделали отчаянную вылазку, ворвались в церковь и перекололи всех засевших в ней

абхазцев, за исключением одного, успевшего скрыться на хорах. Очистив церковь, они снова отступили в ограду владетельского дома, потеряв сами четырех человек убитыми. Этот урок подействовал на неприятеля так сильно, что он не решился более занимать церковь, стоявшую, как показал ему опыт, слишком близко от руки и штыка русского солдата. Человек, уцелевший в церкви от побоища, был известный впоследствии абхазец Каца-Маргани, передавшийся позже всей душой на сторону владетеля. Рассказывая об этом ночном происшествии, Каца говорил, что при одном воспоминании о нем его пробирает дрожь и что он, видевший много резни и крови на своем веку, не испытывал в своей жизни ничего более ужасного.

Но положение гарнизона представляло еще большие опасности с другой стороны: на дворе владетельного дома не было колодца, и приходилось пользоваться водою из ручья, протекавшего возле самой ограды. Но к ручью вел спуск, около десяти саженей, по совершенно открытому месту, и неприятель, занимая все пункты, с которых можно было обстреливать ручей, днем засыпал пулями каждого, кто подходил к воде, а ночью сам приближался к ручью и по берегам его закладывал цепь. В гарнизоне придумали, однако, другое, более безопасное средство запасаться водою. У князя нашелся старый винный бурдюк. Его поставили на колеса, приделали к верхнему концу его клапан, а к нижнему груз, и в этом виде пускали его катиться под гору прямо в ручей; там он наполнялся водою, веревка натягивалась, и бурдюк втаскивали на гору. Несколько дней гарнизон пользовался водою, добытой этим замысловатым способом. Неприятель осыпал бурдюк выстрелами, но пули скользили по его толстой и упругой оболочке. Тогда несколько абхазцев засели ночью у самой ограды, и когда, на рассвете, бурдюк шел за водою, они напали на него и изрубили кинжалами; почти все они заплатили жизнью за это отважное дело, но другого бурдюка не было, и солдаты остались без воды. После нескольких дней мучительной жажды прошел сильный дождь, и гарнизон на время успел запастись водою, но провианта уже не было: люди доедали последнюю кукурузу, заготовленную для владетельских лошадей, которые все были съедены уже прежде. Так прошло три недели.

И вот однажды Марачевский увидел, что неприятель снимает блокаду и тянется к морю. Стало ясно, что с той стороны нужно ждать скорой помощи. Марачевский сделал вылазку и выжег все окрестные селенья, служившие для неприятеля притоном и прикрытием.

Прошло еще два дня — и двадцать третьего июня перекаты ружейной и пушечной пальбы, огласившие горы и лес, дали знать, что помощь приближается. Это, действительно, шел из Бомбор князь Горчаков. Но его движение по дремучему лесу, при беспрерывной перестрелке и схватках с неприятелем, с орудиями, которые за неимением лошадей приходилось тащить на людях, представляло такие неимоверные трудности, что на переход пятиверстного расстояния от Бомбор до Соупсу требовалось не менее (если, пожалуй, еще не более) суток. По счастью, смелый Марачевский сделал новую вылазку в тыл неприятеля, и абхазцы, поставленные между двух огней, рассеялись. Княжеский дом был наконец освобожден от блокады.

Ермолов сам назначил капитану Марачевскому орден св. Владимира 4-ой степени.

Присутствие сильного русского отряда, рассеявшего главные силы мятежников, принесло изнуренной междоусобиями стране лишь кратковременное успокоение. Как только войска вернулись в Имеретию и снова остался в Абхазии один сухумский гарнизон, опять закипели и смута и волнения. Правда, попыток одолеть молодого князя и на его гибели создать новое правление уже больше не было; абхазцы в походе Горчакова видели пример того, какую непреодолимую защиту князь имеет в России,— и власть его упрочилась. Но по всей стране стояло брожение, шла борьба партий, и мелкие шайки разбойников

повсюду нападали на приверженцев и сторонников князя Михаила. Бывали даже случаи открытых нападений и на русские команды. Так, например, в декабре 1826 года абхазцы атаковали небольшой отряд, высланный из Сухума в лес за дровами, и в упорном бою убили пять казаков и семнадцать ранили. Все это являлось как бы нормальным состоянием края, а между тем, пользуясь этим, несчастную страну терзали и цебельдинцы, и самурзаканцы, и особенно убыхи, свирепые и вольные наездники, пускавшиеся в свои набеги не для добычи, не из нужды в средствах существования, а просто из неугомонной страсти к приключениям и грабежам.

К счастью, убыхи, постоянно увеличивавшие смуту в Абхазии, к этому времени получили хороший урок и стали осторожнее. Раз, как-то летом, еще в 1823 году, партия их, более чем в тысячу человек, предпринявшая набег, была замечена в горах абхазскими пастухами и попала в ловушку. Предупрежденные абхазцы, позволив ей спуститься на равнины, немедленно заняли все горные проходы, через которые хищники могли отступить,— и вся партия сделалась жертвой неосторожности. Пал в битве и сам предводитель ее. С тех пор убыхи ограничили свои набеги зимним временем, когда им приходилось преодолевать неимоверные трудности.

Так дело шло до начала 1827 года, когда, по выражению Паскевича, “Абхазия свернула наконец знамя бунта и в чистосердечном раскаянии в своем безумии, дорого стоившем ей от междоусобного кровопролития, изъявила готовность покорствовать священной воле всеавгустейшего монарха”. Тогда же добровольно подчинились России и цебельдинцы. Но с Самурзаканью пришлось еще много и долго возиться. Нужно сказать, что в 1826 году, вынужденный настоятельными просьбами мингрельского князя Дадиана, Ермолов отправил в Самурзакань отряд из трехсот человек, при одном орудии, и присутствие войск в самом сердце беспокойной страны удерживало еще хотя какое-нибудь спокойствие и повиновение владетелю. Но началась персидская война, один батальон из Имеретии нужно было передвинуть в Грузию, и Ермолов предписал снять отряд из Самурзакани. Тогда жители ее, предоставленные самим себе, вновь принялись за пленопродавство и другие “непростительные шалости”.

Любопытно заметить, что донесение Паскевича о судьбах Абхазии обнаружило весьма странное обстоятельство. Оказалось, что об Абхазии, уже фактически давно отвоеванной от турецкой власти и даже от турецкого влияния, в Петербурге, в дипломатических сферах, имели представление совершенно смутное, считая ее даже еще принадлежащей Турции, за исключением разве одного Сухума. Вот что писал в 1827 году Паскевичу тогдашний министр иностранных дел граф Нессельроде.

“Говоря об Абхазии, я не могу скрыть от вас, что о возмущении, последовавшем в оной, я не имел никаких до сего сведений. Абхазия, и Большая и Малая, признавали себя подвластными Порте Оттоманской, которая только в последнее время, Аккерманской конвенцией, согласилась уступить нам Сухум-Кале, крепость, лежащую в Малой Абхазии и служившую местопребыванием князя оной земли. Из сего вы заключить можете, сколь необходимо мне знать обо всем, что там происходит, дабы я мог заблаговременно снабжать наставлениями посланника нашего в Константинополе, ибо, при положении его доселе, если бы турецкое министерство вошло с ним в объяснение о делах Абхазии, он нашел бы в крайнем затруднении отвечать удовлетворительным образом”.

Очевидно, тогдашняя русская политика не достаточно ценила факты, совершавшиеся на Кавказе, и не умела угадать громадной роли этого края в истории России — той роли, которую предвидели Петр и Екатерина и которая скоро должна была стать совершившимся фактом.

Остается сказать несколько слов о трагической судьбе одного из главнейших деятелей абхазского возмущения — о Хассан-бее. Захваченный в Сухуме Могилянским, он напрасно старался выставить себя сторонником России и приводил в доказательство свои заслуги перед нею. Он говорил, что не раз помогал освобождению пленных солдат, захваченных горцами, выдавал преступников и раз имел даже случай спасти от гибели батальон майора Огаркова, следовавший из Сухума в Редут-Кале. Действительно, батальон этот, застигнутый метелью, сбился с дороги и с обмороженными наполовину людьми не мог тронуться с места. Горцы окружили его. Не смея нападать открыто, они, как волки, хватали все, что отставало или отделялось хотя на несколько шагов от колонны. И отряд уже был близок к гибели, когда явился Хассан-бей, вывел его на дорогу, дал своих лошадей для перевозки больных, снабдил его провиантом, а впоследствии выручил даже пленных, захваченных при этом бедственном переходе. Но все объяснения его не послужили ни к чему: он был сослан в Сибирь, где в Иркутске и прожил до 1828 года, когда ему позволили вернуться на родину. Гордый абхазский князь уединенно и мрачно провел эти годы изгнания, не прося ни участия, ни снисхождения. С одним он не мог помириться — с потерей дорогого для него оружия. Неоднократно обращался он и в Тифлис, и в Петербург, прося единственной милости — возвращения ему заветной шашки, отобранной у него Могилянским при аресте.

Он писал, что шашка эта досталась ему по наследству от предков, что по доброте и древности своей она не имеет цены и известна целой Абхазии. Ему не отвечали. Но когда он вернулся из Сибири, то принялся хлопотать с такой настойчивостью, что просьба его дошла наконец по самого государя. Император Николай рыцарским чувством оценил всю важность утраты азиатского князя и приказал во что бы то ни стало разыскать шашку. Могилянского в то время уже не было на Кавказе, он служил в Херсоне и на все вопросы отвечал, что ни вещей, ни сабли Хассан-бея при его аресте, к нему не поступало, что вещи и оружие захвачены были командой и что Могилянский не считал для себя возможным отбирать их от солдат, которым они достались по праву войны. Могилянский писал, однако, что у него, действительно, имеется сабля, которую он купил на Кавказе у поручика Бочкарева за сто пятьдесят голландских червонцев, но чья была эта сабля, ему неизвестно. Потребовали мнения по этому поводу от командовавшего тогда войсками на Кавказе барона Розена. Розен отвечал, что Хассан-бей был взят не в бою, а арестован в Сухуме, и что поэтому вещи его никак не могли принадлежать команде по праву войны. “Что же касается до отзыва Могилянского о неизвестности, кому принадлежала сабля,— писал он далее,— то он неоснователен; кто знает здешние обычаи, тот может удостоверить, что никакое оружие никогда не продается здесь без больших или меньших рассказов об его истории”. По резолюции государя сабля была отобрана у Могилянского, и Хассан-бей имел удовольствие получить ее ровно через одиннадцать лет после своего ареста. Сабля препровождена была к нему при собственноручном письме барона Розена.

Возвратившись из Сибири, Хассан поселился в Келассури, окружив себя угрюмой воинственной обстановкой. Его рубленый деревянный дом, имевший вид широкой четвероугольной башни, стоял на высоких каменных столбах; крытая, обхватывавшая весь дом галерея, на которую вела узкая и чрезвычайно крутая лестница, облегчала его оборону; двор был окружен высоким палисадом с бойницами, в котором имелась лишь тесная калитка, способная пропустить только одного человека или одну лошадь. Довольно было взглянуть на постройку дома, на окружавший его палисад, на эту маленькую, плотно закрытую калитку, чтобы понять всегдашнее состояние подозрительности и опасения, в котором Хассан-бей проводил свою жизнь.

Тревожное положение Абхазии вообще, личная вражда, которую он успел возбудить во многих, несколько покушений на его собственную жизнь — заставляли бея не

пренебрегать никакими предосторожностями. Барон Торнау, навестивший его во время своего известного путешествия в горы, так описывает свое свидание с ним. “Подъехав к дому,— говорит он,— я остановился и послал узнать, желает ли Хассан-бей видеть у себя проезжего. Пока обо мне докладывали, прошло хороших полчаса. В это время рассматривали из дому меня и моих конвойных с большим вниманием. Беспрестанно показывались у бойниц разные лица, вглядывались в меня пристально и потом исчезали. Наконец калитка отворилась, и Хассан-бей вышел ко мне навстречу, имея за собой несколько абхазцев с ружьями. Я увидел в нем плотного человека небольшого роста, одетого в богатую черкеску, с высокой турецкой чалмой на голове, и вооруженного двумя длинными пистолетами в серебряной оправе. Один из них он держал в руке, готовый для выстрела. Кто только знавал Хассан-бея, не помнит его без этих пистолетов, спасавших его раза два от смерти, и из которых он стрелял почти без промаха”.

В Сухуме он никогда не бывал, имея к нему непреодолимое отвращение со времени своей ссылки в Сибирь. Но время шло, и в конце концов Хассан примирился с русским владычеством и новым установившимся порядком дел на его родине.

XLIV. ЕРМОЛОВ В ПЕРСИДСКОЙ ВОЙНЕ (Паскевич и Дибич)

Летом 1826 года внезапно началась персидская война [Подробная история персидской войны 1826—1828 годов будет изложена в третьем томе настоящего сочинения.], и с тем вместе звезда Ермолова склонилась к горизонту. У Ермолова, как у человека замечательного и своеобразного, было всегда много врагов. Раз как-то ему высказал это великий князь Константин Павлович, с которым он был в дружеских отношениях. “Я считал их, когда их было много, но теперь их набралось без счету, и я перестал о них думать”,— ответил Ермолов.

“Ермолов был неуступчив и шероховат в сношениях с высшими сановниками,— говорит о нем один из современников его,— резко писал и еще резче говорил им свои убеждения, шедшие нередко вразрез с петербургскими взглядами, а сарказмы его, на которые он не скупился, задевали за живое многих сильных мира сего”. “Только враг отечества мог присоветовать такую меру!” — писал он, например, по одному случаю в Петербург, как будто не зная виновника этой меры и метко попадая в одно важное тогда лицо — меттерниховскую креатуру.

Но пока жив был император Александр, Ермолов был неуязвим, и враги его молчали. Государь, еще перед Отечественной войной пославший сказать ему, что “отныне все назначения его будут зависеть прямо от него” и что “он ни в ком не нуждается”, имел к Ермолову неограниченное доверие. Но переменилось царствование — и враги Ермолова подняли голову. В молодом государе уже были задатки недоверия к нему, а тут как раз случились такие обстоятельства, которыми интрига могла воспользоваться с тем, чтобы набросить тень и на личность Ермолова, и на его действия и намерения. Известия о внезапной кончине императора Александра, присяга цесаревичу Константину, отречение его от трона и присяга новому государю — следовали так быстро одно за другим, что, может быть, и заставили Ермолова, никогда не чуждого осторожности, промедлить с присягой императору Николаю несколько дней в ожидании подтвердительных известий; полагают, что он даже посылал нарочного в Крым к Воронцову узнать вернее о происшествиях. Но это промедление, находящее себе оправдание даже в смысле государственного благоразумия, сильные враги Ермолова могли истолковывать иначе, особенно в виду последовавших за восшествием на престол императора известных декабрьских событий.

Так или иначе, но положение Ермолова в высших петербургских сферах круто изменилось, и над головой его стали собираться черные тучи. По словам того же современника, “стало распространяться мнение, будто ермоловская слава, в которую до того верили,— только “славны бубны за горами”, что в управлении его много произвола, что министерских предписаний он редко слушается и на составленные в Петербурге проекты пишет резкие возражения, а что военные его подвиги — сущий дым: с нестройной толпой полудиких горцев всегда можно справиться. В доказательство же приводили, что он унимает и держит горцев в страхе при помощи такого запущенного и плохо обученного войска, как кавказские солдаты; говорили также, что он окружил себя слепо преданными ему людьми, как в гражданском, так и в военном управлении, которые трубят про его славу и делают между тем большие злоупотребления. По рукам ходила в Петербурге карикатура, изображающая кавказского солдата в изодранном мундире нараспашку, в синих холщовых широких шароварах, заправленных в сапоги, в черкесской папахе на голове, с маленьким котелком сбоку и с травянкой вместо манерки. Карикатура эта была подослана Ермолову из Петербурга в конверте от неизвестного лица.

Есть много темного, неразъясненного в этих обстоятельствах, и неизвестно, насколько имели успеха и силы интриги против Ермолова у самого государя. Но полгода спустя, в марте 1827 года, император уже выражает в письме к Дибичу надежду, что он “не позволит обольстить себя этому человеку (Ермолову), для которого ложь составляет добродетель, если он может извлечь из нее пользу, и который пренебрегает получаемыми приказаниями”.

И этих одних слов, которые не объясняются ни донесениями Паскевича, ни письмами Дибича, совершенно достаточно, чтобы показать, как глубоко интрига подкопала Ермолова в глазах государя. Положение его становилось для проницательного глаза настолько непрочно, что летом 1826 года, еще до персидской войны, его близкий друг статс-секретарь Кикин, приехавший лечиться на кавказские воды, предсказал ему близкое падение. “Вы настращали меня вашими пророчествами,— писал ему Ермолов год спустя,— вы предсказали мне удаление или справедливее назвать, изгнание из службы”.

При таких неблагоприятных для Ермолова обстоятельствах открылась персидская война, и открылась внезапно, во время мирных переговоров о границах, когда в Тегеране был чрезвычайный русский посол, и уже поэтому, казалось бы, не могла угрожать нашим пределам никакая опасность. На первых порах война приняла стремительный и угрожающий характер вторжения. Девятнадцатого июля весь Тифлис как громом поражен был вестью, что персияне уже в пределах Грузии, что малочисленные русские войска отступают и эриванский хан предает мечу и огню все христианское население. И эти вести не были особенно преувеличены. Между тем персияне шли не со стороны только Эривани. В это же время сорокатысячная персидская армия, под личным начальством Аббас-Мирзы, вступила в Карабаг. Ермолов дал приказание войскам отступать и сосредоточиваться к Тифлису, но и это приказание уже не поспело вовремя: стоявший в Карабаге сорок второй егерский полк был отрезан и заперт в Шуше, один батальон его, захваченный в Горюсах, истреблен и потерял орудия. Персияне обложили Шушу, заняли Елизаветполь и отделили часть своих сил для возмущения мусульманских провинций; конные партии неприятеля проникали в самую Иверию и предавались грабежу в семидесяти верстах от Тифлиса. В Тифлисе началась паника.

Не ожидая внезапного нападения, по-азиатски, без объявления разрыва, Ермолов, однако, вопреки петербургским взглядам, давно уже видел неизбежность войны с Персией. Еще при императоре Александре он неоднократно писал в Петербург, что Персия воспользуется первым случаем, чтобы попытаться возвратить от России мусульманские

провинции, просил подкреплений и в этой переписке вооружил против себя тогдашнего министра иностранных дел графа Нессельроде резкой критикой его взглядов на азиатские дела. Император, упоенный мировой славой в стенах Парижа, был теперь решительным противником всякой войны, и Ермолов, благодаря министерству, получал, вместе с отказом в подкреплениях, предписания сохранять мир с Персией, хотя бы даже и ценою некоторых уступок. При новом царствовании взгляды министерства получили еще большую устойчивость, и поведение Ермолова по отношению к нему подверглось резкому осуждению; отсюда-то именно и выходили обвинения его в произволе, в неисполнении министерских предписаний и в резкости возражений на петербургские проекты.

Теперь, когда персидское вторжение, совершившееся так внезапно, оправдало предвидения Ермолова, он естественно должен был вернуться к старым своим соображениям. Нет сомнения, что можно было открыто и прямо встретить врага с теми силами, какие у него были под рукою, и рядом побед над нестройными персидскими полчищами рассеять надвигающуюся опасность, но эти победы достались другому, а он вновь и вновь просил подкреплений. В воззрениях Ермолова необходимо допустить роковую ошибку, которая не могла не привести его к крупнейшим недоразумениям. Персидская армия, сильная только численностью, представлялась ему опасной, требующей для отпора сильного численностью же русского войска. Поверенный в делах при персидском дворе, любимец Ермолова, Мазарович, писал ему постоянно, что персидские войска теперь уже не те, которые так легко били Цицианов и Котляревский, что под влиянием Англии они превратились в настоящие европейские войска, стройно двигавшиеся и снабженные превосходной артиллерией; можно было ожидать, что английские офицеры будут руководить действиями этих войск, и малочисленные русские батальоны, разбросанные на обширном пространстве, рисковали бы очутиться в положении весьма непрочном и тяжком. С другой стороны, край, в который вступали неприятельские войска, тот край, где столько было еще враждебных нам элементов, где сам Ермолов испытал столько предательств и возмущений, не внушал ему доверия; можно было думать, что с появлением персиян одна за другой встанут провинции — и борьба еще более усложнится. Ермолов под влиянием преувеличенной осторожности, на которую, без сомнения, имела влияние и шаткость его собственного положения, не вышел, как бы следовало, сам навстречу неприятеля, а напротив, в своих донесениях государю представил наступившие обстоятельства в виде несоразмерно опасном. И скоро дела приняли такой оборот, что их легко уже было повернуть против Ермолова.

Первые известия о персидском вторжении со стороны Эривани император получил в Москве, которая готовилась тогда к торжеству коронования. Известия эти поразили его. Ермолов писал, что защищать обширные границы, не раздробляя войска и не подвергая их опасности, решительно невозможно, что нужно внести войну в собственные земли персиян, а для этого необходимо в скорейшем времени усиление Кавказского корпуса еще двумя пехотными дивизиями и, по крайней мере, шестью казачьими полками.

Но император Николай, находясь еще под впечатлением, что дерзкое вторжение есть только следствие своевольства сардаря, действовавшего без воли своего правительства, смотрел на дело иначе. Да и свободных войск под рукою не было.

“Ни положение политических дел, ни самое расквартирование русских армий,— писал Ермолову начальник главного штаба Дибич, не позволяют в полной мере удовлетворить ваших требований и отделить к вам столь значительные подкрепления”. В результате решено было послать на Кавказ только одну двадцатую дивизию из Крыма и шесть казачьих полков из Донского войска. Но вместе с тем государь, ссылаясь на то, что собственно в Грузии и на границах Эриванского ханства находится до пятнадцати тысяч

войска, требовал, чтобы Ермолов немедленно образовал из них действующий корпус и занял с ним Эриванское ханство, а в случае упорства персиян двигался бы дальше — к Тавризу. “Государь,— писал Ермолову Дибич,— не сомневается, чтобы под предводительством вождя столь опытного, столь отличного и в столь высокой степени имеющего доверенность своих подчиненных, как ваше высокопревосходительство, этих войск было недостаточно для ниспровержения всех сил, которые персияне только могли бы противопоставить вам”.

В то же время в частном собственноручном письме, в котором соблюдены все признаки высочайшего доверия, быть может, тогда еще и не совершенно пошатнувшегося, государь писал Ермолову: “Ожидаю скорого извещения вашего, что нет уже сардаря и Эривань с ее областями заняты вами. Вы и пятнадцать тысяч русских — для меня достойный залог успеха ... За сим Бог с вами! Был бы Николай Павлович прежний человек, может быть, явился бы к вам, у кого в команде в первый раз извлек из ножен шпагу. Теперь мне остается только радоваться известиям о ваших подвигах и награждать тех, которые привыкли под вашим начальством пожинать лавры. Еще раз — Бог с вами!”.

Но за первыми известиями пришли другие, нарисовавшие мрачную картину начинавшейся войны. Не один эриванский хан, как полагали, действовал с толпою своих буйных подданных,— сам наследник персидского престола, со значительной армией, вступил в Карабаг и обложил Шушу. Ханства, занятые персиянами, были в возмущении, мелкие русские отряды во многих местах истреблены, другие сидели в осаде. Ермолов писал, что единственно возможный образ действий для него, пока не подойдут подкрепления — только оборонительный, а блокада Шуши ставит его в крайнее затруднение, так как освобождение ее требует раздробления сил, чрезвычайно опасного, могущего открыть персиянам путь в Грузию, с другой же стороны, идти на помощь к Шуше необходимо — иначе крепость погибнет от недостатка продовольствия.

В еще более мрачных красках обрисовывает он свое положение в отзыве к начальнику главного штаба; он извещает его, что со взятием персиянами Балыкчайского поста дорога в татарские дистанции открыта, что война, возбужденная религией и фанатизмом, вооружила против нас всех мусульман, и нам не остается ничего, кроме Грузии.

Чтобы хоть сколько-нибудь отстранить от себя упрек за эти тяжкие обстоятельства, Ермолов в письме к государю ссылался на то, что печальные события, которые уже совершились, были им предвидены за несколько лет, что он писал о них покойному императору Александру, извещал графа Нессельроде — и не был удостоен доверия только потому, что граф Нессельроде был убежден в невозможности войны со стороны персиян. Но государь естественно мог ответить ему, что “там, где ждались военные обстоятельства, нужно было к ним и приготовиться”.

“С душевным прискорбием и, не скрою, с изумлением,— писал ему государь,— читал я донесения ваши о тех неблагоразумных частных распоряжениях, по каким частицы российских войск подвергались неудачам и потерям от неприятеля, доселе ими всегда презираемого ... Русских превосходством сил одолевали, истребляли, но в плен не брали. Сколько из бумаг понять могу, везде в частном исполнении видна оплошность неимоверная, и никаких приготовлений к предвиденным военным обстоятельствам”.

Государь не видел, однако, причины изменять своих первоначальных предначертаний и, считая Ермолова достаточно сильным, чтобы хотя бы на время перейти в наступление, требовал от него быстрых и решительных действий. “Они тем необходимее,— писал государь,— что после несчастного начала надо ободрить войска блестящим успехом”.

Но судьба Ермолова была уже предрешена. Ввиду неудовлетворительных известий из Грузии у государя является мысль послать на Кавказ Котляревского, но так как израненный страдалец не мог исполнить державной воли молодого императора, то выбор государя остановился тогда на Паскевиче. “Для подробнейшего изъяснения вам моих намерений,— писал он Ермолову,— посылаю к вам генерал-адъютанта Паскевича. Это мой бывший начальник, пользующийся всей моей доверенностью, и он лично может объяснить вам все, что по краткости времени и по безызвестности не могу я вам приказать письменно. Я уверен, что вы употребите с удовольствием сего храброго генерала, лично вам известного, препоручив ему командование войсками под главным начальством вашим”.

Так является на Кавказе Паскевич.

Между тем в Грузии сами обстоятельства слагались так, что исправляли невольную ошибку Ермолова. Тифлис, взволнованный слухами об угрожающей стране опасности, глухо протестовал против излишне осторожных действий Ермолова. Рассказывают, что приближенные главнокомандующего, преданные ему лица, предвидя исход его медлительности и не будучи в состоянии сами подвинуть его к более энергичным действиям, упросили престарелую княгиню Бебутову (мать князя Василия Осиповича) объяснить Ермолову ропот и боязнь тифлисского населения. Княгиня была не изнеженная, робкая женщина мирной страны; туземная армянка, она видела в молодости разорение Тифлиса агой Мохаммед-ханом, на глазах ее совершилось много кровавых сцен при грузинских царях, когда лезгины рыскали по всей несчастной стране и, врываясь в самое предместье Тифлиса, Авлабар, резали жителей. И когда эта женщина, освоившаяся с опасностями вечно тревожной жизни, с горечью стала говорить Ермолову об ужасе, господствовавшем в Тифлисе и во всей Грузии в ожидании тех же бедствий, каким уже подверглись немецкие колонии и армянские деревни, передала толки и ропот народа на его нерешительность и никогда не бывалое прежде домоседство, Ермолов понял необходимость действовать немедленно, не поджидая уже подкреплений. К этому времени как раз приехал из Пятигорска Мадатов. Ермолов поручил ему передовой отряд, и князь Мадатов второго сентября под Шамхором наголову разбил десятитысячный персидский корпус: русские заняли Елизаветполь, персияне сняли блокаду Шуши. Шамхорская победа, по самому характеру персиян, была фактом, предрешавшим исход войны; весы склонились на русскую сторону, и будущее обещало только новые и новые победы. Но время для Ермолова уже прошло безвозвратно. На сцене стоял Паскевич,— и вслед за Шамхором, тринадцатого сентября вся огромная персидская армия была разбита под Елизаветполем кавказскими войсками, под начальством того же Паскевича. Это обстоятельство окончательно порешило судьбу Ермолова. По справедливому выражению одного из современников, “через Елизаветполь Россия лишилась в Ермолове фельдмаршала с замечательными способностями”.

Есть положительные свидетельства, что Паскевич обязан Елизаветпольской победой исключительно настоянию ермоловских генералов. Увидев перед собой тучу персидской конницы, он был смущен этой тяжелой надвигающейся массой неприятельских войск и хотел отступить, но Мадатов и Вельяминов настоятельно доказали ему необходимость принять сражение, и полная победа была результатом. Не будь тут Паскевича, персияне одинаково были бы разбиты ермоловскими генералами, и новая справедливая слава покрыла бы Ермолова. Теперь победные лавры лежали на голове Паскевича, открыв ему полную возможность повернуть дело в ту сторону, в какую он хотел.

И в то время как совершались эти знаменательные события, давшие войне такой счастливый исход, когда Ермолов сам грозою шел по возмутившимся ханствам, и, как по

мановению волшебного жезла перед ним восстанавливались спокойствие и безопасность, между императором Николаем и Паскевичем шла деятельная переписка: Паскевич набрасывал на Ермолова и на всю его деятельность на Кавказе черные тени.

Паскевич прибыл в Тифлис, облеченный обширными полномочиями. Едва ли справедливы известия, что государь дал ему право объявить Ермолову о его смещении и самому занять его место; здесь, вероятно, современники смешивают Паскевича и Дибича. Но не подлежит сомнению, что государь был встревожен неудачами, говорил Паскевичу, что тот встретит Ермолова, быть может, уже на Кавказской линии, и под влиянием этой тревоги дал Паскевичу обширные полномочия и право писать обо всем непосредственно ему.

И Паскевич широко воспользовался этим правом.

Облеченный конфиденциально чрезвычайной властью, он видел в Ермолове падающего соперника. Ермолов, со своей стороны, отлично понимал это и смотрел на Паскевича, как на случайного временщика, старавшегося возвыситься за его счет. И уже от седьмого сентября, немедленно по получении известия о Шамхорской победе, он писал Мадатову: “Как хорошо случилось, что вы, любезный князь, сделали начало совершенно в подтверждение донесения моего, что распорядил я наступательные действия прежде прибытия генерала Паскевича. Думали, что мы перепугались и ничего не смели предпринять! ... Происшествие сие порадует столицу, а я ожидаю донесения о взятии Елизаветполя, где, может быть, также случится попугать мошенников. Дай Бог!”...

Естественно, что отношения между Ермоловым и Паскевичем сразу установились натянутые, а после Елизаветпольской победы, в которой неприятеля не “попугали” только, а разбили начисто, они окончательно испортились. Паскевич мог теперь открыто поставить перед государем вопрос о действиях Ермолова. Ермолов же, казалось, самими обстоятельствами обвинялся в бездействии и ошибках, как бы опровергнутых действиями Паскевича, и не мог ничего сказать против фактов.

Скоро обстоятельства еще более обострили дело. Паскевич, мало знакомый со страной, но окрыленный успехом, стремился внести войну в пределы Персии. Ермолов не признавал это возможным до прибытия новых сил, и Паскевич прямо приписал все зависти Ермолова, желанию помешать ему. В то же время Паскевич сумел оскорбить, и войска высокомерным отношением хотя и боевого, но парадного генерала к честному трудовому кавказскому солдату. Накануне Елизаветпольского боя он их учил маршировке и построениям и, недовольный выправкой, говорил шамхорским победителям, что ему “стыдно показать их неприятелю”. Воротившись из-под Елизаветполя в Тифлис, он занялся разводами и парадами, в которых боевые, закаленные в походах и сражениях войска были с петербургской точки зрения далеко не сильны,— и довольным ими Паскевич не оставался.

Памятна старым кавказцам первая встреча Паскевича со знаменитым Ширванским полком, с этим “десятым римским легионом”, как называл его Ермолов. Возвращавшийся в то время после многолетних походов по горам Дагестана и лесам Чечни и Черкесии, полк вступал в Тифлис, как вступал всегда и всюду, с музыкой и песнями. Веселые, бодрые, уверенные, что получат похвалу, проходили ширванцы мимо дворца главнокомандующего, с балкона которого смотрел на них Паскевич. Вглядевшись в одежду солдат, из которых многие вовсе не имели панталон и были в лаптях или в азиатских чувяках — дело весьма обыкновенное для тогдашних кавказцев,— Паскевич пришел в такое негодование, что прогнал полк долой со своих глаз, и ширванцы никак не

могли уяснить себе, что такое случилось. Уже готовился грозный приказ по корпусу с объявлением строжайших взысканий полковому начальству. К счастью, Ермолов в качестве главнокомандующего признал за самим собою право отдать приказ и в самых сильных выражениях благодарил Ширванский полк за оказанные им в боях чудеса храбрости и за твердость в перенесении необычайных трудов и лишений, выпавших на его долю.

Вернувшись из похода, Паскевич не ограничился одними только военными делами, он почел себя вправе вмешиваться по всем частям управления и принялся разыскивать повсюду злоупотребления. При самом внимательном изучении документов того времени и донесений самого Паскевича невозможно найти даже намека на серьезное исследование им кавказских обстоятельств,— он просто ловил слухи и сплетни, притом от личностей совершенно не заслуживающих доверия, и этим еще более вооружал против себя всех. Неудивительно поэтому, что он писал государю: “Я одинок, совершенно одинок”... Но приписывал он свое одиночество интригам Ермолова.

Обо всех будто бы найденных им беспорядках и злоупотреблениях он, нужно думать, сообщал государю в общих чертах и прежде, но в рапорте от одиннадцатого декабря он почел возможным уже создать против Ермолова целый ряд обвинительных пунктов. Все они в сущности представляют, однако, только повторение того, в чем уже обвиняли Ермолова в Петербурге,— подтверждение тамошних слухов и толков о Кавказе, появившихся в новое царствование.

Кавказские войска, по этому донесению, находились в совершенном беспорядке: они представляются необученными, оборванными, грязными, в ветхих, покрытых заплатами мундирах без пуговиц, в брюках разного цвета (в Ширванском полку не было даже и таковых), с изорванными ранцами, вместо портупей — веревочки... “Выучки нельзя от них требовать, ибо они ничего не знают”,— говорит Паскевич. — Здесь он подвергает поверхностной критике установившийся десятилетиями и обусловленный вечной войной обычный порядок, который остался на Кавказе и при нем и после него. Но, преувеличивая перед государем значение его отрицательных сторон, он идет еще далее, и даже боевые качества победоносных кавказских войск, покрывших под Елизаветполем славою того же Паскевича, не внушают ему большого доверия. “Войска храбры, но не стойки ... Сохрани Бог быть с такими войсками в первый раз в деле”,— пишет он государю. “В походе моем за Аракс,— говорится в другом донесении,— ничего замечательного не случилось, я заметил только, что войска не привыкли драться в горах”... (Это — ширванцы-то!?)

Сделав такую характеристику войск, Паскевич старается уронить в глазах государя и признанную всеми высокую репутацию Ермолова, и его военные дарования, и даже его политическую благонадежность. “Кампания кончена — кампания испорчена!” — восклицает он в одном из своих писем ему и бросает в противника своего резкое обвинение в том, что он помешал ему продолжить войну до Тавриза из личных видов. “Не доброе желание к общему благу я встречаю здесь на каждом шагу”,— говорит Паскевич. Приготовление к новой кампании также возбуждает в нем большие опасения, и главным образом опять со стороны медлительности того же Ермолова. “Время уходит,— пишет Паскевич, — а с ним весьма опасное для здоровья наших войск лето приближается. (Это одиннадцатого декабря-то!?). В другой раз он ядовито замечает: “Что можно было сделать при Цицианове, того нельзя сделать при генерале Ермолове”.

Вся политика Ермолова в ханствах, веденная, конечно, с высочайшего соизволения, служит новым поводом для Паскевича к тяжким обвинениям Ермолова, который выставляется жестоким угнетателем ханов, возбудившим через то во всем мусульманском

населении ненависть к русскому имени. По этим донесениям выходило так, что Измаил-хан щекинский был отравлен Ермоловым, что Мустафа бежал, опасаясь для себя той же самой участи, и если Мехти-хан держался долее других, несмотря на оскорбления, наносимые ему Мадатовым, “о чем он сам говорил персидскому шаху,— добавляет Паскевич,— то только благодаря подаркам, которые он делал Мадатову землею и крестьянами. И несмотря на то, Мадатов все-таки подсылал людей отравить его, а когда это не удалось, он приказал татарину выстрелить в Джафар-Кули-агу, и поступок этот был приписан хану, который вследствие того, опасаясь ссылки, бежал ... Мадатов, добавляет Паскевич,— весьма легко мог поймать его, но, видно, опасался улики, чтобы хан не вывел все их действия наружу”...

Впрочем, не один Ермолов, вообще политика деятельных и сильных кавказских главнокомандующих встречала в Паскевиче строгого порицателя и представлялась ему неуместной. “Честолюбие здешних начальников,— говорит он,— дорого стоило России. Честолюбие Цицианова, который с большими ухищрениями приобрел под покровительство России четыре провинции, стоило десятилетней войны. Честолюбие нынешнего начальника произвело новую войну”...

И в доказательство последнего Паскевич наивно приводит то, что “персияне сие утверждают”. “Аббас-Мирза,— говорит он,— к коему я посылал предложение о размене пленных, тоже сие утверждает... Здесь вообще согласны в том, что генерал Ермолов — причина войны разными ухищрениями. Угурлу-хан елизаветпольский мне также это сказал и, обнадеженный в секрете, диктовал сие показание”...

Таким образом, свидетельства врагов России, ненавидевших в лице Ермолова силу и твердость русской политики, являются единственными, авторитетными доказательствами его виновности. И Паскевич вместе с Амбургером, секретарем посольства, думает, что если бы предложены были с нашей стороны какие-либо уступки (чего, конечно, не допускал и в мыслях Ермолов), то и война не возгорелась бы.

Наконец, последние обвинения сосредоточены на личных отношениях Ермолова к Паскевичу. “С приезда моего в Тифлис,— пишет последний,— я заметил, что генерал Ермолов не будет ко мне расположен”. И после разъяснения мелочных фактов несвоевременного отправления к нему адъютантов и тому подобное, он говорит: “ К стыду русских я узнал от грузина, армянина-переводчика Корганова, который со страхом объявил мне, что я окружен шпионами и интриганами, что князь Мадатов, в то же самое время как делает мне уверение в дружбе, бранит меня, окруженный всеми старшими чиновниками в лагере”. Паскевич не мог не знать, что Корганов ненавидел Ермолова и Мадатова по личным причинам (Ермолов всегда называл его Ванькой-Каином) , и тем не менее считает нужным доверять его словам безусловно.

Раздражительный характер Паскевича заставлял его всюду видеть себе недоброжелателей, и он писал Дибичу, что ему нельзя оставаться с Ермоловым, “с самым злым и хитрым человеком, желающим даже в реляциях затмить его имя”... “Государь Император,— писал он,— найдет другого, который угодит Ермолову, а я не могу, он будет мешать всем моим операциям, отчего все военные действия могут остановиться”... И Паскевич просил доложить государю о своем желании быть вызванным в Петербург. Он предлагал, другими словами, выбирать между ним, победителем под Елизаветполем, и Ермоловым, которого он так чернил.

Но Паскевич и сам чувствовал полную возможность и естественность заподозрить в его действиях и донесениях желание занять место Ермолова, и спешит заранее возразить на

это. “Не думайте,— пишет он,— чтобы я играл комедию: кто здесь останется, будет в весьма трудных обстоятельствах”...

Доносы Паскевича не ограничились одним Ермоловым, а захватили и его ближайших помощников. Удары их прежде всего обрушились на Мадатова и Вельяминова, на тех самых лиц, которым Паскевич был обязан и самой победой под Елизаветполем. “Более всех лживее,— писал он Дибичу своим неправильным языком,— и обманчивее его (Ермолова) генерал-лейтенант князь Мадатов ... Генерал-майор Вельяминов его поддерживает: они все друг друга поддерживают, и ничего нет труднее, как узнать истину”. Брошено было сомнение в самых способностях Мадатова. “В распоряжениях своих он способностей не имеет, а только храбрый гусар”,— писал о нем Паскевич. Наконец, он прямо обвинял его в незаконном захвате имения в ханствах, при содействии Ермолова, несмотря на то, что имение это досталось тому с высочайшего соизволения императора Александра, засвидетельствованного особым рескриптом. На Вельяминова возведено было обвинение в смерти казачьего офицера. Эти тайные доносы стояли в прямом противоречии с его же открытым поведением, и он опять спешит оговорить и это обстоятельство. “Прошу ваше высокопревосходительство,— пишет он Дибичу,— не взять в другое, что есть некоторые противоречия между моим поведением с некоторыми людьми и что после я про них говорю, но это оттого, что я о них не знал и после уже получил о них сведения”...

В письме от девятого февраля Паскевич доносит Дибичу, будто бы Ермолов домогался “иметь от всего грузинского дворянства прошение к императору, дабы его здесь, как хорошего начальника, оставить; они в собрании отказали, но он, не удовольствовавшись сим отказом, велел своим приближенным носить по домам подписку, надеясь, что обществом хотя вместе и отказали, но поодиночно сего не осмелятся сделать, ибо всякий из них будет ему известен, но несмотря на все сие ему еще отказали. Негодование противу его велико!!!”

Было впоследствии мнение, что Паскевич будто бы искренне находил в управлении Ермолова Кавказом беспорядочность и искренне писал о враждебности к нему главнокомандующего, а что впоследствии он понял ошибочность своих воззрений и требований. Трудно, однако, допустить, чтобы опытный генерал не видел неизбежности, в тяжелое боевое время, тех мелочных неисправностей, которые он раздувал в обстоятельства огромного значения; непонятно, зачем было бы ему тогда грязнить Ермолова такими донесениями, как последнее. К тому же вслед за отъездом Ермолова, одерживая свои знаменитые победы, он уже не предъявлял к войскам тех требований, о которых теперь столько хлопотал, хотя войска эти оставались совершенно все в том же положении. Но, расхваливая их в письмах к государю, он нигде, даже намеками, не говорит об ошибочности его первоначальных взглядов на деятельность Ермолова. Как только Ермолов сошел со сцены, он перестал существовать для Паскевича.

Но так или иначе, жребий был брошен, и теперь все зависело от воли государя.

Император Николай был смущен и встревожен доносами Паскевича, в которых сквозило слишком пристрастное отношение к делу, и чтобы приличным образом положить конец этой распре, столь неудобной в военное время, был послан на Кавказ Дибич. Государь поручил ему в случае необходимости объявить Ермолову отставку и назначить на его место Паскевича. В собственноручном письме (от девятого марта) сильно предубежденный государь пишет Дибиру: “Да поможет вам Господь и да вразумит Он вас, чтобы быть справедливым”,— но эта справедливость как бы предрешается им самим не в пользу Ермолова непосредственно предшествующими словами: “Надеюсь, что вы не

позволите обольстить себя этому человеку, для которого ложь составляет добродетель, если он может извлечь из нее пользу”...

Ермолов был, по-видимому, доволен вмешательством третьего лица. Навстречу подъезжавшему Дибичу, в ответ на его письмо из Владикавказа, он выслал следующее короткое письмо от десятого февраля: “Милостивый государь, барон Иван Иванович! В коротких словах дам себя выразуметь: рад душевно, что вы едете сюда, и знаю, сколько облегчены будут мои действия. Имею честь быть и проч. Алексей Ермолов”.

Дибич приехал в Тифлис двадцатого февраля 1827 года прямо в квартиру Ермолова, и отношения между ними обещали быть хорошими. Скоро пришлось Дибичу убедиться и в блестящих свойствах кавказских войск ермоловской школы, по крайней мере, уезжая недолго спустя с Кавказа, он говорил встретившемуся ему на линии генералу Сабанееву: “Я нашел там войска одушевленные духом екатерининским и суворовским; с такими войсками Паскевичу одерживать победы будет не трудно”. Но надеждам и ожиданиям Ермолова сбыться было все-таки не суждено.

Некоторые из современников думали, что Дибич сам не прочь был занять пост главнокомандующего Кавказским корпусом — тот пост, на котором так “нетрудно было одерживать победы” благодаря войску, подготовленному Ермоловым; и весь смысл и характер его донесений может служить подтверждением этого. В них он не подтверждает совершенно донесений Паскевича. Злоупотреблений он не нашел; по поводу доносов на жестокость Ермолова он пишет, напротив, что “строгость его имела, без сомнения, хорошее влияние на скорое покорение взбунтовавшихся”; упущения дисциплины он “нигде не заметил” и не мог ни в чем найти “упорства или нежелания Ермолова выполнять волю государя”; он говорит также, что “сколь ни значительны его (Ермолова) ошибки по военной части и вероятно большие упущения по гражданской, но, не менее того, имя его страшно для горских народов”, что в “нынешнее время, мне кажется, столько же уважительно, как и десятилетнее сношение его с разными особами в Персии”...

Наконец Дибич снимает с Ермолова и тяжкое оскорбительное обвинение хотя бы даже косвенного участия его в декабрьских событиях. Когда разговор коснулся этого предмета, Ермолов, по словам Дибича, с полной откровенностью жаловался на свое несчастье, что некоторые ошибки его молодых лет — никогда против правительства, но против начальников, которые ему казались несправедливыми, а более всего врожденное ему снисходительное обращение с молодыми людьми, в которых он замечал дарования,— дали повод к оскорбительному заключению, что он может быть причастен подобным мыслям; что ему кажется, что самое звание и лета его должны бы были защищать его от подозрений такого рода, тем более что ни один из его окружающих в этом отдаленном краю и даже ни один из его корпуса не был замешан в политических замыслах: Якубович, вовлеченный в заговор Волконским, в то же время удалился из корпуса; Кюхельбекера — он выслал с Кавказа сам. “Я удостоверился,— пишет в заключение Дибич,— что обвинение генерала Ермолова в сем отношении есть совершенно неосновательное”.

Но вместе с тем, отстраняя от Ермолова тени, наброшенные Паскевичем, он сгущает на нем другие. Он пишет государю, что Ермолов “признает себя виновным в том, что после елизаветпольского сражения не решился идти к Тавризу”,— вероятно, присоединяя слово “виновный” к простому объяснению Ермолова, не считавшего при данных обстоятельствах, как тут же сказано, “выгодным переправиться через Аракс до прибытия новых подкреплений, не усмирив прежде Ширвани”. Он объясняет медлительные действия, со слов Ермолова, “неточными сведениями о силе и свойствах неприятеля” и “боязнью распространения бунта в горских народах” — доводы, полные

убедительности,— но придает всему этому характер “значительных упущений”. Любопытно, однако, что в другом письме он говорит о большом некомплекте кавказских войск и необходимости его пополнить, и тем не менее все-таки находит возможным прямо обвинять Ермолова в нерешительности и в недостатке предприимчивости. Он категорически заявляет, что “от генерала Ермолова нельзя ожидать блистательных действий”. Этот вопрос о самой способности Ермолова вести военные действия, вопрос так поздно поставленный, постоянно привлекает к себе Дибича. В ряде писем он говорит государю, что на вопросы генералу Ермолову: “Не чувствует ли он себя менее противу прежнего способным? Уверен ли он, что исполнит точно высочайшие предположения?” — тот отвечал, что “чувствует себя еще при прежних своих силах и способности”, но что “мысль о неполном доверии к нему государя приводит его к нерешительности”. Словом, выходило так, что хотя донесения Паскевича на Ермолова и несправедливы, но заменить Ермолова было бы лучше.

Дибич защитил и Мадатова с Вельяминовым, но защитил условно и уклончиво. По объяснению его, “Вельяминов — человек с познаниями и здравыми военными мыслями, но, кажется, по весьма холодному характеру и систематическому образу суждений, более склонен к верным, нежели блистательным действиям”. В другом донесении он говорит, впрочем, что “лишиться Вельяминова было бы жаль”, вероятно, не желая лишиться его совсем, если бы он, Дибич, сам был назначен на место Ермолова.

В отношениях к Паскевичу Дибич обнаруживает ту же нерешительную уклончивость. Он говорит о “благородном, но чрезвычайно чувствительном и недоверчивом характере его”; отдает ему “совершенную справедливость насчет откровенности и справедливости его видов”. “Хотя,— говорит он,— я не могу разделить мнение его о причинах действий генерала Ермолова, которые он полагает зловредными и упрямыми, но весьма понимаю, что в положении генерала Паскевича оные могли ему представиться в таком виде”...

Но в то же время Дибич осторожно старался показать, что Паскевич неудобен на месте кавказского главнокомандующего. Он медлит заместить им Ермолова и пишет государю, что он “не считал себя вправе решиться переменить посредственное положение дел, (то есть при Ермолове) без верной надежды лучшего (то есть при Паскевиче)”. Предлагая назначить на Кавказ генерал-фельдмаршала Витгенштейна, он выражает надежду, что Паскевич будет с усердием служить под его командой, и вместе с тем подвергает сомнению и кандидатуру Витгенштейна, как незнакомого с краем.

И в то же время Дибич усиленно разрабатывает в своих донесениях план предстоящей кампании в Персию, как бы именно с целью показать свои личные способности к управлению Кавказским краем и военными действиями.

Ермолов скоро понял свое положение. Измученный интригой, сплетавшейся вокруг него, он третьего марта, две недели спустя после прибытия в Тифлис Дибича, пишет следующее открытое, полное достоинства и никого не задевающее письмо государю об увольнении. “Не имев счастья заслужить доверенность Вашего Императорского Величества,— говорится в нем,— должен я чувствовать, сколько может беспокоить Ваше Величество мысль, что при теперешних обстоятельствах дела здешнего края поручены человеку, не имевшему ни довольно способности, ни деятельности, ни доброй воли. Сей недостаток доверенности Вашего Императорского Величества поставил и меня в положение чрезвычайно затруднительное: не могу я иметь нужной в военных делах решительности, хотя природа и не совсем отказала мне в оной. Деятельность моя охлаждается той мыслью, что не буду я уметь исполнить волю Вашу, всемилостивейший Государь!

В сем положении, не видя возможности быть полезным для службы, не смею, однако же, просить об увольнении от командования Кавказским корпусом, ибо в теперешних обстоятельствах может быть приписано желанию уклониться от трудностей войны, которых я совсем не считаю непреодолимым; но, устраняя все виды личных выгод, всеподданнейше осмеливаюсь представить Вашему Императорскому Величеству меру сию как согласную с общей пользой, которая была главной целью моих действий”.

Между тем император, тщетно ожидая более категорических донесений Дибича, уже перестал, насколько можно -судить по его действиям, вполне доверять его беспристрастию и готовности без всяких видов исполнить его волю, и письмом от двадцать седьмого марта сам разрешил все недоумения и вопросы. “Я снова убедился,— писал он,— в полной невозможности оставить дело в прежнем положении, то есть видеть вас и Паскевича вне этого края, а следовательно, себя, отданного на жертву недоумениям, беспокойствам и так далее, как это было по командировки вашей и Паскевича. Я радуюсь, что дал назначение Паскевичу, ибо я вижу из вашего письма, что если мой выбор остановится на нем, вы не считаете необходимым продлить ваше отсутствие”... Вместе с этим косвенным отзывом Дибича в Петербург государь уведомлял его: “Паскевича я приказом завтрашнего числа назначаю вместо Ермолова, со всеми его правами... Уполномочиваю вас,— говорит он далее,— удалить Мадатова, Вельяминова, одним словом, всех лиц, коих вы признаете вредными”.

Государь позаботился и о том, чтобы все сделалось спокойно. “Только без шума и скандала,— писал он,— я воспрещаю всякое оскорбление самым положительным образом и делаю вас всех в том ответственными; пусть все совершится в порядке, с достоинством и согласно точному порядку службы”.

Дибичу оставалось теперь только исполнить волю императора. Но он предвидел ранее исход этого дела, поняв наконец, какое полное доверие питает государь к Паскевичу, и высочайшее повеление двадцать седьмого марта застало уже совершившиеся факты. По странному стечению обстоятельств, двадцать восьмого числа, в тот самый день, когда в Петербурге печатался приказ о назначении Паскевича, в Тифлисе Дибич имел серьезные объяснения с Ермоловым по этому же самому предмету и объявил ему высочайшую волю об отозвании его в Россию.

Двадцать восьмого марта 1827 года Ермолов сошел со сцены кавказских войн.

XLV. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЕРМОЛОВА

[Материалами для статей “Ермолов в персидской войне” и “последние годы Ермолова” служили: дела военно-ученого архива главного штаба (собственноручные письма Ермолова, Паскевича и Дибича), акты кавказской археографической комиссии Берже: т. 6; “Русская Старина: т. 5 и 6, 1872; т. 7, 1873; т. 10, 1874; т, 13, 1875; т. 29, 1880; т. XLIII, 1884; “Кавказская Старина”: т. 1; “Записки Ермолова”: ч. 2; Материалы Погодина и др.]

Пред ним, за ним нет пышных титл,
Не громок он средь гордой знати,
Но за него усердный глас молитв
Непобедимой русской рати.

Жуковский (“К портрету Ермолова”)

Ермолов сошел с политической сцены в самую цветущую пору своей жизни, когда ему не было и пятидесяти лет от роду. Первые шаги в жизни частным человеком были чрезвычайно тяжелы. Как характер высокий и благородный, он принял высочайшее решение о его замещении Паскевичем “с величайшей покорностью, без малейшего изъявления неудовольствия или ропота”, как писал о том государю Дибич. И однако же, несмотря на категорическое запрещение императором малейших оскорблений ему со стороны Паскевича, его удаление с блестящего поприща славы и незабвенных заслуг пред отечеством не обошлось без оскорблений. Когда он, уже уволенный от должности, оставался еще в Тифлисе, приводя в порядок свои дела, Дибич, по свидетельству Погодина, прямо советовал ему поспешить с отъездом, так как Паскевич мог сделать ему неприятность, и Ермолов уехал.

Грозный главнокомандующий тех войск, в которые он вложил суворовский дух, выехал из Тифлиса в той же простой рогожной кибитке, в которой десять лет назад его встретили здесь, выехал с третным жалованьем в кармане и с глубокой раной в сердце. “Новое начальство,— говорит он в своих записках,— не имело ко мне даже и того внимания, чтобы дать мне конвой, в котором не отказывают ни одному из отъезжающих. В Тифлисе я его выпросил сам, а на военных постах по дороге давали его начальники по привычке повиноваться мне”. А как необходим был этот конвой, можно судить уже по тому, что под Урухским укреплением, недалеко от минарета на Военно-Грузинской дороге, только за час до его проезда чеченская партия отогнала табун у татарханова аула, и сам Татархан, один из храбрейших осетин, был убит в перестрелке.

Миновав Кавказ, Ермолов заехал в Таганрог — единственно затем, чтобы видеть место кончины своего благодетеля, императора Александра Павловича, вместе с которым было похоронено его счастье, и затем заключился безвыездно в бедной орловской деревушке своего отца.

Неприветливо встретила уездная глушь и тишь знаменитого главнокомандующего, привыкшего к власти и блеску тысяч штыков, послушных мановению его руки. Надо было создавать для себя новый быт с новыми интересами, и жизнь Ермолова была скучна и угрюма. Старик отец и сестра — вот все его общество; к счастью, он имел значительную библиотеку, и истинных, неизменчивых друзей для себя он нашел в творениях великих писателей. Часть времени отдавалась, впрочем, механической работе — переплету книг, и в этом искусстве Ермолов достиг впоследствии значительного совершенства.

К своему новому положению он относился спокойно, хотя не без иронии и не без горечи. “Тебе Мазарович все скажет, относящееся до меня,— писал он шестнадцатого августа своему приятелю, статс-секретарю Кикину,— он был в Тифлисе последнее время моего пребывания там, и ты услышишь множество странных вещей... Ты не удивишься, ибо нет ничего нового под луной, и может быть, найдешь не совсем справедливым поведение могущественных людей против меня, но и сие весьма обыкновенно”...

Среди своего уединения Ермолов с понятным интересом следил за делами Кавказа. И как ни глубоко страдало оскорбленное самолюбие его, он умел оставаться справедливым даже по отношению к своим открытым врагам. “Удивляет меня,— писал он Кикину двенадцатого октября 1827 года, когда еще свежи были нанесенные ему раны,— удивляет меня, что дела в Персии идут не совсем успешно. Однако же, если, как ты уведомляешь, пошел Паскевич с тридцатью тысячами прямо в Тавриз, он даст оборот делам”...

В Орле Ермолов жил очень скромно и простым по суровости солдатским бытом напоминал героев древности, с которыми любили его сравнивать современники. Да и не

на что было позволить себе иной образ жизни. Из всего содержания ему оставлено было только одно жалованье, не превышавшее четырех тысяч рублей ассигнациями, и это было все, что он имел, потому что во всю свою службу постоянно отказывался от получения аренд и денежных наград, которые настойчиво предлагал ему неоднократно император Александр Павлович. Уже впоследствии положение Ермолова изменилось к лучшему, и, как говорят, вот по какому обстоятельству. Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, услышав о таком скудном содержании Ермолова, как-то сказала у себя за столом, что почла бы за счастье, если бы Алексею Петровичу угодно было взять в свое распоряжение ее подмосковное имение (оно стоило более миллиона). Слова эти были доведены до государя, и Ермолов стал получать по тридцать тысяч рублей ассигнациями в год. Эти-то деньги, сберегаемые более нежели скромной жизнью, и сделались основанием оставленного им небольшого состояния.

Уволенный от службы, Ермолов облачился в непривычное для него статское платье, и это обстоятельство служит ему поводом к новой иронии над самим собою и над тем положением, в которое он был поставлен. В высшей степени любопытно и характеристично в этом смысле следующее письмо его, писанное жене Кикина:

“Чудесно счастливая мысль прислать сукна на сюртук, ибо не только я буду иметь вид щегольский, но избавлюсь от насмешек, которые, конечно, вызвал бы я собственным вкусом. Я уже готов был выбрать какой-то аптекарский цвет и появиться в свет в этой микстуре. Уже в тяжких спорах были мы с Анной Петровной (с сестрой), а как мне, теперь отставному, повелевать некем, то я находил удовольствие по крайней мере ее не слушать. Но в то время как я исполнен благодарности за сукно, напуган рисунком, по которому я должен был одет. Огромная фигура моя не может иметь стройной талии, которая требуется. Я бы решился, несмотря на пятьдесят лет, прибегнуть даже к корсету, но и в сем случае не думаю, чтобы из меня что-нибудь вышло. В рисунке означена шляпа дикого цвета. Говаривали прежде, что это цвет людей подозрительных правил — и я содрогнулся. Впрочем, простите человеку, долго жившему в глуши, если не довольно знает, как могут часто переменяться моды. Однако же по боязни прежних толков не пущусь я на шляпу подобного цвета. Если согласно с рисунком в петлице будет роза, я надеюсь, что вы не почтете, что я ношу собственное изображение. Много стоит скромности моей, когда нечаянно даже коснется красоты моей”.

Не весело слагалась, таким образом, жизнь бородинского героя, грозы Кавказа. Добрые приятели, остававшиеся еще у него в тяжелое время опалы, старались по возможности смягчить обрушившиеся на него удары судьбы. Был даже проект — женить Ермолова. Но суровый герой мягко, однако же тоном, не допускавшим возражений, отстранил нежную женскую руку, искавшую семейным счастьем скрасить его суровое существование. Обычное его благородство сказалось и в самых доводах его отказа: он был слишком немолод, чтобы вызвать серьезную любовь, а на половинной любви он не мирился.

Было и другое основание, которое могло побудить Ермолова к отказу от семейной жизни. Он не был женат по русским законам, но на Кавказе у него были так называемые кебинные жены, то есть такие, которым, по шариату, при бракосочетании назначается от мужа известная денежная сумма и которые сохраняют право на известную часть наследства после его смерти. От них у Ермолова были три сына (Виктор, Север и Клавдий), впоследствии повелением императора Александра II признанные законными его сыновьями и унаследовавшие его славное имя. Дочь Ермолова от кебинного брака осталась на Кавказе и вышла замуж за горца, но сыновья были в России, и Ермолов заботился дать им хорошее образование и положение в обществе. Он не был,

следовательно, совершенно бессемейным, одиноким человеком, и это обстоятельство могло исключать для него всякую мысль о новой женитьбе, о новой семье.

В 1829 году посетил Ермолова, проездом в Арзерум, Александр Сергеевич Пушкин. Вот как описывает великий поэт это свидание. “Из Москвы,— говорит он,— поехал я в Калугу, Белев и Орел; сделал таким образом двести верст лишних, но зато увидел Ермолова. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно в профиль. Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом — голова тигра на геркулесовом торсе; улыбка неприятная, потому что неестественная. Когда же он задумывается или хмурится, то становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. Он был в зеленом черкесском чекмене, а на стенах его кабинета висели шашки и кинжалы — память его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие; несколько раз принимался говорить о Паскевиче и всегда язвительно. Разговор несколько раз касался и литературы. Немцам досталось. “Лет через пятьдесят,— сказал он,— подумают, что в нынешнем походе (в турецкой войне 1828—1829 годов) была вспомогательная прусская или австрийская армия, предводимая такими-то и такими-то немецкими генералами”.

Посещение Пушкина было Ермолову дорого, и впоследствии он любил вспоминать о нем. “И как хорош был этот среброволосый герой Кавказа,— рассказывал Бартенев,— когда он говорил, что поэты суть гордость нации. С каким сожалением он отзывался о ранней смерти Лермонтова. На мои глаза он был истинно прекрасен. Это слоновое могущество, эта неповоротливая шея с шалашом седых волос, и этот ум, это одушевление на семьдесят восьмом году возраста!.. Передо мной сидел человек, бравший с Суворовым Прагу, с Зубовым ходивший к Дербенту, с Каменским осаждавший турецкие крепости, один из главных бойцов Бородина и Кульма, гроза Кавказа!.. И после этого говорите против екатерининского века — он его чадо!”

Пушкину суждено было быть первой ласточкой, возвестившей весну воскресавшей славы Ермолова. Годы бездействия не затмили народного героя, и величавый образ его, на время оттесненный обстоятельствами, все ярче и ярче начинает выступать перед современниками. И скоро все взоры устремляются на тот безвестный уголок, где скрылось одно из блестящих светил русского царства. Чувства, которые одушевляли общество, прекрасно выражены следующими стихами неизвестного поэта:

Хоть дел великих окончанья
Рукою ты не довершил.
Но дух твой из глуши изгнанья
Других к победам предводил.
Свершить — тебе не дали время,
Но всюду там твои следы;
Тобою брошенного семя
Россия соберет плоды...

И действительно, современники знали, кто был истинным виновником громких побед и в Персии и в азиатской Турции. Но вот начинается польская война; русские разбиты, почти оттеснены к границам. Шесть месяцев продолжаются неудачи. Поляки ликуют и мечтают. Они вспомнили о Ермолове и, не зная величести его русской души, провозглашают от имени его мятежную прокламацию к русскому войску. По странной случайности первые экземпляры ее попались в руки Дениса Давыдова. Сочли за нужное довести о ней до сведения Ермолова. Ермолов отвечал с чувством оскорбленного достоинства упреком, как

можно было удостоить внимания такую нелепую клевету. “Вы узнали,— писал он Давыдову со своей обычной иронией,— о моих походах; этого мало: вы, верно, услышите скоро о моих победах, в которых жестокая судьба так долго отказывает генералу Дибичу!”

Поляки, между тем, продолжают брать верх; во враждебной Европе проносится радостный гул от края до края; поднимается говор и в безмолвном отечестве, и взоры всех устремлены на Ермолова. Но вызван Паскевич из Грузии. Он двинулся к Варшаве — и взял ее приступом... А Ермолов живет в деревне, читает реляции, переплетает книги...

В 1831 году Ермолов лишился отца. Тогда он продал свое орловское имение и переехал на жительство в Москву, где .имел случай оценить всю глубину уважения и сочувствия к себе, жившие в сердце России. Всем памятна первая встреча его в московском дворянском собрании. “Он прибыл,— говорит очевидец,— в черном фраке с одним георгиевским крестом в петлице (крест этот Ермолов получил из рук великого Суворова и никогда с ним не расставался). При его появлении в зале мужчины и дамы, все без исключения, встали и встретили поклоном отставного героя”.

Москва переживала в тот год тяжелое холерное время, и император Николай сам прибыл в Москву, чтобы успокоить и ободрить население древней столицы. Ермолов получил приглашение явиться во дворец. Он прибыл туда в отставном мундире; государь увел его в кабинет и, как тогда говорили, сам надел на него эполеты. На следующий день последовало представление императрице, которая была смущена и сказала ему: “Я бы вас сейчас узнала, генерал, так все ваши портреты похожи на вас”. Вскоре вошел государь, и вместе втроем вышли они из кабинета перед взорами удивленной московской знати...

“Я хочу,— сказал ему государь,— всех вас, стариков, собрать около себя и беречь, как старые знамена”. Ермолов назначен был тогда членом государственного совета и должен был переехать в Петербург. Государь продолжал оказывать ему свое благоволение. Однажды он пригласил его и Паскевича вместе с собою в Кронштадт; там их встретил знаменитый адмирал Беллингсгаузен, до тех пор никогда не видевший Ермолова. “Перед вами стоит обладатель острова на Тихом Океане”,— отрекомендовался ему Алексей Петрович, намекая на то, что остров, открытый Беллингсгаузеном, был назван им островом Ермолова.

Беллинсгаузен, чисто русский человек, несмотря на свою немецкую фамилию, стал с тех пор одним из лучших друзей Ермолова.

Обязанности члена государственного совета, между тем, только тяготили Ермолова. Его назначили членом комиссии по преобразованию карантинного устава, где он не мог оказать ни малейшей пользы, и в то же время он не попадал в такие комитеты, где дело шло о преобразовании войск или решались другие знакомые ему чисто военные вопросы. “Ваше величество,— сказал он однажды государю,— вероятно, потеряли из виду, что я лишь военный человек и не могу быть полезным в новых моих назначениях”. На это государь ответил ему: “Верно, ты слишком любишь отечество, чтобы желать войны; нам нужен мир для преобразований и улучшений, но в случае войны и употреблю тебя”. Тем не менее военный министр предложил Ермолову занять пост председателя военного генерал-аудиториата. Ермолов отказался и от этого назначения. “До сих пор,— сказал он графу Чернышеву,— единственным моим утешением была привязанность войска, и я не хочу потерять ее, сделавшись наказателем”. Видя себя бесполезным в звании рядового члена государственного совета, он просил увольнения от присутствия в нем и, получив его, в марте 1839 году снова удалился в Москву.

В то время, по выражению его биографа Погодина, можно было сказать про Ермолова, что его страсти утихали, вспыхивая только изредка в острых словах или сдерживаемых движениях, волосы побелели, орлиный взгляд начал угасать. Ермолов купил себе деревянный дом в Москве и с этого времени считает он свою мудрость.

Образ его жизни остался тот же, что и в деревне. Вставал он в шесть часов и тотчас одевался, не зная никогда ни шлафрока, ни туфлей, ни спальных сапог, надевал свой казинетовый сюртук и садился за стол в кабинете, куда подавался ему чай. Время до обеда посвящалось работе и занятиям: после него остались весьма интересные записки, охватывающие собою период его служебной жизни с 1812 по 1826 год. Слог Ермолова тяжел, напоминает екатерининское время, но отличается остроумием, своеобразными оборотами речи, колкостью, блещет юмором, а подчас возвышается до истинного красноречия.

Захочет — о себе, как Тацит, он напишет
И лихо рукопись свою переплетет,—
сказал про него Жуковский.

В три часа следовал неизменный неприхотливый обед: из пирога, щей и жаркого; потом опять занятия, а вечером Ермолов любил принимать гостей и сидеть долго, за полночь, пока слуга Мемека, как Суворову Прошка, не напоминал, что пора ложиться спать.

В высших петербургских сферах на Ермолова продолжали смотреть недоброжелательно, но государь лично оказывал ему все признаки своего благоволения. В 1838 году Ермолов был приглашен сопровождать его на Бородинское поле и как очевидец объяснял подробности сражения, в котором играл такую крупную роль. В день открытия Кульмского памятника государь прислал ему Андреевский орден — высшую награду, которой он до сих пор не имел.

Русская армия чтила в нем героя Валутина, Бородина, Кульма и Парижа, и потомство с удивлением не встретит славного имени его ни на одном из памятников, воздвигнутых в воспоминание 1812, 1813 и 1814 годов. Но память о нем жила крепче бронзы и мрамора. И вот когда девятого апреля 1849 года в Москве праздновался день учреждения Преображенского полка, сам главнокомандующий Гвардейским корпусом великий князь Михаил Павлович, в сопровождении наследника престола и всех наличных офицеров, отправился после дворцовой церемонии к знаменитому ветерану русской славы, под начальством которого императорская гвардия покрылась победными лаврами и Преображенский полк заслужил Георгиевские знамена.

“И как приятно и сладко москвичам было видеть,— говорит Погодин,— этот торжественный поезд сына царева государя наследника и брата царева, со всеми представителями русской гвардии, к деревянному семиоконному домику на Арбатском бульваре, где живет убеленный сединами герой Бородина, Кульма и Кавказа, где над низменной крышей ярко горит луч русской славы”.

Но этим внешним почетом и ограничивалась, впрочем, официальная общественная роль Ермолова. Удаленный от дел, он находил себе утешение в той необычайной популярности своего имени, которая проходила через все классы населения и служила ему живым свидетельством его заслуг перед родиной. Один за другим являлись факты, выражавшие это отношение к нему общественного мнения. Когда граф Воронцов перед отъездом на Кавказ был выбран в почетные члены английского клуба, в обществе тотчас заговорили: “Нельзя выбирать Воронцова, не сделав по крайней мере того же самого для Ермолова”. И

Ермолов, далекий от всяких влияний и связей, уединенно доживавший свой век в Москве, вдруг единогласно выбирается в почетные члены петербургского английского клуба.

“Когда Алексей Петрович,— рассказывает один современник,— появлялся в театре или в собрании, приверженные к нему русские люди, и старые и молодые, оборачивались всегда в ту сторону, где стоял Ермолов, опершись на свою верную саблю, и задумчиво смотрели на его белые волосы, на эту львиную голову, твердо стоявшую еще на исполинском туловище, и в потускневших глазах его искали глубоко запавшие мысли”... Все проезжавшие через Москву кавказцы и всякий, кто только ценил в Ермолове представителя русского ума и русской славы, заезжали поклониться “батюшке Алексею Петровичу”, как называл его обыкновенно великий князь Михаил Павлович. Это утешало и радовало Ермолова.

Русская лира не хотела отстать от общественного мнения и не раз возвышала свой благородный голос за униженное достоинство: имени Ермолова посвящено много поэтических произведений. На одном из московских вечеров, где был Ермолов, поэт Глинка, поднимая заздравный кубок, приветствовал знаменитого гостя следующим экспромтом.

Умом затмил он блеск алмаза,
В боях был славный он боец,
Да здравствует герой Кавказа!
Да здравствует герой сердец!
Под буркою над русским станом,
С морщиной умной на челе,
Не раз стоял он великаном
Монументально на скале.
А шашка между тем чеченцев
Вела с штыком трехгранным спор;
И именем его младенцев
Пугали жены диких гор.
И вот еще из-за тумана,
Которым лик его покрыт,
Глядит героем Оссиана
Он на мельчающий наш быт.
И под маститой сединою,
Хоть взор орлиный и пригас, Все баснословной стариною
И славой обдает он нас.
На этот экспромт Дмитриев отвечал не менее прекрасным стихотворением.
Ты бывал и сам средь боев,
Видел близко славы след;
Не из нынешних героев,
Ты — не нынешний поэт!
Оттого, как блеск алмаза,
блещет твой гранитный стих,
И в тебе герой Кавказа
Вспламенил восторга миг!
Не видав войны кровавой,
Я смиренно созерцал
Мужа, избранного славой,
Петь не смел я — и молчал.
Я дивился исполину —

Исполинский был и век,
И как горную вершину
И его венчает снег.
Но как тот горит и блещет
В искрах солнечных огней,
Мне казалось, что трепещет
И над ним венец лучей!

Но где память о нем, где его слава были громки и вековечны, так это в той стране, на которую он положил свои лучшие силы, опытность мужа и энергию героя. Кавказ помнит своего богатыря от края и до края.

Кавказский солдат с любовью вспоминал Ермолова, имя которого было для него символом победы и о котором бесконечны рассказы. “То ли дело при Ермолове!”— такова обычная фраза, долго жившая среди кавказского войска.

“При нем,— рассказывал однажды старый казацкий есаул,— бывало, наберемся и страху и всего; ну, да и порадоваться было чему. Картина — посмотреть на Ермолая (так горцы звали его). Чудо-богатырь! Надень он мужицкий тулуп и пройди промеж черного народа,— ей Богу! — ни разу не видавши, узнаете — сама шапка долой просится... Раз, как сейчас помню, в Чечнях это было,— идем ночью с отрядом. Темно, хоть глаз выколи, дождь так и поливает, грязь по колено. Вот солдаты и раздобаривают. Я был в конвое, так еду за Алексеем Петровичем, да тоже слушаю.

— Ай да поход! Хоть бы знать — куда? — а то пропадешь ни за что; ноги не вытащишь — такая грязища.

Мы все слышим — и ни гу-гу. Как трогался отряд с места, Алексей Петрович оставался зачем-то в крепости, а потом догнал отряд и едет себе сторонкою. Темно — его и не видно солдатам; стали мы уже равняться с головой колонны, пехтура все болтает:

— Вишь, повели! А куда? Черт знает, да и какой дьявол ведет-то. Хоть бы Алеша-то наш был с нами...

— С вами, ребята, с вами! — вдруг загремел знакомый богатырский голос.

Батюшки мои! Как грянут “Ура!”— так аж в ушах затрещало; куда и дождь и грязь девались; песенники вперед, ряды стянулись, пошли как по плац-парадному месту, бодро, весело, в охотку; духом отхватали сорок пять верст.

Вот было время, так время! Бывало, только скажет: “Ребята, за мной!” — “Ура!” загремит в ответ; нужды нет — куда, зачем и с чем! Батюшка Петрович и накормит, и напоит, и к ночлегу приведет — в напасть не даст. Нехристь, бывало, как заслышит, что *сам* едет, куда и удаль девалась, не до фрижитовки — так и ложится, бывало: бери живьем, налагай присягу, возьми и аманатов — только душу пусти на покаянье. Сама вражья сила говорит, бывало: “На небе — Аллах, здесь — Ермолай!”

И вражья сила Кавказа, действительно, долго помнила и почитала знаменитого Ермолая. Горцы относились к нему с суеверным страхом, близким к невольному благоговению, и передали память о нем из поколения в поколение. Легенды их представляют его человеком гигантского роста, с огромной львиной головой, могущим все сокрушить

одним мановением своей атлетической длани. “Горы дрожат от гнева его,— говорит одна из их песен,— а взор его рассекает, как молния”.

Когда, по окончании турецкой войны 1829 года, перед отъездом с Кавказа графа Паскевича, разнесся слух, что главнокомандующим опять будет Ермолов, горцы заблаговременно приготовили аманатов. Спустя четырнадцать лет после этого они толпами съезжались в Шуру, прося позволения только видеть приехавшего тогда на Кавказ одного из сыновей Ермолова, о чем молва немедленно облетела все горы.

Когда Шамиля спросили в Москве, что он желает видеть, он ответил: “Прежде всего Ермолова”. В альбоме князя Барятинского хранится рисунок, изображающий это характерное свидание двух знаменитейших бойцов Кавказа.

И во время военных действий, наверху своего могущества, Шамиль показывал всегда особое уважение к имени Ермолова и даже велел пощадить аул, в котором жили родные его кебинных жен. Мало того, на берегу Каспийского моря, неподалеку от Низового укрепления стояла изба, или, пожалуй, домик, выстроенный здесь когда-то войсками, бывшими с Ермоловым в походе, для укрытия от непогоды “батюшки Алексея Петровича”. Домик этот построен был из чинар в два обхвата каждый, и при нем всегда стоял часовой, не столько для охраны домика, сколько из благоговейного чувства к памяти Алексея Петровича. Домик этот был дорог кавказским войскам, и все его берегли, как славное предание минувшего времени. Вот почему в 1843 году, когда восстание охватило весь Дагестан, и Низовое было окружено неприятелем, все с грустью помышляли о печальной судьбе, которая должна была постигнуть этот домик, стоявший один-одинешенек посреди бушующего населения. Но такова сила исторического имени Ермолова, что при всеобщем, можно сказать, разрушении до этого домика не коснулась ни одна рука горского хищника, и по окончании смут, “мы,— говорит один очевидец,— вновь имели счастье поклониться этому скромному приюту великого кавказского деятеля”.

Но, к сожалению, то, чего не сделали дикие горцы, сделало холодное равнодушие к исторической славе и невежество наших современников. В настоящее время вы уже не найдете и следов этого домика: он куда-то исчез, как исчезла еще более знаменитая грозненская землянка Ермолова.

Ермолов, со своей стороны, платил Кавказу той же полной любовью; он слишком, всеми фибрами своего сердца прирос к нему, чтобы не следить с горячим участием за всем, что делается в крае. А там, между тем, торжествовала система, противоположная его системе, и Ермолов, слишком хорошо знавший Кавказ, не мог не видеть печальных последствий этого. Он всегда и являлся в роли иронического предвестника событий.

Как известно, после Паскевича назначен был на Кавказ барон Розен, Розена сменил Головин, Головина — Нейдгардт, и дела там шли все хуже и хуже.

Когда смененный Розен приехал в Москву и посетил Ермолова, чтобы посоветоваться с ним, не следует ли ему поехать в Петербург для объяснений, Ермолов серьезным тоном ответил ему: “Погоди немного, скоро вернется Головин, и тогда мы втроем поедем в Питер”. Головин, в самом деле, не долго пробыл на Кавказе, и на его место отправился Нейдгардт. Узнав об этом, Ермолов сказал: “Ну! Нейдгардт, видно, что немец,— предусмотрителен: нанял себе дом в Москве заранее и дал задаток — знает, что скоро вернется”.

Узнав же, что Розен и Головин собираются-таки поехать в Петербург, он при первой встрече сказал им: “Знаете ли что, любезнейшие: не обождать ли Нейдгардта? Он, вероятно, не замедлит приехать. Тогда наймем четырехместную карету, да так вместе, вчетвером, и отправимся в Питер”. И Нейдгардт, действительно, не был счастливее своих предместников.

Только назначение Воронцова Ермолов приветствовал с истинным доброжелательством и предсказал ему блестящие успехи. Но, впрочем, и здесь значительную долю успехов он относил также к увеличению материальных средств в руках наместника. “Теперь за Кавказом,— говорил он,— двадцать генералов, а при мне был один Вельяминов, которого я вызвал к брату; теперь в каждом из пяти отделений такой штаб, как был у меня во всем корпусе; теперь войск под ружьем двести пятьдесят тысяч, а у меня было семьдесят. Теперь наместник получает на свое содержание сто пятьдесят тысяч рублей серебром, а я получал сорок ассигнациями и жил полгода в лагере, чтобы скопить денег на бал или на обед”.

Уже на полном склоне дней Ермолову выпала честь вновь появиться в деятельной роли защитника отечества, и притом в один из самых критических моментов истории России.

Началась Севастопольская война. Заговорили о народном ополчении, и вся Москва, вспоминая избрание Кутузова начальником Петербургских дружин в 1812 году, выразила желание иметь начальником московского ополчения — Ермолова. Избрание состоялось торжественное, единодушное, потому что из многих тысяч голосов в избирательной урне оказалось только девять черных шаров...

Невозможно изобразить волнения, объявшего всех присутствовавших в огромной зале благородного собрания, когда известно стало количество избирательных голосов. Долго не прерывались рукоплескания и крики восторга. В приветственной речи, обращенной по этому случаю к Ермолову, между прочим говорилось:

“Сам Бог сберегал вас, кажется, для этой тягостной годины общего испытания. Идите ж, Алексей Петрович, с силами Москвы, в которой издревле отечество искало и всегда находило себе спасение, идите принять участие в подвигах действующих армий. Пусть развернется перед ними наше старое, наше славное знамя 1812 года. Все русские воины будет рады увидеть вашу белую голову и услышать любимое имя; оно неразлучно в их памяти с именем Суворова, из рук которого вы получили первый Георгиевский крест, и с именем Кутузова, которому служили правой рукой в незабвенном Бородинском сражении”.

Вся Москва ликовала. Купцы в рядах, извозчики со своими седоками — все толковало о Ермолове и радовалось, как будто победа уже осенила русские знамена и враги изгнаны из пределов отечества.

Графиня Ростопчина выразила это общее настроение Москвы в следующих звучных стихах.

Народный голос — голос Бога.
Он ныне громко вопиет:
“Вставай, Ермолов! Русь зовет!” —
Тебе знакома ведь дорога.
С единодушным увлеченьем
Тебя назначила молва,

И над московским ополченьем
Вождем поставила Москва.
Возьми рукой неослабелой
Свой старый меч — французов страх.
Наш вождь, в покое поседелый,
Помолодеешь ты в боях.
Вставай! Честь русского народа
Его врагам припомяни,
И пусть двенадцатого года
Великие воскреснут дни.
Вставай! Когда по всей России
Известен станет выбор наш:
Шатры восплещут боевые, Хвалой откликнется шалаш!
Какой-то аноним ответил ей от имени Ермолова.
Не неизвестного поэта
Читал я добрые слова:
По звукам лестного привета
Вас прямо назовет молва.
Вы помянули год восстанья,
Для нашей славы дивный век,
Когда, услыша глас призванья,
Явился русский человек.
Вы правы! Пусть меня забыли,
Но наш не позабыл народ,
Когда Москву мы хоронили,
Двенадцатый свершали год.
И ныне чтут мои седины
В воспоминанье старины,
И этой памятной годины
Ее достойные сыны.
Но горделивыми мечтами,
Поверьте, я не ослеплен:
Давно я удручен годами,
От дела битвы удален.
Давно заржавлен меч мой бранный,
Ослабла дряхлая рука,—
И пир кровавый, пир желанный
Едва ль по силам старика.

Московскому ополчению, как известно, не привелось принять непосредственного участия в деле защиты отечества.

Тихо и незаметно прошли последние дни героя в Москве; двенадцатого апреля 1861 года он скончался на восемьдесят пятом году от рождения, сидя в своем любимом кресле, имея одну руку на столе, другую на колене; за несколько минут он еще, по своей привычке, притопывал ногою.

Невозможно лучше выразить чувств России при этой смерти, как некрологом газеты “Кавказ”, умевшим не сказать ничего лишнего.

“11 апреля, в 11 3/4 часа утра,— говорилось в нем,— скончался в Москве известный всей России генерал от артиллерии Алексей Петрович Ермолов. Каждый русский знает это

имя: оно соединено с самыми блестящими воспоминаниями нашей народной славы: Валутино, Бородино, Кульм, Париж и Кавказ — вечно передавать будут имя героя, гордость и украшение русского войска и народа.

Имя Ермолова дорого каждому русскому еще и потому, что он принимал участие в каждом умственном труде, поддерживал начинающего, благословлял его на новый труд и всегда был доступен людскому горю и несчастью.

Не исчисляем заслуг и званий Ермолова: его имя и звание — истинно русский человек в полном значении этого слова".

Любопытен факт, что смерть его не обошлась без легенды, характера странного и мистического.

Вот что рассказывал один из людей, близко знавших Ермолова.

"Однажды (говорил он), уезжая из Москвы, я заехал проститься с Ермоловым и не мог при этом скрыть своего волнения.

— Полно,— сказал он,— мы еще увидимся, я не умру до твоего возвращения.

Это было года за полтора до его кончины.

— В смерти и в животе Бог волен! — возразил я.

— А я тебе положительно говорю, что умру не через год, а позднее,— сказал он, и с этими словами повел меня к себе в кабинет, вынул из запертого ящика лист исписанной бумаги и поднес его к моим глазам.

— Чьей рукой писано? — спросил он.

— Вашей.

— Читай.

Это было нечто вроде послужного списка, начиная с чина подполковника, с указанием времени, когда произошел каждый мало-мальский замечательный случай из его богатой событиями жизни.

Он следил за моим чтением, и когда я подходил к концу листа, он закрыл рукой последние строки.

— Этого тебе читать не следует,— сказал он,— тут обозначены год, месяц и день моей смерти. Все, что ты прочел здесь,— продолжал он,— написано вперед и сбылось до мельчайших подробностей. Вот как это случилось.

Когда я был еще подполковником, меня командировали раз на следствие в уездный город Т. Квартира моя состояла из двух комнат: в первой помешалась прислуга, а во второй я. Пройти в эту последнюю можно было не иначе, как через первую комнату. Раз ночью я сидел за письменным столом и писал. Окончив, я закурил трубку, откинулся на спинку кресла и задумался. Поднимаю глаза — передо мной, по ту сторону стола, стоит какой-то не известный мне человек, судя по одежде — мещанин. Прежде чем я успел спросить, кто

он и что ему нужно, незнакомец сказал: “Возьми лист бумаги, перо и пиши”. Я безмолвно повиновался, чувствуя, что нахожусь под влиянием неотразимой силы. Тогда он продиктовал мне все, что должно со мною случиться в течение всей моей жизни, и заключил днем моей смерти. С последним словом он исчез. Прошло несколько минут, прежде чем я опомнился, вскочил с места и бросился в первую комнату, миновать которую не мог незнакомец. Там я увидел, что писарь сидит и пишет при свете сального огарка, а денщик спит на полу у двери, которая оказалась запертою. На вопрос мой: “Кто сейчас вышел отсюда?” — удивленный писарь ответил: “Никого”.

— До сих пор я никому не рассказывал об этом,— заключил Алексей Петрович,— зная наперед, что одни подумают, что я выдумал, а другие сочтут меня за человека, подверженного галлюцинациям, но для меня это факт, не подлежащий сомнению — видимым осязательным доказательством которого служит вот эта бумага.

И умирая, Ермолов не отклонился от величавой простоты, характеризующей его. В духовном завещании он сделал следующие распоряжения о своем погребении. “Завещаю похоронить меня как можно проще. Прошу сделать гроб простой, деревянный, по образцу солдатского, выкрашенный желтою краскою. Панихиду обо мне отслужить одному священнику. Не хотел бы я ни военных почестей, ни несения за мною орденов, но как это не зависит от меня, то предоставляю на этот счет распорядиться, кому следует. Желаю, чтобы меня похоронили в Орле, возле моей матери и сестры; свезти меня туда на простых дрогах без балдахина, на паре лошадей; за мною поедут дети, да Николай мой, а через Москву, вероятно, не откажутся стащить меня старые товарищи артиллеристы”.

Ермолов похоронен в Орле, рядом со своим отцом, в особом приделе Троицко-Кладбищенской церкви. На одной из стен могильного склепа вделана доска с простой надписью: “Алексей Петрович Ермолов, скончался 12 апреля 1861 года”.

Перед его гробницей теплится чугунная лампада, поражающая своим устройством и происхождением. Она утверждена на медном пьедестале и состоит из настоящей чугунной гранаты, в которую вставлена стеклянная лампа. На чугуне грубыми литерами отчеканено: “Служащие на Гунибе кавказские солдаты”. Лампада устроена усердием нижних чинов кавказской армии на собранную ими сумму в сорок рублей серебром. И этот простой памятник дороже и краше всякого мавзолея.

Ермолову нет нигде памятника. Но гордые скалы Кавказа составляют несокрушимый пьедестал, на котором истинно русский человек вечно будет видеть величавый образ Ермолова, окруженный лучами бессмертной славы.